8.1974

Иностранная литература

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РУМЫНИИ — ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Георге Иванченко. *НОЧНАЯ СМЕНА (СРР)*

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы румынских писателей — КОРНЕЛИУ ШТЕФАНАКЕ. АДРИАН ЧЕРНЕСКУ *(Перевод с румынского М. Фридмана)* 4

Из румынской поэзии — ЗАХАРИЯ СТАНКУ. МАРИН СОРЕСКУ. ГАБРИЭЛА МЕЛИНЕСКУ *(Переводы с румынского Юнны Мориц, Кирилла Ковальджи, Льва Беринского, Юрия Левитанского. Вступление Кирилла Ковальджи)* 27

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — Погоня *(Повесть. Перевод с испанского Р. Линцер. Предисловие Юрия Дашкевича)* 36

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Из книги «Другая жизнь» *(Рассказы. Перевод с итальянского Г. Богемского)* 83

АЙРИС МЕРДОК — Черный принц *(Роман. Перевод с английского И. Бернштейн и А. Поливановой)* 106

ЕЖИ ПУТРАМЕНТ — 20 июля... *(Документальная повесть. Перевод с польского М. Игнатова. Послесловие Д. Краминова)* 162

Критика

Т. БАЛАШОВА — Кто не устал от изобилия... (Социальные контрасты во французском романе начала семидесятых) 203

Д. ЗАТОНСКИЙ — Шекспир, Стриндберг, Дюрренматт — и современное искусство 211

Культура и современность

Заметки на полях

В. Вульф — «Сможет ли Бродвей шагать дальше?» ◆ В. Кувалдин — Изнанка писательского ремесла ◆ Закрытие журнала «Интеллектуэл дайджест» 220

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

8

АВГУСТ
1974

СОДЕРЖАНИЕ

Публицистика

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС — Стадион *(Сокращенный перевод с испанского Юрия Павлова)* 228

Необратимость перемен (Из репортажей и очерков румынских писателей. *Вступление и перевод с румынского Мих. Шульгина)* 244

Изобразительное искусство за рубежом

Ан. МАКАРОВ — Свет и воздух Франции (К 100-летию первой выставки импрессионистов) 258

Среди книг

Издано в СССР

Т. Гончарова — В стране кондоров. Д. Чавчанидзе — «Эти люди с посмертной славой». А. Горбунов — «Монарх интеллекта». 260

Издано за рубежом

Валериу Кристя — Репортаж о прошлом. Татьяна Николеску — Мечтать, надеяться, бороться. Т. Ротенберг — Вариации на современные темы 266

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 286

На обложке: картина американского художника Антона Рефрежье «Две мексиканки».

На цветной вкладке работы французских художников-импрессионистов.

© «Иностранная литература», 1974.

Рассказы румынских писателей

Перевод с румынского М. ФРИДМАНА

КОРНЕЛИУ ШТЕФАНАКЕ

Жизнь по карточкам

Все миновало: нет уже ни прогнившего пола, ни ветхих, сгорбленных парт, ни седых педагогов. Мы знали одних стариков — у молодых были дела поважнее, чем учить нас школьной премудрости. Остался только Аттила да классный журнал. Вернее, один журнал: Аттила тоже умер...

...Он стоит, выпрямившись, перед нами, шевелит бескровными губами, вглядываясь в свои сухие ладони, словно там обозначен ответ на вопрос, который он только что задал нам:

— Не помните, какой это был день?

Никто не помнит, а, возможно, ребята и не очень-то стараются припоминать день, когда мы разбрелись по белу свету. В конце концов, не все ли равно, случилось это в понедельник или субботу? Одно несомненно: была весна, в школах занятия заканчиваются весной.

...Актовый зал. Знамена, надушенные преподаватели в черных костюмах, вспотевший мэр, претор [1] — старая кочерыжка в давно не ношенном полковничьем мундире, портреты маршала и короля в массивных рамах, несколько родителей — и мы. В зале не протолкнуться, дышать трудно, мы зеваем, слушая директора, который бубнит что-то про этику Сократа, Канта, Ницше. Сон одолевает нас, но тут раздаются аплодисменты.

— Братцы, Аттила!

Аттила... Из-за перенесенного в детстве полиомиелита он волочит правую ногу — это спасло его от фронта. Он останавливается перед нами, закладывает большие пальцы под жилет. Лицо у него белое как мел, которым один из нас вывел на доске слово «адью», полуослепшие глаза едва различают нас. Нет больше прежнего Аттилы.

— Пора и вам покинуть клетку...

Он замолкает, потому что директор перебил его:

— Как? Наш лицей — клетка?

[1] Уполномоченный военного министерства.

Но он больше не обращает внимания на директора. Отчаянно напрягая память, ищет нужные слова:

— Клетка... м-да... Вы словно... птицы... перед полетом... дальним полетом...

Белое лицо никнет, руки повисают вдоль тела, правая нога волочится. Никто не аплодирует.

Мы сидим не дыша, подперев головы кулаками, ошеломленные последними его словами. У одних глаза широко открыты, у других веки прижмурены. Мы знаем, что Аттилы больше нет, что он умер. Умер тогда в парке, на скамейке, когда громко рыдал, рвал на себе волосы и беспрестанно твердил: «Все кончено!» — а люди проходили мимо, беспомощные или безучастные не то от скуки, не то оттого, что уже привыкли к бумажкам в траурной рамке, как та, которую Аттила держал в руке. Мы смотрели, как он умирает, и не могли спасти его — мы тоже были беспомощны, а может, привыкли к подобным сценам. Мы знали, что на листке, которым он размахивал, значится имя его единственного сына, но нас волновала только смерть его самого...

Глазами, полными страха, смотрели мы, как он умирает, а несколько дней спустя в актовом зале перед нами вместо Аттилы появился наш добрый учитель истории и сравнил нас с юными птицами перед дальним полетом. Аттила запомнил бы этот день. У него была феноменальная память. Он бы в точности воспроизвел слова, сказанные им на выпускном вечере, и не путал бы наши имена.

— А вы, Аксенте, тоже не помните?

— Я Албу. Аксенте...

— Ах, да-да...

Он кусает бескровные губы, изучая сухие ладони, словно на них начертан список учеников нашего класса.

— Никто ничего не помнит. Хоть бы меня встретили, как тогда.

— Ребята, Аттила!

Учитель смеется. Это Аттила воскрес на мгновение и смеется над бедным учителем истории. Мы тоже смеемся. Но не так, как тогда. Смеемся сдержанно, устало — теперь мы взрослые, у нас друзья и враги, мы уже не можем позволить себе беспечно смеяться, как прежде.

...Остался только школьный журнал.

— Албу Ион.

— Здесь.

Он мучительно выпрямляется — мы явственно слышим скрип дерева, металла или пластмассы. Это скрипят ноги ученика Албу Иона, выпускника одна тысяча девятьсот сорок четвертого года.

...Албу Ион пьян в стельку. Смотрит на нас с той же оторопью, что и мы на него, потом выплевывает сигарету, которую мусолил кончиками губ, и начинает гоготать. Гогочет и плачет, шумно сморкается, вытирает слезы тыльной стороной ладони и кричит:

— Чего уставились? Мамочка купила мне папу, мы с ним и тяпнули. А что, запрещено? У каждого должен быть свой папа, мамочка и позаботилась, купила. Вы же знаете, что у меня не было...

Он вплотную придвигает грязный нос к нашим лицам, затем отворачивается, плюет:

— Много вы понимаете! Теперь у меня есть папа, все как положено: пузо, лысина, ботинки со скрипом. Каждый раз, как отмоется, заливает себя одеколоном. А что будешь делать? Ему без одеколона нельзя, у него работа такая: ассенизатор. Ну, чего зубы скалите?

— Никто не смеется, Албу.

— Каждое утро, как встречаемся, мать и говорит: «Это твой папа». «Па-па»,— повторяю я. Ох и нелегко было привыкнуть: я и слово-то это успел позабыть. А вот купила папочку, я и вспомнил. «Тиль (его так зовут — Тиль), Тиль, а он что скажет?» (Он — это, стало быть, я.) «Брось ты о нем думать, голубка. Поди ко мне». И вздохи, и чмоканье, и шелест платья... Поняли?

Мысль о том, что моя мама тоже могла бы так поступить, леденит душу. Представляю себе в нашем доме чужого дядю, маму, которая требует, чтобы я называл его папой, и чувствую, что задыхаюсь. Медленно опускаюсь на сочную прибрежную траву...

Парень плачет, а мы — его одноклассники — сидим в траве и смотрим, как течет река. Небо понемногу усеивают звезды. Слышно, как рядом вздыхает Албу,— а мы о нем почти совсем забыли.

— Натрескался я, как свинья. Самому тошно.

— Брось, Албу.

— Это он заставил. Каждый день приносит домой цуйку и заставляет пить. Весь дом пропах водочным перегаром. И сегодня пили. Ребята, как мне вернуть маму?

Что ответишь ему? Вполне возможно, что и нам уготована такая участь. Но у меня сохранилась фотография отца. Я размножу ее, сделаю сотни копий, разбросаю повсюду, стены обклею. Его глаза лишат ее покоя, эти глаза отвадят чужаков.

— А что, если твой отец жив, Албу? Были же случаи, когда...

— Нет, нам привезли его фотографию, она в крови.

О чем думает человек, узнавший, что через несколько часов или минут умрет? Никому из нас неведомо. Нам кажется, что в такие минуты думать уже ни о чем невозможно. Но мы не говорим Албу, что отец его тогда ни о чем не думал.

Мы лежим в траве, подложив под головы руки, и смотрим, как зажигаются в небе звезды, слушаем глухой шум реки и монолог Албу:

— Что ж ты не сбежал? Не мог? Ты говоришь, там слишком много дверей и решеток, оттуда не спасешься. Ты хочешь утешить меня? Ну утешь, хотя бы немного. Твои жесткие ладони на моем лбу. Коснись лба, коснись век...

Мысль, что мама тоже могла бы так поступить, туманит сознание. Я уже не слышу голоса Албу, не хочу знать, почему его отец не пробился сквозь двери и решетки, о чем он думал перед расстрелом. Я вскакиваю и бегу изо всех сил.

Ребята кричат что-то вслед, но я не слышу, не останавливаюсь. Бегу без передышки. Быстрее, все быстрее...

— Аркашу Михай!
— Здесь.

Зовите меня сколько угодно, я не откликнусь, я бегу. Бегу, подстегиваемый мыслью, которая свела с ума Албу и, возможно, сведет с ума и вас. Я хочу поскорее быть дома, потому что мама тоже готова поступить, как мать Албу, и я должен ее остановить. Все зависит от меня, никогда не прощу себе, если это случится...

Окна широко открыты, лунное сияние заливает комнату, книжные полки, письменный стол, за который уже четыре года никто не садился, большой портрет в фиолетовых тонах. Портрет отражается в зеркале у кровати, я смотрю на это цветное отражение и говорю матери:

— Что же ты молчишь, мама?

— А что я могу сказать?

— Тебе нравятся эти краски, в зеркале?

— Правду говоря, они мне никогда не нравились. Серенькая работа. Но раз отец...

Портрет отца нарисовала женщина. Я подозреваю, что она была для него не только добрым другом. Иначе мама судила бы спокойнее об этих красках, отраженных в зеркале. Возможно, эта Мари и не стала великой художницей, но дарование у нее было. Это его глаза, никогда не знаешь, где в них кончается радость и начинается печаль. Это его рот, живой, готовый заговорить со мной: «Как дела, Михай?»

Я обнаружил портрет на чердаке, протер его перекисью водорода и повесил между книжными шкафами напротив большого зеркала у кровати. Мать велела выбросить его, но я оставил: пусть отражается в зеркале и беседует со мной:

«— Какое огромное поле, сколько свинцовых солдат! Я боюсь этого поля, этого свинца...

— Не бойся, это люди...

— Ты человек? Человек — с этим свинцом на голове, на подошвах.

— Я убегу, я вернусь к вам. Мы укроемся втроем в горах, в неведомой пещере. Будем собирать коренья, ловить рыбу, охотиться на зверей и птиц. Только втроем: я, мама и ты...

— Понимаю, понимаю. А как же быть с честью? Твое имя убрали из списка героев. В школе учредили стену героев, неужто не знаешь? Целая стена героев. И каждую неделю на ней появляются новые имена. Шеренги героев, фотографии, оловянные лавровые венки, по инструкции. А твою фотографию отодрали, имя зачернили, маме сказали, что ты не пропал без вести, а дезертировал, что ты предатель, преступник и... Не понимаю. Ты — и преступник? Объясни мне...»

Глаза меркнут, рот в лунных лучах мертв, а мама молчит — ведь это она только что ответила мне:

— А что я могу сказать?

И впрямь, что она может сказать? Я спрашиваю:

— Ты мать Албу знаешь?

— Какого Албу?

— Моего одноклассника.

— А что с ней?

— Она купила ему папу. Он так и сказал нам: «Она купила мне папу». Что же ты смеешься?

— Как можно купить папу?

— А вот и можно. Он даже рассказал нам, как она его купила.

— Ты встревожен, сынок. Ложись, ты устал.

— Да, мама, я устал. Спокойной ночи.

Мы снова один на один с портретом в зеркале, глаза отца оживают:

«— Ты позволишь взять в эту пещеру еще одного человека? Ирину. Ты ее, конечно, не знаешь. Это она сказала мне, что никогда не поймешь, где в моих глазах кончается радость и начинается печаль. А ведь они похожи на твои. Давай возьмем и Ирину, ладно? Хочешь, я тебе кое-что скажу и про Бернеску, поэта. Я никогда не говорил тебе о нем, но теперь должен. С некоторых пор он зачастил к нам: читает стихи, а мама слушает и млеет. От него разит духами, он носит только белые рубашки с жестким воротником. Я не выношу его запаха, рубашек, стихов. Особенно с тех пор, как Аттила сказал...

— Что же сказал Аттила?

— Наша француженка — ты помнишь ее: бабища такая с травленными перекисью волосами — разахалась на днях, закатывая глаза:

«Ах, милая, такая в его стихах непорочность, такая чистота!..» Тут Аттила и расхохотался: «Он отсидел несколько лет за гомосексуализм». Когда же мы отправимся в ту пещеру? Возможно, завтра, возможно, послезавтра. Кто это сказал? Ты? Поскорее бы. А то мать Албу купила ему папочку. Слышишь? Купила... Весь дом провонял цуйкой и одеколоном. Если отец его и думал о чем-то, стоя перед карательным взводом, так, наверно, о том, что дом его провоняет цуйкой и одеколоном. Ни о чем другом он не мог думать.

— Он о сыне думал.

— Верно. Я забыл. И о нем думал. Наверно, поэтому Албу все время обращается к нему. Я у него научился говорить с тобой. А с тех пор, как я нашел этот портрет, написанный Мари, стало легче. Мари была так же красива, как мама? Молчишь... А я так хочу услышать от тебя, что такое красивая женщина. Ирина некрасива. Так говорят ребята. Курносый нос в конопушках, когда смеется, видна щель между верхними зубами, но мне она нравится, я думаю, что жить без нее не мог бы. Прошло несколько недель, как мы не виделись. С тех пор как... Помнишь, я ведь как-то говорил тебе... Как-то вечером одна... ну, ты знаешь, кого я имею в виду... Затащила к себе домой. А меня взяло любопытство. Только любопытство, ничего более... Потом она сказала, что у нее побывали и другие ребята из нашего класса. Все твердила, что в мире нехватка мужчин, кризис, и надолго,— когда он кончится, она уже будет ни на что не годная. Я думаю, они одногодки с Ириной. Потом попросила у меня денег — мол, брат лежит в госпитале с ампутированными ногами и она копит на новые ноги. И при этом все прятала в вырез рубашки упругую грудь. Она меня поцеловала, и тут меня стошнило. Каждый раз, как вспомню о ней, начинает тошнить. Как же я после этого встречусь с Ириной? Скажи. Маму я не могу об этом спросить. Не могу...

Зеркало черно, глаза тонут во мраке. Луна отошла от окна, в соседней комнате кашляет мать. Ей тоже не спится. Я знаю, что простыня обжигает ее — на улице душно, жарко, а ты только треплешься насчет этой самой пещеры».

Слышны шаги свинцовых солдат. Ни один не повернет головы, не оглянется. В уставе сказано: «Смотреть вперед, голову выше!»

— Букур Штефан!

— Отсутствует.

— Букур...

Учитель отрывает взор от сухих ладоней, встает и смотрит на нас. Глаза у него такие же полуослепшие, как и тогда, мы недвижно застываем под этим взглядом. Слышен только скрип ног Иона Албу.

— А, это ты, мой мальчик.

— Я, господин учитель.

— Входи.

С некоторых пор он уже не показывается на людях. Дом его кажется пустым, стежка в саду покрылась бурьяном. Солнечные лучи давно сюда не заглядывали. Я отодвигаю шторы — и свет жадно врывается в комнату, прилипает к стенам, заставленным книгами, к фотографиям, к сыну. Он тихо стоит в углу, гипсовый бюст его сына, и смотрит на нас пустыми глазницами.

— Не пугайся, Михай, ты ведь знал его.

— Да, знал,— отвечаю я в страхе, точно передо мной труп.

— Я открыл, мой мальчик, что еще в состоянии жить. А вы как?

— Спасибо, ничего, господин учитель.

Хочется спросить, в чем же заключается его открытие, но духу не хватает. Жду, пока он снова заговорит.

— Узнали что-нибудь о Дане?

Дан — мой отец. Учитель называет его по имени, потому что они работали вместе. А может быть, еще будут.

— Нет.

— Он жив, мой мальчик. Дан не из тех, кто погибает, слышишь?

— Я тоже так думаю, господин учитель.

— А как поживает мать?

— Хорошо, господин учитель.

Гипсовый бюст словно поглощает наши слова. Я смотрю на него — по спине ползут мурашки.

— Господин учитель, я пришел спросить насчет Букура. Штефана Букура. Что с ним произошло?

— С Букуром? Не хочется вспоминать, мой мальчик.

— Он был лучшим моим другом.

— И ты ничего не знал?

— Ничего.

— Невероятно. Он постучал несколько раз вот сюда, в это окошко, и, когда он позвал меня, я сразу узнал голос. Он опирался о стену и казался пьяным. Я спросил: «Что тебе, Букур? Зачем ты тут в такой поздний час?» «Господин учитель, за мной погоня, я потом объясню вам. Пожалуйста, извините меня. Извини...» Он упал к моим ногам. Я на руках внес его в дом, зажег свет и увидел, что спина у него в крови. Я перевязал его и, когда он очнулся, спросил: «Что с тобой, мальчик? С кем ты подрался?» Он смотрел на меня робко, но без страха. И тут я услышал лай овчарок. Они неслись со всех сторон. Букур открыл окно — я было подумал, что он хочет комнату проветрить. Но он выпрыгнул. Я услышал, как он падает в траву и кричит: «Закройте окно, прошу вас, закройте! Слышите? Быстрее!» Я закрыл окно, а через несколько минут услышал, как рвали его овчарки. На второй день мы опять виделись. Маленький, ладно скроенный, он держался прямо и даже не вздрогнул, встретившись со мной взглядом. Его спросили, знает ли он меня, он с издевкой ответил: «Мой бывший учитель. Школьная крыса...» Удар заставил его замолчать. Та же рука, а возможно, другая, ударила и меня. Я пошатнулся, наверное, упал бы, но тут он закричал: «Не трогайте его, звери, не трогайте!..» Они его начали топтать ногами: рана на спине, должно быть, опять открылась — под ним была лужа крови. Никогда бы я не подумал, что Букур...

Гипсовый бюст в углу горит в сиянии заката, а мне обидно, я злюсь на Букура за то, что он обманывал меня, ни разу не обмолвился... Может, и я бы...

— О чем ты думаешь, мой мальчик?

— О нем, господин учитель. Как же вы сами расцениваете его поступок?

— Не знаю. Я больше ничего не знаю.

— А моего отца вы тоже считаете дезертиром? Преступником, как твердят повсюду?

— Не знаю, Михай!

Встаю и прощаюсь. Сил нет больше смотреть на этот гипсовый бюст, на пустой дом и этого человека, который ничего не знает. Он провожает меня через темную и холодную залу к выходу и на прощание советует держаться подальше от этих дел, не соваться куда не следует.

— Так лучше, мой мальчик. Хочешь быть счастливым, избегай людских раздоров. Укройся от них, обрети самого себя.

— Спокойной ночи, господин учитель.

— **Костеску Дан!**
— **Здесь.**

Город пропах смертью — ведь у смерти тоже есть свой запах. Тяжелый, тошнотворный, он отшибает память, он заставляет спросить самого себя: «Кто ты? Что ты сделал?» Город пахнет смертью и гарью, залитой водой. Третий раз в этом месяце самолеты утюжат город, а арсенал цел и невредим. Дома пылают, люди гибнут, только оружие надежно защищено. Оружие удачливее людей.

Теперь собирают трупы. Их складывают на нашей улице. Привозят на грузовиках, телегах, тачках — на чем попало и сваливают в кучу. После дождя мухи сразу же вылезли на свет божий. А трупы опознáют бог весть когда.

Я был там и наткнулся на Дана Костеску. Он сидел на корточках — его выворачивало наизнанку.

— Дан!
— Что тебе?
— Пошли отсюда.
— Куда?
— Куда угодно, только не стой здесь.

Я привел его в наш сад, мы опустились на матрас в тени орехового дерева. На кровати, единственной мебели, которую удалось спасти от пожара, лежала мать: не то спала, не то пыталась уснуть.

— Кого ты искал, Дан?
— Маму, Михай. Она там...

Он не плачет. Его вырвало, и он уже не может плакать.

Легкий ветерок срывает горелые листья. Молчание тяжким грузом опускается на плечи. Он смотрит на улицу, туда, где люди опознают трупы, а я — на подвешенный к ветке портрет с подписью Мари.

«— Ты со мной. Тебя никто не опознает...»

— Что ты сказал?

— Ничего, Дан, ничего...

Не слышно более ни слов, ни вздохов. Никто уже не плачет. Никто не смеется. Люди умерли либо уснули, изнуренные, бессильные, равнодушные, привыкшие. Только мать не спит. Ворочается на кровати и спрашивает:

— Что будем делать, Михай?
— Ждать, мама.
— Ждать чего?
— Чего-нибудь. Спи. Все спят.

Проходит немного времени. Я слышу — она плачет, а Костеску спрашивает:

— Выпьем?
— Чего?

— У меня бутылка цуйки. Давай напьемся. Говорят, когда напьешься, деревенеешь, забываешься.

Мне жалко его, не могу отказать.

— Что ж, давай...

Он прав. Все деревенеет, кроме мысли. Превращаешься в одну сплошную мысль, меняешь ее по своему хотению — и ты счастлив. Мысль не дает мне уснуть, я слышу, как кто-то открывает ворота, робкие шаги раздаются все ближе. Это поэт... Белая рубашка, стихи, дышащие целомудрием. Один он не пахнет смертью.

— Стелла! Вы здоровы?

Я не разобрал слов матери. Слышу неясный шепот, кусаю руки от злости, что напился. Вдруг она тоже купит мне папочку? Нет, это невозможно. Я убью его. Кусаю руки, на губах — соленый привкус крови.

Вдруг в мертвой тишине раздается звук пощечины. Поднимаюсь на локтях, слежу за торопливо удирающим поэтом. Ворота с грохотом закрываются, мать спрашивает:

— Ты спишь?

Молчу. Так хочется ответить, сказать ей, что я счастлив, поцеловать, но я не в состоянии встать, а целовать тем более: от меня несет цуйкой.

Дан Костеску целует мою руку. Должно быть, ему снится, что рядом мать. Я не убираю руки, пусть целует.

— Фэинару Аурел!

— Здесь.

Он статен, атлетически сложен, у него красивое лицо спортсмена без единой морщинки, черные волосы, сонные, равнодушные глаза, ладони тяжелые, сонные, как и глаза. Нехотя встает, вот-вот начнет опять шутить насчет того, что разница между двойкой и пятеркой меньше, чем между двойкой и тройкой. Он, надо полагать, единственный среди нас, кто еще может смеяться, как тогда.

...Улица полна женщин, вышедших «на заработок». Вышла и сестра Фэинару. И мать. Это мать, должно быть, научила ее фокусу с упругой грудью. Она вложила ей в уста сказочку про безногого брата. У сестры Фэинару такие же черные волосы, голубые глаза, кожа у нее мягкая и горячая.

Наверно, не следовало бы так, но ничего не могу с собой поделать: как вспомню упругую грудь, меня сразу начинает тошнить. «Безногий брат» стоит передо мной, он здоров как бык, огромен и ленив. Ухмыляется.

— Я пришел за ней. Пускай идет домой. Усек?

Ребята молчат. Албу, Аксенте, Костеску... Никто не понимает, что ему тут надо. Кто должен идти домой? Они изумленно смотрят на верзилу, который вошел в сад не здороваясь и с ухмылкой сказал, что пришел за ней, пусть идет домой. Домой?

Его голова возвышается на фоне рухнувших стен на противоположной стороне улицы. За стенами виднеется липа. Пожар пощадил ее, она стоит, похожая на огромную пятерню. Открытая ладонь на фоне голубого неба. Не могу взять в толк, как она уцелела, говорю себе, что сверкающая плоть липовых листьев — это сама жизнь, не ведающая горя, смертей, пожаров, несчастных людей. Голова Фэинару опускается, развалины позади него, освещенные солнцем, ухмыляются, как и его лицо.

— Я пришел за ней. Мать ее просила нас об этом. Мы должны о ней позаботиться.

— Убирайся, слышишь?

— Тебе что, надоело жить, цыпленок?

— Нет, не надоело. Но когда вижу тебя, меня начинает тошнить.

— А когда забавлялся с моей сестрой, тебя не тошнило?

— Тоже тошнило.

Ребята молчат, ошеломленные его словами, моим ответом. Фэинару ухмыляется, пальцы его барабанят по висящему на ветке портрету.

— Убирайся!

— Мы еще встретимся.

— Ну, встретимся. Что дальше?

— Там видно будет.

Развалины напротив видны целиком — за ними вызывающе высится липа. Фэинару уже нет.

— Пошли,— говорит Албу.— А то опоздаем.

— Вы идите,— говорю,— я вас догоню. Не беспокойтесь.

Ребята уходят, удивленные моим поведением; ветер напускается на ореховое дерево, раскачивает портрет отца. Подхожу к матрасу, на котором спит Ирина в окружении разбросанных по саду маргариток. Она спит лицом кверху, прикрывшись с головою простыней. Белое полотно плотно облегает тело, оно напоминает гипсовую фигуру в доме учителя истории. Кричу в испуге:

— Ирина!

— Это ты?

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, Михай.

— Приходил Фэинару...

Она вздрагивает, улыбка на лице угасает. Садится. Беспомощно сложенные между колен руки дрожат. Глаза тоже пронизаны дрожью.

— Что ему от тебя надо?

Она молчит. Приподнимаю ее лицо — из глаз брызжут крупные слезы, скользят по веснушчатым щекам.

— Скажи мне. Отвечай! Зачем ты ему нужна?

— Не знаю. Я не могу...

— Отвечай!

— Оставь меня. Пусти... Прошу...

Она вырывается, толкает меня, царапается, но руки мои сильнее.

— Говори. Не скажешь, убью. Своими руками задушу. Сейчас же.

Она глотает слезы. Слизывает языком с губ и глотает.

— После бомбежки... Дом наш... Дом сгорел... Я осталась одна, я чувствовала, что схожу с ума. Накануне увезли маму, а теперь... теперь и дома не было...

— Говори!

— Я была одна. Люди проходили мимо, усталые, безучастные. Только она остановилась. Его мать. Повела к себе — мы ведь соседи. Сказала, что мама наказывала ей приютить меня... Так она сказала. У них в доме хорошо, она вела себя как настоящая мать. Потом пришла и Уцэ, его сестра. Я дрожала — всю ночь провела под дождем. Они предложили выпить. Мы пили часа три, потом они ушли, а я уснула... Все вокруг было свинцовым. И я стала свинцовая...

— Говори, говори!

— А... когда пришла в себя, было слишком поздно.

— Почему?

— Не знаю, кто это был. Да и был ли один... Может, их было несколько... Я лежала без сил на их кровати, она пахла духами.

— Почему же ты не встала?

— Потому что это была уже не я.

Мои руки касаются ее бедер, но тут же отскакивают, мертво повисают. Слышу ее голос:

— Скажи, ты еще сможешь...

— Что?

— Михай! Ты еще сможешь быть самим собой? Сможешь?

— Не знаю. Не знаю.

А в мыслях — Штефан Букур, ее брат, ночь, когда овчарки рвали его в саду под окном Аттилы, ребята, ожидающие меня. Из глаз ее все льются и льются слезы.

— Я не плачу, Михай. Не грусти — я не плачу. Что-то во мне плачет. Иногда в нас только и остается это «что-то», мы над ним не властны. Вот оно и плачет...

— А мне какое дело.

Я встаю и ухожу не оглядываясь. Позади меня ветер раскачивает портрет отца, нарисованный Мари, его подружкой. На губах еще сохранился вкус соленых слез Ирины, я еще дышу запахом ее волос. Потом открываю ворота, и на меня обрушивается застоялый смрад — гарь, смерть, душный полуденный зной. Кошка тащит крысу. Их теперь множество — этих крыс. Под развалинами пищи для них вдоволь. Торопливо проходит женщина, сгорбленная, в трауре. Другая, помоложе, подмигивает мне. К ней направляется немецкий офицер, устало стуча сапогами. За высоким забором — чей-то плач.

А мне все слышится, как ветер стучит о ветку портретом отца: пак-пак, тик-так. Словно маятник. Подлаживаю шаг под эти мерные удары.

— Хицэ Ион...

...Хицэ повесился этой ночью. Люди поговаривают, что он свихнулся, но я не верю... Не безумие убило его, а скорее всего отчаяние.

Теперь он висит на ветке вишневого дерева позади дома. Сколько раз мы ели тут кислые вишни, сидя на ветке, на которой он висит. Я совал вишни в рот и жмурился от удовольствия, а Хицэ рассказывал мне, как он сделается великим хирургом и будет оперировать горло сестры. Она была немая. Стройная, высокая, с ослепительно белой кожей и длинными, до колен, черными волосами, сестра Хицэ стояла под деревом и ловила вишни, которые мы ей бросали. Делала из них сережки, усы, смеясь, вплетала в волосы.

На этой ветке мы сидели с ним. Теперь Хицэ смотрит на меня выпученными глазами, высунув язык, презрительно и страдальчески скривив губы. Люди говорят, что он спятил. Родители стоят тут же, оглушенные горем, а сестра обнимает ноги мертвеца, кутая их своими черными длинными волосами.

Люди поговаривают, что он рехнулся, но они несправедливы и равнодушны. Будь это не так, давно бы решились и подожгли столовую — сгореть бы этим немецким крысам в огне.

Немая работала на этой кухне. Родители погнали ее: пусть, мол, тоже зарабатывает. Пусть тоже занимается делом. И девушка пошла, и все было так, как говорили родители, пока в один из дней не обнаружили на улице зарезанного немца, а Хицэ — на ветке. Вот почему немая обнимает ноги мертвеца и кутает их своими длинными черными волосами. Она одна могла бы доказать, что брат ее не был сумасшедшим.

Я отвожу взгляд от лица Хицэ, от длинных волос, черным знаменем окутавших ноги мертвеца, и передо мной вырастает Фэинару. Подходит ко мне, кладет свою лапу на плечо.

— Помни про наш разговор, дружок,— ухмыляется он.

Это единственное, что он может сделать. Рядом со мной ребята, вокруг толпа, детина с ленивым взором бессилен.

На улице Албу сообщает мне, что листовки готовы, что этой или ближайшей ночью предстоит их расклеивать, что «папа» Тиль надавал по шее своей голубке. И еще, что ему передали, с абсолютной точностью передали: не пройдет и несколько недель, как город будет очищен от крыс.

— Мы подпалим их, Михай. Выкурим их, постреляем вволю. А потом все пойдет по-новому.

— Как по-новому? Будут новые люди? Они, иссушенные голодом и нищетой, влезут в старые шкуры, продырявленные пулями, изъеденные вшами? И воздух станет чистым? Не будет больше запахов смерти, гари, крыс?

— Не будет.

— И больше не придется оглядываться, опасаясь погони? Не будет этих страшных бомбежек?

— Не будет. Исчезнут страх, смерть, крысы, вши. И купить можно будет все что душе угодно. Без карточек...

Неужели возможна жизнь без карточек?

Они при нас, с тех пор как мы себя помним. Мы привыкли. Словно они существуют с самого сотворения мира. Хотя нет, зачем... Это наш век, век карточек, придумал их. Жизнь по карточкам, любовь по карточкам, время, воздух, ласки, мысли, смех — все по карточным нормам. Талон на поцелуй, талон на улыбку, талон на объятие...

Хочешь быть счастливым, избегай людских раздоров. Укройся от них, обрети самого себя...

Где укроешься? Слова! Пустые слова...

— Осталось несколько недель, Михай.

— Быть по сему, Албу.

Дома мать сказала, что Ирина ушла. Оставила записку. Надеваю на голову простыню и читаю в свете фонарика: «Не ищите меня». И все. «Не ищите меня».

Луна лениво поднимается в небо. Ночное дыхание земли и молодой листвы постепенно отгоняет запахи смерти. Только лицо матери кажется мертвым в сиянии месяца. Я обнимаю ее ноги, опускаю голову на ее колени и прошу:

— Расскажи мне сказку.

Руки ее скользят по моим волосам, холодная слеза падает на затылок.

Убедившись, что она заснула, я неслышно отхожу, пролезаю через дыру в заборе. Луна заходит, ребята уже ждут.

— **Лесседе Георге!**

— **Здесь.**

Крысы сбежали. Столовая сгорела. Оружие взлетело на воздух. Люди говорят, что человек — опять властелин своей судьбы. Но запахи смерти еще не рассеялись, она еще бродит рядом, хватает одного, другого. Меня она тоже заприметила, касается лица своей холодной, как у пресмыкающегося, колючей лапой. Если бы не эта адская боль! Она вся сосредоточилась в глазах. Я смыкаю над ней липкие, распухшие веки и чувствую, как она жадно вгрызается в зрачки.

— Михай.

— Что, Георге? Что?

— А здорово мы...

— Что здорово, Георге?

— А то, что мы с тобой наворотили...

— Что именно?

...Георге ползет по холодной металлической трубе. Бьет ненароком меня ботинком по голове, но я не чувствую боли. Хоть бы меня резали, я бы все равно не чувствовал боли. Ползу вслед за ним, холодная труба обжигает руки. Еще метр. Еще один.

— Скорей, Георге, скорей!

Встать бы, побежать, но лучи прожекторов то и дело настигают

нас. А за прожекторами — пулеметы. Никто не учил нас стрелять, убивать, разрушать. Мы делаем все по наитию. Надо, чтоб человек стал властелином своей судьбы.

Еще метр. Еще один...

И вдруг тело превращается в жидкое месиво, пронизанное болью.

— Заставь меня сегодня тащить тебя столько километров на горбу, ни за что не смог бы. Как мне тогда удалось — уму непостижимо. Но справились мы здорово! Одно им только и осталось: посматривать на город издалека да облизываться.

— Отчего так болят глаза?

— Пройдет. Еще у тебя несколько сломанных ребер. Врач твердо обещал, что через несколько недель...

...Мама! То же мертвое лицо, как в ту ночь, когда запахи земли стали одолевать запахи смерти и лунные лучи словно прилипли к ее глазам.

— Кто это пришел с тобой, мама?

— Михай!

— Мама, ты не поступишь, как мать Албу!

— Михай, это же твой отец.

Отец? Нет, это не он. Отец молод, у него ясное лицо, холеные руки, в глазах искрится радость.

— Кто ты?

— Мальчик мой!

Только голос прежний. Только голос они у него не убили. И зачем он говорит, что тают снега? Я не хочу, чтобы снег таял, под ним трупы, обожженные стены, крысы. Снег бел и чист, пусть укрывает землю.

«Зачем ты говоришь о смерти, о вшах, голоде? Замолчи. Я уже не могу слышать об этом. Рассказал бы лучше, как ты целовал Мари, когда она рисовала твой портрет».

А где портрет? Почему не принесли его сюда, в дом Леспеде? А вот пожаловал и Аттила. И Албу.

А не явились ли они на похороны? А не...

— Онуц Павел!

— Здесь.

— Как я рад видеть тебя, Павел! Что поделывают ребята? Встречал ли ты кого-нибудь?

— Я видел Албу, Драгомира, Леспеде, Мэгурэ. Здорово дерутся с немцем. А вот Потека убит. Убит и Шербу. Остальные живы, здоровы...

Он говорит об убитых буднично, точно спрашивает: «Как дела? В порядке?» Нет, Павел, ты тоже уже не прежний.

— Отца моего видел?

— Видел.

Он опускает глаза, рассматривает стакан с янтарным вином, к которому не прикоснулся.

— Видел. В последний раз...

— Знаю. Не ты первый говоришь мне об этом. Я уже несколько дней тому назад узнал. Расскажи подробно, говорят, ты был рядом.

— Его ранило в плечо. Царапина. Когда мы его перевязывали, немцы перешли в наступление. До носилок оставалось три метра. Только три метра. А тут осколок ударил в спину и вышел через грудь. На носилки положили другого. Твой все равно был обречен. Мы отступали. Бежали. Когда мы проходили мимо, он все еще звал: «Не оставляйте меня! Не бросайте!» Мы ничего не могли поделать.

— В это невозможно поверить. Невозможно. Если вы... Если ты...

— Не говори ничего.

Он смотрит на меня своими бесцветными глазами, но взор мой отскакивает от них, впивается в правый пустой рукав, который он прижал к столу.

Потом спрашиваю:

— А ты как?

— Как видишь...

Оставляем вино нетронутым, встаем, пробираемся между столиками к выходу. От посетителей веет каким-то наглым счастьем, оно раздражает меня. На улице — разлив света. Вот уж несколько дней, как сняли затемнение, и луна поблекла: никто не обращает на нее внимания.

— Что ты собираешься делать, Георге?

— Там видно будет.

Мимо нас проходит женщина в черном. Свет витрины падает на лицо.

— Ирина!

Она отвечает равнодушным, усталым взглядом. Останавливается, делает шаг ко мне, потом спрашивает:

— Что тебе?

А я и сам не знаю. В голове столько мыслей. Спрашиваю:

— Как мама?

— Гниет.

Протягиваю руку, хочу ласково коснуться ее лица, но она отстраняется, равнодушная, печальная, усталая. Потом, повернувшись, удаляется, шагая медленно, размеренно, точно заново учится ходить.

— Кто это? Славная мордашка. Завидую.

— И зря. Это сестра Букура. Штефана Букура.

— Ах, да... А я и не узнал ее...

А ты и не мог ее узнать, думаю. Я тоже не узнаю ее. Мы все с трудом узнаем друг друга. Учимся узнавать. Как Ирина учится ходить.

— **Зарэ Сорин!**

— **Здесь.**

...Это наш отличник. Тащит куда-то огромный чемодан.

— Что там у тебя? Все домашнее барахло погрузил?

— Книги, что же еще...

Он хил и невзрачен. Близорук и потому носит очки. В отчаянной погоне за хорошими отметками почти ослеп, я даже не знаю, долго ли будут служить ему глаза, а ведь жизнь только начинается. Отец тащит другой чемодан, мать — сетку с яствами, обернутыми в газету, сквозь которую проступают пятна жира. Родители веселы, сыплют советами.

Моя мать молчит, печальная, как всегда.

На перроне покупаю газету, нахожу в ней стихи Бернеску. Целомудрия как не бывало. Теперь он пишет грозные стихи об эксплуататорах и революционных знаменах. Читаю — и перед глазами червяки, вылезающие после дождя из земли. Я радуюсь тому, что солнце убивает их, настигает повсюду и сушит.

— Пойдешь со мной на медицинский, Михай?

— Нет, Зарэ, не хочу на медицинский.

— Не будь олухом. Знаешь какую деньгу зашибает врач?

— Все равно не хочу.

Поезд прибывает. Вагоны набиты, люди висят на ступенях, на буферах. Еще не все устроились по домам. Долго они еще будут колесить по свету?

— Пиши, Михай,— говорит мама.

— Напишу.

— Как прибудешь, сообщи.

И вздыхает. Отчаяние, самоотречение, а может, просто усталость? Одна. А ведь страшно оставаться одному. Я знаю — в одиночку долго не протянешь. А я скоро не вернусь. Если вообще когда-нибудь вернусь.

«Кто же встал между нами, мама? Портрет, нарисованный Мари? Ирина? Кто повинен? Кто?»

Целую мамину руку. Какая холодная, мертвая рука! Мать странно глядит на меня. А поезд все стоит и стоит. Говорят, остановка продлится еще десять минут. Мама молчит. Молчит и по-прежнему глядит на меня.

А я думаю о тени, промелькнувшей мимо прошлой ночью, о девушке, которая тщетно пытается уйти от своей тени...

— Ты тень.

— Вполне возможно.

— Куда ты меня ведешь?

— Увидишь. Ты же сказал, чтобы я сделала с тобой, что хочу. Завтра уедешь. И...

— И что?

Она не договаривает, что будет завтра или потом. Я тоже не знаю. Не помню даже, сказал ли я, чтобы она делала со мной все, что ей хочется.

— Ты тень,— повторяю, когда мы приходим в ее комнатку.

— Может быть. Днем тень, ночью тень. Но этой ночью... Этой ночью я хочу быть такой, какой мечтала.

И ставит на стол вино. Янтарное, маслянистое, сладкое вино. Мы пьем. Она снова наполняет стаканы. Немного погодя говорит:

— Наверно, мне следовало бы грустить, лить слезы. Завтра я тебя потеряю. Знаю, а все-таки жизнь чудесна. Хотя бы в эти мгновения.

— Лучше так...

Она встает и поворачивает черный выключатель. Тьма накрывает нас, Ирина вплавь пробирается сквозь нее, находит меня, обнимает.

— Люби меня...

Утром сонно и устало говорит:

— Можешь ехать. Больше не задерживаю тебя. Я снова стала тенью, как ты говоришь. Чего же ты ждешь?

Наконец, поезд трогается. Мама торопливо целует меня, напоминает, чтоб я писал. В это мгновение она опять стала родной, как в ту ночь, когда, опустив голову на ее колени, я просил рассказать мне сказку.

— Смотри ешь вовремя, не ложись поздно, не...

Зарэ облегченно вздыхает. Родители остались на перроне, их советы теперь бесполезны: никто их уже не услышит.

Ирина! Черная тень! Стоит, прижавшись к стене, явственно различаю ее лицо.

Впрочем, я скорее всего обознался. Померещилось. Да если б она и была, ничего уже не изменишь...

Поезд набирает скорость. Где-то позади — перрон с мамой, родителями Зарэ, тенью, приникшей к стене.

— Михай, подавайся со мной на медицинский. Знаешь какую деньгу зашибают...

Сухие ладони закрыли журнал и легли поверх него. Умер и наш журнал. Но тут учитель сказал что-то такое, отчего все рассмеялись. Нет, это уже не усталый, сдержанный и степенный смех. Теперь он льется свободно, естественно, как и полагается человеческому смеху.

Неужели я тоже смеюсь?

АДРИАН ЧЕРНЕСКУ

Ночь без сна

Мягкая, женственная рука легла на его плечо. Он спокойно обернулся, осмотрел пришельца с ног до головы: туфли на пуговках, клетчатые брюки, трость с серебряным набалдашником, пиджак в крупную клетку с гвоздикой в петлице, галстук бабочкой; и надо всем этим — тщательно ухоженное улыбчивое лицо и фетровая шляпа, низко надвинутая на лоб.

— Прежде чем войти, полагается стучать в дверь.

— Приятного аппетита, Уйбару.

— Благодарствуем. Садитесь с нами, господин комиссар, то бишь инспектор...

— Спасибо.

— Знали бы вы, чего мне стоило достать эти луковицы. С ними брынза вкуснее.

— Что поделаешь, дружок, тяжелые времена...

— А я слышал, что в ресторане Аро кормят неплохо. Не то отведали бы кукурузно-мякинного хлебца?

— Было бы преступлением посягать на чужую хлебную карточку.

— Милостью господина маршала это все, что могу предложить.

— Ты один во всем доме, Уйбару?

— Хозяева уехали в деревню: испугались бомбежек.

— И остался ты один-одинешенек. Прямо-таки отшельник.

Грохот опрокинутых ящиков, лязг железа донесся с чердака.

— Вижу, у меня резвятся гости...

— Я ведь просил их работать осторожно. Вот что получается, дружок, когда имеешь дело с кретинами...

— А как насчет бумажки, ордера на обыск?

— На кой она теперь, эта писанина? Пусть ею занимаются тупые буржуи.

— В таком случае могу помочь, чтобы вы не тратили лишних усилий: там на полочке пятая книга слева называется... «Ренегат Каутский». Автор — некий Ленин.

— А седьмая — «Откровения святого Сысоя». Разумеется, только обложка.

— Стало быть, решили почтить меня визитом...

— Долг, дружочек. Все мы — рабы долга. Кстати, слышал ли ты, Уйбару, о партийных ячейках?

— Вроде бы.

— Что это за штука?

— Какие-то пацифистски настроенные группы, что-то вроде квакеров.

— А ты, стало быть, читаешь им проповеди.

— С вашего позволения, я всего лишь электромонтер.

— И за такое невинное занятие запирают человека в компании ворюг!

— У вас с памятью что-то не то. Вы же знаете, что я убил Иисуса Христа.

Дверь с грохотом распахнулась — в комнату ворвались двое дюжих молодцов. Пришлось беседу на время прервать.

— Ничего, господин инспектор!

Офицер посмотрел на них с бесконечной жалостью: «Ну и пентюхи!» Впрочем, все они явились слишком поздно.

— Уйбару, а что вы хранили в тех бочках, в подвале?

— Капусту, огурцы, перчики...

— Куда же они к черту подевались?

— Точные сведения о соленьях вы сможете получить только у хозяев.

— Уж очень они попахивают порохом.

— Огурцы?

— Да нет, бочки, из которых исчезли соленья.

— Что ж тут удивительного? С тех пор как пошли эти бомбежки, хлеб и то провонял селитрой.

— Вот дам по зубам, кровью умоешься! Как ты разговариваешь с начальством?

— Оставь его, Гицэ, занимайся лучше своим делом.

— Не очень мне по душе это самое «дело» вашего помощника: фотографию матери и то разорвал на мелкие куски.

— Гицэ,— мягко укорил подчиненного инспектор,— что ж ты не щадишь семейные реликвии?

— Шельмы они, энти коммунисты! В папиросном дыму и то прячут буркламации...

— Уйбару, зажги, пожалуйста, лампу. Одна морока с тех пор, как не стало света.

Санду Уйбару чиркнул спичкой и поднес ее к фитилю. Пока он еще сохранял спокойствие. Надо во что бы то ни стало держать себя в руках, уверенно, даже вызывающе. У него ответственное задание, и если они его сцапают... Хорошо хотя бы, что он успел передать оружие в верные руки. Видно, кто-то сболтнул...

— А как насчет женщин, дружочек?

Электрик вздрогнул слегка, это не укрылось от собеседника.

— Брюнетки меня не волнуют, они вспыхивают, как солома, и тут же гаснут. А вот блондинки — те в мужчине ищут капли поэзии. И только потом начинают трепетать, словно тополь под ветром. Не стонут, не кусаются, не закатывают глаза, а просто вздыхают. Да, любовь для них — истинное искусство.

— Волнующая картина, но обобщения рискованны. Я лично женат на блондинке, но пока не наблюдал у нее подобных добродетелей.

Жилец выкрутил фитиль и приблизил к отверстию стекла папиросу.

— А вообще женщина, как бы она ни притворялась, не может любить с одинаковой силой двоих.

Инспектор смахнул ладонью приставшую к лацкану соринку. На его ясном лбу обозначилась морщина.

— Твои слова не лишены логики.

— Господин инспектор, господин инспектор! Пистолет, я нашел пистолет! — закричал полицейский, размахивая каким-то металлическим предметом.

— Где, Гицэ?

— Под подушкой бандита!

Шофер полицейской машины, шагавший взад и вперед около двери, подошел, заинтересованно всмотрелся.

— Ха-ха-ха! — затрясся в смехе электрик, умиленный наивностью разыгранной комедии.— Итак, я храню свои наручники под подушкой. Я был о вас лучшего мнения. И сержант хорош: у него такой идиотский вид, словно он действительно верит...

Полицейский кинулся к нему с поднятыми кулаками. Но шофер опередил его, ударил Уйбару по лицу.

— Шофер, вон отсюда! Гицэ — без кулаков! — остановил их инспектор. Затем повернулся к жильцу, который вытирал платком окровавленную губу: — Ненавижу насилие.

— В доме повешенного не говорят о веревке.

— И все же ты должен признать, что обидел сержанта. Такая у него работа: видеть и верить. А теперь, Гицэ, садись за этот стол и опиши-ка хорошенько в протоколе все, что ты там нашел.

— К чему все эти формальности?

— Вдруг да пригодятся... А ты, Уйбару, доканчивай ужин. Придется тебя потревожить.

— Трогательная забота,— заметил жилец и отодвинул тарелку.

Итак, они обязательно хотят задержать его. А в три часа ночи вооруженный отряд ждет его с приказом, иначе останется без связи. Сумеет ли он сохранить присутствие духа до конца?

— Господин инспектор Хереску, можно вас на два слова?

— Я весь внимание.

— Сдается мне, что в последние часы произошли не очень-то приятные для вас события. Ясский фронт прорван.

— Секрет Полишинеля. И это все?

— А что, если вовремя улизнуть?

— Как, как?

— Мой совет вам: оставьте эти пакостные занятия и дайте тягу. Если вы, конечно, дорожите своей шкурой.

Инспектор удрученно опустился на стул.

— Жаль, жаль, что не смогу последовать твоему совету. Это было бы самое мудрое на свете. Вот что значит есть горький хлеб государства.

— Капля дальновидности не повредит. Вряд ли вы менее сообразительны, чем ваши коллеги.

— Я не предрасположен к макиавеллиевским увертками. Я — раб порядка, порядка и долга.

— Многие ли будут оплакивать этот ваш порядок?

— Ясное дело, не все могут ужинать в ресторане Аро. Ну как, Гицэ, написал протокол?

— Сей момент, господин инспектор!

— Не забудь проставить дату, потом подмахни, чтоб все было чин чином.

Полицейский вытер пот со лба, засучил рукав мундира и снова склонился над листом. Окончив тяжкий труд, поставил заковыристую, внушительной красоты подпись.

— Что ж, пора подышать свежим воздухом. Я надеюсь, Уйбару, у нас не будет неприятностей.

— Какие еще неприятности?

— До нашей машины — небольшое расстояние, и мне бы не хотелось поступать с тобой, как с мазуриком.

— Вы меня обижаете, господин инспектор. Для политического деятеля быть в темнице в день освобождения...

— ...Все равно что получить рыцарское звание. Понимаю.

— Оттого ты со мной так миндальничаешь,— проговорил арестованный, решив внезапно бить последним козырем.— Только помни, легавый: завтра, когда мне передадут твои погоны, не проси пощады!

Между бровями инспектора резко обозначилась морщина.

— Так то — завтра, а у нас пока — сегодня. Пойдем, Уйбару. Ребята,— обратился человек с тростью к своим спутникам,— у нашего друга гвоздь в ботинке. Бережно поддержите его, а то ему ходить трудно.

Шофер и сержант кинулись к арестованному и крепко ухватили за руки.

— Вот и отлично,— заметил электромонтер, когда они его понесли.— Мне и вовсе нет надобности шагать.

Он был в отчаянии. Глаза его с ужасом смотрели на полицейскую

машину, стоявшую на углу. С каждым шагом шансов на спасение оставалось все меньше. Он знал, что из машины ему уже не вырваться. А там, в лесу, отряд ждал приказа. Если он не явится, товарищи так и не узнают, что им следует делать, как действовать. Надо что-то предпринять, пока небо над головой, пока руки свободны.

Он прижал ладони к груди в знак безропотного подчинения, но улучив момент, напряг руки, рванулся вперед и тут же дернулся назад. Освободив молниеносно руки, ударил ребром ладони по адамову яблоку инспектора, потом полицейского и припустился бежать, пересекая улицу наискось.

Шофер первый пришел в себя и кинулся догонять беглеца. Оставалось несколько шагов до угла, до спасения, но тут шофер прыгнул, словно пантера, и, очутившись на асфальте, вытянул руку. Он схватил Уйбару за щиколотку в то самое мгновение, когда тот считал себя в безопасности. Беглец рухнул на землю. В следующее мгновение водитель машины оседлал его и крепко вцепился в волосы.

Инспектор, успевший поднять с земли шляпу, тщательно обмахнул ее платочком, щелчками стряхнул с нее приставшие пылинки и только после этого надвинул на лоб.

— Надень ему «браслеты», Гицэ. Теперь, надеюсь, он угомонится. Видишь, Уйбару, что бывает, когда ведешь себя неразумно?

Полицейский щелкнул кольцами наручников и не преминул несколько раз огреть арестованного кулаком. Между тем инспектор тщательно поправлял слегка сдвинувшийся галстук.

Наконец, он уселся рядом с шофером, который уже включил зажигание.

— Гони, дружок.

Шофер нажал на стартер, машина помчалась по главной улице. Сзади слышны были удары и приглушенные стоны. И так — до самого участка.

— А ты ловок, парень, как посмотрю. Такой прыжок только мастеру под силу.

— Не думал я, что разбойник окажется таким прытким.

— Не разбойник, а коммунист.

— В самом деле? А чего они добиваются?

— Хотят перевернуть вверх дном законный порядок.

— Ишь ты!

— Что-то я тебя не замечал до сих пор. Свеженький, что ли?

— Господин маршал снял нас с фронта. Для борьбы с крамолой.

— Вижу, знаешь свое дело.

— Я знаю одно только, господин инспектор: приказ есть приказ. Начальство скажет — родного отца арестую!

Гнетущая тревога царила в полицейском участке. Никто не думал о своих обязанностях. Полицейские агенты, комиссары, инспектора слонялись без дела, охваченные страхом. В кабинете квестора[1] люди слушали радио, настраиваясь на самые разнообразные волны. В углу обсуждали положение на фронте: укрепленная линия Фокшань—Нэмолоаса—Галаць, скорее всего, не выстоит, зато ощетинившаяся карпатская дуга неприступна, тут сомнений быть не может.

Только инспектор Хереску сохранял обычное спокойствие. Развалившись в кресле и положив ногу на ногу, он курил сигарету «РМС», посылая колечки дыма к потолку. Один из его коллег не выдержал, кинул походя:

— Не понимаю, на кой черт понадобилось арестовывать этого человека, когда мы все на краю пропасти.

[1] Начальник полицейского управления.

Инспектор даже не взглянул в его сторону «Эти идиоты уже наложили полные штаны,— думал он, пуская дым в потолок.— Подумаешь, коммунисты. У нас, конечно, немало возни с ними. Но уж так пугаться... Чтобы преуспеть в политике да еще удержаться у власти, нужны такие обязательные условия, как деньги, связи, опыт, дипломатия, традиции, экономическая база и многое чего еще. А у них ничего такого нет. Самое большее, на что они способны — строить воздушные замки». Что бы там ни произошло, решил инспектор, события проходят, учреждения остаются. Значит, надо выполнять свой долг.

Ночь предстояла трудная: в деле Уйбару он располагал только анонимкой, написанной мелким женским почерком. Искать автора в людском море — значило бы потерять уйму времени. Придется все вытягивать из арестованного: кому передал оружие, для каких целей,— нет, он обязательно утрет нос ищейкам сигуранцы, с которыми у него отношения были хоть и дружеские, но далеко не идеальные.

И вдруг в комнату ворвался голос диктора, читавшего манифест от 23 августа. Оцепенение сменилось растерянностью, началась паника...

Над Черной церковью понесся первый колокольный звон, потом второй, третий, будя усталый город. Окна распахнулись одно за другим, на пустынных улицах зажглись огни.

Трубным гласом звенело над городом слово «мир», неся душе успокоение.

Инспектор Хереску вскочил с кресла и повернул до отказа ручку радиоприемника. Да, это голос короля... Перемирие... маршал арестован... повернуть оружие... Казалось бы, радоваться надо. Конец бессмысленному кровопролитию и связанным с ним треволнениям, конец тревожному ожиданию. Откуда же этот овладевший им леденящий холод? Вместе со словами монарха, которого он чтил превыше всего, ему слышался другой, не знающий запинок голос иных людей. Итак, свершилось: коммунисты вышли из подполья. Утром, а может и раньше, ворота тюрем откроются.

Выдержки его как не бывало, лоб покрылся холодным потом. Последние полицейские незаметно уходили задними дворами, а он все шагал взад и вперед по краю ковра. Попытался заткнуть уши, но тщетно: сквозь оглушительный звон колоколов назойливо стучался в барабанные перепонки голос: «...Если вы, конечно, дорожите своей шкурой... завтра, когда мне передадут твои погоны, не проси пощады!»

Он торопливо спустился в подвал. В караульном помещении дежурный унтер дремал на стуле. В соседней каморке раздавался храп. Инспектор толкнул дверь, повернул выключатель. Человек, отбросив одеяло, ошалело вскочил, сонно протер глаза.

— Есть одно дельце, дружок.

— Слушаюсь, господин инспектор.

Шофер подошел к умывальнику, кинул несколько пригоршней холодной воды на лицо, тряхнул отуманенной от усталости головой и просительно сказал:

— Господин инспектор, я только-только прикорнул. Прошу вас, может, поищете кого другого...

— У меня нет выбора. Все смылись, как крысы с тонущего корабля. Одевайся и не забудь захватить лишнюю канистру с бензином.

Машина мчалась в ночи по пустынной дороге. Бледный свет фонаря бросал масляные блики на стены кузова.

— Я очень сожалею, Уйбару, очень сожалею, но эта поездка для тебя последняя.

— Убить при попытке к бегству?
— Поверь, не я придумал эту формулу.
— Однако собираетесь использовать ее.
— Клянусь, впервые в жизни.
— А может, стоит отложить?
— Потом будет поздно.
— А если совсем забыть?
— Невозможно.
— Кто же мешает?
— Народная мудрость: оставишь в живых — тебе не будет жизни.

Уйбару изо всех сил старался казаться спокойным, но понимал, что минуты его сочтены. Эта ночная поездка, скорее всего, окончится где-то на краю оврага. Инспектор явно решил убить его и даже не без злорадства сообщил ему об этом. Впрочем, он сам во всем виноват. Его поведение во время обыска и особенно угрозы, которыми он пытался напугать инспектора, привели к этому ужасному концу.

— Что ж, господин инспектор, так вы выполняете приказ его величества? А еще блюститель порядка!

Инспектор неторопливо сунул руку в карман и достал пачку сигарет «РМС».

— Подымим?
— Не откажусь.

Хереску придвинулся к углу, где сидел арестованный, и поднял к его лицу открытую пачку.

— В манифесте говорится: «Всякий, кто воспротивится нашему решению, будет рассматриваться как предатель».

— Прикуришь?

— Сейчас. «Приказываю армии и всему народу,— это голос самого монарха,— бороться всеми средствами с врагом». А враг этот, как вы отлично знаете, господин инспектор,— Гитлер.

Огонек зажигалки затрепетал.

— Ты знал текст заранее?

— Нет. Один из ваших — не такой усердный, как вы,— сообщил мне его.

— Что ж он не снял с тебя наручники?

— Он бы и снял, да у него не оказалось ключа. И кроме того, он очень торопился.

— Все мы торопимся, все спешим — шкуру спасаем, дружок. Инстинкт самосохранения...

— Вы слышали приказ короля, господин инспектор. На кого вы руку подымаете?

Блюститель закона посмотрел еще раз на огонек зажигалки, потом сухим щелчком погасил его.

— Я манифеста не слышал.
— И колокольного звона тоже?
— Похоронный звон.
— Напротив, благовест воскрешения.
— Смотря для кого, мой бедный Уйбару.
— Одна ласточка весны не делает. И лишняя жертва историю не остановит.
— Возможно, ты прав.

Оба помолчали, сидя по своим углам и затягиваясь сигаретами.

— А что, если я предложу вам сделку, господин инспектор? Я не знаю вас, вы — меня. Мы никогда не встречались.

— Даже если б я поверил тебе на слово — что было бы недопустимой глупостью,— у мертвых великое преимущество: они молчат.

— Напротив, во всех концах Европы заговорили даже те, кого обратили в пепел.

— До меня тоже доходили слухи о газовых камерах. Неужто правда?

— Вы еще услышите, уважаемый, о фабриках смерти, об агрегатах, перемалывавших жизнь...

— Но это же просто-таки чудовищно,— заметил с неподдельным отвращением инспектор.

— А сами разве не носите в кобуре пистолет?

— Но ведь ты сам, мой бедный Уйбару, тут виноват. В сущности, я вынужден защищаться. У меня одна лишь шкура, и я очень дорожу ею...

— Защищаетесь от человека, связанного по рукам и ногам...

— Который не пощадил бы меня, будь он свободен...

— Я предложил вам сделку.

— Журавля в небе вместо синицы в руки. Но это же неразумно, дружок.

И снова настала тишина. Машина свернула на ухабистый проселок. Двое в кузове углубились в свои мысли.

У арестованного были скованы только руки, но веревка, обвивавшая грудь и привязанная к крюку, мешала двигаться.

Итак, задание сорвано. Он уже не сможет привести своих людей в указанное место. А ведь ему говорили, что, оказавшись в отчаянном положении, немецкие части будут яростно уничтожать все на своем пути. Радиоцентр Бод надо было укрепить и защитить любой ценой. «Конечно, одно дело погибнуть в схватке с врагом,— размышлял он,— другое — околеть в канаве».

Между тем инспектор успел все продумать. К сожалению, после ликвидации словоохотливого пленного придется отправить на тот свет и единственного свидетеля — шофера. Затем он взгромоздит их в машину, обольет бензином — благо его достаточно — и столкнет машину в пропасть, чтобы и следа не осталось.

Повернувшись, он постучал тростью в стенку кабины, отодвинул глазок и сказал шоферу:

— Здесь где-то должен быть левый поворот в лес, дружок. Смотри не прозевай. И отчего это, Уйбару, говорят в народе: «Всякая сорока от своего языка гинет»?

— А я только собрался спросить, господин инспектор: когда вы успели сунуть под мою подушку револьвер?

— Теперь уже все равно — могу сказать: когда ты наклонился к фитилю лампы.

— А этот тупица сержант видел?

— Тупица? Но ведь это основное достоинство полицейского.

— В таком случае как понять мое присутствие тут? Шутка, шантаж, ошибка?

— Все не то говоришь, мой бедный попутчик. Ты забыл, что тот самый тупица с трогательной добросовестностью составил протокол по всей форме?

— Пытаетесь успокоить совесть?

— Видишь, об этом нетрудно догадаться.

— Жалкое оправдание преступления.

— Оно конечно. Но все же лучше, чем ничего.

— Что ж, остается одно утешение: ваша волчья мораль скоро полетит ко всем чертям.

— Ты думаешь?

— Уверен.

— Зверь убивает, чтобы кормиться. У Каина, нашего библейского праотца, были куда менее веские причины.

— Когда не будет эксплуатации человека человеком, исчезнет и

порожденная ею мораль — карьеризм, бешеная погоня за наживой, преступления.

— В сущности, вы, коммунисты,— романтики. Собираетесь изменить мир. А волчьи повадки человека?

— Мы создадим новую мораль. В основу ее лягут труд, честь, социальная справедливость. Богатства всего народа будут распределяться между членами общества по заслугам и потребностям каждого.

— Да, да, вы коммунисты — дети, романтики. И подумать только, что эти тупицы в органах пропаганды изображали вас не то людоедами, не то предателями. Но кажется мне, мы приехали.— Инспектор повернулся к кабине и постучал.— Останови, дружок.

Заскрипели тормоза, машина застыла на обочине дороги. Слева — лес, справа — пропасть. Жалобно крикнула поблизости сова.

Инспектор двинулся в угол, где сидел арестованный, и одной рукой снял с крюка веревку.

— Настала пора узнать, Уйбару, твое последнее желание: передать привет любовнице, отыскать ребенка или выполнить какое-то другое поручение?

— Вооруженный отряд ждет моих указаний.

— Говори, Уйбару. Ведь мы теперь союзники, у нас общий враг.

— Пойди и скажи им, что ты меня убил.

— Отлично. А где я их найду?

— Они сами тебя найдут, не беспокойся.

— Там видно будет. Займемся лучше делом. Сойдем, дружок.

Когда они поравнялись с фарами, шофер заботливо сказал:

— Господин инспектор, ночь, лес, безлюдье...

— Самое время заняться охотой.

— Дичь-то больно хитрая. Вы же знаете, что он вчера выкинул. Уйдет из рук — ищи-свищи в глухом бору...

— А ведь ты дело говоришь. Достань кандалы, они в коробке с инструментом. («Бедный парень, он ничего не подозревает...») Так. А теперь погаси фары. И не отходи от машины, пока я не вернусь.

— Слушаю, господин инспектор!

Ночной бор, притихший сперва, становился все оживленнее. Пронзая лунное сияние, падали в косом разбойничьем полете хищные птицы; победные крики смешивались с предсмертным хрипом окровавленных жертв.

Уйбару шагал в глубь леса. Каждый раз, когда он спотыкался, цепь на ногах тревожно звенела. В трех шагах позади шел инспектор: сжимая в кармане револьвер, он неотрывно смотрел в спину пленного.

А какая луна, боже, какая луна! Уйти навсегда в двадцать девять лет, в самую ночь пролетарского воскрешения... Уйбару понимал, что любое подозрительное движение ускорит конец. Но может быть, убийца подойдет поближе, хотя бы на один шаг. Повернуться бы, одним прыжком настигнуть врага, вцепиться ему в горло. Душить его цепью, рвать зубами горло. Любая борьба лучше этой участи раздавленного червя. Он прислонился лбом к стволу бука.

Инспектор тоже остановился.

— Молишься?

— Поди ты к черту.

— Ах да, совсем забыл, что вы, коммунисты, не очень-то в ладах с царствием небесным.

— Ты спрашивал, какое у меня последнее желание.

— Готов выполнить.

— Дай сигарету.

— Сей момент.

Инспектор хладнокровно вынул пистолет, поднял его на уровень груди пленного и прицелился в сердце.

Огненный плевок прочертил лесную тьму. Бор содрогнулся. Уйбару упер подбородок в грудь. Но почему он не падает, не валится, ноги не подгибаются? Где же это неповторимое ощущение горячей, острой боли, после которого следует бездна? Отчего смерть не ухмыляется в лицо? Неужто промах?

Второй выстрел взломал настороженную тишину леса. Тяжелое тело ухнуло, точно чурбан, на прелую листву.

Холодные капли пота на лбу осужденного сделались внезапно обжигающе горячими. Он смотрел широко открытыми глазами и ничего не понимал: какая-то тень наклонилась над трупом, порылась в карманах, достала звенящую связку ключей, потом приблизилась к нему.

— Давай снимем эти штучки.

Из пересохшего горла осужденного вырвались нечленораздельные звуки. Он пошатнулся и стал мягко клониться к земле.

— Ну, ну, держись, браток, не время... Что это с тобой? Дрожишь как осиновый лист...

— Только теперь... начинают сдавать нервы.

— Еще бы. Столько времени шагал со смертью в обнимку. На-ка, глотни горячительного — сразу придешь в себя.

Танцуя вокруг осужденного в одних носках, «видение» достало с пояса флягу.

— Как мне благодарить тебя, дружище?

— Давай без глупостей. Бери папиросу.

— Тогда хотя бы объясни, почему ты вчера поймал меня, когда до спасения был всего лишь шаг.

— Один шаг до смерти. Хереску уже целился тебе в спину.

— А эти кандалы для чего еще понадобились?

— Я же не ночная птица. Зато слух у меня отменный, эти «браслеты» и помогали мне ориентироваться. А потом, мне надо было убедить этого мясника, что он может на меня положиться. Ну что, успокоился? Глотни еще разок.

— Курган Кодли далеко отсюда?

— Если прямо через гребень холма — за сорок пять минут доберешься. Но раньше помоги мне пристроить этого молодца. Так, бери его за ноги. Ишь, до чего отяжелел, боров. Видать, черти тянут его в ад...

Они потащили инспектора к машине и взгромоздили его в кабину.

— Никак не хотел покинуть нас после первого приглашения. Ну и поволновался я... Так. А теперь заходи сзади и толкай машину.

Машина двинулась вбок.

— Что ты делаешь? Она же рухнет в пропасть.

— Неужто? А ну, толкни еще раз.

Машина задержалась на мгновение у края пропасти, словно ища, за что уцепиться, потом вильнула боком и с пронзительным металлическим скрежетом провалилась, подскакивая, среди скал. Наконец с самого дна донесся глухой удар, и яркое пламя взвилось в ночи.

Шофер поднял над пламенем три сложенных пальца, точно протопоп, благословляющий паству но тут же выругался, позабыв про всякую набожность.

— Вот, будь оно неладно! Забыл в машине ботинки. То-то достанется от супруги!

■

Из румынской поэзии

Три поэта сегодняшней Румынии... Старший из них — почти ровесник нынешнего века, младшая — почти ровесница освобождения страны в 1944-м, даты, означающей решительный поворот Румынии к новой жизни.

Захария Станку (род. в 1902 г.) известен советским читателям как прозаик, как один из виднейших писателей современной Румынии. В переводе на русский и другие языки народов СССР вышли его романы «Босой», «Безумный лес», «Как я тебя любил», «Ветер и дождь». И это лишь небольшая часть той монументальной серии романов, где Захария Станку развертывает панораму жизни своей страны с первых десятилетий двадцатого века вплоть до наших дней. Большая, разветвленная проза на время «заслонила» от нас поэта (только одно его стихотворение было напечатано несколько лет назад в «Литературной газете»).

А между тем Захария Станку начал именно с поэзии. Крестьянский парень, пришедший в город, он вдруг открыл для себя Сергея Есенина, взволнованно откликнулся на родственные темы, первым перевел его стихотворения на румынский язык. С тех пор Захария Станку не расстается с поэзией. Достаточно сказать, что за последние четыре года он опубликовал три сборника стихотворений — «Песни шепотом», «Сабля времени» и «Семьдесят». Его творческая энергия удивительна: проза, публицистика, разнообразная общественная деятельность, и — одновременно — почти в каждом номере литературного еженедельника «Ромыния литерарэ» выходит его новое стихотворение...

Читатели полюбили лирически открытую, доверительную интонацию стихотворений Захарии Станку, приобщающих их к миру чувств и раздумий поэта, к умудренной ясности, присущей высоте его возраста.

Иное дело — Марин Сореску (род. в 1936 г.). Он как бы стесняется открытого лиризма, боится сентиментальности. Его любовь к человеку, к современнику выражается в требовательности к нему. Поэзия Сореску парадоксальна, иронична и беспокойна. И хотя поэт «утверждает, отрицая», его не отнесешь к разряду сатириков — он остается глубоко, затаенно чувствующим лириком, несмотря на непременное желание казаться «антилириком»...

Читателю «Иностранной литературы» имя Марина Сореску уже знакомо — несколько его стихотворений были опубликованы в подборке стихов молодых румынских поэтов (№ 2, 1968), о своеобразии его поэтического языка говорилось в статье «Обновление и поиски» (№ 3, 1971). А поэтический дебют Марина Сореску был отмечен рецензией (№ 5, 1966), которая называлась «Два первенца», потому что в ней речь шла и о первой книге Габриэлы Мелинеску «Зимнее празднество» — еще одного поэта, представляемого сегодня читателю. Марин Сореску вторично оказывается рядом с Габриэлой Мелинеску. Но совсем не потому, что их поэтические голоса похожи. Как раз напротив. Для ее поэтического мира характерно откровенное, порой даже неумеренное, изъявление чувств, острая эмоциональность мировосприятия. Правда, в последующих книгах Г. Мелинеску отдала определенную дань отвлеченной, усложненной лирике, однако вскоре, как бы почувствовав необходимость «противовеса простоты», написала ряд хороших и ясных книг для детей.

Современная поэзия Румынии разнообразна и богата. Шаг за шагом она открывается нашему читателю...

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

ЗАХАРИЯ СТАНКУ

Перед окнами дождь...

Не грусти у меня перед окнами, дождик,
Я наслушался всласть и с лихвой,
Как, в листву завернувшись, бежишь, не споткнувшись,
Босиком вдоль по слякоти с клеклой травой.

Не свети у меня перед окнами, месяц,
Я воспел тебя всласть и с лихвой.
Вот — как дерну за чубчик и стащу, мой голубчик,
Вниз, чтоб ты не висел над моей головой.

Скрипке, скрипке подобна, пленительной скрипке
Та, в которую молча влюблен.
И хоть крепко грустится, хотел бы родиться
Дважды, трижды и жизней прожить миллион.

Пью вино этой страсти, вино этой грусти,
Пью до капли последней во рту.
Ставни неба ночного спасут меня снова,
Коль тоске на свету предпочту темноту.

Дождь слезами в окне обливается. Месяц
Заливается смехом вовсю.
Слышу волю живую в том, что я существую
И пришел среди смертных тратить долю свою.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

Воспоминания, самые первые...

Я старею, но помню горечь
материнского молока.
Висели клочьями над шелковицей
рваные серые облака.

Костлявый пес ко мне принюхивался,
ветер сыпал в глаза песком.
Люди, которых я видел,
ходили босиком.

Огонь был крылат, но не летал,
в очаге метались алые звери.

День и ночь входили в дом,
даже если не открывали им двери.

Я боялся холода. Он кусался
по ночам, когда дурная погода.
Мне было обидно, что солнце
не прибито посреди небосвода.

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

Стикс

Не бойся, что река черна.
Течет спокойно Стикс и ровно.
Не бойся этого челна.
Харонов челн, челнок Харона.

Тебя почти уж перевез
На брег заката он с восхода,
Баюкая на тихих водах.
Плати ему за перевоз.

Я был когда-то. Может, не был.
Живу. Или отжил давно.
Как черен Стикс. Харон и небо —
Черны. Вокруг черным-черно.

Не бойся этих вод. Спокойно.
Река не выдаст. Не робей.
Остановись на миг какой-то.
Остановись, воды испей.

Перевод ЛЬВА ВЕРИНСКОГО

Как только я перейду на ту сторону

Как только я перейду на ту сторону,
Я постараюсь найти царя Пора[1]
И попрошу его рассказать
О своем таинственном царстве
И о слонах.

Как только я перейду на ту сторону,
Я поищу Александра Великого
И попрошу мне сказать — почему,
Обладая всеми богатствами мира,
Он оставил все под открытым небом
И перешел на ту сторону, как и я, босиком.

Как только я перейду на ту сторону,
Поищу Симеона Столпника
И спрошу его — почему
Он питался одними акридами,
Когда земля ломилась от плодов.

[1] Пор — властитель Индии (IV в. до н. э.), ставший персонажем румынского фольклора.

Как только я перейду на ту сторону,
Я поищу Клеопатру —
Я не скажу вам, о чем я спрошу, не скажу,
Что скажу ей с глазу на глаз, ничего
Больше вам не скажу, не скажу...

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

Кризис

Два часа пытки, два часа.
Потом прибудет ангел белый,
Босой, и на ногах — роса.

Час этой пытки — а потом
Придет и сядет у окошка
Луна с огромным животом.

Минута лишь, один озноб —
И явится гнедая лошадь,
И тихо на спину возьмет.

Эй!.. Где вы, звезды? Вот бы мне
Вас похлебать большою ложкой!
Но прерван взлет мой на коне.

Побудь со мною, будь смела.
Побудь со мной, будь милосердна.
Слеза по лику потекла.

Не плачь. Ведь мне уже неплохо.
Я только, может, горсть воды
Иль солнца золотая кроха.

Моя звезда

Моя звезда всегда была красна,
Ей красной быть вовеки и надежно,
Покуда звезды светят и луна
Летит, уже неся следы подошвы.

Она бессмертна, красная звезда,
Не прикоснется смерть к ее знаменам,
И небо к нам приблизится, когда
Его засеем ирисом зеленым.

Перевод БЕРИНСКОГО

МАРИН СОРЕСКУ

Паспорт

Паспорт для перехода границы
между цветком дневным и полночным,
между строчкой, написанной на бумаге,
и ее печатным изображеньем.

Паспорт, дающий право на дружбу
с солнцем, с мельчайшей его частицей,
и право на песню с каждой частицей
материи, движущейся и поющей,
и право на крик с частицею каждой
вещества, подверженного умиранью,
и право на каждый день моей жизни —
притом без малейших ограничений —
по ту сторону или эту
моего бытия и пути земного.

Этот паспорт, он выписан и написан
на моей спине, на руках, на ребрах,
расположенных так,
чтоб читалось четко
мое высшее право
быть человеком.

Перевод ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

Суеверие

Моя кошка моется
левою лапой —
снова будет война.

Я заметил, когда моя кошка моется
левою лапой,—
обостряется международная обстановка.

Как она может видеть
все пять континентов?
Что за тайная сила в зрачках,
умеющих предугадать
всю историю
наперед?

Иногда мне хочется плакать
оттого,
что и сам я,
и небо,
полное близких мне душ,—
все это
подвластно
капризам какой-то кошки.

Брысь! Гоняй мышей!
Не развязывай новой войны мировой,
черт тебя побери,
грязнуха!

Без моря

Старик становился день ото дня все меньше.
Материя в нем,
вежливо извиняясь,
пятилась и уходила.
Чтоб вдохнуть себя
в какой-нибудь новый облик.

Море, на котором рыбачил старик,
тоже день ото дня мельчало,
так что в конце концов вовсе исчезло оно.
Должно быть, и море
со своими волнами и рыбами
переместилось куда-то
под новые лодки.

Молитва

Святые,
возьмите меня к себе —
ну, хоть служкой.

Вы стары,
и, наверно, болят ваши годы —
на столько ярких деяний
расписанное житие.

Я могу выполнять
работу попроще —
скромное дело ключника, истопника.

Я бы мог, например,
на ваших тайных вечерях
свет убавлять,
а по окончании службы
нимбы вам протирать.

Только время от времени,
став перед вами
на расстоянии в полстены,
я выл бы, руки сложив трубою,
то за верующих,
то за неверующих:
— Аллилуйя! Аллилуйя!

Перевод ЛЬВА БЕРИНСКОГО

■

Ты так постоянна
в моих мыслях,
что можно тебя обнести
частоколом.

Ему в самый раз быть высоким,
очень высоким,
чтоб через него не перемахнул
воздух внешнего мира.

Хорошо бы на каждый кол
по звезде водрузить,
или шару,
или — еще лучше — головы тех,
кто посмел
тебя полюбить.

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

Эволюция

Я пахарь, и день ото дня я пахал без устали,
начиная от самых первых страниц истории,
поле, меня окружавшее испокон,
и боронил боронами самыми разными,
мною усовершенствованными со временем,
дабы растенья, на ниве моей растущие,
мне не задеть случайно, не повредить.

Теперь я уже собою самим распахиваю
(вот как усовершенствовал я орудья!)
окружающее меня магнитное поле
(так я усовершенствовал свои поля!).

Я просыпаюсь с первыми петухами
и тружусь от зари до зари, засучив свои мысли,
и свои семена согреваю своим дыханьем,
дабы скорей пустили они ростки,
и ветром на них дышу, чтоб они колыхались,
и тучи для них отыскиваю покрупней.

Весь день я тружусь, засучив рукава по локоть,
и счастлив безмерно
на магнитном поле своем.

Перевод ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

ГАБРИЭЛА МЕЛИНЕСКУ

■ ■ ■

Родина — смена людей,
приход и уход поколений
при бессменном единственном сердце,
растущем во множестве тел,—
невидимый глазу рельеф.
Земля,
населенная предками,
небо
и воздух, который вбираю
ноздрями, разодранными от наслажденья.
Родина, призванье
мужчины и женщины,
растишь ты незримого сына
и в этом теле моем,
молодом, непритворном.

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

Золушка

Их лица не были видны, но смех был слышен.
Свистели мальчики на улице так чудно!
Я во дворе, в тени ветвей, белье стирала,
Страшась, что прачку разглядеть совсем не трудно.
От нежности к земле я умирала,
Дрожа над камушком, где след мальчишьей пятки.
Как вдоль плеча, свисали вдоль забора
Белейших роз пылающие прядки.
В моих глазах был влажный блеск зверюшки...
И платья тоненькую талию вертел
На звонкой проволоке ветер как хотел.

Когда танцует юноша

Подростки-девушки и жены молодые,
войдемте в темный зал, где восхищенно
взор человечества вонзен в ядро земли.

Прекрасных двадцать рук и двадцать ног
у юноши, с которым я танцую.

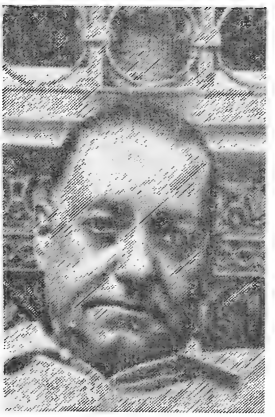
Индийский бог, объятие святое!
Не превращайте в камень этот образ,
всего на сутки над землей оставьте
висеть, как плод, на привязях незримых.
А после — с ловчей сетью пусть придут,
поодиночке руки упадут,
поодиночке ноги упадут
и длинноствольные, счастливейшие кости
последнего движенья моего.

Ночи Шехерезады

Не мне забыть той страшной сказки суть,
Следят за мною два мужских суровых глаза...
Узнав с утра, что героиня умерла,
Виновность шаха исключите сразу.
Ведь я по воле собственной пришла,
Не мишурою угодив герою,
А смерть приму — так мне, а не ему
Причиной быть и первой и второю.
Стою в дверях, и тыщу первый страх
Так свеж, как первый, в самый первый вечер.
Умру, когда свой дух не соберу
Для сказки, без которой мир не вечен.
Огнем охвачен мыслей темный лес.
Волна волос подобна вспыхнувшему газу.
Узнав с утра, что героиня умерла,
Виновность шаха исключите сразу.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

■



АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Погоня

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского Р. ЛИНЦЕР

Среди произведений выдающегося кубинского писателя Алехо Карпентьера, широко известного у нас по романам «Царство земное», «Потерянные следы» и «Век просвещения», особо выделяется повесть «Погоня» — небольшая по объему, но неизменно, на протяжении уже многих лет после ее первой публикации, привлекающая к себе внимание как читателей и критиков, так и исследователей, занимающихся вопросами даже нелитературного плана.

Повесть эта действительно своеобразна. По своей структуре. По художественному стилю. Наконец по своей теме. И значимость ее не утратилась с годами: сегодня проблематика произведения столь же актуальна, как и в те — весьма и весьма давние — дни, к которым относится развивающееся на ее страницах действие, как и в то время, когда автор ее писал.

Работу над повестью «Погоня» Алехо Карпентьер завершил в 1955 году в Венесуэле, где он жил в эмиграции (с 1945 до 1959 года; после победы кубинской революции писатель смог вернуться на родину). Однако замысел этого произведения возник у него значительно ранее — примерно в двадцатых-тридцатых годах.

В двадцатых годах Алехо Карпентьер принимал активное участие в борьбе против реакционной диктатуры генерала Херардо Мачадо, установившего на Кубе режим террора и кубинским народом прозванного «президентом тысячи убийств». Обрушивший жесточайшие репрессии на демократические силы Мачадо ввел в практику кровавые расправы над патриотами: убийства политических противников или подозреваемых в оппозиционных настроениях совершались открыто на улицах и в домах, на плантациях; люди «таинственно» исчезали из жизни; политзаключенных, которыми были переполнены тюрьмы, физически уничтожали без следствия и суда, а трупы замученных под пытками и застреленных в застенках выбрасывали в море на съедение акулам... В ту пору с основателем Коммунистической партии Кубы Хулио Антонио Мельей, вынужденным нелегально выехать в Мексику, злодейски расправились наемные убийцы, подосланные Мачадо. По приказу Мачадо полицейские ищейки преследовали по пятам тяжело больного поэта, пламенного руководителя кубинских коммунистов Рубена Мартинеса Вильену, ускорив час его безвременной гибели. По приказу Мачадо, чуждого культуре, закрыли Национальный университет, проводили облавы в книжных магазинах, чтобы изъять «подрывные» книги, в названиях которых упоминается слово «красный», вследствие чего оказались конфискованными «Красное и черное» Стендаля, «Красная лилия» Франса, «Шевалье из Красного дома» Дюма-отца и т. д. (между прочим, этот факт приведен Карпентьером в его новом, недавно вышедшем в свет романе «Средство от метода»).

И все же, несмотря на репрессии, разгул реакции и мракобесия, нарастали студенческие волнения, решительно действовал в Гаване нелегальный «Университетский студенческий директорат». В условиях глубокого подполья героически боролась объявленная вне закона Коммунистическая партия, самоотверженно отстаивали интересы трудящихся Национальная конфедерация рабочих, Антиимпериалистическая лига, лиги крестьян и арендаторов в провинциях.

В тот период, по выражению Хуана Маринельо, «критического десятилетия», наряду с подлинно революционными организациями в стране существовали многочислен-

ные антимачадовские группировки разного толка — националистические, анархистские, всякие ультралевацкие, другие мелкобуржуазные, как и буржуазно-помещичьи. Опасаясь взрыва народного возмущения и пытаясь захватить власть или пробраться к власти, эти группировки устраивали заговоры против дискредитированного американского ставленника Мачадо во имя собственных целей, не имевших ничего общего с интересами народа. Они пускали в ход беззастенчивую демагогию, спекулируя архиреволюционными «теорийками» и лозунгами, подстрекали молодежь на безрассудные авантюры, зачастую прибегали к терроризму. Критикуя «программу» одной из таких группировок, именовавшейся «АБЦ», Рубен Мартинес Вильена, по свидетельству видного кубинского литератора и ныне члена ЦК КП, министра иностранных дел Революционного правительства Кубы Рауля Роа, не только вскрыл ее реакционную суть, но и предупреждал «о перерождении этой террористической секты в фашиствующую политическую партию».

Борьба Коммунистической партии, революционные действия народных масс, вылившиеся во всеобщую стачку, привели к свержению в 1933 году диктатуры Мачадо, однако «люди, пришедшие к власти после падения тирании,— отмечает Блас Рока в своем труде «Основы социализма на Кубе»,— предали революцию, чтобы служить империализму, латифундистам и сахарным магнатам». Полное освобождение кубинский народ завоевал лишь с победой социалистической революции спустя четверть века.

Алехо Карпентьер не стоял в стороне от народной борьбы. Его выступления в печати с начала двадцатых годов — в журналах «Сосиаль» и «Картелес», в газетах Гаваны — отражают озабоченность молодого литератора положением в стране и поиски собственного пути. Вместе с Рубеном Мартинесом Вильеной — который, как недавно сообщал писатель, стал прототипом главного героя его нового романа — Карпентьер еще в 1923 году вступил в «Группу минористов», объединявшую в своем большинстве прогрессивных писателей и деятелей искусств и сыгравшую известную роль в деле сплочения творческой интеллигенции на демократических позициях. Вместе с Хуаном Маринельо он основал «Ревиста де авансе» — журнал, в то сложное время явившийся рупором передовых идей. В журнале сотрудничали крупнейшие поэты и прозаики Латинской Америки и Испании, такие, как Хосе Карлос Мариатеги, Сесар Вальехо, Федерико Гарсиа Лорка, Рауль Роа, Альфонсо Рейес, Хуана де Ибарбуру, Мигель Анхель Астуриас, Мигель де Унамуно.

От тех лет сохранилась своего рода примечательная помета: на первом издании первого романа Алехо Карпентьера «Экуэ Ямба-ol» (в переводе с языка кубинских негров племени лукуми — «Хвала господу!») указывается, что это произведение — в его первоначальном варианте — автором написано в... тюрьме города Гаваны, в 1927 году. В тюремные застенки режим Мачадо бросил писателя по обвинению в том, что он — коммунист, поскольку им подписан составленный Мартинесом Вильеной «Манифест», декларировавший защиту национальной культуры, сопротивление империалистической экспансии и своим острием направленный против диктатуры. Условно освобожденному под залог из тюрьмы, но по-прежнему преследуемому мачадовскими агентами (его обязали еженедельно отмечаться в тюремном кондуите) и ввиду возможности нового ареста, Алехо Карпентьеру пришлось в 1928 году — по документам французского поэта Робера Десноса, посетившего тогда Гавану,— покинуть родину...

Повесть «Погоня» заставляет читателя перенестись в Гавану, на Кубу мрачных времен, когда страна фактически была колонией США (как раз в 1928 году вышла в Нью-Йорке книга американского социолога Лилэнда Дженкса «Our Cuban Colony» — «Наша кубинская колония», появление которой вызвало живой отклик в «Ревиста де авансе»).

На первый взгляд сюжет повествования ограничен судьбой юноши, политически незрелого, прибывшего из тихого провинциального городка в столицу, чтобы как-то «выбиться в люди», получить образование. В столице он очутился в бурлящем политическими страстями котле. Перед ним открывалась возможность пойти с теми, кто во имя высоких идеалов боролся за дело народа, против диктаторского режима, однако, ослепленный «р-р-революционнейшей» фразеологией, он, забросив занятия в университете еще в начале первого курса, попадает — в конвульсивном порыве — в некую нелегальную экстремистскую группировку, представляющуюся каким-то неопределенным «движением».

Главного персонажа повести, конечно, никак нельзя отнести к героям подполья, к подлинным революционерам — характерно, что и автор произведения ни разу не называет его по имени, ни разу не «освещает» черты лица этого юноши, прилагающего все усилия теперь к тому, чтобы любой ценой спастись, чтобы притаиться, скрыться в тени, в любом темном углу, пусть даже в куче мусора. Мы не знаем ни его имени, ни его лица, зато узнаем его внутренний, психологический мир, его переживания, страхи. Над ним карающим мечом повис приговор «трибунала» террористической группировки, в которую он совсем недавно входил: став предателем, он выбрался из камеры пыток на свободу, но потерял право на жизнь.

Внешне не слишком замысловатый сюжет произведения позволил писателю затронуть очень серьезную, жгучую проблему, значение которой неоспоримо. Это — про-

блема экстремизма в революционном процессе, происходящем во многих странах латиноамериканского континента, да и не только латиноамериканского.

В последние годы немало юношей и девушек из стран Западной Европы, Азии и Африки, увлекшись «левацкой» демагогией троцкистов, анархистов, маоистов и прочих, вступало на ложный путь. Террористические и диверсионные акции «леваков», как подтверждают уроки событий в некоторых странах, играли и играют лишь на руку реакции, использующей такого рода выступления, чтобы усилить репрессии против демократических сил, нанести им удар, а то и «легализовать» контрреволюционный переворот. Экстремистский инфантилизм причинял вред революционному движению, приводил к роковым последствиям.

Иногда, как это случилось и в повести «Погоня», обнаруживалось, что в практической деятельности «левацких» лидеров нет и следа революционных идеалов, а фальшивыми «революционнейшими» фразами прикрывались темные махинации политических игроков. И жертвы были напрасны.

Можно понять, с другой стороны, что в определенных случаях молодыми людьми, попавшими под воздействие «революционных призывов», руководили искренние и благородные желания, и не каждый мог вовремя верно сориентироваться. Возможно поэтому автор повести прямо не обвиняет своего антигероя, хотя вместе с тем писатель совершенно справедливо изобличает, вскрывает его «нутро», выявляет его ничтожество.

Окончательно запутавшийся юнец, бывший студент, бывший «революционер» и — почему бы не сказать этого? — бывший человек, порой что-то начинает, хотя и робко, осознавать. В его душе появляются какие-то проблески понимания всей глубины своего нравственного и идейного падения, и все-таки он хочет найти себе оправдание, снять с себя ответственность. Морально опустошенный, он бестолково мечется — чего, кстати, стóят его истеричные мольбы к богу, в которого, впрочем, он ведь не верит, да и молится по книжке, запрещенной католической церковью! В какую-то минуту он задумывается над некогда принадлежавшей ему партийной карточкой, случайно найденной в старом сундуке у бывшей няньки-негритянки: «...взвешивая на ладони этот кусочек картона, его рука ощутила последнюю преграду, которая могла бы удержать его от рокóвого шага. Но в те дни все рвались к действию. Ему говорили, что нельзя терять время на собрания ячейки, на чтение марксистской литературы... Он перешел в лагерь непримиримых. И началась зловещая игра...» Как это напоминает раздающиеся сегодня провокационные призывы идеологов ультралевацкого экстремизма, обращенные к молодежи: «Революция — и немедля, не считаясь ни с чем!» Зловещая игра в экстремистский революционаризм привела главного персонажа «Погони» к банкротству, духовному краху, к трагическому финалу.

Алехо Карпентьер однажды сказал: «В прошлом можно найти некие элементы, содействующие разъяснению настоящего».

Показав в «Погоне» линию жизни экстремиста, экс-студента — линию, обрывающуюся в пропасть, писатель рисует в своем новом романе «Средство от метода» образ настоящего представителя боевой, революционной студенческой молодежи — Студента (с большой буквы — в романе), беззаветно сражающегося вместе с народом против тирании ненавистного диктатора.

С повестью «Погоня» — в ее структурном аспекте — автор выступал в прозе Латинской Америки художником-новатором. По замыслу писателя, «Погоня» одновременно явилась «поиском особой музыкальной формы». В творчестве Карпентьера не раз стирались барьеры между различными видами искусства (см. статью «Алехо Карпентьер: романист и его мир» в «Иностранной литературе» № 7, 1970 г.). Так и развитие сюжета в «Погоне» связывается — в гармоничном синтезе — с исполнением Третьей симфонии Бетховена, которую мы по мере чтения произведения как бы слышим вместе с действующими лицами повести. Звучание симфонии сопутствует душевному состоянию, гамме переживаний прежде всего главного персонажа.

Невольно напрашивается вопрос: почему же Третья — «Г е р о и ч е с к а я»! — симфония послужила своего рода музыкальным фоном для повествования об антигерое? Четкого ответа автор повести не дает в своем произведении. Несомненно, что исполнение бетховенской симфонии аллегорично, как аллегоричны случайно услышанные по радио главным персонажем отрывочные реплики из древнегреческих трагедий (словно перекрещиваются судьбы преследуемого богинями мщения Эринниями античного Ореста и преследуемого былыми единомышленниками экстремиста). Свет, видимо, может пролить история создания Третьей, «Героической» симфонии: Бетховен начал писать ее в честь Наполеона, когда тот в глазах композитора был героем, но, узнав, что Бонапарт короновался императором — по убеждению композитора, перестал быть героем, превратился в антигероя,— автор симфонии уничтожил посвящение.

Сведущий в музыке определит, что и сама структура повести отвечает построению сонаты. Авторитетный музыковед (ему, в частности, принадлежит труд «Музыка Кубы», опубликованный и на русском языке), а кроме того, знаток архитектуры (это становится ясным знакомящемуся с повестью «Погоня»), Алехо Карпентьер в интервью, данном не так давно в Париже, говорил:

«Ошибка многих писателей, по моему мнению, кроется в том, что они замыкаются в мире белого листа, не могут выйти из-под власти написанного. Я считаю, что

познания писателя в области другого вида искусств полезны в высшей степени. Виктор Гюго был превосходнейшим рисовальщиком: он создавал такие офорты, которые, попросту говоря, являются необычайными по выразительности своей, подобно его поэзии. Сколько поэтов, сколько романистов было художниками... Я убежден в том, что многим писателям недостает нужных знаний в музыкальной композиции, хотя по своей логике, по своему способу определять порядок построения музыкальной формы, порядок звукосочетаний, чередования частей и разделов произведения музыкальная композиция во многом связывается со структурой литературного сочинения. Основываясь на этом, в моей повести «Погоня» я попытался осуществить в прозе нечто такое, что назвал бы музыкальной формой — соната. Мне кажется, что раздумья над симфонией (над ее структурными концепциями), раздумья над определенной музыкальной драмой, если она удачно построена, могут помочь писателю представить структуру своего будущего повествования...»

Алехо Карпентьер верен этой идее: на пороге своего семидесятилетия писатель выпускает в свет роман «Концерт Барокко», посвященный знаменитому итальянскому композитору XVIII века Антонио Вивальди, написавшему и поставившему в 1733 году в Венеции оперу на латиноамериканскую тему — «Моктесума».

Будучи творением большого мастера, повесть «Погоня» создает поразительный по созвучию своему контрапункт литературы и музыки.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

I

Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand'Uomo e dedicata a Sua Altezza Serenissima il Principe di Lobkowitz da Luigi van Beethoven, op. 55, N III delle Sinfonie[1]... Громко хлопнула дверь, и его мгновенно покинуло состояние восторга и детской гордости за то, что он понял эту фразу. Поднятая струей воздуха красная штора задела его бахромой по голове и, перевернув несколько страниц книги, опустилась на место. Он оторвался от чтения и невольно связал мысль о глухоте — Великий Глухой, бесполезные слуховые рожки...— с ощущением внезапно возникшего вокруг него разноголосого шума. Захваченные грозой слушатели, которые в антракте высыпали на широкую лестницу у подъезда, бросились обратно в вестибюль, смеясь, расталкивая сбившихся в дверях, громко окликая друг друга поверх обнаженных женских плечей,— а на улице бушевал ливень, и вода, перехлестывая через водосточные желобы, потоками низвергалась с навеса на гранитные ступени. Прозвенел второй звонок, но все оставались в фойе, не двигаясь с места, жадно вдыхая запах свежести, тополевой листвы и мокрых трав, подставляя разгоряченные лица прохладному дыханию земли и деревьев, а в растрескавшейся древесной коре медленно закрывались раны, нанесенные долгой засухой. Люди испытывали освобождение после изнуряюще душного вечера, всем телом разделяя блаженный отдых кустов и деревьев, вольно растущих среди подстриженных аллей парка. Над окаймленными буксом лужайками поднимался легкий пар, словно над свежевспаханным полем. «Прекрасная погода, а?» — проговорил вполголоса один из слушателей, поглядывая на женщину, которая прислонилась к зарешеченному окошечку кассы, пряча лицо в мех черно-бурой лисы. Должно быть, она не считала мужчиной человека, сидевшего у нее за спиной; ловким беззастенчивым движением — ей, очевидно, наплевать, что он это видит,— она поправила мешавшую ей весьма интимную часть туалета. «Сидит за решеткой, как обезьяна»,— издевались капельдинеры над этим странным кассиром, который всегда оставался до конца концерта, хотя ему разрешалось уходить в десять, после проверки кассы; правда, в правилах было сказано: «За

[1] Героическая симфония, написанная в память великого человека, посвящена его светлости князю Лобковицу Людвигом ван Бетховеном, ор. 55, Симфония № 3 *(итал.)*.

полчаса до окончания спектакля». Ему вдруг захотелось пристыдить эту женщину с лисой, дать ей понять, что он все видит, и с привычной ловкостью он рассыпал горсть монет по мраморной доске конторки. Женщина обернулась, взглянула на его руки, повисшие в воздухе над монетами — всегда все смотрят только на его руки,— и повторила свой непринужденный жест. Ее бесстыдство подтвердило, что он не существует для всех этих женщин, словно невзначай выбиравших место против зеркала, чтобы видеть отражение своего наряда и прически. Под надетыми в такую жару мехами на плечах и на шее у них выступала легкая испарина; женщины сбрасывали с плеч свои палантины, придерживая их локтями, и они свисали вниз, как пышные охотничьи трофеи. Он отвел глаза от соблазна — близкого, но недосягаемого. Там, дальше, за этим скоплением плоти, он увидел парк и исхлестанные ливнем колонны, а еще дальше, позади темного портика, стоял особняк с мирадором [1] — некогда пышная вилла, обсаженная соснами и кипарисами, а теперь просто доходный дом, придавленный выстроенным по соседству безобразным современным зданием, где он жил под самой крышей в комнате для прислуги, а его слуховое окошко казалось еще одной геометрической фигурой среди ромбов, кругов и треугольников абстрактной росписи. В старом особняке, сохранившем в своих облупленных балюстрадах и вазах очарование подлинного стиля, должно быть, собрались для бдения над покойником: на балконе, где обычно из-за сильной жары или позднего времени было пусто, сегодня, пока не ударил первый гром, непрерывно мелькали какие-то тени. Он с нежностью смотрел снизу вверх на это обветшалое жилище, отмеченное неряшеством нищеты, так похожее на полутемные домишки его селения, где пламя свечей, зажженных у гроба, среди облезлых стен и завешанных платками птичьих клеток, бросало скудный свет на чашу со святыми дарами, на убогую мебель, еще более жалкую рядом с сияющими позолотой канделябрами. Ради ночного бдения старались не ударить лицом в грязь, и под черепичной крышей со слезниками на карнизах все было как положено: начищенное серебро и бронза, почтенные сельские жители в трауре, высокие свечи, которые подчас слишком ярко освещали висевшую между балками паутину или кучи бурой трухи, оставленные древоточцем. (Потом те, кто, подобно ему, учились играть на каком-нибудь инструменте, должны были объяснять соседям, что разыгрывание экзерсисов не является нарушением траура, а занятия «классической музыкой» совместимы со скорбью по случаю кончины родственника...)

В эти дни он скрывает свой недуг от всех; он живет наедине с терзающими его демонами: раненая любовь, надежда и боль. А он, если и сидел здесь, взгромоздясь на табурет, спиной к затрепанной шторе, в этой кассе величиной с ящик, то лишь затем, чтобы приблизиться к пониманию великого, чтобы тайно восхищаться тем, к чему другие приходят через врата, наглухо закрытые перед его нищетой. Эта мысль вернула ему гордость, и он с презрением посмотрел на женщину, которая, спустив с плеч свою лису, прижалась мягкой, с ямочками на лопатках спиной к прутьям решетки — совсем рядом, хоть рукой дотронься. *«Мужество, которое так часто поддерживало меня в летние дни, ушло безвозвратно» — пишет он в завещании. И то был холод могилы, дыхание небытия. В эти мрачные дни, в заброшенном доме на окраине Гейлигенштадта, Бетховен взывал к смерти...* Он снова погрузился в чтение, позабыв об этих людях в белоснежных пластронах и ослепительных бриллиантах, а они все прогуливались — от зеркал к колоннам, от входной двери к лирам и систрам скульптурной

[1] Застекленный балкон с жалюзи.

группы — во время антракта, чересчур затянутого дирижером, который все еще репетировал с валторнами трио из Скерцо, оглашая артистическое фойе пением охотничьих рогов. «За решеткой, как обезьяна...» Но зато он знал, как, разбив бюст могущественного вельможи, Великий Глухой бросил ему в лицо: *«Князь! Своей судьбой вы обязаны случайностям рождения; я же обязан своей судьбой лишь самому себе»*. Пусть сидит он целыми вечерами в своей клетке, зато он достигал таких высот, о каких и мечтать не могли все эти разукрашенные блистательные господа, которые видят только его руки, считающие деньги на мраморной доске. Вдруг женщина оторвалась от решетки, накинула на плечи мех. Перебрасываясь последними словами, публика заторопилась в зал, где уже меркнул свет верхней люстры. Музыканты выходили на сцену и рассаживались, подбирая оставленные на стульях инструменты; поднимались на свое возвышение тромбонисты; среди разноголосой настройки выделялись фаготы, тут же заглушенные пронзительной трелью звонка; гобоисты, присосавшись к инструментам, пробегая пальцами по клапанам, заливались бесконечными пасторальными руладами. Одна за другой закрывались двери, кроме той, что оставалась приоткрытой до первого взмаха дирижерской палочки, чтобы запоздавшие могли пробраться на цыпочках к своему месту. В этот момент мчавшаяся на полной скорости санитарная машина с резким скрежетом затормозила перед самым зданием. «Билет»,— проговорил кто-то, задыхаясь. «Любой»,— прозвучало еще нетерпеливей, и чьи-то пальцы просунули банкнот сквозь прутья решетки. Поняв, что билетные книжки уже убраны и кассир ищет ключи, чтобы достать их, запоздалый посетитель, не дожидаясь, нырнул в темноту зала. И тут вбежали еще двое, но эти даже не подошли к кассе. Последняя дверь уже закрывалась — они ворвались в зал и затерялись среди слушателей, разыскивающих свои места. «Эй! — крикнул из-за решетки кассир.— Эй!» Но его крик был заглушен аплодисментами. Перед ним лежал новенький банкнот, брошенный нетерпеливым посетителем. Должно быть, страстный любитель музыки—хотя с виду и не похож на иностранца,— если за слушание симфонии, исполнявшейся в заключение концерта, уплатил в пять раз больше, чем стоил самый дорогой билет. А костюм мятый-премятый, как у всех этих мыслящих личностей; интеллигент какой-нибудь, а может, композитор. *Но тут его истерзанная душа внезапно услыхала ответ на свои мольбы. Из глубины обступивших его лесов, где под октябрьским дождем дремала грядущая «Пасторальная», на призыв Завещания ответили трубы «Героической симфонии»*... Банкнот, теплый, плотный, как промокательная бумага, казалось, рос в его дрожащих руках. Невидимый мост, раздвигая прутья решетки, проникал сквозь стены, соединял его с той, что ждала — она всегда виделась ему ожидающей — в полумраке столовой с красивыми тарелочками на стенах, и ленивым движением, свойственным только ей, обмахивала грудь, плечи и затылок веером из резных пластинок благоуханного сандалового дерева, а потом роняла его на колени. Та женщина в антракте и ее жест; темный мех на влажной коже; горячие плечи, прижавшиеся к холодной решетке, все это вывело его из равновесия. Но ведь мог вернуться нетерпеливый слушатель и потребовать сдачу с бумажки, брошенной на мрамор широким жестом вельможи,— раскрытые страницы биографии, кроме всего прочего, научили его не доверять принцам и вельможам. С покорным унынием, а отнюдь не с торжеством, естественным после столь долгой подготовки и тревожного ожидания, он отдернул камчатую штору, отделявшую его от зала. Скованные тишиной, музыканты замерли в боевой готовности. Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand'Uomo. Прозвучали два повелительных аккорда,

и виолончели запели призывно-фанфарную тему под глухо пульсирующий аккомпанемент струнных. *Есть три варианта этого начала в набросках, собранных Ноттебомом,* говорилось в книге. Но книга захлопнута одним взмахом руки. Читатель всей грудью вдыхал запах земли, листьев, перегноя, ворвавшийся в пустой вестибюль. Ему вспомнились задние дворики его селения после ливня, деревянные бадьи с набухшими от воды клепками, кряканье уток, шлепающих по грязным лужам. Так же пахло после бурных летних дождей и в сарае со всякой рухлядью, где, взобравшись на ломаный инкубатор, он столько раз подсматривал в дыру, оставленную выпавшим кирпичом, как купается вдова. Она словно окаменела в своем вечном трауре, но ее тело оказалось таким гладким и нежным под мыльной пеной, покрывающей живот и медленно скользящей вдоль бедер по ногам, которые ниже колен неожиданно превращались в ноги старухи. Он один знал тайну этой безупречно прекрасной груди, этой гибкой талии, словно созданной для объятий мужчины, и забывал о ее надтреснутом хриплом голосе, натруженном бесконечными занятиями с деревенскими ребятишками, о ее щиколотках, изуродованных старой, стоптанной обувью. Но сейчас воспоминание о женщине, которая еще так недавно обучала его сольфеджо — а он, отбивая рукой такт, воображал себе ее тело, скрытое под перекрашенной в черный цвет тканью,— добавилось ко всем искусам этого вечера и разом покончило с его щепетильностью. Никто в этом зале не мог похвалиться, что пришел послушать симфонию с таким священным преклонением, как он; несколько недель готовился он к этому дню с партитурой в руках, вслушиваясь в старую, истертую пластинку, которая все же звучала прекрасно. Этот недавно прославившийся дирижер не мог дирижировать лучше, чем тот знаменитый дирижер с его пластинок, который в бытность свою студентом знавал хористку — а ей тогда было девяносто,— которая пела еще на премьере Девятой симфонии. Он имел право не слушать музыку, звучавшую в концерте, не изменяя памяти Гения. «Буква Е»,— сказал он, заслышав начало прозрачной фразы флейт и первых скрипок. И бегом спустился по лестнице, испещренной каплями дождя, отскакивающими от железной арматуры фонарей. Даже запах намокшей шерсти его костюма показался ему восхитительным и каким-то дружественным от сознания, что в кармане у него лежат деньги, которые отдадут в его владение заветный домик без часов — ведь дверь будет заперта, хоть ломись в нее,— на всю ночь до утра. А после, когда оба они проснутся под неугомонное пение канареек, на кухне его будет ждать последняя услада: веселый огонь под кофейником, веер, благоухающий сандаловым деревом, восхитительный вкус лепешек, на рассвете опущенных в щель почтового ящика, где им не дало остынуть солнце, бьющее прямо в дверь домика через голову увенчанной перьями индеанки на вывеске булочной.

(...Как колотится сердце; как громко бурчит в животе; холодная игла вонзается в грудь, и сердце вдруг остановилось, замерло, опять глухие удары возникают где-то внутри, они отдаются в висках, в руках, в ногах; я задыхаюсь, судорожно хватаю воздух ртом, носом; легкие переполнены, они разрываются, воздух душит меня, наконец он выходит сухими плевками, теперь я пуст, скомкан, смят; весь мой костяк со скрежетом, с треском рвется наружу; сейчас я словно вишу в темноте сам над собой, но вот сердце леденящим броском возвращает мне грудную клетку и начинает глухо биться под грудью; подавить это сухое рыданье; теперь вздохнуть и следить за собой; задержать воздух в легких; выпустить, снова задержать; медленнее: раз-два, раз-

два, раз-два... Опять колотится сердце, оно стучит в ребрах, в ногах, во всех жилах, бьется вокруг меня; вместе со мной вздрагивает пол, вздрагивает спинка кресла, вздрагивает сиденье, откликаясь на каждый удар; удары сотрясают весь ряд; сейчас на меня посмотрит женщина с лисой, посмотрит вон тот, подальше, начнут смотреть все. Опять разрывается грудь; выдохнуть скорее этот глоток воздуха, он раздувает щеки, мешает мне. Вот обернулся этот, что сидит впереди, он почувствовал на затылке мое дыхание, смотрит на меня, смотрит на льющийся по лицу пот; я привлек внимание; сейчас на меня начнут смотреть все. Какой-то шум поднялся на сцене; слава богу, все слушают этот шум. Не смотреть на его шею: на ней следы фурункулов; надо же было оказаться именно здесь этому человеку — единственному во всем партере — и выставить напоказ то, на что нельзя смотреть, что, может, является предостережением свыше; отвести глаза, смотреть вверх, вниз, в стороны; но от этого меня одолевает дурнота. Стиснуть зубы, сжать кулаки, утихомирить живот — главное живот,— чтобы прекратить это переливание в кишках, эту ломоту в пояснице, от которой бросает в пот; еще теснее; еще сильнее; сжаться в комок, смять все, что переполняет меня, бурлит, рвется наружу; задушить то, что сверлит и жжет меня; сохранить неподвижность, на которую я обречен в этом зале, ведь моя голова не должна торчать над другими... Верую во единого бога-отца, вседержителя, творца неба и земли, и во единого господа Иисуса Христа, сына божия единородного, воплотившегося от духа святого и девы Марии, распятого при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного; сошедшего в ад и воскресшего из мертвых в третий день по Писанию... Больше я не выдержу; меня бросает то в жар, то в холод. Сцепить руки: я чувствую, как они трепещут, словно птицы со свернутой шеей на полу в кухне; попробовать скрестить ноги; еще хуже — та нога, что сверху, словно впилась в живот; все отрывается внутри, переворачивается, кипит — какая-то пена поднимается вверх, бьется в бока; это урчание сейчас услышат все, начнут оборачиваться, как только оркестр заиграет потише; верую во единого бога-отца, вседержителя, творца неба и земли, верую, верую, верую. Вдруг все успокоилось. «Мне лучше, мне лучше»; говорят, если повторять это много раз, можно внушить себе... Сейчас уже не бурлит, затихло, замерло где-то глубоко; должно быть, нашел нужное положение; эта женщина почему-то вся передернулась и положила лису на спинку кресла; ее сумочка соскользнула и упала; все обернулись, она и не собирается нагнуться за ней; все думают, что это я поднял такой шум; на меня смотрят те, что сидят впереди, те, что сзади; наверно, я желт, как мертвец, щеки ввалились; за последние часы отросла борода; я впиваюсь ногтями в ладони; все думают, кто этот странный человек; плечи промокли от пота, пот опять каплет с волос, медленно стекает по щекам, по носу; да и одет я не так, чтобы сидеть среди роскошной публики. «Уходите отсюда,— скажут они,— вы больны, от вас дурно пахнет»; снова загрохотал оркестр; все опять стали слушать этот грохот... Надо сидеть неподвижно; только не двигаться; не привлекать внимания; не дай бог, привлечь внимание; вокруг меня люди, я защищен их телами, спрятан за их телами; мое тело затерялось во множестве других; надо оставаться среди этих тел; потом выйти вместе с ними, медленно, через ту дверь, где будет побольше народу; закрыть лицо программкой, будто я близорукий, будто читаю; лучше, если кругом будут женщины; пусть обступят меня, окружат, закроют... О, эти инструменты! Теперь, когда мне стало лучше, они переворачивают мне все нутро; вот этот бьет в свои котлы, и каждый удар направлен мне прямо в грудь; а те, повыше, кричат что-то громкими голосами сквозь эти круглые черные дыры; и скрипачи, перепиливая

струны, раздирают, терзают мои нервы; все громче, громче, мне уже невмоготу, вот грянули два удара; еще один—и я закричу; но все кончилось, теперь надо аплодировать... Все поворачиваются, смотрят на меня, шикают, поднося палец к губам: аплодировал я один; на меня смотрят со всех сторон — с балконов, из лож; мне кажется, на меня обрушился весь зал: «Болван!» Женщина с лисой тоже шепчет: «Болван», повернувшись к сидящему рядом мужчине; все повторяют: «Болван, болван, болван»; все говорят обо мне; все показывают на меня пальцем, я чувствую, как эти пальцы вонзаются мне в затылок, в спину; я не знал, что в этом месте нельзя было аплодировать; сейчас они позовут капельдинера: «Выгоните его; он болен, от него дурно пахнет, он весь в поту»... Опять заиграл оркестр; что-то торжественное, печальное, медленное... И вдруг возникает странное, поразительное, необъяснимое чувство: я знаю *это*, знаю то, что они играют. Не понимаю, откуда я могу это знать; никогда я не слушал такого оркестра, не понимал музыки, которую слушают вот так — как этот, с закрытыми глазами, или те, что взялись за руки,— слушают, словно присутствуют при каком-то священнодействии; но я уверен, что мог бы напеть эту возникающую мелодию, мог бы отбить этот такт — будто кто-то медлит, выставляет наперед одну ногу, потом другую, словно участвует в медленном шествии к неведомым краям, где царит эта щемящая песнь; потом вступит флейта, и наконец мощные удары как бы возвестят: все кончилось, чтобы начаться снова. «Как прекрасен траурный марш!» — говорит женщина с лисой мужчине, сидящему рядом. Я не знаю ни одного траурного марша; не может траурный марш быть ни прекрасным, ни приятным; впрочем, я, верно, слышал какой-то марш там, возле портновской мастерской, когда хоронили негра-ветерана, а за артиллерийским лафетом шел спиной капельмейстер и дирижировал духовым оркестром. Так, значит, для того, чтобы слушать траурные марши, они так наряжаются, прихорашиваются и надевают свои драгоценности?.. Ах! Теперь вспомнил; да, вспомнил; вспомнил. Целыми днями я слушал этот похоронный марш, не зная, что это был похоронный марш; изо дня в день он был рядом, обступая меня со всех сторон, звучал во сне, преследовал меня в бессоннице, наблюдал за терзавшими меня муками страха; изо дня в день витал надо мной, как тень зловещей тени, разливался в воздухе, которым я дышал, сковывал мое тело, когда я падал под стеной, изрыгая выпитую воду. Нет, не было тут случайности; *это* звучало в соседнем доме, и такова была воля божия; не могла рука человека заставить звучать там, так близко, эту музыку, это медленное шествие, с глухим барабанным боем, с мраком траурных покрывал; то был бог в *грядущем:* так в не зажженных дровах присутствует огонь, раньше чем он стал огнем; бог, который не прощал меня, отвергал мои молитвы, отвращал свое лицо, когда в моих устах звучали слова из книги с крестом ордена Калатравы [1]; тот бог, что выбросил меня на улицу и наслал пса, лаявшего в развалинах, тот бог, что явил тут, перед самым моим лицом, этот затылок с отвратительными шрамами; затылок, на который не надо смотреть. А теперь он воплотился в звучание инструментов и велит мне слушать весь вечер громы гнева своего. Предстаю перед господом, явившимся в музыке, как явился он некогда в огне неопалимой купины: так прозрел я его и в озарении угля раскаленного, который поднесла старуха к своему лицу. Теперь я знаю, нигде не ждет обидчика столь строгий надзор, столь пристальный взгляд всевидящего ока, как в темнице — в последней западне, уготованной ему неумолимой во-

[1] Знак древнего испанского рыцарского ордена, представляет собой красный крест, равные концы которого завершаются изображением лилии.

лей,— где без слов открывается ему искупительный смысл последних дней. Распределены все роли в этом действии, и развязка уже известна в *грядущем — hoc erat in votis* [1], так пепел заложен в дровах, предназначенных к сожжению... Не смотреть на эту шею, не смотреть на нее; уставить глаза в пол, в пятно на ковре, в тамбурин там, наверху, на лепнине, обрамляющей стену... Господи боже, создатель земли и неба, смилуйся надо мной; я не призываю тебя всуе; ведаешь, как я молил тебя; уповаю на милость твою, все еще уповаю на беспредельную милость твою; слишком далек я был от тебя, но знаю: часто одной секунды, нужной, чтобы произнести свое имя, достаточно для мановения руки твоей, для утоления мук и посрамления врагов... Кончился похоронный марш, кончился вдруг, словно на неотступную просьбу, на жаркое моление кто-то ответил простым «да!» и все другие слова стали не нужны. И как раз в ту минуту, когда я сказал, что уповаю на милость его. Тишина. Время успокоения, отдыха. Тишина, и дирижер длит ее, опустив голову, уронив руки, чтобы хоть ненадолго удержать то, что отзвучало. Уже не так сильно стучит в висках, не так больно дышать. На этот раз мне не взбрело на ум зааплодировать... «Интересно, как прозвучит...» (что?)— сказала женщина с лисой, даже не заглянув в программу. Я не разобрал это слово. Теперь мне понятно, почему все они не смотрят в программу; понятно, почему не аплодируют между частями, их нужно играть одну за другой в определенном порядке, как в мессе: после евангелия идет «Верую», а после «Верую» — проскомидия; теперь начнется что-то похожее на танец; потом веселая подпрыгивающая музыка, а в конце заиграют эти длинные трубы, точь-в-точь такие, как у ангелов на органе в соборе, куда я ходил к первому причастию; остается еще пятнадцать — двадцать минут; потом все зааплодируют и зажгутся огни. Все огни.)

В доме еще ощущалось недавнее присутствие мужчины, постель была в беспорядке, кругом валялись окурки сигарет, обернутых маисовой бумагой. «Подожди»,— сказала она, собираясь сменить простыни и взбить подушки. (Канарейки спят в клетках: запах перьев, канареечного семени, крошек. Подняла сонную мордочку приученная не лаять на чужих собачонка. Пятно сырости на стене смутно похоже на очертания географической карты. Выкрашенные в темно-красный цвет потолочные балки напоминают поддельное красное дерево сельских гостиных. Ведро с водой в патио — его выставили, когда шел дождь, чтобы завтра вымыть голову. И чуть-чуть пахнет розовым карболовым мылом.) И аромат духов — всякий раз он снова с наслаждением вдыхает этот полузабытый аромат, и в сознании сразу возникает образ ожидающей его наготы. «Условный рефлекс»,— подумал он, заранее зная, что с того мгновения, как постучался он в дверь, все мысли, чувства, действия последуют в неизменном порядке — том же, как в прошлый раз, том же, как в следующий. «Сегодня» бесконечно повторялось в этом вневременном желании — «сегодня» могло быть вчерашним или завтрашним днем,— и желание возрождалось, стоило лишь произнести неизменные слова в столовой с тарелками на стенах или сказать, как прелестна кошечка с бубенцом на шее, спящая в своей корзинке. Разговор всегда начинался одинаково. Он не приходил последнее время, потому что был очень занят; она нигде не бывала, никем не увлекалась. Она видела очень милую лампу где-то поблизости; в следующий раз он непременно подарит ей эту лампу. (Иногда речь шла о коробке халвы или вышитой подушке...) Она смеялась, не

[1] Это составляло предмет моих желаний *(лат.)*.

очень-то веря его обещаниям, садилась к нему на колени, и через несколько минут разговор замирал; тогда она вставала и, завесив платком изображение пресвятой девы милосердной, зажигала лампадку. Но на этот раз что-то произошло: «Мог бы меня уже не застать здесь. Тут на днях приходили какие-то, грозились: и из квартиры меня выгонят, и в женскую тюрьму упрячут. А я им — не какая-нибудь, я порядочная женщина». Он гладил ее жадными руками, прижимаясь к теплому телу. «Я останусь на всю ночь»,— шепнул он ей на ухо, ожидая, что она пойдет запереть дверь. Но, к его удивлению, она не обрадовалась, не оживилась и продолжала твердить свое: «Не пойду я в женскую тюрьму; не хочу я уезжать из квартала; все знают, что я порядочная женщина». К его досаде, она, видимо, придавала чрезмерное значение какому-то пустяковому случаю. Теряя терпение, он пытался прервать бесконечный монолог, убедить ее, что все это ерунда, и усиленно пожимал плечами в знак презрения к напугавшим ее угрозам. «Это инквизиция; только инквизиция позволяла себе такое». Она без конца повторяла одно и то же, непрерывно возвращаясь к исправительной тюрьме, выселению из квартала, инквизиции, словно ни о чем другом не могла и думать. И с каждым разом опасность становилась в ее устах все более грозной, превращаясь чуть ли не в козни ада. Она провозглашала себя гонимой, мученицей, жертвой темных сил, и в этом преувеличении своих страданий находила повод пожалеть себя за перенесенные муки. «Все-то им надо знать, еще не хватало докладывать, кого я к себе приманила». Это непривычное «приманила» вдруг вызвало в его памяти родную деревушку с черепичными крышами, со всех сторон зажатую скалистыми горами. Там, наверху, где скрипят на ветру ветви драцены, где плоские листья, дикие орхидеи и колючий кустарник переплелись в сырой чащобе, хранящей росу от утра до утра,— там среди зубчатых утесов появлялись по ночам волчицы, потомки волков и тех собак, что столетия назад жили в горах с беглыми рабами. И подняв морду к небу, они завывали, обуянные жаждой плоти, а на их отчаянный призыв откликались внизу, в селении, псы и, вытянув шеи, визжали от страха и вожделения, не решаясь покинуть пределы двора. Тогда самки, распаленные ожиданием, спускались поближе к домам, и запах их желания летел по ветру, призывая самцов завладеть ими, бросить в них—распластанных, искусанных, замученных — вечное семя жизни. «Приманивают»,— говорили парни, заслышав вой жаждущих, а те задыхались, волоча брюхо по песку, на ближних тропинках, совсем рядом с первыми огоньками селения. «Приманивают». Вот и она сказала: «Еще им докладывай, кого к себе приманила». Он поцеловал ее, теряя самообладание, но не почувствовал обычной мягкой податливости ее тела в ответ на его мужскую настойчивость. «Им еще надо знать,— продолжала она,— куда он пошел отсюда; да ходит ли он еще в кафе на рынке пить вино с бисквитом». Он крепче прижал ее к себе, поглядывая на заново расстеленную постель. «Прямо инквизиция какая-то»,— продолжала она с пафосом, без конца повторяя это слово, связанное в ее представлении с допросами, темницами, цепями и муками праведников, явно путая слуг святой инквизиции с язычниками, преследовавшими первых христиан. Мучеников ей, верно, случалось видеть на картинках, которые продавцы четок и *ex voto* [1] выставляли в зарешеченных окнах монастырей или заброшенных домов. В оконных проемах, словно за тюремной решеткой, томились скорбящие богоматери, пронзенные мечами, а рядом — святая Евлалия с отрезанной грудью, святая Лусия, протягивающая чашу со своими собственными глазами, святая Роса, которую терзает

[1] Подношения богу и святым в виде благодарности за «чудо» *(лат.)*.

огнедышащий пес, и Одинокая душа со связанными руками, горящая на огне благочестия в адском подземелье. Литографии и цветные картинки изображали бичевания и пытки, четвертование и гибель в пасти диких зверей, святого Лаврентия на раскаленной решетке и распятие святого Андрея. Слово «инквизиция», раз уж она столько раз его повторяла, очевидно, имело для нее грозный, таинственный смысл и окружало неким ореолом страдания, перенесенные ею из-за этих напугавших ее людей,— скорее всего, просто агентов полиции, желавших навести справку о каком-нибудь частом ее госте. И при мысли о том, что негде ей будет приклонить голову, негде пристроить свою собачку, бело-розового кота и канареек; воображая, как станут показывать пальцем, когда поведут ее в исправительную тюрьму по шоссе, огибающему дальний край гавани, мимо опрокинутых на берегу лодок, гниющих водорослей и угольных отвалов, она, должно быть, чувствовала себя чистой и непорочной девой, той, что каждый год на страстной неделе, тщательно замкнув двери дома, обходит остановки крестного пути, раздавая щедрую милостыню и возжигая свечи перед алтарями. «Инквизиция»,— повторила она, проведя бесчувственной рукой по его волосам. «Купи-ка лучше чего-нибудь выпить»,— сказал он, устав от этих причитаний, и протянул деньги, которые жгли ему пальцы. «И закажи лепешек на завтрак»,— добавил он, увидев, что она вдруг вернулась, уже набросив плащ прямо поверх нижней юбки. «Это фальшивая. Бумажки, на которых генерал с прикрытыми глазами,— фальшивые...» — «Фальшивые?» — повторил он, разглядывая черно-зеленые цифры, сразу утратившие все свое могущество. «Фальшивые?..» Он съежился в кресле, как бы моля о пощаде, и стал судорожно перебирать в кармане несколько завалявшихся монет. Недаром нетерпеливый слушатель таким широким жестом бросил эти деньги сквозь решетку кассы. «Больше у меня нет»,— в голосе звучала мольба и надежда. «Как-нибудь в другой раз,— проговорила она указывая глазами на дверь,— сегодня я слишком устала». Цепляясь за ту, что гнала его обратно в одиночество и отчаяние, он осыпал поцелуями затылок, руки, плечи этого бесчувственного создания, а она позволяла целовать себя сколько угодно, надеясь, что так скорее выпроводит его на улицу. «Смотри не промокни», — сказала она вдогонку; дождь снова лил вовсю. Он со всех ног домчался до навесов крытого рынка. Из зловонных клеток индюки высовывали головы с красными лохмотьями над клювом. Запахи хлева и куриного помета вперемешку с испарениями земли мгновенно перенесли его в Большое ущелье, и он невольно закрыл глаза. Сколько раз он пробирался там по заросшему щетинистым тростником руслу ручья, играя в человека-невидимку. От самого дома он отправлялся в путь и, скользя между лужами и трясинами — действительно невидимкой,— обследовал всю округу; вместе с первыми летучими мышами, круживши над кипящей похлебкой, заглядывал в пустые, залитые вечерним сумраком кухни; застигал чьи-нибудь тайные беседы, прячась за изгородью; слышал поскрипывание венской качалки в ризнице и бормотание старух, собравшихся для чтения молитв; подобно индейцу, «грозе бледнолицых», он зажигал лампадки перед святыми, не принадлежащими к христианской церкви, и подкладывал лотерейные билеты под лезвие ножа с рукояткой в виде петушиной головы, увенчанной коралловым гребешком. За кузницей, где кузнец распевал песни, к которым всегда невольно подбирались в рифму неприличные слова, возвышалось дуплистое дерево, служившее всем ребятам тайным почтовым ящиком в их любовной переписке; в конверты всегда заползали красные муравьи нагруженные личинками или соломинками. Через это дупло прошли и переписанные карандашом стишки, и клятвы в любви, и срезанные

локоны, и длинные леденцы в разноцветных бумажках, ярких, как вывеска цирюльника, купленные украдкой, с опущенным долу взглядом, чтобы никто не мог угадать правду и посмеяться над простаком. Но его девчонка вдруг начала расти; так расти, что казалось, будто она вытягивается от одного свидания до другого, каждый раз становясь все более глазастой и длинноногой, пока не превратилась в великана среди малышей. Однажды она отказалась прятаться, как раньше, в пещере на берегу, чтобы мастерить из тростника с горошиной внутри дудочку, которую они передавали потом изо рта в рот, соревнуясь, кто громче свистнет. Он казался все меньше рядом с той, что уходила из его мира, а ей приходилось сгибаться в три погибели, чтобы не высовывалась голова, когда они бежали полем на берег стоячего пруда. У нее округлились бедра, ей становились тесны все блузки, и теперь уж она не позволяла нюхать свои подмышки, как бывало раньше, когда он, вытянув нос, убеждался, что от них пахнет потом, и дразнил ее грязнулей. Однажды вечером с железнодорожной станции привезли на повозке подержанное пианино, и вдова в вечном трауре научила ее играть по слуху вальс «Алехандра». Началось хождение в гости, чтение стихов, гуляние по Главной улице в обнимку с подругами, поверяющими друг другу свои тайны. Тогда-то он с отчаяния решил научиться играть на каком-нибудь из этих блестящих инструментов, чтобы поступить в духовой оркестр муниципалитета; по вечерам публика всегда аплодировала солисту, играющему на трубе или кларнете, а их имена, для пущей славы, были выставлены на пульте... Воспоминания об утраченной чистоте еще больше распалили его гнев против той, что выбросила его на улицу. А он-то думал, что подобная женщина может быть другом... Все они одинаковы: по имени — шлюхи, по фамилии — дерьмо. Книга врезалась острыми краями в руку — словно упрекала его в предательстве, а вокруг разливалось зловоние от намокших индюков, от цесарок, просунувших облезлые, как у грифов, головы сквозь прутья клеток. Зеленый банан, раздавленный чьим-то каблуком, источал терпкий аромат. Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand'Uomo. Досада уступила место стыду. Никогда он ничего не добьется, не вырвется из комнаты для прислуги, не избавится от стирки носовых платков, от рваных носков, стянутых веревочкой над большим пальцем, если одного воспоминания о жалкой проститутке достаточно, чтобы отвлечь его от Истинного и Возвышенного. Он открыл книгу, ее страницы казались голубыми в свете неонового фонаря: *Вслед за чудесным Скерцо, полным движения и блеска, идет Финал, гимн Радости и Свободы, с танцами и весельем, с вдохновенными маршами, звонким смехом и причудливыми завитками вариаций. И тут, в середине Финала, снова появляется Смерть...* Еще есть время услышать конец. Он остановил такси и подъехал к театру в тот миг, когда за красной портьерой зазвучали первые такты Финала. Швейцар, зная, что больше никто не придет, подремывал, сидя на высоком табурете и положив голову на ящик кассы. «Долго еще?» — спросил швейцар, удивившись его возвращению. «Минут девять,— ответил он и добавил, желая блеснуть своей осведомленностью:— У хорошего дирижера вся симфония идет не более сорока шести минут». Подняв глаза, он снова увидел сквозь пелену дождя старый особняк, поблекший, обветшалый; мирадор был пуст — должно быть, люди, собравшиеся для бдения, вернулись в озаренную свечами комнату. Он вспомнил старушку, которая там жила: две недели назад он наблюдал за ней, встав на койку и выглядывая из своего слухового окна,— ему нравилось смотреть, как она поливает цветы из зеленой детской лейки. Да, ровно две недели назад, ведь это было в день его рождения, когда, получив от отца небольшой перевод,

он сам себе подарил «Героическую симфонию»—старые, истертые пластинки, которые, впрочем, звучали совсем не плохо. Его умилила эта старушка, повязанная белым платком, склонившаяся над цветочными горшками и кастрюльками с мятой и розмарином. Так же выглядели негритянки в его горном селении, которые поливали свои бегонии, прежде чем приступить к молитве, в вечерний час, когда на землю ложились длинные тени, а в горах исходили призывным воем волчицы, «приманивая» задыхающихся от нетерпения боязливых стражей низины. Вдруг он подумал, не старушка ли умерла там, в доме. Впрочем, вряд ли; эти негритянки живут до ста лет. Иные из них еще путешествовали с железным браслетом на щиколотке в трюме невольничьих кораблей. Когда ему заплатят жалованье, он пойдет к ней в гости — хотя они и незнакомы,— принесет какие-нибудь дешевые сласти, из тех, что продавал у церкви Святого ангела кондитер-гитарист, разложив на украшенном бумажными кружевами подносе пастилу, хворост, песочное печенье, меренги и бисквиты, а вокруг них — зеленые, красные и желтые карамельки с начинкой, отдающей на вкус мятой, гранатом или абсентом. Ему необходимо было убедиться сегодня же, что старуха жива, и этим завершить обряд очищения. Две недели назад он купил пластинки «Героической», чтобы подготовиться к слушанию симфонии в концерте, и этот поступок казался ему достойным Баха, который пешком отправился в Любек, чтобы услышать маэстро Букстехуде [1]. Но, когда настал великий вечер, он отказался от Высшего познания ради объятий потаскухи. Ему необходимо сегодня же убедиться, что старуха жива. Так необходимо, что он готов был помчаться в дом с мирадором сразу же, как только доиграют Финал; он должен удостовериться, что не она лежит там в гробу, окруженная свечами.

II

Но и то скрывал Ты в сердце
Своем,— знаю, что это было у тебя.
Иов 10, 13.

Старуха вся сжалась, съежилась в своей узкой железной кровати — украшенной пальмовыми ветвями еще с вербного воскресенья,— повернувшись лицом к стене с покорным смирением страдающего животного. И после этой бесконечной ночи, когда укрытый ею беглец ухаживал за ней, зная, что не может пойти за врачом — а тем более за тем давно умершим доктором, которого она призывала в темноте сквозь стоны и всхлипывания, началось для него настоящее заточение. До тех пор он мог весь день и весь вечер просто сидеть во второй комнате и внимательно прислушиваться к предупреждающему скрипу винтовой лестницы, где под медленно приближавшимися шагами гулко потрескивали массивные деревянные ступени. У него были газеты, которые старуха брала почитать у портнихи с нижнего этажа; перепадали ему и фрукты, правда слегка подгнившие, те, что уличный торговец продавал по дешевке. Он даже мог полакомиться кофе или, если уж очень хотелось выпить, послать за стаканчиком ликера, тщательно пересчитав последние монеты — ведь бумажку, засунутую под пряжку пояса, нельзя было трогать, пока он не получит *весть*. Но теперь, после того как молодой врач, вызванный племянницей, наспех нацарапал какой-то рецепт — слишком много ступенек пересчитал он ради такой жалкой оплаты,— старухе почти совсем перестали приносить еду. Если под едой понимать то, что хрустит на зубах, то, в чем ложка стоит стоймя, что можно разрезать на куски, жевать и грызть, всю ту плотную и существенную пищу, какую разыгравшийся

[1] Дитрих Букстехуде (1637—1707) — немецкий композитор и органист.

и уже почти невыносимый голод рисует воображению изголодавшегося человека. В определенный час появлялась племянница, приносила бутылку молока или завернутую в газету кастрюльку бульона. Тогда ему приходилось прятаться в мирадоре, запирая за собой дверь, которая вела из комнат на плоскую крышу. С тех пор как соседи стали навещать больную, многие пытались открыть эту дверь, чтобы отдышаться от запаха лекарств и болезни на четырехугольной площадке, выложенной горячими от солнца каменными плитами. «Да она сама не знает, куда ключ подевала»,— произносил всякий раз один и тот же мужской голос, и от толчков сотрясалась дверь, которую беглец подпирал изнутри палками и дощечками. И вот прошло уже два дня, как он ничего не ел, заточенный в четырех облупленных стенах, и шагал взад и вперед от часов без стрелок и маятника к сундуку с ржавыми замками. На крышке сундука еще сохранилась бумажная наклейка, на которой его рука, обмакнув в тушь бритвенную кисточку, вывела когда-то крупными буквами: *«заказное»*. В постоянном страхе, что кто-нибудь услышит скрип пружин в матрасе, он проводил томительные часы, растянувшись на полу, с пистолетом под рукой, в полуразрушенном бельведере обветшалого дворянского дома, чей грязно-серый мрамор еще хранил чуть уловимую прохладу среди раскаленных кирпичных зданий,— на плоской крыше, обнесенной каменной стенкой, слишком низкой, чтобы давать хоть какую-нибудь тень. Правда, ночи теперь были не так ужасны, как первые: как те долгие, бесконечные ночные часы, когда он лежал ничком под открытым окошком, гоня от себя сон, вздрагивая и просыпаясь, едва смыкал глаза, потому что сон и смерть в его отравленном страхом сознании сливались воедино. Широко открыв глаза, он недоверчиво всматривался в звезду, в скользящий по кругу луч маяка и вскакивал в тревоге, едва заслышав шорох какого-нибудь насекомого под дверью. Осевшая пружина в матрасе скрипела, отдаваясь звоном в ушах; сверчки заводили свою песню в глубине сундука; береговой ветер ворошил мусор, набившийся в углах; все эти тихие, странные, непривычные звуки были для него в те ночи неизбывной искупительной мукой. И однако, перед самым рассветом, когда луч маяка уже уставал подмигивать во все стороны, с небес как бы нисходило на него великое прощение. Он мог не охранять самого себя, и едва лишь море подергивалось предутренней бледностью, он смыкал глаза, отдаваясь на волю судьбы, которая, не теряя своей грозной власти, странным образом становилась для него безразличной и даже желанной, как будто все могло разрешиться во сне без пробуждения, раз уж прошел его ужас перед страданиями своего тела. А физическая боль была для него непереносима. Настолько непереносима, что именно из страха перед болью — даже не перед реальной болью, а перед предчувствием ее — влачил он теперь это омерзительное существование, ожидая решения своей участи. От тех первых ночей у него сохранилась привычка засыпать с рассветом — все равно весь день ему приходилось прятаться внутри мирадора, а не то его могли увидеть сверху, с плоской крыши, где толклись все прачки и играли дети — а дети это самое опасное,— с высокой крыши современного здания, которое примыкало к превращенному в доходный дом колониальному особняку широкой стеной без окон, покрытой бессмысленной росписью в красных, зеленых и черных тонах, напоминавшей ему железнодорожные сигналы и указатели, хотя там, в университете, некоторые студенты, из тех, кого презирали в его компании, утверждали, будто эти гигантские иероглифы отвечают новейшим принципам декоративного искусства. С наступлением ночи, едва лишь старуха заканчивала чтение вечерних молитв вместе с портнихой с нижнего этажа и прощалась с ней, притворно зевая, чтобы все

поняли, что она собирается спать, он бросался к двери, убирал подпорки и во второй комнате находил все, что могла припасти для него старуха: что-нибудь жареное или вареное, а главное сытное и плотное и рядом—утреннюю газету, где он всегда жадно искал хоть какое-нибудь известие, имеющее отношение к его судьбе. Часто от самой интересной газетной полосы оставалось только обрамление рукавов или бретелек, вырезанных на патронки для учениц «Академии кройки и шитья» — так именовала портниха комнату с несколькими манекенами и кучей красных бархатных подушек, утыканных булавками, где она учила девушек шить блузки и юбки самых нехитрых фасонов. Но и то, что оставалось от выкроек и рассказывало о жизни людей за этими стенами, интересовало его достаточно, чтобы он, позабыв обо всем, читал и перечитывал самые ничтожные заметки — например, упоминание о людях, отправляющихся в путешествие,— до того часа, когда старуха уже давно спала, и гасли огни у входа в кино, и пустели улицы, а надсадный плач ребенка в соседней квартире свидетельствовал о том, что все вокруг его колыбели погружено в глубокий сон. Теперь, когда горевшие внизу фонари оставляли его в тени, он мог прогуливаться по всей крыше, заглядывая в соседние патио с чахлыми цветами и пальмами, где, случалось, под сводами старинных ворот внезапно вспыхнувшая спичка выхватывала из тьмы женщину, обмахивающуюся веером, или старика астматика в клубах целебного дыма. Дальше был двор шорной мастерской; там, как пропыленная реликвия, хранился фаэтон со свечными фонарями, а на его верх была брошена для просушки еще невыдубленная кожа, видно недавно привезенная с бойни. Еще дальше — маленькая типография, где печатались визитные карточки, источала запахи типографской краски. Совсем рядом — зловонные кухни бедняков, где мокли в грязной воде оставленные с вечера кастрюли, а напротив неторопливо хлопотали в богатой кухне две служанки, бросая вытертые ложки на стол и не очень точно напевая в такт какую-то нескончаемую песенку. Прячась за стенами мирадора от всегда опасной крыши современного здания, он ненадолго выглядывал на улицу и озирал мир домов — там, в путанице калифорнийского, готического или мавританского стиля, красовались карликовые парфеноны, греческие храмы с окошечками и жалюзи, обсаженные бугенвильей и малангой [1] виллы эпохи Возрождения с лепными карнизами, покоящимися на искалеченных колоннах. То были целые проспекты колонн; улицы, галереи, дороги, обставленные колоннами, освещенными *a giorno* [2]; их множество, ни в одном городе нет такого количества колонн, такого нелепого сочетания ордеров: тут можно было увидеть дорическую колонну и рядом — пышные волюты и аканты коринфской колонны, которая высилась среди развешанного прачками белья, а на здании прачечной кариатиды с обитыми носами поддерживали деревянный архитрав. Капители были покрыты лопающимися на солнце волдырями; в каннелюрах колонн масляная краска вздувалась, словно гнойные нарывы. Архитектурные украшения, обычно венчающие здание, здесь царили внизу: крестоцветы — на перилах, дентикулы — на уровне человеческого роста, в то время как карнизы то и дело превращались в пьедесталы или цоколи, на которых стояли романские вазы или погребальные урны среди сплетения телефонных проводов и ползучих растений. На ограде балконов красовались метопы, фризы бежали от стрельчатого окна к чердачной отдушине, без конца повторяя в дешевой лепнине одну и ту же тему:

[1] Бугенвилья — декоративное вьющееся растение с яркими цветами, маланга — растение с большими и красивыми листьями (корнеплоды некоторых видов съедобны).

[2] Ярко, как днем *(итал.)*.

Сфинкс вопрошает Эдипа. Так наблюдал он, оглядывая портал за порталом, агонию последних классических ордеров, уцелевших от былых времен. А там, где в стремлении к современности портал был уничтожен, колонна, бесполезная, лишенная антаблемента, прислонялась к стене и в конце концов исчезала, замурованная, поглощенная сомкнувшимся над ней бетоном. Все это не имело ничего общего с тем немногим, что усвоил он в университете — университете, воспоминания о котором он хранил в сундуке с ржавыми замками.

Заказное. Адрес отправителя: Санкти-Спиритус [1] И четко выписав китайской тушью все слова, он отбросил не нужную больше бритвенную кисточку. Укрывшийся в мирадоре беглец ясно видел самого себя в этот решающий момент своей жизни. Видел, как старательно укладывает он вещи в старый сундучок, в незапамятные времена привезенный на остров дедом-эмигрантом. Родители и друзья, которые суетятся вокруг и скоро поедут провожать его на вокзал, как бы перестали существовать для него в настоящем времени. Их голоса доносятся откуда-то издалека; из вчерашнего дня, уже отошедшего в прошлое. Он не слушает их советов, он с наслаждением ощущает себя уже в лучезарном будущем — за пределами окружающей действительности. В конце пути его ждет столица, а там фонтан с беломраморной статуей, олицетворяющей Индию,—тот самый, что изображен на цветной литографии из журнала, кнопками приколотой к стене; надпись под картинкой гласит, что некогда под сенью этого фонтана предавался мечтам поэт де Эредиа [2], которому факт рождения в глухом углу, таком же, как этот, не помешал стать французским академиком. В конце пути его ждут университет, стадион, театры; никому не надо будет давать отчет в своих действиях; он обретет свободу, а может быть, очень скоро, и возлюбленную, ведь то, что так недоступно в провинции, проще простого там, где нет ни решеток на окнах, ни жалюзи, ни дотошных кумушек. При этой мысли он стал особенно тщательно укладывать ненадеванный костюм, сшитый отцом по последним модным картинкам, который он намерен был обновить вместе с подобранным в тон галстуком и носовым платком, когда пойдет записываться на факультет. Потом он отправится в кафе и спросит мартини. Наконец-то он испробует эту смесь, которую подают с маслиной на дне бокала. А после всего пойдет к одной женщине по имени Эстрелья, в последнем письме Стипендиат рассказывал о ней чистые чудеса. Как нарочно, отец именно сейчас говорит, чтобы он не знался со Стипендиатом: сдается, тот ведет распутную жизнь и ухлопывает на кутежи — «а от них в душе остается лишь пепел» — стипендию, которую назначил ему муниципалитет. Голоса доносятся откуда-то издалека. Еще глуше звучат они на железнодорожной станции, где, перекрикиваясь с платформы на платформу, толпятся крестьяне и, оглашая округу громоподобным мычанием и ревом, проходит поезд со скотом. В последнюю минуту отец покупает несколько рамок с пчелиными сотами в подарок старухе, которая согласилась приютить его — там у нее как будто есть мирадор на плоской крыше, отдельное помещение, вполне подходящее для студента,— и вот уже подошел поезд, запыхтел паровоз, ударил колокол, и началась шумная суматоха прощания... Сюда он прибыл поздней ночью с этим самым сундуком, который сейчас так пристально рассматривает, и поселился в мирадоре у своей

[1] Город в кубинской провинции Лас Вильяс.

[2] Хосе Мариа де Эредиа (1842—1905) — кубинец, поэт, родился в селении Ла Фортуна, близ города Сантьяго де Куба, жил и умер во Франции, писал на французском языке.

старой кормилицы; несколько лет назад она переехала в столицу вместе с одним богатым семейством, которому принадлежал старинный особняк, ныне превращенный в доходный дом. С первых же минут по решительному материнскому тону старой негритянки он понял, что она наложит запрет на все его стремления к свободе, будет следить за его уходами и приходами, ворчать, приставать и уж во всяком случае запретит приводить в мирадор женщин. Вот почему он сразу же задумал сменить жилье, как только наладит свои занятия. И вот теперь, после того как долгие месяцы он и думать забыл о старухе — уж не она ли застонала сейчас или это плачет ребенок портнихи? — после того как он давным-давно сбежал отсюда, здесь нашел он благословенное прибежище, единственно возможный приют, рядом с провинциальным сундуком, брошенным при переезде, поскольку то, что в нем находилось, перестало интересовать его.

Но сегодня, когда он поднял крышку, все заговорило о покинутом университете: подаренная отцом готовальня; счетная линейка, рейсфедеры и угольники; пузырек с высохшей тушью, еще издававший слабый камфарный запах. Тут лежал трактат Виньолы о пяти ордерах колонн, а также школьная тетрадь, где он подростком наклеивал фотографии храмов Пестума, купола Брунеллески, «Дома у водопада» и перспективы храма в Ушмале [1] Древоточцы прогрызли все его первые рисунки пером и кальки с копиями капителей и пьедесталов, от них осталось только пожелтевшее бумажное кружево, рассыпавшееся в руках. Дальше шли книги по истории архитектуры, по начертательной геометрии, а в самой глубине, вместе с дипломом бакалавра, лежала карточка члена партии. Взвешивая на ладони этот кусочек картона, его рука ощутила последнюю преграду, которая могла бы удержать его от рокового шага. Но в те дни все рвались к действию. Ему говорили, что нельзя терять время на собрания ячейки, на чтение марксистской литературы или восторженных описаний колхозов, находившихся где-то на краю света, с фотографиями коров, наделенных фантастическим выменем, и улыбающихся трактористов, когда лучшие представители его поколения гибнут под пулями полицейских карателей. И однажды утром он сам не заметил, как увлекла его за собой толпа демонстрантов, с криками спускавшихся по лестницам университета. На улице после столкновения началась давка, паника — и пошло: летели камни и черепица, топтали ногами упавших женщин, впивались пули в человеческое тело, лилась кровь. И при виде погибших он подумал, что и правда наше время требует немедленного действия, а не осмотрительной дисциплины, сдерживающей взрывы возмущения. Он перешел в лагерь непримиримых, и началась зловещая игра, которая несколько дней назад снова привела его в мирадор, когда он искал последнего прибежища, хоть какого-нибудь угла, где мог бы укрыть свое затравленное в жестокой охоте тело. Теперь, вдыхая запах изъеденной бумаги и высохшей туши, он видел в этом сундуке ему одному понятный символ — символ рая до грехопадения. И, порой достигая неведомой ему раньше степени прозрения, он начинал сознавать, чем он обязан своему заточению: оно заставило его часами беседовать с самим собой и в тщательном исследовании взаимосвязи событий искать спасения от постигшей его беды. В жизни произошел перелом, это несомненно; переход через ад. Однако, рассматривая все перипетии этого перехода; признавая, что почти все тут было омерзительно; принося клятву больше не повторять поступка, который заставил его

[1] Речь идет о развалинах античных храмов в Пестуме (Италия), о куполе флорентийского собора Санта Мария деи Фиори, создававшемся итальянским архитектором Филиппо Брунеллески (1377—1446), о вилле архитектора Райта (США) и о памятниках древней цивилизации майя в Ушмале на полуострове Юкатан в Мексике.

не отрываясь смотреть на затылок со следами фурункулов,— этот затылок преследовал его неотвязней, чем лицо, с воплем промелькнувшее перед ним в грохоте той страшной секунды,— он думал, что еще сможет жить где-нибудь далеко отсюда, позабыв о днях заблуждения. Были подобны стону слова, с которыми приближались все мученики, грешники и кающиеся к алтарю, чтобы причаститься святых даров. Под крестом ордена Калатравы, украшавшим книжечку «Христианских наставлений для младшего возраста», которую дала ему старуха, звучал этот душераздирающий стон в молитвах перед исповедью, в литаниях святой деве, в мольбах блаженных праведников. Рыдая, взывали недостойные и падшие к небесным посредникам, не смея обратиться прямо к тому, кто на три дня сошел ради них в ад. Да ведь и не вся вина лежала на нем. Это было делом времени, случайных обстоятельств, героических иллюзий: мог ли он устоять перед зажигательными словами, которые услыхал однажды вечером — он, провинциальный бакалавр, сгорающий от стыда за дурно сшитый в отцовской мастерской костюм,— в стенах старинного дома с величественными колоннами на фасаде и бронзовым рельефом, где под прославленным именем было начертано эльзевиром: *Hoc erat in votis.* Теперь он смотрел отсюда на концертный зал, и капители с квадратными волютами казались ему карикатурой на те, что осеняли его столь ненавистное ныне посвящение. Так подтверждалось проклятие, наложенное этим городом на ордеры колонн: они погибали от жары и покрывались язвами, к их астрагалам прикрепляли вывески красилен, цирюлен, закусочных, и зачастую под сенью портиков трещали жаровни, а с лотков торговали пирогами, сластями и фруктовой водой. «Я напишу об этом»,— думал он (хотя раньше никогда не написал ни строчки), чувствуя настоятельную потребность поставить перед собой благородную задачу. Он приходил в себя после пьяных оргий тех месяцев, после безудержного разгула — на какой считали себя вправе те, кто рисковал жизнью и шел навстречу опасности,— и теперь словно видел первые лучи зари в конце темного туннеля. Он не знал, куда придется ему держать путь, полагая, что Высокое лицо изберет, для его же пользы, наиболее подходящее направление. Никогда не вернется он к занятиям архитектурой, заброшенным в начале первого курса. Но он заранее был согласен на самый тяжкий труд, на самую жалкую оплату, на палящий зной, на леденящий холод, на койку и плошку, видя в этом путь к вожделенному искуплению. «Верую во единого бога — отца, вседержителя, творца неба и земли, и во Иисуса Христа, сына божия единородного, воплотившегося от духа святого и девы Марии». Он мог вспомнить только начало символа веры. Потянувшись за книжечкой с крестом Калатравы, оставленной на матрасе, он вдруг заметил, что мучивший его голод прошел. Он подумал о рыбе — она показалась ему отвратительной, с плоским остекленевшим глазом, похожим на слюдяное пятно среди зловонной чешуи; подумал о мясе — и увидел нечто непривлекательное, бесформенное, окровавленное; подумал о фруктах — и нашел их кислыми, холодными; подумал о хлебе — и ему вспомнилось непропеченное тесто, сухие корки и крошки. Он не хотел есть. Он приносил в дар господу всю зияющую пустоту своего нутра, как бы совершая первый шаг на пути к очищению. Он почувствовал себя легким, утешенным, понятым. И в каком-то ослепительном прозрении ощутил свою неразрывную связь с окружающим его вечным миром материи, движения, действительности. Он вбирал в себя ночь, звезды и море, которое устремлялось к нему вместе с ярким светом маяка, нежно ранившим его глаза всякий раз, когда скользивший по кругу луч падал прямо в лицо. Но это нельзя было выразить ни в словах, ни в образах. Все тело, все чувства, все существо

обратилось в единое и полное приятие этого мира. Его личность на мгновение растворилась в истине. Он рухнул ничком на каменные плиты, еще излучавшие жар ушедшего дня, и, осененный великой ясностью, рыдал под стеной погруженного в тьму мирадора.

На четвертый день он проснулся часа в три с пересохшим ртом. Липкий пот, выделяясь тяжелыми каплями из каждой поры, проступал за ушами, на затылке, на лбу, и он представил себе, как он, должно быть, желт, изможден и весь насквозь грязен. Хорошо хоть, что нет зеркала и он не может взглянуть на себя,— было бы еще хуже. В ушах шумело, словно шуршала, перекатываясь, морская галька, и он поднялся с матраса, надеясь избавиться от этого шума. В довершение мучительного разлада он ощутил плотское возбуждение, вызванное раздражающими схватками в груди и животе. Убедившись в этом на ощупь, он подивился, что несмотря на голод тело его сохранило такую жизненную силу. Он сел на сундук. За подпертой палками дверью, во второй комнате, слышны были приглушенные голоса племянницы и портнихи с нижнего этажа. Старухе, наверно, стало получше. Ей и раньше случалось так болеть, и она сама себя лечила какими-то снадобьями и отварами. Но на этот раз болезнь затянулась. Так что не мешало бы поразмыслить насчет еды. Обратить силу духа, обретенную за последние дни — радость отказа от еды,— в стремление достать еду. Теперь, когда на старуху рассчитывать нечего, надо найти другую возможность раздобыть хоть какую-нибудь пищу. Должно же быть в доме, в квартире что-нибудь съедобное, кроме того, что обычно идет в стряпню. Мальчишкой он не раз подумывал, как хорошо было бы приготовить соус из дерна, или суп из листьев, или салат из одуванчиков. Травоядные питаются травами, которые, возможно, сгодились бы и для человека. Да и кому не случалось иной раз с удовольствием погрызть нежный побег дрока? Он огляделся вокруг: дерево, камень, сажа. В давние времена голодающие в осажденных городах ели размоченную кожу. В пищу шла обшивка седел, варили в котлах уздечки, портупеи, обувь из мягких ремней. А в одной затопленной шахте люди через несколько дней обнаружили, что на деревянных стойках горной крепи сохранилась свежая кора... Он пробрался ползком — чтобы голова не маячила над каменной оградой — в тот угол, откуда виден был двор шорной мастерской. Кто-то унес недубленые кожи, которые столько дней сохли, натянутые на клеенчатый верх фаэтона. Его самого удивило нелепое желание посмотреть на эти недостижимые кожи, как будто исходивший от них едва уловимый запах живодерни и селитры мог принести ему хоть какое-то облегчение. Дерево, камень, сажа. «Когда крестьян сгоняли в города по злодейскому приказу испанского генерал-капитана [1],— рассказывала ему старуха,— у них животы раздувались, столько воды они пили». Он открыл кран, и, подставив руки под струю, принялся жадно пить, чтобы наполнить желудок. Но теплая вода из разогретых солнцем труб оседала в животе какой-то холодной рыхлой тяжестью, похожей на мокрые опилки. Вдруг его внутренности свело резкой судорогой, и, упав на руки, он изрыгнул все, что выпил; сухие спазмы сотрясали живот, отдаваясь глухими ударами в затылке, спина выгибалась дугой, словно у исходящего ядовитой пеной пса. Обессиленный, он свалился под стеной, всем телом содрогаясь в икоте. Он был настолько одержим мыслью о еде, что эта единственная доступная ему в данный момент мысль превра-

[1] Речь идет о прославившемся своими зверствами испанском наместнике на Кубе Валериано Вейлере, подавлявшем восстание кубинского народа в 1895 году против колониального гнета и организовавшем в стране сеть концлагерей.

тилась в некий абстрактный императив. Теперь уж он не думал, как в первые дни голодовки, о каком-нибудь любимом блюде, не вспоминал, с тоской по далекому детству, большую кухню в родительском доме — благоухающая рыба прямо со сковородки, а вдобавок маслянистый зеленый горошек, и заправленный шафраном рис, и хрустящие на зубах слоеные пирожки,— ощущая каждое блюдо на вкус и исходя жадной слюной. Нет, теперь пища утратила свое разнообразие, никаких различий не существовало для того, кто думал именно о пище, любой, единственной, желанной заранее; то был голод новорожденного, голод подкидыша, брошенного на церковной паперти, который с надрывным криком ищет среди камня материнскую грудь... Он услыхал голоса на винтовой лестнице... Портниха с нижнего этажа звала племянницу примерить платье. Дрожа от нетерпения, он ждал, пока не заглохнет стук каблуков на деревянных ступенях и не зазвучат голоса внизу, вокруг швейной машины, с наступлением прохлады выставленной в патио. Расшвыряв палки и подпорки, он дернул дверь, все эти четыре дня отделявшую его от остальной квартиры. Старуха, тяжело дыша и постанывая, спала под своими пальмовыми ветвями. Рядом на стуле стояла полная тарелка овсяной каши. Десертная ложка показалась ему мала, и хищно скрюченная рука погрузилась в студенистую массу, покрытую корочкой растаявшего сахара. А после — языком, жадно, торопливо, в страхе, что его накроют, он очищал тарелку; хрюкая, как боров, забирался во все трещинки фаянса и даже со стула слизнул все до капли. Он выпрямился, не вставая с колен, и засунул руку в картонную коробку, выскребая ногтями остатки сырой овсянки. Теперь он мог снова запереть дверь. Наступал вечер. Груженная песком баржа медленно проплыла вдали на одном уровне с мирадором; лучи заходящего солнца заливали золотом концертный зал. В аллеях парка свора кобелей осаждала бело-пегую сучку, а она с визгом убегала от преследователей. Под крышей современного здания звучала музыка: та же что и в другие дни. Сначала бурная, потом печальная, медленная, однообразная. Он лежал на полу, испытывая и блаженную сытость, и боль в кишках, поминутно просыпаясь от бурчания в животе, переходя от счастливого покоя к мучительной тошноте, и в его сознании эта приглушенная музыка порой сливалась с приглушенным шумом машины в типографии, печатающей визитные карточки. За дверью старуха сердитым голосом звала племянницу — верный признак, что дело шло на поправку. «Не надо вам столько есть, тетя»,— закричала в ответ уже нарядившаяся в новое платье мулатка, увидев, что в картонной коробке почти ничего не осталось. «Нельзя вам столько есть». И так как на улице ее поджидал солдат, она торопливо застучала каблучками по винтовой лестнице.

Поразительным открытием был бог. Бог, явившийся ему в огоньке сигары, которую раскуривала старуха накануне своей болезни. Внезапно это движение руки к очагу за угольком, а потом вверх, к лицу — жест, который столько раз повторялся при нем в кухнях его детства,— превратилось в сложный, противоречивый символ. Рука, взяв пылающий уголь, несла огонь, рожденный в незапамятные времена, огонь, предшествовавший материи, которую сам же разрушал и изменял,— материи, которая была бы лишь возможностью огня без той руки, что подожгла ее. Но если этот горящий перед ним огонь был конечным результатом, некой конечностью в себе, значит он нуждался в предварительном действии, чтобы проявиться вовне. А это действие — в другом и других ему предшествующих, которые не могли осу-

ществиться без некой изначальной воли. Необходим был первоисточник, отправной пункт, основная сущность огня, который из тысячелетия в тысячелетие озарял лица людей. И этот первый огонь не мог возгореться сам собой... Во всем он улавливал неизменную преемственность, необходимый процесс получения энергии от другого начала; ту же восходящую последовательность явлений, которая, однако, не могла быть бесконечной. Нити должны были сойтись — и неминуемо — в руке того, кто дал первый толчок, явился начальной причиной всего сущего и, пребывая в вечности, обладал высшей силой и властью. Атеизм отца показался ему нелепым перед этим всеобъясняющим образом огня, и он изумился: как же другие не додумались раньше доказать существование бога с помощью ослепительно ясной мысли, которая открывалась ему при виде пылающего угля. Он услышал, как в церквах зазвонили к обедне, и, вспомнив, что дети из современного дома пели «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, завтра воскресенье, будет угощенье», он открыл черно-золотую книжечку с крестом Калатравы, которая одаряла новыми откровениями юношу выросшего вдали от катехизиса, в портняжной мастерской — обители франкмасонства и дарвинизма. Каждая страница раскрывала перед ним нежданную красоту богослужения, вызывала благоговейное чувство посвященности, приобщения к сокровенному, причастности к тайнам братства. Никогда он не думал, что столько раз виденный обыкновенный покров алтаря являет собой покров, обвивавший тело Христово, а стихарь, вервие и стола символизируют три понятия, выработанные человечеством в самом начале его пути. От пурпурных полотнищ, украшавших, как ему казалось, колонны дома Пилата, он переходил мыслью к Голгофе и замирал, погрузившись в раздумье; потом — к чаше со святыми дарами и восхищался этой находкой, этой вечно разверстой могилой из драгоценного металла, мистическим преображением величайшей драмы, тьма, разверзающая металл до немыслимых глубин, мрак, сокрытый в сиянии драгоценных камней и золота; обращенная вспять алхимия, которая претворяет сверкание и блеск в долгую ночь ожидания для призванного к ответу человечества. Даже вода, литургическое значение которой было ему неизвестно, теперь стала для него водой, истекавшей из бока спасителя. Однажды в детстве, когда отец уехал в город купить сукна и саржи для заказчиков, набожная тетка повела его в церковь. Он преклонял колени, садился, вставал вместе со всеми перед алтарем, украшенным барочной резьбой, и даже не подозревал, что когда священник надевал другое облачение, то изображал самого сына божия, терпевшего страсти. Слушая мессу, он разглядывал стропила купола, где всегда висела вниз головой летучая мышь, развлекаясь всем, что не имело отношения к мессе, и знать не знал, что в это время разыгрывалась — в действии, символически изображавшем ее сущность,— мистерия, прямо и непосредственно его касавшаяся. Теперь, когда он считал себя посвященным, он находил в простых движениях, сопровождавших глорию, евангелие, проскомидию, ту же чудесную сублимацию простейшего начала, которая в архитектуре превратила охотничий трофей в букран или веревочную петлю, стянувшую вязанку сучьев,— в астрагал колонны чистых пифагоровых пропорций. Нести в себе такую могучую силу понимания, такую способность постигать истину и, не зная того, расточать себя в недостойном пустословии и восхищаться речами, которые равно годились для оправдания и героического подвига, и низкого злодейства! Верую! Верую! Верую, что распят при Понтийском Пилате, и страдал, и погребен; что спустился в ад и на третий день воскрес из мертвых. Верую, что взошел на небеса и воссел одесную Отца-вседержителя. Верую, что грядет со славою судить живых и мертвых... И тут

вдруг зазвучали трубы, словно сзывающие на Страшный суд, в той музыке, что доносилась с чердака современного здания, где какой-то любитель, все еще радуясь недавней покупке дрянного граммофона с дребезжащим звуком, крутил и крутил одну и ту же пластинку, то дело отводя иголку назад. Это было похоже на серию гравюр—различных по характеру, но следующих одна за другой в определенном порядке. Сначала какая-то не очень понятная музыка, в которой как будто звучат сигналы горна — тема военного марша, впрочем не совсем военного. Потом что-то печальное, медленное, однообразное. Дальше — очень веселый танец. Но его снова прерывают военные сигналы, хотя опять же не совсем военные — они чем-то напоминают охотничьи рога из одного занятного документального фильма про французских дворян: перед началом охоты там служили мессу и благословляли собачьи своры, а егеря в кафтанах трубили в трубы, похожие на большие медные волюты. И кончалось опять веселой подпрыгивающей музыкой — при этом невольно вспоминалась нехитрая детская игрушка: если двигать в разные стороны два параллельных брусочка, деревянные фигурки попеременно бьют молотками по наковальне. Далее следовали все время прерывающиеся вальсы, которые превращались затем в нечто величественное и значительное, с пением труб, как в военном оркестре, игравшем в Санкти-Спиритусе, недалеко от отцовской мастерской, в час вечернего отбоя. И наконец — заключительные громовые раскаты и снова охотничьи рога... Племянница спускалась по винтовой лестнице. Надо поскорее открыть дверь, посмотреть, спит ли старуха, и завладеть бульоном, который, как всегда, остывал на стуле рядом с кроватью. Но на этот раз, уже схватив тарелку и торопясь поднести ее ко рту, он замер на полпути. Лицо негритянки как бы разгладилось, широко открытые остекленевшие глаза были пристально — с какой-то нездешней, невыразительной напряженностью — устремлены на него. Он снова поставил тарелку между пузырьков с лекарствами, не смея глотнуть эту жидкость с блестками жира, застывшими на тощей куриной ноге — такие куры обычно висят на гвозде в дешевых мясных лавках. Когти, торчавшие из трех пальцев, покрытых серыми чешуйками и почти человеческими морщинами, упирались в ломтик плохо очищенной тыквы. После минутного колебания он, избегая пристального, устремленного вдаль взгляда, нагнулся к тарелке, сопя и причмокивая, высосал воскресный суп и запустил руку в картонную коробку. Но тут он устыдился и, даже не утерев прилипшую к губам сырую овсянку, словно прося прощения, прикрыл старуху и натянул сползшее с нее одеяло до самой шеи. И только прикоснувшись к ее щеке, он вздрогнул и весь сжался в страшной догадке: щека была застывшей и твердой, а скрюченная рука, которую он схватил, пытаясь нащупать хоть какое-нибудь биение в холодных венах, упала на матрас с бесчувственным упорством мертвого тела. На винтовой лестнице раздались шаги. Это был стук каблучков племянницы, за ней спешили соседи, и уже когда он, забаррикадировав в спешке дверь, укрылся в мирадоре, до него донеслись громкие крики. Весь ужас случившегося обрушился на него; в оцепенении он сидел на корточках, прислонившись к сундуку, и напряженно прислушивался: неровные шаги — это хромая портниха; тяжелая поступь и астматическое пыхтение — это управляющий домом; стук железных подков на каждой ступеньке — это солдат, который спускается с лестницы, наверно, чтобы подготовить все для проводов и похорон. Во дворах жильцы подняли крик, перебрасываясь вопросами из окна в окно. И вот уже, топая по лестнице, явились служащие похоронного бюро со своим льдом и свечами. А там началось и бдение над покойницей, как только собрались родственники из дальних кварталов — Хесус дель Монте, Каль-

варио, Санта-Мария дель Росарио [1],— которые только и вспоминали друг о друге, когда одним из них становилось меньше. То и дело кто-нибудь толкал запертую дверь, пытаясь выйти на крышу, и узника вновь охватывал панический страх первых дней. Створка двери была намертво прижата подпорками, и те, кто пытался открыть ее, вскоре отказывались от своего намерения. Но теперь всему придет конец. Завтра, когда принесут гроб, управляющий — а он-то всегда и бушевал из-за пропавшего ключа — пошлет за слесарем. В могучей руке слесаря будет большой ключ. И когда ключ повернется в ржавом замке и все увидят, что выкрашенная голубой краской дверь не отделяется от своей рамы, потому что ее держат изнутри, он должен будет сдаться. Не этим людям, которые ничего не могут ему сделать и даже не позовут полицию, узнав, что он принадлежит к миру грозных мстителей. Нет, он должен будет выйти на свободу, отдать себя во власть улицы, толпы, чужих взглядов — а это все равно что встать под выстрелы. Снова мучительно вглядываться в каждое лицо, бояться дважды поесть в одном месте и, ложась на белые простыни, в мучительном кошмаре ощущать холод больничной койки. Вскакивать с постели, не доспав до конца, бродить в темноте, пугаясь звука собственных шагов; бежать, отрывая свое тело от тепла другого тела, лишь оттого, что в патио упал на землю созревший плод или ветер захлопнул ставни на галерее. Когда никто не хотел с ним знаться, когда его с ужасом гнали из всех домов, он вспомнил о старухе. Не могла она забыть, что в былое время кормила его своей грудью, называя нежными именами, которые умиляли его даже в рассказах родных. Но старуха, увидев его, изможденного, в рваной грязной рубахе, в темно-синем костюме, который он надел, чтобы легче было скрываться в темноте, начала кричать, что не хочет неприятностей в своем доме, что тот, кто дурно поступает, еще хуже кончает; она сдала ему мирадор за гроши, когда он приехал из Санкти-Спиритуса; она заботилась о нем как родная мать; а он ушел, наверняка из-за того, что понял — не дадут ему водить гулящих девок в порядочный благочестивый дом... Но так жалок он был в ту минуту, сидя верхом на табурете, задыхаясь от рыданий, уткнув лицо в руки с грязными ногтями, что вдруг снова стал для нее тем малышом, который когда-то заходился коклюшным кашлем в ее объятиях. Те же набухшие вены на висках и шее; та же судорожная дрожь, и отравленное дыхание, и глухая жалоба, льющаяся вслед за слезами. Растрогавшись, старуха отвела его в мирадор, так давно им покинутый, и там, надежно укрытый, рядом с сундуком, хранившим все, что осталось у него от университета, он стал ждать решения своей судьбы. О, матерь божия, матерь пречистая, матерь безгрешная, дева всемогущая, дева милосердная, молись за нас! Роза мистическая, башня Давидова, утренняя звезда, спасение грешников, молись за нас... Та, что утолила первый мой голод молоком груди своей; та, чьи благодатные соски дали мне познать усладу сытости; та, что подарила моему языку вкус плоти, который столько раз искал потом у женщин одной с ней крови; та, что вскормила меня самыми чистыми соками своего тела, согревала теплом своего лона, качала и охраняла своими ласковыми руками; та, что приняла меня, когда все гнали,— лежит здесь в своем черном ящике, между нестроганых досок, с маленьким, словно сжавшимся личиком, лежит на льду, с которого каплет в старое, покореженное ведро, лежит потому, что я — тот, кто не смел бы даже подумать об этом, не мог допустить, что это будет возможно,— пожрал ее единственную пищу, сгрыз ее крупу, сглодал кости ее курицы, выхлебал, как боров, ее воскресный бульон. Господи владыка, по-

[1] Районы Гаваны.

милуй нас! Господи Иисусе, помилуй нас!.. А тут еще эта музыка в современном доме, такая печальная, такая однообразная и печальная, словно заупокойное пение.

Никто не удивился, увидев его среди собравшихся для бдения,— известно, старуха служила когда-то в богатых домах. «Нашелся ключ от двери»,— обрадовалась племянница, заметив, что пламя свечей заметалось под струей свежего воздуха. «Разделяю ваши чувства»,— говорил ему то один, то другой, полагая, что, если уж белый пришел на бдение негров, да еще надев в такую жару темный костюм, значит, какие-то давние узы связывали его с покойной. Он заглянул поверх гроба в стоявшее на консоли зеркало. Лицо его похудело до неузнаваемости — исчезла одутловатость, вызванная беспробудным пьянством в не занятые делом дни, когда он стремился любой ценой позабыть о деле уже выполненном,— и он приободрился, радуясь этой неожиданно обретенной маске. Снова и снова он смотрелся в зеркало и видел незнакомые черты. Мучительные ночи изрезали глубокими морщинами его щеки, заострили подбородок, придали напряженную пристальность взгляду, глаза казались более темными под нависшими волосами — непомерно отросшими и потому причесанными на другой лад. Во всем облике появилось что-то совсем новое, и он подумал, что если кто и встретит его в плохо освещенном месте, то, пожалуй, усомнится, он ли это. Кроме того, сослужат службу темные очки, которые последнее время были для него своего рода профессиональной принадлежностью. Он вознес благодарность за муки, испытанные в дни заточения, за перенесенный голод, обращаясь мыслью к тому, кого чувствовал все ближе к себе, словно стоял тот рядом, у балюстрады мирадора, сияя во славе своей, но сострадая людям. С радостью он увидел в зеркале, возвращавшем ему новый его образ, что родственники один за другим потянулись на плоскую крышу. Они стояли там, вдыхая слабый ночной ветерок, под низко нависшими тучами, окрашенными на горизонте желто-красными отсветами университетских огней — возможно, это были прожекторы стадиона или Колонного патио,— и осуждали бестактность человека, живущего там, наверху, который позволял себе крутить пластинки, когда рядом лежит покойник. Правда, это была не танцевальная музыка; но музыку ведь всегда слушают для развлечения. Когда они уже собрались послать солдата как представителя власти, чтобы потребовать большего уважения к усопшей, оглушительный вой пароходной сирены заставил всех позабыть о музыке, которая, вероятно, продолжала звучать. Заговорили о лоцманах, мелях, штормах и, заспорив, стали сверяться с часами, потому что кто-то объявил, будто луч маяка вращается медленнее, чем обычно. Оторвавшись от зеркала, исхудалый беглец повернулся лицом к двери, которую пришлось теперь подпереть теми же палками и деревяшками, чтобы она не закрывалась,— дверь так долго была на запоре, что привычно захлопывалась сама собой, поворачиваясь на тяжелых, прибитых гвоздями шарнирах. Увидев, что в комнате не осталось никого, кроме двух старух, повязанных белыми платками, которые читали молитвы, перебирая зерна одной и той же нити четок, он сдвинул пистолет набок, где привык носить его, и, держась рукой за перила, стал медленно спускаться по винтовой лестнице — не будут больше ее ступени разговаривать с ним на ясном языке шагов. Он пересек патио «Академии кройки и шитья», где, несмотря на смерть соседки, усердно трудились ученицы, накалывая булавками вырезанные из газет выкройки — кто на толстый, кто на тонкий манекен. Вид улицы на одном с ним уровне оказался настолько неожиданным, что

он заколебался, прежде чем переступить порог дома. Наверху оставался мирадор и его увенчанные розетками угловые столбы. Под ярким светом фонарей тополя бросали на тротуар черные тени, отделенные одна от другой освещенными промежутками. Надев очки, он почувствовал себя в большей безопасности за темными стеклами — предназначенными для солнца, но нашедшими себе применение ночью — и принялся переходить от тени к тени, ускоряя шаг и пряча лицо в поднятых лацканах пиджака всякий раз, когда пересекал освещенное пространство. Всех денег осталось у него эта новая бумажка, брошенная ему как милостыня в последнем доме, откуда его выгнали в тот самый вечер, когда изрешеченная пулями колонна спасла его от смерти. Этого было мало, чтобы добраться до отцовской мастерской. Кроме того, в Санкти-Спиритусе все сразу узнают о его приезде. Его знал ветеран, который продает фрукты у обелиска борцам за независимость; знал бродячий торговец анисовыми хлебцами, знали парикмахеры, которые всех обрабатывают своими ножницами и своими болтливыми языками. Он подумал, что надо бы поесть. Но в этот ранний вечерний час во всех кафе было полно народу; сидя за столиками, посетители разглядывали вновь приходящих — а теперь, когда он вырвался в город, ничто так не пугало его, как человеческий взгляд. Переходя от тени к тени, он достиг конца аллеи и вступил в мир колонн. Колонны в белую и голубую полоску, с балюстрадой между стволами: двойная галерея порталов, образующая главную улицу, где стоял фонтан Нептуна, украшенный смахивающими на одичалых псов тритонами, на чьи спины были налеплены предвыборные плакаты. Он шел вдоль разноцветных домов, переходя от желтого к серому, от зеленого к фиолетовому, от подъезда с разбитым каменным гербом к подъезду с грязным лепным рогом изобилия. На перекрестках разбегались в стороны прямые улицы, асфальт отливал синевой под лучами уличных фонарей, а фонари раскачивались на ветру вместе с роем ослепленной мошкары. Подальше мирно дремала приходская церковь с готической гипсовой лепниной — столько раз крашеной и перекрашенной, что розетки утратили свой рельеф,— с травой, прораставшей между черепицами кровли и портиков, а перед церковью стояла лавка, где торговали магнитами, кремнями и агатовыми амулетами от детской хвори и дурного глаза. Еще дальше перевешивались виноградные лозы через полуразрушенную каменную стену, примыкающую к погруженному в душистый полумрак большому табачному магазину. Под аркадами старого испанского дворца, завернувшись в газеты, спали, среди мусора и пустых консервных банок, нищие и видели дурные сны, валяясь в лужах собственной мочи. Ускоряя шаг, беглец переходил от тени одной колонны к другой, зная, что приближается к рынку, где в этот час уже росли горы тыкв, зеленых бананов и желтых кукурузных початков, а рядом сидели в клетках индюки, просовывая сквозь прутья свои головы, похожие на пропыленный тюльпан. Дальше тротуар шел вдоль освещенного, как в праздник, ломбарда; подвешенные к потолку плетеные кресла качались над свалкой стенных часов, консолей и горок, из которой торчала неизвестно как попавшая сюда мачта или огромная многоцветная ваза. Минуя витрину с манекенами невест и причастниц, минуя бронзовые канделябры похоронного бюро, где, положив голову на гроб, дремал ночной сторож, начинались мраморные прилавки, покрытые рыбьей чешуей, а позади баков с потрохами, желчью и панцирями сверкала зеркалами в золотых рамах расположенная в глубине рынка парикмахерская. Окунувшись в запахи поленты и вяленого мяса, пряных рассолов и жареной трески, он сделал крюк, лишь бы обойти подальше ярко освещенное кафе с дымящимися кофейниками, где его арестовали в ту ночь, у самого входа. Нако-

нец он добрался до угла совсем темной улицы; окна дома, казалось, звали его к себе тихими голосами, и он поднял дверной молоток — последнюю свою надежду в этот час. За дверью послышались неторопливые шаги Эстрельи.

«Где это ты пропадал?» — спросила она, открыв дверь и разглядывая его с насмешливым любопытством; сонная, приученная не лаять на чужих собачка тем временем лениво обнюхивала пришельца. «Я уезжал. Вернулся — и сразу к тебе»,— сказал он, чтобы как-то объяснить свою неподходящую для такой погоды одежду и мятую рубашку, стиранную под краном,— ведь она так восхищалась последнее время его красивыми дорогими костюмами. «Очки от солнца? — сказала она и, поддев их одним пальцем, в шутку нацепила на нос.— Все видишь в черном свете. Это что, мода такая?» — «Я не успел даже поесть»,— продолжал он, заглядывая в кухню, полутемную из-за лезущих в окно ветвей гранатового дерева. Собачка выскочила в патио, прямо к миске с объедками — их было так много, что вряд ли что-нибудь уцелело в кастрюлях. Эстрелья поставила на стол бутылку с остатками ликера. В первые минуты он готов был довериться ей, рассказать все без утайки единственному человеку, который мог помочь ему немедленно, сегодня же. Но сейчас выпитый глоток спиртного помог ему отнестись к своему положению более спокойно. Он снова был под защитой. Дом, замкнувший за ним двери, скрывал и прикрывал его. До рассвета еще далеко. В его распоряжении долгие благодатные часы. Он заранее рассчитывал на Эстрелью. Но прежде чем заговорить, он должен снова создать ту атмосферу неразрывной близости, которую нарушило его двухнедельное отсутствие. Ей нравилась медлительная, сдержанная страстность его объятий. Он взял ее за руку и потянул к кровати. «Подожди»,— сказала Эстрелья; она стерла бумажной салфеткой помаду с губ и, набросив платок на изображение святой девы, погасила свет и скользнула к нему в постель. Но он уже утонул в беспредельном покое. Сладостная мягкость подушек после продавленного матраса, на котором он вертелся, не находя удобного места; ликер, сделавший его тело бескостным и мягким, как теплый воск; освобождение от тяжести пистолета, брошенного на стул поверх одежды; пышная жаркая грудь рядом с его щекой; нежные руки женщины, которые не возбуждали, а убаюкивали его,— все помогало ему неторопливо, с наслаждением, раскинув руки и ноги, погружаться в желанное блаженство сна... Когда он открыл глаза, свет уже снова горел. Сидя к нему спиной, Эстрелья надевала рубашку, отделанную зелеными ленточками и ажурной вышивкой. Она взглянула на него в зеркало скорее равнодушно, чем сердито. «Поди сюда»,— сказал он. «Все равно ничего не сможешь»,— ответила она, подкрашивая губы. Зная, что легче было бы заставить ее снова раздеться, чем второй раз стереть помаду с губ, он разозлился и, сбросив ноги на пол, уселся на край кровати. Он не мог перенести, что эта женщина, которой он обладал столько раз, гордясь тем, что победил ее профессиональную бесстрастность, и слышал, как стонет она от наслаждения под его ласками, смотрела на него, встав с постели, со скучающим видом человека, отказавшегося от напрасного труда. Сейчас она, открыв дверь на улицу, звала кошку, и та, спрыгнув с крыши, прибежала, вынюхивая что-то и нервно помахивая хвостом. Равнодушие женщины, которая всегда после первых объятий умоляла его остаться на всю ночь, возмутило его. Может ли воспламениться его плоть, когда весь он превратился в отчаянный вопль голода и страха! И теперь он заговорил. Он говорил задыхаясь, в стремлении го-

ворить, говорить до хрипоты, после бесконечно долгого молчания. Эстрелья снова заперла дверь. Съежившись в углу кровати, она слушала его с напряженным вниманием. Внезапно в свете этого страшного рассказа перед ней стала проясняться неумолимая связь событий. Она видела на страницах газет ужасные фотографии, но не поняла тогда в своем бессмысленном испуге, что с этого началось все. Вслушиваясь в слова беглеца, она представила себе его у чужих порогов, измученного страхом и голодом, или в далеком доме, где шло бдение над старухой, скорчившейся в своем гробу, умершей из-за того, что она так и не дождалась украденной у нее еды. И, взвесив чудовищное значение всего ею сказанного, чтобы отделаться от тех, из инквизиции, она услышала, как прозвучало слово, которым сама обычно обзывала себя, беззаботно бравируя своей откровенностью,— прозвучало громко, словно подхваченное эхом бездонных глубин. Она уже и сама не помнила, с каких пор привыкла сидеть на коленях у мужчин, вдыхая исходивший от них запах пота и сигарного дыма, и вспоминала лишь то утро, когда сильные руки забрались к ней под корсаж, чтобы обнять ее покрепче. О своем теле она говорила в третьем лице, как будто ниже ключиц начиналось какое-то чуждое ей, деятельное существо, само по себе наделенное особой властью привлекать мужчин, подбивая их на ухаживание и щедрые подарки. Это существо действовало не раздумывая, словно по наитию, побуждая к постоянным посещениям людей совсем другого круга, где жизнь шла в ином ритме, ставила себе иные цели. Она никогда не задумывалась над тем, что изучал один, к чему стремился другой, о чем тосковал третий. Она была неподвижностью и ожиданием, местом, известным множеству мужчин, живущих неведомо где, мужчин, которые, казалось, обретали телесный облик, лишь обогнув угол ее улицы, а потом снова растворялись в недрах города до следующего своего появления. Ее голова играла второстепенную роль в этой поразительной жизни тела, которое все восхваляли в одинаковых выражениях, повторяя друг друга в одних и тех же действиях и притязаниях, а она, взобравшись на собственный пьедестал, объявляла неразменным сокровищем, недоступным для настоящего обладания, присваивая себе право на равнодушие, на холодность, на презрение,— и всегда только требовала, хотя втихомолку, в тех случаях, когда поведение гостя или его прирожденное искусство казались ей достойными ответа, менялась с ним ролями, не отдаваясь мужчине, а превращая его в самку, взятую мимоходом. Ее тело оставалось чуждо понятию греха. Она отделяла это тело от самой себя, особенно когда намекала на главное средоточие его драгоценных качеств,— так могла бы она говорить о какой-нибудь дорогой вещи, хранившейся в другой комнате. «Можно согрешить и мыслями, и речами»,— услыхала она как-то в проповеди, которую слушала не очень внимательно, обнаружив белые пятна от святой воды на черном кружеве мантильи, полученной в подарок и якобы очень дорогой. Но мысли и речи ее были ни в чем не повинны, ведь она занималась единственным ремеслом, которое могло дать ей заработок, и была вежлива в обращении, верна своему слову, отзывчива к чужой нужде или к несчастью себе подобной. Даже соседки из дома напротив, женщины, которые венчались в церкви, считали ее большей сеньорой, чем иных из так называемых порядочных, и всегда ставили ее в пример, перемывая косточки своим ближним. Она хвалилась своей откровенностью, определяя свое занятие самым точным словом. Но сейчас, когда она услыхала от него об этом страхе, этом голоде, этом смертельном одиночестве, привычное слово наполнилось своим отвратительным смыслом. Нет, не просто несколько невесомых букв готовы были слететь с ее уст, когда она все узнала; то было

мерзкое слово, обливающее грязью, побивающее камнями; ругательство, извечно звучавшее по всем тюрьмам, грязным притонам, ночлежкам и кабакам. Показания, которые она дала, чтобы отвести от себя не такую уж страшную угрозу — да и не ей даже грозила опасность, а только удобствам ее жизни,— эти показания сделали из нее настоящую шлюху. Шлюхой она стала не из-за торговли своим телом, а из-за бесчестного поведения, в котором порядочные женщины, знающие только одного мужчину, обычно упрекают таких, как она. На этот раз она согрешила речами своими, и грех ее повлек за собой такие страшные беды, что все голоса ада кричали ей это слово, хотя ее содрогавшееся от ужаса тело было неповинно... Когда он, задыхаясь, обливаясь потом, повторяя все громче каждое слово, чтобы убедить ее в своей искренности, рассказал о своих мольбах и молитвах, о перевернувшем всю его жизнь явлении бога, Эстрелья разразилась рыданиями. И теперь он — он обнял ее и уложил рядом с собой. Прежде чем погасить свет, он бумажной салфеткой стер помаду с ее губ.

На этот раз Эстрелья не стала снова подкрашивать губы. Стоя к нему спиной, она вытирала лицо смоченным в спирте платком. Неподведенные глаза казались глубже на бледном лице чуть землистого оттенка, как у всех, кто вырос в дыму древесного угля; густые волосы были подколоты гребешками. Она достала из шкафа черное платье, в котором обычно следовала за крестным ходом во время страстной недели, и черные туфли, приберегавшиеся на случай визитов соболезнования или бдения над покойником. А он, грызя хлебную корку и макая ее в холодный соус, оставшийся на дне кастрюли — все объедки были отданы собачонке,— испытывал нежданное успокоение, наступившее после того, как он овладел ею. «Это мне было нужнее еды»,— подумал он. И снова принялся описывать дом, настаивая на подробностях. Женщина совсем не знала этот дальний район, один только раз она случайно попала туда, возвращаясь из Зоологического сада, где с изумлением глазела на каких-то заморских животных. Кроме того, все, что находилось за пределами ее прихода, было ей так же незнакомо, как места, расположенные на другом берегу залива или за старыми крепостями. О кварталах Орфила, Насарено или Палатино она говорила, словно о каких-то древних городах, где человек может заблудиться и долгие дни бродить по улицам без надежды выбраться. Известные ей пути вели от церкви к церкви, когда она участвовала в процессии на страстной неделе. Посещали ее; она же почти никого не посещала. Поэтому особенно важно было, чтобы она все ясно себе представляла: из четырех углов на перекрестке ей нужен угол сада с высокой решеткой. Дом двухэтажный: порталы с зелеными навесами и креслами-качалками. Среди клумб с гладиолусами и маргаритками — белые статуи. Их видно с улицы: одна — женщина в покрывале с яблоком в руке («Ева?» — спросила она); другая — с копьем и в шлеме, как воин. (Когда-то женщины сражались, как мужчины: это ей дедушка рассказывал.) И по обе стороны от входа — два льва с черными кольцами во рту. (Как у памятника на берегу моря—где орел на колоннах.) Там надо не стучать в дверь молотком (как здесь), а потянуть за цепочку справа от двери. И не надо дергать без передышки (как здесь), а всякий раз немного подождать. (Он, верно, думает, она и вовсе не знает хороших манер?) Она должна вручить письмо Высокому лицу. И потребовать ответа, без всяких отговорок. Показать, что она достаточно осведомлена о Движении, постараться припугнуть его: вежливый, но твердый тон женщины, готовой ждать, если нужно, хоть всю

ночь. В случае если он заупрямится, пустить в ход намеки, иронию, волнующие недомолвки, вести себя как человек, которому известно многое. Если ее не захотят принять, если лакей в белой ливрее пойдет доложить и, вернувшись, попросит прийти завтра, надо будет сказать о несчастье, не вдаваясь в подробности: дурные вести открывают все двери. Если Высокое лицо вышло из дома, надо настоять на том, чтобы дожидаться его в маленькой Испанской гостиной. (Запомнила? Резной ларь и по бокам доспехи с железными перчатками, опирающимися на двуручный меч.) А если там не позволят остаться, то ждать на улице, у садовой решетки. Под тополем стоит скамейка, ее знают все просители. Так, значит, из четырех углов — тот, где сад с высокой решеткой... Эстрелья повернулась к нему лицом, и, когда он увидел ее без косметики, всю в черном, без единого украшения, кроме образка на цепочке, его разобрал смех, так она вдруг оказалась похожа на какую-нибудь ученицу «Академии кройки и шитья». «Ты выглядишь настоящей сеньорой»,— сказал он, протягивая ей новенький банкнот, который хранил под пряжкой пояса. И, взглянув сквозь жалюзи, он увидел, как она подозвала такси. Было восемь часов. Эти особы обедают поздно. Оставшись в доме один, он почувствовал, что защищен, укрыт и волен распоряжаться этой ночью, которая с каждым убывающим часом приближает конец его тревог. Он неторопливо оделся, похлопывая рукой по костюму, чтобы хоть немного вернуть ему утраченную форму. Над патио клубились тучи, переливаясь красно-лиловыми отблесками городских огней. Там, за гранатовым деревом, была столовая с пустым буфетом и клетчатой клеенкой — на стенах висели расписные тарелки с изображениями гондол и замков, котят, играющих клубками шерсти, Неаполитанского залива и подков, увитых розами. Он выпил остатки ликера, повторяя про себя текст письма, которое, за неимением лучшей бумаги, написал на жалком листке в синюю линейку, из тех, что продаются в мелочной лавке с двумя конвертами, на случай если на одном посадишь кляксу. Он захотел чем-нибудь помочь себе и решил помолиться, чтобы адресат оказался дома, чтобы его посланница была принята немедленно и принесла ему какую-нибудь обнадеживающую весть. Он вытащил книжечку с крестом Калатравы, унесенную в кармане как талисман от всех зол, и, преклонив колени перед святым Иосифом, обвешанным четками и слабо освещенным лампадкой, которая горела в последней комнате, стал читать вполголоса молитву к посреднице между богом и несчастными грешниками: «Всемогущая защитница и заступница наша, тебя избрал господь, подобно Моисею, но не затем, чтобы хранить золотой ковчег, а дабы сберечь истинный ковчег завета, дева Мария, в чьем пречистом чреве воплотился и вочеловечился высший судия Иисус Христос...» Дойдя до конца, он засомневался, девять или десять раз повторил он свою молитву, и положил себе прочесть ее еще одиннадцать раз. Но услыхав, что стучат в дверь — наверняка кто-нибудь из клиентов Эстрельи,— он погасил все огни и затаился в темноте, прислушиваясь к уличному шуму: за окном, один за другим, с грохотом катили к рынку грузовики. Он немного поспал; а может, и нет; однако угольник, которого искали его руки, мог привидеться ему только во сне, когда он вздремнул, прислонившись в неудобной позе к стенке. Никакого угольника нигде не было. Прогремело несколько грузовиков. Но вот после долгого ожидания, когда в его спокойную уверенность стало уже закрадываться нетерпение, перед домом раздались громкие, ожесточенно спорящие голоса, и он одним прыжком вскочил с постели. Эстрелья пыталась утихомирить какого-то человека, а тот чего-то требовал от нее, крича, насмехаясь и призывая в свидетели прохожих. Послы-

шался скрежет ключа в замке, и женщина вбежала в комнату, комкая новый банкнот, который он дал ей на такси. «Шофер говорит, что бумажка фальшивая. А у меня ничего нет...» Кто-то отчаянно колотил молотком в дверь, от ударов сотрясался дом. «Он говорит, бумажки, на которых генерал с прикрытыми глазами,— фальшивые. А у меня ничего нет. Сегодня я как раз заплатила за квартиру». Ошеломленный беглец взял банкнот и стал изучать его, рассматривая на свет, вертя в руках и разглядывая со всех сторон, а тот, на улице, продолжал кричать и издеваться. «У меня никогда не бывает скандалов,— стонала Эстрелья,— я женщина порядочная». К двери, по-прежнему сотрясавшейся от ударов, неторопливо подходил полицейский. «Иди туда, сейчас я все улажу»,— женщина подтолкнула его к последней комнате со святым Иосифом, увешанным четками; окно комнаты выходило на пустынные задворки. Пока он снова возвращался в полумрак, входная дверь открылась и до него донеслись смутные отголоски разговора. Шофер, умиротворившись, принял приглашение и теперь извинялся, что поднял такой шум, рассказывая в оправдание случаи с фальшивыми деньгами, которые суют вечером, чтобы легче было обмануть. Потом послышалось шушуканье и смех. И вдруг Эстрелья проговорила неестественно громко, явно желая, чтобы ее услышали по ту сторону патио: «Говорю тебе, милый, мы одни во всем доме; не веришь, посмотри сам». Подстегнутый этим предупреждением, беглец перекинул ногу через подоконник и прыгнул в темноту. Поскользнувшись, он упал на кучу мокрой бумаги, сваленной вперемешку с гнилыми фруктами, перьями и устричными раковинами — отбросами рынка, которые завтра же растащат собаки, а за ними расклюют стервятники. И неожиданно его охватил такой покой, что некоторое время он лежал неподвижно среди холодной шелухи и чешуи, не решаясь двинуться с места. Выброшенный в окно окурок кольнул его руку красным огоньком. Сигарета была обернута в маисовую бумагу,— странно, таких теперь почти никто не курит. Боль вывела его из неподвижности, и он встал, раздумывая, куда направиться. Пошарив по карманам в поисках очков, он вспомнил: они остались на плетеном столике возле кровати Эстрельи.

Стоя у старого фонтана, он усердно счищал пятна со своего синего костюма,— давным-давно здесь поили лошадей и мулов, в те далекие времена, когда под унылый перезвон бубенцов со всей округи съезжались в город тяжелые возы. За неимением щетки он оттирал материю пучком соломы, смоченным в еще теплой от солнца воде. Но вдруг ему показалось, что какие-то грузчики слишком пристально на него смотрят. И хотя уж этих-то людей ему нечего было опасаться, он поспешил уйти и зашагал по грязной улице с валяющимися в канавах капустными кочерыжками, с растоптанными фруктами на решетках стоков. Дорога до Дома Движения, даже если идти по прямой, была не близкой. О каждой улице он судил по количеству развесистых деревьев — ведь ему так нужна их тень; и по ее крутизне — перед подъемами сердце у него замирало, словно впереди лежал нескончаемый путь в безлюдной пустыне. Он готов был уже постучаться в дверь к Эстрелье, чтобы она хоть выглянула; но вспомнил, что, если у нее кто-нибудь был, она всегда выключала свет в передних комнатах и не отзывалась на стук, полагая, что неожиданному гостю неприятно будет ложиться в постель, еще теплую после недавнего посетителя, а так — решив, что она вышла за какой-нибудь надобностью,— он вернется попозже. Кроме того, беглец опасался, что женщине не скоро удастся отделаться от шофера, который уж навер-

няка воспользуется такой расплатой и, чего доброго, останется до глубокой ночи. Значит, надо явиться *туда* как можно раньше и узнать, узнать сразу, без околичностей и оговорок, кончится ли завтра эта нескончаемая ночь. Ему надо так немного: виза, несколько грошей и люди — да, люди! — которые будут рядом с ним в последний момент. А теперь он будет говорить с Человеком из дворца. Он избавил его от опасного противника, послав по почте книгу, которая взорвалась, едва ее открыли. Важно было раздобыть толстый том с плотным переплетом и прорезать в толще страниц небольшую выемку — это была «Антология ораторов от Демосфена до Кастеляра», мадридское издание начала века, в шагреневом переплете. Адская машина уместилась точно между Цицероном и Гамбеттой [1]. Позже тот, кто готовил том, был схвачен и погиб вместе с другими, но никого не выдал — или, как это говорится, не «пел» на допросе. Только он — единственный уцелевший свидетель, который брел сейчас по извилистой улочке между запертых лавок с опущенными железными шторами,— знал тайну посылки. В подтверждение он хранил квитанцию на заказной пакет, посланный от чужого имени. Он напомнит об этом, если понадобится; пригрозит, что пошлет копию в газеты с подробным письменным объяснением, он заставит Человека из дворца действовать без промедления. «Не выходи из своего убежища и жди»,— велел тот передать ему. Но ожидание он отбыл с излишком, а неожиданно пришедшая смерть изгнала его из мирадора. Сейчас он подумал, что нет худа без добра. Смерть старухи была, может быть, последним благодеянием, которым он был обязан той, что выкормила его молоком своей груди... С новым приливом мужества он ускорил шаг, думая, как глупо было посылать Эстрелью просить о том, чего он вправе был требовать. Он вышел на широкую улицу с двойным рядом деревьев, где бодрствовала статуя испанского короля в мраморном завитом парике и мраморной мантии, окруженная колоннами великой эпохи, которые рядом с размалеванными в оранжевый и голубой цвет колоннами соседних порталов казались одинокими свидетелями былого могущества среди нелепостей падкой на моду разностильной мещанской архитектуры. Он миновал церковь с высоким готическим шпилем — под ее аркбутанами ютилась лавчонка, торгующая улитками и негритянскими амулетами,— и, пройдя под порталом Большой ложи, обошел стороной полукруглое здание партии, где в центральной части еще горел свет и, должно быть, шло какое-нибудь собрание. Ускоряя шаг, он подумал, что и тут он стал ренегатом вскоре после приезда из Санкти-Спиритуса, и как бы в поисках прощения перекрестился перед святой девой, стоявшей в нише дома. Дальше начинались строгие решетки Ботанического сада, а за решетками — дощечки с латинскими надписями на клумбах, орхидеи, свисающие с полузадушенных деревьев, раскрытые виктории-регии на дремлющей воде среди гигантских маланг, испещренных пятнами холодного электрического света. Позади сада, словно врезанная в красно-бурую полосу туч, возвышалась на крутом холме черная громада тюрьмы, зажатая контрфорсами старой испанской крепости, такой же, как многие другие, построенные на Антильских островах — по заказу поборника католицизма — итальянским военным архитектором, великим мастером прятать подземные темницы, тайные камеры и переходы в каменном чреве крепостных стен. Беглец, содрогнувшись, вспомнил, что именно здесь — сразу за четвертой сторожевой башней,

[1] Прославившиеся своим ораторским искусством политические деятели Древней Греции (Демосфен, 384—322 гг. до н. э.), Древнего Рима (Марк Туллий Цицерон, 106—43 гг. до н. э.), Испании (Эмилио Кастеляр, 1832—1899) и Франции (Леон Мишель Гамбетта (1838—1882).

рядом с бойницей,— не так давно его драгоценное тело в ужасе корчилось перед угрозой пытки. И, завидев густолистные деревья, он поспешил укрыться в их тени от омерзительного воспоминания. Он дошел, не задерживаясь, до университетского холма. Там горели огни, надрывались громкоговорители. Необычное для такого часа освещение напомнило ему о драматических спектаклях, которые время от времени устраивали студенты литературного факультета в Колонном патио. Вот и сейчас, наверно, сотни зрителей смотрят какую-нибудь трагедию, разыгранную студентами в костюмах вестников, стражей и героев. И загнанный беглец с тоской подумал, каким коротким оказался для него путь от этого здания с высокими перистилями, с видным изделека девизом *Hoc erat in votis* под аллегорической фигурой Знания до мрачной, сулившей возмездие крепости, где его заставили подло изрыгнуть — это называется «петь» — все, что узнал он от людей, в недобрый час встреченных им в коридорах факультета. Ревели из рупоров искаженные голоса Атридов [1], хор проревел пророческую строфу, и беглец замер у подножия пустынного, поросшего колючим кустарником склона: «*Возмездия час... Ожил тот, кто в земле погребен. Давно умершие встают, тянутся к крови, точат кровь убийц своих!*» [2] Налетел ветер и унес последние слова. Беглец присел на край тротуара под сень развесистого платана, ронявшего черные семена на асфальт, вспученный его корнями. Все было справедливо, героично, возвышенно вначале: дома, взлетавшие на воздух среди ночи; сановники, изрешеченные пулями на улице, автомобили, исчезавшие, словно провалившись сквозь землю; взрывчатка, которую хранили дома под бельем, пересыпанным сухими цветами альбааки, вместе с листовками, принесенными в хлебной корзине или в ящиках с пивными бутылками, от которых они оставляли для вида только горлышки. То были времена приговоров, вынесенных заочно, беззаветной отваги, игры на жизнь или смерть. То были времена мгновенной казни, свершенной неведомым исполнителем с беспощадной улыбкой; смерти, найденной в открытой книге, в пасхальном подарке, завернутом в бумагу, расписанную ветками омелы и колокольчиками. То были времена Трибунала...

(...хотя был уговор скрыть это, молчать об этом — все остается со мной, всегда со мной; через долгие месяцы забвения, которое не было забвением, стоит лишь мне представить себя в тот вечер, и я начинаю изо всех сил трясти головой, чтобы избавиться от наваждения, словно ребенок, отгоняющий грязные мысли о плотской жизни своих родителей; спустя много дней я все помню запах протухшей воды от сердоликовой вазы с забытыми туберозами; красные под лучами заката стекла в аркадах этой широкой, слишком широкой галереи с опущенными жалюзи; жар, исходивший от черепичной крыши; венецианское зеркало в глубокой граненой раме, звенящие звуки музыкальной шкатулки, слетающие сверху всякий раз, как под дуновением ветра сталкиваются хрустальные подвески люстры. Монах в швейцарском гигрометре молится на своей скамеечке, наполовину опустив капюшон,— когда мы входили, начал накрапывать дождь. Все мы знаем, о чем пойдет речь, все мы знаем, что будет пущено в ход оружие, уже заряженное, сложенное за стеклянной дверью. И тем не менее эта процедура нам необходима, чтобы покончить без промедления и твердой рукой. Это времена Трибунала. Я слышу пение птиц

[1] Герои древнегреческой мифологии.
[2] Софокл. Электра, эксод 1460 (перевод С. Шервинского).

в позолоченной клетке с филигранным куполом и стеклянными дверцами, вижу, как лениво зевают черепахи, подняв голову над мутной водой пруда. Все приобретает огромное значение в этот отрезок застывшего времени — все еще застывшего, как будто все, что произойдет потом, уже было раньше. Входят и садятся за стол студенты юридического факультета — они исполняют роль судей,— и входит подсудимый, он курит сигару, стараясь как можно дольше сохранять пепел; несмотря на показное спокойствие, он бледен и то и дело переступает с ноги на ногу. Обвинитель — в костюме с темным галстуком, хотя все остальные только в рубашках,— говорит о покушении на премьера: были изучены все его маршруты, избрано место казни, намечены посты, где сигнальщики, раскрывая и складывая газеты, должны были указывать безопасный путь для бегства; специалисты по маскировке машин с помощью своих паяльных трубок, пульверизаторов и эфирных красок в ту же ночь сделали бы автомобиль неузнаваемым. Но тут самые горячие головы предложили повести подкоп. И так велико было желание покончить одним ударом — уничтожить вслед за премьером всех его приспешников,— что решено было рыть туннель от самых берегов реки до фамильного склепа, над которым высился белый ангел с распростертыми крыльями и сложенными в молитве руками. В последнюю пустую нишу собираемся заложить заряд и взорвать его во время надгробной речи. Мы работали ночами, вгрызаясь все глубже и глубже в глинистую почву, зараженную зловонием сточных вод. Когда мотыги наткнулись на каменный цоколь и мы поняли, что добрались до стен кладбища, зловоние стало невыносимым, многие землекопы теряли сознание, и тогда медики приводили их в чувство при помощи лекарств, заготовленных фармацевтами. Последняя мучительная смена длилась до рассвета — первые петухи в рыбачьем поселке возвестили конец этому всенощному бдению, этой мрачной работе, которая медленно и неуклонно прокладывала путь под крестами и часовнями к белому ангелу, обратившему лик на север... «Защищайся!» — кричу я, когда обвинитель указывает на доносчика, чьи слова погубили и свели на нет великий труд, стоивший нам нескольких жизней. «Защищайся!» — кричат все, моля в душе о какой-нибудь неведомой нам причине, жестоком принуждении, неожиданных обстоятельствах, которые позволили бы не пускать в ход оружие, лежавшее на кровати за дверью,— не прикасаться к лопатам, брошенным у подножия толстоствольного дерева. Но обвиняемый пожимает плечами, и его заранее согбенная спина снова подтвердила то, что мы слишком хорошо знаем... Слово «смерть» уже произнесено. И после сказанного, после этого выражения, означающего конец, этого слова, означающего уничтожение живого существа, наступает молчание. Молчание уже в том, что будет. В том, что уже перестало быть. Предчувствие и ощущение летящего в воздухе кусочка металла, земли, которая будет падать на еще теплое неподвижное тело. Присутствующий в комнате человек — присутствующий и уже отсутствующий — снимает часы с руки; он не торопится, он знает, что время уже не существует; заводит их по привычке большим и указательным пальцами правой руки; кладет на стол, оставляя другим, и, в последний раз взглянув на стрелки, замечает час, который для него уже никогда не кончится. Как восхищался я этим телом в душе стадиона, когда он приходил, после бесконечных вызовов, с арены, весь в поту, в грязи, издавая какой-то животный запах, и сбрасывал с плеч мохнатое полотенце. Я пожелал бы своему собственному телу эти спинные мышцы, мягко переливавшиеся под кожей; этот подобранный, сжатый между боками живот; эти вытянутые в прыжке ноги, бегущие к воде, эту грудь, из которой избыток сил вырывался в криках и пении.

А его бурные речи, когда, намыливая голову, он объявлял, что теперь ему нужны женщины, музыка, вино! Пусть пишут мне наши провинциальные интеллектуалы — завсегдатаи отцовской мастерской, созерцатели фонтана, под сенью которого отдыхал де Эредиа,— что мускулы это ничто, а дух — все. Я завидовал этой живущей среди нас мужественной плоти, которой не могли повредить даже ее собственные излишества; я наблюдал, как взлетал он в прыжке с шестом, переносился через препятствия, метал копья, подобно античному воину. А теперь — эта жалкая спина, которая склонилась перед судьями, словно прислушиваясь к последним ударам сердца. И надо поднять руку и вынести приговор. Поднимаются две, пять, не помню сколько рук. Моя рука долго висит неподвижно в поисках предлога, чтобы не подняться над спиной пса, который виляет хвостом, прижимаясь к моему креслу. «Защищайся!» — сказал я еще раз, но так тихо, чтобы никто не услышал. И чувствуя, что все ждут, я наконец шевельнул локтем, трусливо поднимая пальцы на один уровень с другими. Все обнимают осужденного, не глядя ему в лицо. Исполнители берут оружие. И чуть позже раздается залп у подножия самого толстоствольного дерева. Теперь, при взгляде на распростертое тело, меня поражает, как это просто — оборвать чужую жизнь. Все кажется естественным: то, что двигалось, перестало двигаться; голос умолк, захлебнувшись в крови, которая застывает плотной эмалью на небритом подбородке; все, что можно было испытать, уже испытано, а эта неподвижность лишь нарушила бесконечный цикл повторений. «Это было необходимо»,— говорят все, сознательно выбирая слова, которые оправдают их перед историей. И они расходятся среди ночи, уже не прячась, не пугаясь собственной тени, потому что времена изменились, и повторяют все громче, что это было необходимо, чтобы войти чистыми в изменившиеся времена. И чем дальше от них остается труп, тем громче звучат голоса... Спят птицы под своим филигранным куполом; черепахи хранят неподвижность, высунув головы из стоячей воды. Монах в швейцарском гигрометре опустил капюшон — это я точно помню,— потому что упало несколько капель дождя, сразу выпитых горячей черепицей. Вокруг толстоствольного дерева роятся мухи, разыскивая пули, прошедшие навылет. На одной из ветвей древесная лягушка затянула свою песню, похожую на сухое карканье ночной птицы. То были времена Трибунала...)

...времена Трибунала, ибо тогда прошло всего два, три года с тех пор, как общее ожесточение выпустило на солнечный свет страшные силы, несущие гибель и смерть, а безжалостные фурии возмездия обернулись против трусов и доносчиков. Но вслед за тем, что было необходимо, справедливо, героично, вслед за временами Трибунала пришло время дележа военной добычи. Освобожденные от преследований бунтари занялись эксплуатацией своего умения рисковать. Объединяясь в группы и вооруженные отряды, они торговали насилием — предлагая свои услуги и требуя награды — и снова выпускали на солнечный свет карающих фурий, ради выгоды одного или другого. Даже полиция боялась грозных мстителей, состоявших на жалованье у могущественных покровителей, перед которыми всегда расступались стены тюрьмы. По-прежнему объявлялось, что все это справедливо и необходимо; но когда он — ныне изгнанный из мирадора и сам приговоренный к смерти — возвращался, выполнив свое дело, ему надо было напиваться до бесчувствия, чтобы по-прежнему верить, будто все это справедливо и необходимо. Установилась цена за пролитую кровь, хотя для определения этой цены пользовались фразеологией

революции. И, вспомнив, как злоупотребляли в те дни этим всепокрывающим словом, человек, сидящий на краю тротуара, судорожно сжал в кулак руку, которая поднялась тогда, требуя смерти. Теперь уж его спина, согбенная в тени деревьев, дрожала от страха, как бы не вспыхнули во тьме взгляды беспощадных исполнителей... (Заряжено где-то оружие, такое же, как лежало на той кровати за дверью, проверены затворы, приклады, стволы, вложены обоймы еще раньше, чем вынесен приговор. «Защищайся»,— сказал я. Но сказал так тихо, чтобы никто не услышал. Сказал для самого себя, чтобы потом мог сказать, что сказал это. Сейчас я готов усомниться, сказал ли на самом деле или во мне прозвучало эхо сказанного другими. А как мы шли, избегая его взгляда, к толстоствольному дереву, которое меняло кору — это я точно помню,— так же как сейчас меняет кору этот платан, оставляя на моих ногтях запах горького миндаля. И в его ветвях поет древесная лягушка, совсем как в тот вечер, как в тот вечер, когда я возомнил себя вправе сидеть одесную господа...) Он испытывал отвращение, доходящее до тошноты, ко всей прожитой с тех пор жизни; упасть бы наземь перед исповедальней и возопить, что не было это необходимо; изрыгнуть свои чудовищные грехи, навлечь на себя неслыханные кары, самые страшные из всех уготованных церковью, утешаясь мыслью, что есть же такие кары для тех, кто совершил столь мерзкое преступление. Он упал ничком между корнями — так стремительно, что стукнулся зубами обо что-то твердое и почувствовал во рту вкус крови,— завидев, как два человека медленно спускаются с тротуара прямо к его убежищу в тени деревьев. «Пьяный»,— сказал тот, что повыше ростом, слегка наклонившись над ним. «А может, умер от сердечного приступа?» — возразил другой, который не хотел смотреть. «Ну, утром подберут». Прохожие направились дальше. И для них смерть была делом обыкновенным. Труп, застывшее тело; его надо поднять или унести; все это хлопотливо, он тяжелый, тащить неудобно, но и оставлять так, посреди улицы, нехорошо, не полагается. Все-таки человек, и его поза наводит на мысль, что он должен бы покоиться под корнями, а не на них. «Утром его подберут»,— уже отойдя немного, повторил тот, что повыше, как бы освобождая себя этим от обязанности сообщить о происшествии. Беглец встал и вытряхнул красных муравьев, забравшихся ему под рукава,— их укусы побудили его продолжить путь. Через минуту он остановился, чтобы убедиться, что шаги, послышавшиеся на другой стороне улицы, принадлежали ему самому. Ветер переменился, он дул теперь с севера и снова принес с собой рев громкоговорителей — из женского хора выделялся своим резким тембром голос студентки фармацевтического факультета, с которой он был знаком: «*Скорее в Дом! Свой подвиг славно свершили вы — свершайте же второй!*» [1] — торопя, завывала Электра. Она была права. Надо было идти в дом, и попасть туда как можно скорее. Не было дурного предвестия и в словах, произнесенных мужским голосом: «Смелей! Покончим все...» Прямо перед ним лежала широкая улица, спускаясь до самого моря, над которым висела плотная завеса гуч, подкрашенных трепетными отсветами далеких зарниц. Вдоль улицы стояли на гранитных пьедесталах президенты в бронзовых сюртуках, возвышаясь в героических позах над торговцами, которые предлагали мороженое и прохладительные напитки, позвякивая своими колокольчиками, словно священник, несущий святые дары. Здесь надо было держаться поближе к домам, потому что пальмы вздымали свои кроны выше самых высоких фонарей и совсем не давали тени. Беглец вышел на темную улицу, где стояло унылое кафе

[1] Софокл. Электра, эксод 1470 (перевод С. Шервинского).

с зелеными деревянными колоннами испорченного тосканского ордера, и большими прыжками помчался к перекрестку. Перед ним стоял Дом Движения — стены обвалились, опорные колонны торчали из мраморного пола, засыпанного штукатуркой, камнями и балками, рухнувшими вместе с кровлей. Оконные решетки и львов, закусивших железные кольца, уже увезли. Наклонная дощатая дорожка для тачек, пересекая большую гостиную, вела в буфетную, где на груде бесформенных обломков валялось несколько лопат. Подле садовой решетки с андалусскими завитками, в траве, усеянной осколками гипсового подноса, лежала статуя Помоны, вместе со своим цоколем и пьедесталом. Бездомный пес спал под объявлением, небрежно намалеванным толстой кистью на сломанной доске:

ОТПУСКАЕТСЯ ЩЕБЕНЬ.

В последней комнате уцелела стена; опрокинутая тачка стояла на месте секретера, который так понравился ему в тот раз,— его позабавили мотивы инкрустации: подбрасываемые на одеяле пелеле [1] и молодые озорники, палками дразнившие быков. Да и вообще нелегко было представить себе прежнюю обстановку этого кабинета; письменный стол, а на нем пустую чернильницу с бронзовыми орлами, промокательную бумагу в тисненом сафьяновом бюваре. Но стоило ему присесть вот здесь в углу, куда не достигал свет ближнего фонаря, как перед ним с поразительной ясностью возник тот самый момент, когда произошел перелом. До этого момента были лишь отвага, самозабвение, священная ярость при выполнении страшных задач отряда. Его учили подделывать дорожные знаки, обращаться с динамитом, обрезать дула ружей и заряжать их двумя частями мелкой дроби и одной частью крупной; он знал шифровальные ключи и криптографию — умел, пользуясь словом «гипотенуза», выбранным потому, что в нем не было повторяющихся звуков, располагать буквы бессмысленными на вид рядами, которые в действительности подчинялись тайному смыслу; он понимал язык сложенных и развернутых газет и вместе с другими вонзал свою мотыгу в глину, пропитанную зловонием сточных вод и разложившихся трупов, прокладывая под могилами несчастных бедняков туннель к склепу премьер-министра, чтобы во время его похорон взлетели на воздух все ненавистные враги. «Собаке собачья смерть»,— говорили они злорадно в те времена, наблюдая иное поспешное погребение и видя, как боязливо пробираются меж могил провожающие, с опаской поглядывая на стволы кипарисов. «Собаке собачья смерть»,— повторял он при виде окаймленных черной рамкой извещений в газете, чье Requiescat in pace [2] казалось ему чрезмерно милосердным напутствием... И вот однажды настала и его очередь стрелять; это было на проспекте бронзовых президентов. Человек, предназначенный в жертву, казалось, беззаботно наслаждался утренней прохладой; очевидно, он велел везти себя мимо порта, чтобы подышать свежим морским ветром: пальцы его выстукивали какую-то мелодию, барабаня по зеленой металлической дверце. На безымянном пальце сверкал большой рубин. Преследователи приближались на точно рассчитанной скорости, осторожно поднимая лежавшее на полу автомобиля оружие. «Взведи курок»,— предупредил его сосед справа, зная, что в деле он новичок. Вскоре затылок оказался так близко, что можно было пересчитать все оставленные на нем следы фурункулов. Потом он увидел профиль; потом — лицо, искаженное ужасом, умо-

[1] Паяцы-марионетки.
[2] Да покоится с миром *(лат.)*.

ляющие глаза, вопль и выстрелы. Изрешеченный автомобиль перевернулся и с громом и лязгом рухнул на корму одной из галер, стоящих по бокам памятника героям-мореплавателям, а они умчались, свернув на поперечную улицу. «Собаке собачья смерть». Но тем не менее в эту ночь он должен был напиться до бесчувствия и пьяным свалиться в постель к Эстрелье, чтобы позабыть о затылке со следами фурункулов, который маячил вот тут, перед самым дулом, чуть ли не на расстоянии руки. Через некоторое время, когда он узнал, что эта смерть способствовала внезапному возвышению некоего лица, его обуяли сомнения, но товарищи сумели рассеять их, весьма ловко оперируя словами, которые оправдывали все. «Революция,— говорили они,— еще не кончена». И со ступеньки на ступеньку, направляемый все более решительной рукой, он постепенно дошел до бюрократии террора. Былая одержимость, клятва мстить предателям, слова *Hoc erat in votis*, мысленно произносимые над трупами приговоренных,— все превратилось в работу, сулящую быстрое обогащение, высоких покровителей. И однажды утром, сидя перед секретером с инкрустацией по мотивам Гойи, он согласился за крупную плату подготовить некий том «Антологии ораторов» и отправить его по почте. Когда на следующий день его схватили возле кафе, куда он всегда отправлялся, выйдя от Эстрельи, он сразу понял, что полиция действовала по подозрению, без точных улик,— ведь почтовая квитанция была надежно спрятана, а пиротехник бежал из города, едва узнал, что книга взорвалась в собственных руках адресата. Что же касается Высокого лица, то оно более, чем кто-либо другой, было заинтересовано в полном молчании... Он вспомнил переход через крепостной подъемный мост; черные кольца, с которых свисали ржавые цепи; путь по коридорам мимо камер, где никогда не выключался свет, чтобы люди, валявшиеся на складных парусиновых койках, не стали совокупляться на полу, как скоты. Прошло два дня в полной заброшенности, без еды, без спиртного, после непрерывного пьянства целыми месяцами подряд, и вдруг — свет, бьющий прямо в лицо, руки, сжимающие плети из бычьих жил, и голоса, голоса: одни предлагали выдрать ему щипцами коренные зубы, другие — дать ногой в пах. Мысль о покушении на его мужскую плоть показалась ему непереносимой, выходящей за пределы всякого права, всякой власти. Он убивал, но никого не кастрировал. А сейчас они хотят его изувечить, иссушить в нем жизнь, лишить его той оси, на которой держится все, с которой связано тайное честолюбие тела, гордого своей собственной неиссякаемой силой. Через несколько минут его толкнут на путь к старости, лишат будущих встреч и обладаний, сделают мертвым для чужой плоти. Его действительное существование обрывалось, ломалось под этим ослепительным светом, бьющим с потолка, словно в операционной, при звуке этих голосов, которые становились все громче, отражаясь от низких сводов галереи,— ведь сейчас его растопчут, унизят, обездолят, лишат мужественности. Он почувствовал схватившую его руку и весь облился потом в смертельном страхе перед болью, которую легче было бы вынести в любом другом месте тела. Сейчас рухнет все; наступит смерть до наступления смерти, и он будет влачить ее долгие нескончаемые дни без объятий, изнемогая под тяжестью собственного трупа. Первое прикосновение щипцов исторгло у него дикий животный вой, такой долгий и отчаянный, что кто-то из этих людей, поняв, что он просто трус, отвесил ему оплеуху, чтобы заставить замолчать. И когда он снова почувствовал холодный металл на своей помертвевшей коже, он взмолился о пощаде с отчаянным детским плачем, с рыданиями и предсмертным хрипом. И, глядя прямо на лампу, до боли, до ярких кругов перед глазами, прикрыв руками свою плоть в стремлении защитить ее,

сохранить, вобрать в себя, он заговорил. Сказал все, что они хотели; рассказал как готовились последние покушения, и, стараясь умалить свою вину, изображая себя простым пособником, второстепенным статистом, он назвал имена людей, которые в тот час мирно спали на диванах в хорошо знакомой ему загородной вилле, а может быть, пили и играли в карты за длинным столом в столовой, повесив оружие на спинки стульев. Получив такое количество сведений и разоблачений, следователи поверили, что ему ничего не известно о подготовке и посылке книги, повлекшей за собой две смерти, и приписали эту акцию совместным действиям всей группы. И когда этот голый человек, по-прежнему защищая руками свою плоть, заявил, что больше ничего не знает, его отправили обратно в камеру, подарив сигарету в награду за подлый донос. И опять было сидение взаперти, шаги в коридоре и мучительный страх, что все начнется сызнова. На рассвете он передал начальнику тюрьмы просьбу, чтобы сообщили о его аресте Человеку из дворца. Через полчаса, по распоряжению секретаря кабинета, его выпустили на свободу... Он прошел через подъемный мост и медленно спустился с крепостного холма, удивляясь, как сильно волнует его вид просыпавшихся улиц, сам себе не веря, что вырвался из ада. Это было как начало выздоровления, как возвращение на землю к людям. Он даже не чувствовал голода или желания подойти к стойке красного дерева, где ранние посетители уже проливали первые капли на помин души, прежде чем опрокинуть стаканчик. Птицы заливались на все лады в мягком утреннем тумане. Белый, отливающий опалом шпиль церкви Святого сердца вздымал мраморную богоматерь над простеньким куполом церкви Святого Николая, где в этот час слушали мессу старые, седые негритянки, перебирая четки и вознося молитву гипсовому Назареянину в грубой рваной хламиде, подпоясанной желтым вервием. Сверкали под первыми лучами солнца украшенные яркой мозаикой купола, золотые кресты и медные колокола в монастырях кармелитов, францисканцев и мерсенариев. Просыпались обрамленные балюстрадами плоские крыши, где прачки развешивали белье на фоне синего моря, так высоко поднимавшего свои волны, что казалось, будто рыбачьи баркасы проплывают выше кровель. Освобожденный узник направился к себе домой, наслаждаясь прохладой порталов, запахом фруктов, разложенных на весах, дымом жаровен из кафе—заново открывая, точно после выхода из больницы, восхитительный вкус масла, хруст хлебной корочки, мягкое блистание меда. Он проспал до полудня, но тут его разбудили крики газетчиков. На фотографиях в специальных выпусках газет можно было увидеть трупы, валявшиеся на тротуаре у слишком хорошо знакомого ему дома, лужи крови среди перевернутой мебели, умирающих на операционных столах и окна — из кухни и кладовой,— через которые спаслись несколько человек, выпрыгнувших в глубокий овраг. В тот же вечер, когда он шел к дому Высокого лица — дому, от которого не осталось сейчас ни единой стены,— он едва успел отскочить в сторону и укрыться за колонной от града пуль, выпущенных из черного автомобиля с номером, закрытым путаницей серпантина,— ведь это было в дни карнавала.

Пес проснулся и, глядя в темное небо, беззлобно залаял — однообразным отрывистым лаем,— по временам умолкая и вращаясь вокруг собственной оси в погоне за неуловимыми блохами на своем облезлом хвосте. Беглец тяжело поднялся на ноги и по дощатому настилу прошел обратно через гостиную, где на ковре еще смутно проступали грязные, затоптанные флейты и бубны какой-то помпейской аллегории. На пороге двери без створок его поджидал пес, продолжая нехотя лаять.

«Меня, видно, и кусать не стоит»,— подумал человек, пересекая сад, усеянный деревянной щепой. Погружаясь по щиколотку, он перебрался через кучу гипсовых осколков и вышел на улицу. Намерение снова пройти по всему городу, под тенью деревьев и колонн, и вернуться в дальний квартал к Эстрелье было невыполнимо. Его усталость перешла все границы. Руки и ноги сковало оцепенение, и все же они двигались, будто подчиняясь чьей-то чужой воле. Он уже покорился своей участи, решил отказаться от борьбы, остановиться где попало и ждать самого худшего и все-таки продолжал брести без определенного направления, переходя с одного тротуара на другой, заблудившись посреди самой знакомой ему улицы. Он готов был упасть под любым деревом там в саду, если бы не этот преследующий его упорный глухой лай где-то на уровне лодыжек. Он стал вспоминать известные ему заброшенные усадьбы, где можно было бы спрятаться в кустарнике и поспать. Нет, все они расположены очень далеко. Единственными его деньгами была эта фальшивая бумажка, которую вернула ему Эстрелья, но ее нигде не примут, она только вызовет опасные споры. За его последней квартирой следили те люди. В дешевых гостиницах надо платить вперед; для того чтобы остановиться в дорогом отеле, рассчитывая сбежать на следующее утро, у него был слишком жалкий вид. Почему лишен современный человек древнего права укрыться в храме, о котором он читал в истории готической архитектуры? О Христос! Если бы открыт был дом твой в эту бесконечную ночь, если бы мог я упасть на гладкие плиты в тиши приделов, заплакать и освободиться от всего, что гнетет мое сердце!.. О, лежать ничком на каменном полу, не влачить за собой эту каменную тяжесть — прижаться щекой к холодному камню, раскинуть руки на холодном камне; погасить холодом камня снедающую меня лихорадку, и жажду, и жар, обжигающий виски!..

Внезапно в ночной тьме осветилась церковь, окруженная фикусами и пальмами, и заблистали все крестоцветы на ее белой колокольне, которая стала еще стройнее в лучах бьющего снизу света. Озарились витражи; заполыхало красными и зелеными огнями круглое окно над главным входом. И распахнулись двери: к сверкающему лучами алтарю вела алая ковровая дорожка. Беглец медленно приблизился к гостеприимному храму; он прошел под стрельчатым сводом бокового портика и замер, ослепленный, у каменной колонны, источавшей слабый запах ладана. Его рука жадно потянулась к прохладной святой воде, поднесла ее ко лбу и к губам. Зазвучал орган, тихонько, словно пробуя верхние регистры. Там, над резным алтарем, высился крест, и на нем светлым пятном выделялось тело Христа. Человек, потрясенный исполнением своей мольбы, не в силах был пролепетать выученные по черной книжечке молитвы. Он только смотрел; смотрел не отрываясь на сиявший перед ним свет, который спас его от страшной ночи. Он медленно передвигался от колонны к колонне — как раньше пробирался от дерева к дереву,— робко, шаг за шагом приближаясь к престолу со святыми дарами. Каждый переход, каждая остановка постепенно освобождали его от оков страха. Он замирал, отдаваясь блаженному покою, с наслаждением вдыхая аромат растопленного воска и терпкий запах лака, исходивший от недавно реставрированного полотна «Тайной вечери». Он ласкал пальцами перила кафедры и резное дерево исповедальни, и ему казалось, будто он касается какого-то драгоценного вещества. Впервые он узнал — почувствовал,— чем может быть для человека церковь, теперь, когда нес под таинственными сводами свое тело, с каждым шагом становившееся все легче и легче, к ногам того, чья кровь

сочилась из ран от гвоздей и терниев на усеянные цветами покровы... «Вы приглашенный?» — раздался за его спиной негромкий голос. «Да, я приглашенный»,— ответил он не оборачиваясь и услышал, как удаляются тихие шаги. Но тут позади него, в притворе, возник легкий шум и, постепенно нарастая, заполнил всю церковь. Он был уже рядом с ризницей, когда его настиг этот шум, внезапно, как будто к нему вдруг вернулся слух после головокружительного восхождения на вершины безмолвного мира. Входили женщины в светлых платьях, мужчины в парадных костюмах, девушки с букетами в руках; никто не смотрел на него, никто его не видел, а вокруг всеми красками переливались под ярким светом ослепительные туалеты и драгоценности. И тут беглец понял, почему осветились в ночи все приделы: сейчас появится невеста, прозвучит свадебный марш, уплатят символический выкуп, обменяются кольцами, и опустевший храм снова погрузится в мрак. Когда все это свершится, он обретет наконец того, кто захочет его выслушать. Сей дом станет ему убежищем и защитой. Приходский священник, без сомнения, должен знать человека, чей дом лежит в обломках так близко от церкви. И услыхав чудовищный рассказ, готовый слететь с его уст,— он скажет все, все, как и следует говорить тому, от кого ничто не укроется,— духовник, быть может, найдет способ помочь ему. Орган заиграл свадебный гимн, все зашевелились и потянулись вслед за процессией к алтарю. Укрывшись в полутемной часовне, беглец словно во сне наблюдал за движениями совершающего церемонию священнослужителя. Ему казалось, никогда не будет конца этому томительному обряду, этому непонятному чтению, но тут же он говорил себе, что его нетерпение кощунственно, что не ему судить о таинстве, происходящем у подножия креста. Снова торжествующе запели трубы органа. Публика стала неторопливо расходиться. Огни постепенно гасли, слышно было, как закрываются высокие входные двери, и в главном нефе снова стало темно. Какие-то люди, нагнувшись, проворно скатывали ковры, другие убирали украшения, выравнивали ряды скамей. Когда разошлись и эти, наступила тишина — великая тишина, озаренная лампадами, бросавшими трепетный свет на святые изображения: поклонение волхвов младенцу Христу, Христос, истекающий кровью, Христос на тайной вечере с апостолами,—в слишком свежем лаке подновленной картины отражались огоньки лампад... Беглец долго ждал, не решаясь войти в ризницу,— он слышал, как там щелкали ключи в дверцах шкафа, с тихим звяканьем передвигалась металлическая утварь. Но вдруг в дверном проеме появилась внушительная фигура священника, облаченного в светлую сутану. «Кто тут?» — спросил он зычным голосом и потянулся рукой за тяжелым подсвечником. Беглец выступил из темноты, испуганный неожиданной мыслью, что его могут принять за вора. Словно в оправдание, он показал книжку с крестом Калатравы. Священник смотрел на него недоверчиво, так и не опустив протянутую руку. А этот неизвестный пытался заговорить, теперь уже упав на колени, судорожно сжимая в руках черную книжечку. Но рыдания прерывали каждую фразу, ничего нельзя было понять до конца, кроме слов о страшном грехе и отвращении к самому себе. Захваченный врасплох пастырь слушал этот хриплый голос, рыдания и стоны, этот рассказ о тайных преступлениях и адских злодействах, даже не пытаясь вникнуть. По роду своих занятий он хорошо знал исступленных людей, способных простоять, раскинув руки крестом, у ног пресвятой девы скорбящей, моля вонзить в их тело мечи из ее ран, и других — тех, что каются в вымышленных грехах, как в действительно совершенных, а едва получив отпущение, начинают все снова, исповедуясь каждое утро в другом приходе, чтобы повторить свой рассказ еще раз; и таких, что часами ползают на коленях по

полу церкви, обвешанные ладанками, и с раздражающим усердием кидаются нести тяжелые носилки во время процессии — не жалеют плечей ради спасителя, хвастливо выставляя напоказ свое рвение. И они-то как раз, случись им заболеть, обращаются к лжедевам, к чернолицым святым, которых называют по-язычески. «Утром,— сказал он, вспомнив об этих своих прихожанах.— Утром. Придешь исповедаться утром». И чем настойчивей молил несчастный, тем тверже повторял священник: «Утром, утром, утром», с возрастающим нетерпением и уже начиная сердиться. Вдруг его взгляд остановился на книжечке с крестом Калатравы, которую человек, стоявший перед ним на коленях, уронил на пол: хотя imprimatur [1] был составлен по всей форме, это явно была одна из тех книжонок, что лежат на прилавке — среди кукол в красном, колокольчиков с кощунственной метой IHS [2] и глиняных голов с глазами из раковин — в лавках, торгующих всякой чертовщиной. Молитвы были правильные, но читали их обычно люди, зараженные ересью и суеверием, молясь о том, о чем в церкви молиться не дозволено. Лицо священника побагровело от гнева. Мощной дланью он поднял с пола ни на минуту не умолкавшего человека, протащил его через уставленную ларями ризницу, выставил за дверь и заслонил ее своим крупным телом. «Утром,— повторил он последний раз, несколько смягчив тон.— И не забудь, надо прийти натощак. После полуночи не есть ничего». Несколько раз со звоном повернулся ключ в замке. Потом дверь закрепили деревянной щеколдой. Сразу погасли все огни на фасаде, померкли витражи, и церковь словно растворилась в тени пальм и фикусов. Деревья заметались под внезапно налетевшим ветром, повеяло запахом дождя. «После полуночи не есть ничего».

Снова шагать по улицам — спотыкаясь, пошатываясь, разбивая ноги о край тротуара, о корни, о камень, лежащий на дороге,— с единственной мыслью: еще не погасли свечи там, у гроба старухи. И будут гореть до самого рассвета там, где его уже видели, где его появление никого не удивит. Подняться по лестнице, еще раз пожать руки родственникам, еще раз повторить: «Разделяю ваши чувства» — и упасть на матрас в мирадоре, не обращая внимания на толчки в дверь. Пока не вернутся с похорон, никто его не тронет. До дома недалеко — он уже шел по той улице, где была шорная мастерская с фаэтоном и типография, печатавшая визитные карточки. В последнем усилии он ускорил шаг, как вдруг чьи-то цепкие руки схватили его сзади за локти. Знакомый голос послышался над его головой, покорно склонившейся в ожидании удара. «Хочу обнять настоящего человека»,— объявил Стипендиат и, отпустив его, едва не упал. Он был мертвецки пьян. Выражая свой восторг какими-то дикими ужимками, он кричал, что следует воздвигнуть памятник славы тем, кто в наше время хранит героический дух. «Нам нужно братство, скрепленное кровью!» — орал он, не обращая внимания на попытки беглеца угомонить его и провозглашая необходимость жестоких казней и расправ. Он просил дать ему случай отличиться в первой же акции и делал вид, будто стреляет обеими руками. Ему очень хотелось затащить беглеца в ярко освещенную закусочную, где было полно народу. «Вынеси мне лучше что-нибудь поесть»,— взмолился тот, упорно забиваясь в тень, поближе к деревьям (время шло к полуночи: он хотел показать всевидящему, что не нарушит запрета, наложенного на тех, кто жаждет причаститься святых даров). Стипендиат, начисто забыв

[1] Дозволено к печати *(лат.)*.
[2] Иисус Христос.

о его мольбе, вернулся с бутылкой рома. Оба направились к морю — оно открывалось в конце улицы, и слышно было, как волны глухо бьются о гряду прибрежных рифов... И вот они уселись рядышком в заброшенной купальне; на дне выдолбленных в скале четырехугольных водоемов с тихим плеском замирали волны, вбегающие по узкому, черному от морских ежей проходу. Ветхая деревянная постройка с провалившейся крышей скрипела всеми своими расшатанными досками под мощными порывами ветра. В главный бассейн то и дело врывалась фосфоресцирующая волна, похожая на зеленый расплавленный металл, и освещала неровное, искореженное дно, где среди водорослей и моллюсков мелькали скользкие спины и поднятые головы насторожившихся мурен. Потом плавучие огоньки угасали, все снова погружалось в тьму. «Пора вернуться к человеческим жертвоприношениям,— разглагольствовал Стипендиат,— к храмам, где жрец проливал на жертвенник кровь свежего, трепещущего сердца, а потом бросал его гнить вместе с другими сердцами; пора вернуться к священному ужасу ритуальных убийств, к железной твердости тела и духа...» Беглецу известна была высокопарная болтовня Стипендиата еще с тех времен, когда они учились в провинциальной школе и строили великие планы на будущее. «Мы — от мира сего,— продолжал тот, еле ворочая заплетающимся языком,— и должны вернуться к его извечным традициям. Нам нужны вожди и священнослужители, рыцари-орлы и рыцари-леопарды; такие люди, как ты». Сверкнули одна за другой несколько молний и ярко осветили полуразрушенный, изъеденный термитами дощатый сарай с облупившейся зеленой окраской, в котором они лежали среди зловонных луж, гниющих водорослей и мертвых моллюсков, на берегу моря, загрязненного городскими отбросами. «Есть хочу»,— простонал беглец, уткнувшись лицом в песок. «Благословен, кто голоден в этом городе обжор и чревоугодников»,— провозгласил Стипендиат. И теперь из его уст полилась хвала тем, кто очищается, проходя через лишения и суровые испытания, достигая нравственных высот рыцарского ордена. Его собеседник был в таком изнеможении, что слушал эти пьяные бредни, не пытаясь следить за их смыслом, наслаждаясь единственной доставшейся ему отрадой — чувствовать рядом присутствие человека, не грозившее никакой опасностью. Стипендиат протянул ему бутылку. Но его затошнило при одной только мысли, что придется проглотить эту обжигающую жидкость — ведь ее не откусишь, не прожуешь, не почувствуешь, как проходит по глотке плотная масса,— и он сделал вид, будто пьет, причмокивая языком и зажав рукой горлышко, чтобы не вырвало от одного запаха. «Сверхчеловек,— ораторствовал Стипендиат.— Сверхчеловек... Стремление к власти...» Но мысли его уже настолько перепутались, что он не в силах был изложить свою туманную теорию, и дальше слышались только обрывки фраз, гневное рычание и темные угрозы каким-то безымянным врагам. Беглец решил поспать: Стипендиат, опорожнив свою бутылку, в конце концов тоже уснет или отправится дальше и даже не вспомнит, где он был и с кем разговаривал. Он распустил пояс, расстегнул воротничок, положил рядом с собой пистолет — ему надоела эта тяжесть — и вытянулся на спине, закрыв глаза и чувствуя, как уплывает куда-то вдаль от голоса Стипендиата, словно убаюканный ребенок от замирающих звуков колыбельной песни... Он уже погружался в беспокойный сон, как вдруг Стипендиат схватил его за руку, сразу вырвав из забытья. Недалеко от них стояла какая-то пара, слившись в крепком объятии. Мужчина, склонив голову над лицом женщины, все теснее прижимал ее к себе. При вспышке молний они казались неподвижной черной статуей. Вдруг платье женщины взлетело вверх и, раски-

нув рукава, упало на землю. Мужчина обхватил ее за талию и опрокинул на скамью. Новая вспышка молнии на миг осветила это перевоплощение двух тел, это бурное, с глухим рычанием свершаемое соединение мужского и женского начал, более походившее на выполнение кровавого ритуала, чем на любовное объятие. Скамья рухнула, и обнаженная плоть скатилась на песок в неразлучном, неразрывном единстве. «Вот она, наша сила! — завопил Стипендиат.— Вот наша сила!» Две тени выпрямились. Мужчина двинулся к ним с угрожающим видом, женщина забилась в угол, крича, чтобы ей дали одежду. Беглец со всех ног бросился по направлению к улице, ему вслед неслись звуки глухих ударов по мягкому телу — должно быть, Стипендиат не сопротивлялся. И тут вдруг прокатился оглушительный гром и хлынул дождь. Теплый, плотный, стремительный дождь, который низвергается с неба, оставляя на земле комочки свернувшейся пыли. Захваченный ливнем беглец помчался к дому с мирадором. Но кругом было столько воды — она лилась с крыш, не вмещалась в водосточных желобах, потоками падала на тротуары,— что он вскочил в кафе напротив концертного зала, инстинктивно стремясь сохранить в мало-мальски приличном виде свой темный костюм. Увидев его, два человека встали с места. И по их напряженному взгляду, по тому, как медленно они поднимались, по движению руки вверх, к внутреннему карману, беглец понял, что сейчас он будет убит. Его рука дернулась к пистолету и сжала пустоту: оружие осталось там, на полу купальни. Вдоль улицы на полной скорости с воем сирен мчалась карета скорой помощи; затравленный беглец бросился ей наперерез и, не помня себя, влетел в вестибюль концертного зала. Машина резко затормозила и остановилась, защитив его тело от рук, потянувшихся к карману.

III

(...и вот музыканты доиграли на своих инструментах, похожих на большие пружины, эту музыку благословения гончих псов, эту мессу охотников; после тишины, которую я столько раз слушал в страшном одиночестве мирадора — когда даже телефонный монтер, взобравшийся к своим зеленым изоляторам на уровень моей плоской крыши, мог стать для меня всемогущим ангелом смерти,— после паузы начинается другая музыка, веселая музыка, чем-то напоминающая детскую игрушку, где две деревянные фигурки по очереди бьют молотками по наковальне, если двигать в разные стороны параллельные брусочки; дальше пойдут незаконченные вальсы, трели флейт и зазвучат трубы, длинные трубы, точно такие, как у золотых ангелов на органе в том соборе, куда я ходил к первому причастию; минуты, минуты, не больше; потом все зааплодируют, и зажгутся огни, все огни; и надо будет выйти через одну из пяти дверей; три двери позади меня — все равно что одна; две, выходящие в парк,— тоже все равно что одна; те двое ждут на улице и курят, держа руку наготове. Выйти, затаившись в толпе, окружив свое тело чужими телами. Но эти тела начнут разбредаться, разорвут защитный круг, заторопятся в разные стороны; я потеряю из виду женщину с лисой; пройдет через парк одинокий, бесполезный в своем одиночестве человек, сидящий там, дальше; уйдет и этот впереди, на чей затылок я не хочу смотреть; и сосед слева, который сопит, и тот высокий, что перебрасывает ногу за ногу, и влюбленные, которые слушают музыку, держась за руки и нахмурив брови; и я останусь один на бесконечно длинном тротуаре, на скользком граните, по которому так трудно

бежать; останусь один в открытом поле, без оружия, и теперь-то у них будет время поднять руку к карману, прицелиться, неторопливо спустить курок и выстрелить сразу всю обойму. О! Вот он вопль, вот они глаза человека, который ехал впереди нас в тот день, показывая затылок со следами фурункулов, так похожий на этот перед самыми моими глазами,— еще ближе, чем тот под прицелом моего ружья с обрезанным дулом... Те двое за дверью, те, что ждут меня, тоже смотрели на затылок со следами фурункулов — не смотреть, не смотреть на него! «Взведи курок»,— сказал высокий, он никогда не забывал, что надо делать в каждую минуту, а потом безошибочно указывал путь к бегству: «Направо, все время направо», «пропусти грузовик», «налево», «теперь в туннель», «осторожно», ни разу не наткнувшись ни на препятствие, ни на полицейский пост, ни на железнодорожный шлагбаум; тот высокий, что стоит на улице и ждет, когда начнут аплодировать, когда зажгутся огни; стоит, не сводя глаз с трех дверей — а они все равно что одна — или с двух дверей — они тоже все равно что одна,— стоит на углу, откуда видны все пять дверей. «Взведи курок»,— скажет он, когда разразятся аплодисменты и вспыхнут огни, а капельдинеры отдернут красные портьеры и кольца защелкают по металлическим палкам, как покерные фишки... Ложи в красном полумраке; пунцовый атлас кресел; алый бархат барьера; винный цвет ковров; ложа словно дом, словно альков, словно кровать с высокими бортами; лечь на пол, вдыхая запах пыли, прижавшись щекой к ковру, спрятав голову в мрак, вытянув ноги под креслами, как под низкой крышей, под низкой, нависшей кровлей, красной, как черепица на отцовской мастерской; зарыться, словно собака, в мягкое, теплое, надежное; вспомнить шалаши моего детства, построенные из досок, тряпок, картонок, где я прятался в дождливые дни вместе с мокрыми курами, когда кругом лилась, бурлила, струилась вода — совсем как сейчас,— не отвечая на зов старших, и всласть тешился своим одиночеством, слыша, как меня зовут, зная, что ищут там, где меня нет... А, вот уже звучат вальсы — они так и не станут настоящими вальсами,— заливаются флейты; скоро затрубят трубы, длинные трубы, и женщина с лисой уже подбирает свою лису и поправляет что-то под юбкой, думая, что все смотрят на оркестр и никто ее не видит, а среди публики, сосредоточенной, как в церкви, проносится почти неуловимое дуновение: плечи, руки, пальцы слегка шевелятся, спины распрямляются, глаза проверяют принесенные с собой вещи, совсем как в церкви после слов *Ite misa est* [1]. Теперь можно вздохнуть всей грудью, вздохнуть спокойно, совсем спокойно; наконец-то я нашел простой выход, такой простой, самый простой, единственно возможный. Я не уйду. Загремят аплодисменты, вспыхнет свет; и при свете начнется суматоха. Все станут собирать вещи, надевать меха, выставлять напоказ свои драгоценности, прощаться через ряды, говорить, что все было изумительно, а потом разобьются на группки и длинными вереницами потянутся к выходу; и будет совсем просто спрятаться за портьерами ложи и подождать, пока все уйдут; подождать, пока капельдинеры запрут двери лож, предварительно проверив, не забыто ли что-нибудь на креслах. И те двое решат, что я вышел вместе с публикой, прячась и прикрываясь; решат, что мое лицо затерялось среди других лиц, что слишком много тел загораживали мое тело, чтобы они могли увидеть его; и будут искать меня вокруг: в кафе, в аллеях парка, за деревьями, за колоннами, на улице возле шорной мастерской, возле типографии, где печатают визитные карточки; подумают, пожалуй, что я поднялся к старухе, чтобы спрятаться сре-

[1] Идите, месса окончена *(лат.)*.

ди негров, пришедших на бдение; может быть, даже поднимутся туда и увидят покойницу, скорчившуюся в своем дешевом гробу; может быть, заглянут и в мирадор, не подозревая, что мои вещи, мои готовальни, мои первые рисунки лежат там в сундуке. Им и в голову не придет, что я остался здесь. Никто не остается в театре после спектакля. Никто не сидит в темноте перед пустой сценой, где ничего не показывают. Запрут все пять дверей на засовы, повесят замки, и я упаду на красный ковер вон в той ложе — там уже встают с задних кресел,— свернувшись клубком, как собака. Буду спать до рассвета; до десяти; до полудня. Спать: прежде всего — спать. Потом начнется новая жизнь.)

Вслед за чудесным Скерцо, полным движения и блеска, идет Финал, гимн Радости и Свободы с танцами и весельем, с вдохновенными маршами, звонким смехом и причудливыми завитками вариаций. И тут, в середине Финала, снова появляется Смерть, которая сильнее Победы. Но на этот раз Победа отвергает ее. И голос Смерти тонет в кликах Радости... Сейчас фортиссимо струнных и дерева в Presto[1] откроет путь торжествующему звучанию меди. «Можно уже открывать?» — спросил капельдинер, увидев, что кассир сердито захлопнул книгу, не прислушиваясь более к музыке, звучавшей за потрепанной красной портьерой. Все бесило его в этот вечер: пропущенная симфония, запах дождя от единственного костюма, руки, еще горевшие после прикосновения к женскому телу; неугасшее желание, невозможность утолить его, беспросветная нищенская жизнь — «за решеткой»,— жалкая, неопрятная каморка, где ждала его мучительная бессонница. И ругал сквозь зубы Эстрелью, обзывая ее, как она того заслуживала. Тут он вспомнил ее жалобы на инквизицию: как ей угрожали и она рассказала о чем-то; наверняка донесла на какого-нибудь беднягу; на того, кто доверился ей, позабыв, что шлюха — она и есть шлюха и имя ей — гадина; наверняка, оттого что донесла, она и пыталась оправдать себя, повторяя до одурения: «не пойду в тюрьму; не уйду из квартала; им еще надо знать, кого я к себе приманила». А он-то ее слушал, ничего не понимая, был глух ко всему, кроме своего желания. Он стукнул кулаком по кассе, яростно повторяя ругательство, которое вертелось у него на языке, с тех пор как его выставили на улицу из-за нехватки нескольких жалких монет. Слева от него, рядом с книгой «Бетховен, великие творческие эпохи», красовалась отпечатанная на картоне и вставленная в тростниковую рамку статья государственного театрального устава: «Кассир, занятый продажей билетов публике, при сдаче суммы сбора за время своего дежурства обязан производить предварительную проверку денежных знаков с целью выяснения допущенных или возможных ошибок, для чего имеет право закрыть кассу за полчаса до конца своего рабочего дня». Снова лил дождь, и шум воды, падающей на ближние деревья, на тротуар и гранитную лестницу, сливался с гулом аплодисментов, доносившихся из зала. «Открывай,— сказал кассир, запирая на ключ свою дверь.— Неважный дирижер; так гнал симфонию, что вряд ли она продолжалась положенные сорок шесть минут». Он взглянул на мирадор старухи; скоро он пойдет и удостоверится, что умерла не она. Публика торопилась разойтись по домам, опасаясь, как бы еще не усилился ливень под напором ветра с моря, который раньше времени нагнал дурную погоду, предсказанную на днях обсерваторией. Одна за другой закрылись боковые двери, и

[1] Быстро *(итал.)*.

только несколько человек, не решаясь выйти на улицу, все еще обсуждали исполнение симфонии в вестибюле, среди зеркал и аллегорических фигур.

И тогда двое слушателей, которые сидели не двигаясь на своих местах в предпоследнем ряду, медленно встали, прошли через опустевший партер под постепенно меркнувшим светом люстр и, перешагнувшись через барьер одной из темных лож, выстрелили в ковер на полу. Несколько музыкантов, уже в шляпах, с инструментами под мышкой, выбежали на сцену, решив, что этот грохот был связан с грозой — как раз в этот момент над крышей зала прокатился долго не умолкавший гром. «Одним меньше»,— сказал вызванный полицейский, пнув труп ногой. «Он еще сбывал фальшивые деньги»,— сказал кассир, показывая банкнот и на нем генерала с сонными глазами. «Дайте-ка сюда,— сказал полицейский, сразу увидев, что деньги настоящие. Надо будет внести это в акт».

■

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Из книги «Другая жизнь»

РАССКАЗЫ

Перевод с итальянского Г. БОГЕМСКОГО

Знаменитость

Все в порядке. В аэропорту, как только я останавливаюсь в нескольких шагах от самолета, ко мне спешит целая группа провожающих. Солнце Африки ослепительно ярко, и я вижу их не слишком отчетливо. Под этим солнцем фигуры африканцев кажутся темными, как на негативе, а европейцев вообще не разглядеть — они словно сливаются с раскаленным добела воздухом. Однако я различаю министра, приветствующего меня от имени республики, которую я только что посетила во время туристической поездки; трех-четырех фотографов — они, кто с колена, кто стоя, лихорадочно щелкают аппаратами; двух-трех журналистов — эти записывают шариковыми ручками в блокнотах мой ответ министру. Девочка-африканка, вся в белом, преподносит мне с поклоном маленький букетик увядающих цветов. И вот я поднимаюсь по трапу к самолету, намеренно не спеша, чтобы дать фоторепортерам возможность запечатлеть мою знаменитую улыбку. Но едва я вхожу в самолет, как сбрасываю с лица улыбку так резко, что даже стюардесса, которая уж, наверно, должна разбираться в притворных и автоматических улыбках, и та пугается и спрашивает, не почувствовала ли я себя плохо.

Я отрицательно качаю головой, опускаюсь в кресло, и тотчас же из глаз у меня начинают неудержимо лить слезы и заливают все лицо. Меня охватывает ужасная тоска — она мучает меня, почти не отпуская, вот уже не меньше двух лет, и в этой тоске — обычная причина моего робкого и неловкого эксгибиционизма. Рядом со мной сидит мужчина — я вижу только его белые брюки. Но этого вполне достаточно, чтобы я, пристегивая ремень, чуточку подтянула и без того короткую мини-юбку, дабы сосед увидел мои поразительные ноги. Один шанс из миллиона, что этот человек не знает, кто я; один шанс из миллиарда, что он может мне понравиться, но я не хочу рисковать и этим шансом. Итак, я демонстрирую ножки. Если же это окажется, как обычно, какой-нибудь поклонник, да к тому же, как почти всегда случается, противный, то мне будет не трудно поставить его на место одним из моих знаменитых язвительных ответов.

© Bompiani, 1973.

Самолет пробежал, выруливая всю дорожку и остановился со включенными, работающими на полную мощность моторами. Не в силах удержаться, я бросаю взгляд на руку соседа, лежащую на подлокотнике кресла. Это рука молодого, большого и сильного мужчины, с необычным темно-красным, словно кровь, оттенком кожи, какого я никогда еще не видела. Тоска, однако, сильнее любопытства. Я вновь начинаю реветь, глядя на светящееся табло в глубине салона: «Пристегнуть ремни. Не курить». Затем самолет внезапно вновь срывается с места и, пробежав немного, буквально отрывается от земли, почти вертикально взмывая в небо. Словно в испуге я кладу ладонь на руку соседа. Самолет сильно вздрагивает и, воспользовавшись этим, я судорожно сжимаю руку. Потом поворачиваюсь и смотрю на него.

Я не ошиблась: это *он*. Молод, красив и, несомненно, не знает, кто я. Меня поражают в нем больше всего две вещи: цвет глаз — сероватоголубых, водянистых, словно лишенных взгляда, слепых из-за этой водянистости,— и контраст между очень светлой кожей лица и такой темной кожей рук. Я гляжу на него, он — на меня. Из моих глаз катятся и сбегают по щекам две слезы, и я выпаливаю одним духом:

— Я чувствую себя такой одинокой...

С улыбкой, открывая острые и белые, как у волка, зубы, он отвечает:

— Такая красивая женщина — и одинока?

— Именно потому, что красивая.

— Странно. Я считал, что красота способствует встречам, дружбе, любви.

— Да, но при условии, чтобы ею не торговали.

— Не торговали?

— На том рынке, где красоту предлагают, как любой другой товар.

— И что же тогда?

— Тогда уже нет ни знакомств, ни дружбы, ни любви: ведь для них нужна хоть минимальная возможность выбора, свободы, самостоятельности. А так — только взлеты и падения рыночных цен.

— А ваша красота... разве она тоже предмет купли-продажи?

Он задает вопрос так наивно и просто, что вряд ли тут есть притворство. Он действительно не знает, кто я.

Со вздохом я отвечаю:

— Да, моей красотой торгуют уже много лет. Я очень известная, даже знаменитая киноактриса. И котируюсь я весьма высоко.

— Ах, да неужели?

Тут я вдруг начинаю сомневаться: уж не смеется ли он надо мной? Но подозрение вызывают не столько его слова, сколько эта волчья улыбка, эта уклончивая водянистость его зрачков — во всем этом есть что-то тревожное, беспокоящее. Я решительно говорю:

— Меня зовут...— и называю себя.

Затем, видя, что имя не произвело на него решительно никакого впечатления, добавляю:

— Неужели вы никогда не слышали моего имени?

Он отвечает с некоторым смущением:

— Я несколько лет провел в почти недоступном районе Африки. Я исследователь. Шесть лет я прожил в диком краю, среди болот, лесов, лиан, хищных зверей. Туда не доходили новости из... внешнего мира. Теперь, как только приеду в Европу, пойду смотреть ваши фильмы. Но почему вы плачете?

Не в силах ответить, я лишь трясу головой, продолжая судорожно сжимать его руку. Потом успокаиваюсь и говорю:

— Посуди сам. Я родилась в деревне, в селении, где пять тысяч жителей. Запомни это число: пять тысяч. Пять тысяч человек — это

много, но пять тысяч жителей составляют именно маленькое селение, одно из тех, где все есть лишь в одном экземпляре: одна аптека, одна церковь, один книжный — он же писчебумажный — магазин, одно кафе, одна табачная лавка, одно кино и так далее. В пятнадцать лет я практически знала все пять тысяч жителей своего селения и все они знали меня. Если я шла прогуляться в час заката, все здоровались со мной и я здоровалась со всеми. Если я отправлялась за покупками, лавочники обращались ко мне по имени и я обращалась к лавочникам по имени. Если я выходила из селения, чтобы пройтись по шоссе, я узнавала крестьян, что работали в поле, а они, в свою очередь, узнавали меня. Словом, я была знакома с пятью тысячами человек и пять тысяч человек были знакомы со мной — они знали меня лично, симпатизировали мне, я ощущала их тепло, можно сказать, физически. Да-да, физически, ибо взгляд каждого из этих людей хоть однажды останавливался не на моей фотографии, как сейчас, а на мне самой. И мой взгляд тоже останавливался на них. Теперь перенесемся на десять лет вперед. Мне двадцать пять лет, я знаменита и, как сказала тебе, чувствую себя с каждым днем все более одинокой. Я ведь не дура и отдаю себе отчет в происходящем, я только и делаю, что размышляю об этом своем одиночестве, и в конечном итоге мне кажется, его можно объяснить так. Одиночество — результат моей ошибки, как бы это сказать? — ошибки в расчетах. Случилось так, словно в начале своей триумфальной карьеры я подумала: «Когда я была никому не известной девчонкой в глухом селении, я знала всех и меня знали все пять тысяч его жителей, я физически ощущала тепло этих контактов, а когда я буду известна во всем мире, то меня, без всякого сомнения, будут знать многие миллионы и я буду знать их, физически ощущать их тепло, и оно согреет мне сердце. Никогда, никогда в жизни я не почувствую себя одинокой».

— А что вышло?

— Я тебе уже сказала, что это была ошибка. В действительности быть знаменитым значит быть одиноким. Слава — это как витрина в магазине: тебя выставили напоказ, все глазеют, проходя мимо по тротуару, но никто не может до тебя дотронуться и ты не можешь ни до кого дотронуться. Я говорю «дотронуться» в буквальном смысле — так, как я сейчас трогаю твою руку.

Он глядит на меня, возможно, с симпатией. Но говорит:

— Это все не важно. Ты знаменита.

— Ты думаешь, так приятно быть знаменитой?

— Это самое прекрасное, что может быть. Я, чтобы прославиться, сделал бы что угодно, даже совершил бы преступление.

— Твоя слава продержалась бы всего один вечер. А с выходом выпуска газет ты снова канул бы в неизвестность.

— Но кто тебе сказал, что я убил бы первого встречного? Я убил бы какую-нибудь знаменитость. Ее слава стала бы моей, вроде того, как здесь, в Африке, когда-то верили, что, если съесть печень врага, можно унаследовать его храбрость.

Разговор наш прерывается, так как самолет идет на посадку. Когда самолет касается земли и, как положено, с оглушающим ревом еще не выключенных моторов подпрыгивает по посадочной полосе, я вдруг замечаю, что мой спутник уже поднялся и, опередив меня, направился к выходу. Я вижу его у самой двери среди готовых выйти пассажиров; между нами два десятка человек, и я уверена, что его потеряю. До встречи с ним я была одинока, мы провели вместе немногим более часа, и вот теперь меня снова ждет одиночество.

В роскошной гостинице в столице недавно созданной африканской республики, куда я прилетела, мне отводят апартаменты: спальню, гостиную, ванную. На столе — огромная корзина тропических фрук-

тов, в ней конверт, который я не спешу открыть, так как заранее знаю, что он содержит напечатанное типографским способом приветствие от имени дирекции отеля. Надев халат, подхожу к окну и выглядываю на улицу. Окно выходит прямо на океан — мутный и белесый, он словно кипит в душном зное, наполняя паром затянутое облаками небо. Как раз напротив гостиницы, на другой стороне безлюдной набережной, высится рекламный щит величиной с киноэкран. Название картины написано огромными красными буквами, и под ним я вижу свое имя, а в углу — я сама, полунагая, в объятиях героя фильма.

Раздается стук в дверь, я говорю: «Войдите» — и ничуть не удивляюсь, видя на пороге соседа по самолету. Он затворяет за собой дверь, подходит ко мне, обнимает. Но не целует. Потом отступает на полшага и говорит:

— Я притворялся, что не знаю, кто ты. Я всегда это знал, прекрасно знал. В клинику приходило много журналов, я вырезал твои фотографии и наклеивал их на стены.

— В какую еще клинику? Разве ты не исследователь, разве ты не провел шесть лет среди болот и лесов?

— Да, доктор так и говорил мне: ты исследователь, ты путешественник, ты заблудился среди болот, в лесу, ты должен выбраться из дебрей.

Я сразу же понимаю, в какую историю попала, и тут же мне вдруг становится ясно все, что было раньше и что меня ждет. Страшно ли мне? Пожалуй, нет. Но я притворяюсь, что мне страшно, и с испуганным — но не слишком — криком вырываюсь из его рук и бросаюсь к двери. Я знаю, что дверь заперта на ключ, а ключ он положил в карман. Однако делаю вид, что изо всех сил барабаню кулаками в дверь. Я ведь все-таки актриса и умру как актриса.

Первый раз он стреляет, когда я стою у двери. Потом всаживает в меня еще три или четыре пули. Я отхожу от двери и ложусь на кровать, чтобы умереть, как требуют приличия. Чувствую, что теряю много крови, и закрываю глаза. Но через мгновение вновь поднимаю веки и вижу, что он склонился надо мной и смотрит. Мне хочется, прежде чем умереть, сказать ему какие-то теплые слова. Еле слышно я шепчу:

— Ну, ты доволен, малыш? Завтра ты станешь знаменитостью, да, ты прославишься на весь мир.

Единственное и множественное

Я — женщина молчаливая, люблю слушать и размышлять. Размышлениями своими я ни с кем не делюсь, держу их при себе. Это мне нетрудно, потому что физиономия у меня круглая, улыбающаяся, очень хорошенькая. Настоящее кукольное личико. А разве про человека, если он старается не выставлять напоказ свои чувства и мысли, не говорят иногда «бесчувственная кукла»?

По счастью, у меня есть муж, который любит поговорить не меньше, чем я люблю послушать. Муж мой — что называется, интеллектуал. Однако он не пишет: чтобы писать, ему пришлось бы прервать хоть на время непрестанную работу мозга А она у него, между прочим, протекает так: он берет любой частный и конкретный факт или явление, и та машинка, которая находится у него в голове, немедленно все превращает в некое отвлеченное общее рассуждение. Другими словами, факт или явление предстают перед ним (как же иначе?) в единственном числе, но когда муж начинает о нем говорить, то неизменно говорит

о нем во множественном. И сразу же факт или явление утрачивают всякую конкретность и реальность. Например, что может быть прекрасней времени года, когда льют летние дожди, когда радуга над деревенским проселком, которая, родившись из солнечного луча, пробившегося сквозь серые клочья туч, поднимается, ярко переливаясь над густой, набухшей зеленью горной долины, и сплошные потоки дождя пронизаны светом, а ветви, хлещущие по стеклу машины, усыпаны мириадами сверкающих капель? Но что такое радуга вообще, радуги во множественном числе, со всеми их законами и особенностями, о которых начинает разглагольствовать мой муж, едва я показываю ему на эту единственную, неповторимую, замечательную радугу? Слова, слова, одни лишь слова.

На днях муж, как обычно, отправился на работу. Интеллектуал, он и работу нашел интеллектуальную: служит в рекламном агентстве. Но не прошло и часа, как он, против обыкновения, вернулся домой. Я тоже уселась за работу (я перевожу с немецкого) и вдруг вижу: он входит — чуть ли не украдкой, с озабоченным видом, взволнованный. Сделав пол-оборота на вертящемся кресле, я спросила, что случилось. Муж у меня небольшого роста, но голова у него красивая, как у кондотьера времен Возрождения: большой прямой нос, гордая складка рта, густые нахмуренные брови. На вид — невероятно энергичный человек, но под этой маской — я уже об этом говорила — нет ничего, кроме его знаменитой машинки для превращения единственного числа во множественное. Меня сразу удивило, почему в ответ на мой вопрос он, как обычно, немедля не изрек какую-нибудь банальность. Видно, на сей раз что-то особенно сильно его вывело из равновесия и затронуло очень уж непосредственно, если его камнедробильной машинке не под силу это перемолоть и превратить в абстрактную кашицу. Увидев, как он молча в ярости шагает взад и вперед по комнате, я даже было понадеялась, что наконец впервые за всю нашу совместную жизнь муж мне скажет *нечто*, расскажет толком, что и как с ним случилось, со всеми неповторимыми, единственными в своей конкретности подробностями.

Итак, я спокойно ждала. Потом, видя, что он никак не заговаривает, пересела с кресла на диван. Я подумала: «Кто знает, что с ним приключилось? А вдруг, вдруг он скажет мне нечто в единственном числе! Нет, если он опять начнет во множественном, честное слово, я больше не выдержу».

Но хоть думала я так, а сидела, как всегда, будто сонная, и только следила глазами, как муж мотается из угла в угол по комнате. И вот он вдруг передо мной остановился и начал:

— Практически все профессии — это лишь гипотетические формы существования, и эти гипотезы непременно должны быть подтверждены другими. В обществе, где идет соперничество, они всегда под угрозой того, что их опровергнут...

Значит, опять во множественном числе и в отвлеченном виде! Неожиданно меня охватило яростное отчаяние. Такое сильное, что мне уже никакого дела не стало до того, что же с ним стряслось. Широко раскрывая рот, я произнесла как можно более язвительно:

— Блям, блям, блям.

Я уже сказала, что у моего мужа голова как у кондотьера эпохи Возрождения, вроде как у Коллеони [1] Так вот, представьте себе Коллеони, разинувшего рот от изумления:

— Послушай, что с тобой?

[1] Знаменитый кондотьер XV века, памятник которому работы Верроккьо воздвигнут в Венеции. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

— Ничего! Не знаю, что с тобой случилось, и знать не хочу, раз ты опять пошел, как всегда, молоть языком.

— Почему не хочешь знать?

— Потому что от тебя не дождешься, чтобы ты сказал *что-то*.

— Но что — *что-то*?

— Что-то.

— То есть?

— Что-нибудь в частности. А у тебя — сразу абстракции, обобщения.

— Так уж я привык осознавать все, что со мной происходит. Надо обнаруживать под фактами законы, которые ими управляют.

— Да, но с некоторых пор я стала подозревать, что эти законы придумываешь ты сам, смотря по тому, как у тебя идут дела. У тебя все в порядке — значит, и все на свете хорошо. Если у тебя что-то не так — значит, все на свете плохо. Лучше говорил бы просто и ясно и не выводил никаких законов, не делал никаких обобщений. Например, по тому, как ты начал, я догадываюсь, что сегодня у тебя какая-то неудача, именно в твоих профессиональных делах. Кто знает, может, у тебя лопнул какой-нибудь контракт на рекламу. Но будь спокоен: если бы все прошло у тебя гладко, ты говорил бы все наоборот.

— И что же мне, по-твоему, делать?

— Осознать то, что ты осознаешь происходящее в зависимости от собственных дел, впрочем, как и все остальные. Забыть избитые общие места, говорить просто что-то определенное.

— Короче, я, по-твоему, трепло.

— В известной степени — да.

Видно, с ним действительно стряслось что-то серьезное, потому что неожиданно машинка у него в голове не сработала. Он не выдал никакой теории насчет женщин (я женщина) или насчет долга каждой жены (я жена). Нет, вне себя от ярости он нагнулся ко мне и заорал:

— Я запрещаю тебе так говорить со мной!

Слава богу! Вот, наконец, хоть что-то сказано прямо. Точно, конкретно. Мне хотелось подтолкнуть его дальше по этому пути. Я сказала холодно:

— Как хочу, так и говорю. Ты трепло, и вдобавок просто невыносимое...

Тут-то он кинулся на меня. Нашей гостиной, которая не знала ничего, кроме его бесконечных словоизлияний и моего молчания, пришлось вдруг увидеть, как коротышка с головой Коллеони набросился на свою куколку-жену, пытаясь дать ей пощечину. Это удалось ему не без труда, и на короткий миг я испытала даже нечто вроде облегчения: затрещина — это все-таки затрещина, то есть нечто определенное, конкретное. Но потом сразу же верх взял гнев. Я поднялась и побежала к себе в комнату с криком:

— Между нами все кончено!

Схватив чемодан, я кое-как побросала в него что попалось под руку. Но тут он входит, бросается к моим ногам, обнимает мне колени и опрокидывает навзничь на постель. Потом голосом, полным подлинного, неподдельного горя, говорит:

— Меня час назад уволили. Теперь я безработный, и как раз сейчас ты решила меня оставить.

Вот так наконец мне удалось добиться своего. Универсальная мясорубка наконец-то остановилась — недаром я взбунтовалась. Он просто сообщил конкретный, определенный факт, еще не перемолотый, не переработанный, не превращенный в философскую котлету.

Я переспросила:

— Тебя уволили?

— Да.

— Как это произошло?

— Хозяин вызвал меня и объявил, что решил заменить меня из-за низких показателей моей работы.

— Вот это конкретный факт Не плачь. Найдешь другое место. И успокойся, я тебя не оставлю. Знаешь, как мы будем теперь делать?

— Как?

— Вот замечу, что ты собираешься изложить какую-нибудь общую теорию, и сразу тихо, без злости скажу: блям, блям, блям!

Он шмыгнул носом, утешился и больше не плакал. Я спросила:

— А что за человек твой хозяин?

— Человек как человек. Такой, как все.

— Ну, это наверняка не так. Какая-нибудь особая примета у него да есть.

— Есть родинка, вернее, даже родимое пятно на верхней губе. Сегодня утром, когда он брился наверно, его порезал. Все время лизал его языком, словно меня и не было...

— Действительно, неприятное зрелище.

— Родимые пятна и родинки, если их порезать, очень опасны. От этого может быть рак. Поэтому нужно соблюдать осторожность, когда бреешься, иначе...

— Блям, блям, блям!

Хорошая дочь

Дождавшись, когда моя мать, или, точнее, женщина, которую я с трехлетнего возраста привыкла считать матерью, уйдет из дома к мессе, я спрыгнула с постели, вышла на середину комнаты и сдернула с себя ночную рубашку. Множество зеркал вокруг отразили с мягкой сдержанностью, присущей старым дорогим вещам, мою наготу. Шлифованные, толстые зеркала, вправленные в дверцы стенных шкафов в стиле, отдаленно напоминающем стиль Людовика XVI, цвета слоновой кости, с золотыми украшениями. Я просто не могу не глядеться в эти зеркала. Но не потому, что я склонна к самолюбованию, а, скорее, из-за сознания исключительности своей судьбы, которое с недавнего времени меня ни на минуту не покидает и к которому я еще не привыкла. Да, мое юное, здоровое, крепкое, ослепительное тело свидетельствует, что мне суждена жизнь богатой девушки или, как принято говорить, богатой наследницы: с летними поездками к морю и в горы, коллежами за границей, путешествиями, спортом — словом, всем тем, что большинство моих сверстниц не могут себе позволить. А ведь все могло пойти — и даже более того, как я недавно открыла, должно было пойти — совсем по-другому. До сих пор не верится, что мне так повезло в жизни.

Я перехожу в ванную размером чуть меньше моей спальни. Это роскошная ванная; ее строили лет тридцать назад, но роскошь ее столь солидна и торжественна, что массивный фаянс и внушительные краны выглядят старинными и от этого еще более красивыми. Становлюсь под душ, и на меня обрушиваются колющие струи; мне нравится смотреть, как вода, почти не замочив кожи, сбегает с напрягшегося тела, словно с мрамора. Выскочив из-под душа, заворачиваюсь в мягкую махровую простыню, возвращаюсь в комнату. Скорее. Вот моя самая простая блузка, самые вытертые джинсы. Хватаю с тумбочки ключи от машины и выскакиваю из дома.

На улице меня одолевают, как и всякий раз, когда я туда еду, сомнения насчет автомобиля. У меня машина шикарной марки, она делает двести километров в час, и на ней словно написано, что стоит она несколько миллионов. В последний раз я оставила ее на соседней улице, но в том квартале таких машин все равно не увидишь. Конечно, я могла бы поехать на автобусе или на такси, но с автобусом потратишь не меньше часа, а если взять такси, то как я буду добираться обратно? Идея: внизу, в подъезде, я заглядываю в швейцарскую. Привратник на месте, в своей серой с красным форменной куртке, на столе перед ним фуражка с галуном. Я говорю ему:

— Луиджи, вы не могли бы одолжить мне свою машину? Только на сегодняшнее утро. К сожалению, моя сломалась.

И вот я в крошечной малолитражке швейцара мчусь в направлении квартала, где живет Ада. Еду, еду без конца. С трудом выбираюсь из центра, выезжаю из ворот в древней городской стене, сворачиваю на бесконечно длинный обсаженный деревьями проспект на окраине. Жилые массивы сменяют друг друга, все совершенно одинаковые, огромные, с бесчисленным множеством окон. Я про себя отмечаю, что хотя эти здания построены, несомненно, тогда же, когда и дом моей приемной матери, но в отличие от него так и не смогли состариться, они так и остались «новыми» хоть выглядят порядком обшарпанными и закопченными. Да, конечно, размышляю я, ведь только роскошь умеет стариться, а экономичные материалы, разная дешевка — нет.

Ставлю машину перед одной из этих длинных казарм, прохожу под гигантской аркой, попадаю на необъятный двор. Лестницы «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Бегу по лысым клумбам, заасфальтированным аллейкам к лестнице «Г», машинально делаю шаг к лифту, которого здесь нет, прыгая через две ступеньки, поднимаюсь по широкой и оттого кажущейся еще более убогой лестнице на третий этаж. Вот и дверь Ады. Нетерпеливо звоню.

Открывают мне с обычными характерными предосторожностями: сначала меня изучают сквозь глазок, потом дверь приотворяют ровно настолько, насколько позволяет цепочка, и вполголоса спрашивают: «Кто там?» Затем дверь распахивается, мне в нос ударяет волна затхлого, застоявшегося воздуха, пропахшего кухней, и я бросаюсь в объятия Ады. Я обнимаю ее, чувствуя, как к моей груди прижимается ее большая, мягкая грудь, вдыхаю запах слежавшегося конского волоса, которым пахнет от ее не слишком чистой головы, касаюсь губами холодной дряблой щеки, а сама задаю себе вопрос, кто это выдумал все эти дурацкие разговоры насчет «голоса крови»? Голос крови, черта с два! Мы размыкаем объятия, и я, глядя прямо ей в лицо — чувственное, неискреннее и жадное, с трудом заставляю себя спросить:

— Как поживаешь, мама?

Она отвечает со вздохом:

— Ах, сама знаешь, ну как я могу жить?

И, говоря это, не отрывает внимательного взгляда от моих рук.

Быстрым движением я сую ей в ладонь деньги, которые держу наготове в кулаке. Она опускает их в карман и продолжает:

— Да, конечно, ничего не скажешь, ты хорошая дочь. Не надо было мне тебя отдавать, ты ведь была самой красивой. Но что поделаешь? У меня и так было четверо, да к тому же уже большие. А ты была хорошенькая, такая хорошенькая! Когда тебя взяли, я целый день плакала.

Затем она идет на кухню, приговаривая:

— Сварю тебе кофе. Хорошего горячего-горячего кофейку.

А я направляюсь к знакомой двери и вхожу не постучав. Громоздкая двуспальная кровать почти во всю комнату закрывает вид из окна.

Между окном и кроватью торчит голова Джованны — она сидит в кресле на колесах, кресле для больных детским параличом, и смотрит, что происходит во дворе. Я огибаю кровать. Волосы у Джованны пострижены, как у пажа, лицо удлиненное, белое и худое, из-под густых черных бровей внимательно смотрят живые глаза. Она похожа на пикового валета — чуточку фанатичного и угрюмого, но когда улыбается, улыбка у нее добрая, обнажающая красивые, белые как сахар зубы. Рядом с ее инвалидным креслом — столик с телефоном, на коленях, покрытых старым одеялом, книга. Я открываю рот, собираюсь заговорить, но она знаком велит мне молчать. Смотрю в окно и понимаю: как раз напротив у распахнутого окна ссорятся мужчина и женщина. Доносятся их далекие голоса, и их яростные жесты, именно из-за резкости, кажутся более близкими, чем голоса. Потом мужчина протягивает руку, хватает женщину за волосы. Женщина отталкивает его и захлопывает окно. Только тогда Джованна поворачивается ко мне и произносит:

— Каждый раз на самом интересном месте они закрывают окно.

Спрашиваю:

— Как ты себя чувствуешь?

— Как себя чувствую? Так же как в последний раз, когда мы виделись.

— Да, но я не была у вас два месяца... я думала...

— Что мне стало лучше? Да нет. От этой болезни не поправляются. По крайней мере за два месяца. Где ты была?

— В Милане, у дедушки с бабушкой.

— У богатых дедушки и бабушки. В сущности, это неплохая идея: две матери, два дедушки и две бабушки. Совсем не худо.

Это ее обычный тон, я к нему привыкла. Сажусь рядом с ней. Она смотрит на меня и, помолчав, добавляет:

— Но можно узнать, зачем ты к нам приходишь? Чтобы еще раз убедиться, как тебе здорово повезло?

Отвечаю ей в тон:

— Сама не знаю. Может быть, заговорил голос крови...

— Ах, вот оно что — голос крови!

Звонит телефон. Джованна снимает трубку и отвечает. Когда она говорит по телефону, ее голос меняется: это голос немногословной и бесстрастной секретарши. Она уславливается о дне и часе, записывает все это в блокнот, потом вешает трубку. Я спрашиваю:

— Вчера было много клиентов?

— Двое.

— И что это были за типы?

— Люди с деньгами — твоего поля ягода.

— А девушки как выглядели?

— Одна хорошенькая. А другая — так себе.

— Ты всегда отвечаешь по телефону?

— Да, для меня это развлечение.

— И где же они встречаются?

— Здесь, в этой комнате.

— А ты куда же деваешься?

— Когда они приходят, я на своем кресле потихоньку качу себе прямым ходом на кухню и сижу там, дожидаюсь, когда они кончат.

Я некоторое время молчу. Джованна заговаривает первой:

— Хочешь, я прочту тебе свое новое стихотворение?

— Да.

— Но предупреждаю: оно длинное.

Снова звонит телефон. Джованна снимает трубку и, не ответив, кладет рядом с аппаратом и с озорной гримасой показывает ей язык.

Потом вынимает из книги несколько вложенных в нее листочков и начинает читать своим третьим голосом. В обычном разговоре она полна сарказма, язвительна; по телефону — безлика, точна и холодна, как машина; сейчас же — горестна и печальна. Однако стихотворение ничего мне не говорит, оно не трогает меня. В сущности, это очень подробное описание двора, куда она целый день глядит со своего кресла.

Я увлекаюсь спортом и ничего не смыслю в поэзии. Поэтому, слушая, как Джованна со слезой в голосе читает свое стихотворение, я думаю о другом, фантазирую. Я воображаю себя старой женщиной, у которой было пятеро детей. Трое ушли из дома. Четвертая разбита параличом. А пятую, самую хорошенькую, я отдала одной синьоре, которая ее удочерила. Я стара и бедна, и мне удается кое-как сводить концы с концами только благодаря тому, что я устраиваю у себя в квартире любовные свидания. Дочь — та, которая теперь не моя,— с недавних пор приходит навещать меня. Она богата, делает мне подарки, дает деньги. Да, она хорошая дочь, ничего не скажешь, она действительно хорошая дочь.

Любовница толпы

Я была совсем еще девчонкой, а кокетство уже пустило во мне корни, словно одно из тех растений, что гнездятся в трещине на карнизе, — не успеет пройти и нескольких месяцев, а глядишь, оно разрослось в целый куст, и когда ты пытаешься его вырвать, видишь, что корень длинней его самого. Скажем, в ноябре, в начале учебного года, я была еще серьезной девицей, а уже в июне, во время каникул, превратилась в такую кокетку, что даже сама удивлялась, что со мной стало. В ноябре я была одной из холодных школьниц-всезнаек, похожих на старушек, а в июне вертела бедрами, выпячивала грудь, стреляла глазами налево и направо, хохотала без причины, нарочно клала руку на колено, чтобы выставить ее напоказ. И самое главное — думала о мужчинах. Или, вернее сказать, я чувствовала, что о них думаю: в этих мыслях не было ни последовательности, ни расчета, ни суждений, но я ощущала, что эти мысли меня не покидают ни на минуту, чем бы я ни занималась.

Может быть, мне пора уже описать свою внешность: ведь, если я расскажу, какой была тогда, мне легче будет объяснить ту перемену, которая произошла со мной впоследствии. Итак, я была красива торжествующей и ослепительной красотой и вместе с тем спокойна, мягка, безмятежна. Жизненная сила, рвущаяся наружу, переполняла меня, как сок — созревший плод. Я ощущала ее, эту жизненную силу, в блеске и непокорности кудрей, в сверкании расширенных зрачков, в беспричинности лучезарной улыбки, в вызывающей, щедрой пышности груди, в том пьянящем чувстве, которое ударяло мне в голову при каждом шаге, каждом движении. Разумеется, я знала, что красива, но совсем не сознавала, что постоянно выставляю свою красоту напоказ. Например, я честно думала, что просто одеваюсь по моде. В действительности же я всегда носила юбку короче, чем у всех, и самое облегающее платье с самым глубоким вырезом.

Одним словом, я думала только о мужчинах, и, если бы мода того захотела, я, не колеблясь, ходила бы нагишом; однако в свои восемнадцать лет я еще ни разу никого не поцеловала — конечно, если говорить о настоящем поцелуе. Странно сказать — я, которая родилась в семье, где чтили традиции и где растили меня для замужества, от-

нюдь не жаждала выходить замуж. Наоборот, я стремилась работать — или, во всяком случае, мне так казалось. Я хотела работать, но под этим стремлением стать полезным членом общества скрывалось желание нравиться мужчинам, которое сквозило в каждом движении моего тела. Вскоре мысли о работе стали такими неотвязными, какими, говорят, бывают мысли о любви. Я получила диплом машинистки-стенографистки, занималась французским и английским языками, посещала курсы переводчиц. Наконец мне удалось получить место секретарши в одном рекламном агентстве.

Там я сразу, что называется, произвела фурор. Директор однажды мне говорит:

— Сузанна, ты — ходячая реклама!

Я наивно спрашиваю:

— Что же я рекламирую?

А он:

— Себя самое.

Я не слишком хорошо поняла, подумала, что он намекает на мое по-прежнему безудержное кокетство, и покраснела. Этот директор был красивый мужчина, высокий и широкоплечий, с двумя только изъянами: он был совершенно лыс и сутулился так, что казался горбатым. Он, само собой, влюбился в меня, но вел себя любезно и уважительно — такой уж у него был характер. Я отвергала его настойчивые ухаживания и однажды, не в силах ничего больше придумать, дала ему объяснение, которое в ту минуту пришло мне в голову:

— Ты, Этторе, мне нравишься, но не больше всех остальных. Если бы я полюбила тебя, у меня не было бы никаких причин не полюбить любого другого.

Желая сделать мне приятное, директор вскоре поместил меня на рекламном плакате, в купальном костюме новой модели. Фотография была цветная на белом фоне: я просто стояла во весь рост, руки слегка отведены в стороны, ноги чуть расставлены, грудь и живот выставлены вперед, голова откинута. Купальник обладал той особенностью, что на груди был весь в дырку, а на животе, наоборот,— уплотнен, так что все, чего нельзя было ясно разглядеть, было зато предельно подчеркнуто обтягивающей тканью. Короче говоря, плакат был непристойный и в самом деле имел бешеный успех. Его можно было увидеть повсюду. На белом фоне писали похабные фразы и непечатные слова или же делали немыслимые рисунки. Огорчали ли меня непристойность плаката и те сальности, которые на нем писали и рисовали? Сама не знаю. В сущности, то, что со мною еще не произошло в жизни, вдруг произошло на этом плакате: я, так сказать, предложила себя на рынке, и мое предложение немедленно нашло спрос. Украсившие плакат надписи и рисунки свидетельствовали, что создалась определенная рыночная конъюнктура: она была для меня благоприятна, и ее удалось использовать до конца. Я знала и то, что иной раз бранные слова и непристойности могут выражать нежность. В надписях и рисунках на моих плакатах сквозила нежность именно такого рода.

Но плакат этот непонятным образом убил во мне кокетство. Я часто раздумывала о совпадении этих двух событий: успеха плаката и исчезновения кокетства. Нет никакого сомнения, что тут существовала какая-то связь, но какая именно — трудно сказать. И даже мне, одержимой, обуреваемой непреодолимым желанием нравиться мужчинам — больше того, нравиться всем мужчинам сразу,— и то никогда не приходило в голову, что я могу понравиться не тем сравнительно немногим, кого мне случится встретить на улице или у знакомых, а миллионам существ мужского пола во всем городе. А теперь произошло именно это. Плакат был, так сказать, кокетством с толпой, с массой,

и я пробудила любовь толпы, массовую любовь. Но в отличие от того, что бывает, когда влюбляются друг в друга двое, массовая любовь не имела продолжения: она не пошла дальше этого плаката и длилась один сезон, пока длился его успех. Директор, не оставляя мысли завоевать меня, поместил мои изображения на два других плаката, еще более смелых (если только это вообще было возможно!). Но они не имели успеха. Вместе с тем я заметила, что кокетство, переселившись из моего тела на плакаты, утратило тот бессознательный характер, ту непосредственность, которые делали его таким бескорыстным и пьянящим, подобным головокружительной игре. Оно превратилось в простой, грубый соблазн. Может, поэтому я и перестала быть кокеткой: я начала стесняться, чего прежде, до плаката, со мной никогда не бывало. А может быть, кто знает, вся жизненная сила перелилась из моего реального, живого тела в тело на фотографии и теперь, даже если бы мне хотелось, я уж не могла бы кокетничать, как прежде.

Встревоженная столькими непонятными переменами, я тут же решила не отвергать более любовь директора, к которому, впрочем, успела искренне привязаться. Первый раз это кончилось пусть и неполной, но все же неудачей, и я прочла на его лице, что он разочарован моей холодностью, скованностью, равнодушием. Одним словом, я была совсем другой, нежели казалась. Но он любил меня, и я любила его. Поэтому я ушла из дома и переселилась в двухкомнатную квартирку неподалеку от агентства. Квартира была пустая, но я, странное дело, как-то не сумела ее обставить. Купила раскладушку, табурет и ничего больше. Для платьев были стенные шкафы. В кухне я хотела поставить стол и пару стульев, да так и не собралась. Ела я стоя у подоконника с тарелкой в руках или же изредка приносила на кухню из спальни табурет, а потом, поев, относила его обратно.

Работала я много, агентство процветало, плакатам с хорошенькими девушками не было числа. Директор, несмотря на всю мою холодность, любил меня сильнее прежнего и был готов ради меня на все, кроме одного — оставить жену. Что до меня, то я, как уже сказала, была к нему привязана и, быть может, даже испытывала физическое влечение, но чувствовала, что наши отношения с каждым днем все быстрее сводились к минимуму. На работе я с ним разговаривала односложно, дома, когда он приходил ко мне, вовсе не разговаривала. Но слушала его, иной раз улыбалась. Однако потом наступал момент, когда я помогала ему надеть пиджак и мягко и любезно, как я умею, выставляла его за дверь. Момент этот наступал с каждым разом все быстрее. В конце концов визиты директора стали ограничиваться лишь несколькими минутами и вскоре, с взаимного согласия, совсем прекратились.

Теперь какая-то непреодолимая сила толкала меня оборвать одну за другой все нити, которые связывали меня с жизнью. Ограничив, а потом совсем отменив любовь, я мало-помалу уменьшила также и свой рацион. Стоя у окна, глядя, словно в полусне, сквозь стекло на дом напротив, я съедала совсем немного макарон или вареного риса, изредка кусочек мяса. Но что бы я ни ела, я почти никогда не доедала до конца; оставалось еще полтарелки, а я уже чувствовала, как у меня сжимается желудок, и выбрасывала остатки в помойное ведро. На улицу я выходила, только чтобы дойти до работы; вечером отказывалась от всех приглашений в гости или в театр и, сидя одна-одинешенька дома, смотрела телевизор.

Жизнь моя менялась, постепенно она во всем сходила на нет; то же можно сказать и о моей фигуре. Раньше я была почти толстушкой, теперь стала худая, плоская, как доска. Лицо сделалось треугольным, маленьким, кожа обтягивала скулы, огромные, словно расширенные

глаза смотрели безжизненно, а большой рот с потрескавшимися, словно пересохшими от жажды губами лишился всякой чувственности. Возможно, на современный вкус я была еще красива, быть может, даже красивее, чем раньше, но чувствовала, что внутри у меня все умерло. Директор завел себе другую любовницу, девушка эта тоже работала в агентстве, в одной комнате со мной. Я одобрила его выбор и спросила, не хочет ли он, чтобы я поискала другое место. По-прежнему добрый и еще влюбленный, он плача бросился к моим ногам, твердил, что любит меня и готов сделать что угодно, лишь бы вновь увидеть меня жизнерадостной и веселой. Я осталась в агентстве.

Однажды я отправилась одна на своей малолитражке к морю. На одном перекрестке я вдруг увидела перед собой знаменитый плакат — рекламу купального костюма. Я остановила машину и стала рассматривать свое изображение. Я подумала, что гляжу на плакат с тоской и сожалением — так пожилые женщины перебирают фотографии, где они сняты молодыми. Но я-то еще не стара, мне всего двадцать шесть лет. Плакат выцвел, весь был исчиркан, разорван. В нижнем углу виднелось одно из тех грубых слов, которые, как я уже говорила, могут выражать также и нежность, и я поймала себя на том, что шепчу: «Если бы это была правда». Потом я двинулась дальше и выехала на берег моря в том месте, где пляж не слишком многолюден. День выдался чудесный, на ослепительно сверкавшем небе не было ни облачка. Но под этим чистым небом вода в море была из-за отходов какого-то завода темно-желтая, с черным отливом. Для меня это было неприятной неожиданностью, потому что, сказать по правде, я отправилась к морю, чтобы утопиться. Так бы шла и шла по воде до тех пор, пока из-под ног не ушло бы дно, а потом меня покрыло бы с головой. Это было бы не самоубийство, а возвращение к жизни, с которой, сама не знаю как, я утратила связь. Но в таком море, как это, возвратиться к жизни через смерть — захлебнуться и утонуть — было невозможно. Я долго стояла на берегу, глядя на это желто-черное море, а потом села в машину и вернулась в город.

Хулиганская рожа

Поначалу наше жилье представляло собой обыкновенную квартиру в Париоли [1], элегантную, но не слишком большую: две спальни, гостиная и так называемые подсобные помещения. Словом, квартира для одной семьи самое большее из трех человек. Родители спали в одной комнате, я — в другой. У прислуги тоже был свой закуток. Гостиная же, как обычно в буржуазных семьях, играла скорее символическую роль, ибо никак не использовалась: мы в ней даже не обедали, поскольку ели на кухне.

Потом умерла бабушка, и мы взяли к себе деда, так же, как и мой отец, государственного служащего, только уже на пенсии. Мы его взяли потому, что он почти не мог двигаться, а на сиделку пенсии не хватало. Мать уволила постоянную прислугу и наняла приходящую. Я перебралась в освободившуюся каморку, а дедушку устроили в моей комнате.

Потом попал под машину и умер муж моей тети — маминой сестры, он был преподаватель средней школы. Оставшись одна, с дочерью моих лет на руках, почти без денег, тетушка сговорилась с моими родителями о том, что переедет к нам. Опять перемены. Дедушку

[1] Квартал в Риме.

перевели в каморку для прислуги. Тетя с дочерью заняли ту комнату, где сперва жила я, а потом дедушка. Я же очутилась в гостиной на диване.

Но вот, как снег на голову, на нас свалились брат отца с женой, они оба фармацевты и прожили много лет в Ливии. В ожидании, пока они смогут вновь завести аптеку, мы решили потесниться и приютить также и их — изгнанников и неимущих. Снова землетрясение. Отец со своим братом поселились в одной комнате, мать, жена дяди и я кое-как разместились в гостиной.

Так в этой квартире на троих теперь нас оказалось восемь человек. По ночам квартира превращалась в ночлежку; утром — новые неприятности: очередь в ванную; на кухне за едой негде было повернуться. Родственники, чтобы разрешить проблемы совместной жизни, предпочли делать вид, будто этих проблем вовсе не существует. Они притворялись перед самими собой и перед другими, что все идет совершенно нормально — нормально на их добропорядочный мещанский лад. Вежливые, сдержанные, воспитанные, исполненные собственного достоинства, они могли набить оскомину своими готовыми фразами и ободряющими, заученными банальностями; лишь иногда раздавался вздох, но еле слышный, подавленный. А вот мне жить дома стало просто невмоготу.

Такая моя нетерпимость объясняется не только неудобствами. Я и в самом деле человек нелегкий. При одном взгляде на меня ясно, что у меня плохой характер. Я не очень-то красива, рожа у меня мальчишеская, а сказать точнее — даже хулиганская, глаза зеленые, маленькие, будто непрерывно кому-то подмигивают — из-за дыма вечно зажатой в толстых губах сигареты; нос наморщен, словно все мне опостылело. Густые волосы, черные и блестящие, растут чуть ли не от самых бровей, и от этого лоб кажется низким и упрямым. Я нелюдимая, скрытная, недоверчивая и молчаливая. И в то же время вспыльчивая — по-глупому, по-сумасшедшему. Я терпеливо жду, тяну, долго и мрачно накапливаю ярость. А затем по самому ничтожному поводу взрываюсь. Потом я раскаиваюсь и говорю себе, что лучше было бы обойтись без этого долготерпения и без этих вспышек. Но, увы, уже бывает слишком поздно.

То же вышло и дома. Родителей я и до того не особенно-то жаловала из-за их упрямой, хоть и обанкротившейся буржуазности, но это как-никак были мои родители: раз уж они у меня есть, куда их денешь? Но теперь приходилось выносить еще пятерых из той же отвратительной породы благонамеренных конформистов. Странное дело, их предрассудки меня не раздражали до тех пор, пока они проявлялись в форме слов: мне удавалось отключиться и ничего не слышать. Но, к сожалению, мне не удавалось не смотреть и не видеть. Я отмечала про себя каждый их жест каждый взгляд, улыбку, манеру одеваться и вести себя, их привычки. Кипя безмолвной ненавистью, я как зачарованная могла без устали глядеть на чей-нибудь галстук, следить, какая у кого-нибудь из них манера подносить ложечку ко рту, могла изучать чью-нибудь прическу.

Ничтожный случай, из-за которого моя ярость прорвалась наружу, произошел однажды утром, когда я, как обычно, ждала своей очереди в ванную. Ее заняла моя кузина Лилиана, идиотка, которая целыми днями красила ногти, примеряла платья и приклеивала к векам искусственные ресницы. Дверь в ванную была открыта. Лилиана уже целую вечность торчала там перед зеркалом, и ей было наплевать на то, что я жду. Слово за слово — и тут уж я вдруг взорвалась. Я набросилась на нее, схватила ее за волосы, и мы начали бороться. Наконец мне удалось сунуть ее головой в унитаз и спустить воду. Она еще во-

пила, когда я, швырнув в чемоданчик кое-что из вещей, выскочила из дома, твердо решив никогда больше туда не возвращаться.

Я знала, куда мне идти. Об этом я думала уже давно, и, быть может, отчасти именно это ускорило взрыв. Я пойду к Кармен. Это моя подруга, она богата и недавно устроила в большой квартире, в одном из старых кварталов Рима, нечто вроде коммуны, куда принимали таких кто, как я, бежал из дома, от семьи, не вынеся буржуазной жизни. Квартира эта находилась на улице Монсеррато, на самом верхнем этаже обшарпанного старого дома; Кармен он достался в наследство, а до того там помещалась контора управляющего недвижимостью какого-то римского князя. Темный подъезд, вонючая лестница, грязные, закопченные площадки. А внутри квартиры — целая анфилада комнат, совсем крошечных и больших, словно залы. На головой — балки и поддерживающие своды железные перекладины, стены в светлых пятнах — в тех местах, где целую вечность стояла мебель, плитки каменного пола пляшут под ногами. Ни кухни, ни ванной или душа, только уборная. Кармен, страдавшая комплексом вины из-за своего богатства, хотела жить жизнью бедняков; она кое-как убрала эту квартиру, смыла, что называется, первую грязь, и, если не считать нескольких раскладушек, соломенных стульев да печи, ничего там не было.

Сама она тоже сбежала из дома, хотя ей и не пришлось, как мне, помаяться в общей квартире; однако она решила не попадаться больше в ловушку потребительства, это она то и дело всем повторяла. Странный человек, как я теперь вспомню, была эта Кармен. У меня на лице написано, что я бунтовщица. А глядя на нее — такую мягкую, невозмутимо спокойную, даже вялую, кругленькую, с пухлым личиком,— никто бы не поверил что она мятежница. И все же вот она здесь, в глубине большой пустой комнаты, свернулась калачиком на рваном диване, сама оборванная, и слушает целыми днями, позабыв обо всем на свете, свои любимые пластинки.

Так я начала жить в коммуне Кармен. Кто там был? Было несколько иностранных пар с севера — некоторые даже с детьми,— приехавших в поисках дарового южного солнца. Были наши парни и девушки, бежавшие из провинции. Было два-три негра, которые не желали больше жить в Соединенных Штатах. Было несколько южноамериканских, греческих и испанских революционеров. Весь этот народ спал на раскладушках, питался в закусочных или же в тратториях, куда можно приносить с собой купленное в лавке, и собирался то в одной, то в другой большой комнате, чтобы послушать музыку, или поспорить, или просто в молчании покурить. Я ночевала в одной комнате с Кармен и тремя мальчиками, однако мальчики менялись каждые пятнадцать—двадцать дней. Вокруг Кармен, которую все на свете знали и все любили, всегда вилась уйма народа. Я же, надутая и недоверчивая, не располагала к близкому знакомству и откровенности и не искала их. Чаще всего я читала и курила, лежа на своей койке. Или же сидела за маленьким столиком, пытаясь состряпать сочинение по литературе, заказанное мне каким-нибудь нерадивым школьником.

Честно признаться, жизнь в коммуне мне вовсе не нравилась. Я не испытывала никакой симпатии к своим соседям по комнате, скорее даже, совсем наоборот — некоторые их черты начали меня сильно раздражать. Например, грязь. Я не чистюля, но надо сказать, от многих из них так разило что оставалось только спешно распахнуть окно и проветрить комнату Или, например, дружба. Было решено, совершенно категорически, что мы все должны между собой сблизиться, стать закадычными друзьями, делиться последней коркой хлеба и последним окурком. Но все это с самого начала делалось как-то второпях только чтобы отвязаться, и сводилось к двум-трем формальностям:

с тобою на «ты», ну и ты — со мною; все мое — твое, все твое — мое; ты целуешь меня, ну и я тебя. Дальше этого дело не шло, и я чувствовала себя такой же, а может быть еще более одинокой, чем прежде, и они оставались для меня чужими, хотя и считали, что стали моими друзьями. И наконец, взять, например, жизнь вперемешку. Результат этого последнего неудобства нашего житья в коммуне оказался у меня перед глазами — Кармен была на шестом месяце беременности, но неизвестно от кого; возможно, она и сама этого не знала. Именно вот свальный грех в конце концов и заставил меня вновь взорваться.

Однажды ночью я просыпаюсь и чувствую, что кто-то лезет ко мне под одеяло и хочет улечься рядом. Я изо всех сил толкаюсь, на пол падает что-то тяжелое, я зажигаю свет и вижу: это только что приехавший к нам парень из Латины, совсем деревенщина, которого накануне вечером я имела неосторожность угостить сигаретой. Взбешенная, я начинаю во всю глотку его честить, потом, окончательно распалившись, накидываюсь на него, а он все еще лежит на полу, на меня вылупился, и осыпаю его пинками и тумаками. Теперь уже все проснулись и что-то кричат; парень, напуганный моей яростью, пытается спастись бегством. Кармен вскакивает с постели, держит меня за руки, хочет унять и одновременно читает мне что-то вроде проповеди, только, так сказать, наоборот: с чего это ты так рассвирепела? Ну, переспала бы с ним — ничего страшного, подумаешь, и вообще что ты о себе воображаешь, и так далее и тому подобное. От этих ее добродушных увещеваний сама не знаю, что на меня нашло. Я повернулась к ней, повалила на постель, уселась верхом у нее на животе, рискуя раздавить, и надавала ей пощечин. Меня еле от нее оттащили, сама она была так огорошена, что даже не сопротивлялась. Воспользовавшись всеобщим замешательством, я сунула свои пожитки в чемодан и была такова.

И вот я на улице. Пройдя пешком до Тибра, я опустила чемодан на землю, закурила сигарету и застыла в темноте ночи, неподвижно глядя на струящиеся внизу воды реки с пляшущими отражениями фонарей. Я ни о чем не думала, мне хотелось заплакать, но слез не было. Мало-помалу я успокоилась. Тогда я направилась к остановке трамвая, который идет к Сан-Джованни[1]. У меня жил в той стороне один знакомый, который, наверно, приютил бы меня на ночь. Ожидая трамвай, я повторяла про себя, что для людей с таким, как у меня, чувствительным сердцем настали поистине тяжелые времена.

Быть полезной

Мы выходим из машины и бредем по шоссе. По одну его сторону — заросли бузины с густой, темной листвой. По другую — необозримое пшеничное поле, еще ярко-зеленое и блестящее, оно простирается до самого горизонта. А вдоль всего горизонта, подобно береговой линии, тянутся меловые утесы жилых массивов Рима.

Я ему говорю, словно подытоживая наш спор:

— Не могу я полностью посвятить себя тебе. Меня поглощает работа. Я даже по воскресеньям не уверена в том, что буду свободна. Мы можем с тобой время от времени встречаться, вот и все.

— Да, конечно, раз в два месяца.

На мгновение я теряюсь. Два месяца? Неужели уже прошло целых два месяца? Я говорю:

[1] Собор и носящий его имя район в Риме.

— Нет, не два. Не больше полутора.

— Два месяца и один день. Мы виделись в последний раз двадцать седьмого марта. Сегодня двадцать девятое мая.

— Ну, ладно, пусть два. Я была занята.

— А можно ли узнать чем?

Я вновь не могу справиться с растерянностью. Но тотчас беру себя в руки и отвечаю:

— Что я делаю, касается меня одной. Я работала.

— Но ты любишь меня или нет?

В третий раз вдруг теряюсь. Люблю ли я его? Я заглядываю себе в душу, как заглядывают в шкаф, когда ищут затерявшуюся вещь, и ничего не нахожу. Тогда я смотрю на него и чувствую, что он мне нравится. Голова у него какая-то нескладная, но внушительная, лоб низко зарос густыми блестящими волосами, глаза сверкают, нос с горбинкой, рот, пожалуй, чуть грубоватый. Да, он мне нравится, но именно то, что он мне нравится, вызывает во мне чувство неудовлетворенности и досады. Еле слышно я отвечаю:

— Конечно люблю, ты же сам знаешь.

— Но почему тогда нам не видеться чаще?

Отвечаю растерянно в четвертый раз:

— Не знаю. Быть может, потому, что любовь — очень эгоистическое чувство. Двое замыкаются от всего мира, только и думают что о любви, а до всего остального нет дела. Потом в один прекрасный день вдруг чувствуешь весь свой эгоизм и свою бесполезность. Прежде всего — бесполезность. Любовь никогда не может дать сознания, что ты полезен другим, полезен всем,— чувство, которое дает мне работа. Поэтому мне вроде бы всегда не до любви. Мне это кажется — как бы лучше сказать? — потерей времени.

— Работа? Да какая у тебя работа?

— Как какая? Работа.

Живая изгородь, вдоль которой мы идем, вдруг прерывается, и перед нами открывается узкий проход. Несколько пыльных каменистых ступеней, вырытых в склоне, ведут вверх с дороги на прячущуюся позади зарослей поляну.

Он предлагает:

— Давай поднимемся. Полежим на травке.

Я соглашаюсь. Одним прыжком он взбирается вверх и протягивает мне руку. Я поднимаюсь следом. Перед нами полянка, заросшая травой густой и высокой,— май выдался такой дождливый. А вот там, подальше, дерево, под которым мы, несомненно, уляжемся на траве. Затем, зацепившись брюками за какие-то колючки, я отрываю взгляд от поляны и опускаю глаза. И тут вижу запрятанный между ветвей густого кустарника целый набор разных предметов: наполовину израсходованный рулончик туалетной бумаги, розовый обмылок, большую женскую костяную гребенку — почерневшую и грязную, облезлую, полную волос головную щетку с белой деревянной ручкой, потертую пустую дамскую сумочку. Меня охватывает такое чувство, словно все эти предметы загрязняют не только кусты, а всю местность вокруг. С отвращением я говорю:

— Гляди, что это такое?

Он самым спокойным образом отвечает:

— Я бы сказал, что это туалетный столик проститутки сельского типа, из тех, что принимают своих клиентов на лоне природы.

Проговорив это, он направляется к дереву по узкой, еле различимой тропинке, вьющейся в высокой траве и, вероятно, протоптанной владелицей всех этих вещей и ее мужчинами. Я кричу:

— Нет-нет, туда я не пойду! Ведь, наверно, хозяйка всей этой мер-

зости тут — ну, как бы это сказать — работает. Я не лягу там, где ложится она.

Не отвечая мне ни звука, он шагает дальше, направляясь к дереву. Я кричу, чтобы он остановился, но он лишь пожимает плечами. Я бегу вслед, чтобы его остановить, он оборачивается, хватает меня за руку и тащит под дерево, где трава вся полегла, явно примятая телами проститутки и ее клиентов. Мне становится противно до безумия, я изо всех сил сопротивляюсь его садистским попыткам повалить меня на это естественное, но уже неоднократно использованное ложе. Наконец мне удается вырваться, и я убегаю. Он не пытается меня догнать, остается под деревом и лишь злобно кричит мне вслед:

— Что ты задаешься? Подумаешь, воображает! Да эта женщина, которая тут работает, гораздо лучше тебя. Она хоть старается быть полезной людям.

Я бегу к машине и еду прямиком домой, в Париоли. Нервы у меня напряжены, я вне себя от злости, хоть и уверена, что не пройдет и недели, как мы помиримся. Словно на крыльях, лечу к себе в квартирку — маленькую надстройку на самом верху красивого нового дома, раздеваюсь, набрасываю халат и сажусь у окна за пишущую машинку. И тотчас сама моя поза — я сижу, выпрямив спину, тесно сдвинув ноги,— неяркий свет, льющийся из окна, вид моих рук на клавиатуре машинки наполняют мою душу каким-то особым спокойствием, циничным и вместе с тем мечтательным. Я прекрасно понимаю, что статья, которую я собираюсь писать — отчет о фестивале легкой музыки,— никакой ценности не представляет, а главное, не дает мне ни малейшей возможности высказать нечто свое, но вместе с тем от работы над статьей у меня появляется ощущение, будто я стараюсь быть полезной и действительно полезна другим. Я не так уж образованна, почти ничего не читала, осталась такой же невежественной, как после средней школы, однако с некоторых пор пишу статьи и рассказы, которые потом с большими или меньшими трудностями мне удается пристроить в так называемые женские журналы. На самом деле мне больше всего нравится сам процесс писания: писать мне гораздо приятнее, чем высказывать то, что я чувствую или думаю, от этого, повторяю, я успокаиваюсь и чувствую себя полезной. И действительно, вот и сегодня, когда я, простучав на машинке четыре часа кряду, кончила статью, скрепила странички, убрала на столе и накрыла чехлом машинку, у меня появилось радостное чувство удовлетворения, словно от исполненного долга.

Встав из-за стола, я иду в ванную принять душ, с большой тщательностью одеваюсь, сую статью в сумку и пулей вылетаю из дома. Приветствие швейцара, который здоровается со мной из своего закутка, наполняет мое сердце гордостью и сознанием собственной полезности: он здоровается не с одной из этих светских куколок, живущих в нашем доме, а с человеком, который чувствует, что он полезен, и действительно полезен другим людям.

И вот я снова в потоке мчащихся по римским улицам машин. С высоты какого-то грузовика двое нагло ухмыляющихся шоферов глазеют на мои стройные ноги, нажимающие то одну, то другую педаль, отвешивают мне тяжеловесные комплименты. Ну и пусть. Я их не вижу и не слышу. Это тоже преимущество, которое дает сознание своей полезности.

Ставлю на стоянку машину, вхожу в старинный большой дом позади площади Фламинио, взлетаю на четвертый этаж, толкаю дверь и вхожу.

Здесь находится редакция журнала, для которого я написала статью. Выходящие в коридор двери распахнуты, и в комнатах я ви-

жу машинисток за машинками, сотрудников редакции, сидящих без пиджаков за столами. Вот дверь главного редактора, я открываю ее без стука. Редактор читает какую-то рукопись и, не отрываясь, знаком велит мне сесть. Это мужчина лет за сорок, вялого и сонного вида, с толстой круглой физиономией и мелкими чертами лица. Я сажусь и жду со статьей в руках. Наконец он поднимает глаза и спрашивает:

— Написала? Давай сюда.

Протягиваю ему статью, он берет ее и начинает читать, а я обвожу взглядом комнату. И вдруг я чувствую, будто вся немею, как под наркозом. Я вхожу в эту комнату во второй раз, но почему-то чувствую себя так, словно оказалась здесь впервые — наверно, не слишком хорошо помню, что произошло неделю назад, когда я сюда явилась и предложила для них писать. Или, вернее, помню, но будто все это было во сне потому что вся моя жизнь, когда я не чувствую себя полезной,— сон, а разве кто-нибудь когда-нибудь считал, что сон и явь — одно и то же?..

Голос редактора заставляет меня вздрогнуть:

— Слушай, это не пойдет.

— Но ведь...

— Я хотел тебя попробовать и послал на этот фестиваль легкой музыки, чтобы ты написала что-нибудь такое непринужденное, ироничное, остроумное. А ты приносишь мне школьное сочинение. Да еще с грамматическими ошибками.

— Их можно исправить.

— Тут надо не исправлять, а писать заново.

Я не знаю, что сказать, сижу в растерянности. А он молча рассматривает меня с каким-то придирчивым, раздраженным любопытством и наконец спрашивает:

— Скажи, тебе необходимо писать, чтобы зарабатывать на жизнь?

— В общем, нет. Я могла бы прожить и на то, что мне дает отец.

— Тогда почему же ты не бросишь писать, раз это дело совсем не для тебя?

Я не отвечаю ни слова, чувствуя себя с каждой минутой все более растерянной. Взгляд мой блуждает по комнате, пока не останавливается на старом, выцветшем зеленом диване, который занимает всю стену в глубине комнаты. Эта вещь мне знакома: я ее видела раньше или она похожа на что-то, что я уже видела. Я кусаю губы, но после недолгих колебаний решаюсь: встаю со стула, обхожу вокруг письменного стола, наклоняюсь к редактору и, легко коснувшись щекой его жирной, гладко выбритой щеки, ищу губами его губы. Он меня целует, потом вновь берет мою статью, перечитывает ее или, по крайней мере, делает вид, что перечитывает,— он слишком возбужден, чтобы понимать, что он делает,— и в ответ на мой вопрос: «Так, может быть, все-таки можно исправить?» — утвердительно кивает головой.

Потом со вздохом кладет рукопись на стол, ставит на нее пресспапье, обнимает меня за талию и с трудом поднимается с кресла. Обнявшись, мы согласно направляемся к зеленому дивану. Я успеваю разглядеть на одной из подушек большое пятно — наверно, от кофе. Потом я ложусь.

Через некоторое время я ухожу. Редактор вновь сидит на своем месте за столом и на прощание еле мне кивает. С порога бросаю взгляд на зеленый диван и вновь испытываю странное ощущение чего-то уже виденного или, вернее, уже пережитого. И затворяю за собой дверь.

Выйдя на улицу, я спохватываюсь, что у меня нет никаких дел, но возвращаться домой мне не хочется. На этот раз, когда я рисую себе

в воображении успокоительную картину ожидающей меня на столе у окна пишущей машинки, меня почему-то охватывает отвращение. Еще не стемнело. Почти машинально я еду по улице Фламина, пока она не переходит в автостраду и я не выезжаю из Рима. Вот и то место на дороге, где сегодня после обеда я остановилась со своим любовником. Вот живая изгородь. Торможу, выхожу из машины и иду пешком. Вот и проход в зарослях. После недолгого колебания ныряю в проход, карабкаюсь все выше и выше, пока не поднимаюсь на поляну. В неверном свете сумерек передо мной вновь открывается тропинка среди густой, высокой травы, а потом, чуть в отдалении,— дерево. Но туалетные принадлежности исчезли: проститутка, окончив работу, взяла их и ушла домой. Иду дальше; вот дерево и под ним ложе из жухлой травы, примятой телами проститутки и ее клиентов. Снова у меня какое-то странное чувство, словно я это уже видела или, вернее, когда-то уже пережила — такое же, как совсем недавно при взгляде на зеленый диван в кабинете редактора. В самом деле, диван напомнил мне это ложе, как теперь оно напоминает диван. Меня вдруг охватывает жестокое желание унизить себя, наказать. Борясь с отвращением, я опускаюсь на то место, где трава примята, и обнаруживаю, что это природное ложе точно по моей мерке. Я ложусь на спину, закрываю глаза, сжимаю веки, пытаюсь выдавить хоть одну слезинку. Но тщетно.

Материнская любовь

Двое наших детей начали движение протеста против нас с такой неслыханной и безжалостной яростью, что мы с мужем, застигнутые врасплох на середине жизненного пути (нам обоим нет и сорока), прямо не знаем, что и делать. Еще года два-три назад, когда все только и говорили, что о бунте детей против родителей, мы могли строить иллюзии, будто наши дети — счастливое исключение. Патриция и Коррадо, хотя и не проявляли к нам особой любви, вели себя вполне нормально, в сущности, так же, как и мы со своими родителями. Но вот некоторое время назад, возвратясь после каникул, проведенных в лагере на море, в обществе сверстников, они вдруг ополчились против нас с яростью, наверно, тем более неистовой, чем дольше она копилась, прежде чем прорваться наружу. Да уж, ничего не скажешь, упущенное время они наверстали с лихвой! Патриция и Коррадо так ожесточились против нас, что нам следовало бы видеть в них своих врагов и соответственно с этим и держаться, то есть порвать с ними всякие отношения. Однако, к сожалению, это невозможно. Они наши дети, и ненависть их порождена единственно тем, что они наши дети. Таким образом, нам в свой черед остается лишь видеть в этой ненависти самое неоспоримое свидетельство связывающих нас кровных уз.

Я сказала, что нас это застало врасплох, и сейчас поясню свои слова. Мы с мужем оба достигли среднего возраста, то есть того возраста, когда люди, так сказать, обретают свою окончательную форму — какие мы есть, такие мы есть, нас уж не изменишь. Таким образом, выражая свой протест против нас, дети, в сущности, ставят нам в вину эту нашу форму, достигнуть которой нам стоило стольких трудов. Это все равно как обвинять гусеницу в том, что она стала бабочкой, или бутон цветка в том, что он раскрылся. Но что хуже всего, из-за этой их ненависти нас берет сомнение, не превратились ли мы в

безобразных бабочек, в цветы с отвратительным запахом. Поистине ненависть — это такое зеркало, в котором ее предмет неизбежно видит свое отражение отталкивающим.

Разумеется, Патриция и Коррадо ненавидят нас каждый по-своему, в соответствии с собственным характером. Патриция, красивая девушка с яркой внешностью, пожалуй, даже слишком пышная, проявляет свою ненависть с бурной непосредственностью. Во время перепалок за обеденным столом (мы видимся с ними только за едой, все остальное время мы живем не соприкасаясь) Патриция после первых же двух-трех выпадов в обычной словесной дуэли теряет над собой контроль, распаляется, начинает кричать, потом ударяется в слезы и убегает, хлопнув дверью. Коррадо же, наоборот, спокоен и держит себя в руках. Он производит впечатление человека, взвешивающего и обдумывающего каждое свое слово, потому что он заика, из-за этого говорит он медленно, словно тщательно выбирая самые злые и обидные слова. При стычках с Коррадо я частенько отказываюсь от борьбы и выскакиваю из-за стола возмущенная, с глазами, полными слез.

Несколько дней назад я решила предпринять последнюю попытку примирения. Время послеобеденное, жалюзи опущены, я лежу в темноте на постели рядом с задремавшим мужем; за обедом произошло столкновение, еще более ожесточенное, чем обычно, и до сих пор я никак не могу прийти в себя. Внезапно чувство обиды становится нестерпимо острым, и, не в силах побороть его, я поднимаюсь в полумраке с постели и начинаю поспешно одеваться. Сначала я пойду к Патриции, которая отдыхает у себя в комнате, потом отправлюсь в «кабинет» к Коррадо. Я буду разумной и сдержанной, беспристрастной и уравновешенной, чуткой и прозорливой. Да, я сумею с этим справиться — ведь на моей стороне превосходство, которое дают мне жизненный опыт и материнская любовь. Эти мысли приободряют меня, и я успокаиваюсь. Но потом, необъяснимо, почти машинально, я делаю нечто совсем уж странное: медленно и осторожно открываю ящик комода, достаю оттуда пистолет мужа, плоский и тяжелый, и опускаю его в объемистый карман своей тропической куртки.

Ну что ж, попробуем. Выхожу из комнаты на цыпочках, стараясь не шуметь, иду в конец коридора, открываю дверь Патриции. Оба окна распахнуты настежь, и комната залита ослепительным солнцем. Патриция, голая, лежит ничком поперек постели, ноги болтаются в воздухе, волосы свешиваются чуть не до пола. Она читает, держа книгу далеко от глаз. На полу — включенный транзистор, из которого льется тихая музыка.

При моем появлении Патриция вскакивает, словно застигнутая на месте преступления. Она садится, закинув ногу на ногу, приглаживает волосы и, скрестив руки, прячет грудь. Я сажусь на кровать, почти рядом с ней. Я собиралась сразу же взять быка за рога, но, не в силах удержаться, несколько секунд молча гляжу на дочь. У нее пухлое детское лицо, очень густые волосы, сверкающая белизной кожа и замечательная фигура; красота ее мощная, яркая, но ленивая. В зеркале на стене напротив я вижу нас обеих: рядом с нагой Патрицией, такой цветущей, исполненной бьющей через край жизненной силы, я в своей тесно облегающей куртке, с мелкими чертами худого, сильно накрашенного лица, кажусь себе высохшей и увядшей. Какие узы связывают нас с Патрицией? Впервые в жизни при мысли, что я — ее мать, я испытываю не чувство любви, а ощущаю чисто физически: эта пышная полнота вышла из моей худобы, это цветение порождено моим увяданием. Говорю — и сама чувствую, что голос мой звучит резко и неприятно:

— Патриция, я пришла поговорить с тобой.

Она отвечает не повернув головы, уже заранее враждебно, тоже глядя в зеркало напротив:

— Поговорить со мной? Какая честь!

— Патриция, так больше продолжаться не может.

— Совершенно верно, но можете не беспокоиться. В самом скором времени я найду работу и тут же избавлю вас от своего присутствия.

— Но нам вовсе не хочется, чтобы ты уходила. Мы тебя любим и хотим, чтобы ты оставалась жить с нами. Только хоть объясни нам, по крайней мере, почему ты на нас так злишься.

Она пожимает плечами и молчит. Я снова смотрю — сначала на нее, потом на ее отражение в зеркале. Мною овладевает ревнивое и тягостное чувство, которое трудно определить: словно я вижу перед собой нечто мне принадлежащее, более того — мною созданное, свою собственность, которая, уж не знаю как, вдруг от меня отделилась и стала независимой. И не в силах сдержаться, я добавляю:

— Ты отдаешь себе отчет в том, что нельзя так обращаться с собственной матерью, которая родила тебя на свет, вскормила, вырастила?

— Ради бога, перестань, я так и знала, что сейчас начнется физиология. Прошу тебя!

— Одним словом, ты должна объяснить нам.

— Что еще объяснить?

— Твою нелепую враждебность.

Она не отвечает. Только вновь передергивает плечами. Придвигаюсь к ней ближе (в то же время не в силах побороть соблазн, я подглядываю за этой сценой в зеркало) и, обнимая ее за плечи, говорю:

— Триция, ну что ты имеешь против нас?

Она берет мою руку и сбрасывает ее с плеч, словно слишком теплый шарф.

— Пока что убери лапы. И вообще тут нечего объяснять. Мы против вас потому, что вы такие, какие вы есть.

— И какие же мы?

С тревожной тоской я ожидаю ответа. Рука сама опустилась в карман куртки и пальцы сжали рукоять пистолета. Внезапно, как часто с ней случается, Патриция вскипает:

— Какие вы? Просто омерзительные. И только не спрашивай почему: омерзительны, потому что омерзительны, и все! Точка. А теперь сделай одолжение — уйди отсюда, я хочу остаться одна, а главное — не желаю тебя видеть.

Она встает, хватает меня за руку, пытается подтащить к двери. Какое-то мгновение мы боремся, она нагая, я одетая, она — вся залитая солнечным светом, я — укрытая тенью. Между тем я продолжаю сжимать в кармане пистолет и чувствую, что еще немного — и я вытащу его из кармана. Потом происходит нечто непредвиденное. У порога Патриция останавливается, отпускает меня и говорит:

— Извини, я из-за тебя совсем потеряла голову. Прошу тебя, уходи. Так будет лучше для нас обеих.

Молча, тяжело дыша, я смотрю на нее, говоря себе, что чуть было не всадила самые что ни на есть всамделишные стальные пули в эту нежную, словно светящуюся изнутри солнечным светом плоть, которая, в сущности, и моя собственная плоть. И выхожу из комнаты.

Я направляюсь прямиком в комнату Коррадо, с силой распахиваю дверь и, ошарашенная, застываю на пороге: комната пуста. А ведь только недавно, за обедом, он сказал мне, что сегодня ждет приятеля, чтобы вместе заниматься. Прикрыв за собой дверь, подхожу к столу и

гляжу на пишущую машинку, книги и бумаги. Мой сын не только учится в университете, но и много занимается — читает, пишет. Письменный стол завален книгами; какая-то раскрытая книга лежит на диване; книги, расставленные в два ряда в загадочном для меня порядке, заполняют два битком набитых шкафа. Я сажусь на диван, машинально беру в руки открытую книгу — ту, что сейчас читает мой сын. Пытаюсь читать, но ничего не получается. Написано по-итальянски, это несомненно, но смысл фраз от меня ускользает. Эта книга написана на каком-то другом языке, чем те, что обычно читаю я. Не то чтобы ее язык был уж совсем непонятен, но он уклончив, чужд, неясен. В построении фраз, в самом выборе слов, в общем смысле текста я узнаю ту же холодную и обдуманную враждебность, в которой Коррадо столь упорен по отношению к отцу и ко мне.

Но, возможно, это не столько враждебность, сколько отталкивание, полное неприятие. Эта книга словно хочет оттолкнуть меня, отказывается принять мою симпатию, любопытство, готовность к пониманию. Она ведет себя так же, как Коррадо и Патриция: замыкается в себе, полностью меня игнорирует. Общий смысл того, что я тщетно пытаюсь прочесть, представляется мне какой-то высокой, гладкой стеной без единого окна или двери.

Впрочем, я слишком взволнована, чтобы читать. Сердце после стычки с Патрицией все еще бьется слишком учащенно. Слова будят в моем отчаявшемся что-либо понять, обессиленном сознании отчетливое эхо, но звук их лишен всякого значения. Да, это чужой язык, он для людей, с которыми у меня нет ничего общего. Словом, это язык для посвященных. Я, в отличие от Коррадо и Патриции, не принадлежу к тем, кто его понимает. Неожиданно я ощущаю, как на меня накатывает то же необъяснимое чувство ревности, какое я только что испытала, увидев наготу дочери. Вновь мозг пронзает нелепая мысль: «Все это вышло из меня. А теперь против меня восстает».

Книга выскальзывает у меня из рук, падает на пол, и я почти машинально наступаю на нее. Потом ввинчиваю в нее каблук туфли, рву ее страницы. Я с силой верчу каблуком, вырывая из книги одну, потом еще две, три страницы. Одновременно я, однако, не спускаю глаз с двери, опасаясь, что неожиданно войдет сын и застанет меня в тот миг, когда я пытаюсь уничтожить книгу, которую он читает.

Мне хочется плюнуть на эту книгу, испачкать ее так, чтобы она превратилась просто в грязную бумагу, в мусор, выбросить ее на помойку. Когда-то, помню, в одном старом деревенском доме я увидела в уборной книгу, повешенную там для всем понятной надобности. Мне хочется, чтобы книга, которую я топчу, кончила так же. Что со мной происходит?

Наконец я немного успокаиваюсь. Снимаю с книги каблук и ухожу, оставив ее валяться на полу. На цыпочках возвращаюсь к себе в спальню, сбрасываю туфли и укладываюсь рядом с мужем.

Что-то мне мешает лежать, больно упираясь в бок. Это пистолет. Вытаскиваю его из кармана и не спеша взвешиваю на ладони. Потом, играя им, приставляю дуло к виску. В сущности, наверно, мои дети в глубине души хотели бы, чтобы я покончила самоубийством. Но пусть не льстят себя этой надеждой: я не покончу с собой. Я — мать, которая любит своих детей, что бы они ни делали, мать, которая сумеет обрести в своей большой любви несокрушимое превосходство. Мать, к которой рано или поздно все мы неизбежно возвращаемся, потерпев поражение в столкновении с тем миром, в который она, хотели мы того или нет, нас когда-то впустила.

■

АЙРИС МЕРДОК

Черный принц

РОМАН

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН и А. ПОЛИВАНОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга в нескольких отношениях обязана своим существованием мне. Автор ее, мой друг Брэдли Пирсон, возложил на меня заботу об ее опубликовании. В этом примитивно механическом смысле она теперь благодаря мне выйдет в свет. Я также являюсь тем «любезным другом» и проч., обращения к которому встречаются здесь и там на ее страницах. Но я не принадлежу к действующим лицам драмы, о которой повествует Пирсон. Начало моей дружбы с Брэдли Пирсоном восходит ко времени более позднему, чем описываемые здесь события. В пору бедствий ощутили мы оба потребность в дружбе и счастливо обрели друг в друге этот благословенный дар. Могу утверждать с уверенностью, что, если бы не мое постоянное участие и одобрение, эта повесть, вернее всего, осталась бы ненаписанной. Слишком часто те, кто кричат правду безучастному миру, в конце концов не выдерживают, умолкают или начинают сомневаться в ясности собственного рассудка. Без моей поддержки это могло случиться и с Брэдли Пирсоном. Ему нужен был кто-то, верящий ему и верящий в него. И в нужде он нашел меня, свое alter ego.

Нижеследующий текст по сути своей, как и по общим очертаниям, является рассказом о любви. Не только поверхностно, но и в основе. История творческих борений человека, его поисков мудрости и правды — это всегда рассказ о любви. Он излагается здесь туманно, подчас двусмысленно. Борения и поиски человека двусмысленны и тяготеют к тайне. Те, чья жизнь проходит при этом темном свете, меня поймут. И все же что может быть проще, чем повесть о любви, и что может быть пленительнее? Искусство придает очарование ужасам — в этом быть может, его благословение, а быть может, проклятие. Искусство — это рок. Оно стало роком и для Брэдли Пирсона. И совсем в другом смысле для меня тоже.

Моя роль как издателя была проста. Вероятно, мне следовало бы скорее называть себя иначе... Как? Импресарио? Шутом или арлекином, который появляется перед занавесом, а потом торжественно его раздвигает? Я приберег для себя самое последнее слово, заключительный вывод, итог. Но лучше уж мне быть шутом Брэдли, чем его судьей. В каком-то смысле я, по-видимому, и то и другое. Зачем написа-

на эта повесть, станет очевидно из самой повести. Но в конце концов никакой тайны здесь нет. Всякий художник — несчастный влюбленный. А несчастные влюбленные любят рассказывать свою историю.

Ф. ЛОКСИЙ,
издатель.

ПРЕДИСЛОВИЕ БРЭДЛИ ПИРСОНА

Хотя прошло уже несколько лет со времени описываемых здесь событий, рассказывая о них, я воспользуюсь новейшим повествовательным приемом, когда прожектор восприятия переходит от одного настоящего мгновения к другому, памятуя о минувшем, но не ведая предстоящего. Иначе говоря, я воплощусь опять в свое прошедшее «я» и для наглядности буду исходить только из фактов того времени — времени, во многих отношениях отличного от нынешнего. Так, например, я буду говорить: «Мне пятьдесят восемь лет», как было мне тогда. И я буду судить о людях ошибочно, быть может, даже несправедливо, как судил о них тогда, а не в свете позднейшей мудрости. Но мудрость — ибо я надеюсь, что справедливо считаю это мудростью,— не вовсе отсутствует в рассказе. В какой-то мере она все равно неизбежно должна будет «озарять» его. Произведение искусства равно своему создателю. Оно не может быть больше, чем он. Как не может в данном случае быть и меньше. Добродетели имеют тайные имена; добродетель сама по себе тайна, недоступная уму. Таинственно все, что важно. Я не сделаю попытки описать или назвать то, чему выучился в строгой простоте той жизни, какой я живу в последнее время. Надеюсь, что стал мудрее и милосерднее, чем был тогда — счастливее я стал несомненно,— и что свет мудрости, падая на фигуру простака, выявит не только его заблуждения, но и строгий облик правды. Я уже дал понять, что считаю этот «репортаж» произведением искусства. Этим я не хочу сказать, что он — плод вымысла. Всякое искусство имеет дело с абсурдом, но стремится достичь простоты. Настоящее искусство выражает правду, оно и есть правда, быть может, единственная правда. В том, что излагается ниже, я пытался быть мудрым и говорить правду, как я ее понимаю, не только о поверхностных, «интересных» аспектах этой драмы, но также и о том, что залегает в глубине.

Я знаю, что люди обычно имеют о себе совершенно искаженное представление. По-настоящему человек проявляется в долгой цепи дел, а не в кратком перечне самотолкования. Это в особенности относится к художникам, которые, воображая, будто прячут, в действительности обнажают себя на протяжении своего творчества. Так и я весь выставлен тут напоказ, хотя душа в полном противоречии с законами моего ремесла, увы, по-прежнему жаждет укрытия. Под знаком этой предваряющей оговорки я теперь попытаюсь себя охарактеризовать. Говорить я буду, как я уже пояснял, от лица самого себя, каким был несколько лет назад,— главного и подчас бесславного «героя» этого повествования. Мне пятьдесят восемь лет. Я писатель. «Писатель» — моя самая простая и, пожалуй, наиболее верная общая характеристика. То, что я к тому же еще и психолог, самоучка-философ, исследователь человеческих отношений, следует из того, что я — писатель, писатель именно моего толка. Я всю жизнь провел в исканиях. Теперь искания привели меня, как я уже сказал, к попытке выразить правду. Свой дар, надеюсь и верю, я сохранил в чистоте. А это означает, помимо прочего, что как писатель я не пользовался успехом.

Я никогда не стремился к приятности за счет правды. Я знал долгие мучительные полосы жизни без самовыражения. «Жди!» — вот наиболее властное и священное веление для художника. Искусство имеет своих мучеников, среди них не последнее место занимают молчальники. Не побоюсь утверждать, что есть святые в искусстве, которые просто промолчали всю жизнь, но не осквернили чистоты бумажного листа выражением того, что не было бы верхом красоты и соразмерности, иначе говоря, не было бы правдой.

Как известно, мною опубликовано совсем немного. Я говорю «как известно», полагаясь на славу, приобретенную мною вне сферы искусства. Мое имя пользуется известностью, но, к сожалению, не потому, что я писатель. Как писатель я был и, несомненно, буду понят лишь немногими ценителями. Парадокс, быть может, всей моей жизни, абсурд, служащий мне теперь предметом для постоянных медитаций, состоит в том, что прилагаемый ниже драматический рассказ, столь непохожий на остальные мои произведения, вполне может оказаться как раз моим единственным «бестселлером». В нем, бесспорно, содержатся элементы жестокой драмы, «невероятные» события, о которых так любят читать простые люди. Мне даже выпало на долю, так сказать, вдоволь накупаться в лучах газетной славы.

Свои произведения я здесь описывать не буду. В связи со все теми же обстоятельствами, про которые здесь уже шла речь, *о них* знают довольно многие, хотя *их* не знает, боюсь, почти никто. Один скороспелый роман я опубликовал в возрасте двадцати пяти лет. Второй роман, вернее квазироман,— когда мне было уже сорок. Мною издана также небольшая книжица «Максимы, или Штудии», которую я не рискнул бы назвать философским трудом. (Pensées [1], пожалуй, да.) Стать философом мне не дано было времени, и об этом я сожалею лишь отчасти. Только магия и сюжеты остаются в веках. А как убого и ограниченно наше понимание, этому искусство учит нас, наверно, не хуже, чем философия. В творчестве заключена безнадежность, о которой знает каждый художник. Ибо в искусстве, как и в морали, мы часто упускаем главное из-за того, что способны замешкаться в решающий момент. Какой момент надо считать решающим? Величие в том и состоит, чтобы определить его, определив же, удержать и растянуть. Но для большинства из нас промежуток между «О, я мечтаю о будущем» и «Ах, уже поздно, все в прошлом» так бесконечно мал, что в него невозможно протиснуться. И мы все время что-то упускаем, воображая, будто еще успеем к этому вернуться. Так губятся произведения искусства, так губятся и целые человеческие жизни оттого, что мы либо мешкаем, либо без оглядки несемся вперед. Бывало так, что у меня появится хороший сюжет для рассказа, но пока я его как следует, во всех подробностях обдумаю, пропадает охота писать — не потому, что он плох, а потому, что он принадлежит прошлому и уже не представляет для меня интереса. Собственные мысли быстро теряли для меня привлекательность. Какие-то вещи я погубил тем, что принялся за них прежде времени. Другие, наоборот, тем, что слишком долго держал их в голове, и они кончились, не успев родиться. Всего лишь за одно мгновение замыслы из области туманных, неопределенных грез переходили в безнадежно старую, древнюю историю. Целые романы существовали только в заглавиях. Кому-то покажется, пожалуй, что три тонких томика, оставшиеся от этого побоища, не дают мне достаточных оснований претендовать на священный титул «писателя». Могу только сказать, что моя вера в себя в этом отношении, мое чувство призвания, даже обреченности, ни на минуту не ослабевали —

[1] Мысли, афоризмы *(франц.)*.

«само собой разумеется», хотелось бы мне добавить. Я ждал. Не всегда терпеливо, но, по крайней мере в последние годы, все увереннее. Впереди, за пеленой близкого будущего, я неизменно предчувствовал великие свершения. Пожалуйста, смейтесь надо мной — но только те, кто так же долго ждал. Ну, а если окажется, что эта побасенка о себе самом и есть моя судьба, венец всех моих ожиданий, почувствую ли я себя обделенным? Нет, конечно, ведь перед лицом этой темной силы человек бесправен. Права на божественную благодать нет ни у кого. Мы можем только ждать, пробовать, снова ждать. Мною двигала элементарная потребность рассказать правду о том, что повсеместно переврано и фальсифицировано; поведать о чуде, о котором никто не знает. А так как я художник, мой рассказ оказался художественным произведением. Да будет он достоин и других, более глубоких источников, его питавших.

Еще несколько сведений о себе. Мои родители содержали магазин. Это важно, хотя и не так важно, как полагает Фрэнсис Марло, и, разумеется, не в том смысле, который он имеет в виду. Я упомянул Фрэнсиса первым из моих «персонажей» вовсе не потому, что он самый из них значительный; он вообще не имеет значения и не связан по-настоящему с описанными событиями. Он просто подпевала, второстепенная, вспомогательная фигура в этом рассказе, как, видимо, и вообще в жизни. Бедняга Фрэнсис органически не способен быть главным героем. Из него вышло бы отличное пятое колесо к любой телеге. Но я делаю его прологом к моему повествованию отчасти потому, что в чисто механическом смысле действительно все началось с него, и если бы в определенный день он не... и так далее, я бы, наверно, никогда... и тому подобное. Вот еще один парадокс. Надо постоянно размышлять об абсурдности случая, это еще поучительнее, чем думать о смерти. Отчасти же я ставлю Фрэнсиса на особое место потому, что из основных актеров этой драмы он, пожалуй, один не считает меня лжецом. Примите же мою благодарность, Фрэнсис Марло, если вы еще живы и когда-нибудь случайно прочтете эти строки. Позднее отыскался еще один человек, который мне поверил, и это значило для меня несоизмеримо больше. Но тогда вы были единственным, кто видел и понимал. Через бездны времени, протекшего после этой трагедии, мой привет вам, Фрэнсис.

Мои родители держали магазин, небольшую писчебумажную лавку в Кройдоне. Они продавали газеты и журналы, бумагу всевозможных сортов, а также безобразные «подарки». Мы с сестрой Присциллой жили в этом магазине. Разумеется, не буквально ели и спали в нем, хотя нам нередко случалось пить там чай и у меня сохранилось «воспоминание» о том, как я якобы спал под прилавком. Но этот магазин был домом и мифическим царством нашего детства. У более счастливых детей бывает сад, какой-то пейзаж, на фоне которого протекают их ранние годы. У нас был магазин, его полки, ящики, его запахи, его бессчетные пустые коробки, его специфическая грязь. Это было захудалое, неприбыльное заведение. Мои родители были захудалые, неудачливые люди. Оба они умерли, когда мне не было еще тридцати лет, сначала отец, а вскоре за ним и мать. Первая моя книга еще застала ее в живых. Она сразу возгордилась мною. Мать вызывала у меня досаду и стыд, но я любил ее. (Молчите, Фрэнсис Марло.) Отец был мне решительно неприятен. Или, может быть, я просто забыл ту привязанность, которую питал к нему когда-то. Любовь забывается, как я вскоре смог убедиться.

Больше я о магазине писать не буду. Он и по сию пору снится мне примерно раз в неделю. Фрэнсис Марло, когда я рассказал ему как-то об этом, усмотрел здесь нечто многозначительное. Но Фрэнсис при-

надлежит к печальному сонму теоретиков-недоучек, которые перед лицом уникальности личной судьбы в ужасе прячутся за общими местами тупого «символизма». Фрэнсис хотел «истолковать» меня. В дни моей славы это же пытались сделать и еще некоторые, поумнее его. Но человеческая личность всегда бесконечно сложнее, чем такого рода толкования. Говоря «бесконечно» (или правильнее сказать: «почти бесконечно»? Увы, я не философ), я имею в виду не только гораздо большее число подробностей, но и гораздо большее разнообразие в характере этих подробностей и большее разнообразие в характере их связей, чем представляют себе те, кто стремится все упрощать. С таким же успехом можно «объяснить» полотно Микеланджело на графленом листе бумаги. Только искусство объясняет, само же оно не может быть объяснено. Искусство и мы созданы друг для друга, и где пресекается эта связь, пресекается человеческая жизнь. Только это мы и можем утверждать, только это зеркало и дает нам верный образ. Конечно, у нас есть и подсознание, о нем отчасти и будет моя книга. Но мы не располагаем картами этого недоступного континента. «Научными» картами, во всяком случае.

Моя жизнь до описанной здесь драматической кульминации протекала вполне безмятежно. Иной бы сказал, даже скучно. Если позволительно употребить такое красивое и сильное слово в неэмоциональном контексте, можно сказать, что моя жизнь была возвышенно скучной — прекрасная скучная жизнь. Я был женат, потом перестал быть женат, как я расскажу ниже. Детей у меня нет. Я страдаю периодически желудочными расстройствами и бессонницей. Почти всю жизнь я жил один. До жены, а также после нее были другие женщины, о которых я здесь не говорю, поскольку они не имеют значения и к делу не относятся. Иногда я представлялся самому себе стареющим Дон Жуаном, но большинство моих побед относятся к миру фантазий. В последние годы, когда было уже слишком поздно начинать, я иногда жалел, что не вел дневника. Человеческая способность забывать поистине безгранична. А это был бы неоспоримо ценный памятник. Мне часто приходило в голову, что своего рода «Дневник Соблазнителя», сдобренный метафизическими рассуждениями, был бы для меня, вероятно, идеальной литературной формой. Но эти годы прошли и канули в забвение. О женщинах — все. Был я в целом бодрый человек, одинокий, но нельзя сказать чтобы нелюдимый, иногда подавленный, часто печальный. (Печаль и бодрость не несовместимы.) У меня было в жизни несколько близких друзей. (Я не мог бы, мне кажется, иметь своим другом женщину.) В сущности, эта книга повествует о такой «близкой дружбе». Заводил я знакомства, правда не такие близкие («приятельства», пожалуй, можно их назвать), и у себя на службе. О годах, проведенных на службе, я здесь не говорю, как не говорю и об этих приятелях, не из неблагодарности, а частично по эстетическим соображениям, поскольку эти люди не фигурируют в моем рассказе, и, кроме того, из деликатности, так как они, возможно, больше не хотят, чтобы их имя упоминалось в связи с моим. Из этих приятелей я называю одного Хартборна — он был типичнейшим обитателем мира моей великой скуки и может дать представление обо всех остальных, кроме того, он, в конце концов, по ошибке, но из искренних дружеских чувств все же оказался замешан в моей судьбе. Мне, пожалуй, следует объяснить, что «службой» моей была контора финансового управления и что я почти все годы служил там налоговым инспектором.

Повторяю, что не пишу здесь о себе как о налоговом инспекторе. Не знаю почему, но эта профессия, подобно профессии зубного врача, вызывает у людей смех. Однако, по-моему, это смех натужный. И зуб-

ной врач, и налоговый инспектор, естественно, символизируют для нас подспудные ужасы жизни; они говорят о том, что мы должны платить, даже если цена разорительная, за все наши удовольствия, что блага даются нам в долг, а не даруются, что наши самые невосполнимые богатства гниют уже в процессе роста. А в прямом смысле — что еще причиняет нам такие неотступные страдания, как подоходный налог или зубная боль? Отсюда, без сомнения, и эта скрыто-враждебная защитная насмешка, с какой тебя встречают, как только ты объявишь о своей причастности к одной из этих профессий. Я всегда считал, однако, что только для таких дураков, как Фрэнсис Марло, человек, избирающий профессию налогового инспектора,— скрытый садист. Не знаю никого, кто был бы дальше от садизма, чем я. Я тих до робости. Но получилось так, что даже мое мирное и почтенное занятие было в конце концов использовано против меня.

К моменту, когда начинается этот рассказ — а мне недолго осталось откладывать его,— я уже не работал у себя в налоговой конторе, удалившись от дел раньше пенсионного возраста. Я пошел в налоговые инспектора, потому что нуждался в заработке, которого, я знал, мне не дало бы писательство. И ушел со службы, когда, наконец, скопил достаточно денег, чтобы иметь приличный годовой доход. Жил я, как уже говорилось, до недавнего времени очень тихо, без трагедий, но с высшей целью. Я неустанно трудился и терпеливо ждал, когда наступит час моей свободы и я смогу все свободное время только писать. С другой стороны, я умудрялся понемногу писать и в годы рабства и не склонен, как некоторые, относить недостаток своей продуктивности за счет недостатка времени. В целом я считаю себя скорее счастливцем. Даже сейчас. Может быть, в особенности сейчас.

Потрясение от ухода со службы оказалось сильнее, чем я ожидал. Хартборн предупреждал меня, что так будет. Но я не верил. По-видимому, я человек привычки в большей мере, чем мне казалось. А может быть, тут дело в том, что я глупейшим образом ожидал прихода вдохновения с первым же проблеском свободы. Так или иначе, но я не был готов к тому, что дар мой покинет меня. Прежде я все время писал. Вернее, все время писал и все время уничтожал написанное. Не буду говорить, сколько страниц мною уничтожено, цифра эта огромна. И в том была моя гордость и моя печаль. Иногда мне казалось, что я зашел в тупик. Но я ни на минуту не отчаивался в своем стремлении к совершенству. Надежда, вера и самоотверженное служение вели меня вперед, и я продолжал трудиться, стареть и жить наедине со своими эмоциями. По крайней мере, я знал, что всегда могу написать что-нибудь.

Но вот я оставил налоговую контору и мог теперь каждое утро сидеть у себя дома за письменным столом, обдумывая любую мысль. И тут оказалось, что у меня вообще нет никаких мыслей. Но я и это перенес с бесконечным терпением. Я ждал. Я снова постарался выработать упорядоченный образ жизни, создать монотонность, из которой рождаются всплески. Я выжидал, вслушивался. Я живу, как подробнее будет объяснено ниже, в шумной части Лондона, в некогда «приличном», а ныне захудалом квартале. Думаю, мы вместе, мой квартал и я, пустились в это паломничество, уведшее нас от «приличия». Но теперь шум, которого я прежде не замечал, стал действовать мне на нервы. Впервые за всю жизнь я испытал потребность в тишине.

Правда, как могут мне заметить не без язвительной иронии, я всегда был в каком-то смысле приверженцем безмолвия. Нечто подобное сказал мне однажды со смехом Арнольд Баффин и очень меня обидел. Три небольшие книжки за сорок лет непрерывного литературного труда — это и правда нельзя назвать многоречивостью. Если я действи-

тельно умею различать истинные ценности, то я во всяком случае понимал, как важно бывает держать до поры до времени язык за зубами, пусть даже это грозит тебе молчанием на всю жизнь. Писательство — как женитьба. Ни в коем случае не следует делать решительного шага, пока сам не изумишься своему счастью. Неумеренное словоизвержение мне всегда претило. Вопреки модному мнению, негативное сильнее позитивного. Но тогда я нуждался в самой настоящей, буквальной тишине.

И я принял решение уехать из Лондона и сразу же почувствовал себя ближе к моему зарытому кладу. Ко мне вернулась вера в собственные возможности, я ощутил в груди ту дремлющую, выжидающую силу, которая и есть благодать художника. Я решил снять на лето домик у моря. За жизнь я не насытился морем. Мне не пришлось жить наедине с ним, проводить дни и ночи в пустынном месте на берегу, где слышен лишь звук прибоя, который даже и не звук вовсе, а голос самой тишины. В связи с этим должен рассказать об одной довольно дикой идее, которую я вынашивал в течение долгих лет: я почему-то придумал, что достигну величия как писатель, только пройдя через некое *испытание*. Напрасно я ждал этого испытания. Даже тотальная война (я не был в армии) не нарушила спокойного хода моей жизни. Казалось, безмятежность — мой злой рок. Она так завладела мной, и так велика была моя душевная робость, что лето вне Лондона уже представлялось мне чуть ли не подвигом. Правда, для человека моего склада, старомодного, неврастенического, с пуританскими наклонностями, раба своих привычек, такой выезд и в самом деле был целым приключением, отчаянно-смелым, опасным шагом. А может быть, я в глубине души знал, какие грозные чудеса ждут, наконец, свершения, замерев на грани бытия за легкой завесой близкого будущего? Мой ищущий взгляд упал на объявление в газете: за умеренную плату сдается на взморье домик, называется — «Патара». Я написал, обо всем условился и уже готов был к отъезду когда Фрэнсис Марло, точно вестник судьбы, постучал в мою дверь. В конце концов я все же попал в «Патару», но там происходило совсем не то, что сулили мои предчувствия.

Перечитывая сейчас это предисловие, я убеждаюсь, сколь неполно передает оно мою сущность Как мало вообще могут передать слова, если только это не слова гения. Я хотя и творческая личность, но скорее пуританин, чем эстет. Я знаю, что жизнь человеческая ужасна. Знаю, что она ни в чем не подобна искусству. Я не исповедую никакой религии, только верую в собственное предназначение. Обычные религии родственны снам. В них под тонким наружным слоем прячутся бездны ужаса и боязни. Любого человека, даже самого великого, ничего не стоит сломить, спасения нет ни для кого. Любая теория, отрицающая это, лжива. У меня самого нет никаких теорий. Вся политика — это осушение слез и нескончаемая борьба за свободу. Я преклоняюсь перед великими художниками и перед людьми, способными сказать «нет» тиранам.

Остается написать слова посвящения. Во-первых, есть некто, кого я, разумеется, не могу здесь назвать. Но я от всего сердца, по долгу справедливости, а не красноречия ради посвящаю этот труд, Вами вдохновленный и благодаря Вам написанный,— Вам, мой любезный друг, мой товарищ и наставник, и выражаю благодарность, мера которой и

вестна Вам одному. Знаю, что Вы будете снисходительны к его многочисленным изъянам, как неизменно, с милосердным пониманием прощали столь же многочисленные слабости его автору

БРЭДЛИ ПИРСОНУ

Далее следует рассказ БРЭДЛИ ПИРСОНА, озаглавленный:

Черный принц

Праздник любви

Часть первая

Вероятно, эффектнее всего было бы начать рассказ с того момента, когда позвонил Арнольд Баффин и сказал: «Брэдли, вы не могли бы сюда приехать? Я, кажется, убил свою жену». При более глубоком подходе, однако, естественнее, чтобы действие открыл Фрэнсис Марло (в роли пажа или горничной, что, конечно, пришлось бы ему по душе). Он появился на сцене примерно за полчаса до решающего звонка Арнольда, и то известие, которое он мне принес, служит как бы рамкой, или контрапунктом, или наружной оболочкой драмы Арнольда Баффина, свершавшейся тогда и позднее. Впрочем, мест, с которых можно начать, много. Я мог бы, например, пойти от слез Рейчел или от слез Присциллы. В этой истории проливается немало слез. Но если не упрощать, любой порядок изложения окажется условным. Действительно, с чего вообще начинается все? Уже одно то, что три из четырех предложенных мною зачинов не соединяет никакая причинная связь, наталкивает на самые фантастические размышления о тайне человеческих судеб.

Как уже было сказано выше, я как раз собирался уехать из Лондона. Сырой, промозглый майский день клонился к вечеру. Ветер не приносил аромата цветов, а только оставлял на теле холодную, простудную испарину, которую тут же принимался сдирать вместе с кожей. Чемоданы мои были уложены, и я собирался позвонить и вызвать такси, даже уже поднял трубку, когда на меня вдруг нашло то состояние нервного торможения, та потребность помедлить с отъездом, сесть и еще раз все обдумать, которую, как говорят, русские возвели в обычай. Я положил назад телефонную трубку, возвратился в свою заставленную викторианской мебелью гостиную и сел на стул. И сразу меня охватило мучительное беспокойство в связи со множеством разных вещей, которые я уже тысячу раз проверял. Довольно ли я взял с собою снотворных таблеток? Не забыл ли микстуру с белладонной? Уложил ли свои записные книжки? Я могу писать только в записных книжках особого формата, разлинованных строго определенным образом. Я поспешил обратно в переднюю, отыскал, разумеется, и записные книжки, и таблетки, и белладонну, но чемоданы мои были теперь наполовину распакованы, и я ощущал довольно сильное сердцебиение.

Я занимал тогда, как, впрочем, уже задолго до этого, небольшую квартиру на первом этаже в глубине живописного старого квартала в Северном Сохо, неподалеку от башни Почтамта. Это довольно обшарпанный, наполненный неумолчным уличным шумом район, но я предпочитал его благородную столичную бедность чрезмерной, неотесанной сытости пригородов, прельстившей Баффинов. Все мои окна выхо-

дили во двор. Из спальни были видны мусорные баки и пожарная лестница, из гостиной — глухая кирпичная стена, заляпанная грязью. Моя гостиная (собственно, это была не комната, а только полкомнаты, вторая половина, голая и запущенная, служила спальней) была обшита панелями того благородного пепельно-зеленого оттенка, который приобретается только после пятидесяти лет постепенного выцветания. Эту квартирку я до отказа набил мебелью, викторианскими и восточными безделушками, разнообразными мелкими objets d'art [1], диванными подушечками, инкрустированными подносами, бархатными скатертями, даже салфеточками, даже кружевами. Я не коллекционирую, я просто накапливаю. Кроме того, я скрупулезно аккуратен, хотя и мирюсь с пылью. Темное уютное логово — вот что такое была моя квартира, один усложненный интерьер и ничего снаружи. Только за порогом парадного, которое еще не вело прямо в мою квартиру, можно было, задрав голову, увидеть над крышами кусок неба и уходящую ввысь нагую башню Почтамта.

Вот как получилось, что я отложил свой отъезд. Что, если бы я этого не сделал? Я собирался скрыться на все лето, хотя места этого я никогда не видел и снял дом заочно. Арнольду я не сказал, куда еду. Я напустил таинственность. Почему, интересно бы знать? Из какой-то скрытой недоброжелательности? Неизвестное всегда представляется значительнее, чем оно есть на самом деле. Я сказал ему твердо и уклончиво, что буду путешествовать за границей и не могу дать определенного адреса. Зачем эта ложь? Вероятно, отчасти из желания удивить его. Всем было известно, что я никогда никуда не езжу Наверно, я решил, что мне пора удивить Арнольда. Не сообщил я о предстоящем отъезде и своей сестре Присцилле. В этом как раз не было ничего странного. Она жила в Бристоле с мужем, который был мне решительно несимпатичен. Что, если бы я успел уйти из дому до того, как постучался Фрэнсис Марло? Что, если бы к остановке успел подойти трамвай и увезти Гаврилу Принципа[2], прежде чем автомобиль эрцгерцога выехал из-за угла?

Я снова уложил чемоданы и сунул в карман, чтобы перечитать в поезде, третий вариант моей рецензии на последний роман Арнольда. Плодовитый и популярный романист Арнольд Баффин, выпускающий по книге в год, никогда надолго не исчезает из поля зрения публики. У меня с ним расхождения по вопросу о его творчестве. Бывает, что близкие друзья соглашаются между собой о том, что в чем-то важном они не согласны, и эту область обходят молчанием. Так какое-то время было и у нас. Художники — обидчивый народ. Однако, проглядев последнюю книгу Арнольда, я нашел в ней кое-какие похвальные, на мой взгляд, черты и поэтому согласился написать рецензию в воскресную газету. С рецензиями я выступаю редко, ко мне редко обращаются. Но тут я подумал, что мне представляется случай частично загладить обиду, которую, возможно, я причинил Арнольду своим прежним критическим отношением. Однако перечитав роман внимательнее, я убедился, что он не нравится мне точно так же, как и его многочисленные confrères [3], и у меня вышла не рецензия, а «генеральный разнос» творчества Арнольда. Что было делать? Мне не хотелось подводить редактора: приятно иногда видеть свое имя в печати. И потом, разве критик не должен высказываться прямо и без оглядки? С другой стороны, Арнольд — мой старый друг.

---

[1] Произведениями искусства *(франц.)*.

[2] Человек, убивший летом 1914 года австрийского эрцгерцога Фердинанда, что послужило толчком для начала первой мировой войны.

[3] Собратья *(франц.)*.

И тут у входной двери — мое бессвязное повествование уже и так слишком долго оттягивало этот миг — прозвенел звонок.

Посетитель, стоявший на пороге парадной двери моего дома, но еще за порогом двери в мою квартиру, был мне незнаком. Кажется, он дрожал, то ли от ветра, то ли от волнения или алкоголя. На нем был очень старый синий макинтош и желтое скрученное кашне-удавка на шее. Он был толст (макинтош явно не застегивался), невысок ростом, волосы густые и курчавые, давно не стриженные, с проседью, лицо круглое, со слегка крючковатым носом, толстыми, очень красными губами и удивительно близко посаженными глазами. Он походил, как я потом подумал, на карикатурного медведя. Не на настоящего — у настоящих медведей глаза, по-моему, расставлены широко, а вот на карикатурах их рисуют с близко посаженными глазами — вероятно, для того, чтобы выразить их свирепость и коварство. Мне его вид совсем не понравился. Я ощутил в нем нечто подчеркнуто зловещее, хотя и не поддававшееся еще определению. Кроме того, от него пахло.

Наверно, здесь уместно будет снова сделать небольшой перерыв в рассказе и описать самого себя. Я высокого, шести с лишком футов, роста, худощав, блондин, еще не облысел, прямые шелковистые волосы слегка поблекли. У меня нервное, тонкое лицо с мягким, застенчивым выражением, тонкие губы и голубые глаза. Очков я не ношу. И выгляжу значительно моложе своих лет.

Человек, источавший запах, сразу же с порога начал что-то очень быстро говорить. Что именно, я не расслышал. Я слегка глуховат.

— Простите, я не понял, чего вы хотите, говорите, пожалуйста громче, я вас не слышу.

— Она вернулась,— разобрал я его ответ.

— Что? Кто вернулся? Я вас не понимаю.

— Кристиан вернулась. Он умер. А она вернулась.

— *Кристиан.*

Это было имя моей бывшей жены, и его уже много лет не произносили в моем присутствии.

Я отпустил ручку двери, и человек, говоривший со мной с порога парадного — теперь я уже узнал его,— проскользнул, вернее, проныр-нул в квартиру. Я возвратился в гостиную, он последовал за мною.

— Вы меня не помните?

— Помню.

— Я же Фрэнсис Марло, ваш шурин.

— Да, да, как же.

— То есть бывший, разумеется. Я подумал, что надо вам сообщить. Она овдовела, он оставил ей все, она вернулась в Лондон, в ваш старый дом...

— Она вас послала?

— К вам? Нет, не совсем, но...

— Послала или нет?

— Ну нет. Я узнал от адвоката. Понимаете, она расположилась в вашем старом доме!

— Вам незачем было приходить...

— Значит, она сама вам написала? Я так и думал, что она, наверно, напишет.

— Разумеется, она мне не писала!

— Я подумал, вы, конечно, захотите с ней увидеться...

— Я совершенно не хочу с ней видеться. Меньше всего я хотел бы увидеться с ней. И слышать о ней у меня также нет ни малейшего желания.

Не буду здесь описывать мой брак. Некоторое представление о нем, безусловно, должно будет сложиться впоследствии. В настоящее

же время интерес представляет лишь его общая природа, без каких-либо деталей. Этот брак был неудачен. Сперва я видел в ней дарительницу жизни. Потом — дарительницу смерти. Бывают такие женщины. В них бурлит некая энергия, которая как будто открывает перед вами мир; а потом вдруг в один прекрасный день обнаруживается, что вас пожирают живьем. Те, кто, как я, испытал это, поймут, о чем я говорю. Возможно, что я холостяк по натуре. Несомненно, что Кристиан по натуре кокетка. Откровенная глупость может быть по-своему неотразима в женщине. Я, во всяком случае, не остался равнодушен. Как женщина она была по-видимому довольно привлекательна. Люди считали, что мне сильно повезло. Она привнесла в жизнь то, что я больше всего ненавижу,— беспорядок. Устраивала сцены. Кончилось тем, что я ее возненавидел. Пять лет такого брака убедили нас обоих в совершенной невозможности продолжать так и дальше. Сразу же после нашего развода Кристиан вышла за богатого малограмотного американца по фамилии Эвендейл, поселилась в Иллинойсе и для меня исчезла из жизни навеки.

Может ли что-нибудь сравниться с мутным, гнетущим ощущением, которое остается от неудавшегося брака? А с ненавистью, которую испытываешь к бывшему супругу или супруге? (Как смеют они быть счастливыми?) Не верю тем, кто в этой связи толкует о «дружеских отношениях». Я сам годы прожил с постоянным чувством, что все замарано, испорчено, на душе от этого становилось иногда так скучно, так уныло. Я не мог освободиться из-под власти этой женщины. Здесь не было ничего общего с любовью. Кто испытал такую зависимость, поймет. Есть люди, которые от природы являются «уничижителями», «принизителями» других. Наверно, всякий человек кого-нибудь унижает. Иначе надо быть святым. Но большинство знакомых благополучно уходят из нашего сознания, как только мы перестаем их видеть. С глаз долой — из сердца вон, такова хартия человеческого выживания. Но к Кристиан это не относилось, она была вездесуща: душа ее была ненасытна, мысли разъедали на любом расстоянии, словно губительные лучи, пронизывающие пространство и время. Брошенные ею фразы застревали в памяти, от них некуда было деться. В конце концов, только добрая старая Америка излечила меня от нее. Я отправил ее со скучным мужем в скучный и очень отдаленный город и смог, наконец, считать ее умершей. Какое облегчение.

Другое дело Фрэнсис Марло. Ни сам он, ни его мысли никогда не имели для меня значения, да и ни для кого другого, насколько я знал, тоже. Он был младшим братом Кристиан, и она обращалась с ним презрительно-терпимо. Он никогда не был женат. После затянувшегося учения он окончил курс с дипломом врача, но вскоре был его лишен за какие-то махинации с наркотиками. Позже я с отвращением узнал, что он завел себе практику в качестве самозваного «психоаналитика». Еще позже я слышал, что он пьет. Если бы мне сообщили, что он покончил жизнь самоубийством, меня бы это совсем не удивило и не встревожило. Новой встрече с ним я отнюдь не обрадовался. Да он и стал почти неузнаваем. Прежде это был легконогий, стройный фавн в ореоле белокурых волос. А теперь стал толстым, грубым, краснолицым и жалким, чуть диковатым, с какой-то зловещинкой, быть может, даже слегка безумным. Только глупым он как был, так и остался. Впрочем, в ту минуту меня интересовал не мистер Фрэнсис Марло, а та убийственная новость, которую он мне сообщил.

— Меня удивляет, что вы сочли нужным обратиться ко мне. Это непростительная наглость. Я ничего не желаю знать о моей бывшей жене. С этим покончено много лет назад.

— Не сердитесь на меня,— сказал Фрэнсис, поджимая свои крас-

ные губы словно для поцелуя (привычка, которую я вспомнил с отвращением).— Ну, пожалуйста, не сердитесь, Брэд.

— И не зовите меня «Брэд». Я опаздываю на поезд.

— Я не задержу вас, позвольте мне только объяснить — просто я думал... да, да, я буду очень краток, только, пожалуйста, выслушайте меня, прошу вас, умоляю... Понимаете, дело в том, что первым человеком, кого Крис захочет увидеть в Лондоне, будете вы...

— *Что?*

— Она приедет прямо к вам, честное слово, я это чувствую.

— Вы что, совсем рехнулись? Разве вы не знаете... Я не собираюсь обсуждать с вами... Никакие отношения здесь невозможны, с этим покончено много лет назад.

— Да нет же, Брэд, понимаете...

— Не называйте меня «Брэд»!

— Хорошо, хорошо, Брэдли, виноват, только не сердитесь, ведь вы же знаете Крис, вы для нее очень много значили, на самом деле значили гораздо больше, чем старый Эванс, и она непременно придет к вам, хотя бы из одного любопытства.

— Меня здесь не будет,— сказал я. Все это вдруг показалось мне очень правдоподобным. В каждом есть, вероятно, глубоко запрятанная жилка зловредности. У Кристиан ее, безусловно, было больше, чем у кого бы то ни было. Эта женщина действительно могла явиться ко мне — из любопытства или назло,— как кошки, говорят, нарочно прыгают на колени к тем, кто их терпеть не может. В самом деле любопытно посмотреть на того, кто некогда состоял с тобою в браке, хочется убедиться, что этого человека мучит раскаяние и разочарование. Хочется услышать о нем дурные вести. Позлорадствовать. Кристиан наверняка потянет удостовериться, что я прозябаю в ничтожестве.

А Фрэнсис продолжал:

— Ей захочется покрасоваться: ведь она теперь богата, веселая вдова, так сказать, и захочется покрасоваться перед старыми знакомыми, всякий бы на ее месте захотел, так что не сомневайтесь, она выкопает вас из-под земли, вот увидите, и...

— Меня это не интересует! — крикнул я.— Совершенно *не интересует!*

— Еще как интересует. Поверьте. Если я видел человека с заинтересованным выражением лица, то это...

— У нее есть дети?

— Вот видите? Видите? Нет, нет у нее детей. И понимаете, Брэд, я всегда вам симпатизировал, хотел с вами увидеться, я восхищаюсь вами, я читал вашу книгу...

— Которую?

— Не помню названия. Замечательная книга. Может быть, вас удивляло, что я не показывался...

— Нет!

— Понимаете, я очень застенчив. Думал, куда я полезу, мелкая сошка, а теперь, с возвращением Кристиан... Дело в том, что я по уши в долгах, вынужден постоянно менять адрес, а это... Ну вот, а Крис некоторое время назад откупилась, так сказать, от меня, и я подумал, если вы с Крис теперь снова будете вместе...

— То есть вы хотите, чтобы я был вашим заступником?

— Вроде того, вроде того.

— Ну и ну! — сказал я.— Уходите-ка отсюда, вот что.— Мысль, что я буду вытягивать из Кристиан деньги для ее уголовника братца, показалась мне чересчур дикой даже для Фрэнсиса

— Видите ли, я так и сел, когда узнал что она вернулась, я был поражен, ведь это меняет все, мне нужно было пойти и обговорить это

с кем-нибудь, просто по-человечески, естественно, я сразу подумал про вас — послушайте, у вас в доме найдется что-нибудь выпить?

— Будьте добры, уйдите.

— Я чувствую, что она захочет вас увидеть, захочет произвести на вас впечатление... Понимаете, мы с ней порвали, прекратили переписку, я все время просил денег, и она в конце концов поручила адвокату заставить меня замолчать... Но теперь можно будет начать как бы все сначала, если только вы меня поддержите, замолвите словечко...

— Вы что, хотите, чтобы я сыграл роль вашего друга?

— Но ведь мы бы и в самом деле могли быть друзьями, Брэд... Послушайте, неужели у вас не найдется ничего выпить?

— Нет.

И тут зазвонил телефон.

— Будьте добры, уйдите,— сказал я.— И больше не приходите.

— Брэдли, имейте жалость...

— Вон!

Он стоял передо мною, и вид у него был до отвращения смиренный. Я распахнул дверь гостиной и дверь на лестницу. Потом в передней я снял телефонную трубку.

Раздался голос Арнольда Баффина. Он прозвучал спокойно, неторопливо: «Брэдли, вы не могли бы сейчас приехать сюда? Я, кажется, убил Рейчел».

Я ответил сразу, тоже негромко, но с чувством:

— Не говорите глупостей, Арнольд. Слышите?

— Если можете, пожалуйста, приезжайте немедленно.—Его голос был как дикторское объявление, записанное на пленку.

Я спросил:

— Врача вы не вызывали?

Помолчав, он ответил:

— Нет.

— Так вызовите.

— Я... вам все объясню... Пожалуйста, если можно, приезжайте прямо сейчас.

— Арнольд,— сказал я,— вы не могли убить ее. Вы говорите чепуху. Этого не может быть...

Короткое молчание.

— Не знаю.— Его голос был невыразителен, как бы спокоен — несомненно, вследствие пережитого потрясения.

— Что произошло?

— Брэдли, если можно...

— Хорошо,— сказал я.— Сейчас приеду. Возьму такси.— И я положил трубку.

По-видимому, здесь уместно будет сообщить, что первым моим чувством, когда я услышал сообщение Арнольда, была странная радость. Пусть читатель, прежде чем провозгласить меня чудовищем бессердечия, заглянет в собственную душу. Подобные реакции в общем не так уж ненормальны и, по крайней мере, почти простительны. Беды наших друзей мы, естественно, воспринимаем с определенным удовольствием, которое вовсе не исключает дружеских чувств. Отчасти, но не полностью это объясняется тем, что нам импонируют полномочия помощника, которые нам при этом достаются. И чем внезапнее или неприличнее беда, тем нам приятнее. Я был очень привязан и к Арнольду, и к Рейчел. Но между женатыми и холостяками существует некая родовая вражда. Я не выношу эту манеру женатых людей, быть может, неосознанную, изображать из себя не только более счастливых, но в каком-то отношении и более нравственных индивидуумов, чем вы. Это им тем легче дается, что человек неженатый склонен рассматривать

каждый брак как счастливый, если ему не приходится удостовериться в противном. Брак Баффинов всегда виделся мне достаточно прочным. И эта неожиданная виньетка к семейному счастью совершенно опрокинула все мои представления.

С лицом, все еще розовым от возбуждения, вызванного словами Арнольда, и в то же время, необходимо подчеркнуть (ибо одно ничуть не противоречит другому), расстроенный и огорченный, я обернулся и увидел перед собою Фрэнсиса, о чьем существовании успел забыть.

— Что-то случилось? — спросил Фрэнсис.

— Нет.

— Я слышал, вы говорили о враче.

— Жена моего друга упала и ушиблась. Я еду туда.

— Может, мне поехать с вами? — предложил Фрэнсис.— Глядишь, окажусь кстати. В конце-то концов в глазах бога я все еще врач.

Я минуту подумал и ответил: «Хорошо, поехали». И мы сели в такси.

Здесь я опять делаю паузу, чтобы сообщить еще несколько слов о моем протеже Арнольде Баффине. Я крайне озабочен (и это не слова, я действительно до крайности озабочен) тем, чтобы мое описание Арнольда было ясным и справедливым, поскольку вся эта история представляет собой, в сущности, историю моих с ним взаимоотношений и той трагической развязки, к которой они привели. Я «открыл» Арнольда — он намного моложе меня,— когда был уже небезызвестным писателем, а он, недавний выпускник колледжа, только кончал свой первый роман. Я тогда уже «отделался» от жены и переживал один из тех периодов душевного и творческого обновления, в которых всегда не уставал усматривать залог ожидающих меня успехов. А он, только что окончив Редингский университет по английской литературе, работал учителем в школе. Мы познакомились на каком-то собрании. Он стыдливо признался, что пишет роман. Я выразил вежливый интерес. Он прислал мне почти законченную рукопись. (Это был, разумеется, «Товий и падший ангел», и я теперь считаю, что это его лучшая книга.) Я усмотрел в его рукописи кое-какие достоинства и помог ему найти для нее издателя. Я же, когда книга вышла из печати, и опубликовал на нее весьма похвальную рецензию. С этого началась одна из самых успешных с точки зрения денежной литературных карьер нашего времени. Арнольд немедленно — кстати сказать, вопреки моему совету — оставил место учителя и полностью посвятил себя «писательству». Писал он легко, каждый год по книге, и продукция его отвечала общественным вкусам. Слава и материальное благополучие пришли своим чередом.

Высказывалось мнение, особенно в свете последовавших событий, будто я завидовал писательскому успеху Арнольда. Я с самого начала решительнейшим образом отвергаю это. Я иногда завидовал той свободе, с какой он писал, в то время как я был словно скован за письменным столом. Но я никогда не испытывал зависти к Арнольду Баффину вообще по очень простой причине: я считал, что он достигает успеха, поступаясь искусством. Как человек, открывший его и покровительствовавший ему, я сразу почувствовал, что его деятельность имеет ко мне прямое отношение, и меня угнетало, что молодой, многообещающий автор пренебрегает истинными целями творчества и так легко подделывается под вкусы публики. Я уважал его трудолюбие и отдавал должное его блистательной карьере. У него было еще много талантов помимо чисто литературных. Но книги его мне не нравились. Впрочем,

здесь на помощь приходил такт, и мы, как я уже говорил, стали некоторые темы обходить молчанием.

Я был на свадьбе Арнольда с Рейчел (я рассказываю о том, что происходило вот уже скоро двадцать пять лет назад). И с тех пор я многие годы каждое воскресенье у них обедал и, кроме того, еще по меньшей мере раз в неделю виделся с Арнольдом в будни. Наши отношения были почти родственными. Одно время Арнольд даже именовал меня своим «духовным отцом». Традиция такого близкого общения, однако, нарушилась после того, как Арнольд позволил себе одно замечание о моей работе, которого я здесь воспроизводить не буду. Но дружба наша сохранилась. Она стала, пройдя испытания, даже еще горячее и, во всяком случае, гораздо сложнее. Не стану утверждать, что мы с Арнольдом были, так сказать, одержимы друг другом. Но, безусловно, мы представляли друг для друга неистощимый интерес. Я чувствовал, что Баффины нуждаются во мне. Я ощущал себя как бы божеством — хранителем их домашнего очага. Арнольд был мне благодарен, даже предан, хотя суда моего, без сомнения, боялся Возможно, что у него самого, неуклонно опускавшегося на дно литературной посредственности, жил в душе такой же строгий судия. Мы часто спешим занять те позиции, которые особенно боимся уступить враждебным нам силам. Неодобрительное отношение к творчеству другого служит у художников почвой для самой глубокой вражды. Мы — честолюбивый народ и можем бесповоротно рассориться из-за критики. И нам с Арнольдом, двум творческим личностям, делает честь, что мы по той или иной причине сумели сохранить взаимную привязанность.

Я хочу подчеркнуть, что успех не «испортил» Арнольда Баффина. Он не стал ловкачом, уклоняющимся от уплаты налогов, владельцем яхты и виллы на Мальте. (Мы иногда в шутку обсуждали законные возможности скостить налоги, но никогда — незаконные способы уклониться от них.) Он жил в довольно большом но, впрочем, достаточно скромном особняке в одном из «зажиточных» кварталов Илинга Домашний уклад его был до раздражения лишен «стиля». И дело не в том, что он изображал из себя обыкновенного, простого человека. В каком-то смысле он действительно был этим обыкновенным, простым человеком и избегал увлечений, которые могли бы потребовать от него, во благо ли, во зло ли, но другого употребления денег. Не помню, чтобы он хоть когда-нибудь покупал красивые вещи. Вообще ему недоставало зрительного вкуса, в то же время он питал довольно воинственную любовь к музыке. Что до его внешности, то он остался все тем же школьным учителем в бесформенной простой одежде и сохранил слегка застенчивый и неотесанный юношеский облик. Изображать из себя великого писателя ему и в голову не приходило. А может быть, ум (а ум у него был достаточно острым) подсказал ему именно такой способ изображать великого писателя. Он носил очки в стальной оправе, из которых выглядывали неожиданно светлые серо-зеленые глаза. Нос у него был острый, лицо слегка лоснящееся, но цвет лица здоровый. В его внешности ощущался некоторый общий недостаток пигментации. Что-то от альбиноса? Он считался и, вероятно, был красивым. У него была привычка постоянно причесывать волосы.

Арнольд посмотрел на меня и молча кивнул на Фрэнсиса. Мы стояли в прихожей. Арнольд был на себя не похож — лицо восковое, волосы взъерошенные, взгляд без очков рассеянный и безумный. На щеке у него рдел какой-то отпечаток, похожий на китайский иероглиф.

— Это доктор Марло. Доктор Марло — Арнольд Баффин. Доктор Марло случайно оказался у меня, когда вы позвонили и сообщили о несчастном случае с вашей женой.— Я сделал ударение на словах «несчастном случае».

— Доктор,— повторил Арнольд.— Да... она... понимаете...

— Она упала? — подсказал я.

— Да. А он... этот господин — доктор медицины?

— Да,— подтвердил я.— Он мой друг.— Эта ложь содержала, по крайней мере, важную информацию.

— А вы — тот самый Арнольд Баффин? — спросил Фрэнсис.

— Тот самый,— ответил я.

— Послушайте, я восхищаюсь вашими книгами. Я читал...

— Что произошло? — обратился я к Арнольду. Мне подумалось, что он похож на пьяного, и тут же я действительно ощутил запах спиртного.

Арнольд медленно и с усилием произнес:

— Она заперлась в спальне. После... после того, что случилось... Было так много крови... Я подумал... Я, право, не знаю... Рана, понимаете, была... Во всяком случае... Во всяком случае... — И он окончательно смолк.

— Продолжайте же, Арнольд. Пожалуй, вам лучше сесть. Ведь верно, лучше будет, если он сядет?

— Арнольд Баффин! — бормотал себе под нос Фрэнсис.

Арнольд прислонился спиной к вешалке в передней, уперся теменем в чье-то пальто, на минуту закрыл глаза и продолжал:

— Простите. Понимаете, она там сначала плакала и кричала. В спальне. А теперь все стихло. И она не отвечает. Может быть, она потеряла сознание или...

— А дверь взломать нельзя?

— Я пробовал. Пробовал. Но долото... дерево крошится, и ничего не...

— Сядьте, Арнольд, ради бога.— Я толкнул его в стоявшее поблизости кресло.

— И в замочную скважину ничего не видно, там ключ...

— Наверно, расстроилась и не хочет отвечать просто из... знаете ведь, как бывает...

— Да, да,— сказал он.— Я же не хотел... Если это все так... Я, право, не знаю... Брэдли, вы сами попробуйте.

— Где ваше долото?

— Там. Оно маленькое. Я не мог найти...

— Ладно, вы оба оставайтесь здесь,— сказал я.— А я поднимусь посмотрю, в чем там дело. Ручаюсь, что... Арнольд, да сядьте же!

Я остановился перед дверью, слегка испорченной стараниями Арнольда. Облупившаяся белая краска лепестками обсыпалась на рыжий коврик перед спальней. Здесь же валялось долото. Я нажал на ручку и позвал:

— Рейчел! Это Брэдли. Рейчел!

Молчание.

— Я принесу молоток,— невидимый, сказал снизу Арнольд.

— Рейчел, Рейчел, ответьте, пожалуйста.— Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Я всей силой надавил на дверь. Она была тяжелая и прочная.— Рейчел!

Молчание.

Я навалился на дверь, громко позвал: «Рейчел! Рейчел!» Потом замолчал и напряженно прислушался. Из-за двери донесся еле слышный шорох, неуловимый, точно мышиный бег. Я молился вслух:

— Господи! Пусть она только будет жива и невредима! Пусть она будет жива и невредима.

Снова шорох. Потом тихий, почти неразличимый шепот:

— Брэдли.

— Рейчел, Рейчел, вы живы?

Молчание. Шорохи. Тихий шелестящий вздох: «Да».

Я крикнул вниз:

— Она жива! Все благополучно!

Позади меня на лестнице послышались их голоса.

— Рейчел, впустите меня, хорошо? Впустите меня.

Что-то зашуршало по двери, и близкий голос Рейчел сипло произнес в щель:

— Входите. Но только вы один.

Ключ повернулся в замке, и я быстро протиснулся в спальню, мельком заметив через плечо на лестнице Арнольда и Фрэнсиса за его спиной. Их лица я увидел с особой отчетливостью, как в толпе у распятия — лица художника и его друга. Губы Арнольда были растянуты в презрительной гримасе страдания. Вид Фрэнсиса выражал нездоровое любопытство. И то и другое подходило для распятия. Переступив порог, я чуть не упал на Рейчел, потому что она сидела у самой двери на полу. Она тихо стонала, дрожащей рукой спеша повернуть ключ. Я запер дверь и опустился рядом с нею на пол.

Поскольку Рейчел Баффин — одно из главных действующих лиц этой драмы, в каком-то трагическом смысле даже самое главное действующее лицо, я хочу здесь задержаться и коротко описать ее. Я знал ее больше двадцати лет, почти столько же, сколько и Арнольда, и, однако, в то время, о котором идет сейчас речь, я знал ее, как стало очевидно впоследствии, довольно плохо. Что-то в ней было для меня неясное. Некоторые женщины, я бы сказал даже, многие женщины, по моим представлениям, отличаются какой-то зыбкостью. Не здесь ли кроется основная разница между полами? Может быть, в женщинах просто сказывается отсутствие эгоизма? (В этом отношении с мужчинами все ясно.) У Рейчел это шло, во всяком случае, не от недостатка ума. Но существовала какая-то неопределенность, и все ее хорошее отношение ко мне, и моя многолетняя, почти родственная связь с Баффинами не могли эту неопределенность рассеять и даже, наоборот, пожалуй, усиливали. Мужчины, несомненно, играют в жизни роли. Но и женщины тоже играют роли, только менее четкие. В театре жизни им достается меньше выигрышных реплик. А может быть, я измышляю загадки там, где все очень просто. Рейчел была умная женщина, жена знаменитого человека, такая женщина инстинктивно держится как простое отражение своего мужа, она как бы направляет на него все лучи. Ее зыбкость не возбуждала и простого любопытства. От такой женщины даже честолюбия не приходится ждать; тогда как нас с Арнольдом, каждого на свой лад, буквально терзало и, пожалуй, направляло в жизни неуемное честолюбие. Рейчел можно было назвать (в том смысле, в каком никогда не скажешь этого о мужчине) «молодчагой» и «славным малым». На нее можно было положиться, это уж бесспорно. С виду это была (тогда) крупная приятная женщина, довольная жизнью, хорошая и умная жена известного обольстителя. У нее было широкое, белое, слегка веснушчатое лицо и жестко торчащие рыжие волосы. Ростом, пожалуй, она была немного великовата для женщины и вообще физически как-то превосходила мужа. В последние годы она стала заметно прибавлять в весе, человек посторонний мог бы сказать — разжирела. Она постоянно была занята благотворительностью или политикой слегка левого толка (сам Арнольд по-

литикой не интересовался). Словом, она была превосходной «домашней хозяйкой» и часто именно так себя и величала.

— Рейчел, вы не пострадали?

Под левым глазом у нее наливался багровый синяк. И глаз уже начал заплывать, хотя это не сразу было заметно, потому что оба глаза распухли и покраснели от слез. Верхняя губа с одной стороны тоже распухла. На шее и спереди на платье была кровь. Всклокоченные волосы казались темнее обычного, словно мокрые, быть может, они и в самом деле намокли в потоке ее слез. Она тяжело, прерывисто дышала. Ворот ее платья был расстегнут, и в прорези виднелось белое кружево и выпиравшее над ним рыхлое тело. Она так сильно плакала, что лицо ее распухло до неузнаваемости, оно было мокрым, лоснившимся и как бы раскаленным. Теперь она снова расплакалась и, отшатнувшись от моей дружеской руки, стала рассеянно стягивать у горла платье.

— Рейчел, вы ранены? Я привез врача.

Она стала грузно подниматься с пола, опять отстранив мою поддерживающую руку. От ее прерывистого дыхания на меня пахнуло спиртным.

Затрещал придавленный коленом подол платья. Потом она не то бросилась, не то упала на разоренную постель в глубине комнаты. Рухнула на спину, пытаясь прикрыться одеялом — безуспешно, потому что она лежала на нем,— и только закрыв руками лицо, зарыдала страшно, в голос, в самозабвении горя некрасиво раскинув на постели ноги.

— Рейчел, ну, пожалуйста, возьмите себя в руки. Вот, выпейте воды.— Выносить этот отчаянный плач было выше моих сил, я испытывал чувство, близкое смущению, но только гораздо более сильное, оно и мешало и тянуло смотреть на нее. Женский плач пугает и мучит нас сознанием вины; а этот женский плач был ужасен.

Арнольд за дверью кричал:

— Впусти меня, Рейчел, пожалуйста, умоляю!..

— Перестаньте, Рейчел, слышите? — сказал я.— Это непереносимо. Перестаньте. Я пойду отопру дверь.

— Нет, нет! — без голоса, как бы шепотом, взвыла она.— Только не Арнольда, только не...

Неужели она все еще его боялась?

— Я впущу врача.

— Нет, нет!

Я открыл дверь и отстранил ладонью Арнольда.

— Войдите и осмотрите ее,— сказал я Фрэнсису.— У нее кровь.

Арнольд в дверях громко и жалобно взывал:

— Дорогая, прошу тебя, позволь мне только на тебя взглянуть, не сердись, ну, пожалуйста...

Я оттолкнул его к лестнице. Фрэнсис вошел в спальню и запер за собою дверь — то ли из деликатности, то ли по правилам своей профессии.

Арнольд сел на верхнюю ступеньку и застонал:

— О господи, господи, господи...

К моему испугу и смущению примешалось теперь какое-то жуткое, манящее любопытство. Арнольд, позабыв о том, что за зрелище он собой являет, сидел, запустив обе руки в волосы, и стонал:

— Господи, ну и кретин, ну и кретин!..

Я сказал:

— Успокойтесь. Что у вас тут произошло?

— Где взять ножницы? — крикнул из-за двери Фрэнсис.

— В верхнем ящике туалетного столика,— отозвался Арнольд.— Господи! Зачем ему ножницы? Неужели он хочет оперировать?..

— Что у вас произошло? Давайте спустимся немного.

Я подтолкнул Арнольда, и он, скрючившись и держась за перила, сполз за поворот лестницы и сел на ступеньку внизу, держась за голову и уставясь в пол. В прихожей у них всегда стоял полумрак, потому что стекло над входной дверью было цветное. Я обошел Арнольда и сел в кресло. На душе у меня было какое-то странное тягостное смятение.

— О господи, господи! Вы думаете, она простит меня?

— Конечно. Но что же...

— Все началось с обыкновенной дурацкой ссоры из-за моей новой книги. Черт! Как можно быть таким кретином!.. Обычно мы не спорим о моих книгах, то есть просто Рейчел все нравится и она считает, что спорить не о чем. Иногда только, если ей нездоровится или что-нибудь такое, она прицепится к какому-нибудь месту и начинает говорить, что это про нее или что там описывается какой-то случай, который был с нами, ну, все в таком духе. Но вы ведь знаете, я не пишу так, прямо с натуры, у меня в книгах все вымышленное, а Рейчел иногда ни с того ни с сего взбредет в голову, будто она обнаружила что-то для себя обидное, оскорбительное, унижающее, вдруг какая-то прямо мания преследования, и расстраивается она из-за этого ужасно. Обычно людям, кого ни возьми, до смерти хочется попасть в книгу, угадывают себя где и не придумаешь, а Рейчел прямо взвивается, если я даже вскользь упомяну какое-нибудь место, где, скажем, мы с ней были вдвоем,— для нее тогда все испорчено. Но все равно, о господи, Брэдли, ну что я за идиот!.. Словом, все началось с такой пустяковой ссоры, но потом она сказала одну обидную вещь о моей работе в целом, сказала, что... ну, неважно... мы начали ругаться, ну и я, вероятно, тоже высказался о ней не слишком одобрительно, просто для самозащиты, а тут еще мы пили с ней коньяк с самого обеда... Как правило, мы много не пьем, но мы начали ссориться и все наливали себе и наливали, с ума сойти можно. Кончилось тем, что она страшно распалилась, уже себя не помнила и заорала на меня, как будто ее режут, а я этого не выношу. Я толкнул ее слегка, только чтобы она перестала орать, а она вцепилась мне в щеку ногтями, вон как разодрала, а, черт, больно. Ну, я перепугался и стукнул ее: надо же было, чтобы она замолчала. Совершенно не могу выносить крики, вопли и сцены, я их просто боюсь. Она визжала, как фурия, выкрикивала разные невозможные вещи о моих книгах, и я ударил ее рукой, чтобы прекратить эту истерику, но она все бросалась и бросалась на меня, и я наклонился и поднял у камина кочергу, чтобы не подпускать ее к себе, а она как раз в это время дернула головой — она ведь плясала вокруг меня как бешеная — и как раз дернула головой и прямо наткнулась на кочергу. Звук был такой ужасный — о господи! Я, разумеется, не хотел ее ударить, то есть я ее и не ударил... Она упала на пол и лежала так неподвижно, глаза закрыла, мне даже казалось, что она перестала дышать... Ну, и вот. Я страшно перепугался, схватил кувшин с водой и вылил на нее, а она лежит и не двигается. Я был вне себя... А когда я отошел, чтобы принести еще воды, она вскочила и убежала наверх и заперлась в спальне... Я просил, но она не отпирала и не отзывалась. Нельзя было понять, то ли она это назло притворяется, то ли действительно ей худо, ну, вот я и не знал, что мне делать... О господи, ведь я же не хотел ее ударить..

Наверху послышались шаги, звук отпираемой двери. Мы оба вскочили. Фрэнсис свесился вниз и проговорил: «Все в порядке». Его потрепанный синий пиджак был покрыт каким-то странным рыжеватым

ворсом, и я догадался, что это волосы Рейчел: очевидно, он остриг ее, чтобы осмотреть ей голову. Его невообразимо грязная рука сжимала белые перила.

— Слава богу,— сказал Арнольд.— Знаете, я думаю, что она все время просто притворялась. Но все равно слава богу. Что нужно?..

— Серьезных повреждений нет. У нее большая шишка на темени и состояние неглубокого шока. Возможно, легкое сотрясение мозга. Пусть полежит в постели в затемненной комнате. Аспирин, любое успокоительное средство, что она там у вас принимает на ночь, грелки, горячее питье, то есть чай, и прочее. Лучше показать ее вашему лечащему врачу. Она скоро оправится.

— Ах, спасибо, доктор,— сказал Арнольд.— Значит, ничего страшного, слава богу.

— Она хочет видеть вас,— сказал Фрэнсис мне. Мы успели снова подняться на площадку.

Арнольд опять начал звать:

— Дорогая, дорогая! Пожалуйста...

— Я узнаю, в чем дело,— сказал я и приотворил оставленную незапертой дверь.

— Только Брэдли, только Брэдли! — Голос, все еще еле слышный, звучал несколько тверже.

— О господи! Это ужасно. Разве мало я... — застонал Арнольд. — Дорогая!

— Подите вниз и налейте себе еще рюмку — сказал я ему.

— Я бы не отказался от рюмочки,— ввернул Фрэнсис.

— Не сердись на меня, пожалуйста, дорогая!..

— Выкиньте сюда мой плащ, если не трудно,— попросил Фрэнсис.— Я его там оставил на полу.

Я вошел, подобрал и выкинул ему плащ и снова закрыл дверь. Было слышно, как Арнольд с Фрэнсисом спускаются по лестнице.

— Заприте дверь.

Я повернул ключ.

Фрэнсис задернул шторы, и теперь в комнате стоял густой розоватый сумрак. Вечернее солнце, бледно сиявшее за окном, уныло подсвечивало крупные лопоухие цветы на полотне. Здесь все дышало скукой спален, той зловещей, тоскливой заурядностью, которая служит напоминанием о смерти. Туалетный стол может быть ужасен. У Баффинов он стоял у окна, загораживая свет, и являл улице свою безобразную изнанку. Стеклянная поверхность была покрыта слоем пыли и заставлена всевозможными флаконами, завалена тюбиками, заброса на катышками вычесанных волос. Ящики были задвинуты не полностью, виднелось розовое белье, свисали какие-то ленточки, бретельки. На кровати был хаос и разорение; зеленое покрывало из искусственного шелка низвергалось в одну сторону, простыни и одеяла были скомканы и смяты, точно старческое лицо. В воздухе стоял теплый, нескромный, обезоруживающий запах пота и пудры. Вся комната дышала немым ужасом смерти, тупым, бездушным, необратимым.

Не знаю почему я тогда сразу и так пророчески подумал о смерти. Может быть, потому, что Рейчел, наполовину прикрытая одеялом, натянула на лицо край простыни.

Ноги ее в лакированных туфлях на высоком каблуке торчали из-под зеленого шелкового покрывала. Робко, чтобы как-то завязать разговор и вызвать ее на ответ, я сказал

— Дайте-ка я сниму с вас туфли.

Она не пошевелилась, и я с трудом стянул с нее туфли. Рука моя ощутила мягкое тепло ступни в коричневом чулке. Едкий кислый запах влился в пресную атмосферу комнаты. Я отер ладони о брюки.

— Лучше ложитесь в постель по-настоящему. Сейчас я немного поправлю одеяло.

Она подвинулась, откинула простыню с лица и даже приподняла ноги, чтобы я мог вытащить из-под нее одеяло. Я немного расправил одеяло, натянул его на нее, отвернул край простыни. Она уже больше не плакала, а только лежала и потирала синяк на скуле. Он стал темнее, растекся вокруг глазницы, глаз совсем сузился, осталась только слезящаяся щель. Влажный, опухший рот ее был слегка приоткрыт, неподвижный взгляд устремлен в потолок.

— Я налью вам грелку, хорошо?

Я отыскал резиновую грелку, наполнил ее в ванной горячей водой. От ее засаленного шерстяного чехла пахло потом и сном. Он слегка подмок у меня с одной стороны, но вода была вполне горячая. Я приподнял край одеяла и простыни и сунул грелку куда-то к ее бедру.

— Аспирину, Рейчел? Это у вас аспирин здесь?

— Спасибо, не надо.

— Поможет вам.

— Нет.

— Вы быстро оправитесь, доктор так сказал.

Она очень глубоко вздохнула и уронила руку на одеяло. Она лежала теперь вытянув по бокам руки кверху ладонями, точно вынутый из гробницы Иисус, на чьем мертвом теле еще видны следы жестокого обхождения. К пятнам высохшей крови по переду синего платья пристали обрезки волос. Глухим, но уже немного окрепшим голосом она проговорила:

— Какой ужас, какой ужас, какой ужас.

— Ничего страшного, Рейчел, вы быстро оправитесь, доктор говорит, что...

— Я просто уничтожена. Я... я умру со стыда.

— Глупости, Рейчел. Обычная вещь.

— И он еще зовет вас — чтоб вы видели.

— Рейчел, он дрожал как лист, он думал, что вы лежите здесь без сознания, он был вне себя от страха.

— Я никогда не прощу его. Вы будете моим свидетелем. Никогда не прощу. Никогда Никогда! Пусть хоть двадцать лет простоит передо мной на коленях. Такие вещи женщина не прощает. И когда понадобится, не подаст руку помощи. Он тонуть будет, я пальцем не пошевельну.

— Рейчел, вы сами не понимаете, что говорите. Ради бога, оставим эту отвратительную декламацию. Конечно, вы его простите. Я уверен, что вы тут оба виноваты. Ведь вы же тоже его ударили, вон какую монограмму оставили на щеке.

— О-ох! — Ее возглас выразил грубое, почти вульгарное отвращение.— Никогда,— повторила она.— Никогда, никогда. О-о, я так... так несчастна! — Завывания и слезы возобновились. У нее горели щеки.

— Перестаньте, пожалуйста. Вам нужно отдохнуть. Примите вот аспирин. И попробуйте уснуть. А хотите, я принесу чаю?

— Уснуть! Когда у меня на душе такое! Он послал меня к дьяволу. Отнял всю мою жизнь. Он все, все испортил. Я ничуть не глупее его. Но он меня обездолил. Я не могу работать, не могу думать, не могу существовать — и все из-за него. Его писания — повсюду. Он у меня все отбирает, все присваивает себе. А я не могу даже быть самой собой, не могу жить собственной жизнью. Просто я его боюсь, вот и все. Все мужчины, в сущности, презирают женщин. А все женщины боятся мужчин. Просто мужчины физически сильнее, вот и все, в этом

все и дело. Они пользуются своей силой, за ними всегда последнее слово. Можно спросить любую женщину в бедных кварталах, они там знают. Он поставил мне синяк под глазом, как обыкновенный хулиган, как все эти пьянчуги мужья, которых потом судят. Он и раньше меня бил, это ведь не первый раз, какое там. Он не знает, я ему не говорила, но когда он в первый раз меня ударил, наш брак на этом кончился. И он говорит обо мне с другими женщинами, я знаю, он делится с другими женщинами, обсуждает меня с ними. Они так им восхищаются, так ему льстят. Он отнял у меня всю мою жизнь и все, все испортил, все разбил, изуродовал, живого места не оставил, словно все косточки переломал, все уничтожил, погубил, все отнял.

— Перестаньте, Рейчел, перестаньте, пожалуйста, я не хочу слушать. Вы сами не понимаете, какой вздор твердите. И не говорите мне, пожалуйста, таких вещей. Потом пожалеете.

— Я не глупее его Он не разрешал мне пойти работать. И я подчинялась, я ему всегда подчинялась. У меня нет ничего своего. Весь мир принадлежит ему. Все — его, его, его! Нет, если нужно будет, я не подам ему руку помощи. Пальцем не шевельну, пусть тонет. Пусть огнем горит.

— Вы ведь не всерьез это говорите, Рейчел. Вот и не надо говорить.

— Я и вас никогда не прощу за то, что вы видите меня в таком состоянии, с разбитым лицом и слышали, как я говорила все эти ужасные вещи. Я буду вам улыбаться, но в душе никогда не прощу.

— Рейчел, Рейчел, зачем вы меня огорчаете?

— Вот сейчас вы спуститесь к нему и будете гадко говорить с ним обо мне. Знаю я эти мужские разговоры.

— Нет, что вы!

— Я вам отвратительна. Жалкая, скулящая пожилая тетка.

— Да нет же...

— О-ох! — Опять этот ужасный возглас глубочайшего, нестерпимого отвращения.— Теперь, пожалуйста, уйдите и оставьте меня. Оставьте меня наедине с моими мыслями, с моей мукой, с моим возмездием. Я буду плакать всю ночь, всю ночь напролет. Извините меня, Брэдли. Передайте Арнольду, что я должна отдохнуть и прийти в себя. Пусть оставит меня сегодня в покое. Завтра я постараюсь, чтобы все было как обычно. Никаких упреков, жалоб — ничего. Как я могу его упрекать? Он опять разозлится, опять меня испугает. Лучше уж оставаться рабыней. Передайте ему, что завтра я буду такой же, как всегда. Да он, конечно, и сам это знает и нисколько не тревожится, он уже успокоился. Только сегодня, пожалуйста, я не хочу его видеть.

— Хорошо, я передам. Не сердитесь на меня, Рейчел. Я ведь не виноват.

— Пожалуйста, уходите.

— А может, принести вам чаю? Доктор сказал: горячего.

— Уходите.

Я вышел из спальни и тихо закрыл за собою дверь. Раздались быстрые мягкие шаги, в замке повернулся ключ. Я спустился по лестнице с чувством растерянности и — да, она была права — отвращения.

За это время стемнело, солнце больше не сияло на улице, и все в доме стало коричневым и холодным. Я вошел в гостиную, где сидели и беседовали Арнольд с Фрэнсисом. Горел свет, и был включен электрокамин. Я увидел осколки стекла и фарфора, пятно на ковре. Гостиная у них в доме была большая, вся увешанная машинными коврами и скверными современными литографиями Много места в ней занимали два огромных динамика от Арнольдова стереопроигрывателя, затянутые оранжевой кисеей. Сквозь выходящую на веранду стек-

лянную дверь открывался вид на столь же изобиловавший красотами сад, весь назойливо зеленый в грозном, бессолнечном свете, и бесчисленные птицы наперебой распевали там свою лирическую бессмыслицу, порхая в декоративных пригородных деревцах.

Арнольд вскочил при виде меня и бросился к двери, но я остановил его.

— Она сказала, чтобы сегодня к ней больше никто не приходил. Завтра, она сказала все будет как обычно. Но сейчас она хотела бы заснуть.

Арнольд сел.

— Да, будет лучше, если она сейчас поспит немного,— сказал он.— Бог мой, какая гора с плеч. Пусть отдохнет. Наверно, через часок-другой сама спустится к ужину. Приготовлю ей что-нибудь вкусное, сюрприз. Господи, какое облегчение.

Я почувствовал, что должен слегка умерить его восторги. Я сказал:

— Однако это был довольно серьезный несчастный случай.— Я надеялся, что Арнольд без меня не вздумал исповедоваться Фрэнсису.

— Да, да. Но она спустится, я знаю. Она вообще быстро приходит в себя. Я, конечно, не буду теперь ей мешать, пусть отдохнет. Доктор говорит, это не... Налить вам, Брэдли?

— Да пожалуйста. Хересу.

Он просто не понимает, думал я, что он наделал, не представляет себе, как она сейчас выглядит, что чувствует. Совершенно очевидно, что он никогда даже не пытался заглянуть ей в душу. Возможно, конечно что им руководит инстинкт самосохранения. Он умеет закрывать глаза на собственные проступки. А может быть, я заблуждаюсь? Не исключено, что уже сейчас, отведя душу, она успокоилась. Спустится к ужину и будет с удовольствием уписывать приготовленные мужем деликатесы. Брак — это загадочная область.

— Все хорошо, что хорошо кончается,— говорил Арнольд.— Очень жаль, что я вас обоих втянул в эту историю.

Без сомнения, он действительно сожалел об этом. Он, наверное, думал сейчас, что, не потеряй он сегодня на минуту присутствия духа, никто бы ничего не знал и все осталось бы между ними. Однако, как и предсказывала Рейчел, он успел заметно оправиться от потрясения. Он сидел очень прямо, бережно держа в ладонях стакан, и закинув ногу за ногу, ритмично покачивал маленькой, аккуратной, хорошо обутой стопой. Вообще во внешности Арнольда все казалось небольшим и аккуратным, хотя он, собственно, был среднего роста. У него была небольшая, красивой лепки голова, маленькие уши, маленький рот — в пору хорошенькой девушке — и несуразно маленькие ноги. Он успел снова водрузить на нос очки в стальной оправе, и лицо его опять разрумянилось и залоснилось. Его острый нос нюхал воздух, обращенные ко мне глаза неуверенно поблескивали. Светлые гладкие волосы снова были зачесаны со лба назад.

Теперь надо было отделаться от Фрэнсиса. Он уже успел надеть свой синий плащ, но скорее, так сказать, для самозащиты, чем в намерении проститься и уйти. Он опять налил себе виски. И заправив за уши курчавые волосы, вопросительно поглядывал то на меня, то на Арнольда своими близко поставленными медвежьими глазами. Вид у него был необычно самодовольный. Может быть, неожиданное возвращение в прежний сан, пусть даже случайное, минутное, подбодрило его, придало ему немного уверенности в собственных силах. Глядя на его оживленное, заинтересованное лицо, я вдруг с ужасом вспомнил о принесенном им известии и почувствовал к нему резкую не-

приязнь. Совершенно незачем мне было брать его с собой сюда. Его знакомство с Арнольдом могло возыметь самые нежелательные последствия. У меня есть правило — никогда не знакомить между собой своих друзей и близких. Не потому, что боишься предательства, хотя, конечно, приходится бояться. Есть ли у человека страх глубже этого? Но просто от таких знакомств не оберешься потом всяких зряшных неприятностей. А Фрэнсис, хоть и неудачник, не заслуживающий серьезных опасений, имел, как и все неудачники, особый талант навлекать неприятности. Его самозваное посольство было в этом отношении типичным. Его надо было выдворить безотлагательно. К тому же я хотел поговорить с Арнольдом, я видел, что он в разговорчивом, возбужденном, почти эйфорическом состоянии. Очевидно, я ошибся, когда решил, что он уже овладел собой. Здесь сказывался скорее шок и виски.

Не садясь, я обратился к Фрэнсису:

— Мы больше вас не задерживаем. Спасибо за визит.

Фрэнсису не хотелось уходить:

— Рад был помочь. Может, мне сходить взглянуть на нее?

— Она вас не захочет видеть. Спасибо за визит.— Я открыл дверь из гостиной.

— Не уходите, доктор,— сказал Арнольд. Может быть, ему нужна была мужская поддержка, мужская компания. А может быть, у них тут был интересный разговор. Арнольд умел якшаться с грубыми, простыми людьми. Возможно, что в браке это тоже полезное свойство. Стакан у него в руке легонько лязгнул о зубы. Он, видимо, успел немало выпить с тех пор, как спустился в гостиную.

— Всего хорошего,— многозначительно сказал я Фрэнсису.

— Я так вам благодарен, доктор,— опять вмешался Арнольд.— Должен я вам что-нибудь?

— Ничего вы ему не должны,— сказал я.

Фрэнсис с тоской во взоре поднялся, послушный моему приказу, вероятно понимая, что сопротивляться бесполезно.

— Насчет того, о чем мы раньше говорили,— заговорщицки зашептал он у порога.— Когда вы увидите Кристиан...

— Я ее не увижу.

— Ну, все равно, вот мой адрес.

— Он мне не понадобится.— Я вывел его в прихожую.— До свидания. Спасибо.

Я закрыл за ним дверь и вернулся к Арнольду. Мы сидели один напротив другого, оба слегка склонившись к электрическому теплу. Я чувствовал себя совсем разбитым и как-то неопределенно встревоженным.

— Вы непреклонны со своими друзьями,— сказал Арнольд.

— Он мне не друг.

— Мне казалось, вы сказали...

— Ну, хватит о нем. Вы думаете, Рейчел в самом деле спустится к ужину?

— Да. Тут у меня есть опыт... Она не дуется подолгу после таких историй, когда я выхожу из себя. Наоборот, бывает со мной особенно добра. Вот если я держу себя в руках, тут она может бог знает до чего дойти. Конечно, такие стычки у нас случаются не часто. Но иногда мы просто оба взрываемся, и тут же все как рукой снимает, это дает разрядку. В сущности мы очень близки друг другу. Эти скандалы не есть проявление вражды между нами, это — другой лик любви. Постороннему, наверно, нелегко это понять.

— Вероятно, как правило, при этом не бывает посторонних?

— Конечно. Вы ведь мне верите, Брэдли?. Мне важно, чтобы вы

мне верили. Для меня это не просто попытка самозащиты. Я забочусь о том, чтобы дать вам правильное представление. Мы оба орем, но это не опасно. Понимаете?

— Да,— ответил я неопределенным тоном.

— Она говорила что-нибудь обо мне?

— Только о том, что не хочет вас сегодня видеть. И что завтра все будет как обычно забудется и простится.— Не было никакого смысла передавать ему слова Рейчел. Да и что она, собственно, в них вкладывала?

— Она очень хороший человек, такая добрая, великодушная. Я пока не буду ее тревожить. И она скоро пожалеет меня и сама спустится. Мы никогда не затягиваем ссор затемно. Да это и ссоры-то ненастоящие. Вы понимаете, Брэдли?

— Да.

— Видите? — сказал Арнольд.— Рука дрожит. Стакан так ходуном и ходит. Странно, да?

— Вам надо будет завтра самому вызвать доктора.

— О, завтра, я думаю, мне будет лучше.

— Да нет же. К ней вызвать.

— Ну, может быть. Но она очень быстро приходит в себя. Да и потом, она не особенно пострадала, я об этом специально справлялся. Слава богу, слава богу, слава богу! Я просто обманулся с этой кочергой. И я не виню Рейчел. Оба мы потрясающие глупцы. Но она не сильно пострадала, Брэдли. Доктор мне объяснил, как оно есть. Господи, вы, наверное, считаете меня чудовищем?

— Нет. Разрешите, я немного здесь приберу?

Я поднял опрокинутую табуретку. И стал ходить по комнате с корзиной для бумаг, подбирая осколки стекла и фарфора, свидетельства недавнего сражения, которое уже представлялось нереальным, невозможным. Среди жертв его оказался знакомый мне красноглазый фарфоровый кролик, любимая статуэтка Рейчел. Кто его разбил? Может быть, она сама?

— Мы с Рейчел очень счастливая супружеская пара,— говорил тем временем Арнольд.

— Да, не сомневаюсь.— Возможно, что он был прав. Возможно, они и в самом деле были счастливой парой. Я снова сел, ощущая страшную усталость.

— Конечно, бывает, что мы и повздорим. Брак — это долгое плаванье в тесной каюте. Естественно, нервы сдают. В каждом женатом человеке сидит скрытый зверь, иначе просто не может быть. Вы вот не поверите, а ведь Рейчел может быть невыносимо нудной. Иной раз как начнет пилить, так конца нет. Особенно в последнее время. Возраст, вероятно. Вы не поверите, но она может одно и то же твердить целый час подряд.

— Женщины любят всякие разговоры.

— Это не разговоры. Просто повторяет без конца одну и ту же фразу.

— Как? Слово в слово? Тогда ее надо показать психиатру.

— Нет, нет... Вот это и значит, что вы представления не имеете... Казалось бы, безумие, но она абсолютно в здравом уме. Пройдет еще полчаса, и она уже напевает, готовит ужин. Так всегда бывает, и я это знаю, и она — тоже. Брак строится на индукции.

— Какие же фразы она повторяет? Приведите пример.

— Не могу. Вы не поймете. Вам это покажется ужасным, а в действительности ничего подобного. Заберет что-нибудь в голову и катает. Например, что я обсуждаю ее с другими женщинами.

— А вы не из тех мужей, которые?..

— То есть не гуляю ли? Разумеется, нет. Господи, да я образцовый муж. И Рейчел это превосходно знает. Я всегда говорю ей правду, и она знает, что у меня нет никаких там связей, интрижек... Когда-то были, верно, но я все ей рассказал, да это и было в незапамятные времена. Что же, мне нельзя и разговаривать с другими женщинами? Мы ведь не викторианцы. Мне нужно иметь друзей, иметь возможность свободно разговаривать с ними, этим я не могу пожертвовать. Вообще неправильно уступать, если потом будешь мучиться и раскаиваться, нельзя этого делать. Да она и сама этого не хочет, это безумие. Почему мне нельзя иной раз и поговорить о ней с кем-нибудь? Смешно. Разве это запретная тема? Просто откровенные, дружеские беседы, и я не говорю ничего, что не предназначалось бы для ее ушей. Я, например, не возражаю, чтобы она говорила обо мне со своими знакомыми. Подумаешь, священный предмет. И разумеется, она говорит, у нее масса знакомых, она вовсе не затворница. Она утверждает, что загубила свои таланты, но это неправда, есть сотни способов для самовыражения — разве непременно надо быть художником, черт возьми? Она толковая женщина, могла бы работать какой-нибудь там секретаршей, если бы хотела, но хочет ли она этого? Конечно, нет. Совершенно пустые жалобы, и она это знает, в ней просто говорит минутная обида на меня. У нее много интересных дел, она заседает во всевозможных комитетах, участвует в каких-то там кампаниях за то и за это, знакома с разными людьми, с членами парламента, с такими шишками, не мне чета. Ее жизнь вовсе не загублена.

— Просто на нее нашло,— сказал я.— На женщин иногда находит.— Исполненный муки голос, который я слышал наверху, уже казался мне далеким. И тут мне пришло в голову, что все происходит именно так, как она и предсказала.

— Я знаю,— вздохнул Арнольд.— Простите меня, Брэдли. Я взбудоражен и наговорил глупостей. Переволновался, потом от сердца отлегло, ну вот и... Наверно, я сейчас был несправедлив к Рейчел. В действительности все обстоит не так плохо. Вообще не плохо. Надо помнить, что в том возрасте, которого она сейчас достигла, у женщин всегда появляются кое-какие странности. Потом это, кажется, проходит. Они в это время оглядываются на прожитую жизнь. И, понятно, испытывают чувство потери, расставания с молодостью. Тут истерики не в диковинку, мне кажется.— Он добавил: — Она очень женственная женщина. В таких всегда скрыта большая сила. Она удивительная женщина.

Наверху послышался шум спущенной воды. Арнольд привстал было, но тут же снова опустился в кресло.

— Вот видите,— проговорил он.— Она скоро сойдет вниз. Не надо пока ее трогать. Напрасно я вас потревожил, Брэдли, простите меня, не было никакой надобности, я просто потерял голову от страха.

Я подумал, что еще через некоторое время он почувствует за это ко мне неприязнь. И сказал ему:

— Само собой разумеется, об этом никто не узнает.

Арнольд с легкой досадой в голосе заметил:

— Это уж как вам будет угодно. Я не прошу о соблюдении тайны. Еще чересу? Почему вы выставили этого медика так, я бы сказал, по-хамски?

— Хотел поговорить с вами.

— А что он такое говорил вам под конец?

— Так, ничего.

— Что-то насчет Кристиан. Это он о вашей бывшей жене? Кажется, ее так звали? Жаль, я не успел с ней познакомиться, вы так рано от нее отделались.

— Пожалуй, мне теперь лучше уйти. Скоро Рейчел сойдет вниз состоится сцена примирения.

— Еще через часок, я думаю, не раньше.

— Вероятно, это одна из тех тонких индукций, которыми живут женатые люди. Но все-таки...

— Не уклоняйтесь, Брэдли. Это он о вашей прежней жене говорил, так или нет?

— Так. Он ее брат.

— Ну? Брат вашей бывшей жены. Как трогательно. Вот жаль, я не знал, а то бы я внимательнее его рассмотрел. Так вы миритесь, что ли?

— Нет.

— Да не отнекивайтесь, что-то же произошло?

— А вы любите, когда что-то происходит, верно? Она возвращается в Лондон. Овдовела. И все это не имеет ко мне ни малейшего отношения.

— Почему же? Разве вы не собираетесь с ней увидеться?

— А зачем мне, интересно знать, с ней видеться? Она мне не нравится.

— Боже, как картинно, Брэдли. Сколько достоинства! А ведь прошло так много времени. Я бы умирал от любопытства. Я-то, прямо скажу, очень хотел бы познакомиться с вашей бывшей женой. Никак не могу себе представить вас женатым мужчиной.

— Я тоже.

— Так, значит, этот доктор — ее брат. Ну и ну.

— Он не доктор.

— То есть как это? Вы же сами сказали.

— Его лишили диплома.

— Бывшая жена. Бывший врач. Как интересно. За что же?

— Не знаю. Что-то там в связи с наркотиками.

— Что именно в связи с наркотиками? Что он сделал?

— Не знаю! — ответил я, чувствуя, как во мне поднимается раздражение.— И не интересуюсь. Он мне всегда был неприятен. Какая-то темная личность. Кстати, вы, я надеюсь, не говорили ему, что у вас на самом деле произошло? Я ему сказал, что это несчастный случай.

— Ну, что у нас на самом деле произошло, не так-то трудно... Мог, наверно, догадаться.

— Упаси бог. Он способен шантажировать вас.

— Этот человек? Ну что вы!

— Во всяком случае, из моей жизни он, слава богу, давным-давно исчез.

— Но теперь вернулся. Ну и строгий же вы, Брэдли.

— Есть вещи, которых я, как это ни странно, не одобряю.

— Не одобрять вещи — это куда ни шло. Плохо не одобрять людей. Можешь оказаться в изоляции.

— Я и хочу быть в изоляции от таких людей, как Марло. Чтобы существовать как личность, надо уметь провести границы и сказать чему-то «нет». Я не желаю туманным комком протоплазмы блуждать по чужим жизням. Такое зыбкое сочувствие ко всем исключает действительное понимание кого бы то ни было...

— Сочувствие вовсе не обязательно должно быть зыбким.

— ...исключает и действительную преданность кому бы то ни было.

— Но надо знать подробности. В конце концов, справедливый суд...

— Я не выношу сплетен и пересудов. Надо уметь держать язык

за зубами. Не только не судачить, но иногда даже *не думать*. Настоящие мысли рождаются из молчания.

— Брэдли, прошу вас, не надо так. Вы же не дослушали. Я говорил, что для справедливого суда нужно знать подробности. А вас, видите ли, не интересует, за что его лишили диплома. И напрасно! Вы называете его довольно темной личностью. А мне бы хотелось знать, в чем это сказывается. Но того вы, видно, мне сказать не можете.

С трудом сдерживая раздражение, я сказал:

— Я был рад избавиться от жены, и при этом он тоже ушел из моей жизни. Разве не понятно? По-моему, понятнее некуда.

— А мне он понравился. Я пригласил его бывать у нас.

— Господи!

— Но, Брэдли, нельзя так отвергать людей, нельзя их вычеркивать. Надо относиться к ним с любопытством. Любопытство — это своего рода милосердие.

— Я не считаю любопытство милосердием. По-моему, это скорее своего рода недоброжелательство.

— Знание подробностей — вот что делает писателя...

— Такого писателя, как вы, но не такого, как я.

— Ну, вот опять,— сказал Арнольд.

— Для чего нагромождать детали? Когда начинает всерьез работать воображение, от подробностей все равно приходится отвлекаться, они мешают. Надерганные из жизни подробности — это не искусство.

— А я этого и не говорю! — закричал Арнольд.— Я не беру материал прямо из жизни.

— Ваша жена считает, что берете.

— Еще и это! О господи!

— Нахальная болтовня и перечни подмеченных деталей — это еще не искусство.

— Конечно.

— И зыбкий романтический миф — тоже еще не искусство. Искусство — это воображение! Воображение пресуществляет, плавит в своем горниле. Без воображения остаются, с одной стороны, одни идиотские детали, с другой — пустые сны.

— Брэдли, я знаю, вы...

— Искусство — это не болтовня плюс выдумки. Искусство рождается из бесконечного самоотречения и безмолвия.

— Из бесконечного безмолвия вообще ничего не родится! Только люди, лишенные творческого дара, могут утверждать, что больше значит хуже!

— Что-то создать, завершить можно лишь тогда, когда чувствуешь на это неоспоримое, заслуженное право. Те, кто выбирает себе задачу по принципу наименьшей затруднительности, никогда не сподобятся...

— Чушь. Я пишу независимо от того, легко мне или трудно. И завершаю любую работу, удалась она мне или не удалась. Все прочее — лицемерие. У меня нет музы. Это и значит быть профессиональным писателем.

— В таком случае, я, слава богу, не профессиональный писатель.

— Это невыносимо, Брэдли. Вы слишком романтизируете искусство. Превращаете его в какой-то мазохизм. Вам непременно нужно страдать, непременно нужно ощущать, что ваше творческое бессилие исполнено смысла.

— Оно действительно исполнено смысла.

— Да бросьте. Не надо заноситься, пусть светлый луч проглянет. Зачем так себя изводить? Ваша беда, что вы упорно воображаете себя «писателем». Почему бы не считать себя просто человеком, который

изредка кое-что пишет, который, возможно, еще напишет кое-что в будущем? Зачем делать из этого трагедию всей жизни?

— Я не считаю себя писателем, во всяком случае, не в том смысле, который вкладываете сюда вы. А вы себя считаете, я знаю. Вы — «писатель» с головы до пят. А я нет. Я себя считаю художником, человеком посвященным. И это, конечно, трагедия моей жизни. Или вы хотите сказать, что я — дилетант?

— Нет, нет...

— Потому что, если вы...

— Брэдли, прошу вас, не будем снова затевать эту глупую ссору.

— Хорошо. Извините.

— Вы так распаляетесь. Так цветисто говорите. Точно цитатами изъясняетесь.

В кармане у меня лежала рецензия на последний роман Арнольда и жгла мне бок огнем. Книги Арнольда Баффина представляли собой набор забавных анекдотов, кое-как слепленных в одну «смачную историю» посредством дешевой неосмысленной символики. Черные силы воображения блистали своим отсутствием. Арнольд Баффин писал слишком много, слишком быстро. По существу, Арнольд Баффин был всего лишь талантливым журналистом.

— Давайте снова возродим наш воскресный обычай,— говорил между тем Арнольд.— Мы так приятно проводили время за беседой. Только не будем больше попадать в это беличье колесо. Мы с вами заводимся, как автоматы, когда речь заходит об определенных предметах. Приезжайте в будущее воскресенье к обеду, а?

— Едва ли Рейчел захочет меня видеть в будущее воскресенье.

— Да почему же нет?

— И потом, я ведь уезжаю за границу.

— Ах да. Я забыл. Куда вы едете?

— В Италию. Точного маршрута я еще не разработал.

— Ну, все равно, вы ведь не сейчас же уезжаете? В это воскресенье еще успеете побывать у нас. И сообщите нам, где вы будете в Италии. Мы тоже туда собираемся, может, встретимся.

— Я позвоню. А сейчас я лучше пойду, Арнольд.

— Ну, ладно. Спасибо за все. И не беспокойтесь о нас.

Видно было, что он теперь ничего не имеет против моего ухода. Оно и понятно: мы оба были без сил.

Арнольд попрощался со мной и сразу же запер дверь. Не успел я дойти до калитки, как раздались звуки его проигрывателя. Очевидно, он со всех ног бросился обратно в гостиную и тут же точно одержимый поставил пластинку. Кажется, это был Стравинский или что-то в этом роде. И музыка эта, и сам его поступок привели меня едва ли не в бешенство. Увы, я принадлежу к тем, кто, выражаясь словами Шекспира, «способен на трабеж, измену, хитрость»[1].

Было уже, как я с удивлением обнаружил по своим часам, без чего-то восемь. Солнце снова сияло, хотя один край неба затянула темная металлическая туча, похожая на театральный занавес. Освещение было слегка зловещим, как случается летним вечером, когда ясное, но обессилевшее солнце медлит на пороге ночи. Зеленые листья вдруг выступили из садового полумрака с ужасающей отчетливостью. Безмозглые пернатые песнопевцы по-прежнему разливались в своем лирическом азарте.

Я устал и даже немного одурел, от пережитых страхов и волне-

[1] У. Шекспир. «Венецианский купец», акт V, сцена 1; перевод Т. Щепкиной-Куперник.

ний у меня дрожали поджилки. В груди все так же бушевали противоречивые чувства. Во-первых, я еще испытывал то неправедное удовольствие, с каким впервые услышал о постигшей друга беде (в особенности этого друга). И я с удовлетворением сознавал, что в сложной ситуации не ударил в грязь лицом. Однако очень возможно, что за это мне еще придется поплатиться. И Арнольду и Рейчел, наверно, будет неприятна память о моем участии в происшедшей истории, и они захотят отомстить. Как раз теперь, когда я собираюсь исчезнуть и какое-то время не думать об Арнольде, это было особенно некстати. Я с беспокойством ощутил себя пленником собственного раздражения, гнева, пристрастия. Такая зависимость злила и пугала меня. Может быть, следовало отложить отъезд до будущей недели? В воскресенье я мог бы изучить обстановку, определить ущерб, все более или менее уладить. И только потом уже уехать, достигнув состояния достаточного равнодушия. Им обоим неприятно будет видеть меня, свидетеля недавней сцены,— это ясно. Однако, как люди совестливые и разумные, они, я полагал, сознательно постараются подавить в себе неприязненное чувство. И это был довод в пользу того, чтобы остаться и по возможности скорее с ними увидеться, иначе они не смогут изжить своей неприязни и время закрепит и узаконит ее. С другой стороны, в этом неестественном вечернем освещении у меня постепенно возникло предчувствие, что если я не спасусь бегством до воскресенья, что-то меня захватит и удержит. У меня даже мелькнула мысль сесть в такси (мимо как раз проезжала свободная машина), заехать домой, взять вещи и поспешить на вокзал, чтобы уехать первым же подходящим поездом, пусть даже пришлось бы дожидаться его до утра. Но это, конечно, была вздорная идея.

В какой-то связи с моим назойливым беспокойством о том, как теперь будут ко мне относиться Баффины, стояла серьезная проблема Кристиан. Однако полно, где тут проблема? Ведь если бы не этот несчастный Фрэнсис, какое мне было бы сейчас дело до возвращения в Лондон моей бывшей жены? Случайной встречи с ней я мог не опасаться. А вздумай она меня посетить, я бы вежливо выставил ее вон. Но Фрэнсис разбудил призраков прошлого, сам явившись как некое крайне зловредное привидение. Почему, почему я свалял дурака и ввел его в дом Баффинов? Хуже, кажется, не придумаешь. У меня было пророческое предчувствие, что из-за этой глупости я еще долго буду изводиться и каяться. Арнольд, конечно, сразу нашел с ним общий язык. По части общих языков у него большой талант. Ну, а теперь, услышав потрясающее известие, что Фрэнсис — мой бывший шурин и врач-расстрига, он, разумеется, захочет продолжить знакомство. Необходимо ему помешать. Может быть, просто попросить Арнольда? Подумав, я решил, что это хотя и несколько унизительно, но будет, пожалуй, лучше всего. Фрэнсис должен быть немедленно и окончательно отлучен от моей жизни. Арнольд поймет. Так-то оно так, но не слишком ли я полагаюсь на Арнольдово понимание?

Потом я стал думать о том, что сейчас делается в доме Баффинов. Что там Рейчел, по-прежнему лежит, точно изуродованный труп, устремив глаза в потолок, а ее муж сидит в это время в гостиной, пьет виски и слушает «Жар-птицу»? А может быть, она опять натянула на лицо эту жуткую простыню? Или совсем не так? Арнольд стоит под дверью на коленях, плачет, кается и умоляет впустить его. А может быть, Рейчел, едва дождавшись моего ухода, преспокойно спустилась вниз — и прямо в мужнины объятия? И они сейчас вдвоем у себя в кухне, готовят вкусный ужин и откупоривают по этому случаю особую бутылочку? Загадочная вещь — брак. Странный и бурный мир — мир супружества. Право, к лучшему, что я оказался за его пределами.

От этой мысли мне сразу стало как-то смутно жаль их. Я чувствовал такое сильное *любопытство* в том смысле, о котором говорил Арнольд, что едва не повернул обратно к их дому, чтобы побродить вокруг и высмотреть, что там делается. Но, разумеется, такой поступок был бы совсем не в моем характере.

К этому времени я оказался поблизости от метро и принял решение не делать глупостей. О том, чтобы уехать сегодня из Лондона, не могло быть и речи. Поеду потихоньку домой, съем бутерброд в закусочной за углом и рано лягу спать. У меня был тяжелый день, после такой нагрузки я всегда чувствую, что уже немолод. А завтра решу, что там понадобится решать, например, следует ли отложить отъезд до после воскресенья. И я облегченно вздохнул при мысли, что на сегодня с драмами покончено. Однако мне предстояла еще одна.

Я перешел через улицу и свернул в узкий переулок с магазинами, ведущий к станции метро. Странно яркое вечернее освещение начало меркнуть, но еще не погасло. В некоторых витринах зажглись огни. Это еще были не сумерки, а какой-то мглистый, неопределенный свет, и люди шли, купаясь в нем, неясные, словно призраки. Все виделось мне как во сне, чему немало способствовало, я полагаю, и то, что я сильно устал, и пил херес, и ничего не ел. В этом настроении, вернее, в этом состоянии какой-то обреченной умственной апатии я почти не удивился и не особенно заинтересовался, увидев на той стороне улицы молодого человека, который вел себя довольно странно. Он стоял на краю тротуара и, словно в реку, бросал на мостовую цветы. Поначалу мне подумалось, что это приверженец какой-нибудь индуистской секты, которых в Лондоне более чем достаточно, совершающий свой религиозный ритуал. Кое-кто из прохожих останавливался взглянуть на него, но лондонцы так привыкли ко всякого рода «чудикам», что особого интереса он не вызывал.

При этом юноша распевал нечто вроде монотонных заклинаний. Теперь я разглядел, что разбрасывал он не цветы, а скорее белые лепестки. Где я недавно видел такие же? Да, хлопья белой краски, облупившейся с двери под нажимом Арнольдова долота. Белые лепестки летели на мостовую не беспорядочно, а в каком-то соответствии с уличным движением. Машины шли одна за другой, и юноша вытаскивал из сумки по горстке лепестков и каждый раз швырял их под колеса, все повторяя и повторяя свой ритмический напев. Хрупкая белизна лепестков взметывалась, увлекаемая автомобилем, ныряла под колеса, завивалась вихрем вслед и рассеивалась, обращаясь в ничто, и это было похоже на жертвоприношение или убийство, ибо бросаемое сразу же поглощалось и исчезало.

Юноша был тонок, одет в темные узкие брюки, темную бархатную или вельветовую курточку и белую рубашку. Густые чуть волнистые каштановые волосы почти закрывали шею. Я остановился, разглядывая его, и уже хотел было отправиться дальше, как вдруг в одном из тех резких поворотов перспективы, от которых становится так не по себе, мне открылось, что вечерний свет сыграл со мной шутку и это вовсе не юноша, а девушка. Более того, в следующее мгновение я ее узнал. Это была Джулиан Баффин, единственное дитя, дочь-подросток Арнольда и Рейчел (названная, мне едва ли надо объяснять, в честь Юлианы из Норича[1]).

Я говорю здесь о Джулиан как о подростке, потому что такой она представлялась мне в ту пору, хотя в действительности ей уже было, по-видимому, лет двадцать. Арнольд стал отцом, когда был еще совсем молод. Я испытывал к маленькой фее умеренный родственный интерес. (Своих детей мне никогда не хотелось иметь. Многие художники

[1] Юлиана из Норича (1343—1443) — отшельница.

не хотят детей.) Но в переходном возрасте она утратила миловидность, стала скованной и угрюмо-агрессивной по отношению ко всему свету, от чего значительно пострадала ее былая прелесть. Она постоянно дулась и жаловалась, а ее детское личико, обретая твердые взрослые черты, делалось все более хмурым и замкнутым. Вот какой я ее запомнил. Дело в том, что мы давно не виделись. Родители были ею очарованы и одновременно разочарованы. Во-первых, они хотели мальчика. И потом, как все родители, они ждали, что у Джулиан будут блестящие способности, а это в данном случае не оправдалось. Джулиан долгое время оставалась ребенком, почти не принимала участия в сложной жизни подростков и думала о нарядах для кукол, когда девочки обычно и естественно начинают помышлять о боевой раскраске для самих себя.

Не выказав особых успехов в учении и не проявив ни малейшей склонности к наукам, Джулиан в шестнадцать лет оставила школу. Год она провела во Франции, больше по настоянию Арнольда, чем из собственной любознательности, так, во всяком случае, мне тогда представлялось. Нельзя сказать, чтобы она вернулась под большим впечатлением от страны, и французский язык, который она оттуда вывезла, был довольно плох, да она его тут же и забыла и поступила после этого на курсы машинописи. Свежевылупившейся машинисткой она стала было работать в машинном бюро какого-то учреждения. Но в девятнадцать лет вдруг возомнила себя художницей, и Арнольд поспешил запихнуть ее в школу живописи, откуда она вылетела ровно через год. После этого она поступила в учительский институт где-то в Центральных графствах и проучилась там, вероятно, год, а может быть, и два к тому времени, когда я увидел ее на улице, где она бросала белые цветочные лепестки под колеса проезжающих автомобилей.

Только теперь я, с новой переменой перспективы, вдруг увидел, что вихрящиеся белые хлопья — вовсе не лепестки, а кусочки бумаги. Ветер от промчавшейся машины отбросил один такой обрывок прямо к моим ногам, и я поднял его с асфальта. Это был кусок исписанного листа, и я разобрал на нем слово «любовь». Может быть, это странное действо и в самом деле носило какой-то религиозный характер? Я перешел улицу и приблизился к Джулиан сзади. Мне хотелось услышать, что она распевает, я бы не удивился, окажись это заклинанием на каком-то неведомом языке. Она повторяла все время одно и то же, какое-то слово или фразу: «Вы скорбели»? «Оскорбили»? «Скарабеи»?

— А, Брэдли. Здравствуй.

Из-за того, что она училась не в Лондоне, а также из-за того, что прекратились наши ежевоскресные обеды, я не видел Джулиан по меньшей мере год, да и раньше мы встречались лишь изредка. Я заметил, что она повзрослела, лицо, по-прежнему слегка насупленное, приобрело чуть задумчивое выражение, какой-то намек на осмысленность. Цвет лица у нее был неважный, вернее, Арнольдова кожа у женщины выглядела несколько менее привлекательно. Косметику она никогда не употребляла. У нее были водянисто-голубые, а вовсе не крапчато-карие, как у матери, глаза и замкнутое, упрямое личико, совсем не похожее на широкое, с крупными чертами, слегка веснушчатое лицо Рейчел. Цвет густых волнистых волос не содержал и намека на рыжину, они были темно-русыми и кое-где даже с каким-то отливом в зелень. Она и вблизи напоминала мальчика, высокого и угрюмо закусившего губу, которую он, может быть, только что порезал при первой попытке побриться. Угрюмость была мне по сердцу — терпеть не могу игривых, веселеньких девочек.

— Здравствуй, Джулиан. Что это ты делаешь?

— Ты был у папы?

— Да.— Я подумал: как удачно, что Джулиан не было дома.

— Слава богу. Я думала, вы поссорились.

— Что за глупости!

— Ты теперь совсем у нас не бываешь.

— Я бываю. Просто тебя не бывает дома.

— Это раньше. Я теперь прохожу учительскую практику в Лондоне. А что там было, когда ты уходил?

— Где? У вас дома? По-моему, ничего особенного.

— Они ругались, вот я и ушла. Теперь все спокойно?

— Да, конечно...

— Тебе не кажется, что они стали чаще ругаться?

— Н-нет, я... Ты такая нарядная, Джулиан. Настоящая модница.

— Я очень рада, что ты мне встретился, я как раз о тебе думала. Мне нужно у тебя кое-что спросить, понимаешь, я собираюсь писать...

— Джулиан, что ты здесь делаешь? Какие-то бумаги разбрасываешь...

— Колдую. Это — любовные письма.

— Любовные письма?

— От моего бывшего друга.

Я вспомнил, что Арнольд не без досады говорил о некоем «волосатом ухажере», если не ошибаюсь, студенте художественного училища.

— Стало быть, вы расстались?

— Да. Я разорвала их на мельчайшие кусочки. Теперь вот избавлюсь от них и буду свободна. Ну, эти, кажется, последние.

Она сняла висевшую на шее сумку, наподобие тех, в каких носят завтрак рабочие, и, вывернув наизнанку это хранилище четвертованных любовных посланий, вытряхнула на мостовую еще несколько белых лепестков. Ветер подхватил их, понес — и их не стало.

— Но ты что-то приговаривала или напевала. Это что, заклинание какое-нибудь?

— Я говорила: «Оскар Беллинг».

— Что?

— Так его звали. Видишь, я уже говорю в прошедшем времени! Все кончено!

— Это ты его оставила или?..

— Мне бы не хотелось говорить об этом... Брэдли, я должна спросить у тебя одну вещь.

За это время наступила ночь — синеватая тьма с золотыми проблесками фонарей, неуместно напомнившая мне старый темно-синий пиджак Фрэнсиса, топорщившийся рыжими обрезками волос Рейчел. Мы медленно шли по тротуару.

— Понимаешь, Брэдли, дело в том, что я решила писать книги.

У меня екнуло сердце.

— Чудесно.

— И я хочу, чтобы ты мне помог.

— Трудно помочь человеку писать книги, вероятно, даже невозможно.

— Все дело в том, что я не хочу писать так, как мой папа. Я хочу писать, как ты.

Я почувствовал прилив нежности к этой девочке. Но ответить ей я мог только иронически:

— Моя дорогая Джулиан, я для тебя неподходящий пример! Ведь я бьюсь, но почти ничего не добиваюсь.

— Вот именно! А папа пишет слишком много, ведь верно? Он никогда не работает над тем, что написал. Напишет и, чтобы «избавиться», скорее отдает печатать, он сам так говорит. И тут же принимается

писать что-нибудь новое. Постоянная спешка, суета. По-моему, бессмысленно быть художником, если не добиваться совершенства.

Я подумал про себя, что слышу, вероятно, мнение незабвенного Оскара Беллинга.

— Тебе предстоит трудная, долгая дорога, Джулиан, если таковы твои взгляды.

— Это твои взгляды, и я восхищаюсь тобою, за это я всегда тобою восхищалась, Брэдли. Вопрос вот в чем: ты согласишься меня учить?

Сердце у меня снова екнуло.

— Как это учить, Джулиан?

— Собственно, я имею в виду две вещи. Я все продумала. Я знаю, что я необразованная и незрелая. От этого нашего учительского колледжа проку мало. Составь для меня список литературы. Список всех великих книг, которые я должна прочесть, но только действительно великих и трудных. Я не хочу тратить время на мелочи. У меня ведь осталось теперь не так уж много времени. Я эти книги прочту, а потом мы могли бы их вместе с тобою обсудить. Ты бы давал мне по ним вроде как уроки. А второе вот что. Я хотела бы писать какие-нибудь небольшие произведения, рассказы, например, или что ты мне задашь, а ты бы их разбирал, критиковал. Понимаешь, мне необходимо самое строгое руководство. Я считаю, что технике следует уделять второстепенное внимание, ты согласен? Это все равно как надо обучиться рисунку, прежде чем приниматься за живопись. Ну, пожалуйста, скажи, что берешь меня в ученики. Много времени у тебя это не отнимет, часа два в неделю, не больше. А в моей жизни это будет полный перелом.

Я, разумеется, понимал, что вопрос лишь в том, как вежливее всего отказаться. Джулиан уже сожалела о растраченных годах и огорчалась тому, что у нее осталось так мало времени. Мое горе и сожаление были посерьезнее. Я не имел возможности уделять ей два часа в неделю. Как она смела просить у меня эти драгоценные часы? И вообще, что за странная и даже пугающая мысль? Здесь не просто юношеское неразумие. Откуда у нее такая амбиция? Ведь бесспорно, удел Джулиан — быть машинисткой, учительницей, домашней хозяйкой, не блистая ни в одной из этих ролей.

Я сказал:

— Я думаю, мысль недурна. И я, разумеется, буду рад тебе помочь. И насчет техники я с тобой совершенно согласен. Но, видишь ли, сейчас я на некоторое время уезжаю за границу.

— О, куда? Я бы могла к тебе приехать. Я сейчас совершенно свободна, в моей школе корь.

— Я буду путешествовать.

— Но, Брэдли, прошу тебя, ты не мог бы дать мне задание перед отъездом? Тогда у нас уже будет о чем потолковать после твоего возвращения. Ну, хотя бы пришли мне список книг, а я их прочту к тому времени и еще приготовлю рассказ. Ну, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты был моим наставником. Ты — единственный в моей жизни человек, который мог бы быть мне настоящим учителем.

— Ну, хорошо, о списке книг я подумаю. Но я не гуру для начинающих беллетристов, я не могу жертвовать время на... А какие, собственно, книги? «Илиада», «Божественная комедия» или «Сыновья и любовники»[1], «Миссис Далловей»[2]?

— Ой, конечно, «Илиада» и «Божественная комедия». Вот чудесно! Как раз то, что надо. Великие произведения!

— Проза, поэзия — все равно?..

[1] Роман английского писателя Д. Г. Лоуренса (1885—1930).

[2] Роман английской писательницы Вирджинии Вулф (1882—1941)

— Нет нет, пожалуйста, не поэзия. Я еще не очень умею читать поэзию. Я ее откладываю на конец.

— Но «Илиада» и «Божественная комедия» — поэмы.

— Ну, да, конечно, но я буду читать прозаические переводы.

— Это, конечно, решает проблему.

— Значит, ты мне напишешь, Брэдли? Я тебе ужасно благодарна. Теперь я с тобой попрощаюсь, мне надо заглянуть в этот магазин.

Мы совершенно неожиданно остановились перед освещенной витриной обувного магазина, немного не доходя станции метро. За стеклом были выставлены разноцветные летние дамские сапоги с высокими узкими голенищами из каких-то словно бы кружев. Слегка растерявшись от такой внезапности, я не нашелся, что сказать, махнул неопределенно рукой и брякнул: «Привет!» — выражение, которым, по-моему, никогда не пользовался ни до, ни после.

— Привет,— ответила Джулиан, словно это был какой-то пароль. И отвернувшись к витрине, принялась рассматривать сапоги.

Я перешел улицу и, подойдя к метро, оглянулся. Джулиан застыла у витрины, полуприсев и уперев руки в колени; падающий оттуда яркий свет золотил ее густые волосы, лоб и нос. Я подумал, что какой-нибудь художник — не мистер Беллинг, конечно,— мог бы сейчас написать с нее аллегорию Мирской Суеты. Несколько минут я так стоял и наблюдал за нею, как можно наблюдать издалека живую лису, но она все не отходила и даже не шевелилась.

«Дорогой Арнольд»,— написал я.

Это было назавтра утром. Я сидел за инкрустированным столиком у себя в гостиной. До сих пор у меня не было случая достаточно подробно описать это важное помещение. Здесь царит чуть пыльная, тускловатая, задумчивая атмосфера внутренней сосредоточенности и сильно пахнет, вероятно, даже в буквальном смысле, стариной (не гнилью, не сухим распадом, а как бы пудрой, прахом). Кроме того, эта комната заметно обрезана, укорочена за счет моей спальни, стена которой отторгает часть ее первоначальной площади, так что упомянутые выше зеленые панели одевают ее только с трех сторон. Из-за неестественных пропорций иногда, особенно вечером, возникает впечатление, будто это не комната, а каюта корабля или купе в железнодорожном вагоне первого класса, какие курсировали по Транссибирской магистрали где-нибудь в 1910 году. Круглый инкрустированный столик стоял прямо посредине (на нем, как правило, помещался горшок с каким-нибудь растением, но я как раз незадолго до этого подарил очередного зеленого жильца своей прачке). У стен расположились вперемежку: маленькое бархатное кресло с бахромой, которую Хартборн, будучи не в состоянии из-за своей толщины в него втиснуться, называл «кружевными панталончиками»; два тонконогих стула с лирообразными спинками (подделка под викторианский стиль) и разными вышитыми подушечками на сиденьях: на одной — плывущий лебедь, на другой — букет тигровых лилий; красного дерева, довольно высокий, но узкий книжный шкаф с бюро (почти все мои книги живут на открытых полках у меня в спальне); китайская лаковая черно-красная с золотом горка, викторианская; ночной столик красного дерева с металлической, сильно попорченной верхней доской, предположительно XVIII века; складной столик атласного дерева, тоже в пятнах; висячий ореховый угловой шкафчик с выпуклыми дверцами. Кроме того, придвинутый к столу мягкий стул на гнутых ножках с зачехленными подлокотниками и вытертым лосняшимся бархатным сиденьем красного цвета, на котором в данную минуту расположился я. Пол покрыт черным ковром в больших кремовых розах. У камина — лохматый коврик под

медвежью шкуру. На нем — разлапистое кресло хартборновских габаритов, которое обычно так и называется его креслом; ситцевая обивка на нем давно нуждается в обновлении. Широкая каминная полка сделана из плиты иссиня-серого мрамора, а очаг обрамлен чугунными гирляндами черных роз, с листьями в прожилках и с шипами. Картины, все очень маленькие, висели главным образом на «фальшивой» стене, так как у меня недоставало духу дырявить деревянные панели, а имевшиеся на них крючки были расположены, на мой вкус, слишком высоко. Это были небольшие полотна в толстых золотых рамах: девочки с кошками, мальчики с собачками, котята на подушках, цветы — безобидные, дешевые банальности, которые нравились здоровому сентиментальному поколению наших отцов. Еще там висело два изящных северных пейзажа с морем и в овальной раме рисунок XVIII века: девушка с распущенными волосами, охваченная ожиданием. На каминной полке и в китайской черно-красной с золотом горке стояли разные мелочи: фарфоровые чашки, фигурки, табакерки, слоновая кость, восточная бронза — так кое-что, но отдельные предметы из этой коллекции мне, видимо, потом придется описать подробнее, так как по крайней мере два из них играют в моем рассказе заметную роль.

С утра мне звонил Хартборн. Не зная о том, что я собрался уезжать, он предложил вместе пообедать. У нас с ним сохранилось обыкновение ходить вместе обедать еще с тех времен, когда я был на службе. В этот момент я еще колебался: не надо ли отложить отъезд, чтобы посвятить воскресный день укреплению мира с Баффинами. Я ответил уклончиво, что позвоню ему позже, но в действительности его звонок побудил меня поспешить с окончательным решением. И я решил ехать. Если я останусь на воскресенье, меня снова затянет рутина праздной, заурядной лондонской жизни, символом которой как раз и был бедняга Хартборн. А я стремился вырваться из этой обыденщины, вырваться из жизни, лишенной цели. Надо сказать, что меня слегка обескураживало собственное явное нежелание расставаться со своей квартиркой. Я был почти испуган этим. Переставляя фарфоровые фигурки и обтирая с них пыль носовым платком, я чувствовал, как на меня приступами накатывает вещая тоска и вереницей находят неотступные видения грабежа и надругательства. Прошлую ночь мне приснился страшный сон, после которого я несколько наиболее ценных предметов спрятал, отсюда — необходимость переставлять остальные. Дурацкая мысль, что они тут будут стоять, словно молчаливые стражи, во время моего отсутствия, едва не довела меня до слез. Поэтому, рассердившись на самого себя, я принял решение отправиться нынче же утром более ранним поездом, чем было у меня запланировано.

Да, мне пора было в путь. Последние месяцы я жил, обуреваемый попеременно скукой и отчаянием, трудясь над неким смутным творческим замыслом, который то принимал очертания повести, то становился огромным романом, где герой, обладающий определенным сходством со мной самим, в серии неясных эпизодов предавался размышлениям о жизни и искусстве. Беда была в том, что черный накал, отсутствие которого я с прискорбием отмечал в работах Арнольда, отсутствовал здесь тоже. Мне не удавалось воспламенить и сплавить отдельные мысли, отдельные образы в нечто единое. Мне бы хотелось изложить свои взгляды, чтобы получилась связная философия, и в то же время хотелось воплотить ее в определенном сюжете, быть может, в аллегории, столь же тонкой и прочной, как моя гирлянда чугунных роз. Но ничего не получалось. Мои образы оставались тенями, мои мысли — сентенциями. И, однако, я чувствовал близость озарения. Я знал, что стоит мне сейчас уехать, уединиться, разорвать тенета скуки

и неудачи, и награда не заставит себя ждать. Вот в каком я был настроении, когда решился отправиться в путь, покинув любимое логово ради мест, где я никогда не бывал, и дома в дюнах, которого никогда не видел.

Однако сначала надо было уладить по почте кое-какие дела. Я, должен признаться, страстный и суеверный любитель писать письма. Если у меня возникает какое-нибудь затруднение, я всегда предпочитаю написать сколь угодно длинное письмо, чем просто взять трубку и позвонить по телефону. Я придаю письмам магическое значение. Почему-то я убежден, что выразить в письме какое-нибудь пожелание равносильно тому, чтобы осуществить его. Письмо — это барьер, отсрочка, защитный талисман, заговоренный от жизни, это почти безошибочный способ воздействия на расстоянии (а также, нельзя отрицать, способ свалить с себя ответственность). Письмо дает возможность остановить мгновение. Поэтому я решил, что совершенно необязательно идти в воскресенье к Баффинам. Всего, что мне нужно, я могу достичь с помощью письма. Итак, я написал:

«Дорогой Арнольд!

Надеюсь, что Вы с Рейчел уже простили меня за вчерашнее. Хоть и приглашенный, я все же был незваным гостем. Вы меня поймете, и мне незачем дальше распространяться по этому поводу. Нам в тягость свидетели наших неприятностей, даже самых мимолетных. Посторонний человек не поймет, и мысли, которые у него возникают,— уже бестактность. Я пишу Вам, чтобы сообщить, что у меня не возникло никаких мыслей и чувств, кроме моей искренней привязанности к вам обоим и твердой уверенности, что у вас все в полном порядке. Я ведь никогда не отличался Вашим хваленым любопытством! И я надеюсь, что хотя бы на этот раз Вы оцените преимущества потупленного взора! Говорю это от чистого сердца, без намеков на наш с Вами вечный спор.

Кроме того, я хочу, не вдаваясь в подробности, по возможности коротко, попросить Вас об одной услуге. Вам, разумеется, было интересно познакомиться с Фрэнсисом Марло, который, по удивительнейшему стечению обстоятельств, находился у меня, когда Вы позвонили. Вы сказали, что собираетесь встретиться с ним опять. Пожалуйста, не надо. Подумайте и Вы поймете, как неприятно для меня может быть такое знакомство. Я не склонен иметь ничего общего с моей бывшей женой и не хочу протягивать ниточку между ее миром, каким бы он ни оказался, и тем, что окружает меня и мне дорого. Для Вас, я знаю, весьма характерно испытывать «любопытство» именно к такого рода вещам, но прошу Вас, будьте настолько добры к старому другу и не делайте этого.

Я хочу воспользоваться случаем и высказать Вам, как высоко я ценю, несмотря на все разногласия, нашу дружбу. Как Вы, наверно, помните, я назначил Вас моим литературным душеприказчиком. Существует ли знак более полного доверия? Однако будем надеяться, что разговоры о завещаниях преждевременны. Покамест я уезжаю из Лондона и думаю некоторое время пробыть в отсутствии. Надеюсь, что я смогу писать. Я чувствую, что стою на пороге самого решительного периода моей жизни. Передайте мой сердечный привет Рейчел. Благодарю вас обоих за неизменную доброту к одинокому человеку и полностью полагаюсь на Вас в деле с Ф. М.

С наилучшими дружескими пожеланиями.
Всегда Ваш

Брэдли».

Кончив писать это письмо, я почувствовал, что весь вспотел. Почему-то письма к Арнольду всегда волновали меня, а в данном случае еще прибавилась память об очень неприятных минутах, чего, как я знал, что там ни говори, все же не скоро сумеет превозмочь даже наша дружба. Уродливое и недостойное особенно трудно, труднее даже, чем дурное, поддается переработке в приемлемое для обеих сторон прошлое. Мы готовы простить свидетелей нашей низости, но не свидетелей нашего унижения. Я все еще был в состоянии неразрешившегося глубокого «шока», и несмотря на искренность моих уверений в том, что я не испытываю «любопытства по Арнольду», было очевидно, что этот эпизод даже для меня еще не окончен.

Я снова наполнил ручку и принялся писать еще одно письмо.

«Моя дорогая Джулиан!

С твоей стороны очень мило, что ты просишь моего совета насчет чтения и писательства. Боюсь, что учить тебя писать я не смогу. У меня нет времени, да я думаю, что это и вообще невозможно. Скажу тебе несколько слов о книгах. По моему мнению, тебе следует прочесть «Илиаду» и «Одиссею» в любом достоверном переводе. (Если будет не хватать времени, то одну «Илиаду».) Это величайшие произведения мировой литературы, в них грандиозные идеи выражены в форме, утонченной до простоты. Я думаю, что за Данте тебе лучше взяться немного попозже. «Божественная комедия» представляет немало трудностей и, в отличие от Гомера, нуждается в комментариях. В сущности говоря, на любом другом языке, кроме итальянского, она не только непонятна, но даже производит отталкивающее впечатление. Тебе следует, на мой взгляд, снять запрет с поэзии, чтобы он не распространялся хотя бы на наиболее известные пьесы Шекспира. Нам очень повезло, что наш родной язык — английский. Знакомство и восхищение дадут тебе возможность легко справиться с задачей. Забудь, что это «поэзия», и просто читай и получай удовольствие. В остальном мой список состоит из наиболее крупных английских и русских романов девятнадцатого столетия. (Если ты сама точно не знаешь их названий, спроси папу, можешь в этом вполне на него положиться!)

Отдайся целиком этим великим произведениям искусства. Их достанет на целую человеческую жизнь. А о писательстве особенно не заботься. Искусство — неблагодарный и часто безвозмездный труд; в твоем возрасте гораздо важнее наслаждаться им, чем служить ему. Если же ты все-таки решишься писать, не забывай о том, что ты сама говорила о стремлении к совершенству. Самое важное, что должен научиться делать писатель, это рвать написанное. Искусство имеет дело с Правдой, и не главным образом, а исключительно. Эти два слова — в сущности синонимы. И художник ищет особый язык, чтобы высказать на нем правду. Если уж пишешь, то пиши от сердца, но осторожно, объективно. Ни в коем случае не позируй. Записывай мелочи, которые тебе представляются правдивыми. Со временем ты, может быть, найдешь в них также и красоту.

Желаю тебе всего наилучшего и спасибо за интерес к моему мнению!

Твой

Брэдли».

Покончив с этим письмом, я помедлил и, поразмыслив, походив по комнате с остановками у камина и у горки, сел и стал писать дальше:

«Дорогой Марло!

Как Вы, я надеюсь, ясно поняли, Ваш визит был не только нежелателен, но и совершенно напрасен, поскольку я не намерен ни при каких обстоятельствах иметь дело с моей бывшей женой. Всякие дальнейшие попытки к сближению, по почте или лично, будут мною решительно отвергнуты. Впрочем, теперь, когда Вам известно мое отношение, надеюсь, Вы будете настолько добры и благоразумны, что оставите меня в покое. Весьма признателен за Вашу помощь у мистера и миссис Баффин. Должен сказать, на случай если Вы питаете надежду продолжить знакомство, что специально просил их не принимать Вас.

Искренне Ваш
Брэдли Пирсон».

Вчера перед уходом Фрэнсис исхитрился сунуть мне в карман листок бумаги со своим адресом и номером телефона. Я списал адрес на конверт и бросил бумажку в корзину.

После этого я еще немного посидел, глядя в окно. И спустя некоторое время снова взялся за писание.

«Дорогая миссис Эвендейл!

Мне стало известно, что Вы находитесь в Лондоне. Пишу Вам, чтобы сообщить, что я ни при каких мыслимых обстоятельствах не хочу с Вами видеться и иметь с Вами дело. Может показаться нелогичным — писать письмо, чтобы сказать это. Но мне подумалось, что из любопытства или нездорового интереса Вы, может быть, станете искать со мной встречи. Так вот, пожалуйста, не надо. Я не хочу Вас видеть и не хочу о Вас ничего знать. Не вижу причины, почему наши дороги должны теперь пересечься, и буду признателен, если между нами все останется так, как есть. Только, ради бога, не вообразите на основе моего письма, будто я все это время думал о Вас. Ничего подобного. Я Вас совершенно забыл. И сейчас бы не вспомнил, если бы не бесцеремонный визит Вашего брата. Я просил его в дальнейшем избавить меня от своих визитов и надеюсь, Вы позаботитесь о том, чтобы он никогда больше не переступал моего порога в самозваной роли Вашего посланца. Буду весьма обязан, если Вы поймете настоящее письмо только в том смысле, который в нем содержится, и ни в каком ином. И не будете вычитывать «между строк» сердечные приветы и прочее. Тот факт, что я Вам пишу, вовсе не означает, что я взволнован или чего-то ожидаю. В бытность свою моей женой Вы держались со мной неприязненно, относились ко мне дурно, действовали на меня губительно. Полагаю, что это не слишком сильно сказано. Освободившись от Вас, я испытал глубочайшее облегчение, и теперь Вы мне неприятны. Вернее, мне неприятна память о Вас. Собственно говоря, Вы бы для меня теперь вообще не существовали, если бы не скверные воспоминания, разбуженные Вашим братом. Дурные эти чувства скоро рассеются и снова уступят место забвению. Надеюсь, что Вы не помешаете этому процессу. Буду до конца откровенен и признаюсь, что любая Ваша попытка к сближению рассердила бы меня ужасно, а Вы, я полагаю, предпочтете обойтись без неприятных сцен. Утешаюсь, однако, мыслью, что Ваши воспоминания обо мне, несомненно, столь же неблагоприятны, как и мои о Вас, и поэтому Вы едва ли и сами захотите встречи.

Искренне Ваш
Брэдли Пирсон.

P. S. Должен добавить, что сегодня покидаю Лондон, а завтра Англию. Предполагаю некоторое время провести в отсутствии, а возможно, и обосноваться за границей».

Кончая это письмо, я не только был весь в поту, но к тому же еще дрожал, задыхался и испытывал сильное сердцебиение. Какое чувство меня взволновало? Страх? Удивительно, как трудно порой назвать терзающее тебя чувство. Бывает, что это и не нужно, а бывает ужасно важно. Ненависть?

Я посмотрел на часы — оказалось, что на сочинение последнего письма у меня ушло довольно много времени. На утренний поезд я уже опоздал. Да и все равно дневной гораздо удобнее. Сколько беспокойства с этими поездами. В них воплощается для нас угроза полной, необратимой неудачи. Кроме того, в них грязно, шумно, очень много чужих, незнакомых людей, в них убеждаешься, что жизнь полна досадных неожиданностей: разговорчивых спутников, детей.

Я перечитал письмо к Кристиан и задумался. Его продиктовала мне насущная потребность в самовыражении, в самозащите, в моей охранной магии, которая, как я объяснял, заключена для меня в письмописании. Однако письмо (что я иногда себе на беду упускал из виду) — это не только инструмент самовыражения; оно в то же время является высказыванием, обращением, уговором, приказом, и его действенную силу в этом качестве следует трезво оценивать. Каково будет действие моего письма на Кристиан? Теперь я понимал, что оно может оказаться прямо противоположным желаемому. Письмо, да еще с намеком на «неприятную сцену», только воодушевит ее. Она вычитает между строк совсем не то, что в нем есть. И примчится на такси. К тому же там действительно много противоречий. Если я переселяюсь за границу, зачем вообще писать? Вероятно, уместнее было бы послать короткую записку: «Не пытайтесь со мной связаться». Или даже просто ничего. Беда в том, что я уже так разволновался из-за Кристиан и ощущал себя как бы осквернением от соприкосновения с нею, мне психологически необходимо было отправить ей какое-то послание, просто чтобы очиститься. Тем временем я надписал на конверте наш старый адрес. Дом, разумеется, был приобретен на ее имя. Удачное капиталовложение.

Я решил отправить письмо Фрэнсису, а потом уже решать, слать что-нибудь и что именно Кристиан. Я принял также решение безотлагательно выехать из дому и отправиться на вокзал, где можно будет на досуге пообедать и подождать поезда. Вышло очень удачно, что я пропустил утренний поезд. Мне случалось приезжать на вокзалы настолько раньше отправки нужного поезда, что я поспевал еще в последнюю минуту на предыдущий, и переживание это не из приятных. Засовывая письмо к Кристиан в карман пиджака, я нащупал там рецензию на роман Арнольда. Еще одна нерешенная проблема. Разумеется, я мог бы воздержаться от публикации, однако я сознавал, что мне хочется ее напечатать. Почему? Да, надо уехать и все как следует обдумать.

Чемоданы стояли, как я их вчера оставил, в прихожей. Я надел плащ. Потом зашел в ванную. Ванная комната в моей квартире была из тех, куда, сколько их ни вылизывай, все равно противно зайти. В мыльницах, на раковине и в ванне валялись разноцветные обмылки: я никогда не мог себя заставить их выкинуть. Теперь внезапным усилием воли я вдруг собрал их и спустил в унитаз. И пока я стоял, ошеломленный собственным триумфом, у входной двери вдруг громко и требовательно задребезжал звонок.

Здесь я должен сообщить кое-какие сведения о моей сестре Присцилле, которая сейчас появится на сцене.

Присцилла моложе меня на шесть лет. Она рано оставила школу. Как, впрочем, и я. Я человек образованный и культурный, но только благодаря собственному рвению, труду и таланту. У Присциллы не было рвения и таланта, и она не трудилась. Она была избалована нашей матерью, на которую походила во всех отношениях. Мне кажется, что женщины, быть может бессознательно, передают дочерям свою глубокую неудовлетворенность жизнью. Моя мать, не будучи, собственно, несчастлива в браке, испытывала постоянное недовольство белым светом. Оно родилось у нее или, во всяком случае, утвердилось благодаря сознанию, что она вышла замуж «ниже себя». В молодости она была красавица и за ней ухаживали многие. И я подозреваю, что позже, постарев за прилавком, она нередко прикидывала, как можно было разыграть свои карты по-иному и оказаться в большем выигрыше. Присцилла, которая заключила с точки зрения коммерческой и даже светской гораздо более выгодную сделку, тоже не избежала такой участи. Хотя и не столь красивая, как наша мать, девушкой она тоже была недурна собой и пользовалась большим успехом в кружке развязных и малообразованных юнцов, которые составляли ее «компанию». Но Присцилла, поддерживаемая матерью, питала более честолюбивые намерения и не торопилась останавливать свой выбор на комнибудь из этих немудрящих искателей.

Я и сам оставил школу пятнадцати лет, поступив младшим клерком в правительственное учреждение. Я поселился один и все свободное время учился и писал. Я был привязан к Присцилле в детстве, но теперь решительно и сознательно отошел и от нее, и от родителей. Было очевидно, что родные не способны понять и разделить мои интересы, и я отделился от них. Присцилла, не имея никакой профессии — она не умела даже писать на машинке,— поступила работать в заведение, которое она именовала «Домом моделей» — оптовый магазин женского платья в Кройдоне. Она служила там, видимо, в какой-то очень мелкой должности. В это время Присцилла совершенно помешалась на «моде», может быть, не без влияния матери. Присцилла начала сандалить лицо косметикой, проводить дни и ночи в парикмахерской и постоянно покупала себе новые платья, в которых была бог знает на кого похожа. Ее требования, ее расточительность служили, очевидно, причиной частых ссор в семье. А у меня к этому времени были другие интересы и заботы — заботы человека, рано осознавшего, что он не получил того образования, которого заслуживал.

Коротко говоря, Присцилла действительно «выбилась в люди» с помощью шикарных туалетов и «великосветских» замашек и осуществила свои честолюбивые чаяния, проникнув в чуть более высокие круги, чем те, с которых начинала. Я думаю, что вдвоем с матерью они разработали и провели настоящую кампанию борьбы за Присциллино счастье. Присцилла играла в теннис, участвовала в любительских спектаклях, танцевала на благотворительных балах. Это был настоящий светский дебют. Только Присциллин «дебют» все продолжался и продолжался. Она никак не могла выбрать себе мужа. А может быть, ее новые воздыхатели, несмотря на то, что Присцилла с матерью так усердно пускали им пыль в глаза, все же чувствовали, что бедная Присцилла — не такая уж блестящая партия. Может быть, от нее все же попахивало лавкой. Тем временем, употребив все свои усилия на работу над собой, она потеряла работу в «Доме моделей» и другой подыскивать не стала. Теперь она проводила время дома, считалась не вполне здоровой — очевидно, у нее началось то, что теперь называется острым нервным истощением.

А когда она выздоровела, ей было уже сильно за двадцать, и пер-

вая свежесть в ее облике заметно пошла на убыль. Она поговаривала о том, чтобы стать «моделью» (манекенщицей), но, насколько мне известно, никаких серьезных попыток в этом направлении не предпринимала. Стала же она в действительности, если называть вещи своими именами, просто шлюхой. Я не хочу этим сказать, что она пошла на улицу, но она вращалась в кругу дельцов на отдыхе, игроков в гольф и клубных завсегдатаев, которые, безусловно, относились к ней именно так. Я об этом не желал ничего знать; возможно, мне следовало бы выказать несколько большее участие. Когда мой отец попытался однажды заговорить со мной о Присцилле, мне это было крайне неприятно, и я хотя и видел, как он расстроен, решительно отказался обсуждать эту тему. Матери я ничего не говорил, она всегда заступалась за Присциллу и делала вид, а может, и вправду верила, будто все хорошо. Да и сам я к этому времени уже был связан с Кристиан, и у меня были свои заботы.

Где-то в этом клубно-ресторанном хороводе Присцилла встретилась с Роджером Саксом, который стал в конечном счете ее мужем. О существовании Роджера я впервые услышал в связи с известием о том, что Присцилла беременна. Тогда о браке и речи не было. Выяснилось, что Роджер готов оплатить половину стоимости аборта, но требует, чтобы вторую половину оплатила семья. С такой неприкрытой низости и началось мое знакомство с будущим зятем. Был он, как я понял, человек вполне со средствами. Мы с отцом сложились, и Присцилле сделали операцию. Эта грязная противозаконная история убила моего отца. Он был пуританин вроде меня и к тому же робок и законопослушен. Стыд и страх подорвали его здоровье. Он уже раньше был болен, а тут расхворался совсем и так и не выздоровел. Мать, угнетенная горем, направила все силы на то, чтобы выдать Присциллу за кого-нибудь замуж, теперь уж за кого придется. И в конце концов (как и почему, осталось неизвестно) примерно через год после операции Присцилла вышла за этого Роджера.

Подробно описывать Роджера я не буду. Он тоже со временем появится в моем рассказе. Мне он не нравился. И я ему тоже. Он называл себя «питомцем частной школы», и это, по-видимому, было правдой. Он отличался невежеством, шикарными замашками, «сочным» голосом и обманчиво импозантной внешностью. Когда его пышная каштановая шевелюра засеребрилась, а затем и побелела, он стал похож на старого солдата. Кажется, он служил некоторое время в интендантских частях. У него была военная выправка, и, по его словам, друзья даже прозвали его «Бригадир». Он любил грубые армейские шутки. А на самом деле был просто служащим в банке, о чем всячески старался умалчивать. Он слишком много пил и слишком много смеялся.

Очевидно, что с таким мужем моя сестра не могла быть особенно счастлива. И она не была счастлива, хотя трогательно и храбро делала вид, будто все очень хорошо. У нее был вкус к обзаведению, и со временем они совсем недурно устроились в одном из «хороших» кварталов Бристоля в отдельном доме, вернее, в половине дома с отдельным входом, со всякой посудой и прочими причиндалами, которые так ценят женщины. Они устраивали «званые вечера», купили большой автомобиль. Это уже был не Кройдон. Я подозревал, что они живут не по средствам и что у Роджера бывают серьезные денежные затруднения, но Присцилла никогда в этом прямо не признавалась. Оба они очень хотели детей, но детей не было. Один раз под пьяную руку Роджер намекнул, что все дело в необратимых последствиях Присциллиной «операции». Но я ничего не хотел знать. Я видел, что Присцилла несчастлива, что жизнь ее пуста и скучна и от Роджера ей тоже было мало утешения. Впрочем, я и об этом не хотел ничего знать. Бывал я

у них очень редко. Время от времени я угощал Присциллу обедом в Лондоне. И мы говорили с нею о пустяках.

Я открыл дверь: на пороге стояла Присцилла. Я сразу почувствовал, что что-то произошло. Присцилла прекрасно знала, как я не люблю, когда мне сваливаются на голову. О наших «обеденных» свиданиях мы всегда сговаривались по почте за много дней вперед.

Она была в модном синем трикотажном костюме, но смотрела на меня взволнованно, без улыбки, и лицо ее было бледно. Она и теперь была еще довольно хороша собой, но сильно прибавила в весе и утратила блеск и теперь походила на деловую даму — нечто вроде женской разновидности солдафона, каким был ее Роджер. Ее хорошо сшитые неброские туалеты в нарочито «строгом» стиле, совсем не похожие на огненное оперение ее юных лет, производили впечатление униформы, впрочем, его нарушало обилие дешевых побрякушек, которыми она себя увешивала. Волосы, всегда аккуратно причесанные и завитые, она красила в скромный, чуть золотистый цвет. Лицо у нее было не из слабых, имело некоторое сходство с моим, но без моего замкнутого, сосредоточенного выражения. Она близоруко щурила глаза, а тонкие губы всегда красила яркой помадой.

Присцилла ни слова не вымолвила в ответ на мое удивленное приветствие, а прошла мимо меня прямо в гостиную, взяла у стены один из стульев с лирообразной спинкой, выдвинула его на середину комнаты, села и разразилась потоком слез.

— Присцилла, Присцилла, что с тобой? Что случилось? Господи, как ты меня огорчаешь!

Через какое-то время плач ее утих, но она продолжала протяжно вздыхать и всхлипывать, бессмысленно разглядывая бумажный платок у себя в руках, на котором остались медвяно-коричневые разводы от ее грима.

— Присцилла, ну что с тобой?

— Я ушла от Роджера.

Я почувствовал холодное отчаяние, страх за себя. Я вовсе не хотел, чтобы меня вмешивали в Присциллины неприятности. Принуждали жалеть ее. Но тут же я подумал, что это, конечно, преувеличение, недоразумение какое-нибудь.

— Не говори глупости, Присцилла. И успокойся, пожалуйста. Никуда ты не ушла. Просто вы поссорились...

— Ты дашь мне глоток виски?

— У меня нет виски. Кажется, стоит там какой-то полусладкий херес.

— Ну, хорошо. Принеси.

Я отошел к ореховому настенному шкафчику и налил ей рюмку темного хереса.

— Вот.

— Брэдли, это было ужасно, ужасно. Я жила в страшном кошмаре, вся моя жизнь была один жуткий кошмар, от такого кричат по ночам.

— Присцилла, послушай. Я сейчас уезжаю. Я не могу менять свои планы. Если хочешь, поедем куда-нибудь пообедаем, и я посажу тебя в бристольский поезд.

— Говорю тебе, я ушла от Роджера.

— Глупости.

— Знаешь, я, пожалуй, лучше лягу в постель.

— *В постель?*

Она, не слушая меня, встала со стула, вышла из гостиной, стук-

нувшись о косяк, и пошла в свободную комнату, которая служила у меня спальней для гостей. Убедившись, что там нет постели, она тут же вернулась обратно, едва не сбив меня с ног. Так же стремительно прошла в мою спальню, села на кровать, швырнула в угол сумочку, скинула туфли и стянула жакет. Потом с глухим стоном принялась снимать юбку.

— Присцилла!

— Я должна лечь. Я всю ночь провела на ногах. Принеси сюда, пожалуйста, мой херес.

Я вернулся с рюмкой.

Присцилла стянула юбку, что-то при этом у нее разорвалось, мелькнула розовая комбинация, и вот она уже лежит под одеялом, вздрагивая и глядя пустыми, скорбно расширенными глазами.

Я пододвинул стул и сел рядом.

— Кончено мое замужество, Брэдли. Наверно, и жизнь моя кончена. Какая она была жалкая, никчемная.

— Присцилла, не говори так...

— В Роджера просто дьявол вселился. Какой-то демон. Или он вдруг сошел с ума.

— Ты знаешь, я всегда был невысокого мнения о Роджере...

— Я так страдала, столько лет страдала...

— Знаю, но...

— Не понимаю, как может человек все время так страдать и оставаться в живых!

— Мне очень жаль...

— Но в последние месяцы это уже был настоящий, невыносимый ад, понимаешь, я чувствовала, что он хочет моей смерти, о, я не могу объяснить, но он пытался отравить меня, а иногда я просыпалась ночью, а он стоит у моей кровати и так страшно смотрит, будто сейчас меня задушит.

— Присцилла, все это чистые выдумки, ты не должна...

— Конечно, он путается с другими женщинами, наверняка так, но я бы и слова не сказала, если бы не то, что он так ненавидит меня. Жить с человеком, который тебя ненавидит... можно с ума сойти. Он так часто куда-то пропадает, говорит, что задерживается на работе, а когда я звоню, его нет. Я целыми днями сижу и думаю, где он... Ездит на какие-то конференции, наверно, действительно бывают конференции, я один раз позвонила, и... Он делает все, что захочет, а я так одинока, так ужасно одинока... И я все время мирилась с этим, потому что ничего другого не оставалось...

— Присцилла, и сейчас тоже ничего другого не остается.

— Как ты можешь мне говорить такое? Как ты можешь? Эта холодная ненависть, это желание убить меня, отравить...

— Присцилла, успокойся. Тебя нельзя уйти от Роджера. Это бессмысленно. Разумеется, ты страдаешь, все, кто состоит в браке, страдают, но ведь нельзя же начинать жизнь заново в пятьдесят лет или сколько там тебе сейчас...

— Пятьдесят два. О господи, господи!..

— Перестань. Остановись, пожалуйста. Вытри глаза, успокойся, и я отвезу тебя на такси на Пэддингтонский вокзал. Я уезжаю из Лондона. Тебе больше нельзя здесь быть.

— И я оставила все свои украшения, а там есть довольно дорогие, и вот теперь он мне их не отдаст, просто назло. О, почему я так сглупила! Вчера ночью взяла и убежала из дому, мы ругались, ругались без конца, и я не могла это больше выносить. Взяла и выбежала вон, даже пальто не надела, пришла на вокзал, думала, он придет за мною, а он не пришел. Он, конечно, нарочно старался довести меня до это-

го, заставить уйти из дому, а потом сказать, что вся вина на мне. А я ждала на вокзале всю ночь, и было так холодно, я чувствовала, что схожу с ума, так мне было больно. О, как он со мной ужасно обращался, как страшно, как подло... Иногда он часами твердил и твердил одно: «Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу!..»

— Все супруги твердят друг другу это слово. Оно — панихида по браку.

— «Ненавижу тебя, ненавижу...»

— По-моему, это ты говорила, а не он. По-моему, Присцилла...

— И я оставила все мои украшения, и норковый палантин, и Роджер снял все деньги с нашего общего счета...

— Присцилла, возьми себя в руки. Слышишь? Я даю тебе десять минут. Отдохни немного, а потом оденься честь честью, и мы вместе выйдем отсюда.

— Брэдли, о господи, я так несчастна, так подавлена... Я создала ему дом, у меня ведь больше ничего в жизни нет, я столько души в этот дом вложила, все шторы вышила своими руками, мне там каждая вещичка дорога, другого ведь у меня ничего нет, и вот теперь все кончено, все, что у меня было в жизни, теперь отнято, я убью себя, я себя на куски разорву...

— Перестань, прошу тебя. Напрасно я выслушиваю твои жалобы. Тебе это не на пользу. Ты довела себя бог знает до чего и совсем перестала соображать. С женщинами твоего возраста это бывает. Подумай хорошенько, Присцилла. Согласен, жить тебе с Роджером, наверно, не сладко, он большой эгоист, все так, но тебе придется его простить. Женщинам всегда приходится мириться с эгоизмом мужчин, такая уж у них участь. Ты не можешь теперь вдруг его оставить, тебе просто больше некуда деваться.

— Я убью себя.

— Сделай над собой усилие. Возьми себя в руки. Говорю тебе это не от бессердечия, а для твоего же блага. Сейчас я ненадолго уйду и кончу там паковать свои вещи.

Но она уже снова рыдала в три ручья, даже не думая вытирать глаза. Вид у нее был такой жалкий и безобразный, что я протянул руку и задернул шторы. Ее распухшее лицо и полумрак спальни напомнили мне о Рейчел.

— О, о, я оставила все свои украшения, и стразовый гарнитур, и нефритовую брошь, и янтарные серьги, и перстни, и хрустальное ожерелье с лазуритами, и норковый палантин...

Я закрыл за собой дверь спальни, вернулся в гостиную и закрыл также дверь гостиной. Я был глубоко взволнован. Не выношу необузданных изъявлений чувств и глупых женских слез. Я боялся, как бы сестра не оказалась вдруг у меня на руках. Я просто-напросто не настолько любил ее, чтобы она могла на меня рассчитывать, и, видимо, лучше всего было сказать ей об этом прямо.

Переждав минут десять, пока успокоятся мои нервы и прояснится голова, я встал и подошел к двери в спальню. В сущности, я и не надеялся, что застану Присциллу одетой и готовой к уходу. Что мне делать, я не знал. Мне противна и страшна была сама мысль о «нервном расстройстве», этом наполовину сознательном уходе от упорядоченной жизни, к которому в наши дни принято относиться с такой терпимостью. Я заглянул в комнату. Присцилла, растрепанная и жалкая, лежала на боку, откинув одеяло. Мокрый рот ее был широко раскрыт. С кровати как-то неудобно свешивалась полная нога в шелковом чулке с желтыми подвязками, между которыми выпирал кусок голого, в пигментных пятнах, тела. Присцилла лежала в такой неизящной и

неловкой позе, что была похожа на опрокинувшийся манекен. Глухим, чуть подвывающим голосом она проговорила:

— Я выпила все мои снотворные таблетки.

— Что? Присцилла, нет!

— Выпила.— В руке у нее был пустой пузырек.

— Не может быть! Сколько их было?

— Я сказала тебе, что моя жизнь разбита. А ты ушел и закрыл дверь. Вот и уходи и закрой дверь. Ведь вина не твоя. И оставь меня в покое. Уходи, на поезд опоздаешь. А я смогу уснуть, наконец. Я достаточно настрадалась за свою жизнь. Ты сказал, мне некуда уйти. Нет, есть еще куда: в смерть. Достаточно я настрадалась.— Пузырек выпал у нее из руки.

Я подобрал его. Наклейка ничего мне не сказала. Я бросился к Присцилле и стал тупо натягивать на нее одеяло, но одна ее нога лежала поверх, и ничего не получалось. Я выбежал из спальни.

Я стал метаться по прихожей, порываясь то в спальню, то к дверям квартиры, то назад, к столику, на котором стоял телефон. Как раз когда я остановился перед телефоном, он зазвонил. Я поднял трубку.

Послышались короткие гудки, потом щелкнуло, и голос Арнольда произнес:

— Брэдли, мы с Рейчел обедаем в городе, по соседству от вас, и мы подумали, может, вы согласитесь к нам присоединиться? Дорогая, хочешь поговорить с Брэдли?

Голос Рейчел сказал: — Брэдли, милый, нам бы очень...

Я перебил: — Присцилла приняла все свои снотворные таблетки.

— Как? Кто?

— Присцилла. Моя сестра. Она только что приняла все таблетки из пузырька... я... в больницу...

— Что вы говорите, Брэдли? Я вас не слышу. Брэдли, не вешайте трубку, мы...

— Присцилла выпила снотворные... Простите, я должен кончать... доктора... простите....

Я опустил трубку, тут же поднял снова, еще услышал, как Рейчел говорит: «...чем-нибудь помочь?» — и швырнул ее на рычаг. Потом снова подбежал к двери спальни, оттуда назад, поднял телефонную трубку, опустил, принялся вытаскивать из ящика телефонные книги. Они разлетелись по полу. У входной двери зазвонил звонок.

Я бросился открывать. Пришел Фрэнсис Марло.

Я сказал:

— Слава богу, что вы пришли, моя сестра только что выпила целый пузырек снотворных таблеток.

— Где пузырек?— спросил Фрэнсис.— Сколько их там было?

— Господи, откуда мне знать?... Пузырек? Он у меня только что был в руках... О черт, куда я его девал?

— Когда она их приняла?

— Только что.

— В больницу позвонили?

— Нет, я...

— Где она?

—Там, у меня.

— Найдите пузырек и позвоните в Мидлсекскую больницу. Спросите отделение несчастных случаев.

— О черт, куда задевался проклятый пузырек? Только что держал его в руках...

У входной двери снова зазвонили. Я открыл. На пороге стояли Арнольд, Рейчел и Джулиан. Все трое нарядно одетые, Джулиан в

каком-то цветастом платьице выглядела лет на двенадцать. Они походили на семейную группу с рекламной картинки — только у Рейчел был синяк под глазом.

— Брэдли, мы не можем?..

— Помогите найти пузырек, у меня был пузырек из-под снотворного, что она выпила, куда я его девал?..

Из спальни послышался крик.

— Брэд! — позвал Фрэнсис.— Если можно...

— Пустите меня,— сказала Рейчел. И ушла в спальню.

— Надо позвонить в больницу,— сказал я.

— А что вы говорили насчет какого-то пузырька?— спросил Арнольд.

— Я не разбираю здесь номеров. Арнольд, найдите мне номер телефона больницы.

— Я всегда говорил, что вам нужны очки.

Из спальни в кухню пробежала Рейчел. Стало слышно, как Присцилла бормочет: — Оставьте меня, оставьте...

— Арнольд, пожалуйста, позвоните вы в больницу, а я пока поищу... Может быть, я унес его...

Я выбежал в гостиную и с удивлением увидел там девочку. У меня возникло впечатление свежевыстиранного платьица, свежевымытой девочки, которая пришла в гости. Она разглядывала бронзовые статуэтки в лакированной горке, но при моем появлении отвлеклась и с вежливым интересом смотрела, как я расшвыриваю диванные подушки.

— Брэдли, что ты ищешь?

— Бутылочку. Снотворные таблетки. Узнать какие.

Арнольд разговаривал по телефону.

Фрэнсис позвал из спальни. Я побежал туда.

Рейчел вытирала тряпкой пол. Стоял отвратительный запах. Присцилла всхлипывала, сидя на краю кровати. Комбинация в ярко-розовый цветочек задралась на ней, довольно тесные шелковые трусики врезались в кожу, и под ними над чулками выпирало голое тело.

Фрэнсис возбужденной скороговоркой объяснил:

— Ее стошнило. Я даже ничего... теперь ей станет легче, но промывание желудка...

Раздался голос Джулиан:

— Вот этот?— Она, не входя, протянула в приоткрытую дверь руку.

Фрэнсис взял у нее пузырек.

— Ах, это... Ну, это не...

— «Скорая помощь» сейчас будет! — крикнул Арнольд.

— Эта штука ей особого вреда не причинит. Надо выпить сразу целую гору. А так просто вызывает рвоту, поэтому она и...

— Присцилла, перестань плакать. Все будет хорошо.

— Оставьте меня!

— Надо ее укрыть,— сказал Фрэнсис.

— Оставьте меня! Я вас всех ненавижу.

— Она не в себе,— пояснил я.

— Надо уложить ее по-настоящему в постель, укутать, пусть согреется,— распорядился Фрэнсис.

— Я заварю чаю,— сказала Рейчел.

Они вышли, и дверь закрылась. Я еще раз попробовал вытянуть из-под Присциллы одеяло — она сидела на нем.

Тогда, вдруг вскочив, она сама отбросила одеяло, плюхнулась в кровать и стала лихорадочно натягивать его на себя, укрываясь с головой. Слышно было, как она бормочет под одеялом: «Стыдно, ах как

стыдно... Выставить меня напоказ перед всеми этими людьми! Я хочу умереть, хочу умереть!» — и она снова зарыдала.

Я сел к ней на кровать и взглянул на часы. Был уже первый час. Никто не позаботился раздернуть шторы, и в комнате по-прежнему стоял полумрак. Пахло отвратительно. Я погладил вздымавшуюся грудь на постели. Только волосы и оставались открытыми — грязно-серая полоса у корней золотистых прядей. Волосы выглядели сухими и ломкими, они больше походили на какие-то синтетические волокна, чем на человеческие волосы. Я ощутил отвращение, бессильную жалость и подкрадывающуюся тошноту. Некоторое время я так сидел и неловко поглаживал какую-то выпуклую часть ее тела — точно малый ребенок, которому позволили погладить незнакомое животное. Потом мне пришло в голову, что нужно решительно приподнять одеяло и взять ее за руку, но когда я потянул, она только глубже зарылась в постель — скрылись даже волосы.

Раздался голос Рейчел:

— «Скорая помощь» приехала!

Я сказал Фрэнсису: «Распорядитесь тут, хорошо?» — и через прихожую, мимо Фрэнсиса, объяснявшегося с санитарами, прошел обратно в гостиную.

Джулиан, похожая на одну из моих фарфоровых статуэток, опять стояла перед горкой. В кресле, откинувшись, сидела Рейчел и как-то странно улыбалась. Она спросила:

— Опасности нет?

— Нет.

— Брэдли,— сказала Джулиан,— а можно я куплю у тебя вот это?

— Что?

— Вот эту вещицу. Можно я ее у тебя куплю? Продай ее мне.

Рейчел сказала: — Джулиан, не приставай, ради бога.

Джулиан держала на ладони одну из моих китайских бронзовых фигурок — они были у меня уже бог знает сколько лет. Это был буйвол с опущенной головой и изысканно морщинистой шеей, а на спине у него сидела важная госпожа, нежная и прекрасная, в многоскладчатом одеянии, с высокой замысловатой прической.

— Можно, Брэдли?

Рейчел сказала:

— Джулиан, слыхано ли это — торговать у человека его имущество?

— Можешь взять ее себе,— сказал я.

— Брэдли, не позволяй ей...

— Нет, ты продай мне.

— Разумеется, не продам. Можешь взять ее.— Я сел.— Где Арнольд?

— Ой, вот спасибо! Посмотрите-ка, письмо папе. И мне тоже, Можно захватить?

— Да, да. Где Арнольд?

— Пошел в кабак,— ответила Рейчел и улыбнулась еще шире.

— Она сочла, что момент не вполне благоприятный,— добавила Джулиан.

— Кто?

— Он пошел в кабак с Кристиан.

— С КРИСТИАН?

— Приехала ваша бывшая жена,— улыбаясь, объяснила Рейчел.— Арнольд рассказал, что у вас сестра только что пыталась покончить с собой, вот ваша бывшая жена и решила, что сейчас не вполне благоприятный момент для встречи. И удалилась со сцены в сопровожде-

нии Арнольда. Куда именно, я точно не знаю. «В кабак» — это его слова.

Я выбежал в прихожую. Мне навстречу шли санитары с носилками. Я бросился на улицу.

Здесь, думается мне, позволительно будет сделать остановку в рассказе и обратиться к вам прямо, любезный друг. В сущности, все, что я здесь пишу, а подсознательно и вообще все мое творчество — это сообщение, сделанное специально для вас. Но прямое обращение — это совсем другое дело, оно снимает бремя с сердца и ума. В нем есть элемент исповеди. Как легко становится человеку, когда он может отступить назад и даже признать свое поражение, признать поражение в таком контексте, где нет опасности, что это прозвучит фальшиво! Когда верующий — счастливый человек! — просит бога отпустить ему не только те грехи, которые он за собой помнит, но и те, которых он не помнит, и, еще того трогательнее, те грехи, которых он, по темноте своей, вообще за грехи не считает, каким грандиозным должно быть даруемое ему чувство освобождения и наступающего затем покоя! Так и я ныне, предназначая и отдавая эти строки на суд вам, мой проницательный критик, испытываю глубокий покой в сознании того, что мною сделано все возможное и что вы по справедливости оцените мои скромные труды. Бывают минуты, я знаю, когда я представляюсь вам маньяком, которого переполняет сознание собственного величия. Но, возможно, всякий художник должен быть немножко маньяком, сознавать себя богом? Не должен ли всякий художник испытывать иногда восторг от своей работы, упиваться ее блеском, видением ее совершенства? И здесь нет места сравнению в обычном смысле этого слова. Мало кто из художников интересуется своими современниками. Кто имеет кумиров в сегодняшнем дне, сам принадлежит дню вчерашнему. Только того, кто вульгарен, может беспокоить хвала, которая достается другим. Чувство собственного превосходства чуждо зависти, не ведает точной меры, вероятно, полезно, быть может, необходимо. И столь же необходимо чувство собственного ничтожества, то сознание пределов своих возможностей, которое должен иметь художник, различая за жалкими плодами своих трудов головокружительный, сияющий призрак совершенства.

У меня нет намерения снабжать эту книгу столь же пространным, как она сама, комментарием. Рассказ неизбежно должен будет вскоре вырваться из-под моего контроля. Это обращение к вам отвечает внутренней потребности, которая сама служит одной из тем книги. В ряду наших с вами споров о форме оно должно послужить аргументом в пользу такого приема; впрочем, излитое из самого сердца заслуживает, наверное, более теплого обозначения — скажем, в пользу такого лирического всплеска: невольного, неудержимого выражения любви. Эта книга — об искусстве. В то же время она сама хоть и скромное, но произведение искусства — objet d'art, как принято говорить; так что ей можно позволить оглянуться на самое себя. Искусство (как я объяснил Джулиан) — это выражение правды, для некоторых случаев — единственный способ выражения. И, однако, как немыслимо трудно порой отделить великолепие инструмента от достоинств исполняемого на нем произведения. Иные хвалят лишь предельную простоту; для них птичья трель так называемого «примитива» есть критерий всего, как будто правда перестает быть правдой, если она не косноязычна. Существует, конечно, божественно-искушенная простота, мы

видим ее в творениях тех, чьи имена я не решаюсь назвать, так близки они к богам. (Богов не называют.) Но даже если к простоте и надо стремиться постоянно, бывают положения, в которых без некоторой изящной усложненности обойтись все равно невозможно. И тут возникает вопрос: а как же правда? Разве действительность такова, разве это и есть действительность? Конечно, мы можем, как вы не раз замечали, достичь правды посредством иронии. (Ангел вывел бы отсюда определение предела человеческих возможностей.) Почти любая повесть о наших делах комична. Мы безгранично смешны в глазах друг друга. Даже любимейшее существо смешно для своего обожателя. Роман — комическая форма. И язык — комическая форма, он шутит во сне. Бог, если бы он существовал, смеялся бы над своим творением. В то же время нельзя отрицать, что жизнь страшна, лишена смысла, подвержена игре случая, что над нею властвуют боль и ожидание смерти. Из этого и рождается ирония, наше опасное и неизбежное орудие.

Ирония — это вид «такта» (забавное словцо). Это наше тактичное чувство пропорции при отборе форм для воплощения красоты. Красота присутствует там, где правда нашла подходящую форму. Эти понятия в конечном счете неразделимы. И, однако, есть такие точки, в которых, прибегая к минутной условности, можно остановиться и дать анализ. Но здесь опять перед нами казус, столь занимающий логиков. Как может человек «правильно» описать другого? Как может человек описать самого себя? С какой жеманной притворной скромностью, с каким наигранным доверительным простодушием приступаем мы к этой задаче! «Я пуританин» и так далее. Б-р-р! Как могут не быть фальшивыми такие утверждения? Даже «Я высок ростом» — звучит по-разному, в зависимости от контекста. Как, должно быть, смеются и вздыхают над нами ангелы. И, однако, что еще нам остается, как не пытаться вложить свое видение в эту иронико-чувствительную смесь, которая, будь я персонаж вымышленный, оказалась бы куда глубже и плотнее? Как пристрастно мое изображение Арнольда, как поверхностен образ Присциллы! Эмоции туманят взгляд, они не выделяют деталей, а, наоборот, тянут за собой обобщения и даже теории. Когда я пишу об Арнольде, мое перо дрожит от обиды, любви, раскаяния и страха. Я словно пытаюсь отгородиться от него словами, укрыться за насыпью слов. Мы защищаемся от бед описаниями и смиряем мир силлогизмами. Чего он боится?— вот главный ключ к душе артиста. Искусство так часто служит нам преградой. (Интересно, справедливо ли это в отношении великого искусства?) Вместо средства коммуникации оно нередко становится способом мистификации. Думая о моей сестре, я испытываю жалость, досаду, чувство вины и отвращение — вот в каком свете я изображаю ее, изуродованную и униженную самим моим восприятием. Как же мне это исправить, дорогой мой друг и товарищ? Присцилла была отважная женщина. Она сносила свою горькую судьбу стойко, с достоинством. Одна-одинешенька, она сидела по утрам и делала себе маникюр, а на глаза ей набегали слезы по ее загубленной жизни.

Мать значила для меня очень много. Я любил ее, но всегда с какой-то мукой. Утрата, смерть страшили меня с необычной для ребенка силой. Позднее я с грустью осознал безнадежное непонимание, разделявшее моих родителей. Они просто *не слышали* друг друга. Отец, с которым я все больше отождествлял себя, был нервный, робкий, честный человек со старомодными взглядами, начисто лишенный тщеславия в его наиболее вульгарных формах. Он избегал пререканий с

матерью, но с очевидным неодобрением относился к ее «суетности» и презирал «подмостки света», на которые они с Присциллой так упорно старались пробиться. Нелюбовь к этим «подмосткам» усложнялась у него чувством собственной неполноценности. Он боялся сделать какую-нибудь унизительную оплошность, разоблачающую недостаток его образования, например, неправильно произнести известное имя. С возрастом я стал разделять и его нелюбовь, и его страхи. Я, может быть, отчасти потому так страстно стремился к образованию, что видел, как от его недостатка страдал мой отец. За свою заблудшую мать я чувствовал боль и стыд, которые не уменьшали, но сопровождали мою любовь. Я смертельно боялся, как бы кто-нибудь не счел ее нелепой или жалкой, не увидел в ней зарвавшуюся мещанку. А позднее, когда она умерла, почти все эти чувства я перенес на Присциллу.

Разумеется, я не любил Присциллу так, как любил мать. Но я отождествлял себя с нею и был раним через нее. Я часто стыдился ее. В сущности, брак ее был не таким уж неудачным. Как я уже говорил, Роджер мне не нравился. Помимо всего прочего, я не мог ему простить унижения отца тогда, в связи с Присциллиной «операцией». Однако с годами я стал ощущать какую-то надежную обыкновенность во всей атмосфере их бристольского дома с этим дорогим кухонным оборудованием, с безобразными современными ножами и вилками и шкафчиком-баром в углу гостиной. Даже самые дурацкие современные затеи могут обладать успокоительным простодушием, могут служить якорем спасения. Они — жалкая замена искусства, мысли и святости, но все-таки замена, и потому, может быть, и в них есть что-то святое. Домовитость, наверно, была спасением для моей сестры, спасением для многих женщин.

Но теперь ни о домовитости, ни об отваге речи не было. Присцилла после долгих разговоров сумела более или менее убедить меня, что она действительно решилась оставить мужа, что она уже ушла от него. Горе ее приняло навязчивую форму. «Ах, как глупо, как глупо, что я оставила свои драгоценности!» — без конца повторяла и повторяла она.

Это было назавтра после ее подвига со снотворными таблетками. Ее увезли на «скорой помощи» в больницу и в тот же вечер выпустили. Она снова оказалась у меня в квартире и поспешила лечь в мою постель. Там она находилась и теперь, на следующий день в половине одиннадцатого утра. Ярко светило солнце. Башня Почтамта блестела новыми металлическими частями.

Накануне мне, конечно, не удалось разыскать Арнольда с Кристиан. Поиски, как замечено психологами, представляют собой весьма своеобразный феномен: весь мир вдруг оказывается как бы единым пьедесталом, на который возводится зловещее отсутствие разыскиваемого. Знакомые окрестные улицы отныне и навсегда неотвязно наполнялись призраками этой пары, убегающей, смеющейся, дразнящей, невыносимо реальной и, однако, невидимой. Другие пары принимали их обличье и наводили на ложный след, самый воздух курился ими. Но, разумеется, Арнольд никогда не допустил бы, чтобы я испортил ему эту превосходную, эту остроумнейшую шутку. К тому времени когда я выбежал из дому, их уже не было ни в «Фицрое», ни в «Маркизе», ни в «Пшеничном снопе» ни в «Черной лошади», они находились где-то еще; их белые призраки летели мне в лицо, словно белые лепестки цветов, словно белые хлопья облупившейся краски, словно обрывки бумаги, которые священный отрок разбрасывал по течению уличной реки,— видения красоты, жестокости и страха.

Когда я вернулся, в доме было пусто и дверь моей квартиры стояла распахнутая настежь. Я сел в гостиной на «антикварный» стул и

некоторое время ничего не испытывал, кроме голого страха, ужаса в его наиболее классической и жуткой форме. «Шутка» Арнольда была слишком непристойна и хороша, чтобы не увидеть в ней знамения; она служила видимым знаком огромной скрытой угрозы. И я сидел, трепеща и тяжело дыша, не в силах даже разобраться, в чем причина моей душевной муки. Потом начал ощущать, что в комнате что-то не так, чего-то не хватает. И наконец, понял: исчезла бронзовая женщина на буйволе, одна из моих самых любимых статуэток. Я с досадой вспомнил, что подарил ее Джулиан. Как это могло случиться? И здесь тоже было знамение — пропажа предмета, предшествующая исчезновению Аладдинова дворца. Когда же я, наконец, задумался о том, где сейчас моя сестра и как она себя чувствует, позвонила Рейчел и сообщила, что Присциллу выписали и она едет ко мне.

В ту мучительно бессонную ночь я пришел к выводу, что проблема Арнольда и Кристиан решается просто. Иначе быть не могло — либо простота, либо безумие. Если Арнольд «подружится» с Кристиан, я просто прекращаю с ним знакомство. Но несмотря на принятое решение, спать я все-таки не мог. Перед глазами крутились вереницы цветных видений, которые, словно вращающиеся двери, приводили меня все назад и назад, в мир бодрствования и боли. Когда же я, наконец, уснул, мне снились унизительные сны.

— Ну, хорошо, зачем же ты так поторопилась с уходом? Если ты решила оставить Роджера давным-давно, почему бы тебе честь по чести не сложить чемоданы и не вызвать такси, когда он на работе?

— По-моему, так от мужей не уходят,— ответила Присцилла.

— Так уходят от мужей разумные женщины.

Зазвонил телефон.

— Алло, Пирсон. Говорит Хартборн.

— А, здравствуйте...

— Может, пообедаем вместе во вторник?

— Н-не знаю, право, тут у меня сестра... Я вам потом позвоню.

Во вторник? Все мое представление о будущем успело рухнуть.

Опуская трубку, я через дверь спальни видел Присциллу — она лежала в моей полосатой пижаме, нарочито неудобно, точно кукла, раскинув руки, и не переставая лила слезы. Уродство жизни без флера очарования. Плачущее лицо Присциллы было помятым и старым. Неужели она когда-то походила на мою мать? Две глубокие жесткие морщины шли от углов ее искривленного мокрого рта. Слой желтой пудры там, где его не смыли потоки слез, не скрывал серых расширенных пор. Она не умывалась, как приехала.

— Присцилла, ну перестань же. Хоть немного постарайся быть храброй.

— Я знаю, я выгляжу ужасно...

— Господи, ну какое это имеет значение?

— А, значит, и ты считаешь, что я стала безобразна, ты думаешь, что я...

— Ничего я такого не думаю и не считаю. Прошу тебя, Присцилла...

— Роджер видеть меня не мог, он сам так говорил. А я плакала у него на глазах, сижу перед ним и часами плачу, я чувствовала себя такой несчастной, а он сидел напротив и читал газету.

— Честное слово, ему можно посочувствовать!

— А один раз он пытался отравить меня, вкус был такой ужасный, а он сидит смотрит на меня, а сам не ест.

— Это совершеннейшая чушь, Присцилла.

— О Брэдли, если б мы только не убили того ребенка...

На эту тему она уже распространялась несколько раньше.

— О Брэдли, если б мы только сохранили того ребенка!.. Но откуда мне было знать, что другого у меня никогда не будет! Тот ребенок, мой единственный ребенок, подумать, что он существовал, хотел жить, а мы хладнокровно убили его. Это все Роджер виноват, он настоял на том, чтобы мы от него избавились, он не хотел жениться на мне, и мы убили его, моего единственного, моего дорогого крошку...

— Перестань, бога ради, Присцилла. Был бы сейчас двадцатилетний верзила, наркоман и проклятье всей твоей жизни.— Мне никогда не хотелось иметь детей, и я не понимаю этого желания в других.

— Двадцатилетний... Взрослый сын... Было бы кого любить, было бы кому заботиться обо мне. О Брэдли, ты не представляешь, как я день и ночь оплакиваю этого ребенка. Был бы он, и все бы у нас с Роджером сложилось по-другому. Я думаю, Роджер тогда и возненавидел меня, когда выяснилось, что я уже не смогу иметь детей. Но ведь виноват-то он сам. Он нашел того проклятого врача. О, как это несправедливо, как несправедливо...

— Разумеется, несправедливо. Жизнь вообще несправедлива. Перестань, прошу тебя, причитать и попробуй быть практичной. Здесь ты жить не можешь. Я не могу тебя содержать. Да и потом, я ведь уезжаю.

— Я поступлю работать.

— Присцилла, подумай здраво: ну, кто тебя возьмет?

— Я должна найти работу.

— Женщина за пятьдесят без образования и профессии. Кому ты нужна?

— Как ты жесток...

Снова звонок телефона. Елейный, вкрадчивый голос мистера Фрэнсиса Марло:

— Брэд, вы уж простите меня, я решил звякнуть, справиться, как там у вас Присцилла.

— Хорошо.

— Ну и чудесно. Да, Брэд, еще я хотел сказать, психиатр в больнице не рекомендовал оставлять ее одну.

— Рейчел мне говорила.

— И потом, Брэд, послушайте, вы уж не сердитесь на меня за Кристиан...

Я швырнул трубку.

— Ты знаешь,— сказала мне Присцилла, когда я вернулся в спальню,— мама ушла бы от отца, если бы у нее была материальная возможность, она сама мне сказала перед смертью.

— Не хочу ничего об этом слышать.

— Вы с отцом тогда так свысока, так презрительно со мной обращались, вы оба были так жестоки ко мне и к маме, мама так страдала...

— Тебе надо либо возвратиться к Роджеру, либо заключить с ним определенное денежное соглашение. Меня это не касается. Ты должна смотреть фактам в глаза.

— Брэдли, прошу тебя, съезди к Роджеру.

— И не подумаю.

— О господи! Ну почему я не захватила свои украшения, они так много для меня значат, я экономила, чтобы их покупать. И мой норковый палантин. И два серебряных кубка, они стоят у меня на туалетном столике, и малахитовую шкатулочку...

— Присцилла, не будь ребенком. Все эти вещи ты сможешь получить потом.

— Нет, не смогу! Роджер назло мне все продаст. Я их покупала, в этом было мое единственное утешение. Куплю хорошенькую вещич-

ку, и на душе хоть ненадолго становится веселее, выкраивала из хозяйственных денег, и это меня чуточку развлекало. И стразовый гарнитур, и хрустальное ожерелье с лазуритами, оно знаешь какое дорогое, и...

— Почему Роджер не позвонил сюда? Ведь он, наверно, знает, где ты.

— Он слишком горд и уязвлен. Понимаешь, в чем-то мне даже жаль Роджера, наверно, ему невесело жилось, раз он так орал на меня или вовсе не разговаривал, я думаю, в душе он ужасно страдал, в сущности, он был подавлен и опустошен. Мне иногда казалось, что он сходит с ума. Ну как жить такому жестокому, такому равнодушному человеку? В последнее время он не позволял мне даже готовить для него и не впускал меня в свою комнату, и я знаю, он никогда не застилал постель, белье у него было грязное и пахло, он иногда даже не брился, я думала, его прогонят со службы. А может, его и прогнали, и он не решается мне признаться. А сейчас ему и того хуже. Я хоть немножко следила за чистотой, правда, трудно было, когда человеку так явно на все наплевать. А теперь он там один, в этом грязном хлеву, плохо питается, опустился.

— Я думал, вокруг него толпы женщин.

— О, наверно, есть какие-то женщины. Но, должно быть, мерзкие, нечистоплотные, которым только нужны его деньги и выпивка, как было в его прошлой жизни, когда я еще не вышла за него замуж, это такой странный, материалистический мир... О, мне его так жалко, он создал ад вокруг себя и вот теперь оказался один в этом аду, у него депрессия, а вокруг горы немытой посуды...

— Ну, так поезжай и перемой ее!

— Брэдли, прошу тебя, съезди в Бристоль.

— А мне так кажется, что тебе до смерти хочется к нему вернуться...

— Прошу тебя, съезди и привези мои драгоценности, я дам тебе ключ.

— Да перестань ты, бога ради, твердить про свои драгоценности. Ничего с ними не сделается. По закону они так или иначе принадлежат тебе. Украшения остаются за женой.

— Закон здесь ни при чем. О, мне так хочется, чтобы они были у меня, это ведь единственное, что у меня есть, больше у меня во всем свете нет ничего, я чувствую, они меня зовут... И маленькие безделушки, и полосатая ваза...

— Присцилла, дорогая, перестань сходить с ума.

— Брэдли, ну пожалуйста, прошу тебя, съезди в Бристоль. Он еще не успеет их продать, не додумается. И потом, он, наверно, воображает, что я вернусь. Они все на своих местах. Я дам тебе ключ от дома, ты зайдешь, когда он будет на работе, и возьмешь мои вещи, тебе это не составит никакого труда, а у меня сразу отляжет от сердца, я тогда сделаю все, что ты мне скажешь, это уже будет совсем другое дело.

И тут у входной двери зазвонили. Я встал. Я глупо, бессмысленно расчувствовался. Ласково махнув Присцилле рукой, я вышел из спальни и закрыл за собою дверь.

Я отпер дверь — на пороге стоял Арнольд Баффин. Точно два танцора, мы проскользнули в гостиную.

У Арнольда, когда он бывал взволнован, все лицо розовело, словно на него направляли красный свет. Разрумянился он и теперь, и блеклые глаза за стеклами очков выражали нервную озабоченность. Он похлопал меня по плечу, не похлопал, а быстро дотронулся, словно осалил, и спросил:

— Ну, как она?

— Лучше. Вы с Рейчел были так добры.

— Это Рейчел. Брэдли, вы не сердитесь на меня?..

— За что мне на вас сердиться?

— Вы же знаете, они вам передали, что я увел Кристиан!

— О миссис Эвендейл я ничего не желаю слышать,— сказал я.

— Ну вот. Вы сердитесь. О господи.

— Я и не думаю сердиться. Я-просто-не-желаю-ничего-слышать...

— Я ведь не хотел, так само получилось.

— Вот и прекрасно. И довольно об этом.

— Но не могу же я теперь делать вид, будто вообще ничего и не было. Брэдли, мне необходимо поговорить с вами, я хочу, чтобы вы перестали меня обвинять, я же понимаю, я не идиот, в конце концов я ведь писатель, разве я не знаю, как сложно...

— При чем тут ваше писательство и для чего вам понадобилось примешивать его сюда?

— Потому что я понимаю ваши чувства.

— Едва ли. Я вижу, вы сильно взволнованы. Кажется, вас немало позабавила роль комитета по организации торжественной встречи моей бывшей жены. И вас, естественно, тянет поделиться со мною. Так вот, прошу вас этого не делать.

— Но, Брэдли, она — феномен.

— А меня не интересуют феномены.

— Мой дорогой Брэдли, не может быть, чтобы вас не разбирало любопытство, просто не может быть. Я бы умер от любопытства на вашем месте. Конечно, уязвленное самолюбие...

— Никакого уязвленного самолюбия. Это я оставил ее.

— ...ну, обиду, или что там еще, время не залечивает, я знаю. Это все глупости. Но мне бы наверняка было до того любопытно! Мне бы смертельно хотелось посмотреть, какой она стала, что она собой представляет. Конечно, по произношению ее теперь можно принять за настоящую американку...

— Арнольд, раз уж вы такой вдумчивый писатель и так хорошо разбираетесь в психологии, пожалуйста, поймите, что здесь опасная зона. Если вы готовы подвергнуть опасности нашу дружбу продолжайте. Я не могу вам запретить водить знакомство с миссис Эвендейл. Но прошу вас при мне никогда не упоминать ее имени. Это могло бы положить конец нашей дружбе, я говорю совершенно серьезно.

— Наша дружба, Брэдли, не такое нежное растение, выдержит. Ну, поймите, я отказываюсь делать вид, будто ничего не произошло, и вам не советую. Я знаю, два человека могут быть проклятием друг для друга...

— Вот именно.

— Но иногда, если не прятаться и смотреть правде в глаза, все оказывается не так страшно. И вы не должны прятаться, все равно у вас ничего не выйдет, она здесь и хочет во что бы то ни стало вас увидеть, она умирает от интереса, и вам не избежать встречи. И знаете ли, она — такой удивительно приятный человек...

— По-моему, ничего глупее вы не могли бы сказать.

— Да, да, я вас понимаю. Но раз вы все еще относитесь к ней так эмоционально...

— Вовсе нет!

— Брэдли, будьте искренни.

— А вы перестаньте меня мучить! Я так и знал, что вы появитесь здесь с этим торжествующим видом...

— Откуда у меня может быть торжествующий вид? У меня нет никакого повода торжествовать.

— А как же. Вы познакомились с ней, обсуждали меня, нашли ее «таким удивительно приятным человеком»...

— Брэдли, не кричите. Я...

Снова телефонный звонок.

Я выхожу и снимаю трубку.

— Брэд? Неужели это в самом деле ты? Догадайся, кто с тобой говорит!

Я опускаю трубку, осторожно, чтобы не произвести шума. Потом возвращаюсь в гостиную и снова сажусь в кресло.

— Это была она.

— Вы побледнели как полотно! Вам дурно? Дать вам что-нибудь? Простите меня за этот глупый разговор. Она у телефона?

— Нет. Я... повесил трубку...

Телефон звонит опять. Я не двигаюсь с места.

— Брэдли, позвольте я поговорю с ней.

— Нет.

Я оказываюсь у телефона, когда Арнольд уже успел поднять трубку. Спешу нажать рычаг.

— Брэдли, поймите, вам все равно никуда не деться, так или иначе придется с ней встретиться. Ну, она возьмет такси и приедет сюда.

Снова телефонный звонок. Снимаю трубку и держу ее на некотором удалении. Голос Кристиан, даже с американской гнусавинкой, сразу можно узнать. Падает пелена лет. «Брэд, прошу тебя, послушай, я тут неподалеку, ну, знаешь, в нашем старом доме. Может, заглянул бы, а? У меня есть виски. Брэд, только, пожалуйста, не хлопай трубку, не будь таким. Лучше приходи в гости. Мне безумно хочется на тебя поглядеть. Я весь день дома, до пяти во всяком случае».

Я повесил трубку.

— Она хочет, чтобы я пришел к ней в гости.

— Надо пойти, Брэдли, ничего не поделаешь. Судьба.

— Не пойду.

Опять звонит телефон. Снимаю трубку и кладу на столик. Она отдаленно воркует. Раздается пронзительный голос Присциллы:

— Брэдли!

— Не прикасайтесь!— Я указал Арнольду пальцем на лежавшую трубку. И вышел к Присцилле.

— У тебя там Арнольд Баффин?— Она сидела, спустив ноги, на краю кровати. К моему удивлению, на ней была надета юбка и блуза и она деловито обмазывала нос какой-то желтовато-розовой дрянью.

— Да.

— Я, пожалуй, выйду к нему. Надо его поблагодарить.

— Как хочешь. Присцилла, я сейчас должен уйти на час или два. Ты подождешь меня? Я вернусь к обеду, может быть, чуть опоздаю. Попрошу Арнольда посидеть с тобой.

— Ты не очень надолго?

— Да нет же.

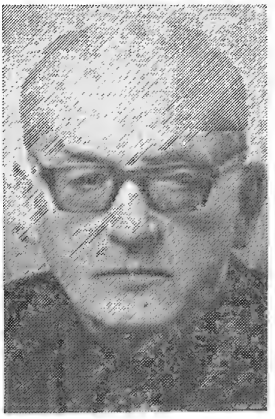
Я выбежал к Арнольду.

— Вы не побудете с Присциллой? Врач не советовал оставлять ее одну.

— Пожалуй,— ответил Арнольд без удовольствия.— Выпить здесь найдется? Я, собственно, хотел поговорить с вами о Рейчел и о вашем странном письме. Куда это вы вдруг?

— В гости к Кристиан.

(Продолжение следует)



ЕЖИ ПУТРАМЕНТ

20 июля...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с польского М. ИГНАТОВА

Штауффенберг

Штауффенберг просит извинения у фон Кейтеля: забыл ремень и фуражку в передней фельдмаршала. Быстро возвращается. Он забыл не только ремень и фуражку, он забыл и портфель. Как же тщательно взвесил и продумал он все фазы этой забывчивости. Как старательно запомнил их. Можно сказать, выучил наизусть.

Входит в переднюю: пусто. Быстро вытаскивает из портфеля объемистый и тяжелый сверток, из кармана — плоскогубцы. В его распоряжении одна рука, а на ней — три пальца. В подобных случаях он научился помогать себе коленями. Хватает плоскогубцы тремя пальцами, словно щепотку соли. Надо раздавить ампулу, чтобы кислота начала переедать медную проволочку,— это займет несколько минут.

Ампула глухо хрустнула. Он быстро сунул плоскогубцы в карман, схватил портфель. Еще несколько мгновений — затянуть ремень. Вышел на улицу. Здесь влажная духота. В гуще орешника и молодых дубков толкутся, попискивая, комары. На небе ни облачка.

Фельдмаршал уже нервничал. Увидев Штауффенберга, он направился к павильону под дубами, куда переносили совещания в жаркие дни. Генерал Буле и адъютант фон Йон вежливо поджидали. Штауффенберг торопливо к ним присоединился. Духота была такая, что за считанные секунды лоб покрылся испариной. Штауффенберг хотел достать платок, но не знал, как же быть с портфелем. Полковник фон Йон любезно предложил подержать его. Штауффенберга от этого предложения еще пуще бросило в пот, он поблагодарил, прибавил шагу и, догнав фельдмаршала, шепнул ему, что через несколько минут вынужден будет отлучиться, чтобы позвонить в Берлин. Фельдмаршал кивнул, вопрос был предварительно согласован.

Совещание уже началось. Докладывал начальник оперативного отдела генерал Хойзингер. При виде входящих он прервал доклад. Кейтель представил одноглазого и однорукого Штауффенберга Гитлеру. Тот, впрочем, знал его, кивнул и велел Хойзингеру продолжать.

В конце совещания Штауффенбергу предстояло докладывать о состоянии боевой готовности формировавшихся в Германии новых частей. Он — начальник штаба армии резерва сухопутных войск.

Штауффенберг наклоняется к Кейтелю и шепчет, что идет звонить в Берлин. Кейтель с некоторым раздражением кивает головой. То же самое Штауффенберг повторяет своему соседу слева, полковнику Брандту, который отделяет его от Гитлера. Потом прислоняет портфель к массивной дубовой опоре стола. С той стороны, где Гитлер. Потом поднимается и неслышно покидает павильон.

Сразу же после его ухода полковник Брандт пробует переступить с ноги на ногу. Что-то мешает ему. Он наклоняется и видит под столом портфель Штауффенберга. Берет его и ставит по другую сторону дубовой опоры стола.

■

Штауффенберг выходит из душного павильона в липкий зной прогретого насквозь лиственного леса. Почти бежит к находящейся неподалеку стоянке машин. Там его ждет адъютант фон Хефтен с автомобилем.

Не мешкая они отправляются на аэродром. Но прежде чем успевают доехать до границы наиболее строго охраняемой зоны «А», как накаленный воздух вздрагивает и мощный взрыв сотрясает лес. Накатывается волна вороньего гомона. Через две минуты они уже у контрольно-пропускного пункта. Дежурный офицер, встревоженный взрывом, еще не знает, что произошло. Штауффенберг заявляет, что ему необходимо как можно быстрее попасть на аэродром, у него срочное поручение фюрера. Возможно, именно этот взрыв, причина которого пока не ясна, побуждает дежурного пропустить Штауффенберга. Что-то стряслось. Срочность и секретный характер миссии полковника кажутся еще правдоподобнее. К тому же одноглазый полковник с единственной изуродованной рукой внушает особое доверие. Дежурный офицер пропускает Штауффенберга.

Но при выезде из леса, у контрольно-пропускного пункта южного сектора, их снова задерживают. По всей территории уже объявлена тревога. Дороги перекрыты рогатками, опутанными колючей проволокой. Строжайше запрещено кого-либо выпускать.

Штауффенберг и слышать не желает об этом запрете. Требует, чтобы его соединили с комендантом ставки. Тот, как и следовало предполагать, был уже на месте покушения. Заместитель коменданта — знакомый Штауффенберга — уступает его натиску и приказывает начальнику поста пропустить машину. Спустя полчаса после взрыва Штауффенберг вместе с адъютантом вылетает из «Волчьего логова» в Берлин.

■

Пережитое им за эти полчаса, очевидно, укладывалось в схему, знакомую всем по навязчивым, часто возвращающимся снам. Главным было здесь даже не само Свершение, а побег после Свершения. Тогда парализованное сознание полнится одним: именно необходимостью вырваться. Но все вокруг превращается в препятствия. Все задерживает, не допускает, в лучшем случае замедляет, тормозит. Что же творилось с ним, когда связной самолет «хейнкель-111» взмывал над лесом — ель, ольха и дубняк,— где помещалось «Волчье логово», над тремя небольшими озерами, отделявшими рощу от соседнего, тоже маленького городка, когда он оставлял все это позади — ничтожное, перегоревшее, как любое прошлое, стремительно убегающее вспять? Это прошлое мчалось назад — зеленое, голубое, золотистое, с темно-красными крапинками крыш. Самолет целил прямо в огромное июльское солнце, слепящее глаза, пышущее зноем, однако уже не тем влажным, комариным, тропическим, как час назад, перед совещанием, а более сухим, отдающим аптекой, ибо так пахла эрзац-кожа, которой была обтянута изнутри кабина.

Напряжение, уже только воспоминание о напряжении, изведанном у последнего на пути к аэродрому поста. Обжигающая мысль: сделал свое. Мир еще не знает о своем преображении, ибо это уже мир без Сатаны. Нарастало это больше года, с той минуты, как в глухой тиши своего силезского замка Штауффенберг понял, что нет иного выхода и убить Сатану обязан не кто-либо, а именно он. Нарастало из месяца в месяц. Труден был первый разговор, первая попытка выразить словами еще неоформившийся в сознании проект. Все это рисовалось сейчас как глубочайшее безмолвие, чуть надтреснутое где-то от прерывистого шепота. Облегчение наступало через равные промежутки времени, едва успевал он порадоваться новому, освобожденному миру. В голову лезло нечто забытое, не им самим, а, быть может, теми, кто должен был действовать в Берлине. Итак, сначала сигнал из «Волчьего логова», от Фельгибеля, затем запуск механизма «Валькирия», занятие подчиненными Фромму войсками государственных учреждений и стратегических пунктов в Берлине. Забеспокоился: вдруг напутают, что-нибудь забудут, потом вспомнил — а все-таки Сатаны уже нет. Штауффенберг был готов уже пять дней назад. В последний момент пришлось дать отбой. Эти бесконечные проволочки сжимали его как пружину, на которую давит тяжелый камень. Отзвук взрыва обернулся целым водопадом радости, смешанной со страхом. Радость, однако, преобладала — доказательством тому спокойствие, с которым он объяснялся на контрольно-пропускных пунктах по пути к аэродрому.

Итак, он сидел в перегретой, пахнувшей аптекой кабине, смотрел на неустанно ускользавшую землю. Самолет удалялся от прифронтовой полосы и поэтому мог себе позволить подняться на тысячу-другую метров. Бежали, а вернее, теперь уже перемещались назад озера, становясь все меньше и синее. Зачастили темно-красные крыши, и скопища их разрастались. Вскоре промелькнет тонкая голубая нить — нижняя Висла.

Штауффенберг ее не заметил. Он снова был во власти очередного приступа облегчения: камень свалился на земле. Он ни о чем не думал, просто упивался своим состоянием. Дышал глубже, всей грудью. Ощущал расслабленность в коленях. Порой что-то ускользает из-под контроля, задергается щека и долго не успокаивается, а в общем-то — это облегчение, огромное, физическое; но едва осознанное, оно уже предвещает тревогу, продирающуюся сквозь все щели стены Великого Облегчения: дал ли условный сигнал Фельгибель? Все ли оказались на местах в Берлине, все ли началось так, как было предусмотрено?.. План «Валькирия» чертовски детален и сложен, его успех зависит от быстроты. Впрочем, нет, прежде всего зависит от Свершения.

Того, на которое решился он. Штауффенберг знал, что большинство фельдмаршалов и крупных генералов обещали свою поддержку, но лишь при условии освобождения от присяги в результате смерти лица, на верность которому присягали. Они напыщенно и цветисто разглагольствовали о чести германского офицера, но Штауффенберг прекрасно понимал, в чем загвоздка. Они попросту очень боялись Сатаны. При жизни он был неодолим. Живой вынуждал свое окружение постоянно и тщетно соперничать в погоне за его благосклонностью, а мертвый предоставлял разным людям широкие возможности, открывая перед ними, без преувеличения, исторические перспективы.

Все зиждилось на этой смерти. На одном трупе. Штауффенберг швырнул его к ногам всех этих фельдмаршалов, генералов, подполковников, майоров. Внезапно закружилась голова, даже тошнота подкатила к сердцу. Не потому, что убил (скольких?). А просто вдруг осознал, что тайные мечты многих осуществил одним жестом, поставив портфель под стол. Сколько же этих генерал-полковников благодаря ему смогут теперь круто изменить собственную судьбу, стать новыми людьми... И вдруг понял, что сам уже не тот, каким был вчера или два часа назад. Не обезображенный, одноглазый калека без одной руки, с исковерканной другой. А некто, входящий в историю.

Он сидел уставившись прямо перед собой, то есть почти в самое солнце. Но еще пристальнее вглядывался в самого себя. Он предавался самосозерцанию, однако не как те, кто и крупнейшие исторические события, радостные или трагические, невольно расценивает лишь со своекорыстной точки зрения. Он не набивался на роль исполнителя приговора самой истории. Просто, когда выяснилось, что именно у него больше шансов, он взялся за это, без рассуждений, даже не раздумывая.

Единственным свидетельством ощущения собственного взлета была мысль о генерал-полковниках, которые болтали исключительно о своей присяге и испытывали моральные терзания при мысли о необходимости Свершения, словно барышни, увидевшие мохнатую гусеницу на подоле.

Таково было единственное проявление гордости — он швырнул-таки им этот труп, освободил их от присяги. Теперь потребует от них взамен послушания...

...и тут же хоровод тревожных мыслей: дал ли сигнал Фельгибель, захвачено ли здание на Бендлерштрассе, начата ли операция «Валькирия», заняты ли объекты в Берлине?

Он метался в душной кабине. Заботы одолевали его — тем более что он мог только думать, а не действовать.

И снова волна просветления: свершил. Сделал то, что не удавалось никому прежде. Сколько их было, таких попыток? По крайней мере несколько. Ох уж эти фельдмаршалы! Он питал к ним уважение, вынесенное из стен офицерского училища. Но теперь вспоминалось то, что произошло немногим больше года назад с одним из самых продувных хитрецов, фельдмаршалом фон Клюге.

Весной 1943 года к Клюге под Смоленск удалось пробраться фон Гёрделеру, которого прочили в канцлеры. Фельдмаршал принял его весьма радушно, первый день набивал себе цену, на второй — со всем согласился. Гёрделер, как лицо гражданское, возвращался в Берлин на товарных поездах и на обратную дорогу потерял неделю. Наконец, грязный и голодный, ворвался к руководителям заговора, преисполненный гордости оттого, что ему удалось завербовать не кого-нибудь — командующего группой армии «Центр».

Посмотрели на него, в лучшем случае, с жалостью. В день отбытия Гёрделера товарным поездом из Смоленска Клюге выслал самолетом адъютанта к Беку с категорическим отказом от участия и просьбой, чтобы его больше и не пытались ни во что вовлекать.

Несмотря на это, пробовали. Он слушал уговоры. Но Гитлер, словно догадываясь, что за душу фельдмаршала ведется торг, назначил его командующим на Западе, наделив широкими полномочиями, а к шестидесятилетию преподнес скромный подарок: четверть миллиона марок, что Клюге принял, униженно благодаря.

Любопытно, дошел ли Штауффенберг в своих размышлениях до такой точки: ну погоди, все теперь тебе припомним. Наверняка подумал: получай своего покойника и отвяжись.

Это был единственный, наиболее разительный случай. Многие из тех, с кем не устанавливали контакта, догадывались о тайных приготовлениях. Молчали, проявляя терпимость, выжидали. Тоже понимали, что все зависит от быстроты. А ведь сами ничего не сделали, пальцем не пошевелили. Разве что не продавали.

Снова то же самое: все упиралось в труп. Приученный блюсти личную скромность, Штауффенберг отгонял мысль, логически вытекавшую из предыдущей: вся суть в нем, в том, кто организовал взрыв, вызволил щепетильные души господ а-ля фон Клюге из оков присяги на верность, скрепленной четвертью миллиона марок.

Он отбивался от мыслей о своем приобщении к истории. Но демон гордости атаковал уже не в лоб — обходил с флангов. Нашептывал: поздновато, поздновато. А может, вообще слишком поздно? Теперь разговаривать с англосаксами весьма затруднительно, не то что год назад, повторяли иные вслед за Гизевиусом. Год назад русские стояли под Орлом. На Западе только готовилась высадка на Сицилию. Год

назад еще имелись кое-какие козыри для возможных негоциаций, было из-за чего торговаться. И снова сжимается сердце, снова он судорожно, глубоко втягивает в себя пахнущий аптекой воздух. Но год назад были только фельдмаршалы да генерал-полковники, способные лишь трусливо отсиживаться в кустах. А теперь — этот взрыв. Так или иначе, он выдал им этого покойника, следовательно, должен заставить их повиноваться.

Когда привычная скромность вновь дала знать о себе, поставив под сомнение беспрестанное выпячивание собственной персоны на первый план, неожиданно возникла мысль: раз сделал, должен довести все до конца. На тебе лежит ответственность, следует присмотреть за генералами — чтобы те повиновались, выполняли свои обязанности и не слишком-то грызлись между собой.

Им овладело нетерпение. Он смотрел вниз. Озера миновали. Еще попадались перелески, шли сплошняком темно-красные крыши поселков. Год назад все это еще можно было спасти.

Уже год назад он отдавал себе отчет в том, что крах неизбежен. В различных разобщенных кругах немецких интеллектуалов начали одновременно зарождаться одни и те же расчеты, надежды и опасения. Словно семена поседевших от зрелости одуванчиков, разлетались эти мысли по всем уголкам Германии, тут и там пускали ростки, зависимые не друг от друга, а от мощных порывов студеного сталинградского урагана.

А с ним получилось совсем иначе, раньше и по совершенно особым причинам. Возможно, тяжелое ранение, а потом долгие скитания по госпиталям пробудили в нем надежду слабых — религиозность. Во всяком случае, еще в тот период, когда гитлеризм блистал победами, Штауффенберг ощущал свою обособленность от всеобщей радости, зазнайства и хвастовства. Любой акт дискриминации иных народов, любая несправедливость, причиненное другим горе пробуждали в нем отвращение, даже страх — далекий, смутный.

Поэтому появление единомышленников после Сталинграда не только обрадовало тем, что он уже не одинок, но и вызывало опасения. Тогда же всплыло и это табу — присяга на верность. Возмущал, по меньшей мере коробил, прагматизм подобной декларации. Убрать Гитлера необходимо не потому, что становилось преступным все, чего бы он ни коснулся: политика, философия, повседневное управление страной, а потому, что он ведет Германию к катастрофе. Тут были налицо не только моральное убожество приверженцев такого рода точки зрения, но и логический абсурд, заколдованный круг. Свергнуть Гитлера, который толкал Германию в пропасть, невозможно до тех пор, пока это не станет очевидным для большинства. Но тогда уже не будет козырей, чтобы торговаться с победителями.

Он проклинал всю эту ложь. Присяга на верность — идеальное убежище для перестраховщиков. Вот он швырнул им этот труп. Сумеют ли они понять, что уже поздно, очень поздно, может быть, слишком поздно?

Его вдруг охватила тревога. А вдруг кто-то, отсутствовавший тогда в «Волчьем логове» и, следовательно, оставшийся в живых, неожиданно проявит расторопность, а вдруг не удастся блокировать связь с Берлином вопреки клятвенным заверениям Фельгибеля? А если начнут поступать приказы и лживые утверждения, что Сатана жив? Все решает время. Кто выиграет первые несколько часов: «Волчье логово» или Бендлерштрассе?

Он взглянул на часы. Половина третьего. Окликнул адъютанта:

— Узнайте, когда будем в Берлине? Пусть запросят аэродром, что творится в мире.

Адъютант прошел в кабину пилота и тотчас возвратился:

— Еще около часа лету. На борту нет радио.

У Штауффенберга отлегло от сердца. Впереди еще час законного отпуска. Внезапно он понял, что Свершение, представлявшееся крутой вершиной его бытия, по существу знаменует только неизбежное начало неустанного, изнурительного аврала. Что уже несколько часов обременяет его, точно стальные доспехи, груз ответственности. И час лету до Берлина без радиосвязи — последний свободный час... Не знал, как докончить. Легче всего, то есть драматичнее, было бы сказать: жизни. Это претило, он поправился: получил вот час отпуска. И тотчас же пришло обоснование: после Свершения этот мир, разомлевший от жары, проплывающий где-то там, далеко внизу, уже не тот мир, оставленный им несколько часов назад в «Волчьем логове»; запуган он или восхищен, восторгается ли неожиданной новостью или полон бешеной жажды отмщения — неизвестно, во всяком случае, это другой мир, и он, Штауффенберг, преобразил его; иными словами, достаточно ступить на землю, и уже не найдется для себя ни единой минуты; этот последний час полета — последний, которым он может распоряжаться по собственному усмотрению.

Первым желанием было вздремнуть. Хуже и не придумаешь. Едва поудобнее устроился в кресле, хотел прикрыть веки, как перед ним вновь сверкнула та вспышка, послышался гул, черный дым взметнулся между высокими дубами. Его переполнила радость: свершилось. Обуздать ее, отбросить не удавалось. И сам он другой, хочет того или нет. Уже прикидывает, кого же из этих генерал-полковников поддержать, кому, пожалуй, отказать в поддержке. Это лишало покоя. Все казались одинаковыми, особенно те, кто был в строю, не дома, еще командовал. После долгих

блужданий в этих дебрях махнул рукой. Достаточно присматривать, быть начеку, может, подталкивать. Он всему начало, словно гиря, приводящая в движение часовой механизм. Не без труда отринул все это. Снова радость просветления охватила его. Навязчивая, неотступная, властная, она не позволяла на чем-либо сосредоточиться.

Час, последний час отпуска едва тащился, и вскоре Штауффенберг начал торопить время. Сперва поглядывал на часы через каждые пятнадцать — двадцать минут. А сейчас не выдержал и пяти. Самолет рассекал летнее небо. Штауффенберг мчался в самолете, нетерпеливо ожидая встречи с преобразившейся после Свершения землей. В итоге, кроме этого растущего нетерпения, у него не осталось ничего.

■

Наконец самолет повалился на крыло. Штауффенберг увидел перевернутые вверх дном, но все же знакомые очертания Рангсдорфа, военного аэродрома под Берлином. Взглянул на часы: приближался час G+3, то есть половина четвертого.

Он не помнил всего графика операции «Валькирия».

Еще раз перебрал в памяти план, который надлежало осуществить по получении условного сигнала из «Волчьего логова». Командование армии резерва на Бендлерштрассе поднимает по тревоге офицерские училища и блокирует казармы СС, а другие вверенные ему части арестовывают в соответствии со списком руководящих гитлеровских деятелей, в том числе Геббельса, окружают гестапо, подчиняют себе полицию, устанавливают контроль над радио, почтой, телефонной и телеграфной связью, вокзалами. Одновременно командования всех частей на Восточном, Западном и Южном фронтах получают инструкции, в соответствии с которыми поступают в распоряжение заговорщиков.

Исключительно важное значение имел западный театр военных действий. Там было больше всего участников заговора, это раз. Во-вторых, существом заговора была капитуляция на Западе в сочетании с наращиванием сопротивления на Востоке. Следовательно, генералы, командовавшие у фон Клюге, требовались прежде всего...

Столько предстояло сделать в часы G+1, G+2, G+3, что он заставил себя бросить подсчеты. Последний приступ сомнений — словно холодной водой обдали: где они, что успели те, с Бендлерштрассе? Вместе с фон Хефтеном они смотрели в иллюминатор самолета. На небольшом аэродроме было пусто.

— Есть тут кто-нибудь? — спросил Штауффенберг адъютанта.

— Не вижу. Нет, вон какой-то солдат.

— Где?

Фон Хефтен отстранился от иллюминатора, указал направление.

Полковник жадно всматривался. Случившееся несомненно должно было отразиться на всех людях. Ликующие или возмущенные, они уже не те, что вчера. Он смотрел. Вон солдат. Но нет в нем решительно никакой обновленности. Зашел в кустики, постоял немного, двинул дальше, безразлично насвистывая. Штауффенберг был поражен, неприятно поражен. И следа Великого Свершения не отражалось на физиономии солдата.

Приказал открыть дверь самолета. В лицо полыхнуло зноем, но пахнущим уже не аптекой, а хвоей. Вышел. На земле стояли еще двое солдат и фельдфебель из комендатуры аэродрома.

— Здравствуйте, солдаты,— сказал он в ответ на вялый рапорт.— Что слышно?

Вояки глуповато таращились. Фельдфебель подобострастно улыбнулся:

— Ничего особенного, господин полковник. Жарко.

Теперь у Штауффенберга захватило дух от тревожного предчувствия. По плану в первый же час надлежало взять под контроль все военные объекты города, а значит, и этот аэродром. Фельдфебель же, словно догадываясь о его тревоге и поддразнивая, добавил:

— Скверно, господин полковник. Погода хорошая, англичане прилетят ночью.

Они подходят к домику комендатуры. Фон Хефтен бросается к телефону. Штауффенберг спрашивает фельдфебеля, нет ли машины из штаба армии резерва. Фельдфебель бежит проверить.

Штауффенберг приближается к адъютанту. У того лицо сначала напряженное, полное ожидания, затем взгляд светлеет, он шепчет, прикрывая ладонью трубку:

— Вот они...

Голос его сразу же густеет:

— Полковник Мерц фон Квиринхейм? Докладывает обер-лейтенант фон Хефтен. Задание выполнено, полный успех. Полковник рядом со мной. Он хочет знать, что тут происходит. Как? — Лицо его вдруг багровеет. Он смотрит на Штауффенберга, и в глазах его мелькает тень, леденящая, несмотря на жару, тень какой-то подавляющей, сокрушительной озадаченности.— Не может быть! — кричит он.— Полковник рядом со мной. Он был на месте. Ну кто же может знать лучше?

— Мерц? Как дела, Мерц? — Штауффенберг тремя пальцами прижимает трубку к уху.— Что ты там рассказываешь?

— Слушай, Клаус, у нас нет никаких известий. Ни слова подтверждения. А то, чем располагаем... впрочем, это не телефонный разговор...

— Уверяю тебя, то, что говорил фон Хефтен, чистейшая правда. Я был рядом, слышал, все должно было разлететься вдребезги — столы, стены, не говоря уже о людях...

— Превосходно, Клаус, превосходно!

— Подожди. Превосходно, превосходно, а почему вы ничего не сделали? Ладно, потом потолкуем. Не теряйте там времени, пока я еду. Все уже должно быть приведено в движение...

— Разрешите доложить, господин полковник, нет никакой машины из штаба!

Это был фельдфебель.

— Ни секунды проволочки! — рявкнул Штауффенберг в трубку.— Действуйте! — Взглянул на фельдфебеля.— Найди начальника аэродрома. Ты меня знаешь. Пусть даст мне свою машину. Я очень спешу.

Фельдфебель щелкнул каблуками, убежал.

Было пустынно и жарко. Они взглянули друг другу в глаза.

— Не понимаю...— начал Штауффенберг.

Фон Хефтен понял одно: шеф очень обеспокоен.

— Возможно, что-то случилось с генералом Штиффом,— сказал он,— и с генералом Фельгибелем. Видимо, кто-нибудь из бонз выжил. Геринга и Гиммлера не было на совещании?

— Не было.

— Может, пытаются взять инициативу в свои руки. Первым делом полностью изолировать «Волчье логово». У Фельгибеля могут возникнуть затруднения с передачей...

— Возможно, возможно...— Штауффенберг успокоился, хоть и заметил, что фон Хефтен утешает слишком рьяно.

— Господин полковник, есть машина!

Фельдфебель показал на старый «опель». Полковник поблагодарил, сели в машину.

Ехали душным сосновым лесом, примыкавшим к окраине Берлина. Таким огромным, что Штауффенберг усомнился, выберутся ли они из него когда-нибудь. Потом еще томительнее потянулись предместья, которые англосаксы уничтожали с яростным ожесточением. То и дело приходилось останавливаться, сворачивать налево, направо, повинуясь желтым пальцам дорожных указателей. Тянулось все это неимоверно долго.

Неслыханно, думал Штауффенберг, неслыханно. За три часа ничего не сделано. Даже с этим трупом у ног ни на что, кроме болтовни, не способны. Еще одна непреложная истина стала утверждаться в его душе: он вошел в историю и обрел еще одну обязанность — довести до конца спасение родины. Хотя бы и было слишком поздно. Хотя он и не желал ничего для себя лично: ни власти, ни ответственности. Он понимал теперь, что должен быть тверд и непреклонен. Чрезмерная сдержанность может оказаться хуже лжи, трусости, предательства.

Предместья были почти безлюдны. Полиция охраняла развалины. Кое-где копались в руинах рабочие-иностранцы. Они не торопились, как никто не торопился в этот жаркий воскресный день. Штауффенберг смотрел вокруг с нетерпением и тревогой, ибо она вернулась и все росла.

— Послушайте, Хефтен,— негромко обратился он к обер-лейтенанту.— Кто тут спит? Весь город? Может, это нам двоим приснился взрыв и черный дым?

Фон Хефтен вздрогнул и промолчал. Въехали на Бендлерштрассе. И тут царил покой. У штабных зданий стояли часовые, самые обыкновенные, заспанные, попрятавшиеся в тень.

Вот и штаб командования армии резерва сухопутных войск. Ворота, в воротах тоже часовой. Круглолицый солдат наклоняется к окну автомобиля, заглядывает равнодушно, узнает Штауффенберга. Вытягивается, открывает ворота, отдает приветствие.

Штауффенберг тут же выскакивает из машины. Узкий колодец двора, десятки окон, в окнах — лица офицеров. Полковник бросается к двери, поэтому не видит, как у этих лиц вырастают руки, как пальцы, указуют на него, Штауффенберга, и как, прежде чем он исчезнет со двора, в окнах начнется движение.

Он изо всех сил мчится по лестнице, придерживаясь на поворотах за перила своей единственной, искалеченной рукой. Фон Хефтен, размахивая его портфелем, несется следом. Так вместе они влетают в приемную-адъютантскую, не перекинувшись словом с адъютантами, которые еле успели вскочить при их появлении, распахивают двери и врываются в кабинет генерала Ольбрихта.

Это просторная комната с высокими окнами, выходящими на юг. Здесь было бы невыносимо жарко, если бы не опущенные шторы. В янтарном свете этого кабинета Штауффенберг с багровым, лоснящимся от пота лицом кажется еще более разгоряченным. Он в белом летнем мундире, в брюках для верховой езды, в высоких кавалерийских сапогах.

В кабинете стоит генерал Фридрих Ольбрихт, заместитель генерала Фромма, командующего армией резерва сухопутных войск. Он среднего роста, лысеющий, чисто выбритый, в очках. Ему под шестьдесят. Лицом чем-то напоминает врача или священника, ничего от армейской жесткости. Но восклицание, которое вот-вот вырвет-

ся у Штауффенберга, адресовано именно ему: ведь Ольбрихт — тот, кто должен действовать.

Штауффенберг крикнул прямо от дверей:

— Что у вас творится, черт побери?

Эта непосредственность и резкий тон производят сенсацию. Так в словах проявилось преображение полковника. Тот, кто вошел в историю, не обязан докладывать. Почему до сих пор ничего не сделано?

Ольбрихт смотрит на него своими холодными светло-голубыми глазами, но в уголках рта добродушная улыбка:

— Спокойно, полковник.

Штауффенберг чувствует, как в горле клокочет прорывающийся крик. Озирается по сторонам, берет себя в руки и проглатывает этот крик. В янтарном полумраке кабинета стоят еще несколько человек. Среди них — высокий господин в штатском, коротконосый, с темными кругами под глазами. Это будущий, вернее, теперешний президент Германии, генерал-полковник Бек, некогда начальник штаба вермахта, изгнанный Гитлером еще до войны за то, что был противником оккупации Праги.

И вместо того чтобы крикнуть, Штауффенберг уже тише произносит:

— Так почему?

— Потому,— перебивает Ольбрихт,— что у нас нет уверенности относительно результатов покушения...

— Но ведь я...— взрывается Штауффенберг, и это звучит как рев зверя, в которого вдруг угодила пуля.

— Минуту! — Ольбрихт тверже его, а может, спокойнее.— У нас состоялся разговор с Фельгибелем. Он подтвердил, что было покушение, но не подтвердил, что Гитлер погиб. Может, только тяжело ранен. Обещал информировать еще раз, не звонит. Только что я потребовал от Фромма начать осуществление плана «Валькирия», сообщив ему о смерти фюрера в результате покушения и попытке СС захватить власть. Так вот, Фромм категорически отказался, потребовав подтверждения смерти фюрера.

Черный глаз Штауффенберга, казалось, пылал.

Он прохрипел:

— Какое еще доказательство?

— Он при мне связался с Кейтелем...

— Кейтель мертв. Он был на совещании.

— Кейтель,— спокойно продолжал Ольбрихт,— немедленно ответил. Подтвердил, что было покушение, что несколько человек тяжело ранены. Но фюрер практически цел и невредим, получил лишь несколько царапин. Кстати, фельдмаршал спросил о вас, полковник...

— Кейтель лжет! — воскликнул Штауффенберг.— Кейтель вечно лжет. Я снял бомбу с предохранителя, вошел следом за Кейтелем в павильон. Поставил портфель под стол, в полутора метрах от... от этого... Тотчас вышел, сказав Кейтелю, что жду телефонного звонка. Не может быть, Кейтель лжет! Я быстро направился к стоянке машин. Минуты через три произошел взрыв! — Тут он крикнул, не сдержавшись, не находя иного способа отстоять свое Свершение: — Взрывная волна была такой силы, что нашу машину чуть не сбросило с дороги. Мы видели облако дыма, не так ли, фон Хефтен?..

— Так точно,— подтвердил обер-лейтенант.

— ...через южные ворота нас не хотели выпускать, уже была объявлена тревога.

Ольбрихт тихо спросил:

— Полковник, вы собственными глазами видели труп Гитлера?

— Какое это имеет значение?

— Значит, не видели?

— Если бы я дождался, пока его вынесут, меня бы тут не было,— снова закричал Штауффенберг.— А что же, генерал, вы сказали Фромму?

— То же, что и вы. Что Кейтель лжет.

— А Фромм?

— Отказался.

— Где он?

— Здесь.

Пот залил лицо Штауффенберга. Все, с чем он успел освоиться во время полета, пошло прахом. Его врожденная скромность, которую он приноравливал к своему новому воплощению... Свершение, которое внезапно оказалось незавершенным. Кружилась голова, словно он, падая, попал в воздушный водоворот. Его шатнуло, он прислонился к стене.

Ольбрихт поверх очков внимательно наблюдал за ним.

— Несмотря на отсутствие ясных указаний от Фельгибеля, с некоторым опозданием, но мы решили действовать,— проговорил он.— Как раз начинаем передавать в войска сигнал «Валькирии». Генерал фон Хазе получил приказ поднять офицерские училища — пехотные и танковые. Сейчас сюда прибудет граф Гельдорф с людьми из полиции. Я проинструктирую их относительно арестов. Несмотря на опоздание, мы действуем.

Штауффенберг вытер лицо и шею.

— Прошу дать указание, чтобы меня срочно соединили с Парижем. Им тоже пора начинать.

Он был в странном состоянии, когда разговаривал со своим кузеном Хофакером из парижского штаба Штюльпнагеля. Его сотрясали приливы то отчаяния, то надежды. Не швырнул он им под ноги этот труп. И все же они начали действовать.

Фон Хефтен проводил полковника на узел связи. С Парижем соединили немедленно. Хофакер забросал его вопросами. В нескольких словах, осторожных, но понятных, Штауффенберг попытался передать ему главное: пора действовать. Но самое главное — этот труп — он обошел молчанием.

Вернулся в кабинет Ольбрихта, который был и его кабинетом. В глубине во всю стену — карты, их разглядывает фон Бек, по-прежнему в штатском. Рядом сидит за круглым столом граф Ульрих фон Шверин, высокий, с белым, словно окаменевшим лицом, обвисшие углы рта придают ему сходство с живым трупом.

До чего же иначе выглядит Штауффенберг! Вот как описывает его один из очевидцев: «...он производил сильнейшее впечатление. Весь в поту, тяжело дышит. Кажется похудевшим, может, оттого, что он в повседневном мундире. Воодушевлен, легок, раскован; улыбка победителя озаряет его лицо».

Подобный портрет человека, который три часа подряд привыкал к мысли о Свершении и примерялся к роли Обновителя, а потом был ошеломлен вестями из «Волчьего логова» и наверняка пережил стремительный упадок душевных сил, свидетельствует либо о том, что, начав действовать, он запамятовал о неудаче Свершения и этот труп стал казаться ему не столь уж важным, либо о том, что был он так упрям, что все неблагоприятные известия отвергал как заведомую ложь врагов с Кейтелем во главе.

Ольбрихт взглядом указывает на дверь и говорит:

— Вот они.

Входят трое: граф фон Гельдорф, полицей-президент Берлина, один из активных заговорщиков, фон Бисмарк, дипломат («из тех самых»), а также дипломат, бывший сотрудник гестапо, недавний вице-консул в Цюрихе, осуществлявший связь с американской разведкой, Гизевиус.

Подходят к Ольбрихту, взаимные приветствия. Оторвавшись от карт, Бек тоже направляется к ним.

Ольбрихт словно бы вытягивается во фрунт и, как по писаному, начальственным тоном провозглашает:

— Фюрер пал жертвой покушения. Вермахт взял власть в свои руки. С этого момента берлинская полиция переходит в непосредственное подчинение верховному командованию вермахта. Вам, граф, надлежит принять все необходимые меры. Германия и немецкий народ надеются, что в этот исторический час вы будете на высоте положения.

Гельдорф вытягивается, произносит:

— Слушаюсь!

Поворачивается кругом, идет к дверям.

— Минуточку,— раздается голос из глубины комнаты.

Все оборачиваются. Это приближается Бек, говоря спокойным, ровным, звучным голосом:

— Минуточку, Ольбрихт. Следует честно информировать полицей-президента о том, что из ставки поступили сведения, якобы Гитлер остался жив. В этой связи необходимо принять решение относительно...

— Кейтель лжет,— прерывает его Ольбрихт и вдруг яростно кричит: — Лжет, лжет, лжет!

Фон Хефтен утвердительно кивает головой.

А у Штауффенберга будто что-то обрывается в груди, принося чувство радостного освобождения. Он попросту разражается торжествующим хохотом.

Бек не поддается этому тройному опровержению. Говорит:

— Нет, нет, нет...

Ольбрихт, словно желая выпроводить Гельдорфа за дверь, продолжает кричать:

— Кейтель лжет, лжет, лжет...

Трое прибывших, окаменев, смотрят на героев этого праведнейшего из заговоров. Ибо генерал Бек гнет свое.

— Ольбрихт,— говорит он,— суть не в том, лжет Кейтель или нет. Необходимо, чтобы Гельдорф знал, как будет изображать дело та сторона. Там начнут болтать, что покушение не увенчалось успехом. Следует считаться с тем, что подобная версия будет передана по радио. Что мы тогда скажем?

Ольбрихт поворачивается к Штауффенбергу, который еще раз повторяет то же самое:

— Бомба взорвалась. Я видел пламя и дым, как от стопятидесятимиллиметрового снаряда. Никто не мог остаться в живых после такого взрыва. По крайней мере, Гитлер тяжело ранен.

Ольбрихт прерывает его:

— Кейтель лжет. Я лучше всех знаю, как способен лгать Кейтель!

Бек не уступает:

— Я не сомневаюсь, что рапорт полковника Штауффенберга правдив. Не считаю также, что Гитлер в ближайшее время сможет выступить по радио. Но вещи, Ольбрихт, надо видеть такими, какие они есть. Что вы с Гельдорфом скажете, если Кейтель, Геббельс или Гиммлер объявят, что Гитлер жив? Слухи не в счет. Не в счет даже правда. Для меня этот человек умер. Нам надлежит сделать все вытекающие отсюда выводы и соответствующим образом действовать. Но мы должны вооружить наших людей на случай, если первой акцией той стороны будет заявление, что Гитлер жив. В течение нескольких часов они не смогут представить доказательств. За это время необходимо довести до конца операцию в Берлине.

■

Ольбрихт взглянул на Бека:

— Надо заняться Фроммом. Нельзя допустить, чтобы он связывался с городом. Сигнал «Валькирии» передается от его имени. Не желаете ли, господин генерал, вместе со мной пойти к нему? Это может побудить его окончательно присоединиться к нам.

Бек отрицательно покачал головой.

— Я предпочел бы не торопиться. Возможно, потом. Думаю, будет лучше, если первым пойдете вы, его непосредственный подчиненный.

— Хорошо,— говорит Ольбрихт.— Полковник Штауффенберг отправится со мной.

Они проследовали через несколько комнат. Отрапортовали Фромму. Почти двухметровый великан неприязненно взглянул на них.

— И все-таки, господин генерал, факт остается фактом. Полковник Штауффенберг только что из Восточной Пруссии. Фюрер погиб в результате покушения. Полковник был при этом. Нет и тени сомнения.

— Так точно, господин генерал, фюрер мертв.

— А что мне говорил Кейтель?

— Кейтель солгал! Вы же знаете, господин генерал, фельдмаршалу никогда нельзя доверять. Я собственными глазами видел, как несли мертвого фюрера.

— А поскольку факт установлен,— вмешивается Ольбрихт,— мы передали в военные округа сигнал «Валькирии»...

Фромм вскакивает. Теперь видно, как он высок.

— Это нарушение моего запрета! — кричит командующий.— Кто распорядился? Что значит «мы»?

— Мой начальник штаба, полковник Мерц фон Квиринхейм.

Фромм стучит кулаком по столу:

— Полковника Мерца ко мне!

Несколько секунд все трое стоят, не произнося ни слова. Даже не смотрят друг на друга. Фромм бледнеет от ярости, а может, от страха. Ему легко не смотреть на собеседников. Он глядит прямо перед собой, то есть поверх их голов, куда-то за окно, в выцветшую от зноя голубизну неба.

Ольбрихт чувствует на себе чей-то взгляд. Косится на Штауффенберга. Тот вне себя. Он пытается взглядом заставить Ольбрихта убрать с дороги Фромма, если тот будет артачиться. Ольбрихт совершенно спокоен. Входит Мерц фон Квиринхейм.

Увидя его, Фромм вопит:

— Что за бардак с этой «Валькирией»! Кто вам разрешил?

— У меня был приказ о принятии соответствующих мер на случай беспорядков в Германии. Действительно, я такой приказ отдал...

— Вы арестованы! — орет Фромм.— Потом разберемся. А пока что приостановите передачу каких-либо инструкций.

Мерц спокойно берет стул и садится у стола. Говорит Фромму:

— Если я арестован, то не двинусь с места. И никому не могу приказывать.

Прежде чем Фромм разобрался в противоречивости собственных решений, к нему, стараясь оставаться невозмутимым, обратился Штауффенберг:

— Господин генерал, это я подложил бомбу во время совещания у фюрера. Взрыв был таким мощным, что никто не мог уцелеть.

Глаза у Фромма вдруг словно блекнут. Он смотрит на начальника своего штаба и только теперь уясняет, почему Кейтель расспрашивал о Штауффенберге. Понимает, что фюрер жив. И чувствует, как мороз подирает по коже: его уже там взяли на заметку.

Неожиданно спокойно объявляет Штауффенбергу:

— Вам остается только пустить себе пулю в лоб.

Штауффенберг взрывается:

— Никогда в жизни я не сделаю этого.

Ольбрихт произносит тоном не то профессора, не то проповедника:

— Господин генерал! История оставила нам последний шанс спасти Германию. Если мы устраним Гитлера, то сможем капитулировать на Западе, сохранив завоевания на Востоке, хотя бы Западное Поморье. Если не сделаем этого сегодня, от Гер-

мании останется беспомощный обрубок. Нельзя терять ни минуты. Господин генерал, в ваших руках судьба Германии.

Фромм с холодным любопытством смотрит сверху вниз на Ольбрихта:

— Значит, и вы, генерал, замешаны в этом путче?

— Да,— признается Ольбрихт.— Но играю в нем второстепенную роль.

— Превосходно! — говорит Фромм.— Вы все трое арестованы!

— Господин генерал, вы ошибочно оцениваете соотношение сил,— отвечает Ольбрихт.— Вы нас арестовать не можете, а мы вас — вполне.

— Не посмеете!

— Напротив. Сдать оружие!

Фромм пытается выхватить пистолет из кобуры. Ольбрихт бросается на него, они возятся, огромный Фромм не может сладить со своим противником. Вмешивается Мерц. Каждый не скупится на оскорбления. «Трус!», «Предатель!», «Проходимец!» — только и слышится под сводами мрачного респектабельного кабинета, причем добрых несколько минут. Штауффенберг не участвует в потасовке, подходит к дверям и зовет фон Хефтена. Тот прибегает еще с одним офицером. Фромм обезоружен.

— Заключить под стражу в адъютантской! — распоряжается Ольбрихт.

Тут в комнату входит невысокий человек в штатском, широколицый, с выпяченным подбородком. При нем небольшой чемоданчик. Это генерал Гёппнер, бывший командующий 4-й танковой группой, снятый зимой 1941 года за отступление без санкции Гитлера. Его отстранили, вышвырнули из армии без права ношения формы. Заговорщики прочат его на место Фромма.

— Располагайтесь здесь,— обращается к нему Ольбрихт.— Следите за передачей сигнала «Валькирии» во все военные округа рейха и командования на фронтах.

— Как мне подписывать?

Ольбрихт невольно бросает взгляд на Штауффенберга.

— Пока «Фромм». Позже мы сообщим о его снятии и вашем назначении.

Штауффенберг не замечает минутного замешательства Ольбрихта. Он слишком возбужден. Проходит в соседнюю комнату, где сидят несколько офицеров. Тон, которым он к ним обращается, заставляет их вскочить, вытянуться по стойке «смирно».

— Господа, прошу вас расставить часовых у всех выходов. Действительны только пропуска, подписанные мною лично. Без приказа никому не разрешается покидать здание.

Наконец-то план «Валькирии» приведен в действие. Но уже G+5, то есть половина шестого.

За дверью слышатся гулкие шаги. Фон Хефтен выходит и тотчас возвращается. Наклоняется к Штауффенбергу:

— Некто из главного управления имперской безопасности желает повидаться с вами, господин полковник!

— Безопасности?

— Так точно. От Кальтенбруннера.

Чуть было не прибавил «самого».

— Давайте его сюда.

Топот за дверью. Входит, тяжело ступая, высокий эсэсовец, вскидывает руку и ревет:

— Хайль Гитлер!

Никто не отвечает ему.

Штауффенберг осведомляется:

— Слушаю вас?

— Штандартенфюрер доктор Пиффрадер, прибыл по поручению начальника главного управления имперской безопасности.

— Слушаю вас.

— Господин полковник, мне приказано выяснить обстоятельства вашего поспешного отъезда из ставки фюрера.

— Полковник Егер! — зовет Штауффенберг.

Тот выходит из соседней комнаты.

— Арестуйте этого господина! — сухо чеканит Штауффенберг.

— О, о! — начинает д-р Пиффрадер и вдруг смолкает, отдает оружие, послушно следует за полковником Егером.

■

Штауффенберг прикидывает, куда бы посадить этого эсэсовца, и вдруг спохватывается: еще ничего не сделано для захвата власти, а уже сажают людей. Огорчается, успокаивает себя тем, что это ненадолго, только вначале, ведь как-никак государственный переворот.

Между тем является Гизевиус от Бека, которого занимал разговорами. Подходит к Штауффенбергу навострив уши, словно бы даже принюхиваясь.

— Что случилось?

— Что? Прибыл посланец от Кальтенбруннера.

— Это он орал «хайль Гитлер!»?

— Он.
— Ну и...
— Ничего. Я его арестовал.
— Почему не пустили в расход?
— Успеется.
— Я бы не морочил себе голову необходимостью охранять его. Пуля в лоб, и точка.

Идут к Беку, еще препираясь по дороге на эту тему. К Беку вскоре приходят Ольбрихт и Гёппнер, облачившийся, наконец, в генеральский мундир. Ольбрихт сообщает:

— Ко мне обратился Фромм. Просит отпустить под честное слово. Вернется домой и пальцем не шевельнет.
— Ваше мнение, господа? — спрашивает Бек.
— Я бы его отпустил,— предлагает Ольбрихт.— Он всегда был человеком слова, а тут ведь надо и сторожить его.
— Я бы тоже отпустил,— замечает Гёппнер.— Если даст слово, то сдержит...
— Я иного мнения о Фромме,— говорит Бек.— Но если господа генералы полагают...
— Да ничего подобного! — вмешивается вдруг Гизевиус.— Лучше пристрелить его. Этот завравшийся мерзавец ничего другого и не заслуживает. Честное слово? Что это такое? Помните, как в двадцать третьем году фон Лоссов дал честное слово Гитлеру, когда тот пригрозил ему револьвером, а потом вернулся к своим и отдал приказ стрелять?
— Вы преувеличиваете, господин советник!— возражает Штауффенберг.— Стрелять?.. Он сдержит честное слово...
— Вы сами сегодня нарушили слово, данное два месяца назад Фромму, что ничего не будет предприниматься против Гитлера,— говорит Гизевиус.
— Позвольте! — повышает голос Штауффенберг.— Если родина может погибнуть из-за того, что мне страшно нарушить присягу, то мой долг побороть этот страх. Я не желаю...
— Разумеется, полковник, разумеется Мы прекрасно вас понимаем...
— Прошу не выпускать Фромма из-под ареста,— спокойно произносит Бек.

Ольбрихт и Гёппнер направляются к Фромму, Гизевиус — в кабинет Мерца фон Квиринхейма. Офицеры входят и выходят. Лихорадочно работают две машинистки. Одна из них переписывает пространный приказ, который должен быть передан по телетайпу. Мерц исправляет ошибки. Это подробная инструкция относительно введения чрезвычайного положения. Два телефона — и третий в соседней комнате — трещат без умолку. Мерц не берет трубку, это делают случайно подвернувшиеся офицеры, которые советуются друг с другом, вопросы переплетаются с ответами, царит невероятная неразбериха.

■

На Бендлерштрассе явился собственной персоной командующий округом Берлин — Бранденбург генерал фон Кортцфлейш. Получив сигнал «Валькирии», он решил лично переговорить с Фроммом.

Увидев Гёппнера, он протестует, хочет уйти. Отказывается признать его своим начальником.

На помощь Гёппнеру приходит Ольбрихт.

— Генерал! — восклицает он.— Гитлер мертв. Пробил час спасения Германии! Будьте мужественны!

Но Кортцфлейш пожимает плечами:

— Фюрер жив! Я присягал ему.

Входит Бек, слышит это.

— Вы не подсчитывали, генерал, сколько раз Гитлер нарушал торжественные обещания, дававшиеся немецкому народу? Он влечет нас в пропасть. Если мы не избавимся от него, через несколько месяцев вся Германия будет оккупирована. Вы слышите?
— Я присягал...

Бек вздыхает, смотрит на Кортцфлейша, машет рукой. Офицеры отбирают у него оружие, выводят.

— Вместо него назначить фон Тюнгена. Он явился?
— Ждет.

Все покидают кабинет, кроме Гизевиуса и Ольбрихта, которому было предложено остаться. Бек спрашивает Ольбрихта:

— Какие приняты меры для обеспечения нашей безопасности?
— Я велел закрыть ворота. Охрана получила приказ никого не пропускать.
— Сколько часовых?
— Несколько постов.
— Кому они подчиняются?
— Мне
— Как поступят, если нагрянет гестапо?

Ольбрихт пожимает плечами.

— Будет ли охрана стрелять, Ольбрихт?

— Не знаю.

— Готовы ли солдаты умереть за вас, Ольбрихт?

— Ничего не знаю.

— С фон Фриче было бы по-иному, Ольбрихт.

Ольбрихт покраснел, снова пожал плечами.

А Бек беспощадно продолжал:

— Ради фон Фриче солдаты не задумываясь согласились бы пожертвовать собой, Ольбрихт... Ну ладно. Где Витцлебен?

— Ждем с минуты на минуту,— отвечает обескураженный Ольбрихт.

— Должен был находиться здесь.

— Нам сообщили, что он направляется в Цоссен, в тамошнюю ставку вермахта. Раз уж он выступает как главнокомандующий...

— Это ошибка, Ольбрихт. Место фельдмаршала здесь.

— Попытаюсь его перехватить.

— Да, да, пожалуйста.

■

— Прибавьте громкость!

По требованию Штауффенберга один из офицеров усилил звук. Дикторский голос знакомым тоном читал официальное сообщение. Говорил Берлин. Это было сообщение о покушении. Подробно перечислялось, кто ранен тяжело, кто легко. Фюрер получил ожоги и несколько мелких царапин.

Штауффенберг слушал передачу, стискивая зубы и краснея от стыда. Все напоминало ему о том, что он дал маху. Не бросил им труп под ноги, и это затормозило теперь весь механизм заговора. Фромм не примкнул к ним, приходилось уйму времени тратить на телефонные разговоры, вдобавок все новые голоса присоединялись к хору скуливших о присяге.

Он дослушал официальное сообщение. Далось это ему нелегко, ведь он стоял на своем: все вранье. Офицеры промолчали, старались не смотреть на него.

На Бендлерштрассе была лишь горстка готовых на все заговорщиков, а остальные офицеры, составлявшие большинство, верили им, что фюрер мертв и назревает угроза переворота, который готовит СС. Верили — в той или иной степени, по крайней мере, соглашались принять предлагаемую им версию.

Разумеется, сообщение по радио сразу же отразилось на общей атмосфере. Многие не были готовы действовать в том случае, если Гитлер уцелеет, и вдруг сообразили, что предстоит борьба не с остатками гитлеровской машины, не с последышами фюрера, потрясенными и, возможно, перессорившимися. Им стало ясно, что они оказались лицом к лицу все с тем же Гитлером, который столько раз избегал смерти и в сложных ситуациях одолевал своих соперников. И каждый, конечно, понял, что существенно меняется соотношение сил. Непосвященные все больше проникались убеждением: здесь их обманывают.

С фронтов, из разных концов рейха, куда передавался сигнал «Валькирии», требовали теперь разъяснений, подробных инструкций и подтверждения полученных приказов. Официальное сообщение сделалось главным предметом расспросов.

Телефоны беспрерывно звонят в кабинетах Штауффенберга и Фромма. Штауффенберг мечется между ними, хватает трубки. Если это кто-нибудь из участников заговора — отдает короткие распоряжения, если чужой — убеждает, даже грозит.

— Алло? Что с училищем в Крампнице? Берите его и оцепляйте правительственный квартал. Да, в соответствии с планом. Бога ради, не тяните!

— Что, сообщение по радио? Обман — от первого до последнего слова. Ведь известно же о попытке СС совершить государственный переворот. Они вынуждены так говорить. Не верьте и разъясните другим. Привет.

— Кто? Генерала Фромма нет. Говорит начальник штаба полковник фон Штауффенберг. Вы получили сигнал «Валькирии». У вас есть инструкция, как поступать в таком случае. Никаких изменений, никаких исключений. Нет, генерала Фромма нет и в ближайшее время не будет. Не знаю. До свидания.

— Что в Берлине? В самом Берлине все идет нормально. Сигнал передан ввиду возможных волнений, но в Берлине царит полнейшее спокойствие. Это в ставке фюрера было покушение. Да, фюрер убит. Ах, Кейтель... Кейтель, как всегда, лжет. Выполняйте инструкции. Привет.

Ввиду того, что запросы учащаются, он приказывает передать опровержение официального коммюнике, еще раз сообщив, что Гитлер мертв, и потребовав выполнения поступающих приказов.

Ольбрихт не предавался столь лихорадочной активности, он выкроил минуту, чтобы сосредоточиться, и пришел к выводу, что после сообщения по радио людям будет мало заверений относительно смерти фюрера. Он собирает своих офицеров. Их около сорока. Ему не очень-то ясно, о чем с ними толковать, и он говорит, что шаги, предпринятые на Бендлерштрассе, необходимы, если учесть положение, в котором очутился рейх. Что обстановка не ясна, но вот-вот прояснится.

Потом Гёппнер призывал офицеров не покладая рук помогать фронту. Оба генерала, не имея возможности говорить прямо и побаиваясь выложить подлинные аргументы, говорили обиняками, прибегали к фразам о взаимном доверии, озабоченности судьбой солдат, сражающихся на фронте.

Результат обеих речей был прямо противоположен намерениям ораторов. Заговорщиков они не вдохновили, непосвященных ни во что не посвятили, сомневающихся не убедили. Люди разошлись, разделились на группки, перешептывающиеся в укромных уголках. И там договаривалось то, что не было досказано до конца на встрече с генералами.

Штауффенберг не слышал этих речей, ему было некогда. Сейчас, после сообщения по радио, звонки из округов и с фронтов особенно зачастили. Командующие один за другим начинали сопоставлять сигнал «Валькирии» с коммюнике. В головах высших офицеров, отрезанных от «Волчьего логова» и Берлина, царила полнейшая сумятица, передача столичной радиостанции отнюдь не перечеркнула автоматически шансов заговора. Сам факт покушения был подтвержден официально. Это позволяло истолковать его в интересах Бендлерштрассе, то есть что фюрер мертв. Так или иначе, но именно сейчас Фромму звонили непрерывно. Штауффенберг буквально разрывался между своим кабинетом и кабинетом Фромма, сам снимал трубки, доказывал, опровергал, нажимал на последствия сигнала «Валькирии». От фон Хефтена было мало толку, ибо каждый звонивший, услыхав на свой вопрос: «Кто у телефона?» — «Обер-лейтенант фон Хефтен», не желал с ним разговаривать и дожидался начальства. Хефтен подавал Штауффенбергу телефонные трубки и, при всем желании, не мог ему больше ничем помочь.

Это была истинная пытка. Штауффенберг понимал важность ответов на телефонные звонки, понимал, что должен выкручиваться сам, поскольку никому этого не передоверишь. Но одновременно в подсознании пульсировала мысль: танки из Крампница. Где танки из Крампница?

Танков из Крампница не было. И неизвестно, куда они девались. Было уже G+5, скоро семь, а из Крампница никаких вестей.

Между тем в этом странном доме, набитом офицерами и штатскими, дожидавшимися в приемных приказов, которые должны были последовать неведомо от кого, в доме, где в центральных помещениях, словно ошпаренный, метался однорукий и одноглазый полковник, а остальные выжидали,— в этом доме начали собираться по углам, коридорам и закоулкам группки. Внизу, в подвалах, где стояли телетайпы, по которым передавался сигнал «Валькирии» и дополнительные приказы, у нескольких офицеров возникли сомнения. Один поделился своими. Другие с ним согласились. Поведение начальства показалось им подозрительным. Они еще не осмеливались усомниться в поведении Штауффенберга. Для начала решили организовать подслушивание его телефонных разговоров.

Третьи были более осторожны. Прохаживались по темным участкам коридоров и вполголоса обсуждали свои опасения.

День стоял жаркий, ни облачка. Солнце, уже перевалившее на запад, висело над изломанной линией берлинских крыш. Первые потоки прохладного воздуха, потянувшиеся из тенистых парков, освежали лица прохожих, словно прикосновение влажной губки. Но Бендлерштрассе они не достигали. Воздух здесь был горячий, дымный, близости природы не чувствовалось. В темных углах комнат зажигали напольные лампы. Было еще слишком рано, чтобы заботиться о светомаскировке.

Около 19 часов на Бендлерштрассе прибывает, наконец, только что назначенный начальник бронетанкового училища полковник Глеземер со своим заместителем. Его принимает Ольбрихт.

— Полковник, наконец-то!

— Господин генерал, у меня отняло массу времени формирование походной колонны. Что тут происходит, господин генерал?

— Фюрер мертв, мы опасаемся беспорядков.

— А коммюнике?

— Недоразумение.

— Какие будут приказания?

— Получите их от полковника Мерца фон Квиринхейма. Привет, полковник.

— Разрешите идти, господин генерал?

— Полковник,— говорит фон Квиринхейм,— перебросьте свои танки к колонне Победы и обеспечьте безопасность военных объектов на Бендлерштрассе.

— Зачем?

— Возможны беспорядки.

— Повсюду спокойно.

— Таков приказ командования.

— У меня другие инструкции из штаба бронетанковых войск.

— Выполнен приказ майора фон Эртцена? Выслан танковый патруль к казармам СС под Лихтерфельде?

— Выполнен.

— Выполняйте и этот.

— Да, но тем временем поступили иные инструкции из штаба бронетанковых войск.

— Вы подчиняетесь ему только по линии боевой подготовки. А в оперативном подчинении находитесь у нас.

— Но все же...

— Сейчас не время для дискуссий.

— Я и не дискутирую, я ухожу.

— Подождите, полковник...

— И не подумаю...

— Вы отказываетесь выполнить приказ?

— Ваш — да.

— Вы арестованы!

— Пожалуйста. Интересно, надолго ли...

— Передадите командование училищем своему заместителю. Сами же соблаговолите немного подождать...

— Слышите, майор,— обращается Глеземер к своему заместителю,— принимайте училище. И мой вам дружеский совет, собственно, приказ: не лезьте сюда. Известите штаб бронетанковых войск и выполняйте его приказы.

— А вы? — осведомляется майор.

— Что поделаешь, я арестован. Сейчас вернется этот полковник. Посижу с часок. Здесь все скоро развалится. Слишком большой кавардак.

Мерц фон Квиринхейм возвращается в комнату. Заместитель Глеземера уже исчез. Самого полковника заперли в одной из комнат. Так рухнула надежда на танковый заслон. Штаб на Бендлерштрассе с его многочисленным аппаратом и беспрестанно снующими взад-вперед посетителями остался без какого-либо прикрытия, не считая нескольких постов наружной охраны.

■

Начальник пехотного училища в Дёберице генерал фон Хитцфельд был посвящен во все детали заговора.

15 июля здесь объявлялась учебная тревога, показавшая высокую боевую готовность личного состава. В этом училище заговорщики вполне уверены.

К сожалению, генерал, не проинформированный по соображениям секретности о 20 июля, уехал из Берлина на чьи-то похороны.

Другой участник заговора, полковник Мюллер, возвращается вечером в Берлин и пытается взять училище под свое командование. Но офицеры отказывают ему в повиновении: они слышали по радио о неудачном покушении и боятся попасть впросак.

Штауффенберг так никогда и не узнает об этом сплошном невезении, которое сопутствовало заговору. Столько людей не справилось, столько подвело. Позже, по прошествии какого-то времени может показаться, что любой из этих промахов погубил все дело.

Что такое невезение? Что такое вереница мелких неудач, которые преследуют заговорщиков с самого начала,— после того, как не состоялся повторный разговор с Фельгибелем, не был взорван, вопреки плану, узел связи в «Волчьем логове»?

Если бы заговор готовился тщательно, масштабно, тоже были бы какие-то накладки, тоже подводили бы люди и возникали всякого рода роковые стечения обстоятельств. Но тогда это не играло бы такой роли. Мчащаяся махина и не почувствует камешка под колесом, а едва ползущую он может остачовить.

Нельзя действовать, полагаясь на недомолвки, замалчивание, неправду. Не потому, что неправда отвратна и заслуживает осуждения как нечто аморальное, но потому, что все, опирающееся на неправду, неминуемо рухнет, едва вскроется обман.

Штауффенберг, с его сильно развитым этическим чувством, даже в зрелые годы ко многим серьезным делам относился словно бойскаут; вынужденный раз прибегнуть к версии удавшегося покушения, он не мог теперь отступить. Продолжая опровергать, отвечая на запросы со всей Германии, с фронтов, он твердил свое, выбиваясь из сил, ибо звонки становились назойливее, сомнения выражались все более запальчиво, а нередко проскальзывало и явное недоверие к его доводам.

Порой Штауффенберг чувствовал себя возле этих телефонов как у каменной стены, которую невозможно пробить приказаниями и разъяснениями. Он говорил и говорил, как в пустоту. Вскоре к этому диалогу прибавился третий голос, фон Кейтеля. Собеседники Штауффенберга все чаще ссылаются на приказы ставки. Кейтель уже связывается с округами и фронтами, предупреждает, чтобы не слушали и не выполняли приказов Бендлерштрассе, что все исходящее оттуда недействительно. Сумятица на местах огромная. Кого слушать: фон Кейтеля или полковника Штауффенберга, которые клянут друг друга?

Потом буря телефонных звонков затихает. Но Штауффенберг не обольщается: начала брать верх та сторона, и сюда попросту переставали звонить.

Солнце зашло. На окнах задернули шторы. Электрический свет оживил здание. Измотанный Штауффенберг опустился в кресло. Голова шла кругом. Он был словно на гигантских качелях — то взлеты, то падения. Началось с подлинного подъема — с самолета в «Волчьем логове», а предвестником первого падения были слова Ольбрихта о звонке Фромма фон Кейтелю. Потом — в зависимости от телефонных разговоров —

его то подбрасывало вверх, то кидало вниз. И вот взлеты все реже. Голова кружилась. Хотел откинуться на спинку кресла, да побоялся уснуть. Телефоны дребезжали у него и у Фромма. Фон Хефтен уже стоял над ним, смотрел умоляюще.

— Кто? — с трудом спросил Штауффенберг.

— Штаб округа в Штутгарте. Спрашивают о генерале Фромме.

— Хорошо. Иду.— Он вздохнул, встал и направился к отложенной трубке.

Окончил разговор и приказал Хефтену связаться с генералом Кинцелем, начальником штаба группы армий «Север», которую как раз в то время противник отрезал в Латвии. Объявил ему, что впредь группа армий будет получать приказы от фельдмаршала фон Витцлебена и генерала Бека.

Кинцель уже несколько дней бил тревогу в связи с угрожающим положением своих армий и просил верховное командование разрешить ему нанести удар в направлении Нижнего Немана, дабы восстановить связь с главными силами и отсечь советские передовые части севернее Клайпеды. Это, однако, означало оставление линии фронта в Курляндии. И с этим не соглашалась ставка в «Волчьем логове», которая на каждое новое обращение Кинцеля отвечала: ни шагу назад!

Сразу же после звонка Штауффенберга генерал Бек отдал свой первый и, как потом выяснилось, последний приказ: разрешил Кинцелю пробиваться на Нижний Неман.

Настойчивые требования Кинцеля об отходе, наконец, удовлетворены. Но вместо того чтобы немедленно приступить к выполнению задачи, он позволил себе усомниться и принялся ради перестраховки названивать в «Волчье логово». Хойзингер и его заместитель ранены и отправлены в госпиталь. Кинцель находит кого-то, исполняющего обязанности Хойзингера. Разумеется, приказ Бека тут же отменяют.

Снова тревога: фон Витцлебен. Хотели его разыскать, но машины в разгоне. Отсутствие фон Витцлебена начинает раздражать Бека, и он не скупится на язвительные замечания в адрес Ольбрихта.

■

Из города кто-то приносит весть:

— Головные танки уже достигли центра. Значительные силы пехоты и танков продвигаются по основным магистралям. На улицах собираются толпы. Люди обсуждают переданное по радио коммюнике о покушении и связывают его с передвижениями войск.

Штауффенберг слышит это и снова ощущает взлет. Упивается вестью о том, что действия начаты.

Вновь оживают телефоны. Никто не хочет разговаривать с Гёппнером, а Фромм неуловим. Штауффенберг повторяет одно и то же:

— Кейтель лжет... не верьте Кейтелю... Гитлер мертв... Ну конечно же, это правда, он мертв... Здесь операция развивается в соответствии с планом.

Если звонит кто-нибудь из участников заговора, Штауффенберг несколько раз повторяет условный сигнал: «Штиф приведен в движение».

— Значит, можно на вас положиться, не так ли? Вам необходимо держаться! Не подведете меня? Держитесь! Держитесь! Штиф приведен в движение!

В подвалах офицеры-связисты скрупулезно записывают каждое его слово.

Где Витцлебен? Его розыски по телефону прекращены. Бек получает известие из Цоссена, что Витцлебен оттуда выехал.

— Куда?

— Неизвестно.

— На Бендлерштрассе?

— Возможно.

Больше на этот счет ни звука.

Штауффенберга вызывают к Беку.

— Полковник,— напоминает Бек,— поторопитесь с захватом радиостанции. Они могут передать новое сообщение.

— Слушаюсь, господин генерал. У нас хорошие новости.

— Что такое?

— Танки на подходе, к восьми они достигнут центра города. Тогда можно будет осуществить весь план, включая захват радиостанции.

— Есть ли какие-нибудь сведения об активности гестапо или СС?

— Ничего тревожного. По-видимому, мы их опередили, они еще не успели опомниться.

Бек кивком головы отпускает Штауффенберга, но прежде чем тот успел исчезнуть, его догнал Гизевиус.

— Работаем неважно, полковник,— говорит он,— Геббельс жив, и гестапо не тронуто.

— У нас нет войск,— хрипло отвечает Штауффенберг.— Вы же знаете...

— Я, штатский, готов принять необходимые меры. Дайте мне группу офицеров. Поскольку покушение на Гитлера провалилось, нужны свершившиеся факты. Нужны первые убитые. Тогда одни загорятся, другие перетрусят.

Штауффенберг долго смотрит ему в глаза, отрицательно качает головой.

— Мы произведем аресты, когда прибудут танки. Полк «Гроссдойчланд» оцепит важнейшие объекты. Никто не ускользнет.

— Речь идет не о предотвращении побегов, а о том, чтобы создать соответствующую психологическую атмосферу. Мы должны сжечь корабли. Тогда только все это как-то сдвинется с места.

— Хорошо. Я поищу Егера, он скомплектует для вас боевую группу из офицеров.

Но Егера уже разыскивают битый час. В здании складывается странная обстановка. Единицы, такие как Штауффенберг, Ольбрихт или Мерц фон Квиринхейм, завалены работой. Десятки других слоняются по коридорам и с каждым часом все туманнее представляют себе судьбы государственного переворота и свои собственные, особенно собственные. То один, то другой внезапно исчезают.

■

Фромм снова напоминает о себе. Один из приставленных к нему офицеров докладывает Ольбрихту:

— Генерал Фромм заявил, что он голоден и желает вернуться домой. Дает честное слово, что из дому не выйдет.

— С ним обращаются, как того требует его звание? — спрашивает Бек.

— Конечно, генерал,— торопливо отвечает Ольбрихт.

— Разумеется,— добавляет Гёппнер.

— Можно ему что-нибудь принести из столовой,— предлагает Штауффенберг.

Бек кивнул. Гизевиус предложил бы немедленно расстрелять Фромма, но при виде такого единодушия даже не заикнулся на сей счет.

Штауффенберг, словно ожидая чего-то в этом роде от Гизевиуса, взглянул на него, затем удалился в свой кабинет.

Телефоны теперь звонили реже Случались небольшие перерывы, когда полковнику ничего другого не оставалось, как только размышлять.

Он был глубоко верующим католиком. Возможно, поэтому столь решительно отверг предложение Фромма пустить себе пулю в лоб. Тут имели значение также и нежелание капитулировать, облегчать положение Сатане, и, кроме того, солидарность с остальными заговорщиками. И без того он достаточно подвел их. А теперь стремился компенсировать это неустанным подвижническим бдением у телефонов.

Штауффенберг сидел в кресле. Все ли он сделал, что мог, чтобы наверстать упущенное?.. То, о чем говорил Гизевиус? Отвратительно, мерзко, чудовищно, однако была в этом какая-то правота...

Нужно создать свершившиеся факты. Проще и короче: нужны трупы. Государственный переворот без трупов в самом начале должен быстро завершиться резней... Ибо позиции людей определяются фактами, а не убеждениями. До первого трупа обе стороны еще могут убеждать и переманивать друг друга. После первого трупа люди занимают позиции и осознают, что обязаны свои позиции защищать...

Итак, снова то же самое: еще ничего не сделали, а уже вынуждены арестовывать, расстреливать. Насилие с самого же начала. Гитлер все строил на насилии. Но мало заявить: осуждаем гитлеровские методы, нужно самим прибегнуть к насилию. По крайней мере, один-единственный раз. Хоть это и омерзительно. Он не выносил Фромма, который торговался с заговорщиками, а в час выбора сдрейфил. Но вести его куда-то вниз, в подвал, стрелять в затылок...

Штауффенберг не выдержал, встал, подошел к умывальнику, старательно вымыл свою единственную руку, с трудом намылив ее куском мыла, который придерживал одним пальцем.

Но слова Гизевиуса упрямо возвращались. Почему, черт побери, он не пустил в расход этого матерого убийцу «доктора» Пиффрадера. Сидит там в комнате, подслушивает, о чем говорят, кто говорит, приглядывается к присутствующим, берет на заметку... Как можно допускать чужака, шпиона в самое сердце заговора? Гизевиус был совершенно прав. Но как он, Штауффенберг, собственноручно убил бы кого-то, кто явился, преисполненный... чем был преисполнен доктор Пиффрадер? Во всяком случае, убить он не сумел, а поскольку привык наиболее трудные дела брать на себя, не мог и этого кому-либо перепоручить.

Где-то подспудно мелькнула альтернатива: гитлеровскими методами выиграть или новыми проиграть. Ну, не гитлеровскими, а теми, которыми обычно осуществляются государственные перевороты...

Померещилось ему нечто расплывчатое, постыдное, делавшее его сообщником ненавистного режима... Переворот совершили поздно, слишком поздно, но заговорщики строили все свои расчеты на торговле с противником из-за остатков земель, занятых Гитлером, тех, которые сейчас еще удерживают в своих руках немецкие армии. Иными словами, союзникам попросту предлагались другие партнеры для переговоров, более удобные, но объектом торга было то, что захватил Гитлер, остатки его добычи.

Следовательно, чистоту рук своих не соблюли, не уберегли и они от этой сопричастности режиму.

Дойдя до этой точки, он прервал размышления. Аргументов не было, ему пришлось заставить себя прекратить самобичевание. Нет, помыслы их чисты. Спасти хоть

что-нибудь от этой страны прежде, чем война перемелет все до последнего дома. А границы? Если и удастся выторговать что-либо там, на востоке — какое это имеет значение, сотней километров больше или меньше...

Его снова захватили воспоминания и сожаления. Боже, почему ты на стороне Сатаны? Он не понимал воли господней, возмущался и холодел от страха перед равнодушием Всевышнего.

Подошел к окну, раздвинул шторы. Берлин лежал за окнами огромный и тяжелый, уже заметно разрушенный. Было еще светло, на фоне бледного на западе неба виднелись беспорядочные изломы обгоревших крыш.

Он с горечью подумал: значит, так суждено, чтобы остатки города были перемолоты жерновами войны. Она прекратится не раньше, чем сгорит все. Провал заговора сулил городу прежде всего именно это. Наши расчеты, ничтожные, словно грезы мелкого чиновника, перечеркиваются. Предпочтение отдается Сатане... Сейчас, когда последние праведники хотели спасти, что удастся, провидение не только не поддержало их, но неизменно благоприятствовало Сатане.

Разумеется, не в такие слова облекал свои мысли Штауффенберг, но таковы были его чувства, бурлившие у порога сознания, слишком обильные, горячие, чтобы они выражались четко, категорично.

Времени на размышления не было. Каждый миг, проведенный у окна, отравляло ощущение потерянного времени: он не там, он бездействует, он не борется. Если бы у него нашлась минута взглянуть со стороны на весь свой спор с Сатаной, он увидел бы, что, несмотря на бомбу, в чем-то с ним соприкасается, с той лишь разницей, что тот играл ва-банк, проигрывая остатки, а они пытались эти остатки спасти. Но боролись они за одно и то же, разве что тактика была неодинаковая.

Размышлять было некогда. Он только подумал: пути господни неисповедимы. Почему, почему всех их сметает рука истории? Хотелось крикнуть это небу, и он кричал в душе. А когда замолк, чтобы услышать ответ, услышал тишину. Небо оставалось немым и пустым.

■

Штауффенберг услышал нечто иное, какие-то крики снизу, добегавшие наверх в виде шепота. Какая-то машина въехала во двор. Была половина восьмого. Коридоры ожили, раздавались приглушенные голоса, отзвуки беготни, щелканье каблуков. Он выглянул из кабинета. Офицеры в коридоре вытягивались по стойке «смирно». Прежде чем причина этого оживления появится из-за угла, шепот достигнет его ушей и понесется дальше.

— Генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, наконец...

Услышал, и еще раз встрепенулось сердце. Может, это мгновенье знаменует какой-то перелом и наконец улыбнется им высшая справедливость. Он вышел в коридор. Наконец-то.

Затерявшийся между Цоссеном и Бендлерштрассе фельдмаршал фон Витцлебен отыскался. Вот он появляется из-за поворота коридора в блестящем фельдмаршальском мундире и шагает, небрежно салютуя жезлом в ответ на приветствия офицеров.

Его прочат на пост верховного главнокомандующего. Он направляется к Беку, которого прочат в президенты рейха. Входит в кабинет Фромма, в глубине которого Бек беседует с каким-то штатским. Двери в коридор остаются открытыми, вместе с группой офицеров Штауффенберг проходит в кабинет. Фон Витцлебен приближается к Беку, вытягивается по стойке «смирно» и докладывает о своем прибытии.

Бек поднимается. Комната полна офицеров. Витцлебен подает руку генералу Беку и Гизевиусу, обходит вокруг стола Фромма, садится и разглядывает окружающих. По-видимому, чересчур много на их лицах радости, ожидания, чересчур много надежд. Он пробует погасить их одной резкой фразой:

— Здорово же вы тут насвинячили, нечего сказать!

А когда кто-то пытается протестовать, начинает задавать вопросы:

— Телефонные станции захвачены?

— Нет,— отвечает Ольбрихт.

— Радио?

— Нет.

— Вокзалы?

— Нет, но...

— Аресты произведены?

— Нет, но, господин генерал-фельдмаршал, вы позволите...

— Какие части в распоряжении верховного главнокомандующего?

Ольбрихт смолк, опустил голову.

— Так зачем же вы искали меня, вызывали? — неожиданно взбеленясь, кричит Витцлебен.— На что я вам нужен, если ничего не сделано?

— Уже несколько часов командованиям фронтов и военных округов рейха передается сигнал «Валькирии» вместе с приказами, разъясняющими...

— Кем все это подписывается?

— Частично — от имени Фромма, частично полковником Штауффенбергом.

— Штауффенберг? Тот, который напортачил в «Волчьем логове»?

Штауффенберг покраснел, как школьник.

— Разрешите доложить, я поставил портфель менее чем в полутора метрах...

— Да ставьте хоть в ста метрах, были бы результаты, мне-то какое дело. Следовательно, с покушением тоже прокол.

Ольбрихт присматривается к толпе офицеров. Он допустил их сюда, полагая, что фельдмаршал ободрит их, придаст им уверенности своим присутствием и тем, что скажет. Но как они после откровений Витцлебена будут расставаться с последними иллюзиями — малоприятное зрелище. Ольбрихт переглядывается с Гёппнером, и они вдвоем начинают выпроваживать из комнаты ненужных гостей. Из них только Гизевиус выходит ободренный; у него создалось впечатление, что путч, наконец, обрел подлинного предводителя и кто-то все же приструнил этого зазнайку Штауффенберга.

Бек с красными пятнами на щеках пытается взять себя в руки. Обращается через стол к Витцлебену:

— Мы чрезвычайно рады, господин генерал-фельдмаршал, вашему прибытию. Мы долго разыскивали вас в Цоссене. Считаем, что ваше место на Бендлерштрассе.

— А я вовсе не рад. Полагаю, что и так приехал сюда преждевременно. Кабинет для генерал-фельдмаршала не приготовлен, адъютанты не назначены.

— Помилуйте, а полковник фон Шверин?

— Это один. По уставу генерал-фельдмаршалу полагаются два адъютанта.

— Можем подобрать.

— Я так, между прочим. Общие замечания. Приезд генерал-фельдмаршала — это важное событие. Если не смогли отрядить роту для почетного караула, то по крайней мере свободных от наряда...

У Бека едва не вырвалось: тут часовых не хватает, а ему подавай почетный караул.

— Не думайте, генерал-полковник, что это мои личные амбиции, отнюдь нет. Я простой солдат, могу есть из котелка. Лично я — ничто. Но генерал-фельдмаршал! Это имеет огромное воспитательное значение. Прибытие генерал-фельдмаршала офицеры должны помнить всю жизнь как важное событие. Поэтому не одобряю ваши спартанские методы, о нет!

— Но согласитесь, господин генерал-фельдмаршал, что условия исключительные, государственный переворот.

— Да, да, но никакие исключительные обстоятельства не помешают хорошо вымуштрованному офицеру помнить свои обязанности. Это у него в крови. Поэтому, с вашего разрешения, генерал, я дам несколько существенных указаний Штауффенбергу. У него, по-моему, полнейший ералаш в голове.

Бек пожал плечами. Штауффенберга и Шверина подозвали к столу, и господин фельдмаршал еще раз изложил свою жизненную философию, на сей раз повысив голос и стуча кулаком по столу.

Потом состоялась еще одна общая и тем более неприятная беседа.

Бек словно бы оправдывался перед Витцлебеном за то, что не возглавил верховное командование:

— Еще не время мне непосредственно заниматься этим.

— Значит, вы искали генерал-фельдмаршала затем, чтобы он был тут мальчиком на побегушках.— Витцлебен снова бьет кулаком по столу.— Генерал-фельдмаршалы существуют для принятия решений. А не для грязной работы.

— Так точно, господин генерал-фельдмаршал...— как автомат произносит Штауффенберг.

— Не «так точно», не «так точно». Исходили отсюда приказы за моей подписью?

— Мы ждали вас, господин генерал-фельдмаршал.

— Ну вот, я и говорю, как мальчика на побегушках.

Красные пятна на щеках Бека расползаются. Чтобы разрядить атмосферу, он меняет тему, сбавляет тон.

— Так или иначе, операция начата. Нам не повезло. Но мы ее начали. Надеемся, что под вашим руководством, господин генерал-фельдмаршал, мы доведем ее до победного конца...

— Моим? Руководством? — визгливо кричит Витцлебен.— Шутить изволите, господин генерал-полковник!

Еще сдерживаясь, морщась, словно от зубной боли, Бек начинает:

— Так на каких же условиях, господин генерал-фельдмаршал, вы готовы принять на себя руководство операцией?

— Я не ставлю никаких условий! — предупреждает Витцлебен.— Но нормальная ситуация выглядела бы так: начальник штаба докладывает мне план операции, допустим, за час до ее начала, G—1. Я утверждаю план. Начальник штаба согласовывает приказы и начинает операцию. В соответствующий момент я прибываю на командный пункт, встреченный почетным караулом. Начальник штаба докладывает о выполнении плана. Вот так!

Фон Штауффенберг не смог сдержать возмущения, и это Витцлебен заметил. Реакция у него была мгновенная.

— И еще одно...— он поманил пальцем Штауффенберга и перешел на сценический шепот: — Разумеется, предварительное условие: удавшееся покушение.

Штауффенберг встряхивает головой, делает над собой усилие:

— А если не вышло, то мы должны были упустить и эту последнюю возможность?

— Разумеется. Следовало бы все отменить. Было еще не поздно.

— Бомбу я не мог остановить!

— Надлежало бы откреститься от вас. Одна жертва — не сотни.

— Когда в руках столько шансов, то не воспользоваться ими грешно.

— Что? У вас не было и пятидесяти одного процента.

— Любой государственный переворот сопряжен с известным риском.

— Да, но нужно иметь девяносто процентов шансов на успех, чтобы начинать.

— Откуда бы у вас взялись эти девяносто процентов? И восьмидесяти вполне достаточно.

— Уверяю вас, этого мало. Нельзя начинать путч с такими шансами на успех.

— Можно!

— Нет!

Этот поразительный диалог проходил в кабинете Фромма, где Витцлебен устраивал головомойку Штауффенбергу и Шверину, но совсем рядом, за стеной, в кабинете Штауффенберга, точно так же препирались Ольбрихт и Гёппнер, а арбитром был якобы Гизевиус, который диалог этот запомнил

Штауффенберг внезапно покидает кабинет Фромма, быстро идет к себе и что-то ищет на письменном столе.

Гизевиус подбегает к нему:

— О чем вы спорили с фельдмаршалом, полковник?

Но Штауффенберг смотрит на него сверху вниз, словно не понимая. Не говорит ни слова, возвращается в кабинет Фромма.

На пороге Ольбрихт преграждает ему путь, сообщая, что у Гельдорфа важное дело к Гизевиусу, но тот не хочет оставить Бека.

— Генералу Беку в ближайшие полчаса господин Гизевиус не понадобится.

— Пропуск...

— Пожалуйста.

Гизевиус берет пропуск, еще четверть часа морочит всем голову, добиваясь машины, наконец, покидает Бендлерштрассе. Сюда он больше не вернется.

Штауффенберг вошел в кабинет Фромма, притворил дверь. Фон Витцлебен и Бек стояли друг против друга.

— Господин генерал-фельдмаршал,— вполголоса говорит Бек.— Ваше присутствие укрепляет дисциплину, вселяет необходимое спокойствие, надежду...

— Это невозможно,— возражает фон Витцлебен.— Для операции подобного масштаба, которую сейчас осуществляет Бендлерштрассе, с лихвой достаточно полковника. Когда она приобретет должный размах, вы будете знать, где меня найти.

— Ваш отъезд уничтожит последнюю надежду.

— Немногое остается уничтожить. Приглядитесь к людям...

Отъезд фон Витцлебена прошел гораздо незаметнее, нежели прибытие. С Беком они расстались, не подав друг другу руки. Штауффенберг лишь щелкнул каблуками. Коридоры опустели. Одним было неловко за фельдмаршала, другие боялись попасться ему на глаза. Главное, никто не проявлял любопытства. Все знали, что произошла размолвка.

■

Штауффенберг заглянул в кабинет Мерца фон Квиринхейма. Там стучали машинки, машинистки переписывали текст распоряжений, которые передавались в войска, во всяком случае должны были передаваться, как считали заговорщики, однако на самом деле уже некоторое время застревали в подвалах, где были установлены телетайпы. Офицеры тут еще вытягивались перед старшими по званию, в том числе и перед Штауффенбергом. С трудом он овладел собой. Они не виделись с Мерцем уже около часа.

— Ну как там, Клаус? — крикнул Мерц.— Как идут дела?

Слишком много здесь было народу, поэтому он громко ответил:

— Идут, идут.

Взглянул на Мерца, хотел рассказать ему о Витцлебене, но кто-то позвал его: срочная телефонограмма. И он помчался к себе.

Звонил майор Хайессен, адъютант коменданта Берлина, генерала фон Хазе. Оба были заговорщиками, но не обнаруживали этого, пока развитие операции не достигло стадии ареста членов правительства. Хайессен жаловался, что охранный батальон «Гроссдойчланд» бездействует, а его командир, майор Ремер, находится у Геббельса, которого должен был арестовать. Однако тянется это слишком долго.

Что может ответить Штауффенберг? Принимает к сведению информацию Хайессена, приказывая ему активизировать, насколько возможно, действия батальона Ремера, что, в свою очередь, принимает к сведению Хайессен.

Штауффенбергом уже не раз и не два овладевало физическое бессилие, куда более тяжелое, чем последствия его инвалидности. Он привык управляться тремя пальцами, привык к тому, что располагает лишь одним глазом. Но сейчас ему то и дело казалось, что отнялись ноги, хуже того — сердце работает с перебоями. После визита Витцлебена его преследовала мысль, которую он тщетно пытался отогнать: не прав ли был Фромм, подсказывая ему мысль о самоубийстве? Не лучше ли было для заговорщиков сразу же избавиться от него, не предпринимать никаких шагов, даже полушагов? Ведь первопричиной всех опозданий и неудач заговора явился провал покушения. Он неоднократно в мыслях возвращался к этому. Почему бомба оказалась столь милосердной? Одна из причин состояла в том, что она взорвалась в павильоне, а не в наглухо закрытом бункере. Доски разлетелись, поглощая значительную часть ударной силы взрыва. Это он понимал. Он понял бы чуть больше, если бы знал, что полковник Брандт переставил портфель по другую сторону массивной опоры дубового стола. Но уяснить все до конца Штауффенбергу не было дано. Ибо весь этот день он ощущал, что входит в историю, а приговоры истории представляются ее подсудимым обычно непонятными, только со временем они обретают ясность и лишь потомкам представляются простыми, чуть ли не банальными.

Пока дистанция была еще слишком мала, и он этого не понимал. Лишь чувствовал великую несправедливость. А поскольку телефоны уже почти не тревожили, размышлял: имел ли он право, прилетев сюда, всех будоражить, начинать операцию, побуждать к действию? Не был ли прав этот грубиян Фромм?

Ход его размышлений был приблизительно таков: если бы он даже и застрелился, прилетев в Берлин, а они и пальцем не пошевельнули бы — это ничего бы не дало. Началось бы расследование, поиски сообщников покушавшегося. Обнаружили бы целый ряд подозрительных фактов. Например, попытку поднять офицерские училища не только сегодня, но и несколькими днями раньше, когда он впервые пытался подложить бомбу. Был бы произведен обыск на Бендлерштрассе. Взяли бы на заметку всех, кто вступал в контакт с ним, друг с другом, пошли бы дальше. Исключено, чтобы здесь нашелся кто-то, оказавшийся совершенно «чистым». В итоге участников заговора, несомненно, в тех или иных масштабах разоблачили бы.

Значит, его самоубийство не принесло бы никакой пользы. Заговор наверняка был бы обезглавлен.

Иное дело, если бы взрыв не состоялся. Впрочем, это другой вопрос и единственная альтернатива, о которой он мог бы, вероятно, пожалеть.

Но о ней-то, как ни странно, Штауффенберг не жалел. Столько кружило сплетен, слухов о готовящихся покушениях, что это вылилось у него в поистине навязчивую идею. Было несколько попыток. Однажды бомбу подложили в самолет фюрера. Она не взорвалась, и потом пришлось здорово повозиться, чтобы не обнаружилось, что это не бутылка французского коньяка, за которую ее выдавали. Ему самому уже неоднократно назначали срок, последний раз — несколько дней назад, до 20 июля. Он знает, чего стоит ожидание в подобных случаях, переживать все сызнова у него нет охоты.

Словом, ход событий был предопределен с того момента, когда он раздавил стеклянную ампулу. Так иногда герой античной трагедии, сделавший какой-то шаг, оказывается подхваченным неведомыми могучими силами, перед которыми воля его — ничто.

Осознание собственной ничтожности перед лицом могучих, неодолимых сил, которые он неосмотрительно потревожил, приносит ему некоторое облегчение. Он сделал свое. Он должен сделать еще то, что в его власти, хотя зависело от него уже очень немногое.

Подошел фон Хефтен, остановился в двух шагах:

— Что случилось?

Обер-лейтенант сделал шаг и проговорил вполголоса:

— Господин полковник! Назревает измена. В подвалах офицеры-связисты уже давно, после выступлений генералов Ольбрихта и Гёппнера и официального коммюнике, решили больше не передавать их приказов, а также ваших, господин полковник, и полковника Мерца фон Квиринхейма.

— Откуда вы знаете?

— Мне сказал один знакомый лейтенант снизу. Он сказал также: не будь идиотом, смывайся, пока цел. С них, говорит, вот-вот перья полетят.

— Почему же вы не вняли доброму совету?

— Господин полковник!

— Хорошо, извините, фон Хефтен!

— Господин полковник, у связистов надо навести порядок.

— Разумеется.

— Может, доложить генералу Ольбрихту?

— Благодарю, я сам это сделаю.

Фон Хефтен щелкнул каблуками и отступил на несколько шагов. Штауффенберг собрался было к Ольбрихту, но зазвонил телефон.

Он говорит в трубку, с трудом сдерживая себя:

— Кейтель лжет, не верьте ни единому его слову... Гитлер умер, разумеется,

наверняка умер. Не могу вам этого сказать. Так точно, все развивается согласно плану.

Штауффенберг десятки раз повторял эту неправду. А что же еще мог он сказать? Это была теперь единственная форма активности, которая ему осталась.

К Ольбрихту он не пошел. Полковника Егера, который принадлежал к числу самых решительных, уже несколько часов не видел. С кем они арестовали бы тех связистов? Кто кого арестовал бы? С некоторых пор он уже не связывался с офицерскими училищами... Все тамошние заговорщики подвели.

Ремер

Ганс Отто́ Ремер принадлежал к категории отличных малых. Такие учатся не слишком прилежно, но и не попадают впросак. Если учителя и берут их на заметку, то разве что за подсказки товарищам, не выучившим урока. Потом Ремер попал в армию, стал офицером. Началась война. Он воспринимал ее как нечто вполне естественное. Казалось, без особого напряжения и страха переносил трудовые будни войны и сложные перипетии. Как-то само собой получались у него разные дерзкие выходки, другим удававшиеся лишь раз в жизни. Восемь раз раненный, он быстро продвигался по службе и, хоть окончил офицерское училище в 1935 году, был уже майором. Совсем недавно Ремер получил из рук фюрера «дубовые листья» к рыцарскому кресту. Он не любил чрезмерно усложнять себе жизнь. Шел по ней легко, любя то, что любили другие, не отличаясь от коллег-офицеров, пожалуй, ничем, кроме везения.

В мае его назначили командиром охранного батальона «Гроссдойчланд». Ему полагалось нечто вроде отпуска или, во всяком случае, передышки. Рана его едва зажила; а часть эта, освобожденная от изнурительных учений, поставляла людей для торжественных смотров, а также числилась в резерве, предназначенном для поддержания порядка, тем более что в районе Берлина находилось много иностранных рабочих.

Ремер по убеждениям — национал-социалист, но натура его — отличного малого — не позволяла ему впадать в фанатизм.

Поэтому без особого восторга присутствует он на беседе о национал-социалистском воспитании, которую после полудня проводит в батальоне его знакомый, обер-лейтенант запаса доктор Хаген, давнишний однополчанин, ныне сотрудник имперского министерства пропаганды.

На квартире Ремеру передают условный сигнал о начале операции «Валькирия». Хаген только что закончил беседу, не слишком затянув ее. Согласно инструкции, Ремер по получении сигнала немедленно направляется в гарнизонную комендатуру, попросив Хагена подождать его на квартире.

В комендатуре уже собралось множество крайне возбужденных офицеров во главе с генералом фон Хазе. Генерал разъясняет обстановку: фюрер пал жертвой несчастного случая. По всей вероятности, он мертв. Армия, опасаясь беспорядков, взяла власть в свои руки.

Майор получает приказ немедленно в соответствии с планом блокировать тремя ротами правительственный квартал. Местная полиция окажет содействие. Одна рота отряжается на Бендлерштрассе для прикрытия охраны штаба армии резерва.

Ремер крайне возбужден. Спрашивает: ведь рейхсмаршал Геринг является официальным преемником фюрера, почему же он бездействует? Каких именно беспорядков опасаются? Что значит «армия взяла власть в свои руки»?

Офицеры из гарнизонной комендатуры отвечают на высказанные им сомнения довольно невразумительно.

Случилось еще кое-что. Среди офицеров комендатуры Ремер обнаружил одного незнакомого. Как выяснилось потом, это был майор Хайессен. Когда Ремер машинально стал просматривать какие-то бумаги, лежавшие на письменном столе генерала, Хайессен поспешно схватил их и спрятал. Ремер, не любивший неясностей, тут же насторожился. Однако вернулся в свой батальон, вместе с доктором Хагеном собрал офицеров и повторил им то, что было ему сказано. Не скрывал, что обстановка представляется ему неясной, но требовал слепого повиновения, как на фронте.

Благодаря этому батальон двинулся в путь и установил контроль над правительственным кварталом около 18 часов 30 минут.

Ремер направляется к генералу фон Хазе и докладывает о выполнении приказа. Получает дополнительное задание: блокировать район Ангальтского вокзала. В связи с тем, что в этом районе расположены здания службы безопасности, ему приходится взять свои вспомогательные подразделения.

Обер-лейтенант запаса доктор Хаген вызывает его на разговор и делится с ним своими сомнениями.

— Я знаком с рейхсминистром доктором Геббельсом. Предлагаю поговорить с ним, изложить ему наши сомнения и попросить у него совета. Убежден, что беседа с ним внесет полную ясность.

Ремер чрезвычайно озабочен. Фон Хазе прикомандировал к нему в качестве офицера связи подполковника Вольтерса, но тот, сделав несколько туманных заявле-

ний, в том числе о том, что не собирается шпионить за Ремером, внезапно исчез.

— Согласен,— говорит Ремер в ответ на предложение Хегена.— Эй! — зовет своего заместителя.— Дайте доктору мотоцикл. Поезжайте и все разузнайте.

Хаген отправляется в министерство пропаганды, информирует какого-то советника, что батальон получил неясные приказы, делится сомнениями, неуверенностью.

Советник, пожалуй, кое-что уже знал об этих берлинских неясностях того жаркого дня. Не долго думая он отправляет д-ра Хагена прямо на квартиру к Геббельсу.

Геббельс сразу принимает его. Первые же слова Хагена о блокировании правительственного квартала заставляют рейхсминистра воскликнуть:

— Но ведь в этом нет ни малейшего смысла! Вам это, случайно, не приснилось?

— Помилуйте, господин рейхсминистр!

— Хорошо. Подождите минутку.

— Господин рейхсминистр, а может, вы лучше бы сами поговорили с майором Ремером?

— Минутку.

Геббельс предупреждает об опасности обер-бургомистра Берлина, еще нескольких лиц и передает сигнал тревоги в казармы лейбштандарта СС «Адольф Гитлер».

Д-р Хаген снова напоминает о разговоре с Ремером.

— Давайте его сюда,— соглашается Геббельс.

Д-р Хаген отправляется на поиски Ремера. У Бранденбургских ворот находит одну из его рот. Отзывает командира в сторону:

— Весь этот цирк устроили предатели!

— Не может быть! — кричит тот.— Что же теперь делать?

— Спокойствие! — продолжает Хаген.— Я возвращаюсь от рейхсминистра Геббельса. По его распоряжению вы обязаны выполнять лишь те приказы, реальность которых не подлежит сомнению. Где майор Ремер?

— В гарнизонной комендатуре, на Унтер-ден-Линден.

Это близко. Там Хаген встречает двух офицеров из батальона Ремера и конфиденциально разъясняет им обстановку. Майор должен явиться к Геббельсу. Если не явится туда в течение двадцати минут, это будет означать, что он здесь арестован, и тогда СС освободит его. Хаген предпочитал не показываться у фон Хазе и поручил офицерам безотлагательно передать приказ Ремеру.

Между тем у фон Хазе продолжается совещание, где речь идет о дальнейших шагах — об арестах. Ремеру, который так ловко блокировал правительственный квартал, хотят поручить и тот квартал, где живет Геббельс.

— Господин генерал,— возражает Ремер,— доктор Геббельс является патроном дивизии «Гроссдойчланд». Несколько дней назад был в батальоне.

Кто-то кричит:

— Какое это теперь имеет значение! Ничего с ним не случится.

Фон Хазе качает головой:

— В том, что говорит майор Ремер, есть определенный нюанс. Хорошо, майор. Мы освобождаем вас от этого задания. Поручим его кому-нибудь другому.

■

Один из офицеров, с которым беседовал д-р Хаген, передает Ремеру его поручение. Славный малый Ремер отводит обер-лейтенанта наверх, к фон Хазе.

— Господин генерал, послушайте, какое я тем временем получил распоряжение. Говорите, обер-лейтенант Бек.

— Разрешите доложить... господин генерал: доктор Хаген передал приказ рейхсминистра Геббельса, чтобы господин майор Ремер лично явился к нему.

— Я освобождаю вас, майор, от этого приказа! — торопливо объявил фон Хазе.

— Приказ рейхсминистра...— протянул Ремер.

— Я ваш непосредственный начальник. И я официально запрещаю вам посещать рейхсминистра. Извольте пройти в приемную. Вы получите конкретные инструкции.

Ремер покидает здание, полчаса бродит в его окрестностях. Не знает, как поступить. Славный малый ничего не боится, ничего не скрывает. Но у фон Хазе этот Бек ни словом не обмолвился об эсэсовцах из Лихтерфельде, которые нагрянут сюда, на Унтер-ден-Линден, если только в течение двадцати минут он не прибудет к Геббельсу. Тогда произойдет стычка с его собственным батальоном, а до этого ни в коем случае нельзя допустить. Это единственная аксиома, до которой он дошел.

Наконец Ремер решается. Берет двадцать человек, направляется на Герман-Геринг-штрассе, к дому Геббельса. Ставит пистолет на предохранитель. Приказывает своему заместителю отбить себя силой, если через пятнадцать минут не выйдет от рейхсминистра.

Половина седьмого, еще светло и жарко. Геббельс принимает Ремера немедленно. Воздерживаясь от каких-либо заявлений, спрашивает его именно о погоде:

— Еще жарко?

— Так точно, господин рейхсминистр.

— А вообще как себя чувствуете?

— Благодарю, господин рейхсминистр, превосходно.

— Рана беспокоит?

— Уже нет, господин рейхсминистр...

— Вас что-нибудь огорчает?

— Так точно, господин рейхсминистр. Я получил приказ, смысла которого не понимаю.

Отличный малый Ремер режет правду-матку, да не всю. Как в кабинете у фон Хазе вытряс из Бека лишь часть приказа Геббельса, без пункта об эсэсовцах из Лихтерфельде, так и здесь сказал об установлении контроля над правительственным кварталом, но не упомянул о возможности ареста Геббельса.

Геббельс выслушал его нетерпеливо. Рейхсминистр уже раскусил этого отличного малого, и детали его не волновали. У него возник план, который надлежало срочно осуществить. Как бы невзначай спрашивает Ремера:

— Вы верны национал-социализму?

— Без каких-либо колебаний, господин рейхсминистр. Даже если фюрер мертв, я чувствую себя связанным своей присягой.

— Да что вы такое говорите?! Ведь я минуту назад беседовал с ним по телефону! — восклицает Геббельс. Возглас этот вырвался у него из горла.— Будем откровенны: да, был заговор. Но фюрер цел и невредим. Этот заговор — одна из величайших мерзостей в истории.

Славный малый Ремер весьма удивлен или чуточку разыгрывает удивление:

— Господин рейхсминистр, не обессудьте, не прогневайтесь на простого солдата за небольшую просьбу. Могли бы вы, как рейхсминистр, дать мне слово, что все это правда и вы лично сохранили верность?

Наступает патетический момент. Геббельс, мастер сценических эффектов, немного медлит, изображает словно бы колебание, а затем с подчеркнутой горячностью протягивает руку Ремеру.

Двое мужчин стоя обмениваются рукопожатием, глядя друг другу в глаза.

— Впрочем,— добавляет Геббельс,— сейчас вы сами будете разговаривать с фюрером.

Для Геббельса в известной мере это шаг рискованный. Ремер командует единственным в настоящий момент батальоном, вполне подготовленным к ведению боевых действий. Вдруг нарушится связь и полная победа, предвкушаемая Геббельсом, станет проблематичной? Но Геббельс рискует. Соединяется со ставкой в «Волчьем логове». Ставка отвечает. Он просит фюрера. Фюрер у аппарата. Геббельс в двух словах объясняет сложившуюся в его квартире ситуацию.

— Пожалуйста! — протягивает трубку Ремеру.

Отличный малый Ремер берет трубку.

— Вы узнаете мой голос, майор Ремер?

Ремер вытягивается по стойке «смирно», отвечает:

— Так точно, мой фюрер!

Разумеется, голос он узнает. Майор слышал его совсем недавно, когда ему вручали «дубовые листья». Но голос звучит сейчас иначе, чем на митингах, которые столько раз транслировались по радио. Он менее криклив, более интимен, совсем как в момент награждения. Ремер слушает, стоя навытяжку.

— Слышите меня? — крикнула телефонная трубка.— Узнаете? Ну так знайте, я жив. Вся болтовня о моей смерти — обыкновенное свинство. Покушение не удалось. Жалкая горстка завистливых офицеров хотела меня ликвидировать. Слышите? Но теперь конец саботажу. Мы вырвем с корнями эту заразу. Майор Ремер, в Берлин направляется рейхсфюрер СС. До его приезда все полномочия вручаю вам. Немедленно восстановите спокойствие и порядок, если будет необходимо — силой. Слышите меня, майор Ремер? Вам ясно?

— Так точно, мой фюрер! — Ремер щелкнул каблуками, словно это могли услыхать в «Волчьем логове». Телефонная трубка уже онемела. Он вопросительно смотрит на Геббельса: что, мол, с ней делать? Тот нетерпеливо показывает глазами, чтобы положил на рычаг. Ремер кладет трубку. И продолжает смотреть на Геббельса.

— Все ясно?

— Да. Благодарю, господин рейхсминистр.

■

Ремер испытывает прилив гордости и уверенности в себе. Он видит теперь и знает, что все приказы, исходившие от фон Хазе, были рассчитаны на его доверчивость и что в этот жаркий полдень он соприкоснулся с опасностью куда более серьезной, чем та, которая многие годы подкарауливала его на фронте. Его прошибает пот от одной только мысли, что́ бы произошло, если б он вызвался выполнить приказ об аресте.

Тем более обуревает его очередной приступ гордости — вместо страшной опасности он обрел полномочия, может, согласно воле самого фюрера, приказывать всем берлинским генералам.

Отличный малый Ремер возвращается к гарнизонной комендатуре, но в само здание предусмотрительно не входит. Собирает офицеров своего штаба.

— Я был у рейхсминистра Геббельса,— говорит он им,— и лично разговаривал по телефону с фюрером. Я уже знаю, что мне делать. Мы получили приказ, наш батальон получил приказ от фюрера навести тут порядок. Согласно ему приказываю: снять роты, блокирующие правительственный квартал; снять охрану у Бранденбургских ворот; батальон сконцентрировать в садах на Герман-Геринг-штрассе, у резиденции рейхсминистра Геббельса. Доложить об исполнении. Можете идти.

Славный малый Ремер закончил свою речь несколько иным, чем обычно, тоном. Не таким добродушным. Скорее суховатым. Точно опалил майора этот телефонный разговор и словно его «дубовые листья» немного пожухли и затвердели.

Офицеры это почувствовали. Вначале замерли по команде «смирно», услыхав: «Можете идти»,— щелкнули каблуками, сделали «кругом» и бросились к своим мотоциклам. Через секунду уже ревели моторы, все разъезжались по ротам.

В течение часа батальон сосредоточился в саду резиденции Геббельса. Ремер явился к рейхсминистру и попросил сказать несколько слов солдатам. Геббельс охотно согласился и в своей речи подчеркнул историческую роль батальона «Гроссдойчланд». Солдаты ответили возгласом в честь фюрера.

Батальон снова действует в правительственном квартале: две роты снова занимают позиции вокруг рейхсканцелярии и зданий министерств. На первый взгляд, повторялась ситуация, складывавшаяся тут несколько часов назад. Да, те же самые люди на тех же самых местах, только с совершенно противоположными заданиями.

Ремер направляет одну роту с задачей окружить гарнизонную комендатуру. Приказывает вызвать из Моабита последние подразделения батальона. Резервная бригада дивизии «Гроссдойчланд» поднята по тревоге в Котбусе и срочно вызвана в Берлин.

Геббельс возлагает на Ремера еще одну задачу, пожалуй, самую важную: штабы, находящиеся под влиянием заговорщиков, могли поступить точно так же, то есть подтянуть в Берлин подчиненные им войска. Не исключено, что в их распоряжении имеются такие части, которые выполнят приказы и будут драться. Так или иначе, сама концентрация большого количества различных частей может быть чревата чисто случайными стычками. Поэтому Ремер рассылает повсюду офицеров связи, уполномоченных останавливать подходящие части и поворачивать их назад. Кроме того, он направляет в различные районы свои патрули.

Командиры частей, даже старшие по званию, уступают напористости Ремера. Действуют магические слова: приказ фюрера. Впрочем, не один Ремер относился недоверчиво к приказам коменданта города. С тем большей легкостью воспринимается ими теперь отмена этих распоряжений.

Но, пожалуй, самой скверной была история с танками. Бронетанковое офицерское училище получило задачу — подавить сопротивление в центре города, его начальник, полковник Глеземер, воспротивился этому и был арестован на Бендлерштрассе. Но со временем присматривавший за ним капитан дал убедить себя, что полковник жаждет неукоснительно выполнять приказы Ольбрихта, и отпустил его в город. Между тем танкисты под командованием заместителя Глеземера не выполнили приказа заговорщиков, остановились на окраинах Берлина и не продвигались к центру. Затем был доставлен приказ Ремера о том, чтобы они направились в центр города для защиты правительственного квартала от возможных акций заговорщиков. Из-за совпадения распоряжений Бендлерштрассе и Ремера возникло недоразумение. Танкисты двинулись к центру, убежденные, что главная их задача — разгромить батальон Ремера.

Столкновение этих сил почти неизбежно. Предотвратить его удается лишь случайно. Кто-то из офицеров штаба бронетанковых войск, которому подчинялось училище, сумел убедить его начальника, что Ремер «в полном порядке».

В неразберихе, которая царила поздним вечером 20 июля в Берлине, рота из батальона Ремера попала еще в один переплет.

Ротой командовал обер-лейтенант Шлее. Из нее отряжали людей для несения наружной охраны служебных зданий штаба на Бендлерштрассе.

Под вечер в здании стала заметно падать дисциплина, разладилась караульная служба. Часовые перестали слушать штабных офицеров, ссылаясь на то, что ими командуют офицеры роты обер-лейтенанта Шлее.

В результате из всех постов на Бендлерштрассе остался один, у главного входа.

Шлее успел повидаться с майором Ремером сразу же после его визита к Геббельсу и разговора с фюрером. Когда возвращается на Бендлерштрассе, тамошние приказы ему уже нипочем. Мерц фон Квиринхейм отменяет приказ Ремера об отводе его подразделения с Бендлерштрассе и концентрации батальона в саду Геббельса. Но Шлее, предоставленный самому себе, ускользает из здания и отправляется на поиски Ремера. Тот снова на беседе у Геббельса. Доктор Хаген вводит во время их разговора обер-лейтенанта Шлее. Тут наступает важная сцена. До сих пор Гитлер и его сторонники имели весьма туманное представление о путче. Было много неясностей, касавшихся Бендлерштрассе, гарнизонной комендатуры и Цоссена — ставки главного командования сухопутных войск. Откуда исходят приказы, кто руководит заговором?

— Господин рейхсминистр,— восклицает Шлее,— центр заговора на Бендлерштрассе!

— Откуда такая уверенность, обер-лейтенант? — спрашивает Ремер.

— Я пробыл там сегодня достаточно долго. Видел столько генералов! Приезжал даже один генерал-фельдмаршал.

— Кто? — осведомляется Геббельс.

— Да тот, который в сороковом году командовал группой армий во Франции, Витцлебен!

У Геббельса отлегло от сердца. Витцлебен теперь ничем не командовал, следовательно, не мог поддержать заговор «своими» частями.

— Значит, Бендлерштрассе...— задумчиво произносит Ремер.— Я получил приказания от фон Хазе...

— Но центр заговора там, у генерала Ольбрихта,— настаивает Шлее.

— Хорошо,— резюмирует Ремер.— Надо занять Бендлерштрассе, тогда все выяснится. Как прикажете, господин рейхсминистр?

— Действуйте, майор Ремер.

— Там хватит роты. Может, обер-лейтенанта Шлее? Он знаком с обстановкой.

— Действуйте, майор, действуйте. Это ваша задача.

— А что с Фроммом? Он тоже участвует в заговоре?

— Нет, говорили, что арестован.

— Итак, обер-лейтенант Шлее, вы займите со своей ротой здание на Бендлерштрассе. Всех, оказывающих сопротивление, арестовать! Всех арестованных освободить. Ясно?

— Так точно.

— Выполняйте.

Фон Шлее щелкнул каблуками и вышел. Рота с лейтенантами Арндсом и Шади располагалась в парке Геббельса. Обер-лейтенант распорядился произвести построение, сформировал маршевую колонну и двинулся на Бендлерштрассе. Уже смеркалось. Вскоре они оказались на месте. Часовой у парадного входа, заметив целое воинское подразделение, вызвал офицера. Но офицеру было сказано, что возвращается та же рота, чтобы охранять здание.

Фромм

Штауффенберг все еще метался между телефонными аппаратами и выкрикивал в трубки скороговоркой фразы, которые успел выучить наизусть. Звонков меньше, но они еще случаются. Звонят уже совсем не те люди, что звонили после полудня. Поскольку Кейтель уже разослал контринструкции, от Штауффенберга требуют не приказов, а аргументов. Он твердит свое, больше не умоляет, не настаивает. Надежды нет. Он выполняет свой долг.

Ольбрихт еще раз созывает своих штабников. Явно чувствуется перемена настроений. На протяжении дня они несколько раз менялись, за первоначальной неразберихой, нерешительностью и лихорадочным наверстыванием упущенного в связи с приездом Штауффенберга наметилось замедление темпа, потом расслоение офицеров на горстку заговорщиков и более многочисленную группу нерешительных, но таких, которые в своей нерешительности претерпевали определенную эволюцию. Поначалу верили и не верили версии о смерти фюрера, хоть считались с этим. Но позднее, особенно после официального сообщения, перестали верить заговорщикам, тем более что те не очень-то настойчиво обвиняли радио во лжи. После длинного жаркого дня наступил вечер, в здании зажгли электричество, опустили светомаскировочные шторы. Давал себя знать весь этот день, проведенный в бездеятельном, но полном нервотрепки ожидании. В темных закоулках собирались маленькие, по два-три человека, группы, чтобы пошептаться. Большинство сходилось на том, что доводы заговорщиков неубедительны, что они основывались на лжи. Фюрер жив, следовательно, будет действовать. Самого пребывания на Бендлерштрассе уже достаточно, чтобы угодить под суд. Именно к этому сводились все разговоры. А выводы были однозначны. Единственный шанс давала лишь самая активная преданность.

Ольбрихт чувствовал это, но что он мог поделать? Еще раз созвал офицеров на совещание. Следовало приготовиться к отражению нападений извне, которые с часу на час становились все более реальными.

На совещании потребовал, чтобы офицеры охраняли здание, то есть несли караульную службу у всех его шести подъездов. Начальником этой службы он назначил подполковника фон дер Ланкена.

Сразу же после совещания группа офицеров просит у генерала аудиенции. Они хотели бы знать, что тут происходит. Почему необходимы эти часовые. Что им угрожает. И вообще в чем тут дело.

Ольбрихт спокойно отвечает, что положение рейха уже давно серьезно ухудшается. Группа офицеров, к которой он принадлежит, озабоченная судьбами родины, поняла, что должны быть приняты чрезвычайные меры для предотвращения неизбежной катастрофы. Он апеллировал к самым высоким чувствам офицеров и призвал их к самому тесному сотрудничеству.

Но Ольбрихт был слабым оратором. Своей речью он не высек ни искры солидарности. Присутствующие молчали. Они уже не сомневались в том, что втянуты в весьма

рискованную авантюру. Не надо было даже подслушивать у дверей, чтобы убедиться — все обращения заговорщиков к другим штабам не увенчались успехом.

Они сидят в здании, на которое вскоре обрушатся громы и молнии мести. Следовательно, только предельно активная преданность может еще их спасти. А поскольку во второй половине дня кто-то из этих офицеров занялся доставкой оружия на Бендлерштрассе, с ним нет никаких трудностей. Они уже располагают оружием, распределяют его между собой и формируют боевые группы.

■

Ольбрихт, Гёппнер, Бек еще пытаются что-то сделать, не зная, что готовится у них под боком.

Полковник Мюллер, направленный под вечер в Дёбериц, не добился цели, ради которой его посылали. Он должен был сместить начальника офицерского пехотного училища, но тот отказался выполнять приказы, исходящие с Бендлерштрассе. Мюллер вернулся ни с чем. Тут снова обсуждают вопрос и вторично посылают Мюллера в Дёбериц, чтобы он перебросил оттуда батальон курсантов, уже выделенный для отправки в Заксенхаузен.

Это был последний приказ, подписанный Ольбрихтом. Мюллер около полуночи прибыл на место, но никто не пожелал его слушать.

Медленное течение событий на Бендлерштрассе оживляется. Взрыв, назревавший уже несколько часов, вдруг разражается, и все закручивается с бешеной скоростью.

Рота обер-лейтенанта Шлее из батальона Ремера уже оцепляет здание, а между тем группа офицеров с подполковником Гербером во главе внезапно врывается к генералу Ольбрихту.

— Хватит нас морочить! — кричит Гербер.— Мы требуем, чтобы нам немедленно все объяснили.

Только самая рьяная преданность дает еще шансы на спасение. Подполковник фон дер Хейде прекрасно это понимает. Он кричит:

— Тут что-то замышляют против фюрера! Где генерал Фромм? Мы хотим его видеть.

— Вы вооружены,— спокойно отвечает Ольбрихт,— а я безоружен. Мы можем поговорить спокойно. Ступайте к Фромму, если вам так хочется. Но предварительно повидайте генерала Гёппнера. Впрочем, я ничего не знаю, кроме того, что изложил вам ранее.

Штауффенберг и фон Хефтен подходят к кабинету Ольбрихта. Увидев, что тут творится, Штауффенберг пятится в приемную, но люди Гербера преграждают ему путь. Он вырывается из их рук и выбегает на лестницу. Тогда раздаются выстрелы и одновременно кто-то кричит:

— Что тут происходит? Кто стрелял?

Пальба продолжается, хаотичная, как все, что здесь творится. В кабинете Мерца кучка заговорщиков, среди них Шверин, а также брат Клауса Штауффенберга, Бертольд. Они готовятся к обороне.

Клаус, с обильно кровоточащей своей единственной, левой рукой, сумел все-таки избавиться от преследователей, которые прекратили погоню. Пошли к Фромму.

Ольбрихт вручил своему зятю, майору Георги, портфель с документами:

— Прошу это тщательнейшим образом уничтожить. Я умираю за правое дело. Мы хотели добиться невозможного: в последнюю минуту спасти Германию. Пожалуйста, передайте моей жене, что я, как солдат на боевом посту, паду здесь в соответствии со своими убеждениями.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств майор Георги и еще несколько офицеров ускользнули с Бендлерштрассе.

Люди Гербера с оружием в руках прочесывают коридоры, поочередно открывают двери комнат и спрашивают всех, кто там находится:

— За или против фюрера?

Только демонстративно крикливая преданность, проявления которой слышат и запоминают, может еще принести спасение. Поэтому сплошь крикливы теперь и ответы. Вскоре все уже будут на стороне демонстративно преданных. За исключением горстки заговорщиков.

Вооруженная группа конвоирует Ольбрихта вместе с Мерцем фон Квиринхеймом и его дежурным адъютантом. Их препровождают в кабинет Фромма, где уже находятся генерал Бек и Гёппнер. Вскоре сюда приводят также раненого Штауффенберга и фон Хефтена. Других задерживают в кабинете Мерца.

— Где генерал Фромм? — кричит Гербер.— Что вы с ним сделали?

Гёппнер усталым жестом показывает на лестницу, ведущую в квартиру Фромма.

Но Фромма уже освободила другая вооруженная группа. Генерал с пистолетом в руке возникает на пороге своего кабинета в окружении вооруженных офицеров. Он ревет:

— Сдайте оружие! — Потом добавляет: — Я расквитаюсь с вами. Поступлю так, как вы поступили со мной.

Фон Хефтен пытается выстрелить в Фромма, но Штауффенберг мешает ему. Кровопролитие в данную минуту становится уже бессмыслицей.

Фромм продолжает реветь:

— Приказываю арестовать генералов Бека, Гёппнера и Ольбрихта, полковников Штауффенберга и Мерца фон Квиринхейма, а также обер-лейтенанта фон Хефтена.

Бек внезапно заявляет:

— У меня, в прошлом вашего начальника, вы, надеюсь, не потребуете сдачи оружия. Я сам сумею сделать выводы из этой трагедии.— Берет пистолет и заряжает его.

— Не цельтесь в меня! — кричит Фромм.

Бек начинает тоном воспоминания:

— Я думаю о давних временах...

Но Фромм перебивает его:

— Нечего теперь предаваться воспоминаниям. Пожалуйста, поторапливайтесь!

Бек говорит еще что-то, а потом у всех на глазах стреляется. Но не падает на землю. Пуля попадает в потолок. У Бека только царапина на виске. Он шатается.

Фромм видит это и кричит:

— Отнимите у него пистолет! Видите, он не в состоянии пользоваться оружием.

Бек пробует оказать сопротивление.

Фромм сводит свои счеты в ускоренном темпе. Прикидывается великодушным, но ему действительно очень некогда.

— Что касается вас, господа,— обращается он к остальным,— если хотите что-нибудь написать, то времени у вас остается в обрез.

Ольбрихт и Гёппнер принимаются писать. Фромм покидает комнату, через пять минут возвращается и спрашивает у пишущих:

— Вы готовы, господа? Торопитесь, иначе это сделается совершенно невыносимым для остальных.

А затем объявляет:

— По моему приказу учрежден трибунал. Он приговорил к смертной казни полковника генерального штаба Мерца фон Квиринхейма, генерала Ольбрихта, этого полковника, чьего имени я не желаю отныне знать, и этого обер-лейтенанта.

Обер-лейтенант Шлее со своими людьми уже под рукой. Фромм обращается к нему:

— Берите этого полковника, этого генерала с рыцарским крестом, этого полковника генерального штаба и этого обер-лейтенанта и приводите в исполнение приговор.

Шлее назначает лейтенанта Шади старшим, приказывает ему взять десять унтер-офицеров и расстрелять арестованных.

— Где? — спрашивает Шади.

— Где угодно, во дворе.

У Штауффенберга перестает кровоточить новая рана. Стремительный бег событий мешает их осмыслению. Он не боялся. Напротив, им овладевало некое нетерпение. Быстрая развязка освобождала его от пыток — и физических, и моральных.

Вокруг громыхали сапожищи, четверку арестованных уводили.

Фромм продолжал играть в великодушие. Пригласил Гёппнера в свой кабинет.

— Выбирай: самоубийство или арест.

Гёппнеру не хватило воображения или утонченности Штауффенберга. Он не понимал, что тот, кто уходит быстро, уходит легко. Что лишь в данную минуту смерть дается по льготной цене. Что с завтрашнего дня цена ее подскочит вверх. Словом, Гёппнер отдает предпочтение аресту. Фромм протягивает ему руку и велит препроводить в военную тюрьму.

С Беком по-прежнему скверно. После первого неудачного выстрела он не может решиться на следующий.

Фромм подходит к нему:

— Ну, как идут дела?

Обессиленный Бек сидит в кресле.

— Дайте другой пистолет.

Один из офицеров подает ему оружие.

Бек стреляет, но снова неточно.

Фромм спокойно оглядывает Бека, морщится и говорит офицеру:

— Помогите этому пожилому господину!

Офицер поручает это первому попавшемуся унтеру. Тот, не долго думая, взваливает генерала на спину, выносит в соседнюю комнату и там добивает из пистолета.

Фромм сводит счеты. Дело не в том, как относились к нему на протяжении дня, пока он был арестован — охранявшие офицеры были вежливы и даже принесли ему бутылку вина,— дело совсем в другом. Среди арестованных минуту назад имелись и такие, которым наверняка было известно, что Фромм з н а л. З н а л, но не донес, ибо вел двойную игру. И эти люди должны теперь исчезнуть, именно теперь, пока еще некогда вести допросы и протоколировать.

Штауффенберг понимал это. По разным причинам, но интересы их еще совпа-

дали: арестованным и Фромму было одинаково важно, чтобы все завершилось быстро и без протоколистов.

Он тяжело спускался по лестнице. Не мог придерживаться за перила, поскольку единственная рука, левая, была ранена. Это заметил фон Хефтен, обхватил его рукой.

— Разрешите, господин полковник..

— Благодарю, Хефтен.

Орава унтер-офицеров с автоматами наизготовку плотно окружала их и подталкивала. Топали по ступенькам подкованные сапоги.

Штауффенберг шагал, тщетно пытаясь припомнить какую-то деталь. Речь шла не о письме. Он не хотел оставлять письма жене, это было бы равносильно просьбе о каком-то милосердии, нет, речь шла о чем-то ином. Все время, пока они спускались по лестнице,— эти несколько минут — он размышлял над тем, что же мог запамятовать. Подгонял самого себя — давно пора было бы вспомнить.

На дворе была уже ночь, погожая, богатая яркими летними звездами.

Их уже устанавливали между оконными проемами первого этажа, затемненными, как и во всем здании, спиной к куче песку, насыпанной здесь на тот случай, если сбросят зажигательные бомбы.

— Темно, господин лейтенант,— сказал кто-то из унтеров.

— Я не рожу вам света,— буркнул Шади и вдруг его осенило: увидел во дворе грузовик.— Эй, посветите-ка вот на этих.

Все происходит в молниеносном темпе. Вспыхнули столбы белого света. Штауффенберг разглядел своих товарищей, покачивающихся, поддерживающих друг друга, и понял, что нечто подобное ему мерещилось, пока спускались по лестнице, только не доходило до сознания. Попросту он знал эту картину — это был «Расстрел повстанцев» Гойи. И фигура человека с воздетыми руками, что-то кричащего, тоже была ему знакома. Вдруг он почувствовал, что должен что-то крикнуть. Весь этот путч был какой-то стыдливый, умалчивающий о многом, рассчитывающий на недомолвки. Следовательно, должен найтись человек, который, по крайней мере умирая, что-нибудь крикнет.

— Огонь! — гаркнул Шади.

И тогда Штауффенберг крикнул, зычно, словно отдавал команду:

— Да здравствует вечная Германия!

Едва успев провозгласить это, он согнулся пополам и рухнул на землю, срезанный автоматной очередью. И все его люди рухнули. Шади обошел лежавших, добавляя каждому по пуле в висок.

Потом, в свою очередь, во двор спустился Фромм. Выстрелы в этом колодце звучали особенно громко, а теперь звенело в ушах от тишины. Шади увидел его, узнал по росту. Доложил:

— Приказ выполнен.

Фромм глянул на него сверху вниз:

— Соберите своих людей.

Шади дал команду построиться.

Фромм произнес короткую речь в честь фюрера. Поблагодарил солдат роты обер-лейтенанта Шади за выполнение приговора, вынесенного предателям.

Солдаты троекратно гаркнули:

— Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!!!

Фромм возвращается наверх. Офицеры из группы фон дер Хейде, Гербера и прочих один за другим рапортуют ему, причем каждый исполнен надежды, что начальство одарит его более долгим взглядом и приметит. Каждый понимает, что генерал остался в одиночестве: среди расстрелянных — начальник штаба Фромма, заместитель и его начальник штаба.

Однако Фромм не торопится подбирать себе новых заместителей и начальников штаба. Подзывает кого-то из офицеров и диктует ему приказ: «Путч, начатый безответственными генералами, беспощадно подавлен. Все его главари расстреляны. Не выполнять приказов фельдмаршала фон Витцлебена, генералов Гёппнера, Бека и Ольбрихта. Освобожденный из-под временного ареста, которому был подвергнут насильственно, я снова принял командование».

Приказ отнесли вниз, в телетайпный зал, для передачи по утвержденному списку. Телетайпы принялись выстукивать его буквы, возвещая всем и вся об окончании путча.

Но это еще не было концом конца.

Фромм в этот поздний вечер расхаживал по отделам штаба, по своему кабинету, кабинету Штауффенберга и других, все еще в окружении офицеров. Охотнее всего он отпустил бы их всех по домам и остался один, чтобы самолично ознакомиться с множеством бумажонок, оставшихся после заговорщиков. Но это было невозможно. В его собственной комнате стоял несгораемый шкаф Ольбрихта, запертый на ключ. Расстрел был произведен так быстро, что жертв не обыскивали. А теперь даже думать нечего о том, чтобы сойти вниз и рыться в карманах расстрелянных в поисках ключа.

Он с ненавистью смотрел на волочащийся за ним хвост из офицеров, которые застывали на месте, едва он останавливался, и тянулись за ним следом, как только двигался дальше.

Фромм испытывал такое ощущение, словно руки у него липкие или вообще он в чем-то перепачкался. Тяготила не столько неприятная сцена расстрела Бека или тех, внизу, сколько продолжающееся неведение — какие компрометирующие его следы оставили после себя в бумагах заговорщики. Остались ли следы, что он з н а л?

Он начинал уже ощущать усталость. Пытался отправить офицеров по домам, но все еще были наэлектризованы случившимся. Даже люди Гербера, непосредственно участвовавшие в аресте заговорщиков, и те не были уверены в прочности своего положения. Могли з н а т ь и не предупредили. Могли быть признаны колеблющимися, такими, которые выступили только тогда, когда провал путча был уже предрешен, а до того сомневались, не зная, к какой стороне примкнуть. В ситуации Фромма так или иначе находились все, кто в тот день был на Бендлерштрассе. И каждый мечтал об одном и том же: как бы добраться до письменных столов и шкафов расстрелянных или арестованных и поискать, нет ли там чего-либо компрометирующего лично их.

Разумеется, Фромм не осмеливался назначать комиссию по расследованию и поручать ей сбор данных о государственном перевороте. Должен был ждать, пока не явятся соответствующие чины из СС, СД, гестапо.

Фромм переживал муки нерешительных людей, не слишком хладнокровных, не слишком горячих. На протяжении нескольких часов своего заключения он прислушивался, не раздастся ли топот колонны СС, которая его освободит. Теперь он тоже поджидал ее, не очень-то представляя, что ему это принесет.

И наконец вызвал Гербера:

— Кого вы еще держите под арестом?

— Гёппнер отправлен в тюрьму. Здесь содержатся младший Штауффенберг — Бертольд, Йорк, Шуленбург, Шверин, фон дер Ланкен, подполковник Бернардис с серьезным расстройством желудка. Еще несколько.

— Кто из них заслуживает расстрела?

— Все. Любой, кто знал, что делает, заслуживает пули в лоб.

— Учредите трибунал, выносите приговор, приведите его в исполнение там, внизу.

— Тише, господин генерал.

— Почему?

— Мне послышалось, подходят воинские части. Точно! Подходят.

Теперь уже отчетливо доносился топот сапог о мостовую. Совсем близко раздалась команда. Подразделение по инерции сделало еще шаг и остановилось. Снова команда. Сапоги затопали вразнобой. Загремели по лестнице.

Они ждали прислушиваясь. Все здание заполнилось отголосками шагов. Когда шаги приблизились к двери, Фромм сказал:

— Гляньте-ка.

Гербер отворил дверь. В коридоре было черно от эсэсовцев. Один из них схватил Гербера за грудки и затолкал в комнату.

— Что случилось? — спросил Фромм.

— Все по своим местам. Выходить запрещено! — рявкнул эсэсовец.— Приказ генерала Райнеке.

Это прибыли эсэсовцы из Лихтерфельде.

Фромм заставил себя улыбнуться:

— Наконец-то!

Герберу после толчка, полученного от эсэсовца, не по себе, он не отвечает на эту улыбку.

Минуту спустя дверь с грохотом распахивается. На этот раз эсэсовец входит в комнату, с ним еще двое.

— Сколько здесь? Двое? Сдать оружие!

— Я генерал Фромм,— с усилием произносит командующий.

— Генерал не генерал, Фромм не Фромм, сдать оружие!

Он похлопал Фромма по карманам, отобрал пистолет. Второй точно так же поступил с Гербером. Третий ждал, пока они кончат. Потом, в свою очередь, приступил к делу:

— Содержимое карманов на стол. Все блокноты, записки, клочки бумаги. Быстро.

Фромм, с багровым лицом, принялся опорожнять карманы. Не сразу отдал бумажник, но эсэсовец рявкнул: «Тоже, тоже!» — и Фромм подчинился.

Эсэсовец собрал бумаги, взял со стола скрепку:

— Фамилия?

— Я уже говорил. Фромм, генерал. Командующий армией резерва.

Эсэсовец написал кратко: Фромм. Взял бумаги Гербера. Потом заявил:

— По приказанию генерала Райнеке каждый задержанный в здании немедленно обязан подробно написать о том, что делал днем, с кем и о чем разговаривал, что писал, словом, все. Это должно быть сделано немедленно. Покидать свои комнаты не разрешается.

— Я тут случайно,— сказал Гербер.— Я из другой комнаты...

— Садитесь и пишите,— повторил эсэсовец, и вся тройка вышла.

Внезапно закудахтал громкоговоритель и послышался голос диктора, благоговейно оповещавшего:

— Немцы и немки, в ближайшее время к немецкому народу обратится с важным заявлением наш фюрер Адольф Гитлер.

У Фромма ничего не получалось с этой объяснительной запиской. Он вставал, делал несколько шагов по комнате, возвращался, подпирал голову рукой. Первое испытание было сокрушительным. Командир эсэсовцев не только не доложил ему о прибытии с подкреплением, но и вообще не показался. С ним обошлись как с одним из заурядных офицеров этого штаба, чья репутация еще нуждается в проверке. Он шипел от злости, припоминая поведение тех трех эсэсовцев по отношению к нему и к Герберу. Тот, видимо, догадывался о причинах раздражительности Фромма, ибо вдруг сказал:

— Не огорчайтесь, господин генерал! Это простые солдаты, откуда у них быть хорошим манерам. Им сказали, что тут взбунтовались офицеры, вот они и стараются. О, когда явятся высшие чины, они, несомненно, господин генерал, представятся вам...

— Нужны мне их извинения! Достаточно самой правды и восстановления ситуации, предшествовавшей путчу. Вам хорошо писать: когда я разобрался в обстановке, то немедленно созвал офицеров и арестовал заговорщиков. Со мной хуже. Как им объяснить, что меня, командующего, арестовал мой собственный заместитель,— застонал он как от зубной боли.

Гербер писал быстро и через десять минут все закончил. Фромм еще мучился. Коротко упомянув о своем аресте, умолчал об его обстоятельствах, зато расписывал свои действия после освобождения.

Радио еще раз предупредило о предстоящем обращении фюрера к немцам.

Наконец, Фромм поставил точку. Они ждали. Фромм ощущал усталость и голод. Но к дверям никто из них даже не приближался. Общение с неблаговоспитанными эсэсовцами было не из приятных.

— Вам-то хорошо! — вернулся к своей теме Фромм.— Пока вы ничего не понимали — ничего и не делали. А как поняли, сразу же арестовали заговорщиков. Вы получите железный крест.

— Где там! Ведь я же был на этой чертовой Бендлерштрассе. Пока докажу, что делал, всякое может случиться. Это вы, господин генерал, в лучшем положении,— тут он попросту лгал.— Едва освободившись из-под ареста, вы приказали уничтожить врагов. Такого нельзя забыть.

— Послушайте, полковник, у вас есть бумага, время имеется, составьте-ка список второй очереди подлежащих суду и расстрелу. Когда недоразумение выяснится, невредно будет иметь все это изложенным на бумаге.

— Так точно, господин генерал.

■

Спустя минут тридцать, на протяжении которых было еще раз объявлено о предстоящем выступлении Гитлера, а Гербер закончил второй список подлежащих суду военного трибунала, произошло нечто такое, что, казалось бы, осуществляло самые сокровенные мечты Фромма — перед ним извинились за поведение эсэсовцев.

В коридоре раздались шаги, кто-то спросил зычным голосом:

— Где здесь генерал Фромм?

Судя по отголоскам, эсэсовцы пришли в замешательство. Один из них сказал:

— Нет тут никакого Фромма.

Но другой тотчас его поправил:

— Есть тут какой-то генерал. Кажется, говорил, что его зовут Фроммом. Вот здесь!

Фромм и Гербер услышали, как отворили дверь соседней комнаты. Генералу захотелось выбежать в коридор, крикнуть «я здесь!», когда эсэсовец буркнул вполголоса:

— Не тут, черт побери!

Наконец, распахнулась дверь их комнаты. Вошел высокий, худощавый человек в форме эсэсовца с генеральскими знаками различия. Это был руководитель главного управления безопасности, то есть Кальтенбруннер собственной персоной.

Разумеется, они были знакомы. Не вытянувшись предварительно по стойке «смирно», Кальтенбруннер быстро подошел к Фромму с протянутой рукой:

— Я чрезвычайно рад видеть вас в добром здравии, генерал Фромм. Мы чертовски тревожились за вашу судьбу, как только узнали, что эти предатели осмелились арестовать вас. Опасались, что какой-нибудь сумасшедший пойдет еще дальше...

— Благодарю вас, генерал, благодарю. Но вы видите меня снова арестованным.

— Как это?

— Когда пришли ваши люди, они заперли нас в наших комнатах, запретили выходить, приказали писать объяснения... Едва я освободился из-под одного ареста, как угодил под другой.

Кальтенбруннер рассмеялся, но с некоторым усилием.

— Понимаете ли, генерал, мы учим их мертвой хватке. За всеми не уследишь, и черт их знает, что они способны натворить.

— Действительно...— кисло произнес Фромм.

— Выполнили ли вы свое домашнее задание, генерал? Разрешите? — Кальтенбруннер взял объяснительную записку Фромма и быстро ее прочел.— Н-да...

— Меня арестовали в тот момент, когда я хотел арестовать заговорщиков. Их было трое или четверо, а я один...

— Зато, когда вас освободили, вы расквитались не мешкая.

— Я полагал, что предательство подлежит выжечь каленым железом.

— Справедливое решение. Только малость запоздавшее.

— Почему же, ведь через полчаса, даже меньше, через пятнадцать минут после моего освобождения они уже были расстреляны.

— Поздновато. Кто был расстрелян?

— Ольбрихт...

— Ваш заместитель.

— Штауффенберг.

— Ваш начальник штаба.

— Мерц фон Квиринхейм...

— А это кто такой?

— Начальник штаба Ольбрихта.

— Следовательно, ваше ближайшее окружение. Я говорю это потому, что вы слишком поздно сориентировались. Вы находились среди предателей, длительное время работали с ними и ни о чем не догадывались? Нехорошо, господин генерал.

— Да, это моя величайшая вина. Но как я мог подозревать? Чтобы люди, которым воздавали почести, осыпали орденами, люди, обласканные лично фюрером...

— Фюрера оставим в стороне от всего этого, согласны, генерал?

— Так точно. Но, едва снова приступив к своим обязанностям, я незамедлительно, беспощадно, с корнями...

— Всех ли?

— Нет, но самых опасных. Впрочем, я поручил полковнику подготовить дополнительный список подлежащих военно-полевому суду. Предлагаю еще сегодня судить и расстрелять подполковника фон дер Ланкена, Бернардиса...

— О-о-! Снова перегиб. К чему эта спешка? Пусть этим займется наше национал-социалистское правосудие и наведет порядок.

— Но ведь они предатели, пойманные с оружием в руках...

— Я отменяю это ваше решение. И сожалею, что не могу отменить предыдущее.

— Какое?

— Относительно расстрела той четверки. Дьявольски интересно было бы узнать, что они унесли с собой в могилу.

— Штауффенберг заявил в моем присутствии, что лично подложил бомбу с целью убийства нашего фюрера. Как мог я оставить его в живых, когда снова приступил к своим обязанностям?

— Так-так! Штауффенберг на том свете благодарит вас за эту поспешность. Он ускользнул из наших рук. Вот так, господин генерал.

— Я человек действия, а не философ. Как только смог, передал приказ всем фронтам и округам, аннулирующий приказы заговорщиков. Снова принял командование.

— Есть у вас содержание этого приказа?

— Пожалуйста, вот копия.

Кальтенбруннер просмотрел приказ, открыл дверь и позвал своего адъютанта:

— Идите в телетайпный зал и от моего имени приостановите передачу этого приказа.— Он вырвал листок из блокнота и быстро набросал несколько фраз.— А это прошу передать немедленно.

Адъютант вышел. Кальтенбруннер взглянул на Фромма. Гигант стоял бледный, черты лица его заострились.

— Ваш приказ устарел. Мне, в свою очередь, пришлось его отменить. По решению фюрера сегодня назначен новый командующий армией резерва сухопутных войск. Не знаете об этом, да? Командующим с сегодняшнего дня является рейхсфюрер СС, партайгеноссе Генрих Гиммлер. Поэтому я передал новый текст. Однако мы тут тары-бары, а дела ждут... До свиданья, господин генерал, до свиданья.

На этот раз он руки не подал, поклонился Фромму и быстро направился к дверям. Гербер вытянулся во фрунт.

Фромм мелкими шажками устремился за Кальтенбруннером, опоздав на секунду. Тот вышел, дверь затворил. Фромм остановился и отер лоб платком. Выглянуть в коридор не осмелился.

■

Через несколько минут в комнате снова появился эсэсовец и поманил пальцем Гербера. Тот хотел было проститься с Фроммом, но тоже не осмелился, только взглянул на него и быстро вышел.

Фромм сидел за письменным столом, время от времени отирая со лба испарину. Почему вызвали Гербера? Это могло предвещать перемену к лучшему. Хотели создать

бывшему командующему армией резерва сухопутных войск сносные условия, почтить одиночеством в его собственном кабинете. Но могло означать также, что дела плохи, весьма плохи. Гербера, возможно, отпустили домой, а его, Фромма, быть может, намерены изолировать. Все это могло предвещать — и наверняка предвещало — нечто очень скверное, постепенно приходил он к заключению.

Он сидел за письменным столом, внезапно отяжелевший, сгорбленный, с обвисшими щеками. В здании царила тишина, лишь порой то тут, то там с грохотом распахивалась или захлопывалась дверь, кто-то проходил, чьи-то шаги гулко стучали по лестнице.

Фромм думал. Он не был столь ограниченным, чтобы после разговора с Кальтенбруннером рассчитывать еще на снисходительность фюрера, несмотря на свою преданность, арест, несмотря на ликвидацию заговора, в сущности, без помощи извне. Он находился в самом центре всей этой кутерьмы. Как мог не знать? Скрыть, что, по крайней мере, о чем-то догадывался, немыслимо, ведь тогда бы пришлось признать себя полнейшим ослом.

В час этого вечернего одиночества, в своем кабинете, он впервые позволил себе предаться тщетной игре воображения, раздумьям: что бы было, если бы...

Если бы присоединился к заговорщикам. Он был командующим армией резерва сухопутных войск. Его подпись под планом «Валькирии» коренным образом изменила бы положение. Кто знает, сколько бы командующих послушалось его, тогда как ничего не значил для них Гёппнер, не говоря уже о Штауффенберге. Можно было бы овладеть стратегическими пунктами Берлина.

Но... его решение не ввязываться в «это» обуславливалось весьма просто: он соединился по телефону с Кейтелем, а тот говорил о покушении тоном, естественность которого не вызывала ни малейших сомнений. Был какой-то оттенок искренности в сообщении о том, что «фюрер только получил ожоги». И поэтому Фромм поверил Кейтелю.

А коль скоро не удалось осуществить основной пункт заговора, все остальное было уже только вопросом времени. В беседах перед покушением с ним никогда не говорили на эту тему, во всяком случае не говорили прямо. Все обсуждения начинались примерно следующим образом: «по выполнении предварительного условия, в час G+1, надлежит» и так далее. Впрочем, до таких детальных разговоров доходило редко. Беседовал он главным образом с Ольбрихтом. Они сходились во мнении о том, что война, особенно на Востоке, принимает весьма неблагоприятный оборот. Оба критически оценивали решения ставки, касающиеся Сталинграда, а в последнее время — группы армий «Север» генерала Линдемана, которую русские сейчас отрезали от остальных войск, действующих в Латвии. Но оба молчаливо соглашались с тем, что предварительное условие необходимо.

— Нет предварительного условия, нет генерала Фромма,— произнес он почти вслух, барабаня пальцами по столу. Без этого им приходилось выкручиваться, не договаривать до конца, притворяться, основываться на недоразумениях, более того, создавать недоразумения и на них прежде всего рассчитывать.

Фромм отер пот со лба. Он не желал в это впутываться. А противодействовал ли он осуществлению предварительного условия? Где там! Пожалуйста, достаточно было шепнуть кому следует. Он этого не сделал. Поступил точно так же, как и многие другие немецкие военачальники. Полная поддержка заговора по выполнении предварительного условия.

Но условие это выполнено не было. Следовательно, он не примкнул. И, оказывается, этого недостаточно, чтобы остаться нейтральным. Придется отвечать. Более того, само молчание как бы обрекает его на сообщничество с заговорщиками, разговор с Кальтенбруннером доказал это весьма недвусмысленно.

Вдруг снова закудахтал радиоприемник, объявляя о предстоящем в ближайшие минуты выступлении Гитлера. Это было уже третье или четвертое уведомление. Что у них случилось? Почему фюрер не говорит? А может, он тяжело ранен и не в состоянии выступать? А может, все-таки мертв? Несколько секунд Фромм переживал эту возможность как великое счастье. Но тут же спохватился, что такое счастье не для него. Ему не простят этих четырех расстрелянных.

Фромм снова вытер лицо платком. Он уже окончательно постиг непреложную истину: тот, кто воздерживается преждевременно примкнуть к какой-либо из сторон, а хочет наверняка присоединиться к победившим, при определенных условиях может оказаться в двойном проигрыше.

Он встал, с высоты своего двухметрового роста оглядел кабинет. Тут в сложных условиях он боролся за собственную жизнь. И хотя не сделал никакого преждевременного шага, битву эту проиграл. В иных ситуациях противопоказано осторожничать, медлить, тянуть с выбором — они требуют безрассудства, односторонности, пристрастности, накала страстей, риска.

В голову ему пришли какие-то напоминающие далекую молодость слова, как будто из Священного писания, которые осуждали тех, кто ни холоден, ни горяч. Неужели и он таков?

Но думать об этом было некогда. Его трясло как в лихорадке: что с ним сделают? В минуты слабости ему рисовался самый страшный исход, но потом он с воз-

мущением отмахивался от этих ужасов: как это, чтобы его, который не поддался уговорам, нажиму, угрозам, кого арестовали и кто, в сущности, лично подавил путч... нет, невозможно. Сейчас еще царит замешательство, приказы противоречат один другому, солдаты сами не знают, кого слушаться, перед кем вставать по стойке «смирно». Все это вскоре уладится, утрясется, отстоится, как взбаламученная вода. Тогда его непременно заметят и оценят.

Весьма существенным представлялось ему то, как их будут выводить из здания. Арестуют ли его? Вполне возможно, сказал он себе. Потом снова почувствовал прилив оптимизма: самое большее подвергнут домашнему аресту, до первого допроса.

Но первый допрос, собственно говоря, уже состоялся. Он сам записал показания, Кальтенбруннер прочел. И не сказал: благодарю, вы свободны. Вышел и, уходя, не подал руки.

Нет, будущее не предвещает ничего утешительного. Огромный Фромм в каком-то озарении увидал это собственными глазами и затрясся в противном, мелком ознобе. В комнате было душно, но он слышал, как у него стучат зубы. Попытался напрячь мышцы лица, чтобы избавиться от этой омерзительной дрожи. Тщетно. Так он сидел за письменным столом и трясся. Была уже глубокая ночь. Во дворе снова началось движение, слышался шум выезжавших автомобилей, хлопали двери, перекликались приехавшие. Фромм выглянул в окно. Двор показался ему огромной черной ямой. Людей не было видно, тем более что почти на всех теперь были черные мундиры. Он услыхал чей-то возглас:

— Кто это?

— Генерал Гёппнер.

— Какой там генерал, давай его сюда. Куда везти?

— На Принц Альбрехтштрассе.

— В гестапо?

— А куда же?

— Доставим!

Загудел мотор, на секунду вспыхнули фары, машина тронулась. Фромм почувствовал некоторое облегчение. Его держат здесь, это не означает ареста. Арестованных сразу же забирают в гестапо. Чем дольше он здесь сидит, тем больше у него должно быть надежды. По коридорам ходили эсэсовцы. Всякий раз, когда шаги приближались к его дверям, словно какая-то ледяная лапа сжимала ему голову и его бросало в дрожь.

Впрочем, это сидение в кабинете растягивалось на долгие часы лишь в сознании Фромма. На самом же деле подразделения СС вступили на Бендлерштрассе около часу ночи, а каких-нибудь сорок пять минут спустя дверь кабинета распахнулась и эсэсовец велел Фромму выйти в коридор.

Его снова затрясло. Он не только дрожал и стучал зубами, но вдобавок воспринимал все с необычайной остротой и отчетливостью, словно обрамленное яркой, ослепительной каймой.

В коридоре было полно эсэсовцев, среди них терялись фигуры офицеров, которых поодиночке выводили из комнат.

Недалеко от Фромма стоял среднего роста эсэсовец с крупным, пухлым лицом и глазами навыкате... Он показался Фромму знакомым. У него были знаки различия старшего офицера. Сейчас он смеялся, показывая крепкие зубы, смеялся над льстивыми словами стоявших рядом с ним двух эсэсовцев. Усики у него были а-ля Гитлер, но выглядел он добродушно и вместе с тем себе на уме. Лицом напоминал цыган-конокрадов. Ничего удивительного, что он показался Фромму знакомым. Уже год лицо это знали читатели немецкой прессы. Ведь это был знаменитый Скорцени, освободитель Муссолини.

«Вероятно, командует этими...» — подумал Фромм, и хоть тот несомненно был подчиненным Кальтенбруннера, ему захотелось подобраться поближе и словно бы поступить в распоряжение Скорцени. Потихоньку он начал продвигаться в сторону Скорцени, но, едва сделал шаг, на плечо опустилась рука эсэсовца, который вызвал его из кабинета. Безличным тоном эсэсовец произнес:

— Нельзя.

И Фромм опять — в который уже раз за этот бесконечный день? — потерял надежду. Он стоял и отчаянным усилием воли пытался преодолеть перестук зубов, который, казалось, слышали все окружающие.

Между тем в коридоре поднялась суета. Из-за угла вышла толпа, оцепленная черными мундирами. Арестованные шли, и Фромм начал узнавать их: фон дер Ланкен, Бернардис, Бертольд Штауффенберг, еще несколько офицеров. Шли они странно, точно искалеченные. Просто у них руки были связаны за спиной.

Фромм глядел на полковничьи погоны, боевые ордена. Некоторых он знал по работе в штабе: они всегда были на высоте, мыслящие, начитанные.

Все смотрели на арестованных. В их внешнем виде было нечто противоестественное. Воинские знаки различия, ордена — и связанные за спиной руки.

Первым спохватился Скорцени.

— Что это такое? — крикнул он.— Стой! — и показал пальцем на ордена.

Арестованные внезапно остановились, наталкиваясь друг на друга в силу инерции.

Скорцени поманил пальцем ближайшего, и тот послушно подошел и остановился в метре от него.

— Что это такое? — крикнул Скорцени.— Я запрещаю предателям носить офицерские знаки различия и боевые ордена.

Он протянул руку, схватил первого с края за погон, сорвал так, что затрещали истлевшие нитки, все знаки различия, затем рванул ордена. Огляделся вокруг с полной пригоршней добычи. Сказал стоявшему поблизости эсэсовцу:

— Иди сюда! Давай каску!

Эсэсовец снял каску и протянул ему.

Скорцени швырнул в нее свою добычу. Глухо брякнули ордена о кожаную подкладку. Один стукнулся о металл, звякнув резко и одиноко.

— Следующий! — крикнул Скорцени очередному арестованному. Он проворно срывал с них офицерские знаки различия и ордена.

Так продолжалось несколько минут. Последним из связанных был Бертольд Штауффенберг, брат Клауса, худощавый и высокий. Каска наполнилась доверху.

Фромм увидел ее, когда Скорцени поручил одному из своих подчиненных пересчитать ордена и сдать под расписку в соответствующее ведомство. Когда с этим было покончено, Фромм снова задрожал: теперь возьмутся за него. Но вот последний орден звякнул о каску, и Скорцени сделал жест, словно вытирает руки. Он никого больше не подзывал к себе. Фромм понял, что задержанные делятся на две категории: на связанных и лишенных орденов и попросту задержанных. И что он, Фромм, принадлежит ко второй категории. Едва осознав это, почувствовал, что озноб унялся, дрожь исчезла. Он был унижен, оскорблен, но видел собственными глазами: судьба его была не самой скверной.

Опять отозвалось радио и уведомило о предстоящем в ближайшее время выступлении Гитлера.

— Какой смысл так тянуть с выступлением фюрера? Люди могут бог знает что подумать,— сказал вполголоса один из спутников Скорцени.— В чем тут дело?

— Очень просто,— ответил Скорцени.— В «Волчьем логове» нет передвижной вещательной радиостанции. Ее срочно перебрасывают из Кёнигсберга. Вероятно, запаздывают. А с людьми, которые начинают бог весть что думать, знаешь что мы делаем? Знаешь, сам видал. Так не зарывайся.

Фромм услыхал это. Все было проще простого, а ведь и у него в голове начали уже проклевываться различные домыслы, как и в головах тех, о ком говорили эсэсовцы. В порыве какой-то отчаянной беспристрастности он признал правильность принятых по отношению к нему жестких мер, поскольку с ним было не все благополучно. Как это просто, думал он теперь, в «Волчьем логове» всего-навсего нет вещательной радиостанции, ее перебрасывают из Кёнигсберга, а тем временем кое-кто начинает сомневаться, что фюрер цел и невредим...

В коридоре все пришло в движение. Кто-то из эсэсовцев рявкнул на связанных: «Вперед, шагом марш!» — и те пошли прямо, окруженные такой плотной цепью конвоиров, что их почти не было видно.

Дверь одного из кабинетов распахнулась, и показались двое: Кальтенбруннер и Райнеке, в генеральских мундирах. Когда арестованных подвели к ним, Райнеке вдруг крикнул:

— Вы отправляетесь в гестапо, предатели! Приговор вам вынесет фюрер. Уж он справедливо решит вашу участь, будьте покойны. Долой предателей!

С этой минуты здание на Бендлерштрассе, до сих пор густонаселенное, начало пустеть. Несмотря на толпы эсэсовцев, которые по приказу и без такового расставили массу ловушек, общая неразбериха была еще столь велика, что нескольким офицерам и в этой заключительной фазе удалось ускользнуть.

Когда вывели связанных, настал черед других. Выводили их иначе. Каждый получал двух сопровождающих. Скорцени проинструктировал стражей:

— Чтобы никто из них и словом между собой не перекинулся. Ясно?

Черно-зелено-черные тройки стали спускаться по лестнице. Настала очередь Фромма, он тронулся с места.

Кальтенбруннер, Райнеке и Скорцени стояли теперь втроем. Фромму хотелось обратиться к Кальтенбруннеру, продолжить разговор в прежнем тоне, который как-никак был доверительным, но тот в последний момент наклонился к Райнеке и что-то шепнул ему на ухо, от чего Райнеке вдруг разразился хохотом. Минули три секунды, и Фромм был уже далеко от эсэсовских верхов, в полной власти сопровождавшей его солдатни. «Но генеральские знаки различия я сохранил и ордена тоже»,— подумал Фромм, и это его немного успокоило.

Дом на Бендлерштрассе опустел. Коридоры с горящими лампами обезлюдели. Вместилище великого замешательства и стольких страстей выглядело точно выпотрошенное.

Снова отозвались громкоговорители. Когда уже последние люди покидали Бендлерштрассе, 13/14, по пустым, освещенным коридорам растекся голос Гитлера, кото-

рый вопил из далекого «Волчьего логова»: «Немцы и немки...» — рассказывая им о покушении, о том, что оно не удалось, об осуществляемых в командовании переменах, о благоприятствовании судьбы его персоне. Этот взвинченный, возмущавшийся и призывавший голос метался по уже совершенно безлюдным коридорам, вызывая лишь путаницу гулких раскатов и отголосков, которые гонялись друг за дружкой, сталкивались в углах и нишах, рокотали.

Эпилоги

Когда на Бендлерштрассе стало, наконец, тихо и пусто, был запущен мотор стоявшего во дворе грузовика. Охрана швырнула в кузов трупы четырех расстрелянных и принесенного сверху мертвого штатского. Бек пришел на Бендлерштрассе в штатском, это, по всей вероятности, мешало ему торопить военных и исправлять их промахи. Как будущий президент, он не хотел вмешиваться в чужие компетенции. А теперь присоединился к военным.

Грузовик отвез трупы на ближайшее кладбище. Разбудили сторожа соседней кирхи, велели ему отдать ключи от кладбищенских ворот, велели также подсобить при переноске трупов, рытье могилы и погребении и приказали держать язык за зубами. Место захоронения должно было оставаться в тайне.

Все это выглядело бы подозрительно, если бы не черные мундиры тех, кто отдавал приказы. Они сразу объяснили характер церемонии. И состоялась она без каких-либо помех или хотя бы лишних вопросов.

Главная группа подозреваемых была допрошена в ту же самую ночь. Одним из первых на допрос отправился генерал Гёппнер, тот, кто отверг исход, с небрежной жестокостью предложенный Фроммом.

Шеф гестапо Мюллер стал во главе двух специальных комиссий, созданных исключительно для расследования этого дела. Они располагали огромным количеством документов, в том числе с Бендлерштрассе, где деятельность заговорщиков была весьма ограниченной и сводилась к разработке схем расстановки людей, что тем не менее явилось для гестапо значительным подспорьем при расследовании.

Но эти обнаружившиеся с самого начала масштабы заговора сразу же поставили Гитлера в трудное положение. Если с одинаковой жестокостью преследовать каждого, кто соприкасался с заговором, не только оказался бы обескровленным высший командный состав, но и создалось бы впечатление в стране, что весь генералитет против Гитлера, что было и неверно, и нежелательно.

Вообще в репрессиях после заговора чувствовалась некая двойственность. Гитлер был неумолим, однако с объективной необходимостью ему приходилось считаться.

Офицеры-заговорщики удаляются из армии по приговору специального офицерского суда чести. Это позволяет передать их дела в стяжавший мрачную репутацию фольксгерихт — «народный трибунал», возглавляемый Роландом Фрайслером, разнузданным садистом, который известен своим пристрастием к издевательствам над обвиняемыми. Это определяет также тип приговора: «в народном трибунале» высшая мера наказания необязательно означает расстрел, она может означать и казнь через повешение.

Заключенные препровождаются на разбирательство из тюрьмы в гражданской одежде, без подтяжек, ремней и так далее. Это дает повод Фрайслеру для издевок. Исхудавшие на тюремных харчах, обвиняемые попросту боялись потерять штаны. Старец вроде фон Витцлебена, с трясущейся головой, обеими руками придерживающий брюки, был объектом пошлых шуточек Фрайслера.

Гитлер понимал, что должен наносить удары оперативно и сокрушительно. Седьмого и восьмого августа слушается дело первой группы, с фельдмаршалом фон Витцлебеном, генералами Гёппнером, Штайфером и фон Хазе во главе.

Судебное заседание проходит в небольшом зале человек на двести. Царит чудовищная жара. Процесс снимается кинооператорами, после войны союзники найдут свыше ста километров пленки, посвященной этому разбирательству. Избранные места будут продемонстрированы на Нюрнбергском процессе.

Процесс проводится как показательный, ради вящего унижения обвиняемых. Им запрещено говорить о мотивах, побудивших их действовать.

Все восемь обвиняемых приговариваются к смертной казни через повешение с конфискацией имущества.

Только теперь осознает свою ошибку генерал Гёппнер. Он не воспользовался возможностью, предложенной ему Фроммом. Когда обратился с просьбой — как о милости — о замене виселицы расстрелом, услышал только брань Фрайслера, и на этом дело кончилось.

Гитлер изъявил желание увидеть казнь... Поэтому были установлены кинокамеры в Плётцензее, где осужденных должны были повесить как туши в бойне — на крюках, вбитых в стену, на струнах от рояля.

Демонстрация такого фильма в избранной аудитории, считал Гитлер, повлияет на поднятие боевого духа армии. Это был ошибочный расчет. Говорят, что во время показа для руководства Геббельс едва не лишился чувств. На другом просмотре, в офицерском училище в Потсдаме, реакция зрителей была столь единодушной и бурной, что Гитлер отступил и больше подобных просмотров не устраивал, более того, распорядился фильм уничтожить. По всей вероятности, приказ выполнили, ибо после войны не было найдено никакой ленты об агонии приговоренных.

■

Гёрделер, которого прочили в канцлеры рейха, несколько дней скитался по Восточной Пруссии. За голову его был обещан миллион марок. Не остававшийся нигде более одной ночи, Гёрделер, уже предельно утомленный, зашел в какой-то сельский ресторан. К несчастью, поблизости дислоцировалась авиационная часть, ее командный состав столовался именно в этом ресторане. Два офицера как раз обедали в обществе молодой женщины из вспомогательной службы. Она приглядывается к путнику и узнает его, поскольку была прежде знакома со всем семейством несостоявшегося канцлера. Арестованный, доктор Гёрделер предстает перед судом. Его приговаривают к смерти, но приговор приводится в исполнение только 2 февраля 1945 года.

Гёрделер якобы заявил в письменном виде, что всегда был против покушения на Гитлера и — поскольку бог не желал его гибели — все участники заговора обязаны теперь поддержать фюрера.

Во время своего долгого заключения Гёрделер разрабатывал проект коренной административной реформы Германии. Гитлеровцы изучали его рассуждения с огромным интересом.

■

Поспешность, с которой генерал Фромм расстрелял четверых своих ближайших сотрудников, разумеется, привлекла внимание эсэсовцев к его персоне. Гиммлер в одной из своих речей в начале августа, правда, признал, что нет неопровержимых доказательств принадлежности Фромма к заговору, однако обвинил его в том, что он ловкач и обманщик, не верит в победу и что на своем посту отличался только феноменальной ленью и забывчивостью.

Следствие по делу Фромма тянулось много месяцев. Лишь в феврале следующего года он был приговорен к смерти.

В одном этом случае Гитлер проявил великодушие: вместо виселицы Фромма приговаривают к расстрелу. Приговор приводится в исполнение 19 марта.

Фромм до конца надеется на помилование. Умирает, крича «хайль, Гитлер!».

■

Только отличный малый Ремер погрел руки на этой истории. Сразу же получил повышение. Пережил войну. Насколько мне известно, без неприятностей прошел денацификацию. Живет в ФРГ.

■

Гизевиус принадлежит к тем немногим, кому удалось выскользнуть из сетей гестапо. Ночь с 20 на 21 июля он проводит на окраине Берлина. Прячут его знакомые. Он покидает их на следующий день, долгое время петляет, уходя от погони, кто знает, возможно, и прибегает при этом к помощи агентурной сети Аллена Даллеса, с которым вел беседы в Швейцарии. Гизевиус благополучно доживает до окончательного поражения гитлеризма. После войны публикует два тома размышлений относительно антифашистского подполья в армии и даже в гестапо, где сам какое-то время служил. Он оставил довольно обширное описание 20 июля в Берлине, на Бендлерштрассе и на Александерплац, в берлинском полицей-президиуме, где у него были друзья и соучастники заговора — граф Гельдорф и советник Небе. Выступал как свидетель на Нюрнбергском процессе.

Мемуары Гизевиуса являются одним из источников, откуда почерпнуты некоторые факты, описанные в настоящей работе. Значительно помогла мне также книга подполковника Поля Бербена, бывшего узника лагерей для военнопленных на территории рейха, который впоследствии дослужился даже до поста командующего бельгийскими оккупационными войсками в Германии.

Бербен проявлял особый интерес к покушению и посвятил ему двухсотпятидесятистраничную книгу под названием «Покушение на Гитлера» (Robert Laffont, 1962) Эту книгу, в которой делается попытка собрать и систематизировать сведения, относя-

щиеся к фактической стороне дела, я использовал в значительной степени. В ряде мест, там, где замечал неточности в хронологии событий, отказывался от помощи текста. Такие промахи встречались в этой книге неоднократно.

■

События, которые кладутся в основу той или иной документальной книги, сами навязывают любому коснувшемуся их автору дистанцию по отношению к ним и тон изложения. Одни требуют детального анализа и эмоционально окрашенной тональности, другие — лаконизма, что ускоряет темп повествования, придает остроту комментарию. 20 июля 1944 года принадлежит к событиям, ритм и масштабы которых словно бы предопределены драматургом. Здесь излишне развернутый авторский комментарий был бы ошибкой. Факты сами представали перед объективом, сохраняя драматическую перспективу. Только сдержанность в комментарии и простота композиции необходимы здесь, чтобы во всей полноте заиграл весь драматизм происшедшего. Я старался следовать этому принципу, во всяком случае, руководствовался им в своем подходе к фактическому материалу.

Заговор 20 июля и его уроки

В начале прошлой осени разноплеменная и разноязыкая группа журналистов, возвращаясь пешком из Западного Берлина в столицу Германской Демократической Республики, остановилась недалеко от Тиргартена на углу небольшой улицы. Обычная западноберлинская улица с редкими новыми домами, выделявшимися, как яркие заплаты, между старых серых домов, привлекла наше внимание своим названием: Штауффенбергштрассе. За час до этого в сумрачном кирпичном сарае в тюрьме Плётцензее мы возложили венок на месте, где ровно 30 лет назад рука гитлеровского палача оборвала жизнь чехословацкого коммуниста, журналиста, писателя Юлиуса Фучика, оставившего человечеству бессмертный «Репортаж с петлей на шее». Вместе с Фучиком в ту ночь с 7 на 8 сентября 1943 г. были повешены 185 человек, осужденных фашистским судом на смертную казнь за участие в борьбе против режима. Казни, как рассказали нам, продолжались в том бараке и на другую ночь, и на третью, и во многие следующие ночи. Нам показали стальную балку с восемью обычными мясными крюками, на которых осужденных вешали, как туши. Сюда посылали наиболее опасных противников фашистского режима и тех, кто вызвал особую ненависть его главарей.

Еще в декабре 1942 года по личному приказу Гитлера здесь были первыми повешены перед самым рождеством одиннадцать участников боевой антифашистской группы Шульце-Бойзена — Харнака, среди них три женщины: Либертас — жена Харро Шульце-Бойзена, жена Арвида Харнака — Мильдред и родственница бывшего германского посла в Советской России Брокдорфа-Ранцау — графиня Эрика Брокдорф. Здесь почти два года спустя были казнены также по личному приказу Гитлера с изощренной жестокостью активные участники заговора 20 июля 1944 года — один германский фельдмаршал, два генерал-полковника, несколько генерал-лейтенантов, генерал-майоров, много полковников, майоров и офицеров других рангов. Одни из них были повешены в Плётцензее через несколько часов после вынесения приговора, другие месяцами томились в ожидании казни и были умерщвлены, когда уже приближался конец войны и гитлеровского режима.

Хотя в длинном трагическом списке погибших на страшной виселице в тюрьме Плётцензее имя полковника Штауффенберга не значилось, о нем многократно вспоминал наш гид, о нем говорили лежавшие под стеклом документы, поэтому, увидев это имя на углу улицы, мы заинтересовались: почему оно здесь? Сведущие немецкие коллеги тут же объяснили нам, что бывшая и хорошо известная в военных кругах Бендлерштрассе названа именем Штауффенберга. На этой улице в большом здании, известном как Бендлерблок, находилось Общеармейское управление, возглавляемое генералом Ольбрихтом, и служебные помещения командующего армией резерва генерал-полковника Фромма, начальником штаба которого был полковник Штауффенберг. В Бендлерблоке работали основные и ведущие участники заговора 20 июля, здесь был вынашен, разработан и хранился в сейфе генерала Ольбрихта план «Валькирии» — план убийства Гитлера и захвата власти заговорщиками. Здесь его авторы и неудачливые исполнители нашли свою смерть в первые 30 минут 21 июля.

Журналистское любопытство заставило нас задаться вопросом, знают ли жители Штауффенбергштрассе, кто такой человек, имя которого носит их улица. Первая остановленная нами женщина — пожилая, усталая, нервная — удивленно и недоверчиво оглядела нас и коротко отрезала:

— Я ничего не знаю. Спросите шупо (полицейского).

Паренек-рассыльный, ведущий в руках велосипед с большой нагруженной чужими покупками корзиной впереди, глубокомысленно задумался, стараясь вспомнить что-то, и сказал, скорее спрашивая нас, чем отвечая:

— Обер-бургомистр? Или руководитель какой-нибудь партии?

— Почему обер-бургомистр или руководитель партии?

— А у нас, когда обер-бургомистр или руководитель партии умирает, обязательно какую-нибудь улицу его именем называют.

Молодая женщина в тесном свитере и обтягивающих ноги брюках кокетливо улыбнулась, прежде чем ответить:

— Художник какой-то.

— Художник? Почему вы думаете, что художник?

Женщина махнула рукой куда-то в глубину улицы.

— Там на щите перед большим зданием написано, что в нем находится выставка этого Штауффенберга.

Мы поспешили туда и обнаружили, что в бывшем Бендлерблоке, так же как и в тюрьме Плётцензее, создан «мемориал» памяти участников заговора 20 июля. «Мемориал» оказался закрыт, и мы, заглянув во двор Бендлерблока, где по приказу Фромма были расстреляны Штауффенберг, Ольбрихт, полковник Квиринхейм и обер-лейтенант Хертен, перешли улицу и спросили владельца газетно-табачного киоска, знает ли он, кто такой Штауффенберг. Киоскер знал, что Штауффенберг «чуть не убил Гитлера», что он работал в здании напротив и был «самым главным» среди заговорщиков. Но и киоскер не имел ни малейшего представления ни о генерал-полковнике Беке, которого пристрелили в Бендлерблоке, ни о генерал-полковнике Фромме, расстрелянном нацистами спустя несколько месяцев.

Мы пошли дальше, разговаривая как о слабости человеческой памяти, так и о туманности истории заговора 20 июля, которая представляется западногерманским и вообще западным историкам в странном свете и преподносится нынешнему поколению западных немцев так же странно — больше эмоционально, чем объективно. Еще в Плётцензее мы обратили внимание на некоторую односторонность изображения истории борьбы самих немцев против гитлеровского режима или, как здесь любят выражаться, «германского сопротивления». По решению сената Западного Берлина у кирпичного сарая, где осуществлялись казни, сооружена большая толстая стена с надписью: «Жертвам гитлеровской диктатуры в 1933—1945 годы», но «мемориал» в значительной мере посвящен участникам заговора 20 июля, хотя из 1 800 человек, казненных там, лишь 89 принимали участие в этом заговоре или имели какое-то отношение к нему. Участники заговора окружены ореолом романтического героизма, их патриотизм, самопожертвование и готовность служить Германии подчеркнуты особенно ярко. Их преподносят так, что недостаточно сведущие люди могут принять их за само воплощение «германского сопротивления», хотя это мало согласуется с исторической действительностью.

Даже теперь, тридцать лет спустя, когда о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года написано много книг на разных языках, этот заговор вызывает совершенно обоснованные и временами ожесточенные споры.

Авторы книг либо обходят вопрос, почему заговорщики целиком положились на бомбу, либо отвечают на него невнятно. Ведь заговорщики располагали большой силой, которую могли использовать, но не использовали для свержения или ликвидации Гитлера.

Известно, что гестапо арестовало за участие в заговоре или причастность к нему более 7 000 человек, в подавляющем большинстве своем генералов и офицеров. Были привлечены к ответственности, судимы и осуждены на казнь через расстрел, повешение или гильотинирование 4 980 человек, в том числе фельдмаршал Витцлебен (два других — Клюге и Роммель — были принуждены покончить с собой), несколько генерал-полковников, большое число генералов, возглавлявших оперативные службы высшего командования, армейские соединения и полицейские части. Ни один из них не обратился к подчиненным войскам с призывом поднять оружие против диктатора, ведущего Германию к гибели. Ни один из них — а все владели оружием — не применил его против гестапо, не оказал сопротивления. Они пускали его в ход только против... себя. Командующий парижским гарнизоном генерал Штюльпнагель, хладнокровно посылавший десятками на смерть французских заложников, покорно отправился в Берлин, чтобы держать ответ за кратковременный арест подручных Гиммлера в Париже. Штюльпнагель использовал свой пистолет, выстрелив в голову... себе и выбив оба глаза. Тяжелораненого и ослепшего, гестапо схватило его, спасло от смерти, чтобы затем вздернуть на виселице. Начальник штаба армейской группы «Центр» на германо-советском фронте генерал Тресков, узнав о провале покушения на Гитлера, немедленно вооружился гранатой и выехал... на передовые позиции. Выбрав удобное место, где ему не могли помешать, взорвал гранату у своей головы. Пустил пулю в себя генерал-квартирмейстер верховного командования генерал Вагнер. Его примеру последовали другие генералы и офицеры.

Поразительно также, что германские генералы и офицеры, привыкшие многое делать втайне от посторонних и умеющие хранить тайну, не очень заботились о том, чтобы гестапо и служба безопасности не

знали об их намерении убрать Гитлера. Почти все участники генерального заговора, как и все их шаги, были известны гестапо. Более того, как утверждает автор интересной, хотя и не очень объективной книги «Орден Мертвой головы» Хёне, заговорщики настойчиво пытались вовлечь в заговор главного жандарма третьей империи Гиммлера. Фельдмаршал Витцлебен дал согласие на свое участие в заговоре при условии, что в нем будет участвовать и... Гиммлер. Один из активных заговорщиков министр финансов Пруссии Попиц еще в августе 1943 года с ведома и согласия «гражданского руководителя» заговора Гёрделера пытался уговорить Гиммлера примкнуть к заговору и даже возглавить его. Гиммлер, по его собственному публичному признанию после разгрома заговорщиков, тут же донес об этой попытке Гитлеру, получив от того разрешение не арестовывать Попица, пока гестапо не доберется до остальных участников заговора. А Попиц, отпущенный Гиммлером подобру-поздорову, решил, что тот раздумывает над предложением заговорщиков, и попросил у фельдмаршала Витцлебена позволения назвать его при новой встрече с Гиммлером как главного руководителя заговора и будущего главнокомандующего вооруженными силами.

Генералы и офицеры-заговорщики, как известно, добивались не прекращения затеянной Гитлером разбойничьей войны, а лишь перемирия на Западе с непременным продолжением войны против Советского Союза. Они готовы были предложить союзникам отвести германские войска из стран Западной Европы к границам Германии при условии немедленного прекращения бомбардировок германских городов англо-американской авиацией. Они брались за подготовку «конструктивного мира в рамках Соединенных Штатов Европы». Но они хотели продолжения войны на Востоке, намереваясь удержать германскими войсками фронт по линии, идущей от устья Дуная через Карпаты и по реке Висле до Мемеля. Иными словами, соглашаясь очистить территории Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, заговорщики хотели сохранить на Востоке все, что гитлеровская армия — их армия — еще удерживала или рассчитывала удержать. Причем страх перед потерей еще удерживаемых чужих земель был столь велик, что даже за несколько дней до последнего покушения на Гитлера — 15 июля 1944 года — Гёрделер, «будущий рейхсканцлер», предложил группе ведущих заговорщиков полететь в Париж к фельдмаршалу Клюге и посоветовать ему немедленно заключить перемирие с союзниками на условии, что все германские войска будут тут же переброшены с западноевропейского фронта на германо-советский фронт. «Германские генералы,— пишет рассказавший об этом американский публицист и историк Уильям Ширер в своем большом исследовании «Подъем и падение третьей империи»,— кажется, не имели ни малейших сомнений в том, что британцы и американцы присоединятся к ним в войне против России, чтобы предотвратить, как они говорили, превращение Европы в большевистскую».

Генералы-заговорщики, как и их гражданские сподвижники, пытались поднять и удержать знамя порабощения и захватов, которое до тех пор нес с их активной помощью Гитлер и которое стало колебаться в его ослабевших руках. Они пытались претворить в жизнь то, что тайно уже вынашивали сами нацистские главари, искавшие контактов с представителями западных союзников в Европе. Видимо, не случайно «условия мира», которые заговорщики предлагали западным союзникам, совпадали с теми, что предложил еще в начале 1943 года эмиссар гиммлеровской службы безопасности принц Гогенлоэ представителю американского Управления стратегических служб — ОСС — в Европе Аллену Даллесу.

Политический фон, на котором развертывается действие короткой повести Ежи Путрамента «20 июля...», был очень сложен. Война, начатая гитлеровской Германией в 1939 году и шедшая первые четыре года с успехом для заносчивого и беспощадного агрессора, вступила в критическую стадию. На советско-германском фронте, где находились главные силы вермахта, они потерпели новое тяжелое поражение: в Белоруссии была разгромлена армейская группа «Центр», и германские генералы, офицеры, солдаты появились, наконец, на улицах Москвы, но не в роли кичливых победителей, какими они рисовали себя три года назад, а в качестве военнопленных. На открывшемся в июне 1944 года фронте в Западной Европе германские войска не смогли удержать высадившиеся англо-американские войска на полуострове Нормандия. Итальянская часть «оси Берлин — Рим» полностью отвалилась, и Гитлеру пришлось послать своих головорезов-парашютистов, чтобы вызволить из заключения «верного» и «надежного» союзника — Муссолини. И хотя третий рейх, расплывшийся, подобно масляному пятну, по карте Европы, еще владел континентом, неизбежность его поражения становилась все более ясной.

Германские генералы, понимавшие обстановку лучше, чем главари фашистской Германии, знали, что продолжение войны не принесет победы и что скоро всем им придется держать ответ перед державами-победительницами, перед всеми народами мира за разрушения, причиненные войной, за ее жертвы и за жестокости, которые были совершены германскими вооруженными силами и особенно отрядами эсэсовцев, действовавшими с их благословения.

Этот сложный политический фон не нарисован автором в его повести во всей полноте, хотя и проступает местами через канву драматического повествования достаточно ясно. После Сталинграда, как вспоминает главный герой повести полковник Штауффенберг, заметно выросло число офицеров, понявших провал преступной авантюры Гитлера, но готовых искать выход только путем сговора с западными союзниками. После битвы на Курской дуге их число еще

больше увеличилось, а поражение в Белоруссии летом 1944 года убедило, если не всех, то очень многих, что уже ничто не может спасти третий рейх от разгрома.

Германские генералы самозабвенно шли за Гитлером, разделяя его захватнические вожделения, верили, как и он, в превосходство германской расы и стремились навязать ее господство сначала народам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, а затем и всему миру. Они увидели в Гитлере «Сатану», как он представляется герою повести Ежи Путрамента «20 июля...» полковнику Штауффенбергу, лишь тогда, когда Красная Армия нанесла сокрушительный удар по гитлеровской военной машине, когда тучи поражения надвинулись на Германию со всех сторон.

Писатель показал, что под блестящими мундирами, украшенными крестами и медалями, бьются дряблые сердца, лишенные воли и мужества действовать даже во имя спасения Германии. С давних времен германский штаб прославлялся словоохотливыми историками и военными публицистами как непревзойденный образец четкой, безотказной военной машины, где талант сочетался с дисциплиной, смелая инициатива — с холодным расчетом. Но посмотрите, какими жалкими организаторами оказались ведущие представители германского генерального штаба, когда им пришлось взяться за подготовку военного переворота! Главный организатор заговора генерал-полковник Бек возглавлял генеральный штаб сухопутных сил до 1938 года. Фельдмаршал Витцлебен был одним из создателей гитлеровского вермахта, и Гитлер поручил именно ему командовать войсками, брошенными в мае 1940 года против Голландии, Бельгии, Франции. Генерал-полковник Гёппнер создавал вместе с Гудерианом танковые силы вермахта, и на него возлагался захват Москвы осенью 1941 года.

Обстановка беспомощности, нерешительности и безволия, нарисованная Ежи Путраментом, ни в какой мере не окарикатуривает действительного положения. Он даже не рассказывает всего. Историкам известно, что когда заговорщики получили сигнал о покушении на Гитлера, то генерал-полковник Бек и генерал Ольбрихт, вместо того чтобы немедленно приступить к выполнению плана — Штауффенберг справедливо считал, что удача или неудача заговора определится в первые два часа,— решили сначала пообедать, тем более что подошло время обеда. Они отправились в столовую, где не преминули выпить за удачное начало плана «Валькирии».

Вся тяжелая работа по подготовке заговора и покушения на Гитлера была осуществлена группой офицеров — родственников, друзей и хороших знакомых полковника Штауффенберга. Без труда и сопротивления они захватили власть в Вене и Париже, арестовав высших представителей гестапо и нацистской партии. В Берлине же все провалилось, как убедительно показывает автор, из-за нераспорядительности и растерянности организаторов заговора, хотя в их распоряжении были не только военные части, но и почти вся полиция Берлина, включая отряды криминальной полиции Главного управления имперской службы безопасности.

Центральное место в повести «20 июля...» занимает полковник Клаус граф Шенк фон Штауффенберг, как он официально именуется. Он был душою заговора и главным исполнителем. Автор рисует его самоотверженным, энергичным офицером-патриотом, который отдал Германии все — карьеру, семью, жизнь Временами Штауффенберг предстает перед читателями своего рода белой вороной среди германского офицерства. «Во всяком случае,— пишет автор,— еще в тот период, когда гитлеризм блистал победами, Штауффенберг ощущал свою обособленность от всеобщей радости, зазнайства и хвастовства. Любой акт дискриминации иных народов, любая несправедливость, причиненное другим горе пробуждали в нем отвращение, даже страх — далекий, смутный». Это не совсем соответствует исторической правде.

Насколько известно, Штауффенберг — член аристократической южногерманской семьи, увлекавшийся в юные годы как лошадьми и спортом, так и литературой и музыкой, но избравший военную карьеру, не был поклонником нацистов. Однако, окончив в 1936 году военную академию и став офицером генерального штаба, он включился в военные приготовления, а затем в войну со всей энергией, на какую был способен, и скоро проявил себя в Польше, а потом во Франции как способный, смелый, находчивый офицер штаба 6-й танковой дивизии, которой командовал генерал Гёппнер. Уже летом 1940 года он был переведен в штаб сухопутных сил, занятый подготовкой нападения на Советский Союз. И первые полтора года германо-советской войны Штауффенберг провел на оккупированных советских землях, где, в частности, пытался сколотить из советских военнопленных воинские части, которые предполагалось использовать на германо-советском фронте.

«Прозрение» Штауффенберга началось после первых поражений гитлеровской армии. «Зверства эсэсовцев в России,— пишет американский историк Уильям Ширер в вышеназванном исследовании,— не говоря уже о приказе Гитлера расстреливать большевистских комиссаров, открыли Штауффенбергу глаза на хозяина, которому он служил».

По словам историка, «катастрофа у Сталинграда» сокрушила Штауффенберга, он заболел и после болезни попросил перевести его в действующую армию. Его назначили начальником оперативного отдела штаба 10-й танковой дивизии, действовавшей в Тунисе. Там он подорвался на мине, лишившись левого глаза, правой руки и двух пальцев на левой руке. В конце сентября

Д. КРАМИНОВ
ЗАГОВОР 20 ИЮЛЯ И ЕГО УРОКИ

Штауффенберг в звании подполковника появился в штабе Общеармейского управления генерала Ольбрихта, где стал одним из главных и наиболее энергичных участников заговора. По рекомендации Гудериана, поддержанной Гиммлером, Штауффенберг, произведенный в полковники, был назначен начальником штаба армии резерва, что открыло ему доступ в расположение ставки Верховного командования вермахта (ОКВ), то есть к Гитлеру.

Ежи Путрамент, с последней повестью которого «20 июля..» советские читатели познакомились в «Иностранной литературе», прошел большой творческий путь. Сочетая литературное творчество с общественной деятельностью, Путрамент написал за послевоенные годы несколько романов, а также повестей, сборников рассказов, путевых очерков и статей на разные темы, которые принято называть эссе.

Советским читателям хорошо известны романы Путрамента «Действительность», «Сентябрь» и многие рассказы.

Насколько тепло рисует Путрамент в своих рассказах и романах участников антифашистской борьбы, настолько же беспощадно показывает душевную пустоту, переходящую порою в озверение, людей, которые подняли оружие против рабоче-крестьянской власти, против нового общественного строя.

Повестью «20 июля...» Ежи Путрамент продолжил антифашистскую тему, раскрыв душевное опустошение, на которое обрекает фашизм людей. Появление этой повести особенно своевременно, потому что в Западной Германии, да и в других западноевропейских странах, все отчетливее проявляется стремление пересмотреть недавнюю историю, лишить молодое поколение ясного представления о том, что произошло всего три десятилетия назад. Посвященная одному из драматических событий, повесть «20 июля...» напоминает всем, что уроки истории забывать нельзя.

Д. КРАМИНОВ

◆

Критика

Т. БАЛАШОВА

КТО НЕ УСТАЛ ОТ ИЗОБИЛИЯ...

Социальные контрасты во французском романе начала семидесятых

Легенду о процветающем капиталистическом обществе и беспечной «цивилизации досуга» искусство начало разрушать задолго до того, как запестрели антипотребительскими лозунгами стены Сорбонны, витрины магазинов, решетки Люксембургского сада и страницы левой прессы. Около двух десятилетий—от «325 000 франков» Р. Вайяна к «Нейлоновому веку» Э. Триоле, «Вещам» Ж. Перека, «Сторонникам изобилия» Веркора, «Супружеской жизни» Э. Базена, «Молодоженам» Ж.-Л. Кюртиса, «Внукам века» Х. Рошфор, «Хозяину» Ф. Нурисье, «Времени жить» А. Ремакля — создавался холодный паноптикум людей-автоматов, знающих лишь два слова: «заработать», «купить».

Беззастенчивую апологию свободного предпринимательства, которое якобы уравнивает шансы при движении «наверх», роман пытался остановить тревожными вопросами: а ради чего? Не умирает ли душа, добившаяся всего, что пожелала? Выразив откровенное отвращение к такой форме бытия, показав обществу его лицо, отупевшее в погоне за «овеществленным счастьем», роман к началу семидесятых годов, кажется, счел свой долг выполненным. Во всяком случае, перестал с той же настойчивостью, что и раньше, обличать потребительское отношение к миру. Во-первых, о рабской зависимости от Вещи теперь заговорили все — политики, социологи, сами предприниматели; искусство не могло и не хотело топтаться на месте. Во-вторых, в этой агрессивной атаке против потребительства стали пробиваться почти конформистские ноты: презрение (и со стороны хозяев, и со стороны «революционных» леваков) к борьбе пролетариата, отнюдь не исключившего из своих программ материальные требования; немое признание, будто изобилие действительно всем доступно, раз оно объявлено главным врагом. Искусству предстояло разрушить и эту легенду.

Подвергнуты сомнению были прежде всего фаталистические мотивировки неблагополучия, ощущаемого в обществе. Характерный пример — книга «Дикий кот» Мишеля Батая (1971). Кажется, «традиционная» ситуация некоммуникабельности поколений и как единственный выход — пальба из ружья. В финале юные герои осуществляют террористический акт, убивая главу правительства. Автора можно было бы представить апологетом террора, если бы развязке не предшествовали символические эпизоды, смысл которых абсолютно ясен: «старшие» сначала учат беспринципности, жестокости, а потом за это же карают. Вот девятнадцатилетняя Агата, подруга главной героини Франсуазы, кончает самоубийством из-за сексуальной распущенности отца; вот любимцу публики шансонье Красному Жюльену во время нападения полиции на университет оторвало гранатой руку; вот будущий президент хладнокровно расстреливает над морем чаек и дарит Франсуазе ружье, из которого вскоре получит смертельный заряд; вот взвод полицейских оцепляет мирный молодежный бивак, убив сначала залаявшего пса, потом — немого гитариста.

Вина общества проявлена беспощадно. Да и выстрел для Франсуазы — только средство спасти любимого от тюрьмы. Нажимая на курок, «она всем сердцем противится тому,

что делает». Энергичный, напряженный роман Мишеля Батая — гневный крик против общества, опирающегося на демагогию и насилие. Автор очень близок к тупику безысходности, но важное слово — о вине общества, о целенаправленном воспитании цинизма — он успел сказать.

Сквозь метафизические краски отчаяния проступают жесткие социальные штрихи и в романе Ж.-М. Леклезио «Великаны» (1973). Творчество Леклезио — явление незаурядное, стоящее как бы на грани нигилистического отрицания и пафоса утверждения. Манера Леклезио агрессивно нетрадиционна, но он противится разрушению языка и уничтожению образа; его взгляд на мир очень пессимистичен, но сквозь пелену отчаяния он пытается найти путь к «другим».

В таких произведениях Леклезио, как «Terra amata» (1967), «Книга бегств» (1969), «Война» (1970), торжествовала фатальная невозможность понять мир, убеждение, что при любых условиях человек обречен: «Станешь рыбой—смерть обернется сетью, станешь яблоком, смерть — ножом, станешь стеклом, смерть — камнем, станешь королем, смерть — революцией, станешь улиткой, смерть — каблуком, станешь материей, смерть — антиматерией...»

В романе «Великаны» автор, задавая все те же «проклятые» вопросы, уже пытается и ответить на них. Картина абсурдного мира проясняется, говорит Леклезио, если в ней разглядеть две противостоящие друг другу в буржуазном обществе группы: те, что правят, и те, кем правят. Писатель хочет явственно увидеть социальные срезы и с ненавистью отбрасывает подсунутую буржуазной социологией схему: виновата, мол, холодная логика научно-технического прогресса, виноваты вещи и машины, раздавившие человека. Леклезио угадывает за порабощающей машиной порабощающую волю, группу лиц, захотевших стать Хозяевами. «Раньше я думал, что все происходит случайно... Я думал, что мы свободны. Но ничего нет случайного... Это *они* пробивают брешь в вашей спине, чтобы туда вошла пустота... Это *они* живут в пугающих нас предметах... Вот их имена: Флешермэн, Кэмел, Дюпон, Ротшильд, Юнайтед Фрут, Жилетт... Из этих имен ежесекундно течет война — война, которую каждый ощущает внутри себя». Перечисляя названия крупных фирм и акционерных компаний, Леклезио создает образ стоглавого чудовища, планомерно «переделывающего» отношения между людьми, вливающего в них яд эгоизма, отчужденности.

По громко орущему, опоясанному рекламами торговому центру — Супергороду, Суперрынку — в толпе людей-автоматов неприкаянно бродят живые, легко ранимые существа: девушка по имени Транкилите (Спокойствие), механик, прозванный Машиной, подросток, притворившийся немым, чтобы уйти от слов, которых вокруг слишком много. В отличие от привычных героев французской прозы последних лет они вовсе не пресыщены жизнью, не устали от ее щедрот: трудом добывают себе пропитание и Немой, и Машина. Не сами предметы, не сами стены или звуки истязают людей (такая интонация была основной в романах Леклезио «Книга бегств» и «Война»); ими кто-то управляет, их кто-то специально громоздит друг на друга, чтобы убить человеческое в человеке.

К финалу эти «кто-то», эти «имена» начинают материализоваться: новоявленные садисты, выполняя приказ Хозяев, опутывают тело Транкилите электропроводами, чтобы выведать ее мысли, узнать, действительно ли ее любимый собирается поджечь Супергород; роботы в полицейской форме преследуют Немого; хитроумные доносчики вынуждают неразлучных подруг стрелять друг в друга. Мир оборачивается абсурдом, но по воле Хозяев: это они «раз и навсегда решили, что мир — проклят... Со своих дозорных вышек они смотрят, как вы ползаете по земле. Они проложили коридоры из колючей проволоки и наблюдают, как вы, подобно гусеницам, передвигаетесь по этим дорожкам...

Запершись в своих бункерах, тираны стараются населить мир только рабами. Они придумали желания и пути их удовлетворения. Они изобрели удовольствие, страх, бунт...

Язык Хозяев прошивает людей насквозь, а они его даже не слышат; он бьет их, ломает, убивает, не оставляя следов...» Автор верит, что царству Хозяев, царству имен, олицетворяющих финансовую мощь, должен прийти конец, что победят «живые». Но условием такой победы ему кажется наивно-непосредственный контакт на уровне ощущений; «сознание», «мысль» отнесены к категориям разобщающим; класс угнетенных, или рабов (как пишет Леклезио), обретает единство, только отбросив «жалкие выдумки вроде совести, выбора, проблемы смерти и абсурда... Я предлагаю вам просто убить мысль...

Сознание — пустышка, еще одна видимость, еще один грим...

Говорить надо ртом, руками, ногами, животом — тогда станешь свободным».

Автор явно зовет человечество к иллюзорной робинзонаде, потому что его пока отвращают те реальные пути объединения, которые предлагает современность. Но писатель увидел в капиталистическом обществе вместо безликого скопища машин, затирающих маленького человека, определенные классы, группы, вступившие в нравственное противоборство, он уже не хочет списывать на научно-технический прогресс язвы социального регресса. Все это — решения, подсказанные нашим временем. Ведь именно социальными причинами, а не буйством всесильной механизации порождена волна массовых увольнений, встревожившая Францию 1973—1974 годов, смерть целых предприятий, рост числа безработных. «Гарантии на труд!»—требовали многотысячные колонны демонстрантов, хорошо представляющих себе, как равнодушно отшвырнет их хваленое общество благоденствия на один из «островков нищеты» (неохотно регистрируемых статистикой), если они поте-

ряют возможность продавать свои руки.

Пресыщенность, убившая человеческое в человеке, и боязнь остаться безработным, не позволяющая другому человеку проявлять себя как полноценная личность,— этот контраст тоже из категории социальных, его не занесешь по ведомству издержек сверхтехники XX века.

Открывая причины общественного неблагополучия, которое многие объясняли фатальным прогрессом техники, спускаясь по социальной лестнице все ниже, писатели шли вдоль границы, где болезненно обнажены классовые срезы.

Не могло быть и речи, чтобы повторять мрачные картины «популистских» или даже «рабочих» романов предыдущих десятилетий. Тогда вопиющие социальные контрасты больше бросались в глаза. Сейчас они просачиваются сквозь видимость общей обеспеченности, обнаруживают себя реже и не столь наглядно. Их соседство с миром благополучия не просто подтверждает границу между социальными слоями, но прежде всего разрушает тот образ общества, который объективно складывался в многочисленных спорах о пользе и вреде потребления, если эти споры оставались на поверхности явления. На страницы французского романа пришли герои, которые сегодня, сейчас — среди чудес научно-технического прогресса — еще отчаянно бьются за элементарный материальный достаток. Пришли не для того, чтобы объявить свои заботы более важными, чем любые интеллектуальные дискуссии. Скорее для того, чтобы дать этим дискуссиям точное измерение, подбавив даже масла в огонь полемики; это ли не проблема — нищета в обществе, которое называет себя пресыщенным?

Едва ли случайно первый эпизод книги Робера Мерля «За стеклом» (1970) происходит в алжирском бидонвиле, рядом с Университетом. Именно здесь, в оледенелом бараке среди грязных, в три яруса нар, звенит первый в романе будильник. Именно здесь, на стройке, алжирцу Абделазизу приходится решать дилемму еще более страшную, чем те, что раздирают студенчество. Начальник стройки объявляет о предстоящем увольнении и предлагает Абделазизу самому выбрать из трех одного члена бригады, для которого пока остается место. Словно не слыша разъяснений, что дирекции было бы удобнее оставить его, Абделазиза, хорошо понимающего французский, юноша торопливо кладет на весы совести: Моктар или Юсеф? Юсеф или Моктар? Когда имя произнесено, тот, кому не повезло, гонится за Абделазизом с ножом.

Вот она — спущенная с метафизических небес на землю реальная проблема выбора. Не так-то легко тем, кто бунтует против духовного порабощения, найти язык взаимопонимания с чернорабочими, наживающими туберкулез из-за плохого питания. И все-таки мысль о тех, «других», тревожно звучит в романе Мерля и окрашивает студенческий протест уже в иные тона.

Не потому ли Давид Шульц, уверенный, будто «отказ стать орудием эксплуатации» немыслим без бойкота экзаменов, берется помочь Абделазизу получить аттестат? Встреча с миром, который далек и от культуры, и от пресловутого изобилия, заставила задуматься над тем, что является главным и для Университета: как обезвредить «отравленную пищу образования», не выбрасывая ее, как «превратить знания в оружие»? Одинаково опасен и фетиш «культуры», поднятой над классовой борьбой, и фетиш классовой борьбы, которой якобы не нужна культура, безразлична личность. Уже после выхода романа Р. Мерль вступил в полемику с Ж.-П. Сартром по этому больному вопросу — стоит ли интеллигенту отдавать свой голос той или иной партии, тому или иному союзу, если история движима классовой борьбой, а не благими намерениями отдельных людей? «Я голосую за коммунистов,— сказал Р. Мерль,— я голосую за Совместную Программу, так как не считаю ход истории фатальным».

Стянув в единый узел противоречия студенческой среды и конфликты алжирского бидонвиля, Робер Мерль коснулся очень болезненной для сегодняшней Франции проблемы — положения рабочих-иммигрантов.

По данным 1973 года, во Франции 4 миллиона рабочих, приехавших с разных континентов,— больше, чем в любом другом западноевропейском государстве, хотя страшный, противоестественный процесс возникновения контингента дешевых рабов затронул и многие другие страны Европы. Бесправие «чужих», согласных продавать свой труд за бесценок, усилено с осени 1972 года специальным «циркуляром Фонтане», который запрещает иностранцам оставаться во Франции с момента потери работы: иммигранты оказались в полной зависимости от каприза нанимателя. Требование равноправия для рабочих иных национальностей присутствует отныне во всех декларациях французских профсоюзов наряду с требованием гарантий занятости, повышения минимального заработка по низкооплачиваемым специальностям, условий для продолжения образования и т. д.

Если раньше этого болезненного вопроса литература касалась только изредка (Андре Стиль. «Последняя четверть часа», 1962; Клэр Этерелли. «Элиза, или Настоящая жизнь», 1967), то сегодня к нему подходит почти каждый писатель, решившийся говорить о контрастах современного общества.

«Махинация» — назвал свой первый роман журналист-правовед Жиль Массон (1973). На предприятии — рабочие двадцати национальностей: алжирцы, итальянцы, испанцы, португальцы, турки, тунисцы, жители Берега Слоновой Кости и Республики Мали. Новым рабовладельцам удалось организовать поставки дешевой рабочей силы, тайно переправляемой через границу: двести тысячи человеко-единиц контрабандного товара ежемесячно: «...анонимные пальцы и кисти... анонимные мускулы и мысли»...

Т. БАЛАШОВА
КТО НЕ УСТАЛ ОТ ИЗОБИЛИЯ...

Чтобы держать эту разнородную массу в подчинении, нужна четко работающая машина.

В книге Массона хозяева-концерны располагают разветвленной сетью помощников: практиков, провоцирующих убийства, аварии, драки, и «теоретиков», изучающих психологию рабочего. Именно последние советуют узаконить ряд хитростей, общая цель которых — изолировать единицы рабочего коллектива: «Каждый должен чувствовать себя совсем в одиночестве и верить, что, может быть, ему по стечению обстоятельств удастся добиться выгод, которых лишены другие». Одна из главных забот вновь созданного желтого синдиката «Свободный труд» — помешать закономерности, подмеченной психосоциологами: «У рабочих борьба за удовлетворение материальных требований ведет, как правило, к осознанию более глубоких причин солидарности. Первый уровень — ежедневная защита заработной платы — тесно связан со вторым: с политическим объединением за уничтожение власти капитала. Разрушить связь двух уровней — вот неотложная цель». Махинаторы-психологи горюют, кажется, только об одном: «Жаль, что не видно, о чем они (рабочие) думают», тогда было бы легче «помешать работе ума, подбросить какую-нибудь иллюзию, подтолкнуть поближе к тупикам, замаскировать тропинку к широкой дороге».

Медленно вызревают зерна сознательного протеста среди тех, кто привез сюда свои «анонимные мускулы и мысли». Сначала в ответ на все, как единственная защитная реакция — подобострастные улыбки; потом — кровавый самосуд над надсмотрщиком и наконец вступление на путь классовой борьбы. Алжирца Махлуфи назвали кандидатом в члены комитета профсоюза. Штрейкбрехеры лестными посулами и угрозами уговаривают его снять свою кандидатуру. Махлуфи надо превозмочь страх и чувство вины перед голодающей многодетной семьей. Решиться ему еще труднее, чем алжирцу Абделазизу: от выбора зависит, будут ли сыты его близкие завтра, не погибнут ли здесь, вдали от родины, и так уже истощенные дети. Вот что положено на весы, когда Махлуфи глухо произносит: «Я останусь кандидатом».

Жиль Массон убежден, что союзу эксплуатируемых нужна напряженная жизнь мысли, размышления о законах устройства общества, та «работа ума», которой хотят помешать Хозяева.

Но сама «работа ума» остается за границами книги, эмоционально насыщенные сцены заменяются рассказом о достигнутых результатах, сюжет динамичен лишь в тех главах, где всесоздана цепь иезуитских махинаций провокаторов.

В книге Массона, как и во многих других книгах последнего времени [1], повествующих о людях, обреченных пока на тяжелый физический труд, не найдена художественная мера соотношения между индивидуальным характером и общим абрисом класса, группы. Автор как бы боится ограничить себя рисунком одного сознания, он торопится, подобно социологу, сопоставить, соотнести, показать иные варианты мысли, чтобы обязательно выявить множественность социально-психологических позиций [1]. Видно, как изменилось лицо рабочего коллектива по сравнению с художественными произведениями 30—50-х годов: вместо суровых обобщающих штрихов — калейдоскоп взаимоисключающих взглядов, разные критерии оценок, глубокие противоречия внутри единой социальной группы, узлы сплетения различных мотивов и целей.

Немало десятилетий трудился господствующий класс, подгоняя сознание труженика под удобные для себя схемы. Расовая ненависть — одна из наиболее древних, но еще безотказно срабатывает и сегодня.

Трагедии иноземца в улыбчиво-рекламном городе посвятил свою повесть «Двенадцатый маршрут» (1973) Раймон Жан.

Для духовных исканий французской интеллигенции судьба Раймона Жана примечательна уже сама по себе. Поэт, романист и критик, член ФКП, он в 1968 году порвал с компартией, обвинив ее в конформизме; вскоре вышла из печати его книга, свидетельствовавшая о глубоком идейном кризисе и сомнениях — «Две весны» (1971). Последующее движение истории убедило писателя, что он поторопился с безапелляционными оценками и обвинениями: Р. Жан просит восстановить его в рядах ФКП.

Повесть «Двенадцатый маршрут» — эмоционально сдержанное обвинение тем, кто громкими, пустыми словесами пытается заменить кропотливый труд по воспитанию классовой солидарности. Стилизованная под документ, очень экономная в лексическом рисунке характера и монтаже точно пригнанных друг к другу сцен, повесть Р. Жана блестяще подтверждает, что художественный принцип «показать все как в жизни» остается вполне действенным, хотя уже многократно доказал свои возможности роман-аллегория.

В «Двенадцатом маршруте» — как бы два полярно заряженных людских конгломерата. С одной стороны — рабочие-иммигранты. С другой — те, чье сознание давно, исподволь отравлено расовой ненавистью.

Алжирцу Мехди плохо в этом городе уже потому, что из мира откровенной нищеты, каким была его юность, он попал в мир, где нищета не в счет, словно это не беда, а только вина, вина того, кто беден. С холодным цинизмом «процветающее общество» печатает объявления: «В пригороде недорого сдается помещение. Можно использовать

---

[1] Об этом пишет, например, Л. Токарев, рецензируя роман Бруно Барта «Согбенные спины, или Возвращение к рабству» в «Современной художественной литературе» № 2, 1974.

[1] Социологические исследования, проведенные во Франции за последние годы, фиксировали именно пестроту, неоднозначность структурных элементов, объединяемых понятием «рабочий класс». См., например Жак Фремонтье. «Рабочая крепость: «Рено» в «Иностранной литературе» № 6, 1974.

для лошадей или рабочих-иммигрантов». В одном из таких помещений ночует Мехди. Ему повезло: в каморке с земляным полом и цементными стенами их всего трое, каждая циновка соответствовала постели — «во всяком случае месту, где спят». Но на стене кое-где календарь или открытка: спокойная гладь воды, отлично одетый беззаботный любитель-рыболов или белоснежные коттеджи под пальмами. А когда Мехди возвращается со стройки — не просто усталый, а «сама усталость с головы до пят» («...усталость привычная... по-хозяйски распоряжающаяся телом: раздирая плоть, вытягивая кости, свинцом наливая руки и узлом скручивая мышцы»),— за окном автобуса тоже мелькают рекламы: изнеженная дама в роскошном голубом пеньюаре приглашает вместе с ней натянуть на изящную ножку тончайший чулок... Бокалы с искристым вином, кусочком льда, апельсиновой долькой... Смуглая спортсменка, взрезающая водными лыжами кружевную пену. Два жизненных измерения. Рядом с рекламами возникают лица и глаза — такие же чужие: они скользят по тебе не замечая, для них твоей трагедии просто не существует.

Проступок Мехди столь невинен, что, будь на его месте француз, не произошло бы «события», не родилась бы книга. Кто придал бы значение дважды обращенной к водителю вежливой просьбе: «Вы не могли бы открыть дверь и выпустить меня?» — автобус затерт в уличной пробке, тротуар рядом. Но если нарушить правила просит алжирец, обязательно вырвется наружу то, что внушали французу веками. Грубый окрик шофера: «Арабам вообще надо пешком ходить!», нечаянный удар в буфер соседней машины — вот и достаточно материала для судебного дела: «Нарушение правил уличного движения».

Автор ничего не утрирует: и пассажиры вступились за Мехди, и суд идет по всем правилам, и хорошенькая блондинка-адвокат внимательна к подопечному. Но контраст двух типов сознания, сформированных вековыми предрассудками, обнажен. Вставные новеллки о воскресном дне, проведенном судьей, товарищем прокурора и адвокатом, звучат как бы на иной волне: у каждого свои заботы, драме иноземца не переступить порога их дома.

Тихий Мехди готов к вероятности суда и приговора гораздо раньше, чем разразился скандал. В нем — «усталость и смирение многих поколений», он приемлет как должное и пугливое движение юной матери, отодвинувшейся от него, и недовольный взгляд пассажира, читающего газету, и откровенно настойчивый немой вопрос в глазах ребенка: «Почему у этого дяди такая коричневая рука? Почему он так плохо одет и весь в пыли?» Чувствуя тупую ломоту во всем теле, Мехди не садится и тогда, когда освобождаются места. Он вовсе не «обдумывает», стоит ли сесть, он помимо своей воли, подсознательно давно готов к тому, что лучше постоять: «Как если бы какие-то смутные правила приличия научили его не располагаться для отдыха на людях, не позволять своему телу принять то удобное положение, которое естественно для других пассажиров; большинство из них в этот момент наслаждаются отдыхом спокойно, почти «растительно», как законным правом... Но это не совсем его право».

Предрассудки той, другой стороны очень сильны — и в страхе родителей, дети которых идут в школу вдоль стройки, где работают цветные; и в самоуверенности шофера, знающего, что собственную неаккуратность легче списать за счет алжирца.

Чтобы изменить соотношение двух контрастных психологических состояний, требуется тактичная, почти ювелирная работа по дружелюбному сближению.

Такую крепость не возьмешь с ходу, а тем более «с крику». Анархо-революционный крик может тут только повредить. Недаром Раймон Жан среди виновников углубления национальной розни помещает фигуру энергичной адвокатесы. Высокомерно отказавшись от деловой защиты, которая могла бы вообще закрыть это смехотворно мелкое дело, она не к месту рассуждает с трибуны о фашистских методах расправы, о концентрационных лагерях и прогнившем обществе, которому место на свалке. Ее ассоциации судьи воспринимают как демагогию. Рассердившись, они удваивают первоначально названную сумму штрафа. А растерянные друзья Мехди, покоренные было отзывчивостью адвоката, уходят, оставив во Дворце правосудия всякую надежду когда-либо добиться истины.

Но кипучая деятельность молодой учительницы Зоры, оберегающей права своих земляков-алжирцев, предвещает торжество грядущих дней, когда исчезнет взаимонедоверие — и между нациями, и между социальными группами.

Резкие социальные контрасты, не отмененные прогрессом техники, обнажены и романом Роже Шатоне «С парадного входа» (1973). Здесь много размышляют — о смысле жизни и цене подвига, о долге и абсурдности однообразно-серого бытия. Размышляют те, кто к атрибутам научно-технического прогресса имеет особое отношение — все время производит их и реже других пользуется: рабочие заводов, строек.

Жизнь рабочего класса интересует Роже Шатоне давно. Но ни в «Железных арфах» (1961), ни в «Искрах» (1964), ни в «Мирте» (1968) писатель не ставил перед собой цели воссоздать многообразие, разнохарактерность жизненных и социальных позиций. Схема повествования в последнем романе художественно прямолинейна, но мысль автора, напротив, далека от прямолинейной схематичности, соотносится как раз с теми опытами исследования сложного подтекста классовых отношений, которые характерны сейчас для французского романа. Меньше всего виновата в злоключениях героев сама техника. В письме автору данной статьи Р. Шатоне поделился своей мечтой воссоз-

---

Т. БАЛАШОВА
КТО НЕ УСТАЛ ОТ ИЗОБИЛИЯ...

дать процесс становления личности именно современных условиях научно-технической революции: прогресс науки помогает «развитию всех возможностей человека... открывает самые широкие горизонты для самосознания, для проявления силы, разума... Конечно, отдельные страницы моих книг — только монолог автора, если мне не удается выразить мысль через факты, поступки героев, художественные ситуации. Это трудно — ведь проходишь немалый путь от интуитивного ощущения к логически оформленной мысли, а от нее — к художественному произведению... Перед лицом мира литература должна очень много размышлять, чтобы дать нашему восприятию вселенной такую же свежесть и новизну взгляда, которую приносят иногда математики, физики, все, кто причастен к чуду научного поиска».

Но чудо научного поиска и поэзия индустриального труда неизбежно теряют свою привлекательность в жесткой системе классовых антагонизмов.

В романе «С парадного входа» — несколько линий, каждая из которых могла бы быть стержнем напряженного конфликта: ностальгия юного рабочего по героическим временам Народного фронта и Сопротивления, о которых рассказывает 80-летний коммунист Корбан; взаимоотношения юноши со своими товарищами, бросающими завод ради работы в страховой компании, туристическом агентстве или ради мечты открыть собственный ресторанчик; полоса отчуждения, пролегающая между теми, кто ни дня не стоял у станка, и теми, кто ни разу не переступал порог Университета; наконец обособленность иностранных рабочих.

Главный герой — 18-летний Жорж Саба — стоит на той ступеньке, что обозначается буквами O. S.— ouvriers spécialisés: уже не разнорабочий, но еще и не квалифицированный рабочий. Его не обманут рекламы, плакаты и бодрые возгласы с телеэкрана: «Сегодня каждый юноша может побывать в Нью-Йорке». Он знает: «каждый может стать знаменитым и преуспеть, нужны только... положение, деньги и связи»; он помнит, что у старой Анны так и не хватило денег доехать до Парижа, города, освобождая который погиб в 1944 году ее муж.

Жизнь таких, как Саба, как Анна, как француз Термоли или португалец Абилио Аталайя,— «вся в послушании». Изматывающий ритм производства, профессиональная травма, опасения, как бы не выгнали с работы, если возьмешь бюллетень; любовь к девушке, которую боишься втянуть в ярмо нищеты; зависть к товарищам, что сумели «выскочить» из рабочего сословия, и одновременно глухое презрение к ним.

Писатель не кладет черных красок, не пытается обличить погоню за прибылью или «чистой» работой. Он хочет увидеть разные жизненные позиции как бы изнутри — глазами тех, кто опутан паутиной эксплуатации и тщится разными способами порвать ее. Иллюзорность «пути наверх» и невыносимость прозябания «внизу» — Жорж Саба ощущает это как тупую безысходность. Но сила его в умении и желании потребовать что-то от самого себя, в трезвой оценке собственного положения в системе эксплуатации. С легкой самоиронией объясняет он любимой причину травмы: «По неловкости. И по трусости». А в ответ на ее удивленный взгляд добавляет: плюешь на правила техники безопасности, потому что торопишься, хочешь быть на хорошем счету, боишься, как бы не попасть на заметку, в число нерасторопных. «Как часто я не решался сделать то, что надо, как часто я делал из услужливости лишнее. Мелочи, но в них — характер человека. Случалось мне улыбаться из лести. Да, конечно, вежливость... Но есть ведь нюанс между вежливостью и угодничеством. Иногда я говорил больше, чем надо; а иногда молчал, хотя требовалось говорить».

Жоржу Саба кажется, что все сразу станет на место, если наступит час подвига, если жизнь потребует от тебя закрыть телом амбразуру дота (в размышлениях героя этот подвиг приписан Зое Космодемьянской) или разбросать, рискуя встретить смерть, листовки. Это себя, свой характер надеется переломить он, когда рассчитывает за оставшиеся секунды столкнуть с железнодорожных путей тяжеленную балку. Ему чудится, что, спаси он поезд,— и вся жизнь завтра станет иной. В последний миг Саба «передает» право на подвиг товарищу, который физически крепче. Ни для Жоржа Саба, ни для Максима Агульпы, спасшего поезд, назавтра ничего не меняется. Правда, Агульпе вручают медаль, но в тот же день— по нелепому совпадению — вывозят на свалку вагончик, который он надеялся переоборудовать в ресторан.

Товарищи утешают Жоржа Саба: «Подумаешь, стать героем раз в жизни... Прекраснее другое: продолжать быть героем каждый день, каждый день, каждый день». А Саба в свою очередь внушает другим: петиция против расизма — хорошо, но иногда гораздо труднее разделить с арабом трапезу за давно немытым столом, преодолев брезгливость. «Если не найдешь в себе сил переступить эту грань, жизнь не изменится, несмотря на революции. Сколько надо терпения, чтобы разбудить людей... Чтобы причалить к берегам нового мира, долго приходится плыть, не видя земли».

Коммунист Корбан увидел эту землю давно. Но у каждого поколения свои безбрежные моря, свои не всегда точные компасы. С разных широт плывут герои к берегам человеческого достоинства и справедливости, с разными иллюзиями прощаются, разные грани переступают.

Алжирский бидонвиль в романе «За стеклом», школьный класс профтехучилища в повести Паскаля Лэне «Ирреволюция» (1971)[1], портреты соседей в новеллах и романе Андре Стиля «Кто» (1969), разные жизненные судьбы, запечатленные Раймоном Жаном, Жилем Массоном, Роже Шато-

[1] См. Л. Зонина. В поисках ка, «Вопросы литературы» № 8, 1972

не,— приметы нового подхода французского романа к изображению рабочей среды. Получила новое направление тема, привлекавшая внимание в «Пьеретте Амабль» Р. Вайяна и «Первом ударе» А. Стиля, «Гиблой слободе» и «Бунтарях» Ж.-П. Шаброля. Мощный мотив пролетарской солидарности, звучавший в эпических циклах 50-х годов, горькие интонации при разоблачении потребительского перерождения сознания, окрасившие прозу 60-х, теперь как бы остаются в подтексте. «Открытым» текстом идет напряженный анализ сложных процессов внутри рабочего класса.

Писатели видят, что социальное положение механически не обеспечивает революционного сознания; но одновременно они видят, что без опоры на пролетарскую солидарность все разговоры про обновление общества — пустая болтовня. Образ рабочего класса вырисовывается в романе 70-х годов с достаточной приближенностью к противоречивой реальности. Он далек от идеализации, на которую щедры леваки, твердящие, будто рабочие готовы взять власть немедленно; он далек и от неокапиталистической модели класса, якобы всем довольного, давно утратившего социальные идеалы.

Именно сейчас писатели с близкой дистанции рассматривают работу механизма психологического давления на «среднего» француза, ищут корни «конформизма», открывают законы вызревания подлинно пролетарской психологии. Сатирические портреты «сильных мира сего», как и героические образы уверенных в себе и правоте избранной цели борцов за социальное переустройство общества, на время ушли со страниц романа. Вполне вероятно, что сказалась обезличенность процесса эксплуатации; в развитом капиталистическом обществе, такие понятия, как «враг», «противник», «эксплуататор», теперь труднее соотнести с конкретной фигурой хозяина фабрики, завода. Есть, наверно, для этого художественного «равнодушия» и внутренние причины, связанные с эволюцией самого искусства: крайние полюса были резко выявлены французским романом раньше; ощущение коренных классовых размежеваний не исчезло, оно присутствует как подтекстовая доминанта в современной художественной прозе. Но искусство усложнило свою задачу. Ведь по обе стороны от главной черты, делящей буржуазное общество,— масса переходных состояний, ими и занята сегодня литература.

Иллюзии, уводящие к губительным берегам, рождаются ведь не только по личной слабости воли или расположению к легкой жизни; в том-то и дело, что их культивирует буржуазное общество, стараясь убить в зародыше революционный дух передового класса. В более ранних произведениях — Р. Вайяна, А. Стиля, А. Ремакля — «отступничество» казалось порой действительно случайным: слабый духом человек попадался в поставленную ловушку. Теперь писателям важно показать, как много таких ловушек порасставило общество и как нелегко обойти их стороной.

С тем бóльшей симпатией обращаются они к героям, ищущим свой собственный — не подсказанный окружением — путь: к темпераментной юной коммунистке Дениз Фаржо, «нищему студенту» Менестрелю, самоотверженному алжирцу Абделазизу (Р. Мерль. «За стеклом»), мечтающему о подвиге Жоржу Саба (Р. Шатоне. «С парадного входа») или шумным соседям-коммунарам (Ж.-П. Шаброль. «Пушка «Братство»[1]).

Интерес к социальным мотивам поведения отдельных людей и целых групп наложил определенный отпечаток на стилистику современного романа. Оставлено в стороне индивидуально-неповторимое, почти нет столь частых ранее внутренних монологов; велика роль документального факта и точно обозначенной сюжетной ситуации. Некоторые приметы этого поворота обозначались раньше: перейдя в яростную атаку на законы потребительства, роман жесткими детальными штрихами воссоздавал лишь одно психологическое состояние — надежду занять «достойное» место в обществе потребления. Теперь палитра богаче, социальных портретов предложено больше, идет исследование общественной психологии. Определенный отказ (вероятно, временный) от индивидуализированного рисунка — не обязательно схематизация.

Конечно, в искусстве становятся этапными только образы, выявляющие сразу и общие черты, и неповторимую индивидуальность. Ее в названных выше романах действительно нет. Это как бы иной уровень обобщения, когда социально значимое не отлилось еще в самобытный характер. Но это социально значимое не редуцировано, не схематизировано. Вот почему мы не найдем здесь застывших масок, социальные портреты щедро нюансированы — почти с той же тщательностью, с какой могла бы быть выполнена нюансировка характера.

Мы увидим, как расслоилась в 1968 году преподавательская среда, сколько вариаций «бунтарства» выявило студенчество, какое тугое сплетение революционных традиций и конформистских предрассудков обнаруживает подрастающее поколение пролетариата, сколько опасных иллюзий подсовывает жизнь рабочему, объятому мечтой «вырваться» из своего класса, как разнообразны пути к горизонтам социализма.

На основании этих и многих других книг последних лет французская критика заговорила о «возвращении к реализму». Не будем здесь уточнять, что художественный принцип «все, как в жизни» — не единственная форма реализма. Бесспорно, однако, что и роман, внешне почти традиционный, продемонстрировал свои новые возможности. И нет ничего предосудительного, если в этом русле пытается сейчас во Франции

[1] См. сокращенный перевод романа в журнале «Иностранная литература» № 11—12, 1972 г.

Т. БАЛАШОВА

КТО НЕ УСТАЛ ОТ ИЗОБИЛИЯ...

проложить себе дорогу, как пишет Р. Шатоне, «истинный реализм, социалистический реализм, реализм нашего времени, используя мощный арсенал логических размышлений и критических наблюдений». Склонность к воссозданию современности «в формах самой жизни» писатели мотивировали желанием внимательнее всмотреться в загадочную действительность, которая принесла столько неожиданного на этих исторических рубежах. Определенного изменения голоса требовал и сам герой: его размышления не выходят, как правило, к метафизическим сферам, проблема выбора для него мучительна и конкретна, как для алжирца Абделазиза у Мерля. Ясно, однако, что новый ракурс видения мира дает о себе знать и в книгах, как будто точно фиксирующих этот мир. Можно ли назвать анахроничным, например, роман Робера Мерля, воссоздавший головокружительный калейдоскоп мотивов социального протеста, быструю смену сцен и портретов, заснятых словно при мгновенной вспышке магния? Легко ли применить слово «традиционный» к нервно сжатой, как пружина, повести Раймона Жана, где самый лаконизм, подчеркнуто правильная форма коротких фраз и внешняя безэмоциональность героя заставляют мысль читателя шаг за шагом пробиваться к ясности. Многие из этих романов не слишком «современны» по внешним одеждам и не претендуют на броскую актуальность, предпочитая изображать как бы «продолжающиеся» конфликты, сквозные для ряда лет. Если, например, окинуть взором художественную прозу Франции последнего времени, покажется, что самой «актуальной» тематикой безраздельно завладели иные литераторы, чью реакцию на пронесшиеся общественные бури конца 60-х никак нельзя назвать прогрессивной.

Нередко «актуальные» книги попросту спекулировали на страхе обывателя перед широкой волной протеста. И впрямь, как соблазнительно назвать хулиганские выходки экстремистов революцией и окончательно отбить к «революции» вкус. Этому соблазну поддались не только давние поборники порядка (Р. Гари), но и часть романистов, долго называвших себя демократами — например, Жан Ко, чьи симпатии к правым прорвались впервые на завершающем рубеже борьбы за независимость Алжира, Жан Дютур, Морис Клавель. Жан Ко объявил, что именно стремление людей объединиться свидетельствует о господстве «времени рабов» (эссе «Время рабов», 1971). Морис Клавель сочинил роман-пасквиль, где безнаказанно резвится банда юных дикарей («Урон и грохот», 1971), а в новой серии эссе уточнил: чувство отчуждения возникает чаще всего из-за желания включиться в общую борьбу. («Битва — от Сопротивления к Революции», 1972). Жан Дютур [1] выбросил на книжный рынок книгу сказок про длинноволосого Мальчика с пальчик, внимающего демагогическим словесам мятежника Людоеда, и про развязного Ягненка, прорицающего «конец эры Волков и светлое блеющее завтра» («Конец эры Волков», 1971). Эти книги, «откликаясь» на современность, саркастически высмеивали тревожные вопросы, которые лихорадили французское общество.

Другим литераторам показалось своевременным использовать накал общественной борьбы для анархистского разрушения слова. Лозунги «нового пролетарского текста», «революционного письма», брошенные журналом «Тель кель», громоздились на пути серьезного осмысления общественных ситуаций — их революционных и контрреволюционных тенденций. Пестрит словами «революция», «оратор», «трудящиеся массы», «пролетариат», «стачка» и т. п. «Бомбово-дородный роман» Ф. Соллерса (1973), но к революционному обновлению литературы это не имеет никакого отношения, не случайно Ролан Барт, восхищаясь книгой Соллерса, заключил, что она «вершит суд над... грамматической фразой».

Грубая апология всего, что стреляет, взрывается, испускает воинственные крики,— вот чем оборачивалась не раз «актуальность» того или иного произведения.

Многие книги, «современные» по гриму, были абсолютно несовременными по сути: читатель 70-х годов хотел размышлять и анализировать, хотел понять, что же можно противопоставить ненавистному «обществу потребления».

Навстречу размышляющему читателю всегда шла реалистическая литература, углубляя социальный рисунок, обостряя интерес к разным социальным позициям и решениям. Свою лепту в приобщение читателя к реальным сложностям жизни внес сегодня роман, обративший взор к нижним ступеням социальной лестницы, запечатлевший «старые» язвы расизма и нищеты среди чудес нейлонового века. Кажется, совсем недавно — в середине 60-х годов — парижская пресса констатировала, что 99 процентов французских писателей пишут о самих себе, не решаясь касаться малознакомых сфер. Теперь такой баланс был бы неверен. Демократизация литературного героя, почти одновременно зафиксированная критикой разных стран, отчетлива и во Франции.

Внимательным взглядом художника как бы просматриваются все градации общественных настроений, тугие узлы гуманных намерений и предрассудков, недовольства буржуазным строем жизни и предвзятых суждений о социализме, жажды действовать и неумения приложить свою энергию. Искусство говорит голосом эпохи, когда касается причин и следствий, позволяет увидеть истоки иллюзий и горизонты целей, когда хочет помочь современникам решать самые трудные проблемы своего времени. Французский роман семидесятых не ушел от этой задачи.

◆

[1] См. «Иностранную литературу» № 3, 1972 г.

Критика

Д. ЗАТОНСКИЙ

ШЕКСПИР, СТРИНДБЕРГ, ДЮРРЕНМАТТ — И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Восемнадцатого сентября 1968 года мне довелось побывать на премьере в Базельском театре. Ставили «Короля Иоанна», автор — Вильям Шекспир, «соавтор» — Фридрих Дюрренматт, постановщик — Вернер Дюггелин.

Этот спектакль имеет свою историю. Сначала было намерение просто осуществить шекспировскую постановку: проблематика «Короля Иоанна», как бы «моделирующего» механизм борьбы за власть между князьями, между князьями и церковью, заинтересовала режиссера. Но сама пьеса — перелицовка анонимной драматической хроники «Беспокойное царствование короля Иоанна» (1591), надо думать, более или менее наскоро выполненная Шекспиром,— никогда прежде не имела успеха по причине некоторой фрагментарности. Кому-то поручили подправить немецкий перевод. Но оказалось, что этого недостаточно. К работе был привлечен Дюрренматт. Он не столько работал у письменного стола, сколько вместе с актерами, проверяя каждую фразу на слух. Однажды в ходе работы — так мне рассказывали — Дюрренматта стали уговаривать вычеркнуть реплику, якобы не укладывавшуюся в «шекспировский контекст». Он согласился, иронически присовокупив:

— Жаль, ведь это были последние слова, которые здесь еще оставались от Шекспира.

Впрочем, таких эпизодов сравнительно немного. Первую половину шекспировской хроники Дюрренматт почти не тронул. Лишь вычеркнул двух-трех персонажей, сократил то, что казалось ему длиннотами, усилил некоторые акценты, заменил патетику стихотворных королевских тирад приземленной, даже грубоватой прозой. Вторая часть переделана основательней. Образ Бастарда — незаконнорожденного сына Ричарда Львиное Сердце, племянника, слуги и советчика короля Иоанна — переосмыслен: из английского патриота он превратился некоторым образом в гуманиста современного западного толка. Что Иоанн отравлен по приказу папского легата, Дюрренматт, в отличие от Шекспира, говорит прямо. Фактическая власть переходит (поскольку наследник еще младенец) в руки бесцветнейшего лорда Пембрука; а у Шекспира принц Генрих — уже юноша и с его восшествием на престол связаны определенные надежды. Наконец, мать Иоанна, королева Элеонора, не умирает, как в шекспировской хронике, естественной смертью: в отместку за гибель принца Артура она казнена французами.

Как видим, общий колорит дюрренматтовской перелицовки еще мрачнее шекспировского оригинала: и будущее выглядит вовсе уже проблематичным, и властители (светские и духовные) жестоки, бесчеловечны до предела. Но в то же время, по словам самого Дюрренматта, «драматическая хроника превратилась в параболу, в комедию политики, некой определенной политики».

Конечно, это не комедия в обычном смысле слова, хоть и встречаются в ней сцены комические, вернее, гротескные.

Дюрренматт, например, заставляет папского легата мерзнуть в до нитки обобранном королем аббатстве и кутаться в какие-то лохмотья. Более того, он сует в постель к легату Иоанна, явившегося с повинной и примирившегося с церковью. Они лежат, тесно прижавшись друг к другу и повизгивая от восторга. Однако это, пожалуй, единственный эпизод в дюрренматтовской обработке, рассчитанный на то, чтобы вызвать смех. Да и главное здесь — другое. «Цель Дюрренматта,— писал после премьеры рецензент из «Нойе цюрхер цайтунг»,— разоблачить великих мира сего во всей их человеческой слабости»; я бы сказал даже — ничтожестве. С этой целью нам показывают, как король Иоанн после битвы полощется в тазу, смывая кровь с волосатой груди, или как король Филипп и его дофин сидят в деревянных лоханях с намыленными головами.

Французский король и у Шекспира не выглядел — из-за своей нерешительности — образцовым властелином. А Дюрренматт обращает его в чиновника, склонного избегать прямой ответственности не столько как человек, сколько как бюрократ. Разрыв между индивидуальностью и социальной функцией особенно наглядно демонстрирует папский легат. Только что он в грубой холщовой рубахе, рваной и латаной, лежал с Иоанном в постели, и вот он стоит в полном кардинальском облачении, неподвижный, холодный, неприступный — статуя, пурпурное изваяние.

Многое из того, что у Шекспира рассказывалось действующими лицами, Дюрренматт сделал зримым, ввел в игру. Отброшены «подробности» — исторические, бытовые, психологические; уплотнено, сконденсировано и сценическое время. Стоит, например, австрийскому герцогу Леопольду покинуть сцену — ему не нравится, что Иоанн и Филипп договариваются о мире,— как уже сообщается, что войска австрийца куда-то вторглись. Королям, сидевшим за семейным пиршественным столом (ведь оба они — Плантагенеты), приходится начинать войну. Они уходят за кулисы — и тут же возвращаются. Ничто не изменилось: не было ни затемнения, ни занавеса, даже суп на столе не успел остыть. Иоанн хочет его отведать, поднимает крышку. Но в суповой миске лежит голова австрийца, брошенная туда Бастардом. Только голова эта да свежая кровь на фартуках свиты указывают, что в промежутке были сражения, стоившие обоим владыкам пятнадцати тысяч подданных...

Действие дюрренматтовского «Короля Иоанна» выглядит не только условным, но и намеренно схематичным. Как в шахматной игре. Ход конем, ладьей, королевой. Рокировка. И, наконец, мат Иоанну. Этому подчинена и постановка Дюггелина. Англичане — в красном, французы — в синем. Когда Бланка Кастильская становится женой дофина Людовика, а Изабелла Ангулемская — королевой Англии, они просто меняют цвета. Венценосные дамы лишены какого бы то ни было личностного «избытка», они — только роли сторонниц французской партии или партии английской. У Шекспира нет Изабеллы, и Дюрренматт, исключивший нескольких шекспировских персонажей, ввел ее, вероятно, лишь для того, чтобы, переставив их с Бланкой на шахматной доске, подчеркнуть: это — роли, социальные маски. Любопытно, что у Шекспира Бланка, став женой французского престолонаследника, отнюдь не «без остатка» вошла в свою новую роль. Прежние ее человеческие, родственные связи оказываются в конфликте с политической прагматикой. И когда начинается война, принцесса раздираема противоречивыми чувствами:

...Чью сторону принять?
Протянута одна моя рука
К одной из ратей, а к другой — другая.
Я схвачена, меня на части рвут.
Нет сил молиться о победе мужа,
Когда победа эта — гибель дяди,
Удачи не могу желать отцу
И разделять надежд любимой бабки.
Кто б верх ни одержал, мне пораженье
Уже сулит любой исход войны.

(Перевод Н. Рыковой)

Желанием приглушить индивидуальность, самодеятельность шекспировских характеров вызвано, по-видимому, и то, что Дюрренматт предпочел обойтись без Хьюберта де Бурга, которому Иоанн велел умертвить своего племянника Артура и который оказался не в силах поднять руку на невинного принца. В варианте дюрренматтовском его заменил анонимный палач. К тому же палача этого уговорил ослушаться королевского приказа не сам принц, воздействуя на чувства собеседника, а Бастард, приводя доводы разума.

Обезличиванию персонажей способствуют, как сказано, и их костюмы. Они не только не выражают человека (а лишь его принадлежность к той или иной партии), они не выражают и время действия, весьма отдаленно напоминая наряды XII столетия. В принципе они чем-то похожи на те, в которые Брехт одел действующих лиц «Кориолана», осуществляя постановку своей обработки этой шекспировской трагедии.

Столь же приблизительными были и скупые декорации базельского «Короля Иоанна». Место действия оформлялось по преимуществу за счет смены света и тени на заднике. Темнота надвигается, ложится тяжелыми пластами, пока не остается узкое, прямоугольное пятно света. Это — дверь. И вот мы в подземелье, где палач вскоре задушит старую королеву Элеонору.

Обработанная Дюрренматтом шекспировская хроника превратилась в притчу о власти, власти самоцельной и потому бессмысленной, чуть ли не иррациональной. Ибо королям и кардиналу лишь кажется, будто они разыгрывают очередную партию мировой политики, переставляют фигуры. В действительности и их самих тоже «переставляют»: ими правит *система*, людьми порожденная, но над ними возобладавшая, система, вырабатывающая законы, независимые от сознания людей.

Схематизм помог Дюрренматту высказаться в «Короле Иоанне» очень определен-

но. Но этот же схематизм обернулся и против него. В прежних его пьесах — комедиях «Ромул Великий» (1948—1956), «Ангел приходит в Вавилон» (1953) — сходная идея была обрамлена сложным контекстом мысли, а в «Визите старой дамы» (1955) она оформлялась в гораздо более конкретной социальной среде. «Король Иоанн» слишком дистиллирован. И может быть, именно вследствие этого становится особенно заметной уязвимость мировоззренческой позиции Дюрренматта. Великим мира сего и их «тотальной» системе никто не противостоит, кроме Бастарда, политическая программа которого неопределенна, а психологическая доминанта сомнительна. Однако уязвимость мировоззренческой концепции Дюрренматта, как мы увидим дальше, не только в этом.

После премьеры я спросил Дюрренматта, не кажется ли ему, что актер Маттиас Хабих сыграл эту роль не очень удачно: в первом эпизоде Бастард — «дитя природы», начиная же со второго — мудрый государственный муж, стремящийся к миру.

— А Бастард вовсе и не умен,— ответил Дюрренматт.— Просто он — аутсайдер, посторонний, лишь по случайности причастный к королевской игре. И потому он видит то, чего не видят люди, в ней заигранные. Это и есть его «разум» или, если угодно, здравый смысл. Поскольку соперник — малолетний принц Артур — попал в его руки, король полагает, что принца следует умертвить. Это — «raison d'Etat»[1]. Так поступили бы и с самим королем, попади он в руки французов. Но Бастард видит, что убийство Артура осложнит положение короля, что враги ждут этого «логичного» убийства, чтобы свалить Иоанна. И Бастард дает ему «нелогичный» совет...

Впрочем, не будем заниматься вопросом, зачем Дюрренматт взялся за обработку «Короля Иоанна» и улучшил ли при этом Шекспира. Важнее другое. Можно ли вообще оправдать — морально и эстетически — современные перелицовки классических сюжетов? Кандидат искусствоведения Леван Рондели полагает, что нельзя. Его заметка под названием «Надо ли защищать Дюрренматта?» («Огонек» № 6, 1974), написанная в тоне непривычно легковесном и непривычно неуважительном, направлена против дюрренматтовской травестии драмы Августа Стриндберга «Пляска смерти» — «Играем Стриндберга»[2].

В заметке этой, необоснованно обрушивающейся на автора сопроводительной статьи к публикации Н. Павлову, Дюрренматт выглядит плагиатором, работающим в манере авторов американских комиксов. Можно вспомнить, что такое же обвинение было выдвинуто против драматурга из ГДР Хайнера Мюллера (он «перелицевал» «Макбета») критиком Вольфгангом Харихом. На страницах журнала «Зинн унд форм», напечатавшего статью Хариха в дискуссионном порядке, дискуссия и правда развернулась. Она носила характер оживленный и весьма своеобразный: у Хариха не нашлось ни одного единомышленника — одни оппоненты.

В самом деле, обрабатывать чужие сюжеты и не ново, и не необычно. Некоторых прецедентов я уже вскользь коснулся: сам Шекспир, Брехт. Можно привести и другие примеры: античные трагики, многие елизаветинцы, все выдающиеся баснописцы, Гёте, Пушкин, а из наших современников — Ануй и Сартр. Правда, у каждой эпохи (а чем ближе к XX веку — и у каждого отдельного художника) имелись свои резоны, чтобы использовать общеизвестную историю или даже чужой литературный текст. Эсхил, Софокл, Еврипид, традицией поставленные в жесткую зависимость от мифологической фабульной схемы, и не знали иной возможности. Во времена Шекспира иная возможность уже существовала, но в целом к событийной канве относились как ко всеобщему достоянию: ведь ей самой значения не придавали, ценя лишь образное и смысловое ее наполнение. Брехт в этом смысле похож на Шекспира и елизаветинцев. Подобно им он почти не создавал оригинальных сюжетов, а, как правило, переделывал ранее созданные. Его «Святая Иоанна скотобоен» — пародия на шиллеровскую «Орлеанскую деву», «Видения Симоны Машар» — переложение для сцены повести Фейхтвангера «Симона» и одновременно ироническое переосмысление той же «Орлеанской девы», «Кавказский меловой круг» — «перелицовка» старой китайской легенды и т. д., и т. п.

Однако брехтовские побуждения от шекспировских отличаются. Шекспир кормился расхожими сюжетами почти машинально. Брехт сознательно шел наперекор сложившимся нормам и правилам — но шел не ради эпатажа, а в согласии со своей эстетической теорией.

По его мысли, зрителю надлежит не переживать увиденное, а вместе с драматургом, режиссером, актерами размышлять над ним. Однако на пути к такой цели может встать сюжет: соединятся ли влюбленные, найдет ли мать потерянного ребенка, узнает ли несчастный муж об измене ветреной жены,— все это волнует зрителя, отвлекает от сути изображаемого. Но вовсе отказаться от сюжета Брехт и не мог, и не хотел: лишь фабула (пусть и весьма аморфная) создает коллизии, реализующие идею произведения. Поэтому лучший, с его точки зрения, сюжет — или, по крайней мере, один из лучших — сюжет «чужой», даже тривиальный, даже заезженный.

У Дюрренматта нет на этот счет столь стройной теории. Да и занимается он обработкой пьес других драматургов отнюдь не так интенсивно, как то делал Брехт. Правда, в 1968/69 годах, сотрудничая с Базельским театром, он «перелицевал» «Короля Иоанна», «Пляску смерти» Стриндберга, а

[1] Государственные интересы *(франц.)*.
[2] Опубликована в «Иностранной литературе» № 4, 1973.

в следующем году — уже для цюрихской сцены — шекспировского «Тита Андроника». Говорил он и о намерении взяться за Лессинга, за его «Минну фон Барнхельм».

Не исключено, что на первую травестию Дюрренматта натолкнули люди из Базельского театра. Но то, что он был так или иначе к этому жанру предрасположен, свидетельствуют не только последовавшие за «Королем Иоанном» обработки. Ведь и в прежних дюрренматтовских пьесах — сочинениях в остальном вполне самостоятельных — не раз встречались сюжетные заимствования.

Конечно, Дюрренматт не разделяет брехтовской веры в необходимость и возможность изменить мир. Оттого причины, по которым он против театра, порождающего «кулинарные» эмоции, в большей мере эстетического, нежели идеологического, порядка. А все-таки сходство с Брехтом есть. События, происходящие на сцене, для обоих драматургов — не более как примеры, доводы в споре, самостоятельного значения не имеющие, ни о чем прямо не свидетельствующие. Они не столько выявляют человеческие характеры, сколько очуждают критикуемую действительность и провоцируют зрителя, побуждая занять по отношению к ней некую позицию.

Вот почему, имея намерение поговорить об одном очень, по-моему, примечательном явлении в зарубежной литературе XX века, я отталкиваюсь от такого «сомнительного» вида литературной деятельности, как обработка, «перелицовка», травестия заимствованного сюжета. Это — нечто вроде модели, на которой удобно проследить, так сказать, механизм действия рассматриваемого явления. И особенно удобная модель — обработки, «перелицовки» дюрренматтовские. Во-первых, потому, что они относятся к театру: ведь интересующее меня явление, хоть и не чуждо новейшему роману, наиболее явственно проглядывает сквозь современную социальную драму на Западе. Во-вторых же, дюрренматтовская художественная практика порой доводит присущую многим тенденцию до крайности, тем самым обнажая ее суть, ее причины, а в ряде случаев и спорные ее стороны.

■

«Реалистическое искусство на рубеже веков,— пишет Б. Сучков в своем эссе о Марселе Прусте,— заметно меняло и проблематику, и способы изображения жизни. Оно сохранило основной конфликт, свойственный предыдущим этапам развития, и попрежнему исследовало взаимоотношения личности и общества, анализируя объективные причины, порождающие их враждебность. Однако оно все больше внимания уделяло психологии героев, сосредоточиваясь на глубинном изображении внутреннего мира человека...» И чем ближе к середине XX столетия, тем больше появляется романов, где индивидуальное сознание персонажа — центр, точка, в которой скрещиваются все линии, все векторы — идейные и тематические, личностные и социальные. Вместо непосредственной панорамы общественного бытия читатель здесь имеет дело с «субъективной эпопеей». Ведь широта и значительность отображения жизни в подобном романе прямо пропорциональны не только разветвленности связей центрального героя с окружающим, но и интенсивности его мысли, сложности его чувств.

Однако почти одновременно с этой тенденцией в литературе Запада заявляет о себе другая, казалось бы, полностью противоположная.

«Я утверждаю,— писал еще в 1923 году Роберт Музиль,— что людоед, в младенческом возрасте попавший в Европу, вероятно, стал бы хорошим европейцем, а нежный Райнер Мария Рильке превратился бы в хорошего людоеда, если бы немилостивая к нам судьба маленьким ребенком забросила его к дикарям южных морей... Это, разумеется, не следует толковать в духе все прочее исключающей теории среды, но зависимость человека от влияний его окружения чрезвычайно велика. Лично я полагаю, что лишь малое число детерминант заключено в нем самом...»

Рост интереса к психологии героев не в последнюю очередь обусловлен постижением диалектики взаимодействия личности и общества, в частности пониманием того, что связь между индивидом и его окружением — связь двусторонняя, оставляющая простор для самодеятельности субъекта. А Музиль настаивает на весьма жесткой односторонней зависимости. В своем романе «Человек без свойств» (1930—1943) он ставит под сомнение самое возможность существования в современном ему мире человеческого характера: ведь сегодняшний индивид, находясь в полном подчинении у системы, оказывается, как пишет Музиль, «в равной мере способным и к людоедству, и к критике чистого разума...» В первом томе романа главный его герой Ульрих, являясь секретарем юбилейного комитета, готовящегося к семидесятилетию со дня восшествия на престол императора Франца-Иосифа, наблюдает бессмысленную суету вокруг этой акции. Он видит столкновение партийных интересов, чиновную рутину, мировоззренческий консерватизм, политическую наивность, административную беспомощность. Но видит лишь потому, что сам лишен «свойств», порожденных общественным положением, должностной ролью, кастовой маской, что он — аутсайдер, не вовлеченный в имперскую игру. Первый том «Человека без свойств» — это блестящая сатира, причем не только на старую Австро-Венгрию, а и на деградирующий буржуазный мир в целом. Однако в последующих томах (правда, частично написанных ранее первого) Музиль тщился противопоставить индивидуальную утопию брата и сестры — Ульриха и Агаты — духовному кризису целой системы. Они ищут выхода в новом отношении к действительности, новом ее восприятии, включающем право на кровосмесительную связь и на то, что автор называл «мистикой яви». При этом он не только сталкивает между собой, застав-

ляет между собой бороться взаимоперечеркивающие и взаимозаменяющие друг друга идеи. Он еще и дает — вступая в известное противоречие со своими собственными установками — обстоятельный, порою очень тонкий психологический анализ «иного состояния» героев. Однако личные их качества столь противоречивы, столь относительны, что не возникает ничего цельного; дело сводится к ощупыванию, взвешиванию отдельных признаков, черточек, микрочастиц сознания.

Получается, что Музиль олицетворяет два конца расходящихся ножниц литературного процесса: он изображает как человека полностью зависимого, так и абсолютно свободного. Но это потому, что в первом случае берет его в качестве функции общественных феноменов, а во втором — так сказать, в самом себе.

Иногда у нас психологизм тех или иных писателей Запада именуют «чрезмерным», имея при этом в виду, что они, дескать, слишком много внимания уделяют смене настроений, возникновению ассоциаций, извивам мысли. Однако если все это служит проникновению в образ, постижению его свободы и его необходимости, быть чрезмерным, излишним оно не может. Нередко то, что принимается за излишнее,— именно попытка взять человека лишь в самом себе.

«Взгляните вовнутрь,— писала Вирджиния Вулф,— и жизнь покажется вам совсем не такой. Возьмите самый обыкновенный ум в обыкновенный день. Он получает мириады впечатлений, банальных и причудливых, мимолетных и неизгладимых... Они сыплются градом со всех сторон, в нескончаемом потоке бесчисленных атомов. Из них-то и складывается жизнь в понедельник или во вторник... И стань писатель свободным человеком, а не рабом, пиши он не то, что должен, а то, что желает, следуй он своему чувству, а не неким условностям, не было бы ни фабулы, ни трагедий, ни комедий, ни любовных историй, ни стереотипных катастроф и, быть может, ни одной пуговицы, пришитой так, как этого хочется портным с Бонд-стрит».

Здесь нет и попытки понять, что, как и почему происходит с человеком «в понедельник или во вторник». Вулф не только удовлетворяется описанием, реестром, она видит в подобном «психологическом» или, еще точнее, «спиритуалистском» натурализме единственную возможность литературы. И персонажи Вулф — миссис Далловей из романа «К маяку» (1927), Сюзанна и Бернар из «Волн» (1931) — не типы и даже не субъекты, они — мимолетная рябь на «океане вечности».

Нечто похожее можно найти и у Натали Саррот. «Поскольку ныне,— читаем в ее эссе «Эра подозрений» (1956),— речь уже идет не о бесконечном продолжении списка литературных типов, а о том, чтобы показать сосуществование противоречивейших чувств и отразить в границах возможного богатство и сложность душевной жизни, писатель совершенно открыто говорит о себе самом». Саррот, как и Музиль, настаивает на распаде характера, но исходя из иных предпосылок. У Музиля личность, детерминированная социальной системой, во все большей степени утрачивает самодеятельность и потому как бы «сжимается»; у Саррот (да и у ее предшественницы Вирджинии Вулф) индивид, взятый вне какой бы то ни было внешней обусловленности, напротив, до беспредельности «расширяется», атомизируется, переходя в состояние почти газообразное.

Правда, у Алена Роб-Грийе — писателя, вместе с Саррот входящего в школу «нового романа»,— как будто намечается близость с Музилем. Французский исследователь Люсьен Гольдман рассматривает Роб-Грийе под знаком эволюции буржуазного общества. В своей книге «За социологию романа» (1964) он делит капитализм на три стадии: «либеральную», империалистическую и государственно-монополистическую. Каждой из стадий соответствует определенная ситуация индивида. Пока существовала свободная конкуренция, личность еще что-то значила, переход к империализму подавил ее, а сегодняшнее общественное состояние и вовсе лишило человеческой определенности. «Роб-Грийе,— пишет Гольдман,— выражает ту же (что и Саррот.— *Д. З.*) особенность современного общества, но в форме существенно новой. И для него исчезновение персонажа — самоочевидный факт, однако он констатирует, что персонаж этот уже замещен иной автономной реальностью, которая не интересует Натали Саррот,— вселенной, заполненной объектами».

Впрочем, как ни старался Гольдман сделать из Роб-Грийе социального писателя, это ему плохо удавалось. «Вселенная, заполненная объектами»,— никак не мир идеологических, политических столкновений, даже не его символ. Ведь вещи не детерминируют действующих лиц «Подсматривающего» (1955) или «Ревности» (1957), вещи их вытесняют.

Разумеется, выделить в чистом виде мотив, который побуждает данного писателя декларировать «исчезновение персонажа», не всегда легко. Такая декларация — крайность, а крайности, бывает, сходятся. Потому-то Музиль, рисующий интеллектуальную одиссею Ульриха и Агаты, выглядит похожим на Вирджинию Вулф, даже на Натали Саррот. Механика взаимодействия индивида и коллектива, личности и общества — особенно если имеешь дело с обществом, разрываемым антагонистическими противоречиями,— улавливается с трудом. И у многих западных художников XX века появляется искушение «снять» — по крайней мере временно, в целях экспериментальных — не дающуюся в руки связь. Тогда человек оказывается разделенным на «внутреннего» и «внешнего», то есть на многоликое, текучее психологическое «нечто» и на однозначную, застывшую социо-

---

Д. ЗАТОНСКИЙ
ШЕКСПИР, СТРИНДБЕРГ, ДЮРРЕНМАТТ — И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

логическую маску. Иными словами — на «личность» и «роль», между которыми отсутствует общность. Так это, например, выглядит в романе Макса Фриша «Пусть мое имя будет Гантенбайн» (1964), где повествователь — упомянутое психологическое «нечто» — говорит: «Я примеряю истории, как платье», и «каждая история — выдумка... каждое «я», высказывающее себя,— роль...» Фриш исследует только роли, Вулф или Саррот — только человека «внутреннего», Роб-Грийе — только вещи, объекты, как бы очерчивающие контур личности, то есть фактически не исследует ни роли, ни «внутреннего» человека, а Музиль — и то, и другое, и маску, и «нечто», за нею прячущееся...

Однако недостаточно просто уловить связь. Скажем, фрейдисты или юнгисты выводят социальное поведение и социальные институты непосредственно из свойств (чтоб не сказать — пороков) индивидуальной человеческой психики: извечных сексуальных комплексов, агрессивных инстинктов, «архетипа» сознания. И Музиль не любил Фрейда («...психоанализ,— писал он в сатирическом этюде «Эдип под угрозой»,— берет... захиревшего одиночку за руку и доказывает ему, что он должен обладать только мужеством и половыми железами»), не любил, как видим, прежде всего потому, что тот, интерпретируя социальную действительность, исходил из «личности», «одиночки». А Музиль исходил из социальной системы.

Из нее же исходит Дюрренматт. Читатель, вероятно, заметил известное сходство — может быть и не осознанное — в интерпретации великих мира сего в его обработке «Короля Иоанна» и в «Войне и мире» Толстого: король Филипп, дофин Людовик — в лоханях, с намыленными головами и Наполеон, довольно покряхтывающий в ванне, когда камердинер растирает его жирную спину. Толстой тщательнейшим образом изучал связь между человеком и его окружением. Он ближе всех своих предшественников подошел к осознанию диалектичности, двусторонности этой связи. И полагал, в частности, что, «чем менее наша деятельность связана с деятельностями других людей, тем она свободнее, и, наоборот, чем больше деятельность наша связана с другими людьми, тем она несвободнее». Отсюда, однако, писатель делал несколько метафизический вывод: власть— наиболее тесная связь с другими, а потому властитель — человек самый зависимый, несвободный. Почти ничто не вершится по его воле. И Толстой не желал видеть в императорах Наполеоне и Александре ничего, кроме «частных лиц», по капризу судьбы вознесенных на гребень исторической волны. Иное дело лица и правда частные. Следуя личным побуждениям, интересам, порывам, они у Толстого так или иначе создают жизнь общую, творят мировую историю.

Однако с начала XX века и личная жизнь европейца все чаще видится писателям в кругу зависимостей, несвободы. В романе Кафки «Замок» (он создавался в середине 10-х — начале 20-х годов) некто К., поселившись в деревенской гостинице и будучи подчиненным шефу Х-ой канцелярии Кламму, так рассуждает о новой своей ситуации: «Нигде прежде К. не наблюдал, чтобы служба и быт так тесно переплетались между собой, как здесь, так тесно, что порой могло показаться, будто они поменялись местами. Чего стоит, например, та до сих пор лишь формальная власть, которую имеет Кламм над службой К., в сравнении с реальной властью, которой обладает Кламм в его спальне».

Известно, что кафковское видение мира и человека искажено, мистифицировано его страхами, его отчаянием, его капитулящией перед «непостижимостью» законов сущего. Но одну по крайней мере сторону окружавшей писателя действительности видение это отражало более или менее точно. Речь идет о тотальной бюрократизации буржуазного общества и буржуазного государства, проникавшей во все сферы, включая самые интимные. Паутина непрямых зависимостей — экономических, политических, идеологических, даже культурных — опутывала индивид. Или он прилипал к системе, как муха к липучке, причем непонятным образом тем безнадежнее, чем больше, по собственному разумению, прилагал сил, чтобы освободиться (этот образ неоднократно встречается у Музиля). Никого, казалось бы, не интересовало, что человек думает; важным представлялось лишь, что он — мыслям своим вопреки — совершает по воле системы (с такой точки зрения и фатальный разрыв между личностью и ролью может рассматриваться как выражение некой реальности). Сверх того особь, отчужденная от социальных институтов, видела их монолитными и бессмысленными, ибо действовали они вроде бы в ничьих интересах.

Здесь реальность соседствует с мифом, но и миф по-своему информирует о состоянии пленника современной капиталистической цивилизации, о том давлении, какое оказывает на него система. И не удивительно, что результат давления воспринимался многими если не как утрата индивидуальности, то, во всяком случае, как снижение ее веса.

■

«Становится все очевиднее,— сказал Дюрренматт,— что носителями действия следует делать сами структуры человеческого сообщества», поскольку «отдельные люди уже недостаточно представительны». Это так или иначе навеяно структуралистскими теориями.

«Если экзистенциалисты,— пишет польский философ Тадеуш Ярошевский,— исходя из субъективности, отрицают диалектику индивидуального и общего в человеческой жизни, абсолютизируя cogito[1], то структуралисты, наоборот, трактуя язык, объективированные обычаи, распределение социальных ролей (наконец все, что входит

[1] Cogito — мыслю, здесь — разум (*лат.*).

в содержание понятия структуры) как первичное данное, отрицают эту диалектику, абсолютизируя социальный аспект».

Дюрренматт, однако, не мыслитель, а художник, и в творчестве его мы имеем дело не с абстрактными категориями, а с конкретными чувственными образами. Как правило, это обобщенно-гротескный образ механистического, обесчеловеченного позднекапиталистического бытия, не лишенный, даже в своей односторонности, известного сходства с реальным прототипом. Кроме того, это образ очуждающий, резко впечатляющий своим бескомпромиссным критицизмом. Дюрренматт отвергает буржуазные «структуры». Что, разумеется, не снимает вопрос о том, осознает ли он, как Брехт, всю сложность игры личных, партийных, классовых интересов, лежащих в их основе. С этим связана кардинальная проблема: можно ли и нужно ли революционно преобразовывать мир? Брехт, например, создавая притчевые, параболические структуры частнособственнического общества, делал это ради разрушения, разоблачения, хотя и знал, конечно, что такие структуры не первичны.

Дюрренматт говорит по поводу своей обработки «Короля Иоанна»: «...драматургию нельзя попросту сравнивать с шахматной игрой. В шахматной игре ходы каждой отдельной фигуры определены правилами, а в драматургии ходы отдельных фигур зависят от их характеров». В его драматургии это, правда, не всегда так. Но нет у него и пьесы, где хотя бы один персонаж не вел себя не по правилам, как Бастард в «Короле Иоанне». Например, в комедии «Ангел приходит в Вавилон» — это нищий Акки, который не желает расстаться со своей профессией, врасти в единообразие «совершенной державы» Навуходоносора; и держава перестает чувствовать себя совершенной. А в «Ромуле Великом» — это сам император, желающий погибели преступному Риму и ускоряющий ее тем, что ничего не предпринимает, чтобы помешать германскому князю Одоакру завоевать Италию. Даже в «Браке господина Миссисипи» (1952) — пьесе, приближающейся к опасной границе театра абсурда,— имеется сходный герой: граф Юбелоэ, современный Дон Кихот, не обладающий амбициями, не стремящийся к карьере, способный любить лишь смешной и бескорыстной любовью.

«Конечно,— пишет Дюрренматт,— кто видит бессмысленность, безнадежность этого мира, может прийти в отчаяние, но такое отчаяние не будет следствием этого мира, а ответом, который мы даем на этот мир, и другим ответом был бы отказ от отчаяния, решение противостоять этому миру, в котором мы нередко живем как Гулливер в стране великанов. Он тоже создает дистанцию, тоже отступает на шаг, чтобы рассмотреть своих противников, чтобы приготовиться к борьбе с ними. Нет! Все еще мыслимо изображать мужественных людей».

Казалось бы, этому выводу — человечному, даже оптимистическому при всем пессимизме предпосылок — противоречит то, что Дюрренматт сочиняет одни лишь гротескные, издевательские комедии. Не успокаивает и его объяснение, почему он их сочиняет: «Распад нашего столетия, пляшущего последний танец белой расы, не знает ни виновных, ни ответственных. Никто этому не споспешествовал, и никто этого не хотел... Это наше несчастье, а не вина: вина существует лишь как индивидуальный поступок, как религиозный выбор. Сегодня нам к лицу только комедия. Наш мир точно так же пришел к гротеску, как и к атомной бомбе... Однако гротеск — это лишь чувственное выражение, чувственный парадокс, образ безобразного, лицо безликого мира».

Конечно, история литературы учит, что гротеск гротеску рознь. К тому же здесь говорится о «нашем столетии» вообще, и это одно из уязвимых мест драматургии Дюрренматта, изображающего западный мир, но претендующего на всезначимость своих притч. И разве «наше столетие» не знает ни виновных, ни ответственных?

Даже «Визит старой дамы» — пьеса, в которой Клер Цаханесин, самая богатая женщина на свете, вынуждает жителей городка Гюллена за миллиард долларов убить своего земляка, лавочника Иля,— у Дюрренматта «трагическая *комедия*». Старая Цаханесинша не столько страшна, сколько комична благодаря своим протезам, своим покупным мужьям, своей неожиданной сентиментальности местечковой девчонки. Но ведь это действительно страшно, что мир отдан таким, как она, что они могут его купить, продать и растлить. Так почему же Дюрренматт не желает взглянуть на вещи серьезно?

И все-таки не из морального дальтонизма, не из неспособности отличить добро от зла. Главное у него — отсутствие уважения ко всей буржуазной системе, к тому миру, который так легко дает себя купить, продать и растлить, а может быть, и ощущение, что мир этот пережиточен, внутренне трухляв.

И еще одно. Дюрренматт не все свои пьесы нарекает «трагическими комедиями», но почти ко всем такое определение более или менее подходит. Во всяком случае, они не комедии в обычном значении слова. И дело не просто в их гротескности. Фриц Хойер, автор работы «Гротеск как категория поэтики: размышления о дюрренматтовской драматургии современного театра» (1973), отмечает, что в пьесах писателя «персонажи, взятые сами по себе, выступают как характеры, которые пытаются действовать в соответствии со своими намерениями, склонностями, надеждами, опасениями, и, рассматриваемые с этой точки зрения изолированно, могут быть трагическими фигурами; однако в гротескном столкновении с сюжетом, который, невзирая на их усилия, движется собственными путями, они превращаются в «случаи» и в фигуры «комические».

Взять хотя бы Иля. Благодаря своему дав-

Д. ЗАТОНСКИЙ
ШЕКСПИР, СТРИНДБЕРГ, ДЮРРЕНМАТТ — И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

нему знакомству с миллиардершей (когда-то он сделал юной Кларе Вешер ребенка, но не женился на ней, выбрав девицу с приданым) этот почтенный гюлленец предназначен согражданами в спасители обнищавшего города. И он добывает городу целый миллиард. Однако ценой собственной жизни. Жертва, хоть и против воли принесенная, поднимает его и правда чуть ли не на трагическую высоту. «...Страх и отчаяние,— писал Дюрренматт в комментарии к пьесе,— пробуждают в этом заурядном человеке нечто в высшей степени индивидуальное. Осознав свою вину, он начинает понимать, что такое справедливость; неизбежная гибель придает ему величие». Однако как гражданин, как представитель «полиса», он умирает лишь ради того, чтобы его компатриоты могли приобрести себе одинаковые желтые ботинки...

Так же примерно дело обстоит и с Клер. Она требует справедливости. Ведь измена Иля повлекла за собой ее превращение в проститутку, привела к смерти младенца; а то, что позднее на ней женился богач Цаханесин — случайная, не относящаяся к делу подробность. Однако в этом страшном и смешном мире справедливость нельзя получить. Ее можно только купить, кастрировав и ослепив коронных свидетелей, растлив целый город — словом, нанизав преступление на преступление. И возможным это — и преступление, и достигнутая через него справедливость — становится лишь за счет случайной, никак не относящейся к личности и ее правдоискательству «подробности» — деньгам покойного Цаханесина.

«Подобное повествование,— сказал Дюрренматт в примечании к другой своей пьесе, «Физики» (1961),— является гротеском, но оно не абсурдно (то есть не бессмысленно). Оно — парадоксально». И еще сказал он в том же примечании: «Повествование тогда додумано до конца, когда взят наихудший из возможных поворотов».

Мебиус, величайший физик своего времени, боясь, как бы его открытия не были использованы во враждебных человечеству целях, прячется в сумасшедший дом. За ним охотятся разведки, вокруг него совершаются убийства. Он и сам, чтобы сохранить свою тайну, убивает полюбившую его и им любимую женщину. Но все было напрасно. Открытиями Мебиуса завладела Матильда фон Цанц, директриса психиатрической клиники, единственный настоящий безумец в «Физиках», который не поколеблется взорвать земной шар. Это и есть в системе данного «повествования» «наихудший из возможных поворотов». По поводу одной из последних своих пьес Дюрренматт заметил: «Действительность есть невероятное, которое случается. «Портрет одной планеты» ставит зрителя лицом к лицу с невероятностью его существования». Этим и объясняется, почему Дюрренматт пишет детективные романы. И почему авантюрный элемент (убийства, прочие преступления, самые неожиданные сюжетные повороты) столь часто присутствует в его пьесах. Он не призван непосредственно выразить, скопировать действительность. Не вводится он, конечно, и с тем, чтобы смаковать жестокость. Его цель — пробить брешь в монолитной безликости системы, и тем самым сделать видимыми ее бесчеловечность, «невероятность». По Дюрренматту, лишь реализуясь в приключении, через непредвиденную случайность, человек выступает как человек, идет вразрез с социальной ролью, чем и дезавуирует роль.

Все, что в радиопьесе «Авария» (1956) и в одноименном рассказе произошло с генеральным представителем фирмы «Гефестон» Альфредом Трапсом в тот вечер, когда его новая машина неожиданно сломалась на улице глухого селения,— не более как лукавая выдумка Дюрренматта, да еще сочиненная с заранее намеченной целью. И цель — не удалившиеся на пенсию юристы, устраивающие ради развлечения шутовской суд над Трапсом, и даже не сам Трапс; цель — разоблачение Трапса. Но, чтобы разоблачить, такого Трапса надо застать врасплох, усыпить его чувство самосохранения неофициальностью действа, обильностью снеди, крепостью вин. И еще надо внушить ему, что подсидеть шефа, соблазнить его жену, сознательно довести его до инфаркта — преступление, расчетливое убийство, а не естественнейший способ делать в этом мире карьеру. Для этого, по Дюрренматту, надо создать условия искусственные, неожиданные, нетипичные, провоцирующие.

«Драмы Шиллера,— сказано у Дюрренматта в «Проблемах театра» (1954),— так же как и греческая трагедия, были возможны потому, что имели дело с видимым миром, с настоящими действиями государств. В искусстве изобразимо только то, что постижимо. А современное государство чувственно непостижимо, анонимно, бюрократично... Современный мир легче воссоздать через мелкого спекулянта, канцеляриста или полицейского, чем через бундесрат или через бундесканцлера».

■

Все это проясняет смысл и характер дюрренматтовской обработки «Пляски смерти» Августа Стриндберга. Прежде всего история капитана Эдгара и его жены Алисы для Дюрренматта примерно то же, что и история Альфреда Трапса: капля воды, в которой отражается, в которой легче может быть воссоздан окружающий его мир, чувственно непостижимый, анонимный, бюрократичный. Как бы подчеркивая это, писатель вкладывает в уста стриндберговского Курта следующую сентенцию: «Я заглянул в ваш маленький мирок. В большом мире, где я живу, все обстоит ничуть не хуже, только масштабы другие». Собственно, и у Стриндберга буржуазный брак выступал — показанный в окружении театральных эффектов и художественных метафор своего времени — как бы в функции зеркала буржуазного общества.

«Пляска смерти» — психологическая драма, построенная на столкновении сложнейших, противоречивейших человеческих чувств. Проведя долгие годы вдвоем — на

острове, в мрачной башне у самого моря, среди пушек и солдат крепостной батареи,— Алиса и Эдгар друг другу смертельно надоели. Сверх того, каждый из них еще и не оправдал надежд. Он — неудачник с тяжелым характером, испорченным унижениями нищенской юности, служебными разочарованиями, неудовлетворенными социальными амбициями. Она — несостоявшаяся актриса, живущая прошлыми, к тому же еще и сомнительными успехами. И они один другого возненавидели. Но это и не просто ненависть, она странным образом сочетается с любовью, вернее, время от времени переходит в какую-то болезненную любовь. Их души раздвоены, разорваны, в них сосуществуют противоположные порывы. Это лишает характеры героев определенности. Курт, кузен Алисы, после долгого перерыва вновь сталкивающийся с этим семейством, принимает то сторону Эдгара, то его жены. Даже после своего бурного романа с Алисой он не в силах разобраться, кто же из них прав, кто виноват. Да и к зрителю персонажи стриндберговской драмы поворачиваются столь разными сторонами, что невольно закрадывается сомнение: может быть, все не так и Эдгар лишь кажется несносным брюзгой и домашним деспотом, ведь после смерти его хвалят, о нем горюют? Человек, как бы внушает нам Стриндберг,— существо неоднозначное, изменчивое, в глубинах его сознания царит кромешная тьма.

В своей «перелицовке» Дюрренматт все спрямляет, снимает двусмысленность, как строительные леса, обнажает подчиненность действующих лиц господствующей социальной системе. Подобно обработке «Короля Иоанна», действие здесь уплотнено, доведено до хореографии шахматной партии.

«Пляска смерти» — довольно громоздкая драма в двух частях; «Play Strindberg» — предельно сконденсированная трагикомедия, или, по определению самого Дюрренматта, «комедия о буржуазной трагедии брака». Второстепенные действующие лица отправлены за кулисы, на подмостках остаются Эдгар, Алиса, Курт — извечный треугольник, но олицетворяющий жизнь общественную, не частную. Убраны и специфические реалии обстановки, все вообще декорации. Сцена освещена ровным, ярким светом. Но не столько потому, что, в отличие от Стриндберга, Дюрренматту вполне понятны его герои, а потому, что берет он их как «человеков внешних». Перед нами снова притча, парабола, тщательно выстроенная схема. По преимуществу этим, а не приверженностью некоему современному стилю объясняются и сокращения в тексте (подчас монолог сводится к короткой реплике), и деиллюзионистская, очуждающая форма спектакля (актеры сами объявляют эпизоды, вносят необходимый реквизит), и, наконец, заострение, даже известное огрубление образов и событий.

У Стриндберга Эдгар не присваивал казенные деньги, а его полковник не был взяточником, который, испугавшись разоблачений, добивается для Эдгара чина майора. Но так это выглядит у Дюрренматта. Курт, человек честный, превращается у него в международного авантюриста, нажившего миллионы. Юдифь — дочь Эдгара и Алисы — уже не благородная девушка; олицетворяющая стриндберговскую веру в будущее, а развратная девка... Все это тоже — «наихудшие из возможных поворотов», призванные посильнее разоблачить, побольнее ударить критикуемый мир. С той же целью Дюрренматт насыщает свой вариант гротесками. Стриндберговские Эдгар и Алиса жили, например, в здании, некогда служившем тюрьмой, и это романтический символ, сообщающий их существованию нечто демоническое. Дюрренматт поселяет своих Эдгара и Алису над действующей тюрьмой, что резко смещает картину в сторону какого-то безжалостного комизма. Он вообще снижает «высокие» стриндберговские образы, сообщая им привкус обыденности.

А все-таки Дюрренматт, конечно же, не взял абсолютно чуждое ему по духу произведение и просто насильственно приблизил к своим взглядам на мир и литературу. Эдгар говорит у Стриндберга: «Что такое жизнь человека, нечто серьезное или забавная комедия, этого я не могу понять». Такие представления свойственны, как мы уже знаем, и Дюрренматту. Интересно, что, придав стриндберговской пьесе некоторые новейшие стилевые черты, он одновременно вылущил то ее ядро, которое примыкает к искусству барокко, к восприятию мира как «вселенского театра».

Дюрренматта увлекла и «драматургическая идея» «Пляски смерти». Не думаю, что это следует понимать в смысле узкосюжетном, ибо сюжет здесь сам по себе стереотипен. Но не обыденно другое. «Пляска смерти» появилась в 1901 году, то есть в один год с «Будденброками» Томаса Манна. Однако в некоторых своих принципиальных моментах пьеса эта ближе к появившейся двадцатью тремя годами позже «Волшебной горе». Там и здесь осколок большого мира изолирован от окружающего и таким образом превращен в «модель» действительности. И в модели проглядывают, отражаются черты исторического бытия.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

«СМОЖЕТ ЛИ БРОДВЕЙ ШАГАТЬ ДАЛЬШЕ?»

Так озаглавил статью в журнале «Нью-Йорк таймс мэгэзин» известный американский театральный обозреватель Уолтер Керр. Он пишет:

> «Когда-то Бродвей был центром театрального мира. Теперь улица пуста. Вокруг — ни души. Если приложить ухо к земле, то слышен лишь бег метро... По-прежнему идут мюзиклы и шоу, но выдерживают они немного представлений. Последний сезон был крайне неудачен. «Старые времена» Гарольда Пинтера наделали шуму только в прессе. Возобновление «Деревенской красавицы» Клиффорда Одетса не имело смысла. Разрекламированные «Моды» Д. Фэз и «Личные жизни» Н. Коуарда прогорели. Не помогли громкие имена исполнителей...»

Слово «Бродвей» прочно срослось в сознании американцев, да и не только американцев, с понятием коммерческого театра, который приходит в упадок. Расчет на богатую публику, еще недавно предпочитавшую мюзиклы и безвредные мелодрамы, привел к односторонней ориентации бродвейского театра на развлечение, тесно связанное воспитанием политически, идейно безразличного человека. Сложился стереотип суждений о Бродвее: развлекательный театр. У. Керр подтверждает, что этот стереотип имеет под собой почву и ныне, в начале 70-х годов. Печать привыкла именно так расценивать искусство Бродвея. Неспособность бродвейского театра замечать серьезные общественные проблемы. реагировать на основные социальные и политические события, особенно после резкого подъема политической активности основной массы молодежи и студенчества в конце 60-х годов, сильно ударила по кассе.

Касса, этот главный барометр коммерческого театра, диктует сейчас новые темы. Критическое мироощущение и негативное отношение радикальной части молодой интеллигенции США к официальной потребительски-приобретательской психологии поколебали традиционную систему американских ценностей, казалось бы навсегда закрепленных в рядовом сознании. Начался поиск нового духовного содержания, который прошел мимо бродвейского театра. Консерватизм и культурный традиционализм Бродвея способствовали тому, что

> «этот великий белый путь театра перестал быть Бродвеем... Когда-то здесь ставили Элмера Райса, Сиднея Говарда, Роберта Шервуда, Филиппа Барри, Сиднея Кингсли, Лилиан Хеллман, Джорджа Келли, Марка Коннелли, Максуэлла Андерсона, Бена Хекта и Чарльза Макартура Сейчас их время ушло».

А приток новых драматургов невелик. Модернистские эксперименты не вызывают сочувствия. Сознавая, что мюзиклы и легковесные шоу не могут удовлетворить зрительский интерес, У.Керр замечает, что

> «пора, наконец, перестать болтать, что Бродвей ставит глупости («Глупости» — так называется один из последних мюзиклов.— **В. В.**). Бродвей... театральное движение, и мы должны его сохранить, а для этого его следует трансформировать».

«Раздевалка», с его точки зрения,— первый бодрящий укол больному организму. Пьеса Дэвида Стори посвящена регбистам. Раздевалка — место, куда приходят игроки в перерыв между игрой. Работа — вне игры — не приносит радости; семейная жизнь полна сложностей и трудна, удовольствия — минимальны. Двадцать два человека команды схожи только в одном — они бесконечно одиноки. Три часа после полудня они живут иначе, другим сводом законов, который признают и в который верят: на поле игроки не бывают одиноки. В раздевалку приносят они свои радости и огорчения, здесь поют непристойные песни, выслушивают оскорбления, с возмутительным бесстыдством выставляют напоказ голое тело. Измученные, с мокрыми полотенцами на шее, испытывая всеобщее ликование победы в финале, игроки борются за «чувство, которое в Америке давно потеряно и которое не так легко обрести,— за чувство человеческого достоинства»,— пишет в рецензии на спектакль обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс». Зов к человечности, душевной раскованности пронизывает спектакль. Но таких пьес немного

> «и совсем не многие из них делают сборы... Превосходная пьеса «Когда мы были чемпионами» (написанная Джейсон Миллер и удостоенная премий Пулитцера и нью-йоркских критиков.— В. В.) играется в малюсеньком театрике и неделями имеет почти полные сборы, что делает ей большую честь, поскольку эта одна из самых серьезных новых пьес ранее уже игралась на сцене «Паблик тиэтр», прежде чем перекочевала на бродвейские подмостки. Но ни один из новых немюзиклов не может этим похвастаться. Комедия Нела Саймона «Процветающие парни», которая, по идее, должна была бы иметь единодушный благожелательный прием, как любая комедия Саймона, по-видимому, уже не приносит прибыли и сходит на нет... Немногие пьесы в истории Бродвея заслужили столь восторженную оценку, как «Раздевалка», но и она, судя по всему, собирает лишь две трети зрительного зала».

Да, Бродвей теряет аудиторию, и даже талантливые пьесы, а они весьма редко появляются на его сцене, не могут остановить этот процесс.

Американцы явились, по выражению историка Юджина Дженовезе, «свидетелями массового упадка веры в идеалы, перспективы и нравственные ценности, ощущаемого во всех областях жизни, во всех классах и слоях населения». Многие из них находятся в состоянии смятения. Кризис традиционных ценностей привел к расслоению: одни стали проявлять повышенный интерес к политике и реальному участию в движении протеста; другие, наоборот, склоняются к конформизму и политической лояльности. Но общее ощущение порочности, «греховности» американской цивилизации породило тяготение к утверждению непреходящих ценностей. Возникло так называемое «новое сознание», обладание которым превратилось в социальную характеристику, престижный знак. Для преуспевающего мелкого буржуа, состоятельного чиновника, живущего в совершенно ином нравственном измерении, последствия вьетнамской войны сказались в необходимости приобщения к системе идеалов и ценностей, которая помогла бы им приспособиться к окружающему их бурлящему миру, несущему на себе печать тех переживаний, которые были связаны с антивоенным, антирасистским и молодежным движением последних лет. Нонконформистское поветрие получило широкое распространение среди людей различных политических взглядов. В этой атмосфере, естественно, не пользуется популярностью привычный бродвейский репертуар. Его «стабильность» привела к тому, что, по мнению У. Керра, «театральный Бродвей стал провинцией». Мюзиклы не привлекают публику, как прежде.

> «Маленькая ночная серенада» и «Ирен» (наиболее популярные мюзиклы.— В. В.) уже начинают выходить из моды. «Пиппин» — всплеск режиссерской фантазии — оказался пригоден только на один сезон, «Двое на качелях» (переделанная в мюзикл пьеса У. Гибсона.— В. В.) — удивительно добрый и забавный спектакль, сделанный на высоком профессиональном уровне и в другие времена наверняка ставший бы бродвейской сенсацией, должен вести борьбу за свою жизнь. Такова реальность: это похоже на медленный отлив... В чем же причина?»

Равновесие театральной жизни Бродвея оказалось нарушенным. Растущий интерес к проблемам социальной жизни, связанный с общественными событиями последнего десятилетия, не мог не отразиться на зрительских вкусах. Слишком долго Бродвей пытался не замечать перемен и существовать в стороне от современной духовной жизни Америки. Между тем симптомы «новой волны» можно проследить и на бродвейских подмостках. Популярная актриса американского театра и кино Дебби Рейнольдс имела недолго оглушительный успех в мюзикле «Ирен». Как признает У. Керр, спектакль быстро пошел на убыль. Но любопытно, что даже в увлечении этой знаменитостью — совершенно не соответствующей бродвейским стандартам — сказалась усталость от сексуальных вакханалий. Массовая аудитория в мюзиклах типа «Ирен» или «Маленькая ночная серенада» не всегда сознает отсутствие идеалов, необходимых человеческой душе, но тяга к утраченному покою, человечности и старым, забытым устоям проявляется в приверженности к символам, отображающим это тяготение. По У. Керру, все

оказывается гораздо проще. Объяснение тому, что люди перестали ходить в театр, он находит в мюзикле «Двое на качелях», где поется, что

> «публика не столько боится быть ограбленной на 46-й улице, сколько боится потом возвращаться домой на 76-ю или 94-ю улицу. Люди вообще предпочитают не выходить вечерами на улицу в Нью-Йорке. Это, конечно, легенда или... правда».

Гигантский рост преступности (особенно организованной) породил обстановку страха и террора в больших городах. Упадок морали привел к разгулу насилия и садизма.

Но это не основная причина потери Бродвеем зрительской аудитории, с этим нельзя связывать кризис бродвейского театра. Социально-политические события, захватившие протестующие слои американского общества, в том числе определенную часть либеральной интеллигенции, все больше получают отражение во внебродвейском театре.

Только внебродвейский театр, так называемый офф-Бродвей, дает выход радикальным настроениям и ощущениям, которыми вдохновлялась высокая драматургия. А именно в ней прежде всего и нуждается Бродвей.

Сознавая глубину антибродвейских настроений, У. Керр призывает сохранить бродвейский театр, в котором американский стиль жизни получил ценностное освящение:

> «Мы можем потерять улицу — похоже на то, что это уже произошло, но мы не можем, не должны утратить течение, именуемое «Бродвеем»... Оно необходимо для нашего благополучия, как и для благополучия офф-Бродвея, существующего прежде всего благодаря тому, что существует Бродвей... мы нуждаемся в бродвейском театре, в его независимости, разнообразии, профессионализме и даже в его коммерции».

Он не желает признавать, что разноликая «однообразность» привычного уклада бродвейской сцены и привела к разрыву театра со зрительской аудиторией. Как истый охранитель «упорядоченного мира буржуазной обыденщины», У. Керр чувствует опасность разрушения буржуазного сознания. В сложной, текучей, откровенной и скрытой жизни американского театра слишком явственно стали заметны попытки приобщиться к «волне духовного возрождения», слегка задевшей и бродвейские подмостки. Эти попытки рождаются в муках духовного протеста против официальных ценностей. Отсюда — противоречия в рассуждениях У. Керра; чтобы Бродвей мог сохраниться и шагнуть дальше, нужна инъекция серьезной, актуальной по теме драматургии, а ее больше всего опасается официальный американский театр.

В. ВУЛЬФ

ИЗНАНКА ПИСАТЕЛЬСКОГО РЕМЕСЛА

Теоретический орган французских коммунистов журнал «Нувель критик» поместил большую статью Катрин Клод под названием «Цена литературного труда и пути идеологии», посвященную анализу материального положения французских писателей. В статье автор пишет

> «...о неведении, в котором находится публика относительно их (писателей.— В. К.) положения: так как они его скрывают, никто не осмеливается рассказать правду о своем положении, потому что это может поставить под сомнение ценность их вклада в культуру. Статистические данные о продаже их произведений чаще всего завышены, они об этом знают, но молчат, утешая себя ложью, маскирующей их реальное положение. Они удовлетворяются тем, что их «уважают» и общество, не признающее их труд, льстит им».

Ситуация, в которой потерпевший предпочитает молчать, конечно, поддается раскрытию с большим трудом, но, когда речь идет о значительной социальной категории, как говорится, шила в мешке не утаишь.

Порожденное погоней за прибылью, капиталистическое расширенное воспроизводство сделало необходимым принципиально иное, чем в предыдущих общественных формациях, отношение к культуре и умственному труду. По мере того как капитализм исчерпывает экстенсивные факторы роста, связанные с распространением капиталистических отношений на новые отрасли народного хозяйства, он все больше ищет дополнительные возможности своего развития. Так область культуры с присущей ей тенденцией к безграничному росту и совершенствованию все чаще становится сферой деятельности «рыцарей» наживы. Многие виды интеллектуального труда, в частности художественное творчество, казалось принципиально несовместимые с системой буржуазных производственных отношений, втягиваются в орбиту капиталистического производства.

Подчинение культуры капиталом не могло не отразиться на положении ее творцов. Их существованию в качестве относительно обособленной социальной группы, весьма далекой от «сердцевины» общественных отношений, неизбежно должен был прийти конец. Их труд, как только это становится принципиально возможным, немедленно включается в систему капиталистической эксплуатации. При этом, отмечает журнал,

> «все литературное дело находится в частных руках. Читаются только те книги, которые прошли через руки издателя и сеть распределения и продажи, где действуют предприятия капиталистического типа, подчиненные, как и любое другое капиталистическое предприятие, закону прибыли. И здесь литературное произведение рассматривают просто как товар».

А значит, как и любой товар, литературное произведение требует покупателей. Поэтому появление профессиональных писателей во многом зависит от степени развития общественной потребности в литературе, от формирования обширного круга ее ценителей и почитателей, способных обеспечить устойчивый рынок сбыта литературной продукции. Образование такой читательской аудитории — дело сложное и длительное.

В свое время полукустарная организация литературного дела позволяла писателям сохранять относительную независимость перед лицом «сильных мира сего». Используя самые элементарные средства производства, писатели могут поставлять на рынок книгоиздателей готовые продукты своего труда. Среди творческой интеллигенции они в числе «последних могикан свободной профессии» — самостоятельные товаропроизводители, действующие в сфере духовного производства. Маркс в 4-м томе «Капитала», характеризуя те виды нематериального производства, продукты которых принимают форму пригодных для продажи товаров, пишет: «В большинстве случаев здесь дело ограничивается *переходной к капиталистическому производству формой,* заключающейся в том, что люди, занятые различными видами научного и художественного производства, ремесленники или же мастера своего дела, работают на совокупный торговый капитал книготорговцев,— отношение, не имеющее ничего общего с капиталистическим способом производства... и еще не подчиненное ему даже формально. То обстоятельство, что именно в этих переходных формах эксплуатация труда достигает наивысшей степени, нисколько не меняет существа дела» [1].

XX век принес с собой большие перемены в жизни писателей. Развитие образования, урбанизация, рост духовных запросов масс, интернационализация культуры неизмеримо расширили читательскую аудиторию. Читательские вкусы стали гораздо более дифференцированными, появилось невиданное ранее разнообразие запросов, предъявляемых к литературе. Сейчас она все активнее становится важным компонентом таких видов деятельности, как материальное производство или политика.

Но наиболее важный момент, с которым приходится считаться литературе, связан с широким распространением средств массовой коммуникации. Магистральная линия развития «индустрии культуры» связана с созданием современных производственных комплексов, продукция которых ориентирована на массового потребителя. Итальянский литературный критик Лунетта пишет на страницах теоретического органа ИКП журнала «Ринашита»:

> «Сегодня культурная индустрия больше не делает ставки преимущественно на доходы, источником которых является эксплуатация труда каждого отдельного писателя. Сегодня речь идет о создании производственной организации чисто промышленного типа с более или менее жесткой системой планирования, точными сроками и методами работы, где руководитель становится все более похож на чиновника, а интеллигент — на специалиста в той или иной области техники».

Писатель вынужден считаться с новой реальностью, в частности, потому, что работа на средства массовых коммуникаций открывает доступ к широкой аудитории и служит надежным источником дохода. Как утверждает английский писатель и литературовед Малькольм Брэдбери, автор книги «Социальный контекст английской литературы»:

> «написав одночасовую телевизионную пьесу, писатель нередко может заработать больше, чем если бы он написал роман: к тому же пьесу он напишет гораздо быстрее. Работа над книгами, по-видимому, привлекает лишь тех, кто чувствует потребность писать всерьез, следуя своему призванию».

По образцу (и под воздействием) «индустрии культуры» перестраивается издательское дело. Как и другие отрасли современного капиталистического производства, книжная индустрия переживает процесс концентрации и централизации капитала. Мелкие издательства поглощаются более крупными, независимые издательства, проводившие свою линию, имевшие свое «лицо» в национальной культуре, попадают под контроль издательских монополий. В издательском деле ФРГ, где львиная доля тиражей прихо-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. 1, стр. 420

дится на два крупнейших издательских объединения — «Шпрингер» и «Бертельсман»,— процесс монополизации зашел особенно далеко. Быстрыми темпами проводится капиталистическая реорганизация издательской деятельности в Италии, США, Англии. Концентрация издательского дела в сочетании с неусыпным контролем правительства за деятельностью средств массовой информации увеличивает зависимость писателя от работодателя, ухудшает соотношение сил на рынке литературной продукции. Даже получивший известность автор часто не в состоянии обеспечить себе приличный, по понятиям своей социальной среды, уровень дохода и потребления.

Как отметил журнал «Автор», в 1972 году менее одной трети английских писателей было занято исключительно литературным трудом. У половины английских писателей занятия литературой — не основная профессия. Чтобы заработать на жизнь и получить возможность заниматься писательским трудом, они преподают в школах и университетах, сотрудничают с прессой и TV, делают переводы... Писатели поступают на службу в промышленные компании, государственную администрацию, местные органы власти.

У них нет другого выхода. В 1972 году в Великобритании при среднем уровне заработка, превышающем 1500 фунтов в год, более половины английских писателей в качестве гонорара за свои книги получили менее одной трети этой суммы. В результате нужда порождает стремление обрести в академическом мире ту стабильность, которую не в состоянии обеспечить профессиональные занятия литературой. Начинается «бегство в науку».

Колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес, знакомый советскому читателю по роману «Сто лет одиночества», раскрывает причины бедственного положения писательской массы:

> «Все дело в том, что мы, писатели,— дойные коровы... На нас все наживаются. Вот сейчас я пишу новую книгу и не знаю, сколько людей будет кормиться ею. Работаю я, а кое-какие господа сидят в ожидании, пока я ее кончу, чтобы напечатать и сбыть ее, и книга, пройдя через их руки, продается втридорога. Девяносто процентов от стоимости книги распределяют между собой издатель, посредник и книготорговец. Остается десять процентов, из которых у тебя вычитают налоги, и еще тебе надо заплатить десять процентов от этой суммы своему торговому агенту».

Развитие литературного дела на частнопредпринимательской основе не в состоянии удовлетворить законное стремление писателей к достойной оплате их труда. Типичный контракт издателя с начинающим писателем составлен таким образом, что он, как правило, ставит писателя в полную зависимость от издателя.

В своей статье Катрин Клод приводит пример известного автора, в свое время за один из своих семи романов получившего «большую» литературную премию. За последние два года своим романом, критическими статьями, материалами для радио и телевидения он заработал 40 000 франков, в среднем по 20 000 франков в год, что приблизительно равно заработку квалифицированного рабочего. Причем его пример — счастливое исключение, поскольку лишь пять процентов французских писателей обеспечивают литературным трудом больше половины своих доходов.

С откровенным сарказмом Катрин Клод отмечает, что

> «первым условием для того, чтобы быть писателем, являются способности не к этой профессии, а к какой-то другой (или другим), которая могла бы прокормить того, кто ею занимается, в то же время предоставляя ему достаточно свободного времени для занятий писательским трудом».

Особенно сложно положение писателя в малых странах, поскольку его потенциальная аудитория весьма ограничена языковыми и национально-культурными барьерами. В этом случае судьба писателя целиком зависит от того, удастся ли ему получить широкую известность за пределами своей страны, удастся ли заработать себе международное реноме.

Еще хуже материальное положение драматургов или поэтов, ибо, по словам Катрин Клод,

> «на практике большинство поэтов вынуждено участвовать во всех — или в какой-то части — расходах по изданию».

Борьба писателей за достойные условия существования имеет давнюю историю, она самым тесным образом связана с выделением писательского труда в самостоятельный вид профессиональной деятельности. Катрин Клод напоминает, что первое общество драматургов было организовано Бомарше незадолго до Великой французской революции, 3 июля 1777 года. Первое объединение французских писателей, Общество литераторов, было создано 1 апреля 1839 года. Среди его основателей были Дюма-отец и Виктор Гюго. Вскоре президентом общества стал Бальзак, горячий сторонник идеи единства французских писателей. Автор статьи приводит пассаж из «Письма француз-

ским писателям XIX века» Бальзака, где тот обращается к своим коллегам по перу с призывом объединиться: «Наше спасение в собственных наших руках. Оно в понимании наших прав, в признании нами нашей силы. Следовательно, для всех нас чрезвычайно важно, чтобы мы объединились и образовали свое общество, как драматурги образовали свое».

В последние годы западные писатели активно ищут коллективные пути решения своих материальных проблем. Как заявил в беседе с корреспондентом журнала «Эспрессо» итальянский поэт Лео Паоланци, занимающий крупный пост в одном известном издательстве,

> «вчера писатель, чтобы сохранить свою свободу, обращался к издателям, работающим на кустарных началах, обращался к ним от своего лица. Сегодня этот индивидуальный путь становится бессмысленным. Сегодня писатель должен бороться вместе со своими коллегами, чтобы добиться автономии перед лицом власти».

Ближайшей задачей, на решение которой направлены коллективные усилия писателей, является улучшение их материального положения, обеспечение себе элементарных условий для творчества. Активизации писателей немало способствует осознание того факта, что в условиях современного капитализма литература находится в положении «бедной родственницы» по отношению ко многим другим видам интеллектуальной деятельности.

Катрин Клод замечает, что

> «писатели, которые в течение долгого времени находились под столь сильным влиянием господствующей идеологии, что считали себя в этом обществе привилегированными, начинают замечать, сколько презрения к ним и их труду скрыто за теми венками цветов, которые им охотно преподносят».

Бедственное материальное положение многих писателей становится особенно нетерпимым на фоне существенного повышения жизненного уровня широких масс, достигнутого ими в упорной борьбе. В частности, в послевоенный период многие категории трудовой интеллигенции сумели добиться от предпринимателей и буржуазного государства значительного увеличения оплаты труда. Это привело к росту «ножниц» в оплате писательского и других видов высококвалифицированного умственного труда. Создалась парадоксальная ситуация, которую испанский писатель Хуан Бенет характеризует следующим образом:

> «...насколько немыслимо, чтобы врач или художник должны были отправляться по утрам за пособием по бедности, настолько же невероятно, чтобы пишущему по книге в год писателю удавалось зарабатывать те полмиллиона песет, которые позволили бы ему вести достойное существование. (Автор отмечает, что гонорар испанского писателя за книгу редко превышает двадцать пять тысяч песет.— **В. К.**). В этом весь парадокс: из двух людей одного и того же возраста, работающих с одинаковым рвением и упорством одинаковое количество часов в день, тот, кто выбрал кисть, шпатель, ланцет, счетную машину или фотоаппарат, будет получать в десять раз больше, чем тот, кто выбрал перо и книгу».

На гребне рабочего и демократического движения конца 60-х годов были созданы новые национальные объединения литераторов, оживилась деятельность старых писательских организаций. Национальные союзы писателей, насчитывающие сотни, тысячи человек, все больше превращаются в организации профсоюзного типа, защищающие материальные интересы своих членов. Французский Союз писателей разработал довольно обширную программу деятельности по материальным вопросам жизни писателя. Его предложения касаются унификации условий профессиональной деятельности, официального признания за писателем статута «трудящегося», слияния гонорарных касс, развития кассы взаимопомощи, изменения правового режима в отношении литературной собственности.

В ответ на концентрацию издательского дела в руках монополий деятели культуры Италии, ФРГ, Канады, где этот процесс принял особенно угрожающий характер, создали независимые издательства на кооперативных началах. Создание кооперативных издательств продиктовано не только стремлением художников слова оградить себя от произвола издателей и книготорговцев, но и желанием способствовать широкому распространению подлинных произведений искусства.

Конечно, объединение не всегда дается легко. В собрате по перу писатель порой видит конкурента, а не товарища в борьбе. Для многих осознание своего реального положения в обществе, утрата иллюзий, маскирующих действительное положение вещей, представляет собой долгий и мучительный процесс. Наконец, развитие писательских организаций профессионального типа может способствовать усилению корпоративных элементов в сознании в том случае, когда интересы их членов рассматриваются

в отрыве от интересов всего общества. Такого рода тенденции отчетливо проявились во время обсуждения в писательской среде Англии и ФРГ проекта об отчислении части средств из фондов публичных библиотек в пользу писателей.

Обретение материальной независимости по отношению к власть имущим не есть частное дело самих писателей. Неопределенное материальное положение делает их более уязвимыми в условиях постоянного идейного нажима со стороны господствующего класса, влияет на сам характер литературного процесса. Катрин Клод подчеркивает, что

> «на карту поставлено нечто большее, чем их личная судьба. Речь идет не только о кричащей социальной несправедливости в отношении одной из категорий работников культуры.
>
> Французская литература, созданная в таких условиях, не может служить духовным выражением французской нации Вот почему эта проблема затрагивает всех».

Пониманием общественного значения затронутой проблемы объясняется растущий интерес к ней со стороны рабочего и демократического движения, что отражается на страницах прогрессивной печати. Со своей стороны писатели делают все от них зависящее, чтобы избежать печальной судьбы Люсьена Рюбампре или Мартина Идена.

В. КУВАЛДИН

ЗАКРЫТИЕ ЖУРНАЛА «ИНТЕЛЛЕКЧУЭЛ ДАЙДЖЕСТ»

Редакция журнала «Иностранная литература» получила письмо о закрытии американского журнала «Интеллекчуэл дайджест». В своих публикациях, порой весьма спорного характера, он затрагивал актуальные проблемы развития западного общества и его культуры, пытался по-своему найти ответы на вопросы, которые волнуют прежде всего западную интеллигенцию.

На страницах журнала «Америка» недавно не без гордости рассказывалось об этом печатном органе и его роли в жизни интеллектуальной Америки.

И тем не менее... журнала больше нет.

Ниже публикуется полный текст полученного нами сообщения.

Издательство «Зифф-Дэвис» уведомляет, что в июне выйдет последний номер журнала «Интеллекчуэл дайджест». В качестве причин, вызвавших закрытие журнала, издательство называет быстрый рост цен и снижение доходов от объявлений и рекламы.

Когда закрывается журнал, его издатель обычно выступает с кратким заявлением, подобным приведенному выше. Однако в данном случае руководство издательства «Зифф-Дэвис» считает необходимым высказаться более подробно.

Все, кто принимал решение о закрытии «Интеллекчуэл дайджест», сделали это против своей воли. Нам всем был понятен редакторский замысел, мы верили в способность журнала затронуть сердца множества людей и заставить их задуматься над идеями ведущих мыслителей и писателей современности.

Редакторы журнала по-настоящему верили в свою работу, предназначенную для сотен тысяч читателей. Эту веру чувствовали и читатели, которые в своих письмах доверительно обращались к редакторам, как к близким друзьям, и для которых сам журнал, кажется, уже перестал быть неодушевленным предметом.

Сотрудники журнала работали много и упорно. Эта работа была смыслом их жизни, а когда после особенно напряженного труда сдавался в печать очередной номер, все собирались вместе, чтобы в спокойной и дружеской обстановке отметить это за бутылкой вина.

Журнал типа «Интеллекчуэл дайджест» не оставляет читателя равнодушным. Он имеет свое лицо. И когда такой журнал прекращает свое существование, это равносильно потере близкого друга. А если учесть, что это был честный журнал, имевший свой характер, четко определенные цели, то эта потеря еще более ощутима.

Но невыносимое бремя почтовых расходов, увеличившихся недавно на 23 процента, цен на бумагу, увеличившихся на 21 процент, и намечающийся значительный рост типографских расходов привели нас к заключению о безнадежности экономического положения «Интеллекчуэл дайджест». Наше издательское дело переживает сейчас критический период. Многие прекрасные журналы будут не в состоянии вынести атаку в виде повышения почтовых и типографских расходов, а также роста цен на бу-

магу. Издатели интеллектуальных, религиозных, научно-популярных, сельскохозяйственных и множества других специальных журналов будут поставлены в очень трудное положение, и те средства общения, информации и воспитания, которые они нам давали, будут безвозвратно потеряны.

Джеймс Мэдисон сказал, что знание всегда будет править невежеством, и народ, желающий быть свободным, должен вооружиться той силой, что дает нам знание. Народное правительство без общедоступной информации есть не что иное, как пролог к трагедии.

Соединенным Штатам необходимы издания типа «Интеллекчуэл дайджест», но пока мы наблюдаем лишь, как увеличивается количество порнографических, сексуальных журналов. Может ли мыслящий человек здесь что-либо изменить? Безусловно. Но возможно, этого и не случится.

а) Как гражданин, вы должны понять, что выдвинутое теперь почтовым ведомством США требование самоокупаемости игнорирует положение «Билля о правах», предусматривающее «свободное распространение информации», и приведет в конечном счете к резкому сокращению числа выходящих в настоящее время журналов. Будьте же тверды в своем желании помешать этому.

б) Как читатель, вы должны почувствовать необходимость некоторого увеличения стоимости своих любимых журналов, если вы хотите и впредь получать их.

в) Как лицо, помещающее объявление, если вам приходится это делать, вы должны понимать, что таким образом поддерживаете финансовое положение достойного журнала. Помните, что достойные журналы привлекают достойных клиентов.

К сожалению, уже ничто не может изменить судьбы «Интеллекчуэл дайджест». Мы сожалеем о том, что еще один прекрасный журнал прекратит свое существование, и просим прощения за тот вред, который это наносит нашим убеждениям, за ту боль, которую мы причинили сотрудникам и сотрудницам «Интеллекчуэл дайджест». Мы также просим прощения у постоянных читателей журнала и у тех, кто могли бы таковыми стать в своем поиске информации и стремлении к самосовершенствованию.

БРЭДФОРД БРИГГС, вице-президент
издательства «Зифф-Дэвис»

◆

Публицистика

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС

СТАДИОН

Сокращенный перевод с испанского
ЮРИЯ ПАВЛОВА

Шестеро из нас исчезли в звездных мирах,
Один скончался, другого били так, что трудно поверить —
Ведь это же был живой человек.
Четверо остальных сами предпочли удел небытия:
Один бросился в пропасть, другие размозжили головы о стену.
И никто из них не убоялся смерти...

(«Стадион «Чили». Песня Виктора Хары)

В книге этой нет вымысла. Свидетелями выступают здесь уцелевшие мученики. В распятом фашистами Чили, в разрушенной, израненной, окровавленной стране на долю их выпали испытания непереносимые. Они не всегда были главными персонажами событий, как и многие другие, еще томящиеся в гюрьмах, концентрационных лагерях и камерах пыток. Простите тем, кто дает здесь свои свидетельские показания, удалось как-то случайно вы-

скользнуть оттуда и спастись. Но они побывали в аду, и потому их слово столь весомо.

Этот репортаж написан в условиях террора, когда людей убивали на улицах и трупы лежали на тротуарах. Эти рассказы были услышаны в домах друзей в Баррио Альто или в Сан-Мигеле [1], в иностранных посольствах или в самолете, на котором улетали те, кому удалось вырваться.

Пусть эти торопливые строки помогут людям извлечь урок из чилийского опыта. А этот опыт предостерегает: будьте бдительнее перед угрозой фашизма. Урок не нов, но как важно осмыслить его!

И пусть эти страницы напомнят о павших чилийских патриотах, о всех тех, кто еще томится в тюремных застенках и в концентрационных лагерях хунты, о всех, кто бесстрашно борется против тирании.

Спортивный зал «Чили». Национальный стадион

Рассказывает Эстебан Карвахаль: Нас должны были допрашивать пятерых сразу. Майор начал меня избивать — кулаком по уху, по лицу. Голова моя моталась из стороны в сторону, пока изо рта не пошла кровь. Тут последовал удар в пах, били сапогом, и я согнулся пополам, еще один удар — кулаком в спину. Потом снова и снова в пах, и я почти совсем рухнул, но меня опять удержали на ногах — на этот раз били коленом в живот.

Нас арестовали утром в помещении Северной районной ячейки, неподалеку от седьмого комиссариата полиции. Ячейка размещалась в обычном жилом доме. Дом окружили, забросали нас гранатами со слезоточивым газом и скрутили. Заодно солдаты прихватили телевизор, деньги из комода хозяев, столовый сервиз, настольные лампы и другие личные вещи.

В комиссариате нас сразу же стали бить прикладами и сапогами. Бить предпочитали в спину и в пах. Потом заставили лечь во дворе лицом к земле, закинув руки на затылок. В таком положении и допрашивали: «Кто руководитель ячейки? Чем там занимались?» Но главным вопросом, однако, был: «Где прячете оружие?» Мы, разумеется, отвечали, что понятия не имеем.

Во дворе на полную мощность был включен репродуктор, и тут мы узнали, что происходило в Ла Монеда [1], услыхали об ультиматуме генералов президенту Альенде, потом грохот бомбардировки и первые приказы хунты...

Минут через сорок опять пришел тот армейский майор и начал уже формальный допрос. Какой-то ответ одного из моих товарищей разозлил майора, и он приказал солдату сделать арестованному инъекцию воды из-под крана. Солдат уже стоял наготове со шприцем, когда майор вдруг передумал: «А ты не трусливого десятка»...

В памяти от этого допроса остались одни побои. Длился он очень долго, и я никогда не испытывал такой боли и такой беспомощности. Казалось, что тело мое уже все изломано. Тем не менее мы держались твердо.

Наконец, взбешенный офицер заявил:

— Я забираю их с собой.

Полицейский начальник поддакнул:

— Они должны знать кое-что, ведь находились-то как раз там.

Нас препроводили в ближайшую полковую казарму, а оттуда на военной машине отвезли в Такну [1].

Там с нас сняли ботинки, носки, часы, кольца (этих вещей мы больше не видели).

Вскоре во двор казармы привели целую колонну арестованных. Охрана растерялась. В образовавшейся неразберихе сопровождавший нас офицер спросил у другого: «А с этими что делать?» — «Ставь их вместе со всеми».

Там в глубине толпы я увидел Висенте Соту, бывшего депутата, христианского демократа, руководителя МАПУ [2]. Он был с палкой и хромал. Позже Сота рассказал нам, что его арестовали у врача, когда тот снимал ему с ноги гипс — перед этим он попал в аварию.

К ночи арестованные заполнили и наш двор и соседний с ним. Большинство было с промышленных предприятий, из министерства просвещения, министерства труда и некоторых других государственных учреждений.

Спали мы безо всего в вымощенном булыжником дворе. Было страшно холодно — до заморозков,— и многие из заключенных простудились. Главное, нам не разрешали двигаться. Естественные надобности отправлялись тут же — приказ на этот счет был строг.

Ночью во двор зашел какой-то пьяный солдат. Он бродил между арестованными, грязно ругался и угрожал оружием. Споткнулся обо что-то и заорал: «Убери ногу!» Тут же звякнул затвор...

В девять утра нас пересчитали. Двести восемьдесят восемь. Женщины и «особо опасные» отдельно.

[1] Аристократический и пролетарский районы Сантьяго.

[2] Президентский дворец.

[1] Гарнизонная казарма Сантьяго.

[2] Движение унитарного народного действия — отколовшаяся от христианских демократов группа левой ориентации, вошедшая в блок Народного единства.

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС
СТАДИОН

Среди «опасных» я узнал Коко Паредеса [1], заместителя генерального секретаря правительства Арсенио Поупина, доктора Энрике Париса, президента профсоюза мелких акционеров (фамилии его не помню), товарища Хано из личной охраны Альенде, товарища Максимо — врача, бывшего заведующего отделом безопасности социалистической партии.

Во дворе казармы нас продержали целый день. Говорили, что позже переведут в крытый стадион «Чили», где допросят по всем правилам и невиновных сразу же выпустят на свободу. Пребывание на этом стадионе оказалось самым невыносимым мучением, которое когда-либо может обрушиться на человека.

В ожидании отправки мы переговаривались между собой, но главным образом смотрели туда, где содержались «особо опасные» — под арку восточных ворот казармы, служившую для выезда грузовиков. Солдаты называли ее «пастью». Там стояла такая пылища, что я с трудом узнал Коко Паредеса... Он был черен, с ног до головы покрыт грязью. К тому же ему сбрили усы — немудрено было не узнать его.

Их там били целый день. Для военных эти люди были самыми важными. Особенно изощренно измывались над Коко Паредесом. До нас доносились лишь отрывки допроса, целью которого было унизить и сломить человека.

— Как тебя звать?

— Эдуардо Паредес.

— Врешь, сволочь, тебя зовут Коко [2].

Раздалось несколько ударов, потом опять:

— Как тебя звать?

— Коко Паредес.

— Врешь, сволочь, ты — Эдуардо Паредес!

И снова удары.

— Не шевелиться, гад! Кто тебе разрешил шевелиться?!

Удары...

Крики истязаемых неслись оттуда целый день. Избивали какого-то мальчишку лет четырнадцати или пятнадцати. Он был сыном участника военизированного рабочего отряда, верного правительству Народного единства. За это и его сыну — никакой пощады...

Но больше всех досталось Коко. Я это повторяю, потому что позже, когда мы уже находились на Национальном стадионе, появилась официальная версия о том, что он погиб в вооруженной стычке с солдатами на улицах. Ложь! Его убили в застенке. С такой же бесчеловечной жестокостью обращались и с Энрике Парисом — главным помощником президента Альенде по вопросу о незаконной забастовке владельцев грузовиков. Мы еще не знали, какая тяжелая участь ожидает его. Только недавно я услышал от товарищей, что его зверски пытали и искалечили: ему отрезали половые органы. Потом его матери сообщили, что он умер от «внутреннего кровоизлияния». Мне кажется, что все товарищи, находившиеся в «пасти» — я их перечислял,— уже погибли...

Только в одиннадцать часов вечера нас погрузили в автобусы и перевезли в спортивный зал «Чили».

В дверях стояли карабинеры с автоматами и всех поочередно проталкивали ударами прикладов. Через вестибюль мы проникли в зал. Он был полон — на трибунах сидело не менее пяти тысяч человек, столько обычно собирают крупные боксерские или другие важные соревнования. Будто вот-вот начнутся выступления. Только на самом верху было немного свободного места, там был установлен «пунто-30» [1], обеспечивающий порядок в зале. Мы входили, заложив руки на затылки, и занимали последние оставшиеся места в самом низу трибун.

Здесь рассеялись наши последние надежды: в зале были собраны люди, задержанные в самых разных местах — на заводах и фабриках, во многих общественных учреждениях. Мы узнали среди них заместителей министра социального обеспечения Лауреано Леона и образования — Вальдо Суареса, ректора Технического университета Энрике Кирберга, директора тюрем Литре Кирогу. Труп его вскоре нашли на одной из улиц города. Согласно информации фашистских газет, он был «убит своими собственными товарищами».

Мы соблюдали крайнюю осторожность. Товарищи из министерства труда успели шепнуть нам при входе, что среди арестованных чуть ли не три сотни провокаторов: «Не разговаривать! Не показывать возмущения!»

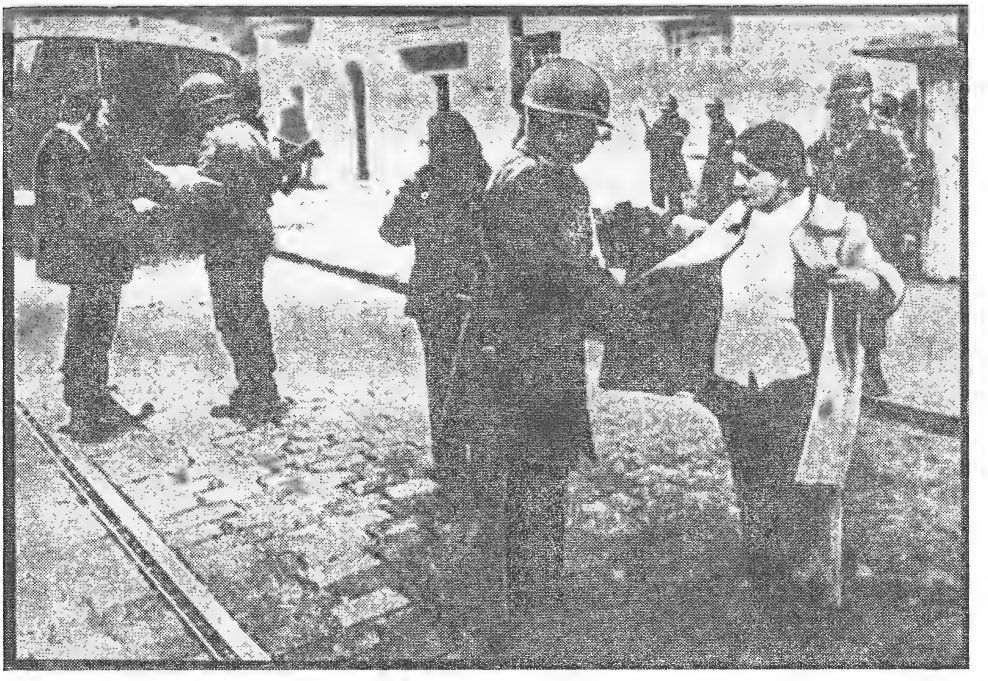
Рассказывает К. М.: А нас привезли в спортивный зал в четвертом часу пополудни, сбили в кучу в узком проходе. Время от времени охрана приводила новых заключенных, босых и изрядно «обчищенных». Среди нас были и тринадцатилетние подростки и пожилые люди. Давала себя чувствовать усталость — было уже половина седьмого, а мы все топтались в своем коридоре. Часовые говорили: «Тут вы узнаете, почем фунт лиха! Тут заведение серьезное!»

Наконец мы смогли войти в зал. Он производил фантастическое впечатление: не менее двух тысяч человек сидели на трибунах, и все совершенно неподвижные. Оказывается, был отдан приказ не шевелиться. Словно две тысячи сидящих статуй! После нашего прихода полковник Эспиноса (впоследствии возглавивший концлагерь на Национальном стадионе) подошел к микрофону и повторил приказ, запрещающий шевелиться. Он разъяснил, что на верхних галереях находятся четыре пулемета. «Пунто-30»: установлены они так, чтобы в любой мо-

[1] Руководитель государственной компании «Сине-Чиле».

[2] Уменьшительное от Эдуардо.

[1] Тип пулемета.



мент можно было открыть перекрестный огонь.

Было заметно, что он очень гордился этими пулеметами специального образца. Каждый делал тысячу с чем-то выстрелов в минуту. Тем более что такие же пулеметы состояли на вооружении в самой НАТО. Однако основным достоинством этого оружия было то, что оно входило в арсенал третьего рейха. «Эксперты,— сказал полковник,— называют его «гребенкой Гитлера». За эффективность. Очередь такого пулемета разрезает человека надвое».

Он говорил тоном этакого не чуждого иронии наставника:

— Давайте договоримся, ребята, никто не шевелится! В противном случае мы вынуждены будем использовать вот эти штуки. Вы ведь — самое негодное в Чили, мусор страны, поэтому мы не собираемся нянчиться с вами...

Так я просидел на трибуне до субботы. С семи вечера среды! Там и спал. В девять утра нам дали бурду, напоминающую кофе, хватило ее лишь половине заключенных. В восемь вечера немного вареной фасоли. Больше ничего.

Эстебан Карвахаль продолжает: Нас пересчитали. Я был трехтысячный с чем-то. Спали, сидя на трибунах. В четверг дали еду — мисочку фасоли. Половине не досталось, в том числе и мне. Нам объяснили: «Не можем же мы оставить без еды солдат. Сначала кормим их, а что останется — вам». За весь день я съел лишь апельсинную корку: наверное, осталась от последнего представления. Другие собирали скорлупу от арахисовых орехов, считая ее относительно съедобной.

У одного парня появились явные признаки помешательства... Был там офицер, очень жестокий — наши прозвали его «кадровиком». Так вот кто-то сдуру сказал больному парню, что «кадровик» его усыновил. Тот поверил и громко стал звать офицера: «Отчим, отчим!» Мы послали делегацию к начальнику с просьбой изолировать этого парня, но получили отказ. Тогда кто-то из солдат решил продолжить шутку и внушил юноше, что он — военный, и тот стал ходить по залу строевым шагом, останавливаясь перед людьми и отдавая команды! Потом он начал проявлять агрессивность. Неожиданно набросился на одного солдата и хотел отнять оружие. Солдат как-то извернулся и скинул парня с себя. Прозвучал выстрел. Парень, простреленный в живот, повис на барьере галереи с широко раскрытыми глазами, будто удивляясь тому, что тут происходит.

Никто не реагировал: мы уже получили урок на этот счет, когда один заключенный — коммунист — бросился на солдата. Тот было растерялся, но подошел офицер морской пехоты «черный берет», выхватил у солдата винтовку и прикладом стал бить заключенного по лицу. Этот «черный берет» был сущим деспотом. Он носил короткую стрижку

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС
СТАДИОН

и очень походил на нацистского офицера из кинофильмов. Все время поигрывал плеткой, которую постоянно имел при себе. Одного паренька он уже прикончил на глазах у всех. Именно он вызывал арестованных на допросы...

Когда этот офицер начал бить коммуниста прикладом, в зале поднялся шум. Кто-то громко крикнул: «Подонок!» — и кое-что другое. «Черный берет» подал сигнал. В зал ворвались солдаты и открыли стрельбу. Мы повалились на пол. С тех пор нам стало ясно, что они не задумываясь убьют кого угодно...

К. М. добавляет: Офицеры по любому поводу орали, чтобы еще больше запугать нас. Так, поздним вечером в среду из группы иностранцев (к которой никто из нас не имел права приближаться) вывели в коридор одного арестованного, на вид — студента. Заставили лечь лицом вниз и начали бить. Сразу же сюда примчался полковник и громко, так чтобы все его хорошо слышали, заорал: «Оставьте его мне. С этим мерзавцем я расправлюсь сам!» Всю ночь снизу доносились вопли истязуемого. Это был молодой колумбиец...

Никто не знал, когда придет его черед. Люди не могли спать, думая об этом.

Эстебан Карвахаль продолжает: Среди арестованных было несколько попыток самоубийств. Один бросился вниз с верхнего перехода галереи, сделав своеобразное сальто-мортале... Перед прыжком крикнул: «Негодяи, это гибнет народ!»

К. М. добавляет: Другой вырвался из рук товарищей, пытавшихся удержать его, пробежал метров семь и с маху ударился головой о колонну. Это было ужасно...

Добавляет «Милико» Солано: Что касается самоубийств, я знаю два случая. Один я видел сам, потому что находился в том же секторе. Человек вскочил на барьер галереи и с криком: «Сволочи, это гибнет народ! Да здравствует Чили!» — бросился вниз...

Рассказывает К. М.: На самом верху держали заключенных, которых разыскивали по городу специально: Осиэля Нуньеса, вожака студентов Технического университета, профессоров этого же университета — Карлоса Наудона, Марио Сеспедеса, Расетто. Им пришлось туго. Привезли их вместе с нами в среду вечером, а еду дали только в субботу. Мы, находившиеся внизу, когда могли, бросали им кое-что. То есть когда охранники не видели. Ну, хлеб там и прочее...

Хулио Пенья: Я работал в авиакомпании. Меня схватили в центре. Когда я увидел полицейский фургон, то поставил свою машину поперек переулка, чтобы товарищи могли скрыться. А сам попался. Сначала меня привезли в седьмой комиссариат. Пытали электротоком. Положили на металлический стол и начали. Оборудование самое примитивное. Карабинеры задавали дурацкие вопросы и крутили маховик, чтобы получить ток. У них там была такая машина. Иногда что-то в ней не ладилось, карабинеры злились и принимались чинить ее...

Потом меня переправили в спортивный зал «Чили». Провел там четыре дня без еды (ее не хватило на всех, приходилось питаться очистками и другими отбросами), и у меня открылась моя язва. Боль не стихала ни на минуту. Я поговорил с майором Акуньей — неплохой человек, — и он разрешил мне спуститься вниз, в медпункт. Позвал солдата и приказал: «Проводишь его к врачу и вернешь сюда». Сказал это так, будто подчеркивал: «Внизу оставлять его не надо», потому что большинство ушедших в медпункт обратно не возвращалось...

Мы пересекли внутренний переход и вошли в какой-то огромный холл... В глубине виднелся выход на арену. Он был занавешен. Сперва я взглянул туда и как-то ничего не заметил. То ли боль меня отвлекала, то ли еще что... А там были сложены трупы. Три ряда, довольно высоких, в разных углах. Сложены поленницей: четыре внизу, параллельно друг другу, а сверху еще четыре — поперек, потом опять вдоль и так далее. Все голые. Насчитал от 32 до 40 трупов в каждом ряду...

Я сумел разговориться с сопровождающим — мы были с ним из одного района — и задал ему нелепый вопрос.

— Этих товарищей будут допрашивать?

— Нет, это уже холодная закуска, — ответил солдат.

— Они погибли в перестрелке?

— Да нет, тут на допросах преставились...

Я спросил, что же теперь с ними будут делать, и он ответил: офицер говорил, что трупы разбросают по улицам...

Мне сделали укол и отвели назад. Позже много приходилось слышать о трупах на улицах. Так произошло, например, с Литре Кирогой. Его нашли мертвым ночью на улице, хотя всем было известно, что он арестован. Даже газеты писали об этом.

Продолжает Эстебан Карвахаль: Первые четыре дня на Национальном стадионе нас держали очень строго. На пятый разрешили выглянуть через ворота на поле. Оно было пусто. А в каждом из восьми туннелей, служивших для выхода зрителей с нижних трибун, было набито 250—300 заключенных. Сорок боксов под трибунами тоже были полны людей. И никто не имел права уйти со своего места...

Только в следующий четверг на полчаса сняли охрану и нам разрешили выйти на поле. И то лишь тем, кто находился в туннелях... А в воскресенье 23 сентября позволили выйти всем.

Во время обеда вдруг раздалась команда: «Всем на выход!» Оказалось, что прибыла делегация журналистов. Заключенные — их было тысяч пять или шесть — заполнили все нижние трибу-

ны. Потом по телевидению и в газетных фото показывали, как мало на стадионе заключенных. Дело в том, что камеры направляли на верхние трибуны, где не было людей. Журналисты прошлись по гаревой дорожке. Кое-кому удалось спросить у нас, как дела. Ответили, что все хорошо, но надо позаботиться о тех, кто сидит в изолированных боксах.

Никому не позволили свободно поговорить с представителями прессы. Уж мы-то могли бы им порассказать кое-что. О том хотя бы, что карету скорой медицинской помощи, стоявшую у главного входа и готовую, казалось, к немедленным действиям на случай необходимости, сверкающую белизной, с чинно покуривающим шофером, мы, заключенные, видели впервые.

Особенно мне запомнились в тот день арестованные иностранцы. Их заботливо разместили под солнцезащитным козырьком. Там было сорок уругвайцев, восемь американцев из «Корпуса мира», схваченных в день мятежа. Один из них все пытался объяснить мне: «Я же к этому не имею никакого отношения. Ведь я приехал просто помогать». Никак не мог понять, почему его тоже держали с нами. Видел я восьмерых французов, молодого кубинца, аргентинца, десяток перуанцев, четырех бельгийцев...

В эти дни военные правители сбились с ног с иностранцами. Посольства оказывали нажим. Поэтому почти всех офицеров направили на розыски среди заключенных иностранных граждан. Спешно просматривались их «дела».

Как-то утром прибыл отряд солдат и всем заключенным приказали выйти на трибуны. Вместе с солдатами появился человек в капюшоне. Всех охватил страх. Узников разбили на группы. Человек в капюшоне, сопровождаемый охранниками, переходил от одной группы к другой, внимательно всматривался в лица, потом вдруг указывал на кого-то капитану, шедшему рядом: «Этот... этот... этот...»

В нашем секторе забрали восьмерых. Из ближней к нам группы вывели адвоката Рауля Картахану сотрудника министерства труда и Патрисио Энрикеса — служащего девятого канала телевидения. Из соседнего туннеля — четырех товарищей, участвовавших в защите правительства Альенде, и нескольких государственных служащих...

Все мы гадали, кто этот человек в капюшоне Утешали себя, предполагая, что все это могло быть лишь мистификацией для вящего устрашения.

— Не вы это были? — спросили мы у майора Акуньи.

— Болваны! — ответил майор.— Да вы все у меня и без этого вот где! Чтоб я еще притворялся.

Приезжала в страну, как мы узнали, и комиссия по правам человека, составленная из иностранцев. Осмотрела полевой госпиталь. По словам полковника, очень гордого результатами визита, комиссия заявила, что это самый лучший госпиталь, который ей когда-либо приходилось видеть...

Вырваться из заключения мне удалось 28 сентября. Спасся чудом, бывает же такое невероятное стечение обстоятельств!

Говорят, мое имя появилось в газетах в первую же неделю после переворота. Меня обвиняли в присвоении миллионов, выделявшихся на проведение крупных политических мероприятий, организацией которых я руководил. Мне было ясно: если установят, что именно обо мне писали газеты, то не миновать мне десяти лет тюрьмы, а то и больше. Ночами меня мучили кошмары: 30 лет, пытки, расстрел...

И вот вызов на допрос. Я был и без того крайне напуган, а следователи — два младших офицера в гражданской одежде — сделали все, чтобы запугать меня еще больше. Один расположился передо мной, другой — сзади. Задавали вопрос. Не успевал я ответить, как вдруг раздавался удар плетью о стол или с грохотом падал стул за спиной. Потом, уже укрывшись в посольстве, я узнал от товарищей, что это были детские штучки по сравнению с тем, что вытворялось на других допросах...

Следователь казался очень усталым. Это было как раз в те дни, когда все посходили с ума с заключенными-иностранцами. Пришли строгие приказы разобраться в первую очередь с ними. Поэтому власти пока не интересовались ничем другим и все остальные дела велись кое-как. Думаю, что многим это помогло спастись. А многим стоило жизни. Как в лотерее...

Я был последним на допросе.

— Как ты попал сюда?

— Нечаянно нарушил комендантский час.

Мне ничего не оставалось, как играть ва-банк. Рассчитывать я мог только на то, что у них в бумагах царила страшная путаница. Однако сообщения обо мне в газетах, а также наличие в нашей камере-туннеле провокатора, которого мне удалось выявить, — все это делало мое положение очень сложным.

На мое счастье, в камеру зашел фотограф — друг следователя. Он уже собрался домой. Приход его словно означал, что рабочий день окончен. Поработали — и хватит. Видимо, так понял его следователь, потому что неожиданно заключил:

— Ладно, выпустим этого чудака... Итак: «Был арестован (он писал заключение) такого-то числа в 23 ч. 30 м. за нарушение комендантского часа».

Выходили мы вместе. Но тут вдруг появился майор Акунья и сказал, что

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС
СТАДИОН

уже поздно и освобождение надо бы перенести на завтра. Следователь, столь «славно» поработавший, не согласился и пошел переговорить с майором Альварадо. Возвратился от него с письменным приказом: пропустить!..

Рассказывает Хорхе: Меня не только избивали, но и пытали электротоком. Электроды прикладывали по всему телу. Самое ужасное, когда их подводят к языку. И к половым органам. Ощущение чудовищное — будто их у тебя больше нет. Но к языку все-таки хуже. Язык влажный, и ток бьет все тело. Боль такая, словно у тебя неожиданно вырывают все зубы. Туловище начинает корчиться, конвульсивно дергаться. Чувствуешь, что тебе не хватает воздуха, что задыхаешься. Начинает тошнить. В отчаянии сжимаешь руками грудь, а удушье все сильнее и сильнее...

Доносчики

Рассказывает Патрисио. Пока ждешь своей очереди на допрос, такого насмотришься! Вот на дорожку велодрома вывели совершенно голого человека, только голова накрыта полотенцем. Нам же, наоборот, на несколько минут разрешают снять полотенца с голов...

Его ведут два солдата, потому что сам он, видимо, идти уже не может. Еще один солдат подпирает его сзади автоматом. Сбоку шагает разъяренный офицер, приставив пистолет к виску заключенного, и, показывая на нас, кричит:

— Говори, кто из них?! Говори!

Группа приблизилась к нам. Заключенный — как оказалось, уголовник-карманник — был жестоко избит. Половые органы у него покраснели и раздулись, словно ему подвесили кочан красной капусты, следы побоев виднелись на всем теле.

— Говори, кто?!

Он поднимает глаза и осматривает нас пустым взглядом.

— Кажется, вот этот... не знаю...

— Кажется? А может быть, точно?

— И вот этот... кажется...

Говорит он безразличным тоном.

— Ты уверен или нет? Кто еще? — кипятится офицер.

— Кажется...

Взбешенный офицер приказывает загнать уголовника обратно в помещение.

Позже мы с ним разговаривали.

— Почему ты это сделал? — спросил его один из наших товарищей.— Зачем показал на меня?

По правде говоря, парень на него не показывал. Да он почти ничего и не видел тогда. Объяснил он все просто. Его страшно били. Сил у него уже не было, и вдруг в голову пришла идея — сказать, будто слышал, как в рядах ожидающих допроса кто-то говорил об оружии. При слове «оружие» офицер чуть не рехнулся. Наверно, подумал, что напал на след...

Вообще день допроса — конечно, самый ужасный день для заключенного. Оттуда, за редким исключением, возвращались полуживыми или не возвращались вовсе. Но и ждать этого допроса было нелегко. Меня привезли на стадион 26 сентября, а вызвали на первый допрос только 8 октября. А до тех пор надо было как-то держаться. Мы всячески старались отвлечься от мрачных мыслей... Нас было там несколько тысяч человек, и тягостное безделье могло обернуться плохо. Надо было найти какое-нибудь занятие. Многие мастерили карты из старых коробок от стирального порошка и играли. Но занимались и более серьезными вещами. Я, например, вначале взялся выпускать стенгазету. Правда, из моей затеи ничего не вышло — не было материалов... Другой товарищ сумел вытащить из какой-то доски гвоздь, расплющил его камнем и о тот же камень заточил. Получилось нечто вроде стамески, которой он стал вырезать из дерева различные фигурки.

Тем не менее в разговорах мы постоянно возвращались к теме допросов и к человеку в капюшоне. Поразмыслив, пришли к выводу, что под капюшонами скрывается не одно лицо, а несколько. Их заставляют быть доносчиками. Одного мы даже опознали: по одежде, ботинкам и прежде всего по походке.

Когда он вошел, мы стояли в очереди за едой. Я сразу сказал соседу: «Слушай, а ведь это — такой-то». «Точно он»,— согласился товарищ. Мы сразу же приняли меры, чтобы затеряться в очереди и не попасть ему на глаза. Человек в капюшоне прошел вдоль всего ряда и указал на одного из руководителей «Индугас» [1]. Больше этого товарища мы не видели...

Солдаты-новобранцы, охранявшие нас, могли по приказам офицеров совершать любые жестокости, но все-таки многие из них — одни больше, другие меньше — еще сохраняли в себе что-то человеческое. Как тот, который однажды водил меня в медпункт. По дороге он рассказал, что их пригнали в Сантьяго из северных районов и из Пунта-де-Аренас.

— Почему же вы так бездушно обращаетесь с нами?

— Приказывают, — объяснил солдат.— А если мы не будем вас бить, нас самих арестуют... Не думай, что мне легко, ведь у меня брат здесь среди вас — тоже заключенный.

— И ты ничего не можешь для него сделать?

---

[1] Газовая промышленность.

— Так, если узнают, что это мой брат, меня сразу посадят

Новобранцы продавали нам сигареты в двадцать раз дороже их стоимости. Только потом мы узнали, что они торгуют теми вещами — сигаретами, едой, одеждой,— которые нам передают через них родственники...

Кстати, тут следует рассказать и о священнике — отце Хуане. Мы знали, что католические священники и сам кардинал много делали для заключенных, но этот «отец» был не из их числа. Он приходил к нам почти ежедневно и выступал в роли благодетеля. Приносил еду, сигареты, шоколад. Мы были очень ему признательны. Только потом узнали, в чем тут дело. Когда он появлялся у ворот стадиона, там уже толпились тысячи родственников заключенных с передачами. «Отец» Хуан говорил им: «Если хотите переправить что-нибудь своим, то я захвачу». В мгновение ока люди наполняли посылками его огромную нейлоновую сумку. Нам он об этом не рассказывал. Просто говорил: «А вот я вам тут кое-что принес». И каждый раз использовал это как предлог для того, чтобы осторожно похвалить хунту. Призывал, например, молиться за генерала Пиночета, «чтобы бог помог ему в его многотрудной миссии»...

...На стадионе можно было встретить самых неожиданных людей. Я познакомился там с шофером Пабло Неруды. Он рассказал мне, как был совершен налет на дом поэта в Исла Негра 13 сентября... Ворвались солдаты и карабинеры, перевернули все вверх дном, много вещей поломали, тяжело больного поэта выгнали во двор...

Другим человеком, с которым я там познакомился, был знаменитый певец Анхель Парра. Его уже трижды водили на допросы. Были заметны следы побоев, и он выглядел очень подавленным. К моему удивлению, он оказался невысокого роста Никогда бы не подумал. Какой у него мощный голос и сколько в нем чувствуется энергии! И теперь он старался держать себя в руках. Подавлен же был, мне кажется, не допросами и побоями, а опасениями за семью.

Допросы. «Комната смеха»

Рассказывает Хуан Карлос: Мой допрос длился около трех с половиной часов, и я помню его почти до минут...

А взяли меня на заводе. 20 октября мы — пятнадцать руководителей — явились по приказу новых властей на работу. Пошли просто так, посмотреть, что будет. Нас тут же арестовали. И сразу началась психологическая война. Прежде всего нас повели к заводоуправлению и показали стену, у которой расстреляли нескольких наших товарищей. Были заметны выбоины от пуль на цементе, запекшаяся кровь...

Нам сказали:

— То же самое сделаем и с вами,

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС
СТАДИОН

мерзавцы, если не скажете, где спрятано оружие.

Повели на допрос, а потом заперли в маленьком кабинете бывшего начальника отдела соцобеспечения трудящихся. Из их примитивного допроса ничего не получилось. Стражникам отдали приказ стрелять при малейшем беспорядке. Через несколько часов мы начали задыхаться в тесном помещении и, рискуя получить пулю в лоб, стали стучать в дверь.

В ответ прозвучало:

— Не беспокойтесь, долго вас тут не продержим.

И действительно, вскоре нас оттуда вывели. Четырнадцать человек переправили на Национальный стадион, а телефониста Хорхе Гаэте оставили. Ночью его расстреляли.

На стадионе нас поместили в камеру № 6 и до следующего дня держали без еды.

В ожидании допроса я провел 21 день. Ожидание само по себе было пыткой. К тому же тюремщики даже ночами не оставляли нас без своего внимания. Часа в два-три ночи вдруг открывалась дверь бокса.

— Всем встать! Живо!

Люди торопятся, поднимается суматоха: ведь нас около ста двадцати человек. В темноте наталкиваемся друг на друга.

— Выходи строиться!

Встаем в две шеренги по шестьдесят человек в каждой. Стоим полчаса, получая удары прикладами «для согрева». Потом появляется человек в капюшоне.

Это наверняка кто-то из «внедренных» в нашу камеру. По той или другой примете узнаем его. Еще два или три дня назад был вместе с нами, вместе ел, вместе получал удары (правда, послабее) и подслушивал...

Человек в капюшоне указывает на кого-нибудь, и того уводят. Большинство «избранных» шло на расстрел...

Однажды часа в три ночи меня вызвали:

— В контору!

Я был готов к самому худшему. Явился. Меня посадили на стул, завязали глаза и со словами «пойдем прогуляемся» вывели из конторы.

На душе кошки скребут. К тому же глаза завязаны, и в спину чем-то подталкивают. Шли долго. Я понял, что вышли со стадиона, потому что бетонная дорожка кончилась. Потом шагали по какой-то лужайке, иногда шлепали по лужам, а то попадали в канаву или ров...

Наконец остановились. Меня прислонили лицом к стенке. Я был в полной уверенности, что это конец. Заставили заложить руки за спину. Сзади слышался топот солдатского построения, звякало оружие. Все происходило очень быстро.

Голос офицера:

— Мы тебя расстреляем, собака! Потому, что не хочешь выдать своих сообщников. Пусть они теперь спокойненько разгуливают на воле, а тебе придется платить за них.

Я попытался объяснить, что ничего не знаю, просто не понимаю, о чем он говорит.

— Не прикидывайся, мы-то тебя хорошо знаем!

Офицер отдал несколько приказаний солдатам и снова ко мне:

— В последний раз спрашиваю: будешь говорить или нет? Повторяю: в последний раз! Если нет — расстреляю!

— Вы расстреляете невинного,— со всей возможной твердостью сказал я. Мне казалось, что, говоря так, я что-то выигрываю.

— Нет, негодяй! Нас не обманешь!

Я чувствовал, как у меня дрожат ноги. Вспомнились лица людей, которых мне уже больше не увидеть.

— Огонь! — скомандовал офицер, и я услышал рядом свист пуль.

Было удивительно, что ни одна не попала в меня. Я только почувствовал, как по мне ударили крошки бетона, щепки.

Офицер завопил на солдат:

— Паршивцы! Жалованья лишу! Что это за вояки?! А ну-ка, вот ты,— приказал он какому-то солдату,— стреляй один. И цельсь как следует!

Солдат стрельнул один, другой раз, но тоже промахнулся. Офицер обругал его последними словами.

— Ладно. Считай, что пока ты спасен,— обратился он ко мне,— но завтра все равно скажешь нам всю правду!

Подобные «шутки» продолжали со мной неделю...

«Какой же тогда будет допрос, если так к нему готовят?» — спрашивали мы себя.

— Вот попадете в «комнату смеха», тогда узнаете,— говорили нам солдаты.

Мы уже слышали, что это такое. А вскоре пришел наш черед испытать ее на себе.

Точно в восемь тридцать утра мы уже были у велодрома. Шесть человек из нашей десятки были жителями одного района, и все попали на северный сектор — к «Мартину». Нас поставили ожидать своей очереди снаружи, у стены бокса. Руки за спину, ноги широко расставлены.

Внутри между тем «Мартин» разворачивал свою работу. «Мартин» — это начальник «бригады» следователей. Еще была бригада «Сама» — меня как-то уже водили туда, но не успели допросить...

«Бригада» допрашивала какого-то паренька, и мы все утро слышали его голос. Уточняю: то, что доносилось оттуда, был даже не голос, а вой. У парня требовали признания в том, что он убил новобранца в Фамае.

— Сеньор, я даже не знаю, где находится Фамае,— отвечал заключенный.

Слышны удары прикладов, глухие

стуки Вопли. Кажется, это никогда не кончится. Но вдруг следователей «осеняет», и в течение полутора часов они заставляют парнишку петь. Но не просто петь, а с условием: когда ему крикнут «Ола», он должен мгновенно прекратить пение и ответить: «Ола, сынок».

Парень никак не может подладиться, его очень часто прерывают. И вдруг:

— Дайте хоть мне спокойно допеть, кровопийцы!

Как он только мог решиться?

— Ах, ты так?! Ну тогда пеняй на себя!

И опять началось. Звуки такие, будто бьют по мешку. Не знаю, как долго это продолжалось...

Потом парня снова заставляли петь. Когда он уже совсем выдохся и ему стало явно не хватать воздуха, следователи требовали:

— Громче!

— Я и так пою из последних сил.

Один из «бригады» выглянул и обратился ко мне:

— Ты его слышишь?

— Слышу.

Он ударил меня.

— Нет, не слышу.

— Видишь, этот чудак, что стоит совсем рядом, не слышит тебя, а ты говоришь, что поешь изо всех сил...

Его продолжали бить. Постепенно стоны становились все слабее. Потом нас заставили снять с голов полотенца и подвели парня к нам, чтобы он мог рассмотреть лица и указать своих сообщников...

Парень был совершенно голый, стриженный под машинку. Смотрел на нас как-то странно, глаза его будто остекленели. Медленно обвел нас взглядом и сказал, что никого из своих друзей здесь не видит. Его уводят.

Снова удары. Даже я ощущал их и не мог понять, как этот щуплый паренек еще терпит все это. Но вдруг он затих.

— Смотри-ка,— сказал один из следователей,— кажется, готов.

— Ну и хорошо, что готов,— ответил другой,— туда ему и дорога.

Было слышно, как поволокли тело.

Таким образом, морально я был подготовлен.

Следователь, к которому я попал, начал разговаривать любезно:

— У тебя хорошая фигура. Играешь в футбол?

— Да.

— И в мини-футбол?

— Тоже.

Казалось, он настроен весьма дружелюбно. Переложил на столе какие-то бумаги.

— И форма есть?

Я ответил, что едва зарабатываю на питание.

— Сколько получаешь?

Я назвал приблизительную сумму.

— Ну, этого достаточно, — сказал он. А бутсы есть?

— Нет. Прошу у брата, когда играю.

Только потом я понял, куда он клонил со своими вопросами

— А знаешь, кто я?

— Нет, сеньор, представления не имею.

— Я из военной авиации, собачий ты сын!— гаркнул следователь, и я почувствовал, как у меня раскалывается голова. Он бил обоими кулаками с такой свирепой силой, словно хотел, чтобы мое лицо лопнуло, как мяч. Бил по вискам. Я попытался закрыть виски рукой, но тут же почувствовал удар в скулу, от которого меня шатнуло.

— Теперь помнишь, как стрелял в меня?

Он напомнил о подавлении антиправительственного выступления военной авиации еще до путча.

— Простите, но вы ошибаетесь,— объяснил я.— В тот день я не работал.

— Нет, это был ты. Хорошо еще, что попал не в меня, а в нашего лейтенанта.

— Вы ошибаетесь, сеньор.

С каким-то придыханием он ударил меня в живот. Я начал тихо, как в замедленной съемке, падать, подавая ему рукой знаки, чтобы он, ради бога, не бил больше.

У этого следователя голос был молодой. А справа от него находился другой, видимо, постарше. Через повязку на глазах — она просвечивала — я рассмотрел молодого, вернее его силуэт, на фоне окна. Он был высокого роста.

Когда я падал — от удара в живот у меня перехватило дыхание,— второй следователь ловким пинком вернул мне равновесие. Наконец, я сумел вздохнуть и опять попытался объяснить, что, наверно, произошла ошибка, потому что в тот день меня не...

Тот, что был справа — постарше,— прыжком подскочил ко мне и локтем ударил по ребрам с мастерством специалиста по карате. Последовал град новых ударов. Я безуспешно пытался прикрыться руками. Молодой теперь уже утверждал, что я был командиром вооруженного отряда. Подошел вплотную:

— Итак, значит, ты из МИРа[1]? — спросил он.

— Понимаете, вы ошибаетесь, если думаете так.

— А вот эти бумаги, что они, врут, подонок?

— Будьте добры, посмотрите как следует свои бумаги.

— Ты командир вооруженного отряда!

— Нет, сеньор, я профсоюзный руководитель.

У меня уже не было сил, слова потеряли убедительность. К тому же молодой

[1] «Мовимьенто де искьерда революсионариал» — «Левое революционное движение».

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС
СТАДИОН

начал подозревать, что сквозь повязку я слежу, как он готовится к ударам, и вовремя сжимаюсь.

— Этот мерзавец все видит,— сказал он...

Я понял, что моя уловка провалилась, и закрыл глаза. Почувствовал удар в живот и на какое-то время потерял сознание...

Когда я пришел в себя, следователи подняли меня на ноги. Мне дали передышку.

— Вернешься и тогда скажешь мне всю правду,— сказал высокий.

Десять минут отдыха. Меня провели вдоль стенки, о которую я опирался руками. Еще немного — и я повалился бы совсем. Не чувствовал ни ног, ни плеч. Отдыхать надо было как обычно — стоя, широко расставив ноги. Это было положение «вольно».

Когда я возвратился, меня опять встретил молодой. Похоже, он успел перекусить.

— А теперь, мразь, ты скажешь все, потому что мне надоело обивать о тебя кулаки. Кем у вас был такой-то?

Я объяснил, но он не поверил.

— И все-таки ты должен знать, где находится оружие. Ты говорил, что у тебя есть футбольная форма. А в день выступления авиации против правительства с вашего завода вышло пятнадцать человек и стреляли в нас. Они были в футбольной форме и бутсах.

То была история, придуманная газетчиками.

— Но это невозможно! Позвольте объяснить...

— Ну давай.

— Это невозможно, потому что все на нашем заводе знают, что значит выстрелить в этом месте. Один выстрел — и не останется ничего живого. Там рядом с цехом полимеризации есть небольшой склад, где хранится жидкость этиленгликоль — очень опасная. Достаточно искры поблизости — и завод взлетит на воздух вместе с двумя соседними поселками. А рядом шесть огромных резервуаров ЭНАДИ [1]. Вы представляете, что бы произошло? И все рабочие это хорошо знают.

— Видишь? — спросил он.— Теперь ты видишь, что с тобой невозможно разговаривать? Вот и все вы такие.

Говоря это, он награждал меня короткими тычками. Потом передал мне два холодных металлических брусочка и приказал зажать их в руках.

— Крепко зажал? — спросил он.

— Крепко,— ответил я и вскрикнул Это был удар тока, и весьма сильный.

— Так ты руководитель МИРа?

— Я член соцпартии, а не МИРа.

Оставив временно электричество, меня снова начали бить. Били с час. Дважды я терял сознание. Каждый раз после этого мне давали «отдохнуть»... Казалось, что сильнее отделать человека уже невозможно. Поэтому молодой стал меня выталкивать из камеры.

— Куда ты его? — вмешался другой.

— Пусть убирается к чертовой матери.

— Как так? Над ним еще можно поработать.

— Да нет, посмотри на него,— отвечал молодой.

— Как же мы его отпустим, если ни слова не вытянули? — настаивал старший.— Ты же понимаешь, что он так ничего и не сказал!

Молодой сдался и решительно выругался:

— Ну ладно, падаль, сейчас я тебе покажу!

Меня раздели и подвели электрические провода в область паха. Я упал.

— Будешь ты говорить, подонок?

— Но что вы хотите? Чтобы я придумывал? Что вы хотите?

— Хочу, чтобы ты сказал всю правду.

Я был не в состоянии выносить новые мучения и взмолился:

— Знаете, я не понимаю, чего вы хотите. Но лучше пристрелите меня...

Меня снова подняли на ноги. Молодой приказал подтянуть штаны.

— Смотри — обмарался. А все потому, что не хочешь сказать правды. Тогда подписывай вот здесь!

Я не мог писать — дрожала рука. Повязку с глаз мне сняли. Тут я заметил, что за столом сидит еще один военный. Видимо, тот, кто вел протокол.

— Подписывай свой смертный приговор!

— А за что вы меня расстреляете?..

Правая рука не действовала. Я поддержал ее левой и поставил свою подпись. Не знаю, что это была за бумага, потому что даже букв не видел. Кроме того, мне все уже было безразлично...

— Так, теперь ведите его на расстрел. Он сам подписал себе приговор...

Уводили меня оттуда те же новобранцы, что привели.

— Зайди причешись,— сказал один из них.

Он завел меня в туалет. Я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в кровоподтеках, волосы растрепаны, глаза налиты кровью... Было около пяти часов вечера...

Меня освободили десятого октября, ничего не объяснив Почему? Ведь в заключении оставались многие товарищи, еще менее виноватые, чем я, оставались на пытки или на смерть. Может быть, из-за беспорядка в бумагах, из-за общего хаоса, царившего там, из-за путаницы в этом огромном количестве «дел»? Однако я не исключаю, что кое-кого отпускали затем, чтобы выследить его контакты, вскрыть организации сопротивления...

Поэтому я держался подальше от завода и от дома, лишь изредка встречаясь со своими. Однажды товарищи по работе сообщили жене, что полиция снова меня

[1] Государственная компания по распределению топлива.

разыскивает. Видимо, следователь забыл спросить что-то очень важное. Но тут как раз мне пришло разрешение на право убежища в одном из посольств. Честно говоря, я рад этому, потому что мне вовсе не хотелось бы протянуть ноги в «комнате смеха». Но с другой стороны, очень боюсь за жену. Правда, против нее они ничего не имеют. Но никто не знает, чего от них можно ждать...

Карлос Ку: Один юноша — рабочий, раньше побывавший на «Эсмеральде» [1],— тоже рассказывал мне, что его пытали электричеством. Причем целыми днями с небольшими перерывами «на отдых». Ток подводили к любому месту тела, куда вздумается По его словам, все это делалось весьма квалифицированно «научно». Кто же обучил их этому? Мы полагаем, что специалисты прибыли из-за границы. Просто невозможно поверить, что у нас в Чили имелась собственная настолько отработанная техника пыток и убийств.

Марсель Льона: На допросах присутствовали какие-то белобрысые упитанные молодцы с длинными до плеч волосами. Все время торчали там, хотя сами никаких вопросов не задавали — наблюдали со стороны за ходом дел. Разговаривали только с офицером, и то не в камере, а

в его кабинете. Забирали туда материалы на арестованных и протоколы допросов. Наверное, для контроля или для заключения.

Подобные же белобрысые типы бродили и по стадиону, но эти были в военной форме. Злющие — чуть что, хватались за револьвер. Но впечатления кадровых военных не производили. Солдатам, например, кричали: «Эй, ты, иди-ка сюда!» Настоящий же офицер приказал бы по уставу: «Солдат такой-то, явитесь туда-то или сделайте то-то!..»

Виктор Хара

Рассказывает Сесар: Жена Виктора — англичанка, балерина Жоан Тернер — вспоминает, что 11 сентября муж ее рано уехал в Технический университет. Он там отвечал за революционную пропаганду. В то утро в большом зале университета готовился антифашистский митинг с участием президента Альенде. Виктор должен был петь.

Под вечер, когда мятеж был уже в полном разгаре, Виктор позвонил жене. Народ не успел разойтись из университета до начала комендантского часа, объявленного на три часа дня. Хара просил Жоан не волноваться за него, обещал вернуться домой на следующее утро, предупредил, чтобы она не выходила на улицу, тем более с дочками.

Виктор Хара был арестован в Техническом университете и доставлен в спортивный зал «Чили». Известно, что там он сочинил песню. Кто-то из товарищей сумел передать ее жене. Виктора нещадно били. Ему приказывали: «Пой, мерзавец!» И он пел. Одни говорят, что пел он свою песню «Венсеремос» [2], другие — «Интернационал».

Патрисио дополняет: Несколько бразильцев мне рассказывали о том, что произошло с Виктором Харой в зале «Чили». Их потом перевели на Национальный стадион, где мы и познакомились. Они говорят, что били его варварски: прикладами, лежащего на полу — по лицу, по груди, по рукам. Ударами раздробили пальцы. Последнее, что ему переломили,— позвоночник. Когда его потом подняли, он согнулся пополам. Я представляю, как он мучился. Охранники подозвали к нему бразильцев и сказали: «То же самое произойдет и с вами». Говорят, что его заставляли петь, и он пел «Венсеремос».

Энрике Владимир Тапиа: Когда мы прибыли в зал «Чили», заключенными был забит весь наружный коридор. Мы долго толклись там. Виктор тоже был с нами и затерялся в толпе, потому что одевался он очень просто и ничем не выделялся среди других. Охранники были с севера страны и не знали его в лицо. Потом подошел офицер, сразу насторожился и спросил: «Ты кто?» — «Виктор».— «Ага, Виктор Хара! А ну, пройди со мной!» И его увели.

А. Монсальве: Товарищи из компартии беседовали с одним человеком, находившимся в зале «Чили», когда убили Виктора Хару. Беседа была записана. Вот что рассказал этот человек:

«Виктора Хару привезли в спортивный

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС
СТАДИОН

[1] Военное учебное судно, превращенное хунтой в плавучий концлагерь.
[2] «Мы победим».

зал «Чили» в среду 12 сентября вместе с рабочими и студентами Технического университета, после налета на это учебное заведение и его бомбардировки. В «Чили» Виктора опознал один из офицеров-карабинеров. «Ты, сволочь,— Виктор Хара!» И начались истязания выдающегося фольклориста и директора театра. Офицер бешено набросился на него и стал бить прикладом винтовки: по животу, по голове — куда попало. Виктор упал. Тут подскочил еще один офицер и присоединился к первому. Они били его ногами и грязно ругались. Один из них носком сапога попал Виктору в лицо, глаз его налился кровью. А офицеры орали и били. Виктор лишь пытался сжаться, но не кричал.

Пришел начальник «лагеря заключенных».

— Руки ему вырвать, сукиному сыну! — и ударил Виктора дубинкой.— Пой, сволочь! Встать!

Его подтащили к перегородке, положили руки на перила и стали колотить по запястьям, по пальцам. Били, пока руки не превратились в кровавую массу. Это происходило в вестибюле. В спортивном зале находились пять тысяч человек, и многие были очевидцами истязаний. Те, кто видел все это, плакали от бессилия. Они уже получили или должны еще были получить свою долю мучений... Виктор опять на полу. На несколько минут его оставляют в покое, а потом — новые побои.

Фашисты, которые окружили его, хвастались им как военным трофеем. Это были офицеры военной авиации. Встали вокруг, оскорбляли, по очереди пинали ногами.

— Хочешь покурить, собака?

Виктор молчит. Тогда зажженную сигарету тушат о его руки.

Издевательства продолжались до позднего вечера...

На следующий день о нем, казалось, забыли. Ведь были и другие «развлечения». Кто-то приказал перетащить его к остальным заключенным. Все узники проявили участие. Приносили кто кусок хлеба, кто галету, бинт, пиджак, чтобы накрыть его. Виктор как будто пришел в себя. Говорил о жене, вспоминал дочек, размышлял о том, что может произойти с Чили...»

Сесар: Виктор родился в Лонкене, маленьком городке на юге, в крестьянской семье. Он очень любил свою мать Аманду — она была хорошей исполнительницей народных песен. Именем матери он потом назвал одно из своих чудесных сочинений. Позже, когда мать овдовела и не могла прокормить семью на мизерную пенсию, они переехали в Сантьяго. После смерти матери Виктор жил у сестры. Два года до армии учился в семинарии.

Возвратившись с военной службы, он серьезно занялся проблемами театрального искусства. Хара был единственным у нас руководителем театра, окончившим чилийский университет. Уже тогда он начал выступать с народными песнями и танцами в ансамбле «Кункумен». Ансамбль поставил несколько вещей Сиевекинга, с которым потом выступал на Кубе и был очень хорошо принят. Особенно большой успех имели последние зарубежные гастроли. Я помню, что в день неудавшегося антиправительственного мятежа 29 июня Виктор находился в Лиме. Его выступление в этот день завершилось впечатляющим массовым митингом...

Виктор Хара был яркой творческой личностью, но не был индивидуалистом, всегда работал с людьми и для людей, не замыкался в себе, постоянно советовался, прислушивался к мнениям других.

И очень много работал. По просьбе товарищей из министерства строительства написал для них гимн. Хотелось бы сейчас разыскать его... В последнее время он решил отказаться от сочинения отдельных песен, а создавать монументальные произведения на значительные темы... Готовил грамзапись совершенно оригинальной вещи — своего рода музыкально-инструментальной карты всей страны.

Но кроме всего прочего Виктора, как и многих артистов, вообще интеллигенцию Чили, в последние годы характеризовало и еще нечто очень существенное — он являлся активным и дисциплинированным солдатом — участником народной борьбы... Был членом коммунистической партии и сражался не только своим искусством, но и как непосредственный участник повседневных политических схваток.

Рассказывает Дж. М. Вильсон: В субботу 15 сентября нас вывели из спортивного зала в фойе. Огромная толпа. Туда же привели Виктора Хару, которого до этого держали, по-моему, в подвале. Допрашивали. А сейчас нас всех готовили к отправке на Национальный стадион. Лицо Виктора было все в кровоподтеках. Но я все равно узнал его. Подошел и спросил: «Ты Виктор Хара?» — «Да товарищ,— ответил он.— Ну, как дела? Кажется, мы где-то встречались?»

Я напомнил ему, где мы встречались.

Мы находились в группе «особо опасных» заключенных. Спросил его, как с ним обращались. «Хуже некуда»,— ответил он.

Виктор поднял рубашку. Живот представлял собой невообразимое зрелище — сплошные синяки и кровоподтеки. Совсем свежие.

— Здорово отделали,— сказал я.

— Изрядно,— ответил он таким тоном, словно еще не верил, что все обернулось настолько плохо.— Но мы должны идти вперед. Снова начинать оттуда, куда нас отбросили.

Это было в субботу, а ведь его держали там со среды и все время били. Какую нужно было иметь волю, чтобы ответить так...

Было уже поздно, и люди, кто как мог,

DEAD

пристраивались соснуть, но тут вошли солдаты и приказали всем встать. Зал пришел в движение. Начали выводить заключенных. Я заметил, как провели группу «особо опасных», среди них были министры Флорес и Годой, профессор Марио Сеспедес. На выходе какой-то высокий военный чин остановил Виктора:

— А вы, Хара, останьтесь. Вы будете нам петь.

Виктор остановился и спросил:

— Хорошо. Но что же вы хотите, чтобы я вам спел?

— Пока ничего. Останьтесь здесь, а там посмотрим.

Больше мы его не видели. Известие о его смерти пришло к нам много позже, когда мы находились на Национальном стадионе. Его убили только за то, что он был прогрессивным композитором и певцом.

Официальное извещение гласило, что труп Виктора Хары был найден в одном из рабочих районов. Он был изрешечен пулями. Газеты хотели создать впечатление, что Хара погиб в уличной стычке.

Продолжение беседы, записанной коммунистами: В субботу 15 сентября,— рассказывают товарищи,— заключенным объявили, что всех переводят на Национальный стадион, и мы думали, что Виктора отправят вместе с нами. Казалось, что власти забыли о нем. Утром он начал диктовать новое стихотворение — «Стадион «Чили». Но не окончил. Его взяли с трибун и присоединили к группе товарищей, квалифицированных как «марксисты — специалисты по взрывчатке». Увели в раздевалку, превращенную в камеру пыток. Виктора бросили на пол и стали избивать. Били беспощадно... Отдыхали и снова били. Один студент-иностранец, которому посчастливилось вырваться из этого ада, рассказывал, что у Хары кровь шла изо рта, носа, ушей. Так умер Виктор Хара.

Позже, в назидание другим, его труп выволокли в фойе. Хара полной чашей испил все, что было уготовано людям в зале «Чили», но постоянно думал о товарищах, об их трагедии. О ней говорится в полных гнева строках его последней песни:

...Один скончался, другого били так, что
трудно поверить-
Ведь это же был живой человек..
...Кровь для фашиста — награда,
Убийство — медаль «за геройство».
И это тот самый мир, что ты создал,
бог мой?
Для этого ты семь дней трудился
не покладая рук?

Сесар: 19 сентября в среду к Жоан пришел один товарищ и осторожно намекнул, что работает в морге над опознанием трупов и...

Жоан пошла в морг в сопровождении подруги. Сначала просмотрела списки погибших, вывешенные у входа. Виктор в них не значился. Ее провели внутрь. Не в подвал, где обычно хранятся трупы, а наверх, на галерею. Там в один ряд было уложено около шестидесяти тел. Как тяжело было идти вдоль этой шеренги, вглядываясь в лицо каждого. Здесь Виктора тоже не было. Тогда ее пригласили в коридор, где было еще сорок трупов. Главным образом рабочие. Это было видно по одежде. Там и нашла Жоан своего мужа.

Костюм на Викторе был разодран, виднелись многочисленные ссадины, на бедре зияла огромная рана. Тело было прострелено в нескольких местах. Он лежал с открытыми глазами, они придавали его лицу выражение твердой решимости смелости человека, который до самой смерти стоял за свое дело...

Я буду идти!

Пусть труден мой путь,
С него не сверну
И знаю и верю —
До цели дойду!

(Из песни Анхеля Парры—узника концентрационного лагеря Чакабуко)

Трагедия Чили — в наших сердцах. В сердце каждого советского человека. В сердце каждого честного человека планеты.

Глубокое душевное волнение вызвали страницы опубликованной в майском номере нашего журнала книги — документального повествования — «Последняя битва президента Альенде». Перед читателями предстали последние часы жизни и борьбы выдающегося чилийского патриота, до конца выполнившего свой долг перед народом, избравшим его на пост президента республики, самоотверженно решившегося на подвиг, но не сдавшегося, не капитулировавшего, не покинувшего свое место в бою — в неравном бою. Танки, самолеты, артиллерийские орудия, ракеты — все было направлено врагами чилийского народа против горстки защитников последнего оплота конституционной власти в стране — президентского дворца Ла Монеда. А во главе защищавших чилийскую демократию лишь с пистолетами и винтовками сражался Сальвадор Альенде — в его руках был автомат Калашникова советского производства, подаренный ему Фиделем Кастро; на автомате была надпись, сделанная вождем кубинской революции: «Моему боевому товарищу». Так в подвиге н а ш е г о боевого товарища и друга, лауреата международной Ленинской премии мира символически отразилась идея интернационализма народов, борющихся против империализма и реакции, отстаивающих свободу и независимость.

Подвиг президента-патриота не единичен.

До последнего дыхания сражался с врагами Пабло Неруда, оставивший строки, насыщенные гневом и боевой страстью.

До последней капли крови сражался с врагами народный певец Виктор Хара.

Тысячи и тысячи чилийских патриотов — и павшие жертвами фашистского террора, и томящиеся поныне в тюремных застенках и концлагерях хунты — не капитулировали, не склонили головы перед палачами.

Из страшного концентрационного лагеря на острове Досон донесся голос генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана: «Я люблю жизнь, но не боюсь смерти, если придется умереть за справедливое дело...»

Бесчисленны зверские преступления чилийских фашистов, пытающихся повернуть вспять колесо истории, воскресить ее самые мрачные времена, укрепить режим инквизиции на чилийской земле!

И вот еще один документ фашистского террора в Чили — отрывки из полученной нами в рукописи книги чилийского публициста Серхио Вильегаса «Стадион».

В книге «Последняя битва президента Альенде» были воспроизведены часы одного дня — трагического для судеб страны 11 сентября 1973 года. И было показано одно место действия — президентский дворец.

В книге «Стадион» воспроизведены часы, дни, недели, месяцы, прошедшие с тех часов во дворце Ла Монеда.

И это свидетельство — живая запись высказываний побывавших в фашистском аду — не ограничено стенами Национального стадиона в чилийской столице, превращенного в концлагерь.

В гигантский концлагерь обращена вся страна — республика Чили. «11 сентября,— писал автор книги «Последняя битва президента Альенде»,— был тем днем, когда предательство и смерть проложили путь жестокостям фашистов в Чили».

Сегодня фашисты неистовствуют в Чили. Но не удастся банде убийц увековечить свой кровавый режим в стране Сальвадора Альенде и Пабло Неруды. Чилийцы вернут себе Чили — свою родину, измученную, истерзанную, залитую кровью, но не порабощенную. Залогом этому служит мужество чилийских патриотов в тяжелый час борьбы. Демократов Чили поддерживает движение солидарности, растущее и ширящееся во всем мире.

Пробьет час для палачей чилийского народа. «История вынесет им свой приговор»,— звучат и сегодня слова Сальвадора Альенде, сказанные президентом в последнюю минуту своей жизни. И ничто не сможет заглушить эти слова, как ничто не сломит волю народа Чили.

Публицистика

НЕОБРАТИМОСТЬ ПЕРЕМЕН

Из репортажей и очерков румынских писателей

Вступление и перевод с румынского МИХ. ШУЛЬГИНА

Леденящая душу картина физических и нравственных страданий людей, загнанных в ядовитую клоаку довоенных бухарестских дубилен,— и тут же очерк: восторженное описание современного завода, где все трудоемкие и опасные для жизни операции по обработке кожи производят машины под присмотром электронного глаза, а работа дает радость и удовлетворение, требует от человека мысли, постоянного совершенствования; гротескные, изобличающие документы об изуверской политике одного из крупнейших нефтяных трестов довоенной Румынии (анонимного общества «Грыжа», как называли его нефтяники) и следом — размышления современного румынского рабочего о буднях труда, значительности сделанного, моральных обязанностях строителя социализма... Нелегко поверить, что между этими несовместимыми, «крайними» точками человеческого бытия дистанция всего лишь в три десятилетия — половина жизни одного поколения.

23 августа 1944 г. патриотические силы Румынии, руководимые коммунистической партией, свергли фашистский режим Антонеску, расшатанный до основания поражениями на советском фронте. Создались благоприятные условия для развертывания революционного движения масс, приведшего к установлению народно-демократического режима, к строительству социализма.

Поставленные рядом, публицистические материалы четырех авторов убедительно свидетельствуют о масштабности происшедших в Румынии преобразований. Разные по жанрам (литературный репортаж, очерки, беседа, записанная на пленку), по уровню и характеру авторов (маститые очеркисты, начинающий репортер, кадровый рабочий крупного современного предприятия), материалы эти обладают внутренним единством: в них прослеживается судьба одного и того же героя. Герой этот — рабочий класс Румынии, на плечи которого легла главная тяжесть буржуазно-помещичьей эксплуатации и наибольшая ответственность в борьбе за свержение фашистского ига и строительство новых общественных отношений.

Эта нелегкая судьба и побудила очеркиста Джео Богзу в 30-е годы пройти все круги «румынского рабочего ада»: побывать на горящих нефтяных промыслах, в отравленных ядовитыми испарениями и зловонием цехах дубилен, спуститься в удушливый мрак горных разработок в Карпатах — всюду, где, по его словам, «проходил красный фронт борьбы между эксплуататорами и эксплуатируемыми». Нет в румынской литературе другого писателя, который бы с такой безжалостной силой публициста обличал мерзости мира капитала, достигшие в тогдашней «восточной Бельгии» поистине фантастических форм. И сила эта рождалась не только соприкосновением яркого дарования с самыми мрачными сторонами эксплуатации рабочих Румынии, но и уверенностью в том, что очерки о трагических днях шахтеров, кожевников, нефтяников были «грозным оружием, которое послужит завтрашнему преобразованию мира».

Прямо перекликается со знаменитыми репортажами Джео Богзы о дубильнях Бухареста очерк Траяна Кошовея «О том, чего достоин кожевник». Джео Богза (в этом особый интерес очерка) здесь сам — действующее лицо. Писатель, посвятивший свое дарование борьбе за человеческие условия жизни румынских рабочих, приглашает собратьев по перу посетить кожевенный завод — посмотреть, как создаются эти условия в обновленной стране.

Но главное все же — не в условиях, а в переменах психологии рабочего человека, рождение черт нового, социалистического сознания.

Героями очерка известного писателя Иоана Григореску «Люди нефтяного края» выступают нефтяники долины Праховы. Чувство долга, ответственности за будущее страны определяет их отношение к труду, способность пойти на подвиг во имя этого будущего.

В рассказе, поведанном героем очерка А. Мончу-Судински «Характеры», отражены наиболее значительные этапы развития послевоенной рабочей Румынии: возвращение с антигитлеровского фронта, борьба за демократические права, за народную власть, неустанный, многолетний труд во имя созидания нового общества, забота о сохранении и умножении революционных рабочих традиций. Рабочий инструмент молодого очеркиста — магнитофон, его метод — сведение своей собственной роли до амплуа «внутреннего собеседника», ненавязчивого партнера, умелого организатора монологического повествования.

Освобожденный от каких бы то ни было литературных довесков, достоверный рассказ Даниела Телеоакэ обретает особую убедительность настоящего «куска жизни», позволяющего понять глубинность и жизнеутверждающий характер преобразований изменивших до неузнаваемости лицо Румынии, судьбу ее граждан.

ДЖЕО БОГЗА

НЕФТЕПЕРЕГОННЫЙ ЗАВОД В КЫМПИНЕ

«Наш завод — крупнейший в Европе»,— оповещает каждое воскресное утро зарубежных туристов директор завода, нарядный щеголь в костюме из добротной английской шерсти. Все бухарестские конгрессы, на которых собираются преподаватели средней школы, хирурги или агрономы — румыны или иностранцы,— обязательно завершаются поездкой по долине Праховы, и кульминационный пункт путешествия всегда — посещение нефтеперегонного завода в Кымпине.

Как только приходит сообщение об очередном визите, у ворот вывешивают флаги всех европейских стран, за исключением, разумеется, Советского Союза. Как только автобус с гостями въезжает во двор завода, директор считает себя обязанным объявить: «Наш завод — крупнейший в Европе».

«Дорогие мама и папа. Как вы знаете, благодаря протекции дяди Паула я получил место на заводе «Стяуа ромынэ» в Кымпине. С самого начала должен сообщить вам, что этот завод — самый большой в Европе...»

«Завод, на котором работают наши мужья,— самый большой в Европе»,— думают жены рабочих, когда те спешат на работу, подгоняемые звуками гудков.

«Завод, на котором работает папка,— самый большой в Европе»,— кричат дети, возясь в пыли дорог.

Самый большой в Европе!

Я не знаю, соответствует ли истине это утверждение. Но слышал я его сотни раз, и повторялось оно с неотразимой силой. Вернувшись домой, туристы сообщают соседу: «Я был в Кымпине, видел завод. Это самый большой завод в Европе». А тот вечером повторяет жене: «Н. вернулся из Кымпины, он был на нефтеперегонном заводе. Это самый большой завод в Европе».

Конечно, этот крупный завод в сердце Кымпины — несомненная реальность. Там в огромных отсветах огней трудятся и часто умирают сотни людей. И слова эти — «самый большой в Европе» — всего лишь средство маскировки. Произнесешь их — и уже не думаешь о судьбе рабочего, потерявшего руку в несчастном случае, об участи детей механика, погибшего от взрыва мотора. Все это так мелко по сравнению с пышной фразой: «Я посетил сегодня самый большой нефтеперегонный завод в Европе».

Надо кричать на всех перекрестках, заклеить стены афишами: «Нет, это не самый большой завод в Европе!»

И тогда бы людям пришлось самостоятельно думать о нефтеперегонном заводе, и многие, несомненно, докопались бы до истины, обнаружили бы диверсию.

Ибо слова «крупнейший в Европе» — подлинная диверсия.

У ворот электрические часы проверяют ход времени. Стрелки черными паучьими лапками ползут под стеклом. Ночью циферблат освещен изнутри. Слева и справа от ворот тянется на долгие километры бетонная стена завода. Через дорогу вдоль нее выстроились рядами маленькие, приземистые хибары рабочих. Там уровень земли ниже, поэтому кажется, что все они на дне какой-то ямы. Вода стекает во дворы, образуя бесконечные лужи.

Завод выстроен в самом городе. Две противоборствующие силы — завод и дома рабочих — стоят здесь лицом к лицу. И потому кажется, что огромные часы у ворот — это недремлющее око циклопа, уставленное на дома рабочих и подмечающее каждое их движение, управляющее их отдыхом, сном, грезами. Черные стрелки управляют судьбами нескольких тысяч людей,

жизнь которых неразрывно связана с гипнотическим движением их по циферблату. В час, когда они оповещают о смене, будь то ночью или днем, под крышей завода начинает реветь гудок.

Но и задолго до этого ход часов отзывается набатным боем в сознании рабочих. Стоит стрелкам приблизиться к роковой для их жизни цифре, как они вскакивают с постели, хотя никто их не будил. Часы у ворот завода сверлят сердца людей, сводят скулы жующего хлеб, гасят только что родившуюся мысль, парализуют руку, ласкающую подругу.

Задолго до того, как раздастся рев гудка, на всех прилегающих к заводу улицах появляются рабочие. Шагают торопливо, тревожно поглядывая на циферблат часов. Когда они подходят поближе и часы строго оповещают: «Ладно, ладно, вы не опоздали», вздох облегчения вырывается из их груди. Но ворота еще закрыты. Перед ними стоит толпа в несколько сот рабочих. Напротив — корчма с грязными, пустующими в этот час столиками. Вдоль тротуара выстроились несколько старых крестьянок, перед ними на разостланных платках ровные кучки плодов: 10—15 черешен или слив, два-три яблока стоят одну лею. Покупают в основном парнишки, ученики. Взрослые же торопятся докурить папиросы. Жадно, глубоко затягиваются. Внутри курить строжайше воспрещено. Строже, чем на пороховом складе. Гудок протяжно стонет, звук этот пронизывает весь город. Люди, собравшиеся у ворот, гасят папиросы. Ворота широко открываются и проглатывают всех.

На улице остались только старые крестьянки, дремлющие около своего запыленного товара, да дети моложе двенадцати лет, которых не берут еще в ученики, и жены рабочих, вышедшие за покупками. Пол-литра растительного масла, на две леи молотого перца, на пять — сахару, сто граммов манной крупы — вот в таких количествах покупают продукты в лавчонке «на все вкусы» за углом жены рабочих самого большого нефтеперегонного завода в Европе. Только молодые еще проявляют признаки женственности — легкая походка, аккуратно уложенные волосы, красная юбка. Остальные же, сложив большие руки на животе, горестно сжав губы, заходят в лавку в окружении двух-трех мальцов, цепляющихся за полы юбки, пожирающих глазами банки с конфетами, и еле слышно произносят: «На две леи ячневой крупы».

На заводе огни не гаснут ни на мгновение. Очистка нефти идет беспрерывно. Из труб, которые отсюда выглядят поистине громадными, валит густой дым. В огромные цистерны, расположенные вдоль стен, стекает нефть, добываемая из недр земли на сотнях промыслов, усеявших ближние холмы. Она смолисто-черная, пенистая, стремительная. Насосы перекачивают ее по многочисленным трубам, ее кипятят, терзая всячески, выжимают из нее все, что только можно — бензин, парафин, керосин,— пока не остаются одни отбросы, их зловоние заполняет улицы Кымпины.

У каждого скопления котлов — табличка: «Опасно!». Опасно курить, опасно трогать рукой, опасно подходить. Смертельно опасно! Можно превратиться в обугленные останки, можно взорвать весь завод. Но несмотря на это люди пробираются сквозь тысячи опасностей, открывают и закрывают вентили, следят за беснующимися механизмами.

Эта смелость отнимает столько сил, что вечером по спиральным лестницам спускаются к выходу люди, совершенно оглушенные жарой, шумом, чрезмерным нервным напряжением.

Об этих людях, об их жизни и труде не думает ни один из ротозеев, гордо изрекающих: «Крупнейший в Европе».

ГНУСНАЯ КОМЕДИЯ С ОПЛАТОЙ НЕФТЯНИКОВ

Гнусность этой процедуры, ее безнравственность обусловлены не только низким уровнем зарплаты рабочих, но и сказочными, астрономическими цифрами окладов генеральных директоров. Несколько лет тому назад вся страна с возмущением узнала, что генеральному директору железных дорог собирались платить четыре миллиона в год. Четыре миллиона в год! Страна, где рабочие еле зарабатывают на мамалыгу, а служащие могут износить лишь одну пару подошв в год, буквально замерла, узнав об этой сказочной цифре. Только директора нефтяных обществ сочувственно улыбнулись. Четыре миллиона? Сущая безделица по сравнению с суммами, которые они привыкли ежегодно вписывать в графу доходов.

А как же заработки рабочих? Не заработки — горе горькое!

Доподлинно известно, что начиная с 1929 г., когда грянул кризис в нефтедобывающей промышленности, все тяготы ложились исключительно на плечи рабочих. Для того чтобы сохранить в целости свои сказочные оклады, директора и весь руководящий состав нефтяных обществ прибегли к массовым увольнениям. В то время как рабочим, оставленным на производстве, зарплату сокращали до 70 процентов, оклады генеральных директоров не только не уменьшались, но в очень многих случаях даже увеличились. Сохранились даже денежные премии и прочие подарки — от ста тысяч и выше. Если же надо было экономить, если надо было безжалостно сокращать зарплату — это делалось за счет рабочего люда.

На нефтеперегонных заводах, а пуще всего на промыслах эту операцию проводили беспощадно, резали по живому месту. Чтобы добиться тех же результатов при меньшем количестве рабочих, были введены новые правила труда, среди них двенадцатичасовой рабочий день был не единственным беззаконием. Чтобы рабочие не протестовали, увольнения проводились ме-

тодами, исключавшими всякую возможность борьбы. Промыслы сперва закрыли, заводы остановили, всюду — мертвая тишина. Затем приняли вновь на работу четверть прежнего числа рабочих с половинной оплатой. Итак, сегодня бурильщик зарабатывает в месяц 1000—1500 лей. Из четырех прежних рабочих промысла трое делают щебенку на строительстве шоссейных дорог или валят лес, получая по 25 лей в день.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫХ?

В речи, произнесенной два дня тому назад в парламенте, господин премьер-министр торопливо назвал среди благодеяний, которыми его правительство осыпало страну в последние два года, и сокращение числа безработных до восьми тысяч человек. Утверждение сие, пропетое господином Татарэску с трибуны парламента, всего лишь печальная — если не сказать зловещая — шутка.

Восемь тысяч безработных в Румынии? Полноте! Может быть, господин премьер-министр имеет в виду не страну, а свою либеральную партию, может быть, хочет сказать, что эти восемь тысяч — его сторонники, которым не удалось в период нынешнего правления заполучить в руки жирные должности в министерствах, префектурах, мэриях? Но эти политические безработные интересуют нас мало, вряд ли стоило говорить о них.

Если же господин премьер-министр говорил серьезно и назвал безработными не своих политических сторонников, а действительно тех горемык, которые ищут работу, не находят ее и голодают, тогда да будет нам позволено сказать, что восемь тысяч таких людей можно найти по меньшей мере в каждом уезде, в каждом крупном городе, что восемь тысяч безработных можно обнаружить в каждой из тех десятков профессий, с помощью которых люди зарабатывают на хлеб насущный в этой стране.

Из огромного числа безработных восемь тысяч — это, возможно, количество тех, кто кончил жизнь самоубийством или умер с голоду за период правления либеральной партии. Вполне вероятно также, что цифра «восемь тысяч» отражает количество тех, кто за это время попал в тюрьмы и на каторгу.

С реальным количеством безработных цифра, названная господином премьер-министром, не имеет ничего общего, она и отдаленно не отражает истину, между ними такая же разница, как между мухой и слоном.

1935 г.

РУМЫНСКАЯ ПАСХА

С некоторых пор иные ретивые щелкоперы на все лады склоняют так называемую «румынскую пасху»

Как известно, в городе вероисповедания перемешались, обряды обновились (начиная от шоколадных яиц и кончая бархатной подушечкой, которую верующие подкладывают под колени, чтобы удобнее было слушать легенду о том, как проткнули копьем распятого Христа). Нам остается сказать лишь о том, как встречают эту самую румынскую пасху в деревне

Я никогда не утверждал, что мне открыты сердца людей, а потому не берусь сказать, что происходит в душе крестьян в дни пасхи. Ограничусь описанием того, что видно на улице и в крестьянских дворах.

Замечу прежде всего, что наиболее существенной приметой этого праздника в деревне является то, что румынский крестьянин в эти дни ест хлеб. Событие это редчайшее, оно происходит лишь несколько раз в году — в исключительных случаях. Пасха приносит очень многим исполнение желаний — путешествия, обновы и так далее. Так вот, крестьяне не составляют исключения: у большинства из них мечта становится явью — праздничный пасхальный стол украшен буханкой хлеба.

На пасху румынские крестьяне едят хлеб. Недаром вещает священник в храме: «Придите, отведайте тело господне!»

Медленно, благочестиво, словно это настоящая просвира, жуют селяне хлеб. А после обеда дети выходят к воротам, неся в руках ломти хлеба. Они показывают их друг другу, сравнивают, точь-в-точь как городские дети — игрушки.

Такое происходит лишь на пасху да еще два-три раза в год. И это верно в отношении, по крайней мере, трех четвертей крестьянства, которое, как известно, составляет три четверти всего населения нашей страны. Страны, чьи золотистые хлебные поля воспеты с таким неиссякаемым жаром поэтами, взлелеянными властями. Никто не поет о том, что румынский крестьянин ест хлеб только на пасху. Никто не поет о детях этих крестьян, выходящих на улицу похвалиться перед другими детьми своим ломтем хлеба. Зато как много красивых слов об аисте на крыше, о беленых хатах, о золотистых стрехах... Конечно, поэты не самые большие ослы на нашей земле, но уши у них изрядной длины.

Беленые хаты... Конечно, на пасху белят стены домов. Не все десятки тысяч так и остаются желтеть, обмазанные глиной, словно скотные дворы. Но остальные все-таки белят. Килограмм извести стоит две леи. Всю зиму дети умирали от чахотки, и запах извести отгоняет трупное зловоние, дезинфицирует. Так что на пасху стены сверкают белизной. Как и хлеб, купленный в городе.

И это все. Вот она — румынская пасха. Буханка хлеба на столе крестьянина, побеленные известью хаты, в которых болели и зачахли дети.

И больше ничего.

1935 г.

ЖИЗНЬ ПРОМЫСЛА

Когда-то здесь был сад расцветших абрикосов, слив, а рядом, возможно, хата. Все снесено топорами. Это первая радость эксплуататора — теперь он властелин этой земли и может ее преобразовать по своему желанию и законам нефтедобычи. Никаких домов, никаких деревьев. Бригады рабочих орудуют лопатами и кирками, разравнивают площадку под основание вышки.

Иногда основание приходится строить на склоне холма. Тогда срезают вершины или выносят тысячи кубических метров земли, чтобы получить нужную ровную площадку. На промыслах этим делом занимаются специально привлекаемые подрядчики. Они нанимают самых разных рабочих — от жителей Трансильвании в волосатых бурках (те копят каждую монету и посылают деньги женам по почте) до трактирных забулдыг и картежников, которые приходят заработать 50—60 лей, чтобы вечером снова попытать счастья за игорным столом.

На эту работу берут всех, и люди, привлеченные зыбким благополучием, разравнивают, грудясь бок о бок, площадку будущего промысла. Утром они голодные, к вечеру работают веселее, потому что хозяева торопятся, им не терпится увидеть скорее вышку и потому выставляют рабочим несколько бутылей цуйки.

Чуть-чуть в стороне под градом шуток и непристойностей трудятся девушки. Они приехали сюда заработать на приданое. Получая несколько лет кряду по 40 лей в день, они могут скопить на десяток килограммов хлопковой пряжи, корову и два новеньких подойника. Они являются сюда ежедневно из соседних деревень, отстоящих порой на 15 километров от промысла. Встают в четвертом часу утра и, собравшись группками, шагают напрямик по тропкам, ведомым только им да диким белкам.

Девушек используют там где мужской труд обошелся бы слишком дорого. Они копают канавы для отвода воды или под руководством «старшины» тянут канаты «бабы», с помощью которой забиваются столбы. Площадки, особенно если они на склоне холма, часто разрушаются, поэтому вокруг них забивают в землю двойной ряд столбов. Девушки тянут канаты, и чугунная болванка «бабы» поднимается вверх. Сбившись в кучу, они поют хором, громкими, высокими голосами, слышными далеко окрест: «Раз — взяли! Еще взяли!» Дойдя до десяти самая голосистая кричит: «Талиа!» Наступает мгновенный перерыв, после чего все начинается снова: «Раз — взяли...

Возглас этот, не столь известный, как знаменитое волжское «эй, ухнем!», не был записан на пластинки, однако он живет во всей своей суровости — тяжкой звукописью неповторимого мира, борющегося за свое существование...

РАБЫ КНЯЗЯ ШТИРБЕЯ

Ушла в прошлое эпоха приспособления к новой экономической действительности бывших аристократов, лишенных буржуазной революцией своих былых привилегий. Маркизы еще оплакивали безвозвратно ушедшие времена, а их сыновья, оставив наследственные замки, становились зятьями плебеев-купцов. А молодые герцогини, поплакав в платочки с вензелями, в конце концов давали согласие на брак с владельцами шоколадных фабрик и прочим деловым людом, выкупавшим закладные на герцогские замки.

В нашей стране зыбкие аграрные реформы заставили латифундистов заняться фабриками, банками, коммерцией. Заседать в правлениях — дело прибыльное, оно с лихвой вознаграждает бывших владельцев огромных земельных угодий за потерянны привилегии.

Нынешний отпрыск семьи Штирбей, лишившийся возможности пороть крестьян у парадного подъезда и требовать с них крепостных повинностей, придумал чрезвычайно простое, но денежное дело — он построил консервный завод. Теперь в самой убогой бакалейной лавке покупатель найдет рядом с кремом для обуви «Гладис» и мазью «Кармол» консервы «Штирбей». Княжеская корона служит маркой — гарантией деловых качеств фирмы.

В Буфте, где-то на полпути из Бухареста в Плоешть, на консервном заводе князя Штирбея в эти дни полным ходом развернулась эксплуатация несчастных валахов. С созреванием помидоров предприятие князя работает на полную мощность. Дети, скопища детей, многим из которых едва исполнилось восемь лет, заполняют двор завода в 5 часов утра и покидают его в 10—11 вечера. Тут громоздятся горы фасоли и гороха, их надо отмыть, прокипятить и поместить в банки со знаменитой маркой «Штирбей».

Работы идут и в воскресенье — с утра до трех часов, за это засчитывается половина рабочего дня. Самые сильные люди получают здесь 50 лей в день. Дети, тоже отдающие все свои силы, получают 15—20 лей — за день, начинающийся в 5 утра и кончающийся в 10 вечера. А в воскресенье те же ребята, которых священник чествил бы последними словами, если бы они отправились на реку купаться, получают по 8 лей, и никому не приходит в голову запретить им работать в этот день.

На заводе князя трудятся люди из Буфти и других мест. Жизнь в деревне дорога. Буханка хлеба меньше бухарестской, хуже по качеству и стоит на лею дороже. В жаркие дни труд на заводе изнуряет: залитые потом люди с 5 утра и до 10 часов вечера томятся у автоклавов или в посудном цеху, где с помощью ножниц и огня из жести изготовляют банки.

В результате такой потогонной системы обычный консервный завод приносит баснословные прибыли. Князь-привидение Штирбей может свободно разгуливать по загра-

ницам, ужинать в самых фешенебельных ресторанах западных столиц. Земельные владения урезаны, зато есть консервный завод. Людей уже не порют у парадного подъезда, зато им платят по 15 лей в день. Князь может жить и благоденствовать за границей, как и в добрые времена крепостничества. Еще одну бутылку шампанского! Ведь в Буфте на его валашском консервном заводе люди работают всего лишь с 5 часов утра и до 10 вечера...

1935 г.

РАБОТА НА КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДАХ

В едком, тошнотворном угаре дубилен работают с утра до вечера мужчины, женщины, дети. Женщины потому, что их труд оплачивается дешевле, чем мужской, дети потому, что они обходятся дешевле, чем женщины. Если машина попроще и не требует обязательной мужской силы, к ней приставляют женщину. Даже если сила ее меньше той, что требуется для работы на данной машине. Распределение всегда производится таким образом, чтобы в проигрыше оказался рабочий. Если для нормальной работы машины требуется коэффициент труда 100, обеспечиваемый человеком, которому надо платить 80 лей в день, то к ней приставляют человека с коэффициентом 85 и платить ему будут 60 лей в день. Разница в 20 лей остается предприятию, а разницу в 15 в коэффициенте труда, требуемого для данной машины, должен восполнить рабочий какими угодно средствами и как он знает. Машине нужно 100, и выжимает она из человека 100.

Таков закон работы всех предприятий: к машинам с коэффициентом 100 приставлены рабочие с коэффициентом 85. И так не только при машине, а всюду, где приходится оплачивать труд рабочего. Весьма предрасположенные к математическим выкладкам хозяева не могут не рассуждать следующим образом: чтобы выгрузить этот контейнер из машины, требуется сила человека, которому я плачу 80 лей в день. Поставлю-ка я такого, который берет лишь 60. Ничего — поднатужится, но работу сделает. А если коробки поменьше, для которых нужен человек, получающий 60 лей, поставим того, кто берет лишь 40, а то и женщину. А там, где справилась бы женщина, подойдет и малец. Расчеты, расчеты...

На столе в конторе раскрыта бухгалтерская книга, и чиновник в сером записывает в нее цифру за цифрой. Цель каждой такой цифры, каждой арифметической операции — урвать еще ломоть рабочего хлеба. Снизим зарплату на 5 процентов, заставим их работать на 8 процентов быстрее. Выжмем из них пота и крови на 3 процента больше. В книге множатся черные пауки цифр, в рабочих хижинах хлеба все меньше, а моторы фабрики работают все быстрее, все мучительнее. К вечеру голова рабочего тупеет, легкие мертвеют.

Здесь невозможно передохнуть, а затем начать с новыми силами работу. Труд на кожевенном заводе — одно мучительное, нескончаемое усилие. Рабочие действуют быстро, лихорадочно, гяжко дыша, словно вот-вот подкатит поезд, на который никому не позволено опоздать. Машины, покорные неистовым моторам, шумят безостановочно, требуя все новых и новых шкур,— при первой же заминке они издают тревожный вопль, слышный в заводской конторе. Чтобы этого не случилось, чтобы ненароком не взволновать хозяйское сердце, двести рабочих, через руки которых проходят шкуры до поступления в машинный зал, тоже торопятся, включаются в тот же лихорадочный машинный темп, и он безжалостно увлекает их, доводит до полного истощения...

■

На первых этапах пути, который проделывают шкуры, как только они оказались на дворе завода, нет ничего, отдаленно напоминающего промышленность. Здесь не видно ни единой машины. Для первых операций нужна не рабочая квалификация, не сноровка, сообразительность. Нужна сила животного, нужен грубый, отупляющий труд. Подняв тяжеленную охапку грязных шкур, рабочий переносит их из одного помещения в другое. Этим занимаются уроженцы Трансильвании, люди с огромными, задубелыми ручищами, приехавшие из-за Карпат с сундучком на спине. В один из дней их собрали и привели гуртом сюда. Сперва они слонялись кучками по вымощенному булыжником двору, спотыкаясь, скользя, похожие на тяжеловесных пингвинов. Потом втянулись в работу. В буднях изнуряющего, нечеловеческого труда постепенно рассеивается и страх перед грозным гулом завода, и тоска по дому. Изредка приходит из-за гор письмецо, сообщающее, что сборщик податей увел корову или что сын сломал ногу и надо положить его в больницу. Глаза трансильванца горят, лицо мрачнеет, мышцы напрягаются под грязной рубашкой. Так и хочется впиться кому-нибудь в горло, бить головой об стену. Но перед ним — только что приехавший с живодерни воз, наполненный грязными, окровавленными шкурами. Он яростно бросается к возу, хватает охапку шкур, ничего не видя, не говоря ни слова, не делая передышек, забывая о перекуре. Наблюдая за рабочими из окна директорского кабинета, хозяин довольно улыбается: трансильванцы — народ покорный, трудолюбивый.

Через две недели не узнать белых брюк приезжих, сапог, намазанных жиром. Потускнел зоркий взгляд. Дубильни дубят...

Но вот цех, где одной грубой силы уже недостаточно. Здесь надо быть постоянно начеку. За машинами надо следить неотрывно. Только жители Олтении осмеливаются тут работать. Доведенные до отчаяния хронической нищетой, готовые отдать послед-

нюю каплю сил за лишнюю монету, олтенцы остервенело управляют машинами, достающими шкуры животных из бочек, наполненных едкими кислотами. Реки кислот... Через шесть месяцев рабочих приходится заменять другими, потому что дирекция знает: не сегодня-завтра они свалятся без чувств около этих самых бочек.

На верхних этажах нет уже грязи, нет убийственных ядов. Здесь машинное отделение дубильни. Режущие, гладильные, растягивающие машины. Всюду машины. Станок для прессовки подошв издает оглушающий гул самолетного мотора. Доставленные снизу сырые шкуры еще сохраняют первоначальную форму: они напоминают остров с разорванными краями. Так их содрал с тела животного живодер — с ушами, округлениями у колен. Вступают в действие ножи, неровности исчезают, мощная машина гудит, растягивая, прессуя кожу. Грозный рев пронизывает стены, буравит мозг. Полный хаос...

Сквозь заляпанные окошки видны во дворе люди с бадьями. Они выносят вонючие отбросы дубильни. Туда-сюда. Туда-сюда. Дубильня дубит. Машины не останавливаются ни на мгновение. Прессующий агрегат, обрабатывая кожу, обдает ее паром, извлекает последние ядовитые миазмы. Лица рабочих — в ручейках пота. Ни передохнуть, ни прийти в себя невозможно...

1934 г.

ТРАЯН КОШОВЕЙ

О ТОМ, ЧЕГО ДОСТОИН КОЖЕВНИК

Честно говоря, я не испытывал особого желания посетить кожевенный завод. Кое-что я об этом деле знал, а углубляться потребности не испытывал. Вещи, несущие зло человеку, притягивают меня лишь постольку, поскольку я могу участвовать в их уничтожении и когда я точно знаю, что могу это сделать. Как бы мы ни старались, суждено нам нести до самой старости тяжесть увиденного зла и память о борьбе с ним. Не менее верно и то, что ясными законами жизни нам даровано счастье увидеть исчезновение этого зла и радоваться победе над ним, словно это наша собственная победа.

Нечто подобное произошло недавно с нашим старейшиной и руководителем нашей бригады — писателем Джео Богзой. В 1934 году он побывал на кожевенных предприятиях столицы и в течение тридцати с лишним лет носил в себе тяжесть увиденного, не мог освободиться от страшных тех картин. А теперь он звал нас посмотреть, как, наконец, решена эта проблема,— и отказаться от этого приглашения было просто невозможно. Не меньше нас изготовления кожи интересовали вас — мы должны были увидеть, как решает социализм вопрос о жизни и труде кожевников.

Долгое время владельцы фабрик спокойно мирились с тем, что изготовление нужных им дубленых шкур стоило человеческих жизней. В одежде, обуви, украшениях, которые носили люди, всегда угадывался сумрачный отблеск крови тех, кто их изготовлял. Мир социализма не приемлет бессмысленных жертв его строителей, он может существовать, только отвергая их. И думается мне — в этом причина того, что восхождение его становится все легче, стремительнее, увереннее.

Как же удалось осветить этот мрачный уголок жизни многих и многих людей? Как была решена задача? Все это предстояло понять на кожзаводе Жилава, и потому, как только мы туда приехали, я помчался напрямик к цехам; мне хотелось увидеть людей на тех самых рабочих местах, где так преступно обходились с ними. Как они теперь управляются с кислотами, как перетаскивают горы шкур, выносят смрадные отходы, как дышат в этом зловонии, как им удается жить среди многочисленных опасностей?

...Трудно сказать, где подстерегала людей наибольшая опасность: у бочек с ядовитыми кислотами или там, где их окружала жестокая атмосфера бойни, смерти, биологического распада.

Социализм, применив самую передовую технику, приручил обе стихии, запер их, заботливо оградил человека от их губительного воздействия. Охрана труда — это защита тела и защита души.

Вот они — рабочие места. Ужасные места, но рабочих тут нет, они издали, сверху следят за происходящими процессами переработки кож. Рабочие места! Где те армии людей, которые были бы обречены томиться здесь и умирать в жестокой схватке с ядовитой стихией? Где бы они ни были, эти люди, я счастлив за них. Я радуюсь, думая об их руках, легких, глазах — об их жизни и судьбе. Да сопутствует им счастье. Здесь же вместо них работают эти гиганты из бетона и стали, эти огромные подъемные краны, и электрический ток, и мощные моторы, и этот квадратный пульт автоматического управления — умный и всевидящий мозг производства.

...Есть еще, конечно, отдельные участки, требующие нелегкого труда, но их немного. Вот маленькая круглая площадка в конце огромного здания: сюда прибывают шкуры после обработки кислотами и едкими солями. Рабочие вставляют шкуры в пасть машин и достают их оттуда очищенными от шерсти и затем передают для дальнейшей обработки.

Другие крепкие парни в черных защитных передниках, орудуя толстыми шлангами, смывают скопившиеся нечистоты.

...За небольшими исключениями вид цехов напоминает облик фармацевтической фабрики. А то вдруг покажется, что ты в большом пошивочном цеху или в чертежной мастерской или даже в мастерской декоративного искусства. Хитроумно построенные стены с огромными окнами подобны мощным легким — они обеспечивают людей свежим воздухом. Крупные вентиляторы формой своей напоминают цветы, экзотические лианы: тут и в самом деле могли бы расти цветы, лимонные деревья, олеандры. Из всех человеческих чувств, помимо обоняния, здесь больше всего страдало, по моему мнению, зрение — то, что он видел, обрекало человека на постоянное отвращение и муку. Возможно, поэтому теперь так много сделано, чтобы глаза рабочего не страдали.

Обилие воздуха, разлив света, тишина, мысль, сосредоточенная в умных, современных машинах, обладающих мощью и почти человеческими рефлексами и сконструированных так, чтобы человеку не угрожало никакое несчастье; работа, требующая мысли, постоянного совершенствования, богатой и светлой духовной жизни; богатая продукция, высокое качество, автоматизация, автоматизированная охрана труда, забота о человеке — вот что пришло на смену бездне былого ада...

Кожевенный завод оснащен огромными руками и обширными легкими. У него фотоэлектрические глаза, электронный мозг. Рассеялась мгла давнего проклятия, над заводом уже не витает тень грозного видения, накрывавшего саваном своим беззащитных людей. Бывший грузчик нажимает кнопки; смиренная мойщица надела синий халат и читает диаграммы, графики; золушка превратилась в миловидную девушку в черном сатиновом переднике — она стоит перед панно со светящимися лампочками и свободно определяет звезды и зодиаки колоссальных емкостей, в которых томятся силы, еще недавно терзавшие ее. Весь завод с его просторными, светлыми зданиями олицетворяет в моем представлении нечто глубоко человечное, доброе, он — словно памятник человеческому достоинству.

...Разлив света и радости окрашивает завод в самые веселые тона.

Я думаю, что именно эта радость заставила нашего старейшину и руководителя писательской бригады Джео Богзу привести нас сюда и показать нам новый завод, ставший одним из светлых свершений его собственной жизни.

1972

ИОАН ГРИГОРЕСКУ

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ

...Первый мой репортаж, напечатанный в 1950 г. в газете «Фламура Праховей», был озаглавлен «Рунковская нефть». Я рассказывал в нем, как забил на холме Рунку фонтан нефти и тут же заполыхал пожар, как за несколько секунд до страшной катастрофы, грозившей всему промыслу, в огонь кинулся рабочий и успел погасить пламя. Этот рабочий — Петря Алионте; тогда он был еще молодым коммунистом, теперь ему перевалило за пятьдесят.

И вот я снова приехал к нему.

— Дядя Петря, покажи ладони!

— А ты что, читаешь будущее по руке?

— Читать-то я читаю в душе, а вот захотелось взглянуть на эти ладони.

— А я и не прячу их. Изволь. Такие «метки» не стираются до самой смерти. Знаки хорошего поведения...

— А как они выглядели тогда, в то лето 1950 года? Небось ой-ой как напугался?

— Как тут не напугаться! Струхнул, конечно, врать не буду. Без здоровых рук какой из человека толк? Так, полчеловека... А бумаги, что я тебе тогда дал, еще сохранились? — переменил он разговор.

— Сохранились.

— Передать бы их в Музей нефти, а? Как ты думаешь?

— Можно и передать. Но скажи мне, дядя Петря, с тех пор случались ли еще с тобой подобные истории?

— Случались. Только не совсем такие, как тогда.

— А ты еще хранишь мою тогдашнюю статью?

— Где-то есть... Да, сказать по правде, не очень-то удобно было мне ее показывать.

— Что так?

— Пишешь ты не лучше остальных.

— Это как понимать?

— Да вот так и понимать: смотришь сквозь розовые очки... «Цветочки» выводишь. Я много об этом думал. Ну разве не грех так писать?

Теперь моя очередь перевести разговор:

— Как поживают детишки, дядя Петря?

— Да брось ты про детишек. Какие еще детишки, когда у них у самих дети завелись?

— Дедушкой сделали?

— Давно. И не раз, а все четыре. Посмотреть бы тебе их, да, знаю, скажешь некогда. Налетишь, пройдешься вокруг вышки, спросишь, как тогда, двадцать лет назад: «Как насчет героев, подвигов?» — и тут же умчишься выводить «цветочки», чтобы у людей в горле запершило, когда читать будут. Пройдет время — опять налетишь: «Какие новости? Есть что-нибудь выдающееся?..» А жизнь-то идет своим чередом —

тут и горести и радости, всего вдосталь. Красот, про которые ты пишешь, куда меньше... А сейчас чего ради пожаловал?

— Все за тем же... Никак не вылечусь.

— Ох и дурная это привычка! Знаешь, тогда в 1950-м, когда загорелось в Рунку на 47-м промысле, ты такое про меня наворотил, хоть из дому не выглядывай. И откуда тебе стало известно, о чем я тогда думал?

— Ну, предполагал, представил себе. Ты же помнишь, мы и поговорить как следует не успели. Ты был весь в бинтах и кричал страшно — тебе в операционной пересаживали кожу...

— А ты все про героизм, про план, про красные огненные цветы! Говорю же: «цветочки» малюешь... Знаешь, о чем я тогда на самом деле думал? Теперь-то можно и рассказать, много воды с тех пор утекло, небось не обидишься. О стыде думал. О том, что я осрамил себя, выставил на посмешище. День получился какой-то неладный, с женой поскандалил, наговорил лишнего сгоряча работникам экономата... Были тогда, помнишь, такие отделы: всего не хватало, мы только начинали приходить в себя понемногу — хлеба давали по краюхе, молока по глоточку, а в трактирах сивухи хоть залейся, ее одну выдавали без карточек, без талонов. Вот я и шепнул товарищам в Кымпине пару словечек. А тут вышка и запылала. Ты и этого электрика Гуцэ в герои произвел, а ведь из-за него-то весь сырбор загорелся. Втюрился этот электрик по самые уши и вместо того, чтобы работать как следует, только и думал, как бы половчее расправиться с парнями, которых приревновал к своей зазнобе. Вот оно и получилось: короткое замыкание, искра — и пожар! О чем же я мог тогда думать, как ты полагаешь? Вздуть его как следует или кинуться в огонь? А когда меня оттуда выволокли, я и выругать его как следует не мог — сам небось видал, каким я был...

— А пламя все-таки потушил.

— Потушил... в былое время, при хозяевах, я бы скорее всего припустился бы бежать во весь дух: ты ведь читал в тех бумагах, что полагалось потерпевшему рабочему... Смотри не теряй бумаги, они мне от отца достались. Пусть читают их наши люди, пусть читают и не верят собственным глазам. Не будь этих документов — никто бы не поверил, что такое возможно. А теперь как побежишь? Уж два года как нефть была наша, промыслы наши, и, хотя жизнь не стала такой розовой, как ты ее изображал в своей газете, это была другая жизнь, такая, какую мы сами себе строили...

И знай еще одно — это говорю тебе я, человек, проработавший около четырех десятков лет на нефти: каждый несчастный случай идет от ошибки. Где-то что-то недоучли, плохо рассчитали, зазевались, у кого-то мысль пошла не тем ходом. Иначе не было бы несчастий, мы ведь давно вышли из ученического возраста. Несчастные случаи не сваливаются с неба. Чаще всего мы сами вот этими руками и творим их, и тогда надо этими же руками поправлять дело. Конечно, если ты человек и в жилах течет не капустный сок, а настоящая кровь. А не то лучше убраться подобру-поздорову — нефть не прощает ошибок. Это работа не для робких...

— Дядя Петря, покажи еще раз ладони.

— Дались тебе эти ладони! Ты ведь хвалился, что умеешь читать в душе. Гм... Может, когда и научишься. Слышишь? Только надо очень стараться.

— Что-что?

— Стараться, говорю. Разве не знаешь, что это такое? И людей научись видеть такими, какие они есть. Если бы все писали только о том, чего еще пока нет, так и читать нечего было бы. Потому я и говорю: старайся...

■

А вот и бумаги, про которые напомнил мне бурильщик Петря Алионте: несколько пожелтевших листков, напечатанных на машинке или размноженных на гектографе, изданных отделом кадров самого крупного капиталистического нефтяного предприятия Румынии «Стяуа ромынэ». Я решил проверить, настоящие ли они, и после долгих поисков обнаружил архив юридического отдела акционерного общества — толстые папки, набитые такими же бумагами. Вот образчик: «Я, нижеподписавшийся Михалаке Ж. Аврам, уроженец села Жиовэцул, уезда Мехединць, ныне проживающий в Кымпине, заявляю, что предрасположен к заболеванию грыжей. Имея желание поступить на работу на предприятия «Стяуа ромынэ» в качестве бурильщика, сим удостоверяю, что в случае осложнения болезни или летального конца не имею и не могу предъявлять каких-либо претензий ни к обществу «Стяуа ромынэ», ни к его возможным представителям и уполномоченным, ибо к названной болезни я был предрасположен еще до моего зачисления на работу на промыслы общества».

В одной папке хранилось 400 таких заявлений. В другой папке — еще несколько сот. А таких папок — десятки. Все рабочие «крупнейшего завода в Европе» были «больны» или «предрасположены» к грыже — самой распространенной болезни рабовладельческого общества, а в XX веке — нефтяных промыслов долины Праховы. Без предварительно признанной «грыжи» нельзя было устроиться на работу. При настоящей же болезни нечего было вставать в очередь в отдел найма. «Румынское анонимное общество «Грыжа», как называли его рабочие, принимало заранее меры предосторожности. Ведь болезнь была неизбежна после нескольких месяцев тяжкого труда.

■

— Слушай, Марчел, покажи свои ладони!

А Марчела уже нет, выписался из больницы, укатил в отпуск к родителям за день до моего приезда в Питешть. Зовут его Мисеску Марчел. Я ставлю фамилию перед

именем, потому что ему всего лишь 17 лет. Он один из лучших выпускников 1971 года Нефтехимической профтехшколы.

Вот что говорится в служебном донесении, которое показал мне Ион Ангел, секретарь парткома промышленного комплекса Питешть: «Вечером 15 октября 1971 г. при пуске новой печи пиролиза во время проверки оборудования молодой оператор Марчел Мисеску заметил под печью мощный выброс бензина, нагретого до 130°. Рискуя жизнью, он бросился в огонь и стал завинчивать кран, чтобы погасить начавшийся пожар. Струя бензина, ударившая в бетонную платформу, забрызгала его всего — на нем загорелась одежда. Но он продолжал завинчивать кран, и, когда осталось сделать еще пол-оборота, товарищи по работе заметили огонь и поспешили на помощь. Пожар был потушен, взрыв предотвращен. На пострадавшем обгорело 15 процентов кожи. Он был немедленно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Первый вопрос, когда он пришел в себя, был: «Много погибших, раненых, пострадавших?» Узнав, что пострадал он один, Мисеску улыбнулся и взволнованно произнес: «Это лучшее для меня лекарство. Теперь я быстро поправлюсь».

И поправился. Теперь он находится в селе Теюл, в доме родителей. После Нового года приступит к работе.

Неужели много лет спустя, в ответ на мою просьбу показать ладони, он скажет так же, как дядя Петря: «Ты что, читаешь будущее по руке?»? Неужели я скажу ему, что научился наконец по-настоящему читать в душе?

1971 г.

АЛЕКСАНДРУ МОНЧУ-СУДИНСКИ

ХАРАКТЕРЫ

Он. Зовут меня Телеоакэ Даниел, мне пятьдесят семь лет, по профессии — слесарь, ремеслу учился в городе Фокшань. А слесарем я стал просто потому, что иначе и быть не могло: отец мой был слесарем-механиком. Вот и мне приглянулось это дело. Недаром говорится: яблочко от яблоньки недалеко падает.

Стал я, значит, рабочим. Хожу в учениках. А какая по тем временам механизация? Станки нехитрые — кручу рукоятку для моего наставника. Звали его Тэтару Георге, а учеников у него было нас двое: я да уроженец Фокшань Мирча Александру. А когда нам хотелось взглянуть, как он режет сталь или еще какую-нибудь хитрость вытачивает, учитель начинал костылять нас — душа из нас вон. Не любил он эту самую учебу. Бывало, говорит: ремесло надо своровать — одними глазами, руками не лезь. А все же мало-помалу стал я набираться ума и знаний, научился делу, оно и по сей день кормит меня. Конечно, стоящими специалистами мы так и не стали при нем. Только при народной власти я и стал настоящим слесарем.

Я. Сколько лет вы жили в городе Фокшань?

Он. Четыре года, пока был в учении. Потом призвали меня в армию, и пошел я воевать с немцем. Наградили меня нашим орденом Воинской доблести 2-й степени да советским орденом Славы и другими румынскими и советскими орденами. И наши и советские говорили, что я вроде бы подвиг совершил: первым переплыл Тису — реку у Буя в Венгрии и закрепился на том берегу.

Позднее присвоили мне чин старшины. А когда настал мир, меня сделали старшим унтер-офицером. Я и теперь толком не знаю, за какие особенные заслуги меня повысили в чине и наград надавали. Правда, растолковали мне потом: «Что с тобой поделаешь, Телеоакэ, раз, куда тебя ни пошлешь, ты всегда впереди всех». И до сих пор, вижу, наша армия не забывает про меня. В прошлом году вызывают и вручают «Солдатскую победу» 2-й степени.

Я. Куда же вы вернулись после войны?

Он. По своему же делу. Устроился на завод «Тракторул» в Брашове. А уж оттуда перебрался в Кымпину, а из Кымпины в Галаць. Тут поблизости жили мои родители. Мать стара, помощи — ниоткуда, вот я и решил: приеду помогу ей. Только я приехал, а она умерла. Вот я и остался в Галаць.

С тех пор тут и живу, и не было года, чтобы мне не вручали значка передовика социалистического соревнования. В этом году, правда, мне его не дали — я дважды пропустил партийные собрания, вот секретарь нашей организации и вычеркнул меня. Может, он и прав, ему виднее. Я, конечно, слова не сказал. Раз так положено, пускай. Другое меня беспокоит: бывает, одни работают лучше, а их в передовики не выдвигают, а есть такие, кто дает меньше продукции, а слывут передовиками. Вот в этом году и меня лишили высокого звания. Потому что, если сказать по совести, звание это действительно высокое, это гордость для каждого рабочего.

Я. Дети у вас есть?

Он. Есть.

Я. Большие?

Он. Большие. Дочь замужем за инженером в Крайове. Сын — в армии. Мечта у

него — попасть на юридический, но надежд у меня мало. Не очень-то он у меня старательный. А там, кто его знает? Может, зубрит тайком? Может, хочет отцу сюрприз сделать, а?

Я. Товарищ Телеоакэ, что вы можете сказать о работе слесаря?

Он. В нашем деле, дорогой товарищ, случается изготовить такую деталь, что потом самому не верится — твоя ли это рука... Обтачиваешь, шлифуешь, потом смотришь — такие они сверхточные, что, кажется, ты не мог такое сделать. Бывают, конечно, и неприятные стороны: то резец сломается — они, эти резцы, не всегда нужного качества,— то другое не так... Материал, бывает, не тот. Все это мешает. А порой и наша неповоротливость...

Я. А не скучно повторять одни и те же операции?

Он. Я считаю, чем скучать на своей работе, лучше совсем ею не заниматься. Будь ты кем угодно — слесарем, фрезеровщиком, контролером, даже часовщиком,— если тебе работа не по нутру, бросай ее, отыщи другую, чтобы тебя к ней тянуло. А если нет в душе удовольствия и гордости, что ты кадровый слесарь, бросай ремесло, паси лучше овец. А то коров — и воздух чистый, и почет от нашей власти. Верно говорю: чем работать слесарем и портить детали или срывать срок изготовления, лучше уйти в пастухи.

Я. Есть ли среди слесарей люди, к которым вы относитесь с особым уважением?

Он. Прежде всего наш мастер Михэлчану. Я его очень уважаю. Способный человек, политически образованный, один из тех, кто умеет применять марксизм на производстве.

Я. То есть?

Он. Учит нас ценить каждую из 480 минут смены, сознательно относиться к рабочему долгу. Да мало ли полезных советов, которые нам мастер дает нам!

Я. А как вы ладите с товарищами?

Он. В нашем цеху работает небольшой коллектив — горстка людей. Но душевности в них — целый вагон. «Горстка людей и вагон души» — это слова товарища Михэлчану о людях нашего цеха. Хорошие люди. И знаете, что самое удивительное?

Я. Что?

Он. Что они всегда прислушиваются к советам мастера Михэлчану.

Я. И конфликтов не бывает?

Он. Как же бывают... Только чаще всего из-за пустяков. Как бы это попроще объяснить? Иной не всегда сознает, какое это ответственное дело — быть на своем рабочем месте. Глядишь — то намажет нос соседу машинным маслом, то щекочут друг друга, то еще как-нибудь дурачатся... Конечно, мешает это. И производству урон, рабочей чести. Начинаются разговоры: ишь чего придумали слесаря такого-то цеха. А отвечать кому? Мастеру. А он что, господь бог, чтобы видеть каждый твой шаг? У него других забот нету? Других поручений? А если ты, рабочий, не понял таких вещей, то разве мастер поможет?

Я. По какому разряду получаете зарплату?

Он. У меня пятый разряд, вторая категория. Раньше у меня был шестой (или восьмой, по прежней системе), да вот отказался я как-то от одной работы, меня и снизили. Раньше я много выполнял поручений, теперь их стало меньше.

Я. А почему?

Он. Кто его знает? Начальство переменилось, да и я постарел. Но теперь хочу вернуть разряд. До пенсии не так уж долго, вот и хочу иметь более высокую зарплату. Думаю, руководство мне в этом поможет.

Я. Вы говорили о каких-то поручениях. Что вы имели в виду?

Он. Я, дорогой товарищ, всегда любил свое дело, но с не меньшей охотой занимался общественной работой. Был и председателем профкома, и секретарем парторганизации, членом парткома завода, членом профсовета. Вроде бы справлялся. Недавно выбрали меня общественным контролером.

Я. А что значит «общественный контролер»?

Он. А вот что значит: недавно Великое национальное собрание приняло новый закон — об общественном контроле. Это новая форма контроля. На профсоюзном собрании выбрали нас, несколько контролеров, выдали удостоверения. В совете нас проинструктировали. Теперь мы проверяем работу торговых точек: состояние продуктов, чистоту, обслуживание, соблюдение очередей и чтоб не обвешивали.

Я. Товарищ Телеоакэ, какие у вас виды на будущее?

Он. В 57 лет виды на будущее, ясное дело, определяются этим самым возрастом. Скажу прямо: особых видов у меня нет, кроме желания отдать все силы работе, пока стране нужна моя прямая помощь. И после того как выйду на пенсию, тоже. Только, конечно, не всю смену целиком — с пяти утра до полудня. А так, чтобы можно было и отдохнуть, погулять, в парке посидеть. Когда отработал тридцать семь лет, так и отдых заслужен. Да и землю нашу хочется увидеть, полюбоваться на нее. А то при буржуазно-помещичьем строе не мог, а при народной власти все силы были отданы строительству новой жизни.

А там, если еще будут силы, хочу работать. Главное — это силы, желания мне не занимать. И по общественной линии тоже. В газету бы написать — о работе магазинов, о том, что видишь на улице, в нашем районе. Словом, как живет наш народ.

Раньше я много писал в газету. Был рабкором «Флакэра Праховей» в Плоешть, «Скынтейи», «Вьяца ноуэ», «Сидерурджистул». У меня и папка сохранилась с вырезками и материалами, которые я своей рукой написал.

Я. Так вы печатались и в «Скынтейе»?

Он. Печатался, только мало. Газета большая, там другая грамота требуется. А вот «Сидерурджистул» статьи мои выходили чуть ли не каждую неделю. Да вот в последнее время перестал этим заниматься: много дел на производстве. Новая линия

что говорит? Производство прежде всего, а культурно-спортивные занятия потом. Вот я и перестроился — отдаю все силы производству. Надо так работать, чтобы держать марку, чтоб не стыдно было перед мастером, людьми, молодежью. Так что с прошлого года я перестал писать статьи.

А все же гордиться есть чем. У меня сохранились материалы — и последнего времени, и более давние,— есть даже статьи тех лет, когда я был секретарем организации «Друзья «Скынтейи». Не знаю, слышали ли вы о такой...

Я. Нет, не слышал.

Он. В ту пору мы получали в воскресенье по пятьсот экземпляров «Скынтейи» и выходили на улицы продавать ее. И продавали. Буржуи говорили: «Прочь! На кой они нам, ваши небылицы!» Но самое главное, что это меня не обижало. Не было чувства неловкости. И знаете почему? Не скажу, что я был такой умный или образованный, нет, нас так воспитывали в партячейке, нам объясняли, что к чему, и мы знали, с кем имеем дело.

В ответ мы уговаривали господ буржуев: «А вы купите, увидите, что никаких там нет небылиц». И были такие, что покупали, переставали делать глупости, иные даже начинали верить.

Когда не удавалось продать все газеты, я, чтоб не было конфуза, выкладывал свои денежки. Не хотелось услышать, что Телеоакэ не справился с порученным делом.

Я. С каких пор вы в партии?

Он. Я-то записался сразу после войны, в сорок пятом, но дело мое затерялось, и теперь получается, что по бумагам я в партии с пятьдесят пятого. Но и в годы, когда я формально и не считался в партии, я оставался общественником, всегда старался быть там, где нужны такие, как я.

Я. Посылали вас на курсы повышения квалификации?

Он. Нет, делу своему я научился еще тогда, когда ходил в учение к Георге Тэтару, у которого, как я уже говорил, мне пришлось «своровать» ремесло. Я так полагаю, что ремесло — единственная вещь, которую можно честно своровать. Видишь, кто-то работает, смотришь в оба, думаешь: «А почему он так держит напильник, а не иначе?» И сам находишь ответ. Вот что значит «своровать» ремесло. А не тогда, когда тебе его вбивают силой в голову, а ты слушаешь, слушаешь, а потом и говоришь: «Ладно, спешить некуда, все равно они обязаны учить меня ремеслу!»

Я. Уж не намекаете ли вы на учеников профтехшкол?

Он. На них, конечно. Было тут у меня тридцать ребят. Вроде бы моих учеников, проходили практику. Хорошие, послушные ребята. Только не все. Бывало, попадется среди них один-два — истинные шельмы, как только земля таких держит... Взламывали шкафы, крали, курили, безобразничали.

Я. Только ремесло не хотели «красть».

Он. Нет, ремесло их не волновало. Зато остальные — какие хорошие ребята! Смотрят, как я работаю, а потом начинают сыпать вопросами: «Дядюшка Телеоакэ — а то и дедом обзовут,— а почему вы тут так сделали? А если вот так? А вдруг сломается резец? А что, если бы вы запороли деталь?» От таких вопросов и сам, случалось, задумываюсь. Ишь ты, говорю про себя, как их тянет к новшествам. Отличные ребята.

Я. Часто наставляли их на путь истинный?

Он. А как же! Перед тем как пустить к станкам, несколько дней проводил воспитательную работу. Рассказывал, как я сам учился ремеслу, сколько за это время наполучал оплеух и взбучек — дня не было, чтобы мастер не стукнул: то по физиономии, то подзатыльник даст,— и как я в конце концов своего добился. И еще добавлял: «Теперь у вас другие возможности, другие дела.. Так что, ребята, пока суд да дело, беритесь за книги, учитесь». Они слушались, иной так вцепится в книгу, словно проглотить хочет. Зато теперь как посмотришь на дело рук его, диву даешься: «И подумать только, такой шпингалет, а какую деталь отгрохал!» Что ж, молодежь...

Я. Я вижу, вы гордитесь своими педагогическими успехами.

Он. Правда горжусь. Видишь, что-то у тебя получается, душа радуется.

Я. А неудачи были?

Он. Были, как не быть. И главное, наверное, в том, что я, как бы это выразиться, немного вспыльчив. Я так полагаю, что вспыльчивость вредна на производстве. Тем более что по природе своей я человек мирный, добродушный, с людьми лажу. Уж такой у меня характер. А вот же, бывает, лезешь в бутылку...

Я. Кто же вас доводит до этого?

Он. Да есть такие — неаккуратные. Скажешь ему: делай то-то и то-то, а он тяп-ляп, ну и вспылишь. Да что далеко ходить за примерами. Недавно мастер назначил меня старшим над токарями. А иные из них работают спустя рукава — то резец сломает, то плохую деталь выдаст, то его нет, то машину не смазал, то не убирает стружку... Слышать не желает о правилах внутреннего распорядка. А ведь там все сказано: чистить машину, делать то-то и то-то... Так нет же, не желает. Вот и злишься. Только волю себе не даю. Бывает порой, выйдешь из терпения, скажешь: «Что же ты, басурман эдакий, делаешь?» Ну и обидишь ненароком человека. А что поделаешь, когда он по-хорошему не понимает? Как тут быть? Ведь я, с каких пор себя помню, ни разу не прогулял. Хоть бы раз сказал: «Ладно, сегодня не пойду, пусть вкалывают те, что поглупей меня». Нет, никогда не мог и теперь не могу так поступать. И знаете почему? Потому что знаю: долг мой — честно работать.

Я. А серьезные неурядицы в жизни бывали?

Он. Эге... Всего не перескажешь, слишком большой роман получился бы... Я, ви-

дите ли, был раньше женат на другой, шесть лет содержал ее, пока она не кончила факультет. Шесть лет! Сдала она госэкзамены, и хорошо сдала, тут ничего не скажешь (я и тогда ничего не говорил, хоть тащил на себе и работу, и общественные обязанности, и хозяйство — был и папой и мамой), а потом, как сдала, как стала работать, настиг я ее однажды с милым другом аж в городе Яссы. Вот так: он — инженер, она — интеллигентка... Уличил я их, стало быть. Не дай бог никому таких передряг... А потом, как это случилось, сделался я какой-то угрюмый. Потерял доверие и к себе и к людям. Трудно мне было. А ведь в те годы, когда она училась, меня тоже хотели послать на курсы мастеров. Заводские инженеры (инженер Кристя, инженер Кристу) все время приставали — тем более, что я был тогда председателем цехкома, а они преподавали на этих курсах. Бывало, говорят: «Слушай, брат Телеоакэ, ты хороший, работящий человек. Давай сделаем из тебя мастера, жалко ведь терять такую возможность».

«Какой еще там мастер? — говорю.— Жена в институте, дети малые, общественные поручения, работа в цеху... Я же должен зарабатывать, не могу разорваться на части».

«А ты придумай что-нибудь и поступай на курсы».

«Некогда мне с книжками возиться».

«А мы тебе поможем. Мы тебе вдалбливать будем науку, так что, хочешь не хочешь, учиться придется. Ты человек стоящий, тебе надо выйти в мастера».

А я все же отказался. Стоило мне заговорить с женой об этих курсах, она начинала причитать, что ей придется уйти из института, что мне наплевать на ее судьбу. Махнул я рукой: пусть будет по-твоему...

Так и дожил я до старости неучем. А все же в среднюю школу пришлось записаться. Это все по милости директора Пастора. Был такой добрый человек, не знаю, жив ли он еще. Я в ту пору был председателем цехкома, а он все призывал рабочих подумать о среднем образовании. Пусть, мол, те, кто имеет семь классов, записываются в лицей. А я опять не записался. Спрашивает директор: «У тебя сколько классов?»

«Семь»,— говорю.

«Что же не записываешься в лицей?» — спрашивает.

«Видите ли, так, мол, и так...»

«Э, нет, так дело не пойдет. Я тоже пас овец, а теперь могу беседовать с тобой на французском и на русском, а понадобится — так и по-латыни умею. Так что, дорогой товарищ, немедленно запишись в лицей...»

«Товарищ директор, видите ли, я...»

«Никаких разговоров! Запишись, и все...»

Пришлось подавать заявление.

Назначили меня старостой класса, заставили докладывать учителям о положении в классе Было весело, хорошо. А преподаватели у нас были... знаменитые. Редко встретишь таких ученых преподавателей, чтобы знали все тайны природы. Особенно один из них, учитель географии — дядюшка Нае. Тот одно знал: «Товарищ Телеоакэ, смотри не подведи, ты наша надежда!» И другие говорили мне так — учительница румынского языка и товарищ Никулеску, которая преподавала нам химию.

Я. Где это было?

Он. В Кымпине. Там я учился в лицее. А дочь моя была старше меня на два класса. А я, стало быть, на два класса моложе ее. Она и помогала мне. И жена помогала — у нее насчет соображения все на месте, ничего не скажешь. Только мне после всего, что случилось, она уже не была люба. Гляжу на нее и чувствую: что-то из души уходит. Не мог забыть, как уличил ее. В браке, знаете, есть свои тайны, их негоже открывать другим, будь они хоть инженерами или еще кем. А уж раз настиг я ее с тем инженером, после всех душевных обещаний и клятв сохранить семейную тайну и всю красоту жизни, так уж не мог смотреть прежними глазами. Больше она не была мне нужна...

Да вот не пропал я. Женился во второй раз, нашел хорошую, работящую женщину, живем дружно. Жалко, частенько хворает, а в остальном она у меня — честная, правильная.

Я. Товарищ Телеоакэ, из вашего рассказа я понял, что вам по душе общественная работа. Не знаете ли вы подробностей о том, как живут молодые неженатые рабочие в общежитиях комбината?

Он. Я с этими парнями часто беседую, хочется знать, как живут, как ведут свое хозяйство, что едят, как тратят деньги. Они и рассказали мне, что некоторые готовят еду сообща. Как это делается? Сложатся два-три человека, покупают продукты и сварят общий борщ по своему разумению, а то овощную токану едят. И на работу приносят пищу своего изготовления. Бывают и такие, что идут своей дорожкой: вместо того чтобы есть, тратят деньги на предметы роскоши. Тратят весь заработок на брюки-клеш, которые мы называем «вазой», или на красные лаковые туфли. И так далее.

И это вместо того, чтобы питаться в столовых, где хорошая и вкусная пища. А ведь насколько здоровее есть хорошо приготовленную, полноценную пищу...

Я. А есть такие хорошие столовые?

Он. Есть ли? Да я и перечислить всех-то не сумею, сколько их. И в нашем районе Циглина, и в центре города этих столовых множество. Слепой и то на них наткнется.

Я сам проверял как общественный контролер три такие столовые в Циглине. Слюнки у меня потекли, когда я увидел, какие там подают блюда. Чего там только нет! А цены смехотворные, ей-богу! Я даже не могу понять, как они при таких ценах план выполняют!

А в Циглине-первой, на улице Брэилы есть столовая-ресторан, там поесть можно за семь лей. И другое такое заведение прямо здесь, на строительной площадке. Если кто хочет есть по-человечески, а не тратить деньги на курево и так далее, может

Клод Моне (1840—1926). Дом таможенника

Из работ художников-импрессионистов

Огюст Ренуар (1841—1919). Госпожа Моне с сыном в саду Аржантёе

Камиль Писсарро (1831—1908). Бульвар Монмартр ночью

Клод Моне (1840—1926). Тополя

заглянуть прямо в столовую-ресторан здесь, по месту работы, а то в конце трамвайной линии, где есть заведение, которое так и называется: «Последний грош». Я видел однажды, как в нашей столовой обедал сам генеральный директор комбината.

Столовых у нас много, хороших столовых. Жаль только, что не все молодые рабочие понимают это и уважают наши старания.

Я. А что вам еще нравится здесь, в Галаце, помимо столовых?

Он. Мне многое тут по душе, в этом городе. Раньше-то Галаць был городом невидным, похозяйничали тут всласть и капиталисты, и нищета, и война. Об этом и в книгах можно прочитать. А молодеж и понятия не имеет, что тут было похуже, чем в этих самых книгах описано. Смотришь на нынешний город — диву даешься: откуда что взялось? Когда успели? Как он строился? Тут и впрямь сам черт ногу сломит: кварталы, кварталы, блоки, комплексы и снова комплексы. А возьмите улицу Брэилы. Вот это, скажу я вам, улица! Не знаю, как других, но меня эта улица просто поражает. Ни в книгах я о таком не читал, ни в фильмах, ни во сне не видал. А мол? Какой мол... А рестораны? Даже вспомнить приятно о ресторане, где пиво можно пить в лодке. Он так и называется: «На корабле». И еще — «Чайка», «Рыбак». А какая красивая архитектура. Честное слово, иногда не верится, что все это сделано нашими руками. Конечно, немало труда потребовалось, чтобы все это выстроить...

Добавлю еще одно: не скажу «партия» — слово это слишком высокое,— но партийные органы города, исполнительный комитет добиваются, чтобы жизнь становилась все лучше. А вот есть такие дрянные люди — они повсюду гадят, топчут зеленые насаждения, ломают, корежат все, что попадается на пути. Зачем они так, я вас спрашиваю, зачем? Сердце болит, честное слово! Смотришь — и на душе делается тяжело, тоска берет.

Я. Но ведь для того, чтобы город стал лучше, мало одних архитектурных украшений. Надо, по-моему, одновременно вести борьбу и за украшение души тех, кто населяет его. Может быть, в этом смысле еще не все сделано, чтобы воспитать граждан в духе любви к прекрасному...

Он. Вот что я вам отвечу, раз уж вы заговорили о воспитании: партия с сорок четвертого года учит нас уму-разуму, так неужто таким людям было мало времени, чтобы понять? Чтобы осознать, чего добилась партия? Или по крайней мере осознать то, чего они сами добились. Ведь это они сами все укладывали, сажали— кирпичи, которые теперь разбивают, деревья, которые ломают, траву, которую теперь топчут!

Какая уж тут воспитательная работа, когда человек все видит своими глазами — достаточно только открыть их пошире и оглянуться. Но есть же такие — я бы назвал их ненавистниками красоты — закрывают глаза, жмурятся, лишь бы жить в темноте своей и не видеть того, что всем видно...

1973 г.

Изобразительное искусство за рубежом

АН. МАКАРОВ

СВЕТ И ВОЗДУХ ФРАНЦИИ

К 100-летию первой выставки импрессионистов

Чтобы полюбить книгу, нужно научиться грамоте. Любовь к живописи начинается с изумления. Потом придет и понимание, и знание, которое само по себе открывает безграничный простор для новых счастливых впечатлений, вначале надо изумиться, восхититься, пережить состояние мгновенной неожиданной радости. Не по поводу запечатленного сюжета — пусть увлекает сюжетом роман, не по случаю грандиозного размаха массовых исторических сцен — на это способен театр, балет, опера; нет, от созерцания именно живописи, живописи как таковой, умеющей воссоздать мир во всей его свежести, во всем великолепии его будничного, обыденного бытия.

Лично я полагаю, что лучшего повода для такого радостного соприкосновения с миром живописи, чем знакомство с полотнами импрессионистов, и не найти. Здесь нет желания возвысить одну художественную школу или унизить другие. Есть только воспоминание о том событии, какое произошло со мною лет уже двадцать тому назад в залах Музея изобразительных искусств имени Пушкина. На улице стоял ледяной московский день, сугробы и пар из дверей метро, о весне смешно было и мечтать, и вдруг я почувствовал ее запах и ее воздух, тот, что ощущается всем существом и переходит сам собою в волнение, в кружение головы, в изумительное и невыразимое упоение жизнью. С той весны прошло уже много лет, и была она в Париже, от того снега, раздавленного высокими колесами фиакров, как от протекшей воды, не осталось и следа, но весна эта не исчезла, она была тут, слепило глаза ее солнце, звенела ее капель, стуча по аспидному асфальту тротуаров, и первый теплый ветер, как говорил Юрий Олеша, «раздувал свет дня». Под картиной стояло название: «Клод Монэ. Бульвар Капуцинов».

Я не знал тогда, что именно это полотно в 1874 году вызвало припадок истерической иронии у известного критика Леона Леруа, который посетил нашумевший Салон художников-импрессионистов. Я не знал тогда, что самое понятие «импрессионисты» пущено в ход все тем же бойким фельетонистом в качестве чрезвычайно ядовитой, по его мнению, клички.

И впрямь ирония: язвительное клеймо стало четкой формулой творческого кредо. А те, кого называли жалкими недоучками, оказались теми самыми новаторами, усилиями которых движется искусство и дерзаниями которых человечество постигает окружающий мир.

С миллионов глаз они сняли пелену привычных, залежавшихся представлений. После созерцания их картин поразительно очевидной делалась прелесть любого обыкновенного дня — и зимнего, и весеннего, и омытого летним дождем, и пронизанного солнцем, и наполненного туманом. Воздух на полотнах Клода Монэ, Камилля Писарро, Ренуара, Утрилло, Сера то прозрачен, то будто вязок, то дрожит от августовского зноя, то пахнет свежей речной сыростью. Недаром говорил Осип Мандельштам, что у каждого импрессиониста на картинах свой климат и, переходя от картин одного художника к картинам другого, можно простудиться: до такой степени полны эти пейзажи живой природы, ветра, света, шума листвы, плеска волны, дыхания самой жизни.

Ее токи, флюиды, ее настроение неотвратимо действуют на зрителя. Пресловутые «небрежные» мазки, так раздражавшие академистов, не просто улавливают и воссоздают изменчивые краски дня, они

обладают ощутимым зарядом оптимизма. Что бы ни было перед вами — знаменитая скала в Этрета, озаренная закатом, медленная, словно рассеянная Луара, провинциальный закоулок Монмартра или пролет Больших Бульваров в сетке дождя и лаке огней,— следуя от полотна к полотну, останавливаясь, вновь возвращаясь через несколько залов к голубому кордебалету Дега или к пленительной, розовой, теплой ренуаровской «Мадам Самари», вы испытываете вдруг необычайный душевный подъем, прилив сил, волнение, юношеское желание жить.

Вероятно, именно эти моменты истины и служат потаенным, не декларируемым, великим оправданием работы художника. Потому что не исчезают они из памяти никогда, потому что имеют обыкновение с новой силой возрождаться в душе всякий раз, например, когда перед мысленным взором возникает туманная утренняя Сена или пористая влажная сирень Иль де Франса, потому что именно из этих мгновений и состоит человеческое счастье.

Высшее счастье, сохраняемое в душе постоянно, неотторжимое от человека, не зависящее от взлетов и падений личной судьбы.

Об одном его миге стоит рассказать.

Это было в Париже, в музее «Жё де пом», в котором собраны произведения импрессионистов. Я пришел туда в субботу, после того как целую неделю ходил по Парижу, по парижской ясной осени, сквозь листопад в Люксембургском саду и налетающие с Ла-Манша мгновенные дожди. Странное желание томило меня. Я хотел остановить мгновение, найти один вид, один знак, один образ Парижа, который можно было бы на всю жизнь сберечь в сердце без принудительной помощи фотографии. И я нашел его. «Мулен ля Галлетт» — называется это большое полотно Огюста Ренуара, исполненное движения, музыки, солнца, пробивающегося сквозь листву, блеска глаз, лукавых и скользящих улыбок, и особого, парижского аромата, в котором запах фиалок перемешан с горьковатым дымом жареных каштанов.

У Парижа сотни обликов. Тысячи обликов у Франции. Импрессионисты посвятили свои жизни тому, чтобы уловить и запечатлеть хотя бы некоторые из них, чтобы из обычного французского дня, из дождя и солнца, из воздуха и света Франции создать непреходящее чудо, немеркнущую духовную ценность, принадлежащую всему человечеству. Они испытали все — и насмешки, и гонение, и бедность, и славу, и признание. Они оставались гордыми в нужде, а наступивший достаток не лишил их благого недовольства собою. Они жили просто и весело, как и подобает художникам. Человеческая их сущность находилась в полном согласии с их художественным кредо. Оттого так естественна, свободна, добра и счастлива их живопись.

Среди книг

Издано в СССР

В СТРАНЕ КОНДОРОВ

Перуанские рассказы XX века. Перевод с испанского. Составление и предисловие Э. Брагинской. Москва, «Художественная литература», 1973. 254 стр.

Древняя и в то же время такая молодая земля, с такой сложной исторической судьбой. Страна с Андами до небес и кондорами на скалах, с руинами инкских крепостей на плоскогорьях и большими современными городами; затерянными в горах индейскими деревушками и огромными латифундиями; с одаренным и трудолюбивым народом; страна резких социальных контрастов, сложных, наболевших проблем... Такой предстает Перу читателю антологии «Перуанские рассказы XX века», объединяющей произведения семнадцати писателей разных направлений и разных поколений, от признанных классиков до молодых, еще мало известных авторов.

XX век стал для перуанцев эпохой становления национального самосознания, поиска своей самобытности в древних «индейских корнях», раздумий об исторических судьбах народа и будущем страны, борьбы за это будущее. Уже в начале века молодая прогрессивная интеллигенция стремилась стать выразительницей чаяний народа, большую часть которого составляют крестьяне-индейцы, и это закономерно определило одну из основных тем перуанских писателей нескольких поколений — индейскую тему.

В обстановке усиливающегося проникновения североамериканского империализма, расхищения природных богатств и унижения национального достоинства перуанцев, патриотически настроенные литераторы стали все чаще обращаться к жизни простого народа, открыто противопоставляя его нищету — богатству угнетателей, его бесправие — произволу власть имущих, его моральные ценности — навязываемому извне и охотно воспринимаемому правящей элитой «американскому образу жизни». Хищническим законам и потребительской культуре капиталистического общества они уже тогда противопоставляли древнюю культуру своего народа, индейских крестьян, их нравственную высоту и человечность. Эта тенденция стала определяющей для перуанской литературы на долгие годы.

Индихенистское направление выдвинуло таких больших, пользующихся мировой известностью авторов, как Э. Лопес Альбухар, С. Вальехо, С. Алегрия, Х. М. Аргедас. В рецензируемой антологии наряду с этими хорошо знакомыми советскому читателю именами появились и новые.

В рассказах сборника — в него вошли и самые последние произведения, созданные до демократической революции 1968 года,— тяжелая, полная нескончаемых трудов и унижений жизнь перуанского индейца предстает в самых различных аспектах. Это и замкнутый, как бы застывший в веках мир индейской общины. Ее суровые, древние законы смертью карают дерзкого Кунсе Майлье, трижды нарушившего их, презревшего заветы предков (Э. Лопес Альбухар. «Ушанан-хампи»). Это и помещичья асьенда, где индеец все равно что раб. Но случается порой нечто такое, что переполняет великую чашу его терпения, и тогда происходит то, о чем рассказывает Ф. Вегас Семинарио в рассказе «Сам таита господь указывает нам путь»: «...и тогда неожиданно для самих себя эти задавленные нищетой, темные, забитые люди, до сих пор

лишь покорностью отвечавшие на презрение и унижения, вдруг почувствовали себя сильными и гордыми бойцами. Словно таинственное дыхание далеких героических времен пронеслось над ними, перекрывая времена и пространства, воспламенило их застывшие чувства, пробудило спавшую доблесть». И праведный гнев крестьян обрушился на ненавистного хозяина-гринго, убившего молодого Хуана, сына старого Ямунаке.

Сложный, своеобразный и трагический образ индейца вырисовывается на страницах этой книги. Потомок великого народа строителей и воинов, ограбленный и побежденный, он продолжает упорно сохранять свою неповторимую индивидуальность, свой взгляд на мир и место человека в общем потоке бытия. Вечная борьба с суровой природой сделала его стоиком, он привык встречать неожиданную беду с выстраданным многими поколениями фатализмом.

Поэтому-то не плачет индеец Фабиан, возвратившийся домой после долгих месяцев работы на шахте и не нашедший ни дома, ни семьи. Горный обвал за несколько мгновений лишил его всего. Со странным чувством горького презрения лишь швыряет он в грязь красивый белый камень, какие обычно приносят шахтеры поиграть своим маленьким сыновьям (С. Алегрия. «Камень»). Молча терпит оскорбления и побои индейский ткач Патучо, соткавший черное, страшное, как душа злодея, пончо ненавистному аптекарю, мстя таким образом за смерть сына (К. Э. Савалега. «Месть индейца»).

Человек Анд близок к природе, он сохраняет анимистическое видение мира — и старый танцор Расу-Ньити, в роскошном, переливающемся на солнце наряде танцующий свой последний танец, верит в то, что на его темени сидит серый кондор с белой, мерцающей на солнце спиной, посланец его великого отца — Большого Вамани, огромной горы с вечными снегами на вершине. Это душа Вамани танцует в Расу-Ньити, до последнего вздоха прославляющего прекрасный и загадочный мир (Х. М. Аргедас. «Последний танец Расу-Ньити»). Глубокая религиозность, готовность к жертве движет старым Алехандро, который надорвался от тяжести распятия во время крестного хода. В нем жив голос прежних, полузабытых, но крепко хранимых в сознании индейских религий, их требования искупительной жертвы (Э. Варгас Викунья. «Таита Христос»).

Рассказы других авторов переносят нас в город. Уютные дома, не утратившие еще колониального облика, устоявшийся стиль размеренной жизни горожан, любителей петушиных боев, сентиментальное обаяние креольской Лимы (А. Вальделомар. «Кабальеро Кармело»); модные, жеманные барышни в провинциальных гостиных и молодые люди — без гроша в кармане, но предприимчивые и готовые любой ценой выбиться в люди (М. Беинголеа. «Мой галстук»). И тут же — убогие домишки, нищие поселки на пустырях. Кто скрывается здесь от полиции, кто бежал от голодной смерти в деревне, кого выбросил Город, высосав все и не дав ничего. Все они — «будто клещевина, будто этот дикий кустарник, который вылезает из земли и тянется по самым бесплодным крутым склонам...» (Х. Рамон Рибейро. «У подножья обрыва»).

Многие из рассказов посвящены детям. Дети эти разные: маленькие индейцы, оборвыши-самбо; нищие, собирающие отбросы на свалках, и мальчики из «хороших семей». Но каждый из них беззащитен перед огромным и чуждым миром, который обступает со всех сторон, диктует свои законы, жестокие и непонятные, убивает радость жизни и веру в людей.

Маленькому индейцу Пако Юнке страшно жить среди «белых людей», где лгут, бьют ни за что ни про что, где всегда прав и всесилен тот, у кого больше денег, как его хозяин, жестокий и скверный мальчишка Грив (С. Вальехо. «Пако Юнке»). От человеческой жестокости бежит сирота Сингу, у которого на всем свете нет ни одного друга, ни одного близкого существа, кроме подобранной им собачонки Чурильи (Х. М. Аргедас. «Чурилья»). Один заброшенный и голодный ребенок обманывает и обкрадывает другого, потому что иначе не прожить (Э. Конграйнс Мартин. «Мальчик из Преднебесья»). Куда глаза глядят бегут из дедовского дома больные и изголодавшиеся братья Эфраин и Энрике, «стервятники без перьев» (Х. Рамон Рибейро. «Стервятники без перьев»).

Участь подростка стоит и в центре внимания М. Варгаса Льосы в рассказе «Щенки»: неповторимое своеобразие стиля, мотив одиночества на переполненных людьми улицах чужого города, неприкаянности и бесцельности существования пронизывает его. Несчастный Куэльяр, которого нелепая случайность сделала калекой, мечется в «роскошном» обществе состоятельных людей, среди дорогих автомобилей, вечеринок и очаровательных девочек, как в заколдованном сне. Богатые родители, возможность блестящей карьеры любовь к блондиночке

Тересите, пьяные дебоши, борьба с волнами в бушующем море — чтобы доказать им всем! — ничто не может вывести его из этого кошмарного сна, который зовется жизнью и из которого для Куэльяра есть только один выход — смерть.

Многогранный и сложный мир вчерашнего Перу открывается перед читателем сборника. В этом мире больше плохого, жестокого и отталкивающего, чем светлого и доброго, как и в той реальности, которую стремились воссоздать писатели. Это была жизнь их страны, которую они хотели бы сделать лучше, их народа, которому многие из них служили всю жизнь силой своего таланта.

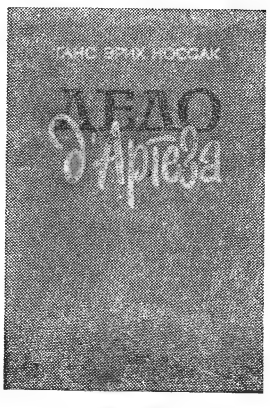
Т. ГОНЧАРОВА

«ЭТИ ЛЮДИ С ПОСМЕРТНОЙ СЛАВОЙ»

Ганс Эрих Носсак. Дело д'Артеза. Роман. Перевод с немецкого И. Каринцевой. Автор предисловия А. Федоров. Редактор Р. Гальперина. Москва, «Прогресс», 1973. 281 стр.

Западногерманский писатель старшего поколения Ганс Эрих Носсак характеризуется западной критикой как экзистенциалист. Но, говоря о его творческом облике, трудно ограничиться этим определением. Неоднократный свидетель кризисных ситуаций, в которых оказывался его современник, немец XX столетия, Носсак в своих представлениях о мире выходит за рамки экзистенциализма. Это подтверждает и написанный в 1968 году роман «Дело д'Артеза», с которым он впервые предстал перед советским читателем.

Как многие немецкие художники, Носсак доныне видит в некоторых явлениях жизни своей страны зловещий отблеск фашистского прошлого. Молодость героев его романа проходила в годы нацизма. Эрнст Наземан, теперь знаменитый актер-мим д'Артез, сидел в концлагере по доносу жены за то, что в одной из пантомим высмеял фюрера. Его родные поставляли ткань для одежды узникам концлагерей, но падение рейха мало смутило их. Они отнеслись к этому как к спектаклю, в котором не замедлили выбрать для себя роль: Отто Наземан, генеральный директор фирмы, позировал перед американскими объективами у постели брата, вернувшегося из лагеря, и выражал благодарность оккупационным властям. Глубокое презрение определяло отношение д'Артеза к этому семейству дельцов, и редкие контакты с ними для него — всего лишь участие в их игре: «Меня даже забавляет, что я в их комедии играю лучше, чем они. Это сбивает их с толку... Они теряются и не отваживаются входить в раж».



Друг д'Артеза Людвиг Лембке в «беспросветные» годы писал стандартные, похожие один на другой исторические романы под псевдонимом Луи Ламбер. Теперь он беспощадно судит себя, как и многих других, за то, что благополучно жил при Гитлере: «Мы потеряли право что-либо кому-либо советовать».

Характерный для писателей-экзистенциалистов аспект изображения очевиден в романе. Люди показаны в их оторванности от всего, что составляет «норму» жизни, в их сознательной самоизоляции. Они или не имеют никаких «естественных связей» — семьи, родных,— или порывают их, потому что эти связи налагают ненужные и неприемлемые обязательства. Дружба д'Артеза со своей дочерью Эдит основана не на кровном родстве, а на духовном — на равнодушии к богатству, неспособности к компромиссам. Персонажи Носсака тяготятся своим общественным положением: д'Артез отказывается от прав наследника фирмы, молодой протоколист из Управления внутренних дел оставляет службу. В такой художественной подаче — отрицание буржуазного бытия, вынуждающего человека к суетности, расчетливости, фальши.

Достаточно выразительно представлен важнейший в философии экзистенциализма момент трактовки «отчуждения» как естественного состояния человека. Ни один из героев романа не находит счастья в любви. Внутренне близкие друг другу, протоколист и Эдит тем не менее расстаются, словно боясь нарушить свое одиночество. Связаны действующие лица между собой не как друзья детства, не как отец и дочь, не как молодые мужчина и женщина, а как путники, застигнутые общей бедой, как моряки в трудном плаванье, спаянные одним желанием не погибнуть во враждебной стихии.

Однако в книге Носсака нет того «нигилизма», того тупика, который провозглашается в литературе экзистенциализма человеческим уделом. В «Деле д'Артеза» экзистенциалистский нигилизм имеет противовес. Здесь человек — не «без корней». Современный интеллигент Запада, о котором идет речь, показан энтузиастом нравственных основ и идей буржуазно-демократической интеллигенции прошлого века.

Д'Артез и Ламбер — имена героев Бальзака, людей, противопоставленных миру корысти. Герои Носсака, на первый взгляд

мало похожие на них, все-таки явственно обнаруживают в себе важнейшие их черты. Человек, носивший более ста лет назад имя д'Артеза, по сути дела сформулировал жизненную позицию д'Артеза нынешнего. Она состоит в выборе особых ценностей, не соответствующих критериям буржуазного общества, в предпочтении духовного материальному, она дает право на спокойную совесть. Тот, далекий д'Артез стал для нашего примером того, «как терпеливо следует действовать тайно духовной оппозиции».

«Тайная духовная оппозиция», стремление человека противопоставить враждебному мироустройству свой внутренний мир, связана в романе прежде всего с памятью о фашизме. Ламбер, который после 1945 года наблюдает и осмысливает окружающую жизнь, словно отстранившись от нее, поставил себе одну цель: понять сущность и место среднего интеллигента в ходе исторических событий — иначе говоря, очертить круг его задач, обозначить меру его ответственности за происходящее. Этому он мечтает посвятить свою последнюю, свою единственно настоящую книгу.

Как и для бальзаковского Ламбера, для него мысль первична, человеческий ум — первопричина обстоятельств, определяющих лицо мира. Но в таком случае в фактах недавнего прошлого ему приходится видеть свидетельство того, что зло присутствует в самом феномене, называемом интеллектом. Признание этого обезоруживает мыслителя, лишает возможности создать модель истинно человечного мира, представить мир без зла. В посмертных записках Ламбера выражено это ощущение замкнутого круга: «Рядом со мной в тщетных поисках первой фразы для своей последней книги мечется из угла в угол престарелый писатель».

Бесплодная попытка разрешить противоречия реального бытия в сфере мышления приводит Ламбера-Лембке к выводу, что он слишком преувеличивал роль интеллигента, когда определял ее формулой: «Свободный среди мертвых». С полным правом он подвергает сомнению самый смысл такой роли. Свобода тех, кто уходит в царство «чистого интеллекта», отказываясь занять конкретную позицию по отношению к происходящему, превращает их в «плывущие по течению обломки, лишенные даже возможности умереть».

«Тайная духовная оппозиция» оказывается бессильной изменить мир, так как остается личным достоянием мыслящего индивидуума, заменяя ему арену общественной борьбы. Не случайно Бальзак сказал о своем произведении «Луи Ламбер»: «Эту книгу я написал для себя и немногих других». Трагедия интеллигента Носсака состоит в том, что он, как некогда герой Бальзака, предпочел «мысль действию... созерцание — движению».

В «Деле д'Артеза» страницы философского романа перемежаются броскими сатирическими зарисовками напоминающими памфлет Современные д'Артез и Ламбер остро сознают «ложную актуальность» всего, что происходит вокруг них. Сравнивая сегодняшнюю действительность Западной Германии с недавним прошлым, они расценивают ее лишь как смену декораций, потому что не видят вокруг себя людей, способных уничтожить сохранившуюся аномалию человеческих и общественных отношений. Отсюда и уныло-скептическая оценка своих возможностей: «Из нас, не будь даже нацистов и войны, ничего другого не вышло бы. Нам этим не оправдаться».

Однако исходная причина этой обреченности ускользает от героев романа. Они не понимают призрачности самого идеала буржуазной оппозиции, который символизируют для них имена героев Бальзака. Потому и имена эти для них священны. Когда выясняется, что убитый в Париже субъект без определенных занятий имел кличку «д'Артез», Эрнст Наземан утверждает, что тот воспользовался его псевдонимом, мелькающим на афишах именем клоуна — но не бальзаковского героя. Д'Артез Носсака не хочет верить, что это имя превратилось в «звук пустой» еще под пером Бальзака, хотя и помимо воли автора (как известно, в «Тайнах княгини де Кадиньян» д'Артез, не похожий на д'Артеза «Утраченных иллюзий», разбогатевший, сдружившийся с лицами, близкими к июльской монархии, нашел покой в любви к великосветской львице). Ни герой Носсака, ни сам писатель не хотят признавать бесславного конца буржуа-оппозиционера. В том, что сегодня нет настоящего д'Артеза, цельного, не отравленного скепсисом, автор романа обвиняет свое поколение интеллигенции.

Какую же роль отводит Носсак духовной оппозиции, в чем видит ее смысл?

В том, чтобы из тайной она стала явной. В набросках книги Ламбера это и дается как выход для человека, обремененного собственным пустым кипением и живущего будто по инерции. Безымянный интеллигент получает от клоуна д'Артеза предложение взять на себя «самую трудную роль из всех существующих», которую тот определяет словом «информатор». Информатор для д'Артеза — начальное звено борьбы. С информатора начинается связь между событием и его последствиями, связь между людьми. Одним из «надежнейших информаторов», осуществляющих связь между поколениями, и был Бальзак, его книги были «информацией».

Сила такой личности вырастает из ее сострадания к миллионам себе подобных, давая возможность незаметно делать большое дело. Так было со скромными героями Бальзака, вдохновившими героев Носсака. В «Утраченных иллюзиях» циник Лусто говорит: «...нет ничего опаснее одиноких мыслителей... эти люди с посмертной славой препятствуют нам выдвигаться вперед». Носсак уверен, что посмертная слава ждет каждого, кто оставляет живым свои мысли: «Сироты, умеющие размышлять лишь о том, чему их обучили в сиротском приюте, быть

может, повстречаются с ними... и окружающий мир начнет как-то неуловимо для них преображаться».

Смысл преемственной связи человеческих умов особенно подчеркнут в романе. Это подтверждает и фигура протоколиста, через восприятие которого представлены д'Артез и Ламбер. Ему предстоит оформить запечатлевшиеся в его сознании протоколы двух судеб, которые многим, как и ему, покажутся собственной судьбой. И тогда многие поймут, что они не одиноки.

Ссылки на переживания прошлых поколений постоянны на страницах «Дела д'Артеза», книги упоминаются как прожитые жизни. Прикрываясь легкой иронией запечатлевшиеся в его сознании протоколы писатель часто повторяет: «как известно из литературы...», «если верить книгам...» Так образуется спаянность человека с человечеством и отходит в тень концепция одиночества — важнейшая из концепций экзистенциализма Объединяя людей, книга выполняет великое назначение, потому что единство — непрерывное условие действия, а ведь именно к действию должен идти человек от одинокого созерцания.

Уже в XIX веке был зафиксирован тип «книжного» мышления, мышления интеллигента, переработавшего для себя отраженный в литературе нравственный опыт человечества. Лучший пример — Великий инквизитор Ивана Карамазова. Кстати, Носсак в автобиографических заметках не раз признается, что его личную судьбу во многом определили Иван Карамазов и д'Артез Бальзака.

Своеобразная композиция романа — хронологически разобщенные фрагменты бесед, воспоминаний, записей — и экспрессивность стиля (полностью сохраненная в переводе И. Каринцевой) ощутимо передают всю напряженность внутренней жизни персонажей. Обернется ли со временем эта напряженность большой нравственной силой? Разгорится ли пламя из искр человеческой мысли?

В этих раздумьях автора прочерчивается перспектива будущего. Новому «информатору» д'Артез дал имя Людвига Лембке, и читатель остается с надеждой, что имя человека, перенесшего на себя трагическую вину интеллигенции Запада, даст ныне живущим силу жизненного опыта.

Д. ЧАВЧАНИДЗЕ

«МОНАРХ ИНТЕЛЛЕКТА»

Джон Донн. Стихотворения. Перевод с английского, вступительная статья и примечания Б. Томашевского. Ленинград, «Художественная литература», 1973. 168 стр.

«Монархом интеллекта» называют англичане замечательного поэта первой половины XVII века Джона Донна (1572—1631). Младший современник Шекспира, Донн вошел в историю поэзии как первооткрыватель и новатор, чье творчество представляет собой целую эпоху в истории английской литературы. На протяжении столетий поэзию Донна то превозносили до небес, то подвергали суровой критике или даже намеренно обходили молчанием. Критики XX века поставили Донна на второе место после Шекспира среди поэтов-лириков той эпохи, хотя споры о его творчестве продолжаются и по сей день.

Джон Донн писал без малого четыре века тому назад, и многие его стихи могут показаться трудными неподготовленному читателю — и англичанину, и русскому. Для англичанина они, пожалуй, даже труднее, поскольку известная архаичность языка поэта отсутствует в переводе. По всей видимости, стремясь сделать Донна более доступным, Б. Томашевский в своем переводе просветляет некоторые сложности хода мысли поэта. Но трудности все же остаются. Так и должно быть.

Ранние стихи Донна создавались в 90-е годы XVI века, десятилетие, которое знаменовало собой наивысший подъем литературы английского Возрождения и вместе с тем подспудное начало ее кризиса. Непосредственными предшественниками Донна были такие мастера, как Эдмунд Спенсер и сэр Филип Сидни, которые создавали свою лирику в модной тогда манере «петраркизма». В это же десятилетие и Шекспир закончил большинство своих сонетов. Интересно сопоставить поэтическую манеру Донна и Шекспира. Вот начало знаменитого 65-го сонета Шекспира в переводе С. Маршака:

Уж если медь, гранит, земля и море
Не устоят, когда придет им срок,
Как может уцелеть, со смертью споря,
Краса твоя — беспомощный цветок?
Как сохранить дыханье розы алой,
Когда осада тяжкая времен
Незыблемые сокрушает скалы
И рушит бронзу статуй и колонн?

А вот первые две строфы стихотворения «С добрым утром», открывающего русский томик поэзии Донна:

До дней любви чем были мы с тобой?
Нас будто от груди не отлучали.
Иль тешились мы детскою игрой,
Или в Пещере Семерых мы спали?
Но было это все ничем для нас,—
Я красоту увидел в первый раз
В тот час, как встретил взгляд твоих
желанных глаз.

А нынче «С добрым утром!» говорим
Мы душам, в страхе замершим смятенно;
Любовь весь мир нам делает чужим
И комнатку нам делает вселенной.
Пускай, плывя на запад, моряки
Откроют новые материки,—
Для нас есть мир один, где мы с тобой
близки!

Сонет Шекспира написан в форме медитации: от образных сравнений, заимствованных из прекрасного, но тленного мира вещей, поэт поднимается к обобщениям о смысле времени любви в поэзии. Написанное в распространенном в эпоху Возрождения жанре альбы (утренней песни, повествующей о расставании влюбленных), стихотворение Донна представляет собой маленькую сцену с вполне конкретной дра-

матической ситуацией. Подобный драматизм — отличительная черта лучших стихотворений Донна. Многие из них имеют форму монолога. Драматизм предполагал особые качества стиля, и прежде всего его близость к разговорной речи. В поисках этой близости Донн сломал преграды, отделявшие лирическую поэзию от драматической, сблизив язык своих стихов с языком современного ему театра. В этом особая заслуга Донна. Как известно, английская драма XVI—XVII веков представлена созвездием таких талантов, как Шекспир, Марло, Бен Джонсон, Уэбстер, Тэрнер, поэтому вся ее последующая история невольно кажется спадом. И попытаться поднять стиль лирической поэзии и до ее уровня было делом отважным и дерзким.

Отличие мелодической манеры Шекспира от заземленно-разговорного, порой намеренно дисгармоничного стиля Донна, быть может, и не так наглядно ощутимо в переводах, поскольку лексика обоих стихотворений приближена к нейтральным нормам русского языка. Но зато различие поэтического строя мысли в отрывке вполне очевидно. Донн отказался от плавно-гармоничного движения стиха Шекспира, идущего от конкретных образов к широким обобщениям, и при этом поэзия автора «С добрым утром», конечно же, многое утратила. Но Донн ставил перед собой иные задачи. Главным для него был прихотливый полет мысли, причудливая игра ума, которая позволяла ему достигать желаемого с помощью сложных и необычных сопоставлений. Его целью было удивить, быть может даже потрясти, читателя — и тем самым подчинить его своей мысли. Правда, иные исследователи утверждают, что большинство причудливых образов Донна можно найти если не в поэзии, то в драмах его предшественников Пусть так. Но там эти образы теряются среди других в бурной игре красок, свойственной искусству Ренессанса. Донн более аскетичен и целенаправлен. Вот самый известный пример, строфы из «Прощания, запрещающего печаль», в котором поэт сравнивает души влюбленных, которым предстоит разлука, с ножками циркуля:

Ведь стали две души одною,
Их мой отъезд не разорвет...
Так слитка золото литое
В тончайший лист кузнец кует.

А если две их, то, пожалуй,
Они, как в циркуле, вдвоем...
Одна недвижно в центре встала,
Другая движется кругом.

Такая игра интеллекта была не только прорывом вперед в XVII век (а отчасти и в век XX), но и в известной мере шагом назад, к средневековой схоластике. Во всяком случае схоластами нам сейчас кажутся некоторые из поэтов «школы Донна», которые сугубо формально применяли открытия своего учителя — чем необычней и странней сопоставление, тем лучше! Недаром крупнейший поэт эпохи Реставрации Джон Драйден, поверявший свои творения просветительским критерием здравого смысла, с иронией называл такую поэзию «метафизической». По словам Драйдена, вместо того, чтобы волновать сердца прекрасного пола, она лишь путала мысли озадаченных читательниц

Важнейшая черта мировоззрения Донна — более тесные, чем у его предшественников, связи со средневековой философией. Подобный парадокс легко объяснить. Ведь поэзия Донна с небывалой дотоле остротой передала постепенно нараставшее разочарование в идеалах Ренессанса. Этот трагический по своей сути кризис духовных ценностей с афористической точностью выражен знаменитыми словами Гамлета: «Распалась связь времен», в равной степени верными как в отношении позднефеодальной Дании, так и раздираемой противоречиями Англии короля Иакова I. В поэме «Анатомия мира» Джон Донн так высказал ту же мысль:

Все в новой философии — сомненье:
Огонь былое потерял значенье,
Нет солнца, нет земли, — нельзя понять,
Где нам теперь их следует искать.
Все говорят, что смерть грозит природе,
Раз и в планетах, и на небосводе
Так много нового: мир обречен,
На атомы он снова раздроблен,
Все рушится, и связь времен пропала,
Все относительным отныне стало...

Джон Донн был первым английским лириком XVII века, в творчестве которого возникла эта апокалипсическая картина движущегося к неотвратимому концу мира, характерная для искусства барокко. Именно эти мотивы и сделали Донна столь близким некоторым поэтам Англии и США нынешнего столетия. Духовный кризис ценностей в начале XVII века заставлял людей не только, подобно Бэкону, проверять абстрактные истины практическими экспериментами, но и оглядываться в поисках утраченной цельности видения мира на казавшуюся им гармоничной философию средневековья. Острее других чувствуя разлад с современностью, Донн всю жизнь искал и не находил такой гармонии. И в этом смысле нет столь уж резкой грани, отделяющей юного повесу Джека Донна от умудренного опытом седого доктора богословия, хотя подобное противопоставление и основано на цитате из письма самого поэта. Бен Джонсон считал, что Донн написал свои лучшие стихи, когда ему еще не исполнилось 25 лет. Стихи эти были действительно блестящими, являя собой некий tour de force[1]. Нравы елизаветинского Лондона давали скептическому уму поэта отличный повод для едкой сатиры, и разобщенность Донна с обществом, где кипит «война всех против всех», чувствуется уже с первых строк его поэзии.

Искусный tour de force представляет собой и ранняя интимная лирика поэта. С самого начала Донн решительно порвал с зашедшей в тупик традицией английских «петраркистов», чьи гимны прекрасной, но

[1] Ловкое преодоление трудностей, проявление силы и изобретательности (*франц.*).

недоступной даме успели уже превратиться в литературный штамп, и со всем пылом юности воспел чувственную любовь. Но за чувственностью здесь пока еще не было настоящего чувства. Когда же любовь воцарилась в лирике Донна, он попытался найти в ней целительницу от всех невзгод неустроенного мира. Так, комната в стихотворении «С добрым утром» превратилась для любящих во вселенную. Причем любовь представлялась поэту теперь не только единением тел, но и высоким союзом душ. Именно так трактует ее Донн в «Прощании, запрещающем печаль» или в не менее широко известном «Экстазе».

Однако беспокойный дух поэта не мог найти общности с «раздробленным на атомы» миром ни в чувственной страсти, ни в высоком платоническом экстазе любящих душ. Постепенно поэт понял всю иллюзорность такого выхода. И вот в поздней лирике Донн обратился в поисках утраченной гармонии к религии. Но и его религиозная поэзия тоже была характернейшим порождением своей эпохи. И здесь для Донна главным оставался погрязший в грехах, обреченный на страдания мир, трагический скепсис проник и в позднее творчество поэта. По-настоящему Донн принял бога лишь в нескольких последних стихотворениях, написанных накануне смерти, когда земные радости и печали навсегда померкли для него.

Русские читатели уже давно ждали встречи с Джоном Донном. Книга его стихотворений в переводах Б. Томашевского охватывает в основном раннюю лирику поэта. Хочется надеяться, что знакомство будет продолжено и полное собрание стихов Донна в русских переводах украсит наши книжные полки.

А. ГОРБУНОВ

Издано за рубежом

РЕПОРТАЖ О ПРОШЛОМ

Ştefan J. Fay. Acea noapte, acea zi de iarnă 33. Bucureşti, Editura Albatros, 1973.

Существует род репортажа, который — при всей неточности определения — можно назвать ретроспективным. Чтобы создавать такие репортажи, требуется скорее упорство, нежели героизм, требуется работа, напоминающая больше усилия историка или писателя, чем труд тех коллег, которые посвятили себя исследованию сегодняшнего дня. В противовес мужественным рыцарям «сиюминутного» репортажа, которые создают свои очерки зачастую на линии огня (немало подобных работ запечатлели события второй мировой войны или войны во Вьетнаме), репортажа, созданного одновременно с описываемыми событиями и представляющего единственный литературный жанр, требующий не только чернил, но частенько и крови, автора того рода очерков, о котором пойдет речь ниже, нетрудно представить (не всегда, разумеется: он тоже не свободен от лихорадки поиска, отличающей братство очеркистов) сидящим в тиши рабочего кабинета и наслаждающимся благами приятного затворничества. Именно он пытается восстановить, накапливая отклики, рассыпанные на страницах прессы, в архивных документах, и свидетельства очевидцев, историческое событие многолетней давности. И пусть работа эта менее видна — цель ее остается значительной: рассказать не о том, что происходит *сейчас*, а о давно минувшем и забытом. Торопливым гонцам сегодняшней действительности он противопоставляет почетную задачу — воскресить забытое. Он хочет, чтобы мы снова услышали, как бьется — минута за минутой — пульс отошедших дней, связать в единую цепь мгновения утраченного времени.

Чем полнее воссозданная картина, тем достовернее иллюзия присутствия автора в гуще событий, которые он рисует с помощью архивных документов и живых свидетелей.

Ахеец, оставшийся внутри троянского коня, чтобы оттуда следить за финальной битвой, мог бы стать, наверно, первым репортером мира. Но Гомер, рассказавший несколько веков спустя о трагической гибели Илиона, создал «ретроспективный репортаж». В первом случае писатель сопровождает людей действия и на первый план выдвигается смелость человека, пишущего под бомбами или «с петлей на шее». Во втором — главенствует сама техника ремесла, автор как таковой...

Недавно я имел удовольствие прочесть хорошую румынскую работу такого рода. Я имею в виду книгу Штефана Ж. Фая «Эта ночь, этот зимний день...», посвященную событиям 1 февраля 1933 года в городе Плоешть — одному из ключевых моментов борьбы румынского пролетариата, вызвавшему широкий международный резонанс. Эта книга об одном дне, о самом долгом дне — если воспользоваться названием другого, тоже знаменитого ретроспективного репортажа — в истории революционной борьбы нефтяников города Плоешть и всей долины Праховы.

Хотя, возможно, автор и принимал участие в описываемых событиях (очевидно, он скрывается под образом молодого журналиста Врабие), в целом книгу Шт. Ж. Фая следует отнести к той категории репортажа, который я назвал ретроспективным. Здесь с исчерпывающей полнотой использованы документы эпохи, и автор проявил несомненное умение организовать материал. Такое умение абсолютно необходимо, ибо монтаж «кадров» — важнейшая сторона того вида репортажа, о котором мы здесь говорим. Автор использует

контрапункт, умело меняет ракурсы, соблюдая определенную очередность, стремясь усилить напряжение и ввести нас в сердцевину событий. Он ведет нас из мансарды начинающего журналиста в гущу уличной студенческой демонстрации, затем вместе с директором газеты, в которой сотрудничает Врабие, мы оказываемся в зале заседаний буржуазного парламента; по ходу действия узнаем, что полицейский агент И. И. Ницу, «специалист по вопросам рабочего движения», предлагает свои услуги (через голову своего непосредственного начальника квестора Мишу Порумба) полковнику Гаэтану, одному из столпов румынской охранки, который ставит перед ним задачу деконспирировать уполномоченного ЦК РКП в долине Праховы. Главы, в которых описаны собрания рабочих на дворе нефтеочистительного завода «Ромыно-Американа» и на площади перед полицейским управлением, чередуются с описанием бурных сцен в кабинете директора Смайдлера и Мишу Порумба. Авторское повествование насыщено отрывками из выступлений прессы или «строго секретных» документов соответствующих буржуазных учреждений и организаций — они придают ему особую убедительность и весомость. Один из приведенных на странице 131 документов, хотя и кажется плодом мрачной фантазии, весьма точно отражает действительность того времени: «В архивах нефтеперегонного завода «Стяуа ромынэ» обнаружено нечто вроде прейскуранта сумм, выплачиваемых дирекцией за увечья: за потерянную ногу — 500 лей, за левую руку — 200, за правую — 300, за отрезанный палец — 72, за человека раздавленного или убитого током — от 1000 до 2000 лей».

Но каким бы всеобъемлющим ни был подобного рода материал, в нем все же остаются щели, которые приходится заполнять. Тут и сказывается роль литературного таланта автора. Не только для того, чтобы сцементировать реальные факты, добытые в ходе исследования, но и чтобы вдохнуть в них жизнь. С этой точки зрения Штефан Ж. Фай — не только интересный очеркист, но и многообещающий прозаик. Ему присуща психологическая проницательность, чувство конкретного, он знает людей и их типичные жесты, умеет рисовать широкие массовые сцены и отдельные запоминающиеся образы, воссоздавать атмосферу времени, разить метким ироническим замечанием и т. д.

Вот несколько примеров. Банды легионеров разогнали студенческую демонстрацию. На улице видна лишь жалкая, помятая шляпчонка, гонимая студеным январским ветром, да нищий, тщетно пытающийся завладеть ею. Принадлежавший графу Александру Леншу дом-музей на Пьяца Амзей, в котором живет полковник Гаэтан, усыновленный вельможей, и куда однажды с почтительной робостью является агент Ницу,— поистине бальзаковский уголок. Литературной удачей автора является также образ агента Ницу, обладателя огромной картотеки, в которую занесены не только имена рабочих, но и сплетни о жизни городской знати и тайные пороки старших по чину, чье место Ницу жаждет занять. Сцена, когда он, разложив свой «пасьянс», любуется, точно скупец своими сокровищами, весьма красноречива. При этом автор тактично избегает всяких легковесных характеристик отрицательных персонажей. Ницу действительно умен, Гаэтан не лишен определенной реальной силы. Предавая интересы рабочих, которые он был обязан защищать, инспектор Стегу испытывает нечто вроде неловкости.

Штефан Ж. Фай умеет находить убедительные жесты, характерные движения: в конце смены рабочий растирает снегом черные от нефти руки; выходя рано утром в зимнюю стужу, рабочие шагают, втянув голову в плечи, стараясь сохранить хотя бы частицу сонного тепла вокруг себя и в себе, они сбиваются в кучу, идут, глубоко засунув в карманы застывшие руки. *У них типичная походка людей, которым никогда не бывает зимой тепло* (курсив мой.— *В. К.*).

Для одного из героев книги — коммуниста Думитру Штефана — дорогой образ жены ассоциируется с запахом керосина, запахом ее волос, «здоровым, строгим запахом чистоплотной бедности». Прежде чем пустить рабочую делегацию к директору, который делает вид, что намерен пойти навстречу требованиям бастующих, ее долго выдерживают в приемной. Это психологический расчет. Ибо, тонко замечает автор, такова роль приемных: заставить тебя снова почувствовать себя маленьким, если ты на мгновение вообразил, будто ты большой и могучий. Есть своя ирония и в вещах: на окнах полицейского управления, осажденного населением, спокойно колышутся толстые занавеси из голубого бархата, они тихо хлопают на ветру, напоминая «звуки мирного дома». И есть своя ирония у истории: Ницу опознает уполномоченного ЦК РКП в тот момент, когда уже не может арестовать его, ибо чаша весов склонилась на сторону трудовых масс. Вначале, правда, силы подавления, руководимые полковником Букэлату, добиваются временного успеха: рабочие вынуждены оставить занятый ими завод, группы трудящихся других заводов, спешащих на помощь, разогнаны. Но коммунистам, выполнявшим указание уполномоченного ЦК, удается собрать на площади перед полицейским управлением рабочих с завода «Ромыно-Американа» и других предприятий города и освободить арестованных забастовщиков Успех полный. И страницы, рассказывающие о преследовании рабочих, а затем об осаде полицейского управления, захватывают, как в самом занимательном романе.

Основной удачей книги является образ уполномоченного ЦК, решительного, хладнокровного, умудренного борца и руководителя и вместе с тем простого, легко ранимого человека. Особенно впечатляющей представляется сцена, когда после утоми

тельного дня, закончившегося важным партийным заседанием, накануне исторических событий 1 февраля 1933 года, в подготовку которых он — по поручению ЦК — вложил больше сил, чем кто-либо другой, этот человек, носящий для конспирации попеременно имена Йоргу и Гогу, возвращается к себе «домой», в чужую комнату, терзаемый тревогой: по некоторым сведениям, его жена арестована. Он понимает, что так и не сможет использовать оставшиеся часы для короткого отдыха; он гасит папиросу, задувает лампу и застывает посреди комнаты: его внезапно охватывает чувство... одиночества. Ненадолго, однако. Вскоре он выходит из дому, садится на велосипед и выезжает на шоссейную дорогу, ведущую к городу. А там уже шумит поток рабочих, спешащих к своим предприятиям...

В книге «Эта ночь, этот зимний день 1933 года» можно найти и неубедительные страницы, бегло очерченные образы рабочих, отдельные штампы, порой излишнюю патетику, а то и сентиментальную слащавость. В целом же эта книга — нечто большее, чем просто хороший репортаж, посвященный важному историческому событию. Это содержащее в себе зачатки нескольких романов полноценное, волнующее произведение о рабочих, об их психологии, традициях, труде, страданиях и борьбе. Книга Шт. Ж. Фая всколыхнула в душе волнение, с которым мы когда-то читали «Жерминаль» Золя, наполнив душу сочувствием к угнетенным и гневом против тех, кто наживается на их страданиях.

ВАЛЕРИУ КРИСТЯ

г. Бухарест

МЕЧТАТЬ, НАДЕЯТЬСЯ, БОРОТЬСЯ

Romulus Guga. Sărbători fericite, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1973.

Проблема становления личности, традиционная для литературы — достаточно вспомнить гетевский «бильдунгсроман» или автобиографическую трилогию Толстого,— приобрела в последние десятилетия новое звучание. Человек перед лицом истории, своим умом и трудом «создающий», творящий историю и в то же время «создаваемый», формируемый историей в социальном, политическом и психологическом плане,— вот главный герой современной литературы в наши дни, именно он больше всего привлекает и писателей, и читателей.

Проблема эта ставится с особой последовательностью в литературах социалистических стран, история которых тесно связана с борьбой за утверждение социалистического сознания.

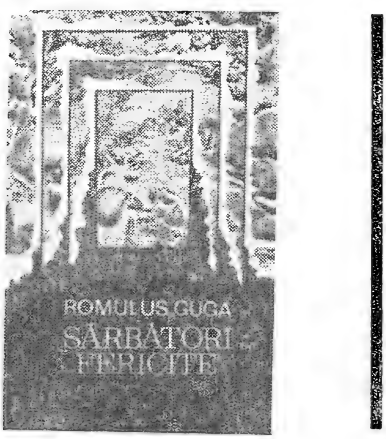
В новой румынской литературе романы «становления личности» появились довольно рано. Среди первых наиболее удачных произведений следует отметить книги «Чужой» (1955) Титуса Поповича и «Ион Сыну» (1957) Йона Марина Садовяну. В этом ряду стоят и другие достижения современной румынской прозы: можно вспомнить «Морометов» Марина Преды, его же «Великого отшельника» или «Птиц» Александра Ивасюка.

Для некоторых писателей старшего поколения обращение к этой теме продиктовано желанием подвести итоги тому, что уже сделано, стало прочным настоящим, для более молодых — попытка обобщить моральный и духовный опыт своих сверстников, рассказать о человеке, полностью сформировавшемся в условиях новой действительности. Сама проблема позволяет писателям идти разными путями к ее разрешению. Ал. Ивасюк в романе «Вода» или Ал. И. Штефанеску в романе «Человек в воскресный день» показывают первое столкновение своих персонажей с новыми идеями, с новым миром в период, сразу следовавший после 1944 года, когда перспективы будущего не получили еще своего ясного очертания, когда все еще только укладывалось, утверждалось.

Другие же стремятся проследить этап за этапом развитие личности в новых условиях—так, например, построен сюжет в романе Б. Неделковича «Без весел» или в романе «Карусель» Тудора Антона. По этому же пути идет и Ромулус Гуга, молодой писатель, недавно выпустивший новый роман «Счастливые праздники» (1973).

Центральный персонаж его предыдущего романа «Посмертная жизнь» (1972) — карьерист, человек, лишенный каких-либо моральных устоев, стремящийся только к собственному благополучию и процветанию, не отказывающийся ни от каких сделок с совестью для достижения цели. Это своеобразный Клим Самгин, приспосабливающийся к условиям социалистической действительности. Связь между этим романом и «Счастливыми праздниками» заметна и ощутима, их объединяет общность проблематики, но утверждается она под знаком противопоставления, антитезы.

Образ главной героини Веры и весь роман Гуги подчинены мысли показать, как



формируются духовные качества личности в социалистическом мире. Это противопоставление двух произведений не носит, однако же, схематического, шаблонного характера: о романе «Счастливые праздники» менее всего можно говорить как об идиллическом изображении действительности.

Повествование ведется от имени Луки, сына Веры, и начинается оно в трагический для него день. Он узнает, что мать умерла. Действие развертывается в двух направлениях, которые порою пересекаются, порою развиваются параллельно. Один план — это скупой рассказ о тех двух-трех днях, в течение которых отец и сын заботятся о похоронах. Это отдельные зарисовки поведения людей, сочувствующих горю ближнего, калейдоскопически проходящие перед глазами читателя. По мере своих возможностей и сил стараются помочь Луке и суровая медсестра, и больничный сторож Сандру, разделяющий с ним свой скудный обед, и шофер Гицэ, который отвозит на кладбище гроб и отказывается взять деньги. И такие же простые незнакомые люди согреют своим присутствием, своим душевным участием одинокую сцену погребения. Как к родному, всячески пытаясь ему помочь, относятся к Луке родители его школьного товарища Грига. Эти эпизодические сцены и лица составляют как бы лейтмотив, говорят о человеческой доброте, человеческой отзывчивости, проходящей через весь роман и подчеркивающей основную его идею.

Вторым планом развертываются перемежающиеся с первым отдельные сцены жизни Веры и Иоана, такой, как ее вспоминает их сын. Монолог юноши переходит неоднократно в диалог с матерью, раскрывающей смысл событий, которые Лука в детстве не мог понять и оценить, объясняющей те или иные моменты своей биографии и своей эпохи. Воспоминания Луки, дополняемые рассказом матери, напластываются друг на друга, взаимно проверяются, отражаются как бы в системе зеркал, и в конечном итоге такая свободная манера обращения к настоящему и к прошлому способствует созданию емкой картины истории жизни страны на ее пути к социализму.

Вера и Иоан — рабочие, сознательная жизнь которых началась одновременно с переходом Румынии на новый путь истории; они духовно росли и мужали в самоотверженном труде на благо своей родины и своего народа, стойко пронесли через все невзгоды чувство преданности партии и социализму. На вопрос Луки, что сильнее смерти, Вера отвечает: «Лишь идеи — они бессмертны». И это убеждение освещает весь жизненный путь героини. Честная и мужественная, она превыше всего верит в человека, в его творческую силу и завещает сыну «мечтать, надеяться, бороться... иначе ты сгниешь, ты будешь все отрицать и даже своим собственным словам перестанешь верить».

Под стать Вере ее муж Иоан, такой же цельный и бескомпромиссный. При всем том автор не рисует биографии исключительных людей. Его цель — показать возникновение и становление нового духовного склада, в котором отражаются лучшие чаяния эпохи. Это люди высоких моральных качеств, наделенные той духовностью, которая делает счастливыми их и оказывает влияние на тех, кто с ними встречается в жизни. Вера не знает «облегченного» отношения к жизни ни в своих помыслах, ни в своих идеалах, ни в труде, ни в чувствах, ни в общении с окружающими или близкими. И, конечно, о ней говорит автор, когда определяет подлинных людей словами: «Это те, кто может умереть из-за ничтожной несправедливости, если почувствует, что вера покинула его».

Ни разу в жизни героиня Гуги не изменила ни своим идеалам, ни себе, даже когда новая, сильная любовь вошла в ее жизнь. Нелегко было Вере отвергнуть нежное, светлое чувство Александру; горьким воспоминанием осталась его трагическая смерть от рук врагов. И столь же нелегко было Иоану понять и оценить мужество жены.

Пафосом гуманизма, утверждением прекрасного, добра и правды как основ человеческого существования проникнут роман Ромулуса Гуги, и это придает ему оптимистическое, мажорное звучание. Встречи с такими настойчивыми людьми, как Вера,— это те «счастливые праздники», которых автор желает как можно больше каждому из своих современников.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ
г. Бухарест

ВАРИАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ

Gardner, John. The Sunlight Dialogues. New York, Alfred A. Knopf, 1972.
Gardner, John. Nickel Mountain. A Pastoral Novel, New York. Alfred A. Knopf, 1973.

Джону Гарднеру сорок лет. До 1972 года, когда появился его четвертый роман «Диалоги с Солнечным», этот молодой профессор, преподаватель древнеанглийского в университете южного Иллинойса, был известен как талантливый автор нескольких «исторических», а по мнению других — «антиисторических» романов, легко обнаруживающих связь с современностью. Так, действие романа «Гибель Агатона» (1970) перенесено в Спарту 500 года до н. э. Его герой Агатон, сторонник неограниченной свободы личности, ведет в тюрьме диалоги со своим учеником, цитируя то Плутарха (II в.), то Драйдена (XVII в.). Следующая книга Гарднера, поэма в прозе «Грендел» (1971), была охарактеризована критикой как «легенда о Беовульфе, пересказанная чудовищем». Сравнения с книгами «Повелитель мух» Голдинга,

«Колыбель для кошки» Воннегута и «Над пропастью во ржи» Сэлинджера говорят о современности ее содержания.

«Диалоги с Солнечным» — первый роман Гарднера, написанный непосредственно на современную тему,— стал литературной сенсацией. Об авторе заговорили как о «ведущем американском писателе», доказавшем, что «роман жив». Свои размышления о сегодняшней Америке Гарднер облек в традиционную форму семейной хроники в семьсот страниц, с увлекательным детективным сюжетом, множеством побочных линий, иллюстрациями и даже списком действующих лиц в начале романа и свидетельством о смерти одного из двух героев в его конце. Главу полиции провинциального городка Фреда Кламли, отдавшего жизнь служению порядку и называющего себя «сторожевым псом», Гарднер сделал оппонентом Тэггерта Ходжа, блудного сына одного из местных аристократических семейств. Этот бывший юрист, блестящий полемист и мастер столь модных сегодня на Западе оккультных представлений, ныне отрицает все «нормы». В их диспутах обсуждаются различные аспекты зависимости личности от общества — тема, затронутая писателем в его ранних книгах. Примечательно, что Агатон, герой древнегреческих диалогов Гарднера, олицетворяющий гуманистический бунт против ограничений личности, вызывает симпатию, а Тэггерт, чьи теоретические настроения оборачиваются цепью намеренных и невольных убийств,— жалость, но и протест, раздражение. Рядом с ним временами почти карикатурный Кламли — из последних сил стремящийся выполнить свой долг, но вместе с тем призывающий сограждан после нелепой гибели своего сверхпреступника понять и простить заблудших: «иначе, как говорится у Эйнштейна, вселенная обратится в глыбу льда»,— выглядит глубоко человечным.

Гарднер продемонстрировал бесплодность тотального нигилизма. И взамен современного варианта культа вседозволенности предложил вернуться к гуманистическим идеалам, отвергнутым вместе с религиями древними, и обрести опору в любви к ближнему и сознании своего долга перед обществом—мысль не оригинальная, но находящая все новых сторонников сегодня в США, где бунт против традиционных ценностей, не сумев разрешить породивших его противоречий, зашел в тупик.

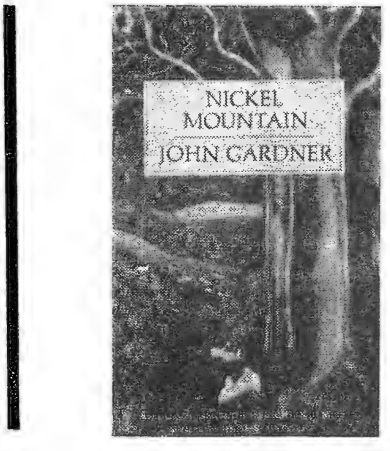
На этот раз хор рецензентов сравнивал Гарднера-реалиста с Апдайком и даже с Фолкнером, и в буре похвал потонули редкие скептические голоса. Литературный обозреватель «Нью-йоркера», например, назвал «Диалоги с Солнечным» стилизацией, не преминув при этом сослаться на слова автора о том, что его роман «не отражает жизнь, а имитирует некоторые литературные формы». Сам Гарднер тем временем, возможно устав от невеселой современности, вновь погрузился в милую его сердцу древность: через полгода вышла огромная, написанная гекзаметром поэма размером с «Одиссею» — «Язон и Медея», переложение трагедии Еврипида «Медея». Критика почти единодушно ополчилась против «новых античных ваз». Некоторые рецензенты отрицали даже формальное мастерство Гарднера.

Прошло еще полгода — и Гарднер опубликовал вторую книгу об Америке наших дней. Роман «Никелевая гора» — новый поворот на пути поисков литературной формы, которая соединила бы традицию и современность. Автор назвал его пасторальным.

Пустынная горная дорога неподалеку от Катскилла (штат Нью-Йорк). Скромная столовая для проезжающих и ее хозяин Генри Сомс, смахивающий на добродушного медведя. Одинокий, сентиментальный, размышляющий о своем больном сердце, долгах и надвигающейся старости. А вот и шестнадцатилетняя пастушка — Калли Уэллс, дочь подруги молодости Генри Сомса. Прежде чем начать самостоятельную жизнь в Нью-Йорке, Калли решила приобрести опыт, поработав в столовой Генри.

Однако сложности жизни подстерегают Калли не в Нью-Йорке, а дома. Ее возлюбленный уезжает в колледж. И Генри, узнав, что Калли ждет ребенка, предлагает ей руку и сердце. С этого момента они живут счастливо — заботами о ребенке и доме. Из угловатой девушки Калли превращается в полновластную хозяйку процветающего ресторана, а Генри устраняется от забот. В рамках их мирка его доброта разрастается до космических размеров, равно изливаясь на всех: каждый может найти в нем благожелательного слушателя, о чужих он готов заботиться, как о родных. Но добровольный искус этого «сторожа брата своего» заканчивается трагически: пригретый Генри святоша, напуганный вызванной им вспышкой гнева своего благодетеля, оступившись, падает с лестницы и умирает. (Кстати, герои романа один за другим становятся невольными виновниками подобных несчастий.) Генри замыкается в себе, начинает патологически много есть, быстро тучнеет.

Размышления Генри носят философско-религиозный характер. Церковь для него



слишком примитивна, но он всегда был религиозен, семейные обряды и реликвии для него «святы», в происходящем вокруг он склонен усматривать знамения. Теперь он становится пантеистом, с еще большим, чем прежде, вниманием созерцающим жизнь природы. Он часто ходит со своим маленьким сыном через лес на кладбище. Роман заканчивается символической сценой — обнаружив, что мальчик пытается заглянуть в разрытую могилу, Генри вспоминает, что опять не заметил, как прошло время.

Время для Генри давно остановилось. Дорога, которая идет мимо его дома, символ очень прозрачный — жизнь идет мимо. Из идиллии возникает «леденящий ужас небытия». Примерно с середины романа начинает чувствоваться схема. Жизнь — сон, человек похоронен в себе. Но вот наступает момент пробуждения, озарения — схема религиозная. В произведениях некоторых американских писателей, особенно так называемой «южной школы», она преломляется следующим образом: спасением от смертельного для души «нигилизма изолированного темперамента» может стать лишь сознание причастности всему живому на земле, обретенное в момент пробуждения от сна механического бытия (вспомним, например, «Паутину земли» Т. Вулфа).

В книгах Гарднера всегда ощущается избыток филологического багажа, что мешает целостному художественному восприятию. Поэтому их можно рассматривать и как талантливый комментарий к распространенным идеям или парафраз известных произведений.

Роман «Никелевая гора» заставляет вспомнить последний роман Р. П. Уоррена «Меня в долине встреть зеленой». Та же дорога, идущая мимо одинокого дома... Напрашивается сравнение двух героинь: Кэсси Уоррена за минутное счастье платит безумием. Калли Гарднера легко переходит от несчастной первой любви к ровному пламени «любви — за неимением другого слова». Она погружается в небытие совершенно добровольно. Однако трудно поверить, что эмоциональная шестнадцатилетняя девушка удовольствуется в жизни ребенком и хозяйством. Невольно задумываешься о том, что станется с ее «добрым дядюшкой», если он доживет до момента ее пробуждения. По мнению американской критики, Гарднер своей пасторалью приглашает читателя вернуться к вечным ценностям. Он максимально отодвигает своего героя от прагматического мира и для большей верности делает его невольным виновником смерти человека, который долго испытывал его терпение,— идея фолкнеровская: чистое пламя вины предпочтительней (человечней) бессмысленности «шумного мира». В духе распространенного сейчас на Западе иррационализма Гарднер наполняет жизнь Генри и его соседей мистическим ужасом: неведомые силы вселяют в подростков жажду разрушения, в лесах появляются странные животные, на дороге происходят загадочные аварии и возникают гротескные фигуры, неизвестно откуда взявшиеся в этих местах. До женитьбы непонятное беспокойство нередко заносило и самого Генри в горы, где звездное небо рождало в нем желание кинуться в пропасть (так кончает жизнь один из юных героев «Диалогов с Солнечным»). Но вот к Генри приходит смирение, он обретает в себе и природе опору, становится неуязвимым для реальности, рядом с ним молодежь кажется хрупкой, легко ранимой.

Гарднер тонко чувствует свое время, роман «Никелевая гора» — реакция на современные настроения: усталость от политики, от все более ощутимых трений с системой — всех волнений 60-х годов,—желание уйти в себя, любыми способами отделаться от реальности, желание инфантильное. Непрестанно жующий Генри Сомс — взрослый ребенок, пародия. Еще недавно хиппи увлеченно разыгрывали современную пастораль, но и этих «детей цветов и любви» хватило ненадолго. На наш взгляд, книгам Гарднера не свойствен гуманистический накал произведений Фолкнера, в сравнении с его героями Генри, Калли да и Тэггерт — зыбки. Но полубезумный Тэггерт Ходж, трагический герой «Диалогов с Солнечным», действительно непоправимо виновный перед людьми, но и искалеченный ими, гораздо ближе Гарднеру, чем современный христианин Генри Сомс.

Руссоистская естественность устарела, в погоне за «раем сейчас» можно легко потерять землю, в «рай вседозволенности» мы сможем войти лишь через ворота еще большей сознательности и вряд ли обретем былую простоту — эти мысли, высказанные в ряде работ современных американских социологов, можно проиллюстрировать образами Тэггерта и Генри.

Думается, Джона Гарднера идеи интересуют больше, чем люди, отчего как художник он проигрывает. И что бы ни писал Гарднер — он создает современный роман идей. Верность писательского видения, созвучность размышлений настроениям сограждан и бесспорная одаренность делает популярными его книги. Пока самым талантливым и убедительным в художественном отношении творением Гарднера остается Фред Кламли. Он гуманней приемлющего все и вся Генри Сомса. Кламли действительно захотел понять и сумел пожалеть совершенно чуждого ему человека. Он сознает, что несмотря ни на что в этом далеком от совершенства мире человек должен чувствовать ответственность за всех и за все.

Новый роман Гарднера «Никелевая гора» свидетельствует о том, что современного человека не спасет «сон золотой». Атмосфера сегодняшней Америки далека от пасторальной, и Гарднер напоминает об этом, пародируя саму идею пасторали — безмятежного счастья на лоне природы, под крылом спасительных «вечных» истин.

Т. РОТЕНБЕРГ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ

Каждая новая премьера известного австрийского писателя и драматурга Петера Хандке вызывает сенсацию. Не стала исключением и последняя его пьеса «Неразумные вымирают», которую поставил цюрихский театр «Ноймаркт».

Главный герой пьесы, крупный промышленник Герман Квитт — человек чувствительный, склонный к философским излияниям. Однако эта чувствительность отнюдь не мешает ему быть безжалостным хищником, которого ничто не может сдержать в погоне за прибылью.

В начале действия Квитт заключает с четырьмя другими промышленниками соглашение о производстве и ценах, которое должно помочь им разорить более мелких конкурентов. Однако вскоре выясняется, что сам он вовсе не придерживается договоренности. Он по своему усмотрению сбивает цены, вчетверо увеличивает выпуск продукции. На обвинения обманутых коллег в предательстве, коварстве и нелояльности Квитт хладнокровно отвечает: «Все это набор фраз для подчиненных. У нас, людей самостоятельных, это называется деловым поведением».

Рецензент западногерманского журнала «Шпигель» сравнивает героя Хандке с «гигантом чикагской мясной биржи» Маулером из знаменитой пьесы Б. Брехта «Святая Иоанна скотобоен»; ему тоже чувствительность не мешала «делать деньги». Это сближение тем более знаменательно, что до сих пор сам Хандке отрицал какие-либо связи с Брехтом и противопоставлял себя ему. В новой его пьесе явственно звучат мотивы критики капитализма. «Правда,— замечает рецензент,— возможно, что в последний момент автора самого смутило, до чего все его персонажи выстроены по марксистской линии, и он постарался усилить лирический элемент в пьесе, заставив героя анализировать собственные действия, рассуждать о самом себе с оттенком мировой скорби. Однако исполнитель главной роли артист Норберт Швинтек все эти чувствительные фразы и философские сентенции произносит мимоходом, как деловые обороты».

По мнению рецензентов, Хандке не удалось создать вполне достоверный образ современного предпринимателя; но он убедительно показал невозможность нормальных человеческих отношений в мире, живущем по волчьим законам.

АНГЛИЯ

«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ И ЛЮБОВЬ НЕБЕСНАЯ» АЙРИС МЕРДОК

Издательство «Чатто энд Уиндус» выпустило новый роман известной английской писательницы Айрис Мердок «Любовь земная и любовь небесная». На протяжении последних лет Айрис Мердок пишет по роману в год, и каждая ее книга становится событием в литературной жизни Англии.

Блэйз Гэвендер, один из главных действующих лиц «Любви земной и любви небесной»,— фигура, давно уже знакомая читателю по предыдущим книгам писательницы. Это человек, жизнь которого управляется случаем, он — жертва созданной им самим путаницы в отношениях с другими людьми, существо, не способное прозреть и понять правду. Блэйз ведет двойную жизнь: одну, светлую, дневную, со своей женой Харриет и сыном Дэвидом в респектабельном англий-

ском доме, другую, темную, ночную, с Эмили, молоденькой вульгарной учительницей в жалкой лондонской квартире.

В «Любви земной и любви небесной» есть и еще один типичный для романов Мердок персонаж — Монтагью Смолл, известный автор нашумевших детективов, человек, не способный, в отличие от Блэйза, ни на какие чувства, что представляется А. Мердок большим нравственным пороком. Монтагью Смолл — невидимый режиссер судеб других людей, персонифицированный случай, внешне привлекательный, но внутренне мрачный и страшный тип современного циника-интеллектуала. Английские критики сравнивают Монтагью Смолла с «магом» Мишей Фоксом, персонажем раннего романа Айрис Мердок «Бегство от волшебника». Монтагью Смолл, как и Миша Фокс,— «король циников», дремлющий бог, совершающий ужасные деяния в состоянии транса. Однако, пишет рецензент «Таймс литерари саплмент», образ невидимого режиссера на этот раз получил более верную психологическую трактовку. Монтагью Смолл не столько демон, бог ночи, сколько самый обычный человек, продуманно и бесстрастно творящий зло.

Как и всегда в романах Айрис Мердок, герои группируются в сложные любовные треугольники. В последней книге основным треугольником, вокруг которого концентрируется основное действие, является треугольник: Блэйз — Харриет — Эмили. Узнав о второй семье Блэйза, Харриет готова простить мужа и не превращать его жизнь и жизнь своей соперницы в ад. Она пытается все разрешить по-доброму. Харриет — «святая», она персонифицирует в книге Айрис Мердок «любовь небесную», тогда как Эмили олицетворяет «любовь земную, плотскую». Однако это не означает, что Харриет — абсолютное добро, а Эмили — зло. Отношения и соотношения не столь прямолинейны в романе Айрис Мердок. И в этом его, как утверждают критики, этическая значимость.

Рецензенты отмечают возросшее мастерство внутреннего и внешнего портрета, блестящий сценический диалог в романе Айрис Мердок. Рецензент «Таймс литерари саплмент» называет Айрис Мердок «поразительно талантливой писательницей, одаренной поистине волшебным воображением». Завершая свой обзор, он пишет: «Каждой новой книгой она дополняет свой ответ на самый трудный вопрос: как жить, чувствовать и любить?»

«БЕССМЕРТНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС»

Под таким заголовком газета «Крисчен сайенс монитор» поместила отзыв о спектакле Шекспировского королевского театра «Шерлок Холмс», имеющем неизменный успех у публики. Художник-декоратор спектакля Карл Томс работал в тесном сотрудничестве с членами Общества Шерлока Холмса в Лондоне, которые помогли ему в мельчайших подробностях воспроизвести обстановку знаменитых комнат Холмса в его мемориальной квартире в Лондоне. О всемирной популярности этого литературного героя говорит не только спектакль и музей, но и вся деятельность его Общества, насчитывающего 720 членов только в одном Лондоне и сотни членов во многих странах мира. В Общество принимаются люди без каких-либо возрастных ограничений. Сейчас его возрастной диапазон от 11 до 80 лет. Треть членов — моложе тридцати лет.

Шесть раз в году происходят заседания общества приверженцев Ш. Холмса, раз в год члены его встречаются на банкете, посвященном дню рождения своего любимого героя. Раз в полгода выходит журнал, целиком посвященный жизни и деятельности Холмса, причем, как говорит председатель Общества Филип Долтон, авторы «научных» статей стремятся в своих работах как можно теснее переплести реальность и вымысел.

В заключение рецензент напоминает, что прототипом Шерлока Холмса Конан-Дойлю, как известно, послужил эдинбургский врач

Джон Вуд (Холмс) и Мэри Рутерфорд — в спектакле Шекспировского королевского театра «Шерлок Холмс».

(Газета «Крисчен сайенс монитор»)

Джозеф Белл, под руководством которого молодой писатель занимался медициной. «Поразительно,— пишет он,— насколько все актеры, когда-либо игравшие Шерлока Холмса, похожи на знаменитый портрет Дж. Белла».

БОЛГАРИЯ

«ДНЕВНИК ДЛЯ СОЖЖЕНИЯ»

Вышла из печати новая книга стихов талантливого болгарского поэта Любомира Левчева «Дневник для сожжения», посвященная Чили.

«В этом сборнике веют ветры революции»,— отмечает в еженедельнике «Народна култура» критик Александр Спиридонов. Левчев — поэт-коммунист, он уверен, что «цвет и кровь наших коммунистических идей одинаковы под звездами Кубы, на жаркой земле Латинской Америки и в Европе». По мнению критика, эта книга — «свидетельство участия поэта в борьбе против реакции».

«ЛЕТЕЛИ АИСТЫ НА ЮГ»

Под таким названием вышла книга поэта Е. Евтимова. Она адресована детям и носит все признаки характерной для всего творчества поэта гражданственности. В ней читатель снова встречается со стихотворениями о болгарской земле, ее героической истории, радостном настоящем и светлом будущем. Но в цикл этих стихотворений, объединенных под заглавием «Болгария», поэт включил также стихи о войне и мире, о детях Вьетнама. Вместе со вторым циклом «Курьеры «Искры», в котором рассказывается о Ленине, эти стихи придают книге ярко выраженный патриотический и интернациональный характер.

Критик К. Топалов в еженедельнике «Литературен фронт» дает высокую оценку новому сборнику поэта.

ВЕНГРИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ ИНСЦЕНИРОВКА

Примечательным событием театрального сезона этого года является обращение Будапештского Национального театра к роману классика венгерской литературы Ж. Морица «Родственники».

Напомним, что роман «Родственники» был создан в 1930 году, в период жестокого экономического кризиса, и разоблачал продажный мир хортистских чиновников, финансистов, депутатов парламента, которые, по словам автора, «рассматривали венгерское государство как свое личное владение».

Роман «Родственники» по-прежнему — одно из самых популярных произведений как у старшего поколения, так и у молодежи. Это объясняется не только его высокими художественными достоинствами, но и растущим интересом читателей к историческому прошлому своей родины.

Сценический вариант романа создан писателями Виргач Мориц и Габором Турзо.

По свидетельству журнала «Критика», молодому режиссеру Ласло Андрашу Надь совместно с авторами инсценировки и актерами, занятыми в спектакле, «удалось воплотить на сцене атмосферу эпохи, создать ряд интересных, запоминающихся сцен... И можно надеяться,— отмечается на страницах журнала,— что благодаря спектаклю у одного из самых замечательных романов Морица появится много новых читателей».

ГДР

ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕНРИХА МАННА

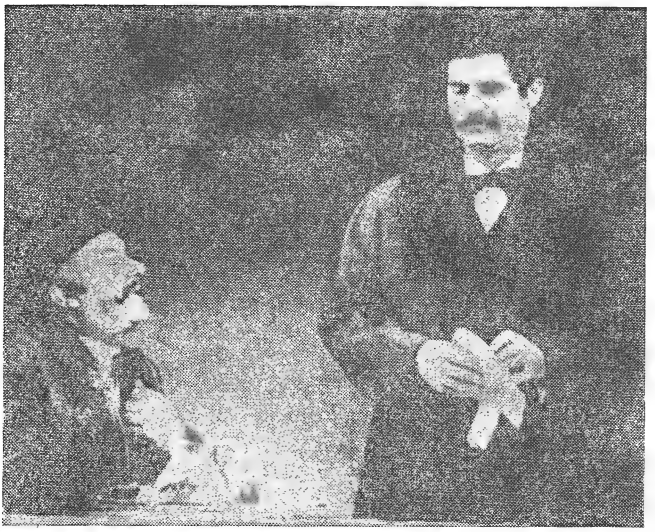
Немецкая Академия искусств присудила премии имени Генриха Манна за 1974 год. Лауреатами этого года стали писатель Герхард Вольф и литературовед Курт Батт. Приветственные речи произнесли лауреат премии имени Генриха Манна за 1973 год — писательница Хельга Щюц и профессор Вильгельм Гирнус.

Хельга Щюц особо отметила книги Герхарда Вольфа о Бобровском и о Гёльдерлине. «Эти книги отно-

---

В роли чиновника Иштвана Копьяша—актер Дюла Сершен, в роли дядюшки Берце—актер Йожеф Хорват.

(Журнал «Критика»)



сятся к тем произведениям, которыми я восхищаюсь, за которые я благодарна, — сказала Хельга Щюц.— Мне кажется, что оба исследования приближаются к жанру романа».

Отмечая заслуги литературоведа Курта Барта, Вильгельм Гирнус сказал, что в его работах, посвященных творчеству различных писателей, всегда сохранено главное, самое характерное для каждого автора. «Курт Батт — автор большой монографии о Генрихе Манне. Это не случайно. Много лет он занимался его творчеством, был редактором его книг. Он хорошо знает произведения Генриха Манна, относится к ним очень бережно, с большой любовью».

РАССКАЗЫ МАРГАРИТЫ НОЙМАН

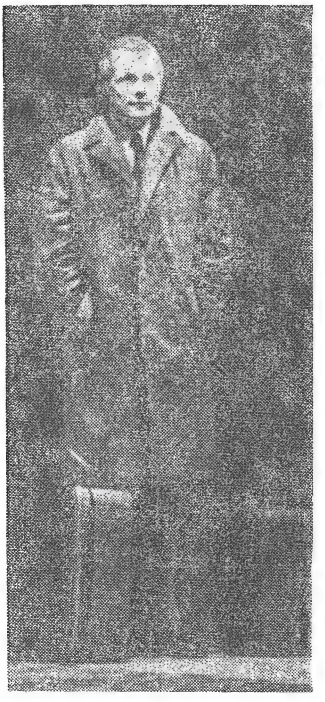
В издательстве «Ауфбау», в серии «Новые тексты», вышел сборник рассказов Маргариты Нойман (см. «ИЛ» № 1, 1956 и № 10, 1972) «Вечером, перед возвращением домой». В сборнике собрано пятнадцать рассказов, сюжеты которых очень разнообразны: предстоящий визит друга, заплыв по озеру, новогодний вечер, ремонт типографского оборудования, встреча во время отпуска. Писательнице всегда удается найти какую-нибудь исключительную ситуацию, которая дает возможность показать тонкие психологические нюансы. Герои рассказов — обыкновенные люди, занятые обычным трудом, в котором, однако, Маргарита Нойман видит много поэзии.

Писательница не изменила своей главной теме — деревенской жизни, но в новой книге появились мотивы индустриального города, с которым она близко познакомилась, изучая химический комбинат города Шведт.

«Истории, которые рассказывает нам Маргарита Нойман, передают картину нашей жизни в очень оригинальной, часто неожиданной манере»,— пишет журнал «НДЛ».

«Писательница ставит вопросы о смысле нашего существования, о любви, рождении и смерти. Ее рассказы — попытка оглянуться назад и в то же время желание заглянуть в будущее»,— отмечает рецензент «Литератур-74».

В книге помещено послесловие Сары Кирш, нарисовавшей интересный литературный портрет Маргариты Нойман.



В берлинском театре «Кammершпиле» с большим успехом идет пьеса И. Дворецкого «Человек со стороны». В роли Чешкова — известный актер Клаус Пионтек.

(Журнал «Театер дер цайт»)

РЕСПУБЛИКА ЗАИР

СЛОВАРЬ ЯЗЫКА СУАХИЛИ

В Республике Заир, Киншасе, вышел новый словарь языка суахили. В этом словаре, наиболее полном из всех ранее изданных в стране, насчитывается около 30 тысяч слов.

Во вступительной статье к словарю рассказывается о истории развития языка суахили и его роли в жизни Африки. Суахили, один из главных языков Республики Заир, является официальным языком ряда восточно-африканских стран — таких, например, как Танзания и Кения.

ИНДИЯ

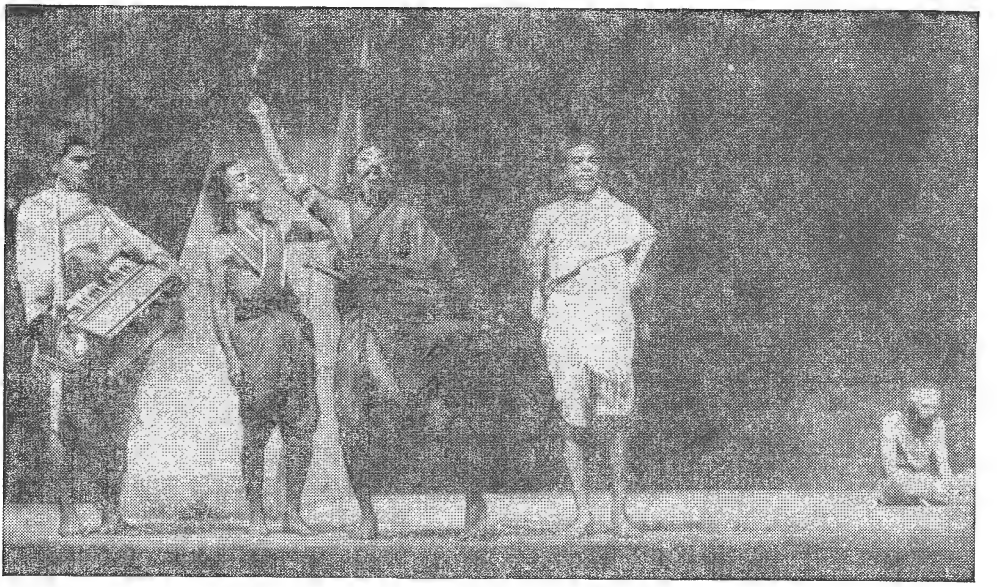
ИСТОРИЧЕСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ

«Раджа Чамба и четыре брата» — третья пьеса известного драматурга, режиссера и актера Хабиба Танвира, премьера которой прошла с большим успехом в Дели, сообщает еженедельник «Линк».

По сравнению с предыдущими работами автора этот спектакль, по оценке рецензента, вносит в современный национальный театр нечто новое — сочетание элементов городской культуры и народных традиций. Более десяти лет Танвир кропотливо изучал фольклор родного штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Драматургия и режиссура для него неразделимы.

Новое произведение Танвира критик определяет как историческую аллегорию, в отличие от традиционных для индийского театра пьес, которым свойственна мифологичность. Разработка материала свидетельствует о понимании автором исторического процесса, о владении трудной, многоплановой темой. Сюжет объединяет серию сложных конфликтов, начиная от государственных, политических и кончая семейными,— одна власть сменяет другую, одна внешнеполитическая линия сменяется другой, диаметрально противоположной, на шахматной доске государства исчезают или меняются местами политические фигуры.

Донести до зрителя замысел пьесы помогают режиссеру разнообразные театральные приемы, которые включают и богатейшие



Сцена из спек «Раджа Чамба и четыре брата».

средства санскритской театральной культуры. Интересно оформление спектакля.

Роль Раджи Чамбы, расчетливого и опытного политика и интригана, блестяще, по единодушному мнению прессы, играет Хабиб Танвир.

Многогранно исполнительское мастерство актрисы Кусум Хайдер в роли сельской девушки, удачно создавшей некий собирательный образ, в котором автор сконцентрировал все лучшее в человеке: бесстрашие, благородство, любовь к людям.

Немало искренне веселых минут дарит зрителям самобытный комический актер Мадан Лал. Превосходно звучат хоровые партии, усиливающие смысловые интонации спектакля, пишет в заключение критик.

ИТАЛИЯ

РИМ ВРЕМЕН СОПРОТИВЛЕНИЯ

К тридцатилетию событий марта 1944 года римский театр «Чирко-Театро ди Рома» поставил спектакль «Рим-335», текст которого написал писатель Карло Бернари.

Тридцать лет назад римские подпольщики напали в центре города на колонну эсэсовцев. В качестве репрессии за это смелое нападение на виа Разелла гитлеровское командование приказало уничтожить заложников из расчета — десять невинных римлян за каждого убитого эсэсовца. Бойня происходила в Ардеатинских пещерах близ Рима. Всего за период подпольной борьбы римские патриоты потеряли более 9 тысяч человек — расстрелянными, замученными, заключенными в концлагеря.

Героические и трагические события времен оккупации Рима воскрешаются в спектакле «Рим-335», явившемся одной из заметных постановок среди множества спектаклей «политического театра», переживающего ныне в Италии пору расцвета. В тексте, написанном Бернари, как отмечает критика, много личного, прочувствованного и пережитого самим писателем в годы Сопротивления; автора в спектакле олицетворяет Летописец, повествующий о подлинных событиях тех дней и комментирующий их. Поставил спектакль молодой режиссер Джорджо Феррара, в спектакле участвуют известные артисты, в том числе Валерия Морриконе. Сцены, носящие чисто исторический и политический характер, например, заседание комитета Национального освобождения, чередуются с эпизодами, в которых драма всего народа переплетается с личными драмами отдельных участников событий — например, такими, как трагическая история любви двух молодых римлян Леи и Сильвио и другой юной пары — Неды и Томмазо.

Успеху спектакля немало способствовали декорации и оформление, выполненные художником Бруно Гарофало, воспроизведшим на сцене в миниатюре «вечный город» и воссоздавшим атмосферу тех лет, и музыкальное сопровождение спектакля, построенное на народных песнях. Газета «Унита» отмечает подлинно народный характер этого спектакля, очень тепло встреченного римскими зрителями.

МОЗАМБИК

ИСТОРИЯ ПОЭЗИИ — ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Журнал «Революсьон африкэн» опубликовал статью «Роль поэзии в мозамбикской революции», которая рассматривает развитие поэтического творчества в стране на разных этапах борьбы за национальное освобождение.

Португальский колониализм, говорится в статье, сделал все возможное, чтобы уничтожить культурные традиции племен, населявших Мозамбик. Именно поэтому в первые десятилетия XX века внешний мир совершенно ничего не знал об искусстве Мозамбика. Однако культурные традиции, устное народное творчество не погибли, они пребывали как бы в своеобразном летаргическом сне. Первым поэтом, который, несмотря на чуждые ему жесткие рамки португальской классической поэзии, попытался выразить в стихах трагическую судьбу народа своей страны, был Руй де Норонья, умерший в 1943 году.

Новое поколение пришло в поэзию после второй мировой войны, когда, невзирая на террор, стало возрождаться национальное самосознание, когда в народе зрела решимость начать освободительную революцию. Ноэмья ди Соуза, Жозе Краверинья, Руй Ногар, Н. Валенте писали стихи, утверждавшие достоинство рождавшейся мозамбикской нации, духовные ценности запрещавшейся веками народной культуры. Однако, подчеркивается в статье, и эта поэзия, безусловно прогрессивная, оставалась достоянием избранных до тех пор, пока не стала вместе со своими творцами активным участником вооруженной борьбы народа за национальное освобождение.

Говоря о сегодняшнем дне поэзии Мозамбика, автор статьи пишет: «Больше нет метафорической разницы между огнем поэзии и огнем гранат и пушек». Поэзия, как и другие виды искусства: песня, танец, театр, живопись — у народа Мозамбика рождается в борьбе, рождается, чтобы помочь народу в борьбе. Народ, сражающийся за национальную независимость, воспринимает свою революционную поэзию как «рассказ о дне сегодняшнем, думу о дне завтрашнем, одну из сфер духовной жизни, помогающей личности почувствовать себя членом коллектива».

Революционное искусство способствует преодолению племенной раздробленности. Танец, скульптура, характерные раньше для одного из племен Мозамбика, пишет автор, становятся сегодня достоянием всей нации. Традиции народного искусства помогают рождению нового искусства — искусства борьбы, которое потомки будут воспринимать как память об освободительной революции.

НОРВЕГИЯ

ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ ИБСЕНА

Норвежский театр осуществил постановку пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом».

«Кукольный дом» имеет такую богатую историю сценических постановок, а образ Норы стал таким хрестоматийным, что мы сомневались, смогут ли авторы спектакля сказать что-нибудь новое сегодняшнему зрителю»,— пишет рецензент газеты «Фрихетен».

Игра великолепной актрисы Лив Ульман, исполняющей роль Норы, задает тон всему спектаклю. Нора в ее трактовке — образ удивительного обаяния, красоты и силы.

Со времени написания пьесы прошло почти столетие. Но коллизии ибсеновской драмы не стали историей.

«Этические и нравственные проблемы, которые предстояло решить ибсеновской героине, актуальны и в нашем сегодняшнем обществе. Нора стала символом женщины, отстаивающей свое право быть личностью, свое человеческое достоинство».

ПАНАМА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Специальный бюллетень Союза писателей Панамы опубликовал декларацию, представляющую программный документ этой организации. Декларация была принята на общем собрании всех членов Союза, которое одновременно при-

---

(Газета «Фрихетен»)

Лив Ульман — в роли Норы.

няло решение о кардинальной реорганизации Союза писателей Панамы. В ней, в частности, говорится:

«Союз писателей Панамы полностью осознает важность своей деятельности как передового отряда в борьбе за повышение культурного уровня всех панамцев, в стремлении создать все условия для проявления способностей и восстановления прав независимого народа.

Не подлежащее сомнению проникновение элементов, деформирующих национальную культуру, неизбежное в стране с зависимой экономикой, обязывает писателей сомкнуть свои ряды с целью развивать деятельность, направленную на укрепление именно национальной культуры, поднимая при этом на щит те характерные черты, которые свойственны художественному творчеству всех слоев нашего народа, принимая одновременно во внимание достижения, форму и технику всемирной культуры.

Культура, как таковая, с точки зрения перспектив Латинской Америки, является предметом обсуждения во всех странах нашего континента. В этом отношении Союз писателей Панамы считает своевременным открыть дебаты, учитывая международное значение культуры Панамы, о роли панамских писателей и панамской литературы в прошлом, настоящем и будущем».

ПОЛЬША

ТАДЕУШ КУЛИСЕВИЧ

В этом году исполняется 75 лет замечательному польскому художнику Тадеушу Кулисевичу. Один из выдающихся представителей современного польского искусства, он неустанно и плодотворно трудится, его работы выставлялись неоднократно и в стране и за рубежом.

Весной этого года на выставке в Варшаве была

Рисунок Тадеуша Кулисевича.
(Газета «Жиче Варшавы»)

представлена экспозиция новых циклов его путевых зарисовок, которая признана одной из лучших Варшавским обществом друзей искусства.

Тадеуш Кулисевич удостоен многих премий, а недавно Министерство иностранных дел наградило его дипломом за большие заслуги в пропаганде польской культуры за рубежом.

В последнее время Кулисевич работает над циклом рисунков, посвященных женщине.

«ЛИЧНОСТЬ» ТАДЕУША ГОЛУЯ

Три года назад в Польше был объявлен конкурс на лучшую книгу о создании Польской рабочей партии. После подведения итогов лучшими были признаны три книги: «Личность» Тадеуша Голуя, «Серый ореол» Юлиана Кавальца и сборник рассказов «Кто грешил?» Рышарда Лисковацкого. Все они были отмечены высшими наградами.

Большое внимание критика уделила книге Тадеуша Голуя «Личность». В ней рассказывается о деятельности левой конспиративной группы во время войны, которая назвала себя «Союзом польской революции» и которая впоследствии вошла в состав Польской рабочей партии.

Голуй описывает начало деятельности этой группы сразу после сентябрьской катастрофы 1939 года, когда люди были охвачены отчаянием, неверием в свои силы и отсутствие единого и направляющего центра ощущалось очень остро.

В основе книги — судьба Вацлава Потурецкого, учителя в провинциальном городке. Когда началась война, а вместе с ней и оккупация, он собирает группу наиболее близких людей и в условиях жесточайшего террора начинает борьбу. Люди в группе самые разные, но всех объединяет ненависть к врагу. Круг деятельности группы очень широк; помимо агитации среди населения она готовит забастовку, освобождает из гетто евреев, из фашистской тюрьмы — заложников, вовлекает в свои ряды новых бойцов.

Полиция делает все, чтобы напасть на след группы. В конце концов это ей удается, Потурецкий и его жена гибнут в гитлеровской тюрьме.

Своеобразно построение книги: образ главного героя возникает из воспоминаний людей, которые знали его в годы войны, людей самых разных. Автор использует и то, что вышло из-под пера самого Потурецкого: его статьи, текст присяги, программу группы, стихи. В книге возникает запоминающийся образ человека, в котором воедино соединены черты выдающейся личности с чертами обычного провинциального учителя, внутренняя непримиримость —с детской доверчивостью (что потом обернулось для него трагедией), суровость руководителя —с чувствительностью.

Критик Вл. Мачёнг в «Жиче литерацке» пишет, что такие люди, как Потурецкий, были беззаветно преданы идее, готовы во имя идей преодолеть все человеческие слабости, пожертвовать всем... «Его роль,— продол-

жает критик, — особенно важна была в самом начальном периоде левого движения, когда надо было пробудить потерявших веру и сомневающихся, возродить надежду и солидарность».

Голую удалось воссоздать политическую и духовную атмосферу тех лет, историю начала левого движения, организации первых ячеек Польской рабочей партии в период оккупации. И именно это является главной заслугой писателя.

Как отмечает в газете «Трибуна люду» критик Витольд Новроцкий, «польская проза обрела в книге Тадеуша Голуя произведение необычное, важное и нужное».

РУМЫНИЯ

ПИСАТЕЛЬ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Румынская литературная печать обогатилась новым журналом «Румынские литературные тетради». Выходящий раз в три месяца на французском языке журнал ставит перед собой задачу информировать зарубежного читателя о развитии современной румынской литературы, об ее наиболее актуальных проблемах, перспективах и важнейших достижениях.

Первый номер журнала посвящен теме «Писатель и современное общество». В обсуждении этого злободневного вопроса принимают участие литературоведы (Мирча Зачу, Адриан Марино, Ромул Мунтяну, Николае Балотэ, Эдгар Папу), романисты (Петру Попеску), социологи (Траян Херсени). В центре их внимания стоят такие проблемы, как литературный успех, литературный вкус публики, гражданская функция литературной критики и т. д. Вопрос о гражданском назначении литературной критики Эдгар Папу рассматривает в применении к судьбам лирической поэзии. В своей интересной эмоциональной статье он говорит о долге критиков способствовать проникновению поэзии в широкие читательские массы, помочь им понять наиболее сложные явления современной поэзии и тем самым сделать доступными даже самых трудных поэтов.

«Можно ли начертить определенную «модель» литературного успеха, раскрыть наиболее существенные, характерные черты, определяющие его как социальное явление?» — таков вопрос, который задает себе критик Адриан Марино в статье «Литературный успех и освоение литературы обществом». Он подробно развивает мысль о том, что «успех — это явление общественное, глубоко обусловленное историческими, психологическими и культурными факторами», и рассматривает такие категории, как литературная публика, литературная среда. В конечном итоге он приходит к заключению, что литературный успех определяется двусторонней зависимостью: «Если литературные произведения определяют успех, успех в свою очередь в какой-то мере определяет судьбу произведения. Движение взаимное, и его творческие результаты заметны в обоих направлениях».

Различные тенденции и направления литературной критики в изучении связей биографии писателя, его произведений и общества рассматриваются в обстоятельной и интересной статье Ромула Мунтяну. Исторический обзор трактовки проблемы «литература и общество» румынской критикой на протяжении десятилетий дает статья Мирчи Зачу.

Специальный раздел журнала посвящен вопросам перевода и переводной литературы. Тут среди других книг обсуждается книга советского исследователя Ю. Н. Давыдова «Искусство и элита», недавно переведенная на румынский язык. Автором статьи выступает известный прозаик Ал. Ивасюк.

Журнал содержит богатый раздел рецензий. Читатель имеет возможность познакомиться с новинками не только румынского литературоведения, но также и зарубежного.

«ГОЛУБЫЕ ВОРОТА ГОРОДА»

«Каждый год в статье, посвященной дню 23 августа, я писал о том, как нужен нам фильм о вооруженном восстании, я требовал его» — такими словами начинает свою статью рецензент «Ромыния литерарэ» Д. И. Сукяну.

Фильм «Голубые ворота города», созданный режиссером М. Мурешаном по сценарию известного писателя М. Преды, воплотил эту давнюю мечту киноообозревателя. «В сценарии М. Пре-

Эмилия Добрин и Дан Нуцу в фильме «Голубые ворота города».

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

ды,— утверждает Д. И. Сукяну,— верно отражены все фазы борьбы, все этапы победы. Но лучше всего объясняет причины победы умонастроение бойцов... Фильм «Голубые ворота города», в котором на первый взгляд показаны только военные действия, помешавшие гитлеровцам занять и уничтожить нашу столицу, прежде всего — психологический фильм».

В интервью, данном корреспонденту «Ромыния литерарэ», Марин Преда рассказал, что в основу сценария легли его личные воспоминания о тех бурных, переломных днях. Мобилизованный в 1944 г., он близко познакомился со многими солдатами, которые затем проделали бок о бок с советскими воинами победный путь на запад. «Тревога на лицах этих солдат, чувство вины перед ними за то, что мы так мало сделали для них, их поистине героические деяния и гибель многих из них на полях сражений — все это жило во мне, пока я писал сценарий».

На вопрос о том, понравился ли ему фильм, М. Преда ответил:

«Теперь, когда тысячи зрителей так тепло и с таким интересом отзываются о фильме, я могу сказать, что М. Мурешан сделал, с моей точки зрения, отличную картину».

КУДА ИДЕТ ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН?

Такова тема анкеты, предпринятой журналом «Трибуна». С ответом выступили известные писатели этого жанра: Хараламб Зинкэ, Теодор Константин, Петре Сэлкудяну, Николае Мэржяну, Леонида Нямцу.

Центральный вопрос, поставленный в анкете, касается самого жанра детективного романа: «Можно ли считать детективный роман развлекательным видом литературы?» Хараламб Зинкэ полностью отвергает возможность такого определения. «Я считаю детективную литературу,— говорит он,— жанром глубоко воспитательным и пишу свои произведения с большим чувством художественной и политической ответственности. Цель, которую я преследую,— заставить читателя задуматься над важнейшими аспектами нашей повседневной жизни».

Точку зрения Х. Зинкэ поддержали и другие участники беседы. Теодор Константин видит в этом жанре, как и в любом другом жанре литературы, средство воспитать в читателе социалистическую сознательность, идейную твердость. «Там, где идет речь лишь о развлекательности и ни о чем другом, исчезает само понятие литературы, независимо от жанра, к которому принадлежит книга», — говорит П. Сэлкудяну. «Румынский детективный роман всегда открыто выступал в защиту гуманных идеалов социализма, так что мы можем смело говорить об его воспитательном характере», — говорит Н. Мэржяну.

Не в меньшей мере привлекла внимание участников анкеты проблема специфики румынского детективного романа в сравнении с западным детективом, где этот жанр, как известно, пользуется очень широкой популярностью. Эти различия коренятся в самих условиях, созданных новыми социалистическими отношениями, в которых развивается этот жанр литературы. Кроме того, подчеркнул Х. Зинкэ, «нас отличает еще и открытая идеологическая позиция, с которой мы рассматриваем назначение детективной литературы. Так же как и наши герои, мы чувствуем не только профессиональную, но и политическую ответственность. Мы не являемся сторонниками насилия, суперполицейских, супершпионов. Мы преследуем прекрасную, возвышенную цель, которая является целью и всей современной румынской литературы,— воспитать в наших читателях чувство высокой гражданской сознательности».

О необходимости повышения художественного мастерства в детективном жанре говорил Леонида Нямцу. Он указал на некоторые наиболее распространенные недочеты: слишком грубое деление героев на очень хороших и очень плохих; отождествление детективного романа с расследованием «дела» или преступления, «приземление» вымысла в романе и сведение его к повседневной судебной практике.

В вопросе о специализации авторов, пишущих в области детективного жанра, участники беседы не сошлись мнениями. Хараламб Зинкэ подчеркивает необходимость специализации. «Один талант без специальной подготовки не может привести к успеху»,— пишет он. По мнению Николае Мэржяну, «нельзя говорить ни о какой специализации», любой автор детективных романов должен испробовать свои силы и в других литературных жанрах.

Обмен мнениями о судьбах и перспективах детективного жанра в румынской литературе предполагается продолжить в следующих номерах журнала.

США

РОМАН, ОПЕРЕДИВШИЙ СВОЕ ВРЕМЯ

Сообщая о выходе неизвестного романа Уильяма Фолкнера «Флаги в пыли», рецензент «Сатердей ревью» замечает, что опубликовавшему книгу издательству «Рэндом хауз» хотелось, наверное, похвастать тем, что роман был недавно обнаружен на запыленной полке некоего ученого мужа. «Однако история его хоть и любопытна, но не столь драматична».

Закончив роман в 1927 году, Фолкнер полагал, что книга принесет ему славу, но попытка издать ее чуть не загубила его писательскую карьеру — за один год одиннадцать издательств отвергли «Флаги в пыли». Наконец издатель Альфред Харкот согласился напечатать роман, поставив условием, что он будет значи-

тельно сокращен, желательно—не самим Фолкнером.

Фолкнер поручил своему агенту Бену Уоссону сделать необходимые, по мнению издательства, сокращения. Таким образом, в 1929 году появился третий роман Фолкнера под названием «Сарторис», который со временем занял важное место в его литературном наследии, став первым звеном в цепи всемирно известных его романов об уголке штата Миссисипи, названном Фолкнером Йокнапатофой. Только с выходом полного текста «Флагов в пыли» становится очевидным, каким неисчерпаемым источником уже тогда была для писателя эта «собственная крошечная почтовая марка родной земли».

Бесконечные истории из жизней многочисленных Сарторисов, Бенбоу и Сноупсов, клубясь, переплетаются в романе, образуя разрастающееся во все стороны художественное полотно, и читателю, не привыкшему к подобным произведениям, трудно уловить единый сюжет. Именно эта внешняя бессюжетность стала в 1928 году главным препятствием для публикации книги. Сегодняшний успех романа заставляет задуматься о тех изменениях, которые произошли в художественном восприятии за почти полувековой период, отделяющий выход романа от его написания. В этом смысле роман «Флаги в пыли» интересен не только как самостоятельное художественное произведение, но и как свидетельство значительных культурных перемен.

В 1928 году лишь один издатель понял, чем может стать эта книга. Тогдашним читателям романа его художественная ткань могла напомнить то своеобразное рукоделие, которым была постоянно занята одна из героинь романа, вязавшая нечто пестрое и узловатое. Подступясь вновь к своему изделию, она, по словам Фолкнера, «словно пыталась придать ему более четкие очертания, не нарушив уже созданную ткань». Издателям же бросились в глаза прежде всего швы и расплывчатость романа, который, как казалось, можно было продолжать без конца. Но у Фолкнера был ясный замысел, что становится еще более очевидным с выходом романа «Флаги в пыли». Писатель не спешил издавать то, что давно созрело в его воображении, — так, большая часть материала о Сноупсах была готова у него еще раньше «Флагов в пыли» и ждала своего часа до 1959 года. Эта публикация показывает, сколько персонажей были уже тогда подчинены единой мысли писателя, подчеркивает общие и различные черты их характеров. Удалив множество мелких и на первый взгляд несущественных деталей, Бен Уоссон нарушил созданную Фолкнером гармонию. Будучи прототипом одного из героев книги, Хореса Бенбоу, что ему льстило, он постарался убрать все неприятные для себя подробности. Уоссон сосредоточил роман на одном из фолкнеровских семейств — Сарторисах, не поняв сути первого зрелого писательского эксперимента.

В романе «Флаги в пыли» Фолкнер впервые не только попытался развить выработанную Шервудом Андерсоном технику нанизывания эпизодов. Книга была первой попыткой найти новую форму нелинейного, разноплоскостного романа, художественная ткань которого держалась бы не на сюжете, а на впервые испробованном писателем методе бинарных оппозиций, то есть двойных противопоставлений, которые выявляют тематическое единство разрозненных на первый взгляд отрывков книги. Метод бинарных оппозиций вслед за Фолкнером стали широко использовать все представители «южной школы» американского романа. Возможности этого приема Фолкнер выверял и разрабатывал в последующих произведениях, противопоставляя все компоненты художественной структуры: точки зрения героев, характеры, эпизоды, целые сюжеты и саму технику письма. От романа к роману он совершенствовал ту канву, которая смогла удержать и придать единство все новым и новым пластам бытия Йокнапатофы, мира, впервые открытого читателю Фолкнером в 1927 году романом «Флаги в пыли», заключает критик.

«ИЛЛЮСТРАТОРЫ «АЛИСЫ»

В эту книгу вошли работы многих художников, сделанные за столетие, прошедшее со времени первого издания знаменитой «Алисы в стране чудес». В прошлом году Общество Кэррола выпустило юбилейное издание «В Зазеркалье», в этом году были опубликованы: «Али-

---

Рисунок Льюиса Кэррола.
(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

са в стране чудес» и книга «Иллюстраторы «Алисы».

По мнению еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», она отражает те изменения, которые произошли за это время в трактовке образа Алисы и манере иллюстрации детских книг. В книге воспроизведены работы самого известного иллюстратора «Алисы» Джона Тенниела, современника Льюиса Кэррола, которые оказали заметное влияние на всех последующих художников, рисовавших Алису.

Интерес представляет воспроизведенная на последней странице книги фотография Мэри Хилтон Бедкок, которая послужила Тенниелу прототипом Алисы. Девочка сидит на высоком викторианском стуле, ее ноги не достают до полу два дюйма, руки сложены на коленях, Мэри нахмуренно смотрит в объектив. Тенниел позаимствовал у нее длинные волосы, высокий лоб, серьезное выражение лица и широкую юбку. Критика не раз писала, что Алиса Тенниела слишком серьезна и невыразительна, она похожа на ребенка, ввергнутого в игру, а не принимающего в ней участие. Многие художники пытались разрушить монополию Тенниела на образ Алисы. Рисунки Тенниела не удовлетворили и Кэррола, который сам оформил одно из последних при его жизни изданий книги. Рисунки Кэррола очень выразительны, что выгодно отличает его Алису от Алисы Тенниела.

В рисунках наших дней отразились современные взгляды на произведение Кэррола: его книга признана достоянием взрослых, и иллюстраторы позволяют себе вольно интерпретировать ее содержание.

ДЕНЬ ДЕЛЬФИНА

Океанолог доктор Джек Тарел с женой и несколькими помощниками занимается исследованием возможностей общения человека с обитателями моря. Особенно его привлекают морские млекопитающие.

В роли доктора Джека Тарела Джордж Скотт.

(Журнал «Филмз энд филминг»)

После ряда неудачных опытов ему, наконец, удается найти «общий язык» с двумя дельфинами, ставшими вскоре не только предметом исследований, но и друзьями доктора. Этой удаче суждено сыграть роль завязки будущей драмы. Для главы фирмы, на которую работает Тарел, поиски ученого — только средство на пути воплощения преступных замыслов, дельфины в его руках превращаются в страшное оружие — с помощью этих «живых торпед» он и его единомышленники собираются взорвать яхту американского президента.

Несмотря на предательство помощника ученого, которому удается выкрасть у Тарела его питомцев, планы покушения срываются. В кульминационной сцене один дельфин перехватывает другого на пути к обреченной яхте. Но, вопреки ожиданиям, шаблонный хэппи-энд не наступает: доктор Тарел и его друзья оказываются перед лицом неизвестности, грозящей им гибелью.

Таков сюжет фильма «День дельфина», созданного режиссером Майком Никольсом и сценаристом Баком Генри по мотивам одноименного романа Робера Мерля.

Это картина приключенческого жанра. Однако, как отмечает рецензент еженедельника «Вэраети», остросюжетные ситуации и неожиданные повороты действия едва ли волнуют зрителя так же сильно, как живые картины моря. Здесь, конечно, немалая роль принадлежит оператору Вильяму Фрейкеру. Благодаря его мастерству зрителю удается проникнуть в потаенные уголки подводного мира, в полной мере оценить загадочную прелесть морских глубин.

ТУРЦИЯ

ТРИ ЛАУРЕАТА

Недавно учрежденная в Турции премия имени С. Али ежегодно присуждается лучшим рассказчикам, чьи произведения созвучны творчеству убитого реакционерами писателя-реалиста.

По итогам прошлого года премия была присуждена сразу трем писателям. Первой премии за рассказ «Спички» была удостоена двадцатилетняя сельская учительница Зехра Тунч. Она родилась на востоке страны, окончила педагогическое училище и с 1970 г. работает учительницей в провинции. По мнению критика и новеллиста И. Ялчина, ее рассказ, повествующий о нелегкой доле женщин из народа, которые живут на востоке страны так же, как жили их соотечественницы сотни лет назад, при феодализме, представляет собой значительную удачу критического реализма в турецкой новеллистике.

Мехмед Башаран, получивший вторую премию за рассказ «Разлучить!»,— автор восьми различных по жанру книг публицистики, поэзии, прозы. Уроженец деревни и воспитанник закрытого властями Института деревенских учителей, Башаран по профессии, так же как и молодая писательница Тунч,— учитель. Он также пишет о жизни деревни.

Третий лауреат Ахмед Сай — стамбулец. После окончания лицея он пять лет работал в Западной Германии, потом поселился в деревне, где, по его словам, «только и начал понимать людей и природу». В годы подъема общественного движения он стал ответственным секретарем социалисти-

ческого журнала «Турецкая левая», который был закрыт властями в 1971 г., а его сотрудники, в том числе и Ахмед Сай, осуждены на различные сроки тюремного заключения.

Все три писателя, по мнению стамбульского литературного журнала «Ени адымлар» («Новые шаги»), представляют то течение в турецкой прозе, которое принято называть «социальным» и основы которого были заложены в тридцатые годы Сабахаттином Али.

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН ЛЮСИ ФОР

История, рассказанная в романе Люси Фор «Во вторник на рассвете», происходит в течение одной ночи с завязкой вечером и развязкой — утром.

Герой, вернее антигерой, романа Рено когда-то открыл у себя необычный дар — организовывать праздники и сделал из этого ремесло, источник существования. Его главный козырь в том, что он знает «весь Париж», то есть знаком с теми несколькими сотнями людей, которые составляют определенные столичные круги. И вот однажды вечером, вернувшись домой, он вдруг особенно остро ощущает мизерность своего социального положения.

Рено испытывает потребность поделиться с кем-нибудь своими заботами, посоветоваться, найти какой-то выход. Он набирает один за другим телефонные номера своих знакомых, чтобы излить душу.

Ему, конечно, отвечают, но всякий раз на другом конце провода он чувствует пустоту. И Рено принимает решение — он устроит собственный «праздник»: утром он кончает жизнь самоубийством.

Критик «Фигаро» Жан-Пьер Реми назвал свою рецензию на книгу — «Человеческий голос», как бы подчеркивая этим близость романа Люси Фор известному произведению Жана Кокто (см. «ИЛ» № 6, 1971). Критик отмечает мастерство писательницы, необычайную экономность ее выразительных и художественных средств.

«СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ»

Среди книжных новинок, поступивших в продажу во время «Трехдневника марксистской книги» в Париже, наибольшее внимание обратил на себя обширный труд Франсиса Коэна «Советские люди», вышедший в «Эдисьон сосиаль»: свыше 800 экземпляров разошлось за три дня.

Книга сразу же привлекла внимание читателей, прежде всего необычайным богатством информации, взятой из первых рук. Исследуя историю советского общества и его современную структуру, размышляя о перспективах его развития и о проблемах, которые предстоит решить, автор опирается на многочисленные работы советских социологов, экономистов, демографов, наглядно подтверждает свой анализ таблицами, картами, диаграммами.

Ф. Коэн, директор журнала «Нувель критик», в течение ряда лет жил в Москве в качестве корреспондента «Юманите»: он не раз бывал в Советском Союзе и в последующие годы свободно владеет русским языком. Все это определило не только содержание, но и форму его книги. Научная серьезность сочетается в ней с публицистической живостью и доступностью изложения. Франсис Коэн оперирует не только данными советской печати и науки, но и личными наблюдениями, впечатлениями, накопленными за время повторных поездок. В круг его аргументации входят и произведения советской литературы — в книге по разным поводам

Фильм кинорежиссера Франсуа Трюффо «Американская ночь» (так называется один из приемов киносъемки), показанный вне конкурса на VIII Московском международном кинофестивале, продолжает привлекать к себе внимание критики. В начале этого года он был удостоен признания Клуба кинокритиков Нью-Йорка, режиссер, который в этом фильме играет самого себя, и исполнительница одной из главных ролей, итальянская актриса Валентина Кортезе, получили премии. Помимо этого фильм Трюффо был удостоен премии «Оскар», присуждаемой Американской академией киноискусства и наук, как лучший иностранный фильм.

(Газета «Унита»)

встают имена В. Маяковского, Ч. Айтматова, В. Овечкина, Е. Дороша, С. Залыгина. Ф. Коэн развенчивает многие мифы, насаждаемые буржуазными «кремленологами».

В беседе с главным редактором журнала «Франс нувель» Жаком Де Бонисом Ф. Коэн рассказал о своей многолетней работе над книгой. «Располагая массой документов, досье, заметок, знаниями об СССР, я счел своим боевым долгом ввести их в действие. В самом деле, на нынешней стадии классовой борьбы во Франции углубленное знание социалистической реальности — один из определяющих факторов победы в столкновении идеологических и политических сил».

НОВАЯ КНИГА О ГЮГО

В «Эдисьон сосиаль» в серии «Предшественники» вышла книга Пьера Гамарра «Виктор Гюго». Новая серия коммунистического издательства посвящена, по замыслу ее главного редактора Жана Эллейнстейна, тем деятелям культуры и политики, которые в своих свершениях опередили современную им эпоху. В этой серии уже вышли из печати биографии: «Луиза Мишель» Пьера Дюрана, «Франсуа Рабле» Катрин Клод и «Гамаль Абдель Насер» Жана Губара.

В новой биографии Гюго Пьер Гамарра создает образ великого писателя, очищенный от всего искусственного, что было внесено в него предвзятостью суждений его фанатичных почитателей, с одной стороны, и яростных противников — с другой, пишет Мари Луиза Кудер в «Юманите-диманш». Гамарра показывает Гюго как неуемного труженика и талантливого творца, как защитника обездоленных.

Мари Луиза Кудер видит особое достоинство книги в том, что Гамарра сумел показать Гюго — поэта Франции, члена Французской Академии — как человека, принадлежащего своему народу.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ

В Готвальдове закончился XIV ежегодный фестиваль детских фильмов. В этом году он был посвящен 25-летию пионерской организации.

На конкурс было представлено тридцать фильмов. Наряду с официальным жюри существовало и детское, которое принимало живейшее участие в оценке картин.

Первую премию — «Золотую туфельку» — получил художественный фильм «Дружина Черного пера» (сценарий Рудольфа Грбка, режиссер Ота Коваль) за проникновенное изображение судьбы детей рабочих в конце первой мировой войны.

Премия имени Иржи Трнки была присуждена режиссеру Бржетиславу Пойару и художнику Мирославу Штепанеку за кукольный фильм «Девушка-яблонька».

Премия «Серебряная дудочка» досталась режиссеру Вере Пливовой-Шимковой за талантливый музыкальный фильм «К нам пришел праздник», воспроизводящий жизнь самого молодого поколения.

Премию ЦК Союза социалистической молодежи получил фильм «Долина красивых девочек» (сценарий Станислава Рудольфа, режиссер Иржи Ганибал). В нем изображены душевные конфликты девочки-подростка, которые ей помогает разрешить пионерский коллектив.

Особой премией жюри был отмечен фильм «Рассказ о серебряной пихте».

Чешская критика обращает внимание на то, что высшими наградами были справедливо отмечены те фильмы, в которых художественные достоинства сочетаются с отчетливой социальной направленностью и где мир детей не изолирован от мира взрослых и проблем сегодняшнего дня.

ШВЕЙЦАРИЯ

РОМАН УЛЬРИХА БЕХЕРА

Действие нового романа Ульриха Бехера «Бывшее казино Вильяма» происходит в Ницце. Цюрихский художник Хич Кандриан, размышляющий в портовом ресторане о предстоящем отпуске, неожиданно становится свидетелем подготовки политического покушения. Семеро оасовцев (действие происходит в 1961 году, в пору франко-алжирских мирных переговоров) собираются убить видного ал-

---

Сцена из спектакля Национального театра «Человек со стороны» И. Дворецкого. В главных ролях Владимир Брабец и Яна Главачова.

(Еженедельник «Творба»)

жирского деятеля Диф Хафиз бен Джелула.

Кандриан пытается предотвратить преступление, но оказывается бессильным: «У него слишком мало доказательств. Да и что может сделать одиночка против отлаженной политической машины?»

По словам еженедельника «Ди цайт», роман написан в характерной для Ульриха Бехера манере постоянной смены повествовательных планов. В основной сюжет автор вводит множество побочных историй и персонажей, что делает книгу особенно увлекательной.

«Война привидений», которая продолжается и в мирное время, по мнению рецензента,— главная тема романа.

ШВЕЦИЯ

«ЗАПАДНЯ» — РОМАН О РАБОЧЕМ

Главная тема многих книг шведского прозаика Нильса Парлинга — положение рабочего в капиталистическом обществе.

В центре его нового романа «Западня», вышедшего в издательстве «Фёрфаттарфёрлаг»,— судьба пятидесятитрехлетнего рабочего Альгота Кварнстрема, который большую часть своей жизни проработал в большом лесопромышленном концерне Биллесберг. С годами концерн разрастается, поглощая мелкие предприятия. Лесопромышленники оснащают производство новейшей техникой. На смену людям приходят машины — эти «изверги, чудовища», по словам рабочих. Модернизация производственных процессов повлекла за собой массовые увольнения. В числе уволенных оказался и Альгот Кварнстрем. Несмотря на то, что он верой и правдой служил фирме, отдал предприятию все свои силы и здоровье, «в его услугах больше не нуждаются».

Кварнстрем полгода ходит без работы. Он уже не молод, и его шансы устроиться на новую работу равны почти нулю.

Стихийное бедствие приносит концерну много убытков, и лесопромышленники снова используют Кварнстрема как дешевую рабочую силу. Кварнстрем, пытаясь спасти своего товарища и предотвратить новую катастрофу, попадает под пресс и становится калекой. Медицинская комиссия вынуждена признать, что Кварнстрем стал инвалидом по вине администрации предприятия, которая не позаботилась о технике безопасности. Кварнстрем, выбитый из колеи, чувствует себя отверженным, лишним в обществе.

«И все-таки «Западня»,— пишет рецензент газеты «Ню даг»,— не пессимистическая книга. Она написана живым языком, с теплотой и сочувствием, с мягким юмором. Без таких людей, без таких тружеников, как Кварнстрем, наше общество обнищало бы. А общество, вместо того чтобы проявить чуткость и внимание, равнодушно отвергает людей, ставших ненужными, не годными к эксплуатации.

Мы часто пишем в газетах, твердим в радио- и телепередачах о проблеме безработицы, о производственном травматизме, о хищническом истреблении природных богатств. Парлинг отразил множество этих проблем в своем романе с мастерством художника и пафосом публициста».

Литературный обозреватель журнала «Фолькет и бильд» отмечает: «Роман Нильса Парлинга «Западня» — прежде всего обвинительный документ, направленный против крупных монополий, беспощадной эксплуатации рабочей силы, против истребления богатств природы, против нарушения прав, оскорбления чести и достоинства рабочего человека. «Западня» — прежде всего гуманная, поучительная книга».

ЯПОНИЯ

КОБО АБЭ — РЕЖИССЕР

Японский писатель и драматург Кобо Абэ в этом году отметил свое 50-летие. Советским читателям известны его романы-аллегории «Женщина в песках», «Чужое лицо», «Сожженная карта» и ряд других прозаических произведений. Своеобразны и пьесы Кобо Абэ — «Крепость», «Эномото Буё», «Друзья» и другие, одна из которых, «Призрак», переведена на русский язык.

Более десятилетия имя Абэ-драматурга было неотделимо от токийского театра «Хайюдза», где режиссер Корэя Сэнда поставил большинство его пьес. В последнее время Кобо Абэ пробует свои силы как режиссер в организованной им небольшой театральной студии, куда из театра «Хайюдза» перешло около десяти актеров во главе с Игава Хисаси. Оформлением спектаклей занимается жена Абэ — Мати, художница.

Одна из последних пьес Абэ — «Человек, превратившийся в палку» — играется без традиционного точного текста. Драматургом описаны лишь определенные ситуации, основываясь на которых актеры находят свое словесное выражение авторской идеи, поэтому каждый такой спектакль играется по-новому.

Авторы этого номера

КОРНЕЛИУ ШТЕФАНАКЕ — CORNELIU ŞTEFANACHE (род. в 1934 г.).

Румынский прозаик, главный редактор журнала «Конворбирь литерарэ» (г. Яссы). Начал печататься в 1958 г. Автор романов «Усталые боги» («Zeii obosiţi», 1969), «На той стороне» («Dincolo», 1970), «День забвения» («Ziua uitării», 1972), «Ожидание ближнего» («Aşteptarea aproapelui», 1974).

Рассказ «Жизнь по карточкам» взят из сборника «Девять раз о молодости» («De 9 ori despre tinereţe», 1972).

Он войдет в сборник «Рассказы европейских писателей о судьбах молодежи в Сопротивлении» издательства «Молодая гвардия».

■

АДРИАН ЧЕРНЕСКУ — ADRIAN CERNESCU.

Молодой румынский прозаик. Рассказ «Ночь без сна» был напечатан в журнале «Вяца ромыняскэ» (№ 12, 1972).

■

ЗАХАРИЯ СТАНКУ — ZAHARIA STANCU (род. в 1902 г.).

Румынский писатель, академик лауреат Национальной премии, председатель Союза румынских писателей.

Публикуемые стихи взяты из книг «Песня шепотом» («Cîntec şoptit», 1970) и «Сабля времени» («Sabia timpului», 1972).

■

МАРИН СОРЕСКУ — MARIN SORESCU (род. в 1936 г.).

Румынский поэт, драматург. Окончил филологический факультет Ясского университета. Его первый сборник стихов-пародий «Один среди поэтов» («Singur printre poeţi») вышел в 1963 г. За ним последовал сборник «Стихотворения» («Poeme», 1966), который был удостоен премии Союза румынских писателей. Затем вышел ряд поэтических сборников, объединенных в книгу избранных стихотворений «Угол» («Unghi», 1970). Перу М. Сореску принадлежат пьеса «Иона» («Iona», 1968), книги для детей, переводы, в том числе из советской поэзии.

Предлагаемые читателю стихи были напечатаны в книге «Угол» и в сборнике «Душа, на все пригодная» («Suflete bun la toate», 1972).

■

ГАБРИЭЛА МЕЛИНЕСКУ — GABRIELA MELINESCU (род. в 1942 г.).

Румынская поэтесса. Окончила Бухарестский университет. Автор поэтических сборников «Зимнее празднество» («Ceremonie de iarnă», 1965), «Абстрактные существа» («Fiinţele abstracte», 1967), книг для детей.

Стихи, вошедшие в подборку, были напечатаны в сборнике «Выразить мир» («Ingînarea lumii», 1972).

■

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — ALEJO CARPENTIER (род. в 1904 г.).

Кубинский писатель-романист, поэт, эссеист, музыковед. В настоящее время находится на дипломатической службе, являясь посланником-советником посольства Кубы во Франции.

Литературную деятельность начал в 1922 году. Первый поэтический сборник «Стихи Антилл» («Poemas de las Antillas») опубликовал в 1932 г. В 1933 г. в Испании выходит его первый роман «Экуэ Ямба-о!».

Следующие крупные произведения — «Царство земное» (1949), «Потерянные следы» (1953) и «Век просвещения» (1962) — знакомы советскому читателю по русским переводам. На русский переведен также его труд «Музыка Кубы» (1946). В последние годы вышли сборник эссе «Пробные аккорды и модуляции» («Tientos y diferencias», 1964), повесть «Право убежища» («Derecho del asilo», 1973) и роман «Средство от метода» («El recurso del método», 1974).

Повесть «Погоня» («El acoso») была впервые напечатана издательством «Лосада» в Буэнос-Айресе в 1956 г.

О творчестве писателя и о повести «Погоня» см. в предисловии Юрия Дашкевича.

■

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — ALBERTO MORAVIA (род. в 1907 г.).

Итальянский писатель, автор многих романов, сборников рассказов, пьес, эссе, путевых заметок. Творчество А. Моравиа хорошо знакомо советским читателям по русским переводам. В «Иностранной литературе» были напечатаны его романы «Чочара» (№№ 1—3, 1958), «Презрение» (№№ 9—10, 1963), рассказы из сборников «Автомат» (№ 1, 1964), «Вещь — это вещь» (№ 12, 1967), «Рай» (№ 8, 1971), главы из книги дневниковых записей «Какого ты племени?» (№ 9, 1973).

В этом номере публикуются рассказы из его нового сборника «Другая жизнь» («Un'altra vita». Milano, Bompiani, 1973).

АЙРИС МЕРДОК — IRIS MURDOCH.

Английская писательница. Родилась в 1919 году в ирландской семье. Окончила Оксфордский университет, где около двадцати лет преподавала философию. Автор пятнадцати романов, работ по вопросам морали и эстетики. Являясь признанным мастером прозы, А. Мердок в течение последних лет пишет по роману в год, и, как отмечают английские критики, каждая книга — важное событие в литературной жизни Англии. В ее нравоописательных философских романах находит отражение состояние общественной морали Англии конца 60-х — начала 70-х годов, ставятся сложные вопросы человеческих взаимоотношений, проблемы добра и зла.

Творчество А. Мердок знакомо советским читателям по романам «Под сетью», «Алое и зеленое», «Дикая роза».

Роман «Черный принц» («The Black Prince». London. Chatto & Windus), журнальный вариант которого мы начинаем публиковать, вышел в начале 1973 г.

Вместе с окончанием романа редакция предполагает напечатать послесловие о творчестве Айрис Мердок и о романе «Черный принц».

ЕЖИ ПУТРАМЕНТ — JERZY PUTRAMENT (род. в 1910 г.).

Польский прозаик, поэт, эссеист, публицист, общественный деятель, главный редактор еженедельника «Литература». Трижды лауреат Государственной премии ПНР.

Дебютировал в 1930 г. как поэт на страницах периодической печати, выпустил два стихотворных сборника. В годы войны — один из основателей Союза польских патриотов, затем первой дивизии Армии Людовой, в рядах которой он прошел путь от Ленино до Варшавы. В послевоенные годы выступает преимущественно как прозаик. Уже первый сборник рассказов «Святая пуля» («Swięta kulo», 1946) и роман «Действительность» («Rzeczywistość», 1948) принесли ему признание читателей. Затем вышли романы «Перепутья» («Rozstaje», 1954), «Пасынки» («Pasierbowie», 1963), «Вепрь» («Odyniec», 1964), «Маловеры» («Małowierni», 1967), «Болдын» («Bołdyn», 1969).

На русский язык переведены сборник рассказов «Святая пуля», романы «Действительность», «Сентябрь», «Пуща».

В этом номере публикуется его документальная повесть «20 июля. . .» («20 lipca. .». Warszawa. Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1973).

СЕРХИО ВИЛЬЕГАС — SERGIO VILLEGAS.

Чилийский журналист, был редактором центрального органа Коммунистической партии Чили «Сигло», в настоящее время находится в эмиграции.

Мы публикуем отрывки из его книги «Стадион» («El estadio»), полученной в рукописи.

ДЖЕО БОГЗА — GEO BOGZA (род. в 1908 г.).

Румынский очеркист и поэт. Основатель румынского монографического репортажа. После посещения Испании в 1936—1937 гг. выступил с циклом репортажей «Трагедия народа басков» («Tragedia poporului basc», 1939). В напечатанных в 30-х годах очерковых циклах «Мир нефтяников» («Lumea petrolului»), «Дубильни» («Tăbăcării»), «Люди и уголь в долине Жиуа» («Odmeni şi cărbuni din Valea Jiului»), объединенных после войны в книге «Годы Сопротивления», описал тяжкую жизнь рабочего люда Румынии. В 1940 г. вышла «Книга Олта» («Cartea Oltului») — собрание стихотворений в прозе, посвященных красоте родной природы.

В книгах «Ворота величия» («Porţile măreţiei», 1951), «Буревестник» («Vestitoarea furtunii», 1951), «Географическая панорама» («Tablou geografic», 1954), «Пейзажи и чувства» («Privelişti si sentimente», 1972) Д. Богза воспел трудовые достижения строителей новой Румынии. За книгу «Советские меридианы» («Meridiane sovietice») удостоен Государственной премии.

Публикуемые очерки взяты из книги «Годы Сопротивления» («Anii importrivirii 1953).

ТРАЯН КОШОВЕЙ — TRAIAN COŞOVEI (род. в 1921 г.).

Румынский журналист, поэт, очеркист. Начал печататься в 1946 г. Его очерки и репортажи, посвященные строительству социализма в Румынии, составили несколько сборников, в том числе «Царство ветров» («Împărăţia vinturilor», 1954), «Мощная прелюдия» («Uriaşul preludiu», 1957), отмеченный премией Академии, «Под открытым небом» («Sub cerul liber», 1960), «Утренние звезды» («Stelele dimineţii», 1964).

Очерк «О том, чего достоин кожевник» взят из сборника «Девушка с длинными волосами» («Fata cu părul lung», 1972).

ИОАН ГРИГОРЕСКУ — IOAN GRIGORESCU (род. в 1930 г.).

Румынский писатель.

Советским читателям И. Григореску знаком по переведенным на русский язык сборникам рассказов «Кинематограф», «Мадагаскар», «Птица Феникс» и новеллам, публиковавшимся в периодической печати. В нашем журнале были напечатаны отрывки из его книги «Покоренный Терек» (№ 11, 1972).

Очерк «Люди нефтяного края» взят из газеты «Скынтейя» (декабрь 1971 г.).

■

АЛЕКСАНДРУ МОНЧУ-СУДИНСКИ — AL. MONCIU-SUDINSCHI.

Молодой румынский журналист, автор книги «Характеры» («Caractere», 1973), из которой взят предлагаемый читателю очерк, публиковавшийся ранее в еженедельниках «Лучафэрул», «Ромыния литерарэ».

■

ВАЛЕРИУ КРИСТЯ — VALERIU CRIS'TEA (род. в 1937 г.).

Румынский литературный критик. Часть его статей и рецензий, посвященных проблемам современной румынской литературы, объединена в сборнике «Критические рассуждения («Interpretări critice»), отмеченном премией Союза писателей СРР.

Статья «Репортаж о прошлом» была напечатана в румынском еженедельнике «Ромыния литерарэ» («Români literară», 1974).

■

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — TATIANA NICOLESCU (род. в 1923 г.).

Румынский критик, литературовед.

Статьи и рецензии Т. Николеску неоднократно печатались в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Статья «Мечтать, надеяться, бороться» получена в рукописи.

■

БАЛАШОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА.

Советский литературный критик, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Автор книг «Творчество Арагона» (1964), «Французский роман 60-х годов» (1965) и ряда статей в научных изданиях и периодической печати.

■

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.).

Советский критик и литературовед, член-корреспондент Академии наук УССР, доктор филологических наук, член Международной ассоциации литературных критиков. Основные научные интересы — литература XX века и некоторые общие теоретические проблемы литератур Европы и Америки. Автор книг — «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «В поисках смысла жизни. Взгляд на современную литературу на Западе» (1966), «Искусство романа и XX век» (1973) и ряда статей.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Я. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 5/VI 1974 г. А 010146. Подписано к печати 10/VII 1974 г.
Бумага 70×108$^{1}/_{16}$=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л.

Тираж 560.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз.). Зак. 1970.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394